ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Евгений Анисимов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Это о ней Алексей Константинович Толстой написал знаменитые строки: Веселая царица Была Елизавет… И действительно, ни в какое другое царствование в России так не любили веселиться: устраивать потехи и маскарады, балы и представления. Но царствование Елизаветы Петровны (1741-1761) - это еще и двадцать лет истории России, вобравшие в себя открытие Московского университета и основание Академии Художеств, победы русского оружия в Семилетней войне и публичные наказания кнутом недавних светских красавиц, блиставших на придворных балах, «дело» Салтычихи и душегубства Ваньки Каина…

Книга, принадлежащая перу известного петербургского историка Евгения Викторовича Анисимова, - по существу, первая в нашей стране биография императрицы Елизаветы Петровны, любимой дочери Петра Великого.

- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ГЛАВА 1
- ГЛАВА 2
- ГЛАВА 3
- ГЛАВА 4
- ГЛАВА 5
- ГЛАВА 6
- ГЛАВА 7
- ГЛАВА 8
- ГЛАВА 9
- ГЛАВА 10
- ГЛАВА 11
- ГЛАВА 12
- ГЛАВА 13
- ГЛАВА 14
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
- Принятые сокращения
- Основные даты жизни и деятельности Елизаветы Петровны
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- notes
  - 1
  - 2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Личности и правлению императрицы Елизаветы Петровны (1741-1761) в историографии уделено не очень много внимания. Число книг, вышедших о ней, не сравнишь с тем множеством сочинений, что посвящены Ивану Грозному, Петру Великому, Екатерине II, Александру I и другим личностям на русском троне. Иной читатель усмехнется: а о чем, собственно, тут писать? Поэт граф Алексей Константинович Толстой в своей бессмертной «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» в четырех строках уже написал историю царствования дочери Петра Великого:

Веселая царица
Была Елизавет:
Поет и веселится,
Порядка только нет.

Все сказанное Толстым - правда. Действительно, веселая была государыня, много пела и веселилась. Правда и то, что порядка при ней не было. Но ведь правдой является и главная мысль поэмы о том, что отсутствие порядка в стране связано не с жизнерадостностью или мизантропией, пьянством или трезвостью, жестокостью или человеколюбием перечисленных в «Истории» государей, а с некой неискоренимой и загадочной особенностью нашего народа, у которого (так уж получается по поэме) все равно, при любом правителе, нет порядка.

Если же вернуться на академический путь знакомства с историографией, то скажем, что монографической, целостной работы о личности императрицы Елизаветы Петровны до сих пор нет. Многие вышедшие в прошлом и в начале нынешнего века книги и статьи отечественных авторов посвящены общим обзорам двадцатилетнего царствования Елизаветы Петровны, нередко в ряду других царствований *(см. здесь и далее по списку Источников и литературы: Вейдемейер, Полевой, Щебальский, Мякотин)*. Особенностью этих исследований является то, что некоторые из них изначально задуманы как биографии (например, «Дочь Петра Великого» Казимира Валишевского), но, в сущности, авторы их вскоре сбиваются на рассказ о событиях ее царствования вообще, лишь иногда вспоминая, что страной-то правила Елизавета. Наконец, появилось немало работ об отдельных эпизодах и темах, связанных с царствованием Елизаветы, о явлениях культурной и

научной жизни середины XVIII века *(см.: Шишкин, Семевский, Фирсов и др.)*.

Особое место в историографии темы следует уделить сочинениям С.М.Соловьева и В.О.Ключевского. Четыре пухлых тома «Истории России с древнейших времен» С.М.Соловьева, посвященных царствованию Елизаветы Петровны, ныне читать невыносимо трудно и скучно - я убежден, что обычно люди притворяются, говоря, что прочитали последние тома соловьевского труда от доски до доски. Установив усыпляющий читателя линейный принцип изложения материала - год за годом и так все двадцать лет правления дочери Петра, - Соловьев избрал в данном случае весьма невыгодную роль летописца, который тонет в своем материале. В сущности же знаменитый автор «Истории России» составил свои тома из обнаруженных им в архиве документов времен Елизаветы, которые частью пересказал, а частью процитировал. И этот тяжкий труд, в конечном счете, оказался очень важен и нужен для науки. Тома Соловьева - прочный документальный фундамент для написания других исследований по истории времен Елизаветы, плодотворных размышлений на заданную тему.

Иную роль в историографии сыграли знаменитые лекции В. О. Ключевского, три с половиной страницы которых посвящены личности императрицы Елизаветы, а на остальных 100 страницах из «послепетровского» четвертого тома Курса лекций о царствовании дочери Петра Великого заходит речь только тогда, когда автор рассуждает о судьбе петровских преобразований. Эти упомянутые три с половиной страницы, как показало время, стоят многих монографий о Елизавете. Лекции Ключевского - это подлинные шедевры научного ораторского искусства. Сказанное Ключевским о Елизавете исполнено порой поразительной меткости, восхищает яркой метафоричностью и глубиной. Сколь изящны такие блестящие определения Ключевского: «Елизавета жила и царствовала в золоченой нищете»; «Умная, добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня»; «Не спускавшая глаз с самой себя» *(Ключевский, с.314-316)*. Хорошо видно, как гений Ключевского, прочитавшего-таки от доски до доски труд Соловьева, извлекает из его массы подлинные алмазы мысли и чувства и украшает ими свою лекцию. Но не будем забывать, что портрет Елизаветы, созданный Ключевским, все таки не «рентгеновский снимок» реальной исторической личности, а ее яркий ораторский портрет. Образы истории, созданные Ключевским, завораживают читателя, не позволяют ему думать иначе - так сильна магия слова Ключевского, хотя в его оценках есть и предвзятость, и погоня за красивостью, внешней формой. И

до сих пор, с легкой руки Ключевского, не всегда углублявшегося в источниковедение документов послепетровской эпохи, многие читающие люди убеждены, например, что императрица Елизавета Петровна полагала, будто из Европы в Англию можно проехать сухим путем. (Впрочем, написав эту фразу, я - современник открытия тоннеля под Ла-Маншем - подумал, что спустя несколько столетий после нас иной читатель Ключевского уже не поймет, в чем же заключается юмор лектора, хотевшего таким образом подчеркнуть круглое невежество императрицы.)

Лекции Ключевского были подлинной отдушиной для читателя советского времени, который мог вдруг заинтересоваться ближайшими преемниками Петра Великого. Советская же историография попросту игнорировала Елизавету. Из многочисленных книг о Ломоносове следовало лишь, что императрица в основном путалась в ногах у великого ученого-гуманиста России. Царствование дочери Петра попало в какой-то странный историографический период. Оно числилось в «истории СССР второй четверти XVIII века». В «Очерках истории СССР» *(см. Очерки истории)* вторая четверть кончалась не в 1750 году, как бы следовало ей, согласно хронологии, а в 1761 году, когда Елизавета умерла. Зато время Екатерины Великой (1762-1796) попало в следующий том «Очерков» о России второй половины XVIII века, которая начиналась с 1762 года! В этих памятных для многих историков темно-вишневых томах шла речь в основном о тяжелом социальном положении разных групп населения, о классовой борьбе, о промышленности и торговле - вещах важных, но не основных для познания исторической личности.

Автор этой книги не в первый раз приступает к теме. Более десяти лет назад он пытался написать биографию Елизаветы Петровны, но в одном страшном для рядового академического автора учреждении под названием «РИСО» ему, несмышленому, объяснили, что тема эта неприлична для занятий советского историка, что имя Елизаветы Петровны не может стоять на обложке советской книги. На наивный вопрос, какие же имена русской истории могут стоять там, было отвечено удивительным образом: «Иван Грозный, Борис Годунов и Петр Первый (причем последний - никак не «Великий»!)». Почему так, мне тогда не объяснили, но я думаю, что эти имена оказались допущены на обложку, потому что числились в советском историко-идеологическом пантеоне, где пребывали во славе Александр Невский и Дмитрий Донской, Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов и Михаил Кутузов, но не было десятков других достойных русских деятелей. Ивана Грозного и Петра Первого, с одобрения Сталина, ввели в пантеон

Эйзенштейн и Алексей Толстой, а Борис Годунов затесался в эту «патриотическую команду» случайно, благодаря драме Пушкина, афиши с крупным названием которой частенько висели у входов в советские театры. И уж куда было моей скромной Елизавете Петровне, если на порог пантеона не допустили даже Екатерину Великую, не говоря уже об Александре II!

Короче, с большим трудом, только в 1986 году, благодаря авторитету, несокрушимой воле и бескорыстной доброте Николая Ивановича Павленко, книгу о царствовании Елизаветы все-таки удалось «пробить» под маловыразительным названием «Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра» (без «Великого», но и без порядкового номера!).

В последнее десятилетие о временах Елизаветы стали выходить работы других авторов, в том числе и Н. И. Павленко *(см. Павленко, Нечаев),* начали издавать сборники документов *(Безвременье),* переиздавать старые работы *(Валишевский, Корф, Стасов)*. Кажется, что поток работ об этой почти забытой эпохе и ее героях будет возрастать - ведь в истории нет неинтересных времен и скучных героев, все зависит от автора исторического труда.

Возможностей всесторонне рассмотреть время Елизаветы Петровны, глубже, чем прежде, оценить ее личность много. Во-первых, это - свобода беспрепятственно заниматься любым периодом русской истории, во-вторых - большое количество ценных исторических источников. Здесь мемуары, деловые записки, протоколы государственных учреждений, многочисленные письма разных современников Елизаветы и самой императрицы. Здесь и записи камер-фурьерских журналов, дипломатическая переписка, законодательные (в том числе и подготовительные) материалы, документы по истории войн, науки, искусства, политического сыска и т. д. Многие из них опубликованы *(см. Источники и литература)*, многие хранятся в архивах (особенно в Российском государственном архиве древних актов) и еще требуют значительной работы.

Автор этой книги, сколько было возможно, использовал этот разнообразный исторический материал, много работал с литературой и поставил перед собой цель написать книгу о личности Елизаветы Петровны, о ее эпохе и ее современниках, но при этом не сбиться на историю просто царствования. Увидеть личность через призму ее эпохи и эпоху глазами этой личности - такова цель, которая, как мне кажется, отвечает общей идее серии «Жизнь замечательных людей».

ГЛАВА 1
НОЧНОЙ ШТУРМ

Ночью 25 ноября 1741 года генерал-прокурор Сената князь Яков Петрович Шаховской, спокойно почивавший в своей постели, был разбужен громким стуком в окно. Генерал-прокурора поднял посредине ночи сенатский экзекутор. Он объявил, что Шаховскому надлежит немедленно явиться ко двору государыни императрицы Елизаветы Петровны. «Вы, благосклонный читатель, - писал в своих мемуарах Шаховской, - можете вообразить, в каком смятении дух мой находился! (Еще бы - один из высших сановников государства лег спать при одной власти, а проснулся при другой. - *Е.А.*) Нимало о таких предприятиях не только сведения, но ниже видов не имея, я сперва подумал, не сошел ли экзекутор с ума, что так меня встревожил и вмиг удалился, но вскоре увидел я многих по улице мимо окон моих бегущих необыкновенными толпами в ту сторону, где дворец был, куда и я немедленно поехал… Не было мне надобности размышлять, в которой дворец ехать».

Народ по улицам бежал в сторону Царицына луга - Марсова поля, возле которого тогда стоял дворец цесаревны Елизаветы Петровны - на этом месте позже по проекту архитектора Стасова построили казармы Павловского полка. Вся суета на ночных улицах столицы с неумолимой ясностью говорила генерал-прокурору, что, пока он спал, в столице произошел государственный переворот и власть перешла от императора Ивана Антоновича и его матери - правительницы России Анны Леопольдовны к цесаревне Елизавете Петровне *(Шаховской, с.30)*. Так, глухой ноябрьской ночью 1741 года начался «славный век императрицы Елизавет»…

Вообще-то с трудом верится, чтобы такой опытный царедворец и карьерист, каким был князь Яков Шаховской, не знал о готовящемся перевороте. В Петербурге заговор цесаревны уже давно стал секретом Полишинеля. Правительницу Анну Леопольдовну, как и ее министров, не раз и не два с разных сторон предупреждали о честолюбивых намерениях цесаревны Елизаветы Петровны захватить власть. Об этом доносили шпионы, писали дипломаты из других государств. В марте 1741 года министр иностранных дел Великобритании лорд Гаррингтон через своего посла в России Эдуарда Финча сообщил русскому правительству, что, согласно донесениям английских дипломатов из Стокгольма, цесаревна Елизавета Петровна вступила в сговор

со шведским и французским посланниками в Петербурге - Эриком Нолькеном и маркизом де ла Шетарди и что заговорщики составляют «большую партию», готовую взяться за оружие и совершить переворот как раз в тот момент, когда Швеция объявит войну России и вторгнется на ее территорию на Карельском перешейке. Далее в меморандуме говорилось, что весь план уже в деталях разработан Елизаветой и иностранными дипломатами и что видную роль в заговоре играет личный хирург цесаревны И. Г. Лесток, который выполняет роль связного между цесаревной и иностранными дипломатами, замешанными в антиправительственном заговоре *(РИО, 91, с.52)*.

Сразу скажем, что английская разведка поработала на славу - информация, содержавшаяся в меморандуме Гаррингтона, была абсолютно достоверной. О содержании этого документа Финч тотчас известил первого министра правительства Ивана Антоновича - графа Остермана, а также отца императора, принца Антона-Ульриха. Последний отвечал английскому дипломату, что власти действительно располагают некоторыми сведениями о недипломатической деятельности французского и шведского посланников, аккредитованных при российском дворе. Антон-Ульрих признался также, что сам он давно заподозрил Шетарди и Нолькена в тайных замыслах против императора Ивана, заметил он и тесную связь хирурга цесаревны Лестока с Шетарди, а также то, что «этот посланник часто отправляется по ночам переодетый к принцессе Елизавете и что как нет никаких признаков тому, что между ними существовали любовные отношения, то должно думать, что у них пущена в дело политика». Наконец, отметил принц, Елизавета Петровна ведет себя так двусмысленно, что рискует оказаться в монастыре *(Пекарский, с.256)*.

Конечно, демарш Финча не был актом бескорыстия - Англия не хотела, чтобы в результате прихода к власти Елизаветы, которую поддерживала через своего посланника враждебная Британии Франция, позиции французов в России усилились. Этим и объясняется, как понимает читатель, столь необычный и откровенный меморандум лорда Гаррингтона.

Однако выводов из этого послания русское правительство так и не сделало. Это нередко случалось в нашей истории - даже дружественным предупреждениям из-за границы у нас не принято верить: «Кто их знает, этих иностранцев? а вдруг их предупреждения - провокация? Ведь нам все в мире завидуют и добра не желают!» Одним словом, все осталось по-прежнему. Остерман лишь обратился к Финчу со странной, с точки зрения дипломатического протокола, просьбой - позвать к себе в гости Лестока и за бокалом вина повыведать у него побольше о

замыслах цесаревны Елизаветы. Финч работать агентом русского правительства отказался, сказав, что «если посланников и считают за шпионов своих государей, то все-таки они не обязаны нести эти должности для других» *(Пекарский, с.256)*.

Наконец, к осени 1741 года о готовящемся путче Елизаветы знали уже многие и в Петербурге, и за границей. Мартовский меморандум Гаррингтона находил все новые и новые подтверждения. Летом 1741 года Швеция, как и предсказывал Гаррингтон, неожиданно объявила России войну и ее армия вторглась на русскую территорию. Начались военные действия на Карельском перешейке. В октябре 1741 года среди трофеев, доставшихся русской армии, оказались отпечатанные манифесты шведского главнокомандующего генерала К. Э. Левенгаупта к русскому народу, в которых говорилось, что шведы начали войну исключительно из самых благородных целей - они якобы хотят освободить русский народ от засилья «чужеземцев, дабы он мог свободно избрать себе законного государя». Все понимали, что «чужеземцы» - это Иван Антонович, его родители и вся Брауншвейгская фамилия, а «законный государь» - цесаревна Елизавета Петровна. Особое беспокойство у властей вызвало письмо, полученное из Силезии. Его автор - хорошо информированный русский агент, сообщал, что заговор Елизаветы уже окончательно оформился и близок к осуществлению; для его предотвращения необходимо немедленно арестовать Лестока, в руках которого сосредоточены все нити заговора. А.И.Остерман предложил правительнице Анне Леопольдовне последовать совету агента из Бреславля. К этому времени он получил еще одно донесение от агента из Брабанта, который также писал и о заговоре Елизаветы, и о связях заговорщиков со шведским командованием.

Позже, уже в 1742 году, когда арестованный Остерман и другие деятели правительства Анны Леопольдовны были допрошены в Тайной канцелярии, Остерман показал, что все эти известия обсуждались им с принцем Антоном-Ульрихом и с самой правительницей и «были такие рассуждения… в бытность его во дворце, что ежели б то правда была, то надобно предосторожность взять, яко то дело весьма важное и государственного покоя касающееся и при тех рассуждениях говорено от него, что можно Лештока взять и спрашивать». Он же предложил Анне Леопольдовне, под видом обычного разговора, поподробнее расспросить цесаревну, а если правительница сочтет это неудобным, то допросить Елизавету «в присутствии господ кабинетных министров» *(Изложение вин, с.261)*. Правительница согласилась с этим мнением Остермана, но оказалась, к своему

несчастью, неумелым следователем. На ближайшем куртаге-приеме при дворе в понедельник 23 ноября 1741 года, прервав карточную игру, правительница встала из-за стола и пригласила тетушку Елизавету для беседы в соседний покой…

Как пишут романисты, последуем за дамами и послушаем, о чем пойдет беседа… А впрочем, не лучше ли остаться пока за порогом дворцового покоя и, поджидая возвращения дам, рассказать читателю, который не знает или подзабыл историю, о династической ситуации того времени, ставшей, в конечном счете, причиной кризиса 1740-1741 годов. Рассказ этот следует начать издалека - с 1682 года, когда умер русский царь Федор Алексеевич и на престоле оказалось сразу двое его малолетних братьев: старший - Иван V Алексеевич и младший - Петр I Алексеевич под регентством правительницы - их сестры, царевны Софьи Алексеевны, которая в регентши, как известно, навязалась к братьям насильно.

После того, как в 1689 году Петр победил Софью, система двоевластия Ивана и Петра сохранилась, хотя фактически царь-реформатор правил страной в одиночестве. Больной и слабоумный царь Иван умер в 1696 году, оставив после себя вдову - царицу Прасковью Федоровну и трех дочерей - Екатерину, Анну и Прасковью. Самой большой трагедией Петра Великого в конце его жизни стало то, что у него не осталось сыновей, которым он мог бы передать престол и страну. Когда в конце января 1725 года он умирал, то у его постели стояли только дочери: старшая - Анна, средняя - Елизавета и младшая - Наталья, которая вскоре тоже умерла и гроб которой несли рядом с гробом великого царя. Императорский престол перешел к жене Петра - императрице Екатерине I, а она, поцарствовав всего два года, умерла в 1727 году. Перед кончиной Екатерина завещала корону 12-летнему внуку Петра Великого и сыну покойного царевича Алексея Петровича (старшего сына от брака Петра I и Евдокии Лопухиной) Петру II. Но юный император также правил недолго: в начале 1730 года он заболел оспой и умер 19 января того же года.

Собравшиеся в эту ночь на совещание высшие государственные сановники обратили свой взор на наследников царя Ивана V Алексеевича и единодушно выбрали в императрицы среднюю, бездетную дочь старшего брата Петра I Анну Ивановну. К этому времени она жила в Митаве - столице тогдашнего герцогства Курляндия (на территории современной Латвии) как герцогиня, точнее - как вдова курляндского герцога Фридриха-Вильгельма, за которого еще в 1710 году выдал свою племянницу Петр Великий.

Старшая сестра Анны, Екатерина Ивановна, тоже была герцогиней - еще в 1716 году Петр I отдал ее в жены другому немецкому герцогу - Карлу-Леопольду Мекленбургскому. В этом несчастливом браке родилась девочка - Елизавета-Екатерина-Христина. В 1721 году Екатерина Ивановна вместе с дочкой вернулась в Россию. Она не вынесла сурового обращения своего мужа - человека грубого и психически неуравновешенного. Итак, когда в 1730 году к власти пришла Анна Ивановна, династическая перспектива для Романовых не стала яснее - в старшей ветви рода (от царя Ивана V) оставались только женщины - Мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна, ее дочь Елизавета-Екатерина-Христина, а также незамужняя (официально) младшая сестра царевна Прасковья Ивановна. Причем сестры Анны Ивановны, Прасковья и Екатерина, умерли вскоре после ее вступления на престол. Первая скончалась в 1731, а вторая - в 1733 году.

Не лучше было положение и в младшей ветви Романовых (от Петра I). К 1730 году в живых оставалось лишь двое: дочь Петра Великого и Екатерины I цесаревна Елизавета Петровна и ее племянник, сын ее умершей в 1728 году старшей сестры Анны Петровны Карл-Петер-Ульрих, который родился от брака Анны Петровны с голштинским герцогом Карлом-Фридрихом. Это и был единственный мужской наследник всего рода Романовых.

Однако императрица Анна Ивановна не хотела передавать ему трон. Она решила испытать судьбу и в 1731 году приняла закон о престолонаследии, согласно которому трон отходил к сыну ее племянницы Елизаветы-Екатерины-Христины, которого та еще только должна была когда-нибудь родить в браке с каким-либо принцем благородной крови. Это было очень странное, просто уникальное высочайшее распоряжение. Оно вызвало удивление даже у видавших виды русских людей. В обществе недоумевали: «Кто же может поручиться, что в этом будущем браке будут дети и что непременно родится мальчик, которому предназначен русский престол?»

Во исполнение этого дивного закона принцессу Мекленбургскую окрестили в православную веру в 1733 году, и она стала Анной Леопольдовной, причем, непонятно, почему вместо первого имени отца (Карл) было выбрано второе (Леопольд).

Позже нашли и жениха, принца Брауншвейг-Люнебургского Антона-Ульриха. После долгих проволочек и сомнений - жених не подходил - в 1739 году все же сыграли свадьбу, а в августе 1740 года у Анны Леопольдовны родился, как по заказу императрицы, мальчик. В честь деда, царя Ивана V, его назвали Иваном. Это и был печально знаменитый в анналах XVIII века император Иван

Антонович - «железная маска» русской истории.

Не прошло и двух месяцев после рождения ребенка, который приходился Анне Ивановне внучатым племянником, как сама императрица заболела и 17 октября 1740 года умерла. Перед кончиной она подписала завещание, согласно которому престол наследовал младенец Иван Антонович, а регентом при нем (до совершеннолетия императора) становился фаворит императрицы Анны герцог Курляндский и Семигальский Эрнст-Иоганн Бирон, который и вынудил умирающую Анну Ивановну подписать такое завещание. Однако регентствовал он недолго - до 9 ноября 1740 года, когда его сверг фельдмаршал Бурхард Христофор Миних, получивший поддержку у обиженных на властного Бирона родителей императора - принцессы Анны Леопольдовны и принца Антона-Ульриха. В результате этого переворота Бирон отправился в сибирскую ссылку, а принцесса была объявлена при малолетнем сыне-императоре правительницей империи. Ее муж стал третьим в истории (после боярина А.С.Шеина и А.Д.Меншикова) генералиссимусом русской армии.

Таким образом, в интересующее нас время, то есть в конце ноября 1741 года, на престоле восседал (точнее - возлежал) годовалый младенец Иван VI. Почему шестой? При таком счете учитывались все Иваны - в том числе великие московские князья: Иван I Калита, Иван II и покоритель Новгорода и освободитель России от власти Золотой Орды Иван III. Иногда, особенно в официальных бумагах, младенца-императора называли Иоанном III, то есть вели счет по царям, начиная с первого русской царя - Ивана Грозного.

После свержения Бирона и последовавшего затем удаления Миниха, который успешно сделал свое дело и в услугах которого при дворе более не нуждались, власть перешла в руки великой княгини и правительницы Анны Леопольдовны. И вот мы подходим как раз к тому моменту, с которого начали наш вынужденный исторический экскурс у порога покоев, за которым скрылись Анна Леопольдовна и Елизавета Петровна, приходившаяся Анне Леопольдовне, как теперь понимает просвещенный читатель, двоюродной теткой. А теперь, пожалуй, пора заглянуть и в покои дворца, где уединились тетка с племянницей…

…Держа в руках полученное от бреславского агента письмо, правительница пыталась приструнить тетушку по-семейному, настаивала на том, что так родственникам поступать негоже и что только доброе родственное чувство, которое питает племянница к тетушке, не позволяет ей последовать советам Остермана и других, а именно - арестовать подозреваемых в заговоре и пытать

Лестока. Как писал в своих «Записках» генерал Х. Г. Манштейн, «цесаревна прекрасно выдержала этот разговор, она уверяла великую княгиню, что никогда не имела в мыслях предпринять что-либо против нее или против ее сына, что она была слишком религиозна, чтобы нарушить данную ей присягу», и что все эти известия сообщены правительнице врагами, желавшими сделать цесаревну несчастной…» *(Манштейн, с.232)*. Тем не менее Елизавета сильно перетрусила и, всячески открещиваясь от обвинений, может быть и всплакнула. Ее простодушная «следовательница», по-видимому, действительно поверила словам тетки. На этом разговор окончился. Когда обе дамы вышли вновь к гостям, они были весьма взволнованы, что тотчас и отметили присутствовавшие на куртаге дипломаты. Как писал потом французский посланник Шетарди, «правительница… в частном разговоре с принцессой в собрании во дворце сказала ей, что ее предупреждают в письме из Бреславля быть осторожной с принцессой Елизаветой и особенно советуют арестовать хирурга Лестока, что она поистине не верит этому письму, но надеется, что если бы означенный Лесток признан был виновным, то, конечно, принцесса не найдет дурным, когда его задержат. Принцесса Елизавета отвечала на это довольно спокойно уверениями в верности и возвратилась к игре. Однако сильное волнение, замеченное на лицах этих двух особ, подало случай к подозрению, что разговор должен был касаться важных предметов» *(Пекарский, с.629-630)*.

Вернувшись после памятного куртага к себе во дворец, Елизавета испытывала, вероятно, страх. Она прекрасно понимала, что в случае ареста Лестока разоблачение неминуемо - болтливый и слабовольный хирург знал так много, а в Тайной канцелярии у страшного ее начальника Андрея Ивановича Ушакова он бы непременно заговорил только при одном виде дыбы. И тогда цесаревну ждали дальний монастырь, постриг, словом - прощай сладкая жизнь! Надо сказать, что опасения цесаревны были небезосновательны: после ее прихода к власти один из церковных иерархов архиепископ Новгородский Амвросий Юшкевич показал на следствии, что при дворе вынашивали проект заточения цесаревны в монастырь. Правда неясно, почему в качестве обители для непослушной тетушки Анна Леопольдовна выбрала мужской Троице-Сергиев монастырь *(АВ, 1, с.67)*. Возможно, шла речь не о пострижении, а лишь об изоляции опасной соперницы, что, конечно, все равно сильно огорчило бы веселую дочь Петра. Нет, этого допустить было нельзя! Раз встав на путь лжи и клятвопреступлений, Елизавета уже решила до конца не сходить с него. Через сутки, в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года, горячо, со

слезой, помолившись Богу, цесаревна надела кавалерийскую кирасу и с тремя приближенными села в сани. По ночным улицам заснеженной столицы она полетела в слободу Преображенского полка, находившуюся в районе современного Преображенского собора и улицы Пестеля. Там цесаревну уже ждали. Гвардия была готова вступить в дело.

Создавая в начале 1690-х годов Преображенский и Семеновский полки - первые гвардейские части, - Петр Великий хотел иметь под рукой отборное, надежное войско, которое можно было бы противопоставить стрельцам. Как известно, стрельцы - привилегированные пехотные полки московских царей - к концу XVII века стали активно вмешиваться в политику. «Янычары!» - так, уподобляя стрельцов турецкой придворной пехоте, презрительно называл их Петр. У него были особые причины для страха и лютой ненависти к бородатым и длиннополым воинам - навсегда он, десятилетний мальчик, запомнил жуткое майское утро 1682 года, когда, подчиняясь воле его старшей сестры и соперницы царевны Софьи, пьяные и разъяренные от крови и безнаказанности стрельцы с высокого кремлевского крыльца метали на копья кровожадной толпы ближайших родственников и верных слуг царя Петра и его матери, царицы Натальи Кирилловны.

Разогнав стрелецкие полки, царь создал замечательную воинскую часть - гвардию. Но не успел основатель и первый полковник Преображенского полка закрыть глаза (он умер в ночь на 28 января 1725 года), как его любимцы в зеленых мундирах превратились в новых янычар - уже в эту трагическую ночь русской истории они вышли на политическую авансцену и благодаря им к власти пришла императрица Екатерина I Алексеевна. История русской гвардии XVIII века вообще противоречива. Прекрасно снаряженные, образцово вооруженные и обученные, гвардейцы всегда были гордостью и опорой русского престола. Их мужество, стойкость, самоотверженность много раз решали в пользу русского оружия судьбу сражений, кампаний, целых войн. Не одно поколение русских людей замирало в государственном восторге, любуясь на ровный нарядный строй гвардейских батальонов во время их торжественного марша по Марсовому полю - главной площади военных торжеств в Петербурге.

Но есть и иная, менее героическая страница в летописи императорской гвардии. Гвардейцы - эти красавцы, дуэлянты, волокиты, избалованные вниманием столичных и провинциальных дам, - составляли особую привилегированную воинскую часть русской армии со своими традициями, обычаями,

психологией, которую можно расценивать как преторианскую (вспоминая Древний Рим, где преторианцы ставили и свергали императоров). Как известно, постоянной и главной обязанностью гвардии была охрана покоя и безопасности двора и царской семьи. Стоя на часах снаружи и внутри царского дворца, они видели как бы «изнанку» придворной жизни, оборотную сторону этого волшебного для миллионов простых подданных бытия среди зеркал и «марморовых» статуй. Известен случай из времен императрицы Анны Ивановны, который произошел с юношей Петром Паниным - будущим крупным военным деятелем времен Екатерины II. Он служил в гвардии и как-то раз стоял на часах во дворце в тот момент, когда мимо него проходила государыня императрица. Тут юношу поразил… приступ зевоты. Он «успел пересилить себя. Тем не менее судорожное движение челюстей было замечено императрицей, отнесшей это действие часового к намерению сделать гримасу, и за эту небывалую вину несчастный юноша» был списан в армейский полк и отправлен простым солдатом на турецкую войну, которую в это время вел фельдмаршал Миних *(Петров, с.565)*.

Трудно представить себе, чтобы у простого смертного, попавшего во дворец, при виде самодержицы возник позыв к зевоте. Мимо же стоящих навытяжку гвардейцев в царские спальни прокрадывались фавориты, часовые слыхивали, как бранятся и даже дерутся между собой высокопоставленные особы. Словом, уважения даже к носителям власти Преображенские гвардейцы не питали, и уж подавно они не испытывали благоговейного трепета перед блещущими золотом и бриллиантами придворными. Они скучали на пышных церемониях и обедах - для них все это было привычно, и обо всем они имели свое, часто нелестное, мнение.

В итоге - и это очень важно - у гвардейцев складывалось особое и весьма высокое представление о собственной роли в жизни двора, столицы, России. Однако оказывалось, что «свирепыми русскими янычарами» можно успешно манипулировать. Лестью, посулами, деньгами иные дельцы умели направить раскаленный гвардейский поток в нужное русло, так что усатые красавцы даже не подозревали о своей жалкой роли марионеток в руках интриганов и авантюристов. Как стало известно из материалов следствия 1742 года по делу Миниха, свергшего во главе отряда гвардейцев регента Бирона 9 ноября 1740 года, фельдмаршал воодушевлял гвардейских солдат речью о том, что они сильны и «кого хотят государем, тот и быть может - хотя принца Иоанна или герцога Голштинского» *(Изложение вин, с.22)*. Так Миних льстил гвардейцам и одновременно их

обманывал. Как выяснилось на том же следствии, он говорил солдатам, что ведет их свергать Бирона для того, чтобы императрицей стала цесаревна Елизавета. На самом же деле он даже не думал об этом - судьба власти была заранее решена в пользу родителей Ивана Антоновича.

Примечательно, что на следствии в Тайной канцелярии фельдмаршала - своего бывшего вождя - обличали во лжи девять участников переворота 9 ноября 1740 года, которые давали показания уже как лейб-компанцы, то есть как участники нового переворота 25 ноября 1741 года в пользу Елизаветы. Иначе говоря, гвардейцам было все равно кого свергать - сегодня Бирона, завтра Миниха, послезавтра Анну Леопольдовну. Поэтому гвардия, как обоюдоострый меч, была опасна и для тех, кто пользовался ее услугами. Власть императоров и первейших вельмож нередко становилась заложницей необузданной и капризной вооруженной толпы гвардейцев. Эту будущую зловещую в русской истории роль гвардии проницательно понял французский посланник в Петербурге Жан Кампредон, сразу же после вступления на престол Екатерины I в конце января 1725 года написавший в донесении своему повелителю Людовику XV такие слова:

«Решение гвардии здесь закон».

И это была правда. XVIII век вошел в русскую историю как «век дворцовых переворотов». Эти перевороты делались руками гвардейцев.

Все дворцовые перевороты XVIII века с участием гвардии похожи друг на друга, но все-таки каждый имел какой-то свой оттенок, свою особенность. Если участие гвардии при восшествии на престол Екатерины I в январе 1725 года можно условно назвать «переворотом скорби», когда потрясенные смертью «Отца Отечества» люди в гвардейских мундирах со слезами на глазах пошли за Екатериной и Меншиковым - самыми близкими покойному людьми, продолжателями дела только что скончавшегося великого царя, то переворот 1762 года, свергший ненавистного гвардии Петра III, можно назвать «переворотом гнева», направленного против императора, попиравшего национальные и религиозные чувства русских людей. Ночной же мятеж 25 ноября 1741 года, возведший на престол Елизавету Петровну, был истинным «переворотом любви», плодом давнего «романа», который возник между цесаревной и гвардейцами.

Произошло это не вдруг. Популярность дочери Петра Великого среди гвардейцев упрочилась лишь к концу 1730 - началу 1740-х годов. Шетарди писал, что Миних, придя во дворец

к цесаревне «с пожеланиями счастья в Новый (1741) год, был чрезвычайно встревожен, когда увидел, что сени, лестница и передняя наполнены сплошь гвардейскими солдатами, фамильярно величавшими принцессу своей кумой; более четверти часа он не в силах был прийти в себя в присутствии принцессы Елизаветы, ничего не видя и не слыша» *(РИО, 92, с.231-232)*. Изумление старого фельдмаршала понять можно - ведь он всегда считал, что именно его, «Столпа Отечества» (так Миних называл себя в мемуарах), изумительного храбреца и красавца, безумно любят солдаты русской армии.

Между тем цесаревна давно и последовательно добивалась расположения гвардейцев. Они звали ее кумой и на «ты» потому, что дочь Петра Великого, как и ее незабвенный отец, часто соглашалась стать крестной матерью новорожденных у простых гвардейских солдат. Цесаревна дарила роженице золотой и запросто, не жеманясь, выпивала со счастливыми родителями чарку водки за здоровье своего очередного крестника. А как известно, крестная связь, кумовство на Руси признавалось родством не менее близким, чем родство кровное. Поэтому надо думать, что когда пришел ее час, цесаревна возглавила штурмовой отряд не просто гвардейцев, но и отчасти своих родственников. Словом, триста разгневанных кумовьев возвели свою куму на престол. И вообще, в поведении, манерах цесаревны было много симпатичных простым солдатам черт - она была добра, ласкова к ним, «взором любезна» и во всем этом выигрывала в сравнении с императрицей Анной Ивановной - женщиной грубой, неласковой и некрасивой.

Расположение или, как тогда говорили, «горячность», которое подчас публично проявляли к цесаревне гвардейцы, усиливалось еще и тем, что Елизавета казалась им такой нежной и беззащитной, угнетенной людьми плохими, да к тому же иностранцами, вроде Бирона или членов Брауншвейгской фамилии, занявших престол великого Петра. А между тем в глазах гвардии Елизавета была единственным человеком, в котором струилась кровь Петра - да так оно и было! Не только в глазах гвардии, но и народа она была своей, русской (скажем, как в пьесе, «в сторону», наполовину - все-таки ее матушка русской крови не имела). В гвардейской среде Петра Великого обожали, о нем говорили с восторгом. Списки гвардейцев, тех, кто пошел ночью 25 ноября 1741 года вместе с Елизаветой на мятеж, примечательны тем, что состоят на треть из солдат, начавших свою службу еще при Петре, причем более пятидесяти из них участвовали в Северной войне 1700-1721 годов и в Персидском походе 1722-1723 годов. Иначе говоря, к 1741 году ветераны этих

войн были испытанными бойцами; некоторым из них стукнуло пятьдесят - по тем временам возраст весьма почтенный. Можно представить себе, как в казармах и на бивуаках такой седоусый «дядька» рассказывал окружавшим его молодым солдатам о походах с великим полководцем, о его дочери - красной девице, умнице и помощнице, которую они видели вместе с великим царем. В таких рассказах на Елизавету распространялась харизма первого императора.

А слушатели у ветеранов были благодарные - из трех сотен будущих мятежников 1741 года 120 человек относились к зеленым юнцам, записанным в гвардию в 1737-1741 годы, причем 73 из них были рекрутами из крестьян. Пусть не покажется читателю странным, что в гвардии - оплоте русского дворянства - служили простые крестьяне, а также бывшие посадские, разночинцы и даже холопы. Включение их в гвардейские полки, да еще в первую (самую почетную) роту Преображенского полка, не было случайностью, а явилось следствием целенаправленной кадровой политики правительства императрицы Анны Ивановны. Когда в 1741 году начались допросы свергнутого регента Бирона, то его, кроме серьезных государственных преступлений, обвиняли также и в «разбавлении подлыми» людьми элитных частей, что делалось им якобы «для лучшего произведения злого своего умысла» по захвату власти. Известно, что свергнутый Бирон (как и Остерман позже, в деле 1742 года) во время этого следствия играл роль козла отпущения и отвечал за все грехи аннинского царствования. Между тем политика вытеснения дворян из гвардии была изобретена не злобным временщиком, а самой императрицей Анной Ивановной. Вступив в 1730 году на престол при чрезвычайных обстоятельствах, когда большая часть дворян составляла проекты по ограничению императорской власти, Анна на всю свою жизнь сохранила недоверие к своим подданным-дворянам и всегда опасалась нового «замешания», подобного движению начала 1730 года. Одним из первых ее шагов на государственном поприще стало учреждение нового гвардейского полка - Измайловского, в который совсем неслучайно набрали мелких служилых людей с южных окраин - однодворцев, а офицерами, в большинстве своем, назначили иностранцев. Происходило это не от большой любви государыни ко всему иностранному, а от недоверия Анны к отечественному дворянству. В том же ключе следует рассматривать и обновление старых гвардейских полков, воинам которых весьма не нравилось появление новых любимчиков государыни - измайловцев.

Но в своих расчетах Анна Ивановна и Бирон ошиблись. Новые люди, включенные в ряды Преображенского и Семеновского

полков, не меняли общих настроений гвардии. Простые деревенские парни тотчас проникались корпоративной психологией гвардейцев, становились такими же преторианцами, как и служившие там дворяне. Новое пополнение с восторгом слушало рассказы ветеранов о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах и о великом царе, который - не чета нынешним правителям!

Как и всегда, разговоры о том, что «нынешнее есть хуже вчерашнего», были одними из самых популярных в народной и солдатской среде. Об этом с ясностью говорят материалы политического сыска, доносы и допросы в Тайной канцелярии. Можно без преувеличения утверждать, что в русской истории, за редким исключением, не было государя, которого бы любили в народе в те годы, когда он правил страной. Как известно, о Петре I при его жизни повсеместно говорили как об антихристе, кровопийце, развратнике и нарушителе всех мыслимых и немыслимых запретов и законов, разорившем страну бесчисленными поборами, налогами и повинностями. Но проходили годы, и образ грозного царя в народном сознании менялся, плохое и страшное забывалось. В памяти стареющих современников Петра Великого, соприкоснувшихся с ним при его жизни, оставался облик бесстрашного воина, реформатора, прославившего на весь мир Россию как великую державу. Царь, действительно дравший три шкуры со своего народа, в мифологии представал народным защитником, сильным, крутым, но справедливым. Кстати, таков удел в фольклоре и Ивана Грозного. Гвардейцы, затаив дыхание, слушали крамольную песню, которую заводил ветеран-патриот - а за нее могли в случае доноса «урезать язык»:

Ты откройся-ка гробова доска,
Из гробницы встань, русский белый царь.
Ты взгляни-ка царь, радость гвардии,
Как полки твои в строю стоят,
Опустив на грудь свои головы.
Что не царь нами теперь властвует,
И не русский князь отдает приказ,
А командует, потешается
Злой тиран Бирон из Неметчины.
Встань-проснись, царь, наше солнышко,
Хоть одно слово полкам вымолви,
Прикажи весь сор метлой вымести
Из престольного града Питера.

«Да и что тут говорить - не чета был покойный царь тем, кто сейчас там расселся!» - кручинился такой ветеран и тыкал пальцем вверх. А что было там? Дитя-император в люльке, бесцветная мать его Анна Леопольдовна, дичившаяся публики и прятавшаяся в дальних комнатах дворца, отец государя принц Антон-Ульрих, хотя и генералиссимус, да какой-то несолидный, невидный, негрозный и недородный, а несмелый и вялый - одно название, что генералиссимус… А чувства, как известно, в общественных настроениях играют роль более важную, чем логика, здравый смысл и даже реальная политика. Да и политика правительства Анны Леопольдовны не отличалась решительностью, определенностью и активностью. Только потом, при императрице Елизавете Петровне, когда со времен краткого правления Анны Леопольдовны пройдет время, снова заработает принцип: «Раньше было лучше, чем теперь». И тогда новые «клиенты» Тайной канцелярии станут поминать добрым словом правительницу Анну Леопольдовну, которая, оказывается, была милостива к людям, мухи никогда не обидела, вела себя всегда скромно и денег государственных не транжирила, как государыня нынешняя…

Представление о том, что в стране в конце 1730 - начале 1740-х годов царил свирепый режим иностранных поработителей, ошибочно. Ни Анна Ивановна, ни ее фаворит Бирон, ни сменившая их у власти Брауншвейгская фамилия не вели политики, которая наносила бы ущерб национальным, а тем более имперским интересам России *(см. подробнее Анисимов, 1994)*. Даже во времена безвольного регентства правительницы Анны Леопольдовны русская армия, возглавляемая иностранцем по происхождению генералом Петром Ласси, одержала в августе 1741 года блестящую победу над шведами в Финляндии, у крепости Вильманстранд.

Конечно, то, что иноземцы заняли высокие места при «природнорусской» императрице Анне Ивановне, боявшейся, как уже сказано выше, политической активности собственных соплеменников - героев политических дискуссий 1730 года, раздражало патриотов. Один из них, некто Иван Самгин, в 1739 году говорил товарищам: «Вот наши министры и прочие господа мимо достойной наследницы государыни цесаревны (Елизаветы Петровны) избрали на престол российской эту государыню (Анну Ивановну), чая, что при ней не будут иноземцы иметь большину (то есть преимущество. - *Е.А.*), а цесаревну мимо обошли… Но Бог за презрение достойного наследника сделал над нашими господами так, что (только) на головах их не ездят иноземцы» *(Германн, с.177; Чистович, с.545)*.

Патриоты, как это бывает им свойственно, имели короткую память и забывали, что иностранцев «натащил» в Россию сам Петр Великий, который более других заботился о могуществе и самостоятельности России. Он использовал иностранцев именно для этих целей, и они никогда не представляли опасности для национального существования России. При этом, приводя сочувственные дочери Петра Великого высказывания патриотов, не следует забывать, что сами эти патриоты оказывались в застенках Тайной канцелярии рядом с теми, кто выражался о цесаревне Елизавете Петровне совсем не так доброжелательно, а даже наоборот - весьма презрительно. Одни сидели за то, что называли цесаревну незаконнорожденной («выблядком»), рожденной до брака Петра и Екатерины, а потому недостойной короны российских императоров. Другие не могли простить ей происхождение от лифляндской простолюдинки-прачки Марты Скавронской. Третьи припоминали ее легкомысленное поведение после смерти Петра Великого.

Не следует преувеличивать поддержку Елизаветы в дворянской среде. Дворянство никогда не выступало сплоченной массой на защиту интересов дочери Петра Великого. Именные списки лейб-компании, то есть тех 308 гвардейцев, которые и совершили переворот, позволяют сделать вывод, что среди них дворяне составляли менее одной пятой от общего числа мятежников - всего 54 человека. Все остальные участники мятежа происходили из крестьян, горожан, церковников, солдатских детей, казаков, причем крестьяне составляли почти половину - 44% *(Именные списки)*. В среде «повстанцев» 1741 года не оказалось ни одного представителя знатных дворянских родов, не было даже ни одного офицера. Елизавета явилась императрицей солдатни, да и то ничтожной ее части - известно, что переворот 25 ноября 1741 года осуществили три сотни гвардейцев из десяти тысяч гвардейских солдат, мирно спавших по своим слободам в решающую для России ночь!

Забегая вперед, заметим, что идея о засилье иноземцев до восшествия на престол Елизаветы Петровны активно эксплуатировалась именно во время ее царствования. Эта идея стала одним из идеологических постулатов внутриполитической доктрины елизаветинского правления - особенно на начальном этапе - и, в конечном счете, оказала сильное влияние на восприятие потомками (в том числе историками и литераторами) времени Анны Ивановны и Анны Леопольдовны как некоего темного царства зла и национального угнетения. Запуганный еще в нежном детстве литературными ужасами «Ледяного дома» Ивана Лажечникова, читатель ставил так называемую

«бироновщину» в один ряд с террором времен Ивана Грозного или государственным разбоем Иосифа Сталина, что неправильно.

Итак, не было засилья иностранцев, против которых восстала бы гордая дочь Петра Великого. Не было поддержки дворянства, офицерства, большинства гвардии. Так почему же переворот удался, почему с такой легкостью цесаревна стала императрицей? Думаю, что первая причина ее успеха - благоприятная политическая конъюнктура, точнее - слабость правящей власти. Ранее, во времена суровой Анны Ивановны и волевого Бирона, цесаревна Елизавета и подумать бы не могла о перевороте - так она боялась этих людей. Во времена регентства Анны Леопольдовны ситуация резко изменилась, с политической сцены сошли самые яркие, решительные деятели, наступило некое безвременье. Как мы видели, режим правительницы ничего не предпринял для того, чтобы предупредить уже назревший мятеж. Вторая причина успеха - решительность окружения Елизаветы, толкавшего ее к незамедлительным, волевым действиям, обещавшего ей, дочери Петра Великого, в случае успеха, безусловную поддержку гвардии и народа. Третья причина - честолюбие самой цесаревны и ее беспокойство о будущем, которое оставалось для нее неясным. Наконец, важным фактором переворота стали иностранное влияние и иностранные деньги, которыми были подкуплены будущие участники путча.

* * *

Причастность к заговору иностранных дипломатов - одна из интереснейших черт переворота 25 ноября 1741 года, которую потом победители всячески скрывали. Сближение Елизаветы Петровны со шведским посланником Нолькеном произошло осенью 1740 года. Накануне смерти императрицы Анны Ивановны (она скончалась 17 октября) шведский посланник получил особую депешу из Стокгольма от президента Государственной канцелярии (которая в Швеции выполняла функции Министерства иностранных дел) графа К. Юлленборга. Эта бумага привела к важным международным событиям и, в конечном счете, повлияла на ситуацию в России. Дело в том, что опытный политик Юлленборг предвидел: если умрет императрица Анна Ивановна, то в России неизбежно начнется смута и завяжется борьба за власть. Поэтому необходимо уже сейчас войти в контакт с одной из русских оппозиционных придворных группировок, которая в обмен на шведскую финансовую и военную помощь еще до своего прихода к власти

согласится на территориальные уступки Швеции. Не нужно забывать, что с момента заключения Ништадтского мира 1721 года, которым Швеция признала свое поражение в Северной войне 1700-1721 годов, прошло всего лишь двадцать лет. В среде шведской аристократии и дворянства была свежа горечь поражения в войне с Россией, и многие в Швеции жаждали реванша, ожидая для этого лишь подходящего момента. Проблема войны и мира с Россией была темой политической, спекулятивной, она ожесточенно дебатировалась в рикстаге, при дворе, среди дворян, которые разделялись на две непримиримые партии: партию «шляп» - сторонников войны и реванша, и партию «колпаков», в которую входили приверженцы мирных отношений с опасным и непредсказуемым восточным соседом. Воинственные «шляпы» во главе с Юлленборгом победили на рикстаге 1739 года партию «колпаков», и Юлленборг возглавил правительство, начавшее подготовку к войне с Россией. Чтобы этому воспрепятствовать, русские дипломаты в Стокгольме щедро раздавали золото для подкупа высших сановников. Но в этот раз золотая плотина на пути войны явно оказалась невысокой, и шведская армия срочно доукомплектовывалась и стягивалась в Финляндию - к предполагаемому театру военных действий.

Юлленборг в упомянутом выше послании Нолькену дал дипломату задание - обеспечить успех военного предприятия в России тем, чтобы расколоть накануне войны русскую элиту. Шведский посланник приступил к исполнению воли начальства, иначе говоря, вмешался во внутренние дела России. Следует отметить, что такое неблаговидное поведение иностранных дипломатов в странах своего аккредитования считалось тогда делом обычным. Так вели себя дипломаты всех европейских стран. Русские посланники, например, снабжали деньгами тех же «колпаков» в шведском рикстаге и тратили огромные деньги на подкуп депутатов (послов) сейма Речи Посполитой, дабы добиться от этих стран политики, угодной Петербургу.

Вообще, кажется достойным внимания читателей официальное определение дипломатического представителя (министра) в стране его «резидентирования», данное в специальной записке Коллегии иностранных дел от 6 июня 1744 года: «Министр иностранный есть, яко представитель и дозволенный надзиратель поступков другого двора, для уведомления и предостережения своего государя о том, что тот двор чинить или предприять вознамеривается; одним словом министра никак лутше сравнять нельзя, как с дозволенным у себя шпионом… и потому сколь с одной стороны министры о всем происходящем разведывать стараются, столь, с другой, тщание

прилагается то, что не подлежит им ведать, от них скрывать и им не объявлять». Далее в записке говорится о тех пределах, в которые иностранный посланник «без лишения своего права вступаться не должен», а именно: «1. Поношение освященных государевых персон, качеств или склонностей их и прочая; 2. Всякое народное противу государя возмущение, подкупление чужих подданных и заведение тем себе партии и следственно опровержение ему противной, яко такие перемены единственно в государевой воле состоять имеют; 3. Посылка о состоянии того государства, в котором он резидирует, ко двору своему ругательных и предосудительных реляций». Забегая вперед, отмечу, что Нолькен и примкнувший к нему французский посланник маркиз Шетарди все эти пределы многократно преступали, впрочем, как и множество других дипломатов (в том числе и русских), интриговавших при иностранных дворах.

Но вернемся к Нолькену и его миссии. Группировок в русской правящей элите накануне смерти императрицы Анны Ивановны было три: Бирон и его клевреты, Брауншвейгская фамилия и группировка Елизаветы Петровны. Однако не успел Нолькен приготовиться к своей зловредной работе, как сразу же после смерти императрицы Анны Ивановны события в России стали развиваться так стремительно, что опередили все расчеты Юлленборга: Бирон, назначенный по завещанию императрицы регентом, был свергнут 9 ноября 1740 года; у власти укрепилась Брауншвейгская фамилия во главе с Анной Леопольдовной. Таким образом, никакой другой оппозиционной группировки, на которую следовало бы ориентироваться, кроме «партии» Елизаветы Петровны, в ноябре 1740 года не осталось. По-видимому, именно тогда Нолькен, пользуясь своим знакомством с хирургом цесаревны Иоганном Германом Лестоком, начал переговоры с Елизаветой - сначала через посредников, а потом и лично. Юлленборг поддержал усилия Нолькена и предписал ему согласовывать свои действия с французским посланником в Петербурге маркизом Иоахимом-Жаном Тротти де ла Шетарди, не так давно прибывшим в Россию.

Русско-французские отношения при Анне Ивановне не были теплыми, особенно после русско-польской войны 1733-1734 годов, когда Франция выступила на стороне противника России польского короля Станислава I Лещинского и в 1733 году отозвала из Петербурга своего дипломатического представителя Маньяна. Только через шесть лет Версаль решил восстановить свои отношения с Россией в полном объеме и послал в Петербург маркиза Шетарди, слывшего человеком ловким и опытным. Активность французской дипломатии была связана с тем, что

Версалю не нравились дружественные отношения России и Австрии. Как известно, Бурбоны враждовали тогда с Габсбургами, и борьбу с сильным при русском дворе австрийским влиянием Версаль считал важнейшей задачей Шетарди.

В инструкции Шетарди говорилось, что при вручении верительных грамот он, после всего что произошло между Францией и Россией, не может передать от короля императрице «уверения в самой нежной совершенной дружбе», а может засвидетельствовать лишь «удовольствие, которым преисполнен Его величество при возобновлении добрых отношений». Как понимает читатель, это была почти грубость, но Версаль тем самым решил удержать русских от объятий. Важнее было другое положение инструкции Шетарди, которое можно назвать шпионским. Посланнику предписывалось вести себя крайне осторожно, «но в то же время важно, чтобы маркиз Шетарди, употребляя всевозможные предосторожности, узнал, как возможно вернее, о состоянии умов, о положении русских фамилий, о влиянии друзей, которых может иметь принцесса Елизавета, о сторонниках дома Голштинского, которые сохранились в России, о духе в разных корпусах войск и тех, кто ими командует, наконец обо всем, что может дать понятие о вероятности переворота, в особенности, если царица скончается прежде, чем сделает какое-либо распоряжение о наследовании престолом» *(Пекарский, с.40-41)*.

Шетарди оказался в русской столице тем более кстати, что почти сразу же после его приезда в Петербурге произошли важные и стремительные события и после смерти императрицы Анны Ивановны к власти пришла Брауншвейгская фамилия, родственная династии Габсбургов. Все это удвоило усилия посланника в борьбе против ненавистного австрийского влияния. Словом, в конце 1740 года цели французской и шведской дипломатий совпали - и Франция, и Швеция были заинтересованы в свержении Брауншвейгской фамилии. Все это благоприятствовало возможному сотрудничеству дипломатов, тем более что Швеция и Франция всегда находились в дружественных отношениях и Франция постоянно поддерживала шведов против русских.

Однако совместные действия Нолькена и Шетарди наладились не сразу. Шетарди был преисполнен скепсиса относительно Елизаветы и ее возможностей как политика. Он признавал, что цесаревна пользуется популярностью в русском обществе как дочь Петра Великого, но считал, что «страсть к удовольствиям ослабила у этой принцессы честолюбивые стремления; она находится в состоянии бессилия, из которого не

выйдет, если не послушается добрых советов». Но и здесь препятствие: «Советчиков же у нее нет никаких, она окружена лицами, неспособными давать ей советы. Отсюда необходимо происходит уныние, которое вселяет в нее робость даже относительно самых простых действий» *(РИО, 92, с.54-55, 99)*.

Современный исследователь должен согласиться с тем, что многое в этой уничижительной характеристике Елизаветы - правда. Даже на вершине власти Елизавета проявляла поразительную нерешительность и чрезмерную осторожность. И советников у нее, действительно, не было, а первым мудрецом слыл Лесток, человек легкомысленный и самовлюбленный. Так уж получилось - многие солидные политики сторонились двора цесаревны, чтобы не оказаться под подозрением ревнивой императрицы Анны Ивановны. Известно, что когда весной 1740 года началось громкое дело кабинет-министра Артемия Волынского, следователи пытались выведать у него, не связан ли он с цесаревной Елизаветой. Но Волынский считал цесаревну девицей легкомысленной, «ветреницей» и, как признавал дворецкий Волынского Василий Кубанец, который написал на своего господина больше десятка доносов, Волынский стремился «убежать цесаревны», «чтоб подозрения… не взяли б» *(РГАДА, 6, 1, 198, л.89)*.

Шетарди был так убежден в своей правоте относительно характера цесаревны, что уговаривал Нолькена бросить бесполезную затею. Однако с начала 1741 года француз изменил свой взгляд на эту проблему. Он не мог не заметить, что шведский посланник, соглашаясь со многими нелестными суждениями коллеги о Елизавете и с мыслями о ничтожности ее шансов захватить власть, тем не менее дела своего не бросал. Швед конфиденциально уверял Шетарди, что «партия принцессы Елизаветы не так ничтожна», как кажется со стороны, что цесаревна не сидит сложа руки, она уже вступила в переговоры с рядом крупных государственных деятелей и генералов, и - самое главное - гвардия готова к действиям в пользу дочери Петра Великого. Шетарди задумался… а потом написал министру иностранных дел Франции Ж. Ж. Амело, что следовало бы пересмотреть прежние распространенные суждения о цесаревне Елизавете и что «для службы короля будет важно оказать содействие вступлению на престол Елизаветы и тем привести Россию по отношению к иностранным государствам в прежнее ее положение», то есть в состояние, когда эта страна, поднятая Петром Великим на вершину могущества, не могла бы никоим образом угрожать французским интересам. А это станет возможно, когда во главе России окажется такая ничтожная

личность, какой была, по мнению Шетарди, цесаревна Елизавета. Одновременно маркиз не очень доверял Нолькену: а что если он прав, и в случае победы цесаревны Франция не сможет «разделить благодарность, которую стяжает Швеция, поддерживая интересы Елизаветы?» *(РИО, 96, с.187)*. Так он писал во Францию. С доводами Шетарди Амело согласился и разрешил посланнику ввязаться в подготовку заговора Елизаветы.

Шетарди с азартом устремился по пути интриг, он не на шутку увлекся романтикой тайных встреч, переодеваний, тайников, многозначительных улыбок на придворных балах. Мать будущей Екатерины II, княгиня Ангальт-Цербстская Иоганна Елизавета, писала со слов современников событий, что свидания Шетарди с доверенными лицами цесаревны «происходили в темные ночи, во время гроз, ливней, метелей, в местах, куда кидали падаль» *(Анна-Елизавета, с.465)*. Вот как описывает маркиз свои дипломатические ухаживания за цесаревной: «Я открыл бал с принцессою Елизаветою… и мне удалось также при прощании тихо и кратко выразить ей, что если я не мог прежде выполнить пред ней своего долга, то это произошло единственно от желания исполнить это как можно проще и естественнее. Она меня поняла и, как на ней преимущественно тяготеют стеснения, то она выказывалась потом тронутою моим вниманием» *(Пекарский, с.67)*. Бездна галантности, настоящий француз! Цесаревна отвечала взаимностью. В июле 1741 года Шетарди писал, что камер-юнкер Елизаветы тайно пришел к посланнику и сказал, что Ее высочество «проезжала три раза в гондоле около набережной занимаемою мною дачи, выходящей на реку и чтобы лучше быть услышанною, ездила в сопровождении роговой музыки и никак не могла уловить дня, в который бы я не ездил в город, и что я впрочем могу быть уверен, что она часто думает обо мне и даже, для облегчения переговоров со мною, хотела купить дом, соседственный с моим садом, но в том помешали данные ей по этому случаю предостережения. Камер-юнкер дал мне понять, что принцесса будет приятно удивлена, если, возвращаясь сегодня в Петербург около 8 часов, мне представится случай встретить ее по дороге» *(Пекарский, 287-288)*.

Довольно скоро французский посланник стал тайно приезжать во дворец цесаревны и вести с ней переговоры о мятеже. Шпионы, следившие за дворцом, регулярно сообщали начальству об этих визитах и были убеждены, что маркиз прокрадывается в покои цесаревны совсем не как любовник. Как мы помним, об этом говорил Финчу весной 1741 года принц Антон-Ульрих. Судя по письмам маркиза Шетарди во Францию, можно сказать, что он занялся этим рискованным делом всерьез,

он считал себя крестным отцом заговора, и манящая улыбка обворожительной русской красавицы, говорившей на прекрасном французском языке и одетой по последней парижской моде, приятно возбуждала галантного кавалера, мечты которого о своем будущем в России заходили так далеко, что кружилась голова.

Амело из Парижа остужал воспаленную голову Шетарди скептическими замечаниями, призывал к осторожности, советовал поставить дело таким образом, чтобы вся тяжесть переговоров и риск задуманного предприятия лежали на шведах, которыми надлежало руководить, да так, чтобы при этом цесаревна «доподлинно знала о главной пружине, давшей ход ее делу так, чтобы для интересов короля можно было пожать плоды, которые мы вправе ожидать отсюда» *(РИО, 92, с.541)*. В самой Франции это называется таскать каштаны из огня чужими руками.

Кроме того, в дипломатической переписке французов обсуждались «пользы» от прихода к власти Елизаветы, которая отдаст «ненужные» ей территории и, «уступая склонности своей, а также и народа, она немедленно переедет в Москву… морские силы будут пренебрежены» *(Пекарский, с.248)*. Словом - Россия вернется к старине. Так думали многие иностранцы. Английский посланник Финч писал 21 июня 1741 года, что большая часть дворян - «закоренелые русские, и только принуждение и сила могут помешать им возвратиться к их старинным обычаям. Нет из них ни одного, который бы не желал видеть Петербурга на дне морском, а завоеванные области пошедшими к черту, лишь бы только иметь возможность возвратиться в Москву, где вблизи своих имений они бы могли жить с большею роскошью и с меньшими издержками. Они не хотят иметь никакого дела с Европою, ненавидят иноземцев: лишь бы ими воспользоваться на время войны, а потом избавиться от них. Им также противны морские путешествия, и для них легче быть сосланными в страшные места Сибири, чем служить на кораблях».

Знал ли Нолькен о планах французов или не знал - не суть важно; он шел по своему пути - не спеша, но методично уговаривал цесаревну согласиться на шведский план. Суть плана состояла в том, чтобы Елизавета и ее люди готовили мятеж, а в это время Швеция объявляет войну России, наступает на Петербург, приводит правительство Анны Леопольдовны к краху, чем и должна воспользоваться Елизавета со своими сторонниками для захвата власти. Но за эту помощь будущая императрица обещает заплатить высокую цену - вернуть шведам значительные территории в Восточной Прибалтике, которые

отошли к России по мирному договору в Ништадте в 1721 году.

Забегая вперед, отметим, что шведы обманывали цесаревну - решение о начале войны реванша с России было уже принято в окружении короля Фредерика I задолго до описываемых событий. На сессии 1740-1741 годов рикстаг постановил субсидировать военные действия с Россией независимо от успеха переговоров Нолькена с Елизаветой. Но поддержка из Петербурга шведам все же была нужна, и из Стокгольма Нолькена всячески поощряли к переговорам с цесаревной. Однако Нолькен долго не мог добиться успеха. В этом оказались виноваты сами шведы. Они действовали слишком прямолинейно - согласиться, даже ради власти, на отдачу территорий, завоеванных ее отцом, Елизавета никак не могла. Это понимали даже в Версале. Амело, внимательно читавший все донесения Шетарди, писал ему: «Я ничуть не удивлен, что принцесса Елизавета избегала предварительных объяснений о какой бы то ни было земельной уступке Швеции со своей стороны; я всегда думал, что эта принцесса не пожелает начать с условий, которые могли бы обескуражить и, пожалуй, расстроить ее партию, опозорив принцессу в глазах народа». Позже он высказал предположение, что Елизавету останавливает, вероятно, то, что Россия лишается «по ее вине выгод и приобретений, составлявших предмет громадных усилий Петра I» *(РИО, 96, с.289)*.

Так оно и было. Нет сомнений, что столь пристальное внимание к полуопальной цесаревне со стороны представителей великих держав того времени не могло не воодушевить Елизавету, придавало ей силы и надежду на успех дела, о котором она раньше и не помышляла. Ухаживания дипломатов поднимали ее значение в ее собственных глазах, служили для «куражу» или, научно говоря, для повышения собственной самооценки. Кроме того, были и житейские проблемы - у нее, модницы и транжиры, никогда не было денег, да и любовь гвардейцев к дочери Петра Великого без звонкой монеты оставалась бы платонической. А вот здесь-то и возникали серьезные трудности в переговорах Елизаветы с Нолькеном, а потом и с обаятельным Шетарди.

Дело в том, что Нолькен, строго следуя инструкциям из Стокгольма, хотел, чтобы все условия тайного соглашения были записаны на бумаге и заверены рукой будущей императрицы Всероссийской Елизаветы I. Нолькен предложил ей простой и ясный план: цесаревна подписывает обращение-обязательство к шведскому королю Фредерику I с просьбой помочь ей взойти на престол, король начинает войну против России, его войско наступает на Петербург и тем самым облегчает переворот в

пользу Елизаветы. При этом будущая русская государыня должна была заранее согласиться на «все меры, которые Его величество и королевство Шведское сочтут уместным принять для этой цели». В случае исполнения задуманного плана Елизавета обещала «не только отблагодарить короля и королевство Шведское за все издержки этого предприятия (иначе говоря - оплатить расходы шведов на войну с Россией. - *Е.А.*), но и представить им самые существенные доказательства (своей) признательности» *(РИО, 92, с.247)*. Это уже было требование уступок от России значительных территорий в Прибалтике. Во исполнение задуманного плана король обещал передать цесаревне Елизавете через Нолькена огромную сумму в 100 тысяч экю. Более того, Юлленборг пошел дальше - он потребовал, чтобы цесаревна готовилась бежать в пределы Швеции, «когда наступит момент нанесения решительного удара», дабы потом (добавим от себя, с обозом оккупационной армии) вступить в Санкт- Петербург.

Цесаревна оказалась в безвыходном положении - подписать такую бумагу значило для нее либо вынести самой себе смертный приговор в случае провала всего задуманного дела, либо добиться закабаления собственного государства шведами. Но полностью выйти из игры и отказать богатым политическим сватам она тоже не могла - и власть, и деньги ей были очень нужны. Поэтому она тянула время, пыталась отклонить идею подписания бумаги, просила ограничиться только устными обязательствами в обмен на обещанные деньги. Нолькен не проявил в этих переговорах необходимой гибкости, и вскоре переговоры зашли в тупик. В этот-то момент к спорам сторон и присоединился Шетарди, стремившийся силой своего красноречия, изощренностью обаяния и блеском французского золота (в виде аванса) убедить цесаревну подписать столь нужную шведам бумагу.

Однако усилия шведско-французского дуэта оказались также напрасными. Уже тогда Елизавета Петровна проявила одну из своих главных черт политика - не спешить с решениями, которые имеют особо важное значение для страны, но вести переговоры так, чтобы партнерам казалось: вот-вот победа будет за ними, вот-вот цесаревна сдастся и подпишет нужную бумагу. Поэтому в Стокгольм и Версаль летели депеши о том, что «партия» цесаревны готова выступить, что нужное соглашение почти подписано. Но это было обманчивое впечатление. Время шло, зиму сменила весна, потом пришло лето 1741 года. Шведские войска стягивались к русской границе в Финляндии, пора было уже начинать кампанию, а трактат из Петербурга все еще не присылали. Только к лету Нолькен и Шетарди стали понимать причины досадных для союзников проволочек. Шетарди писал об

этом в Версаль: «Что касается нерешительности принцессы, мы с Нолькеном предполагаем, что партия ее, с которой она не может не советоваться, ставит ей на вид следующее: она сделается ненавистной народу, если окажется, что она призвала шведов и привлекла их в Россию» *(РИО, 92, с.228, 247)*.

Дипломаты были правы - именно это более всего волновало будущую императрицу, которая не хотела вступать на престол с помощью вражеских войск, да потом еще отдавать шведам завоеванные русскими территории. Так повелось в России, что самым страшным грехом государственного деятеля является его намерение отдать соседям что-либо из некогда захваченных земель. Российская империя умела только присоединять новые земли, а отдавать их назад всегда считалось позором. И тем не менее, понимая причину колебаний и сомнений цесаревны, союзники не нашли правильного решения проблемы и, полагая, что у Елизаветы все равно нет никакого иного выхода, как только подписать проклятую бумагу и получить деньги, шли напролом.

В начале лета Нолькен получил из Стокгольма указание собираться домой - его миссия в связи с приближающимся началом войны заканчивалась. На последнюю встречу с цесаревной он явился с готовой бумагой, чтобы, получив тут же подпись Елизаветы, самолично отвезти документ в Швецию. Но и на этот раз его постигла неудача - цесаревна под благовидным предлогом отказалась подписать обязательство перед шведским королем. Впрочем, шведский посланник не очень расстраивался-в Петербурге оставался Шетарди, а главное - он полагал, что неизбежные военные победы шведов в ближайшем будущем сделают цесаревну более сговорчивой.

Амело, сидя во Франции, лучше понимал обстановку в России, чем Шетарди и Нолькен. Он писал Шетарди, что колебания и пассивность Елизаветы скорее всего вызваны не только условиями проекта соглашения со Швецией, но и «некоторым недоверием (Елизаветы. - *Е.А.*), что сама Швеция, несмотря на первоначальные демонстрации, ничего не предпримет и вследствие этого бездействия принцесса Елизавета останется подверженной неприятным последствиям» *(РИО, 96, с.293-294)*. Умный министр как в воду глядел. Когда началась война-а это произошло 28 июля 1741 года, Елизавета через Шетарди заверила шведов, что подпишет обязательство, как только шведские войска начнут успешно продвигаться к Петербургу. Более того, в доказательство серьезности своих намерений цесаревна передала французскому посланнику дополнительные пункты к обязательству, по которым намеревалась не только компенсировать шведам расходы на

войну, но и выплачивать субсидии Швеции, резко изменить внешнюю политику - разорвать отношения с Австрией и Англией и ориентироваться только на Швецию и Францию. Но надежды цесаревны и самих шведов на победу с треском провалились.

Шведская армия в конце июля 1741 года начала наступление в Финляндии с ближайшими целями захватить Выборг, а потом двинуться на Петербург и, возможно, на Архангельск. У шведов было две группировки войск численностью до 10 тысяч человек, сосредоточенных у Фридрихсгама и Вильманстранда. Шведские полководцы очень рассчитывали на успех, потому что знали наверняка - русские к войне не готовы, в их армии царит беспорядок, моральный дух русского воинства невысок. Но они просчитались - фельдмаршал Ласси сумел собрать под Выборгом 20-тысячную армию, которая, воспользовавшись нерешительностью шведов, двинулась в наступление к шведской крепости Вильманстранд.

Швеция выставила три причины начала войны с Россией: убийство в Польше русскими офицерами шведского дипломатического курьера барона Малькольма Синклера, отказ русского правительства поставлять в Швецию хлеб, без которого страна испытывала голод, и, наконец, как уже сказано, освобождение России от иноземного гнета. Специально написанный для распространения в России манифест шведского командующего гласил: «Я, Карл Емилий Левенгаупт, граф, объявляю всем и каждому сословию достохвальной русской нации, что королевская шведская армия вступила в русские пределы не для чего иного, как для получения, при помощи Всевышнего, удовлетворения шведской короны за многочисленные неправды ей причиненные иностранными министрами, которые господствовали над Россиею в прежние годы, также потребную для шведов безопасность на будущее время, а вместе с тем, чтобы освободить русский народ от несносного ига и жестокостей, с которыми означенные министры для собственных своих видов притесняли с давнего времени русских подданных, чрез что многие потеряли собственность или лишались жизни от жестоких уголовных наказаний… Намерение шведского короля состоит в том, чтобы избавить достохвальную русскую нацию для ее же собственной безопасности от тяжелого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании» *(Пекарский, с.385-386)*.

Впрочем, о высоких целях шведской армии не знали ни русские солдаты, ни командовавшие ими генералы, в большинстве - немцы, англичане, французы, которые под началом шотландца Ласси сделали свое дело быстро и профессионально:

стремительный марш от Выборга к укреплениям Вильманстранда, атака противника превосходящими силами по пересеченной местности. Шведские солдаты были сбиты с позиций, и на их плечах русские ворвались в крепость. Большая часть шведов погибла: убито 3300 человек, взято в плен 1300 человек; русские потери составили 525 человек убитыми и 1837 ранеными *(Бескровный, с.261)*. В плен попали многие шведские офицеры и генерал Врангель.

Первое же сражение показало, что шведская армия к войне не подготовлена. Финны, составлявшие ее значительную часть, воевать за интересы шведской короны не хотели и поголовно дезертировали. Есть сведения, что многих из них воодушевляла идея отделения от Швеции. Русские же, по мнению иностранных наблюдателей, подтвердили свою блестящую репутацию воинов.

Победа над шведским львом под тремя коронами (таков символ Шведского королевства) была яркой, неожиданной и отмечалась в Петербурге очень торжественно. Молодой русский поэт Михаил Ломоносов написал оду на победу России. И в ней были такие слова:

Российских войск слава растет,
Дерзкие сердца страх трясет,
Младой орел уж льва терзает!

«Младой орел» - император Иван VI - лежал по-прежнему в колыбели, а люди, управлявшие от его имени государством, делали это бездарно. Они не смогли воспользоваться блестящей победой в Финляндии для упрочения своего режима и тем самым обрекли себя на гибель. Как уже сказано, делами в стране распоряжался первый министр, граф Остерман. Он стремился полностью подчинить своей воле правительницу Анну Леопольдовну, добиться того, чтобы она не слушала больше ничьих других советов. Но Анна понимала истинные намерения своего первого министра и прислушивалась к мнению и других своих советников: министра Михаила Головкина и обер-прокурора Сената Ивана Брылкина, которые советовали Анне немедленно принять титул императрицы и взять на себя всю полноту власти. Необходимые для этого документы уже готовились, и 7 декабря 1741 года, в день своего 23-летия правительница России Анна должна была стать императрицей России Анной II. До этого оставался один шаг, но он так и не был сделан…

Поражение шведов обескуражило Елизавету. К этому времени честолюбие цесаревны разгорелось не на шутку, она чувствовала

себя все смелее и смелее, дерзила Остерману. Под влиянием переговоров с иностранными дипломатами Елизавета явно вживалась в роль будущей повелительницы России и тут… прогремела победа под Вильманстрандом. Более того - разговор на куртаге 23 ноября 1741 года с правительницей Анной Леопольдовной открыл цесаревне глаза: она на краю гибели - вот-вот заговор будет раскрыт, ее арестуют, посадят в монастырь, Анна Леопольдовна примет императорскую корону и тогда - прощай мечты и надежды…

На следующий после куртага день, 24 ноября, цесаревну срочно известили, что в гвардейских полках получен указ о немедленном выступлении на войну со шведами. В те времена зимние армейские кампании проводились редко, шведы в ноябре отошли на зимние квартиры под Фридрихсгамом, русские полки зимовали под Выборгом, выпал снег, ударили морозы, и было ясно, что этот сбор гвардии якобы на войну - исполнение части плана, который придумал Остерман с целью обезоружить партию Елизаветы, изолировать ее от гвардии и что, наконец, несмотря на заверения Елизаветы в преданности присяге, Анна Леопольдовна - сама или, скорее всего, по чьему-либо совету - решила вывести опасные для трона гвардейские части подальше от столицы. На раздумье цесаревне оставались даже не дни - часы. Еще летом 1741 года Шетарди сообщал о гвардейцах, которых цесаревна встретила в Летнем саду и один из которых сказал Елизавете: «Матушка, мы все готовы и только ждем твоих приказаний, что наконец велишь нам?» - «Ради Бога, молчите - отвечала она, - и опасайтесь, чтоб нас не услыхали: не делайте себя несчастными, дети мои, не губите и меня! Разойдитесь, ведите себя смирно: минута действовать еще не наступила. Я вас велю предупредить» *(Пекарский, с.264*). И вот такой момент настал - вечно колеблющаяся цесаревна решилась!

Надо полагать, что это далось Елизавете нелегко. Вся ее предыдущая жизнь прошла вполне празднично и беззаботно, и никогда, ни до этой ночи, ни потом, она не стояла перед столь страшным выбором - ведь переворот, как прыжок в незнакомую воду ночью, страшен и смертельно опасен, и никто не может сказать, что ждет решившегося на такой шаг.

На одной из узких улочек Венеции, в двух шагах от Дворца дожей, сейчас можно увидеть памятную доску с изображением носатой старухи, жившей в XII веке. Она, страдая ночью от бессонницы, высунулась из своего окна, чтобы посмотреть, что за шум поднялся на улице. При этом она нечаянно столкнула с подоконника цветочный горшок, которым на месте был убит предводитель заговорщиков - как раз под этим окном он вел свой

отряд на штурм Дворца дожей. Заговорщики разбежались, старуха была награждена.

Да и в нашем отечестве бывали жутковато-забавные истории с переворотами. Когда ночью 9 ноября 1740 года фельдмаршал Миних привел отряд гвардейцев, чтобы свергнуть Бирона, он послал своего адъютанта полковника Манштейна арестовать временщика. Как вспоминал сам Манштейн, он беспрепятственно, под видом срочного курьера, вошел во дворец и, минуя отдающих ему честь часовых и кланяющихся слуг, уверенно и спокойно зашагал по залам, будто бы со срочным донесением к регенту империи. Но при этом его прошибал холодный пот страха, в душе нарастала тревога: не зная расположения комнат, он явно заблудился, спрашивать же у слуг, где спит его высочество герцог, было бы слишком странно и опасно. С большим -трудом он нашел спальню и, как он пишет о себе в третьем лице, «очутился перед дверью, запертой на ключ; к счастью для него, она была двухстворчатая и слуги забыли задвинуть верхние и нижние задвижки, таким образом, он мог открыть ее без особенного труда. Там он нашел большую кровать, на которой глубоким сном спали герцог и его супруга, не проснувшиеся даже при шуме растворившейся двери. Манштейн, подойдя к кровати, отдернул занавесы и сказал, что имеет дело к регенту. Оба внезапно проснулись и начали кричать изо всей мочи, не сомневаясь, что он явился к ним с недобрым известием» *(Манштейн, с.199-200)*.

Возвращаясь к Елизавете, отметим, что причиной странного спокойствия правительства Анны Леопольдовны была еще и уверенность, что тетушка Елизавета - эта изнеженная, капризная красавица, прожигательница жизни - не способна на такое рискованное и опасное, подходящее лишь для настоящего мужчины дело, как государственный переворот. Но все оказалось совсем не так, как думали Анна и ее министры, - цесаревна, в жилах которой текла кровь отважного русского царя и довольно бесшабашной ливонской прачки, все-таки решилась. Она усердно помолилась Богу, для собственного успокоения дала клятву никогда никого не приговаривать к смерти (и, забегая вперед, скажем, что клятву эту выполнила), одела кирасу и в ночь с 24-го на 25 ноября 1741 года с тремя приближенными поехала в слободу Преображенского полка.

Сохранилось несколько описаний того исторического момента, когда дочь Петра Великого подняла солдат на мятеж против законной власти. Суть описаний сводится, в конечном счете, к тому, что Елизавета «изволила шествовать в слободы означенного полка, в помянутую гренадерскую роту и, прибыв на съезжую, изволила всем говорить: «Други мои! Как вы служили

отцу моему, то в нынешнем случае и мне послужите верностью вашею!» Гвардейцы в ответ гаркнули: «Рады все положить души наши за ваше величество и Отечество наше!» *(Пекарский, с.432)* и, прыгнув в сани, устремились за своим прелестным полководцем в сторону Зимнего. Дальше описание мятежа соткано из легенд, причем весьма правдоподобных. Доехав до начала Невского, гвардейцы (а их было, как сказано выше, три сотни) разделились на несколько отрядов - одни Устремились арестовывать важнейших министров правительства Анны Леопольдовны - Остермана, Головкина, А.П.Бестужева-Рюмина, но главный отряд во главе с Елизаветой направился пешком к Зимнему дворцу, фасад которого выходил в сторону Адмиралтейства. Солдаты спешили, цесаревна путалась в длинных юбках на заснеженной площади и всех задерживала. Тогда гвардейцы подхватили ее на плечи и внесли во дворец…

Чтобы не быть обвиненным в неточности, приведу цитату из донесения Шетарди - свидетеля происшедших событий: «Чтобы делать менее шума, гренадеры сочли необходимым для принцессы Елизаветы встать с саней в том же месте на конце Невского проспекта. Едва она сделала несколько шагов, как некоторые сказали: «Матушка, так нескоро, надо торопиться!» Но приметив, что принцесса хотя имела твердую поступь, однако не могла за ними поспеть, они подняли ее и несли таким образом до двора Зимнего дворца» *(Пекарский, с.406; РИО, 96, с.641-645)*. Трудно придумать что-либо более символичное и смешное для украшения подобного события - ноябрьский штурм Зимнего одетой в кавалерийскую кирасу красавицей верхом на гвардейцах! Архиепископ Арсений в проповеди в день коронации Елизаветы, изумляясь свершенному императрицей в памятную ночь, помянул мужество ее, когда эта девица была принуждена «забыть деликатного своего полу, пойти в малой компании на очевидное здравия своего опасение, не жалеть… за целость веры и Отечества последней капли крови, быть вождем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги, идти грудью против неприятеля».

Можно спросить, зачем были нужны эти ночные «катания»? Не проще ли было послать гвардейцев взять Зимний и ждать победной «реляции и резолюции». Нет, это было совершенно невозможно - присутствие героини в рядах штурмующих требовалось по двум причинам. Во-первых, как уже отмечалось, среди гвардейцев не было ни одного офицера, который мог бы командовать операцией. Своим присутствием Елизавета воодушевляла солдат на возможный кровавый штурм - ведь они же не знали, что дворец мирно спит! Во-вторых, как это часто

бывает в подобной ситуации, предводитель мятежа был одновременно и заложником рядовых мятежников, гарантом того, что это не ловушка и их не сдадут властям - ведь они совершали в ту ночь самое страшное государственное преступление!

Все для наших мятежников обошлось благополучно. «Неприятель», против которого «заводила шеренги» и наступала своей прелестной грудью цесаревна, мирно посапывал в своей колыбели, как и все его близкие - они не знали, что готовит им в эти минуты судьба. Без единого выстрела отряд проник на первый этаж дворца, цесаревна вошла в караульню, где спали подчаски, разбудила солдат словами: «Проснитесь дети… и слушайте меня: хотите ли следовать за дочерью Петра I?» Солдаты перешли на ее сторону, офицеры, верные присяге, заколебадись, их посадили под арест. На всякий случай были поломаны барабаны, которыми можно поднять тревогу (то же самое сделали и в Преображенской солдатской слободе - заговорщики явно не хотели поднимать всю гвардию). После этого отряды мятежников рассыпались по дворцу. Солдаты блокировали все лестницы, входы и выходы, заменив стоявших там часовых. Затем был дан приказ арестовать императора, правительницу и ее супруга.

В этом месте наши источники снова дают несколько версий происшедшего. Шетарди в своем донесении во Францию так описывал арест правительницы: «Найдя великую княгиню правительницу в постели и фрейлину Менгден, лежавшую около нее, принцесса (Елизавета. - *Е.А.*) объявила первой об аресте. Великая княгиня тотчас подчинилась ее повелениям и стала заклинать ее не причинять насилия ни ей с семейством, ни фрейлине Менгден, которую она очень желала сохранить при себе. Новая императрица обещала ей это». Миних, которого примерно в те же минуты невежливо разбудили и даже побили мятежники, писал, что, ворвавшись в спальню правительницы, Елизавета произнесла банальную фразу: «Сестрица, пора вставать!» Кроме этих версий есть и другие. Авторы их считают, что, заняв дворец, Елизавета послала Лестока и Воронцова с солдатами на «штурм» спальни правительницы и сама при аресте племянницы не присутствовала.

По этому поводу развернулась даже целая научная дискуссия. Императрица Екатерина II, прочитав книгу аббата де Шаппа о его путешествии в Россию, придралась к тому месту описания ученого путешественника, где он излагал историю ареста правительницы в первой, известной читателю версии. В своем «Антидоте аббата Шаппа» Екатерина, которая сама приехала в Россию два года спустя после переворота и свидетельницей этих событий не была, писала: «Обе принцессы не видались ни во

время действия, ни после его, это всем известно» *(Екатерина, 1864, с.306)*. Я все-таки думаю, что Екатерина права - представить себе Елизавету, которой нужно взглянуть в глаза обманутой ею накануне племянницы, довольно трудно. Обычно люди стараются избегать подобных встреч. Да и какой прок был в таком свидании - дворец полностью блокирован, Лесток и Воронцов - надежные люди, всем деятельно распоряжаются, а принцесса Анна Леопольдовна - особа тихая, нескандальная, как и ее кроткий муж.

По нашим источникам видно, что супруги никакого сопротивления насилию не оказали, под конвоем они спустились из апартаментов на улицу, сели в приготовленные для них сани и позволили увезти себя из Зимнего дворца. Как известно, в старину люди всегда следили за знамениями, приметами, теми подчас еле заметными знаками судьбы, которые могут что-то сказать человеку о его будущем. Потом уже века рационализма, прагматизма, атеизма, головокружительных успехов науки и техники сделали для нас эти привычки смешными, несерьезными. В этом невежественном состоянии мы пребываем и до сих пор, лишь иногда удивляясь проницательности стариков или тайному голосу собственного предчувствия. Был дан знак судьбы и Анне Леопольдовне. Накануне переворота с правительницей произошла досадная оплошность: подходя к Елизавете Петровне, она споткнулась о ковер и внезапно, на глазах всего двора, упала к ногам стоявшей перед ней цесаревны. Современник, видевший это происшествие, воспринял его как дурное предзнаменование. И не зря!

Принцу Антону-Ульриху одеться не позволили и полуголого в одеяле снесли к саням. Это сделали умышленно: так брали Бирона, а также его брата генерала Густава, многих высокопоставленных жертв других переворотов. Расчет здесь простой - без мундира и штанов не очень-то покомандуешь, будь ты хоть генералиссимус! Не все прошло гладко при «аресте» годовалого императора. Солдатам был дан строгий приказ не поднимать шума и взять ребенка только тогда, когда он проснется. Около часа они молча простояли у колыбели, пока мальчик не открыл глаза и не закричал от страха при виде свирепых физиономий гренадер. Кроме того, в суматохе сборов в спальне уронили на пол четырехмесячную сестру императора, принцессу Екатерину. Как выяснилось впоследствии, от этого удара она оглохла. Но в суматохе этому никто не придал значения - в сущности, это была единственная жертва бескровной революции Елизаветы: накануне цесаревна строжайше предупредила солдат против малейшего насилия. А между тем

гвардейцы имели по шесть боевых зарядов и по три гранаты. Если бы начался бой, то в Зимнем могло быть кровавое месиво.

Императора Ивана принесли Елизавете, и она, взяв его на руки, якобы сказала: «Малютка, ты ни в чем не виноват!» Цесаревна, ставшая за несколько минут императрицей, крепко прижимала к груди этого ребенка - свою добычу, своего врага, свою судьбу. Что делать с младенцем и его семьей, никто толком не знал. Так с ребенком на руках Елизавета отправилась в свой дворец. Других арестантов - членов Брауншвейгской фамилии - везли следом за ней. Елизавета спешила покинуть императорский дворец - как всякий вор, она не хотела встречать утро на месте преступления с добычей в руках. Вернувшись домой, Елизавета разослала во все концы города гренадер - в первую очередь в места расположения войск, откуда посланные привезли новой государыне все полковые знамена, без которых боевые полки - просто толпа вооруженных людей. За всеми вельможами послали курьеров с приказанием немедленно явиться во дворец. Барабанщики, встав на перекрестках улиц, ударили посреди ночи «зорю», чтобы поднять жителей города.

И хотя до зари в ноябрьском Петербурге было еще долго, это была настоящая заря царствования новой государыни. В эту темную морозную ночь дворец цесаревны сиял огнями. Как вспоминает генерал-прокурор Шаховской, с внезапного пробуждения которого мы начали эту главу, «хотя ночь тогда (была) темная и мороз великий, но улицы были наполнены людьми, идущими к царевниному дворцу, гвардии полки с ружьями шеренгами стояли уже вокруг оного в ближних улицах и для облегчения от стужи во многих местах раскладывали огни; а другие, поднося друг другу, пили вино, чтоб от стужи согреваться, причем шум разговоров и громкое восклицание многих голосов «Здравствуй (то есть да здравствует! - *Е.А.*), наша матушка императрица Елизавета Петровна!» - воздух наполняли. И тако я до оного дворца в моей карете сквозь тесноту проехать не могши, вышед из оной, пошел пешком, сквозь множество людей с учтивым молчанием продираясь и не столько ласковых, сколько грубых слов слыша, взошел на первую с крыльца лестницу и следовал за спешащими же в палаты людьми» *(Шаховской, с.30)*. Эти люди - генералы, чиновники, придворные страшно волновались: как-то их примет новая государыня, не велит ли тотчас сослать в Сибирь? Но все обошлось для них благополучно - новая императрица восседала на троне и была ко всем милостива.

К утру манифест о вступлении на престол императрицы Елизаветы I Петровны и форма присяги ей были уже готовы - над

ними напряженно трудились также поднятые из своих постелей канцлер князь А. М. Черкасский, секретарь Бреверн и А. П. Бестужев-Рюмин. Вызванные и построенные у Зимнего дворца полки приносили присягу. Солдаты прикладывались сначала к Евангелию и кресту, потом подходили к праздничной чарке. Под приветственные клики солдат и толпы, залпы салютов с бастионов Адмиралтейской и Петропавловской крепостей Елизавета торжественно и чинно проследовала в свою резиденцию. Это было красиво и величественно и совсем не похоже на ночную нервную беготню по сугробам.

А что же наш красавец, маркиз де ла Шетарди? В подробной реляции, отправленной в Версаль на следующий день после переворота, он изобразил себя инициатором путча цесаревны, человеком, который толкнул ее на путь славы. Однако посланные накануне 25 ноября донесения маркиза говорят совсем о другом - он не только не держал в своих руках нити заговора, но и считал, что выступление заговорщиков преждевременно. В реляции от 24 ноября, взвешивая шансы группировки Елизаветы, Шетарди писал, что ее единственный шанс прийти к власти - это дожидаться успешного наступления шведов весной 1742 года на Петербург и действовать под мудрым руководством французов, то есть его лично. Но самое главное было в другом - Шетарди прямо опасался самостоятельных действий цесаревны, ибо в случае успеха новой императрице не нужно было бы благодарить шведов и французов за предоставленный ей престол отца *(РИО, 96, с.610)*. Поэтому Шетарди ничего не предпринимал, ожидая весны, когда генерал Левенгаупт сможет начать новое наступление против России.

Словом, успешный ночной путч Елизаветы оказался неприятным сюрпризом для французского посланника. Один из мемуаристов пишет, что Шетарди «пришел в чрезвычайное изумление, когда среди ночи разбудил его присланный от Елизаветы Петровны камергер П.И.Шувалов и уведомил о восшествии ее на престол». Думаю, что на самом деле Шетарди уже знал обо всем, потому что оказался невольным свидетелем ночных событий. Дом французского посольства стоял на Адмиралтейской площади, неподалеку от домов сановников правительства Анны Леопольдовны. Оставшийся нам неизвестным сотрудник французского посольства писал домой в день переворота: «Мы только что испытали сильный страх. Все рисковали быть перерезанными, как мои товарищи, так и наш посол. И вот каким образом. В два часа пополуночи, в то время как я переписывал донесения посла в Персии, пришла толпа к нашему дворцу и послышался несколько раз стук в мои окна,

которые находятся очень низко и выходят на улицу у дворца. Столь сильный шум побудил меня быть настороже; у меня было два пистолета, заряженных на случай, если б кто пожелал войти. Но через четверть часа я увидел четыреста гренадер, во главе которых находилась прекраснейшая и милостивейшая из государынь. Она одна твердой поступью, а за ней и ее свита направились ко дворцу» *(РИО, 96, с.615-617)*.

Что же произошло, что так перепугало мужественных французов и почему рвавшиеся в здание посольства солдаты в него так и не вошли? Думаю, что французы испугались совсем напрасно - произошло недоразумение. Выше уже говорилось, что от основного отряда мятежников отделилось несколько групп, отправленных для ареста Остермана, Левенвольде и других деятелей правительства Анны Леопольдовны, живших по соседству с Шетарди. Скорее всего солдаты в темноте перепутали дома и поначалу принялись стучаться во французское посольство, перебудив всех его обителей, однако, разобравшись что к чему, ушли. Наступила пауза - вспомним фразу из цитированного письма неизвестного служащего посольства о том, что через пятнадцать минут на площади появилась Елизавета с отрядом и направилась к Зимнему дворцу. Иначе говоря, можно предположить, что Шетарди собственными глазами из окна посольства мог видеть штурм Зимнего, который он так усиленно готовил на балах и попойках. Очевидно, посланник был разбужен шумом у дверей посольства и происходящими перед домом событиями, но, когда к нему прибыл Шувалов, сделал вид, что безмятежно спит…

Через несколько часов французы уже видели, как новая государыня проследовала в Зимний: «Войска окаймляли улицы, воздух повсюду наполнялся криками «Виват!», гренадеры, товарищи ее подвига, окружали ее сани с гордою уверенностью и с неописуемым восторгом» *(Пекарский, с.410)*. Из окон нового жилища императрицы была видна Петропавловская крепость, шпиль собора, под полом которого вечным сном спали ее родители. Может быть, в суете новоселья Елизавета на минуту остановилась у окна и вспомнила прошлое - между ее новым дворцом и крепостью пролегало не только белое ледяное поле застывшей Невы, но и тридцать два года жизни цесаревны, ставшей императрицей…

ГЛАВА 2
«ЧЕТВЕРТНАЯ ЛАПУШКА»

Елизавета Петровна родилась в царском дворце Коломенском под Москвой в знаменательный для ее страны и ее родителей день 18 декабря 1709 года, когда русская армия завершала победную полтавскую кампанию и торжественным маршем вступала в старую столицу. На сохранившихся гравюрах мы видим, сколь красочным и величественным было это зрелище: извиваясь бесконечной змеей, по улицам Москвы двигались полки, под триумфальными арками проходили усатые победители непобедимого ранее короля-викинга, несли трофейные знамена, носилки Карла XII, вели знатных пленных - генералов, придворных короля, тысячи и тысячи солдат и офицеров. Петр, как всегда деятельно распоряжавшийся всей церемонией, перед самым ее началом получил известие о благополучном разрешении Екатерины дочерью. Он дал приказ отложить на три дня вступление победителей шведов в старую столицу и начал пир в честь рождения девочки, названной редким тогда именем Елизавет…

Детство и юность Елизаветы прошли в Москве и в Петербурге. Девочку воспитывали вместе со старшей сестрой Анной, родившейся в 1708 году. Отец Анны и Елизаветы был почти все время в разъездах, мать нередко его сопровождала. Дочерей царя опекали либо младшая сестра Петра царевна Наталья Алексеевна, либо супруги Меншиковы - самый близкий и верный сподвижник царя-реформатора светлейший князь Александр Данилович и его жена Дарья.

Теперь, проходя по анфиладе нарядных и уютных залов Меншиковского дворца-музея в Петербурге, невольно думаешь о том, что тогда, во времена детства Елизаветы и Анны, здесь не было так тихо и чинно: царские дочери в веселой компании с Сашей и Машей - дочерьми светлейшего князя, и с его сыном Александром, должно быть, устраивали изрядный шум и беготню. А потом их уводила обедать или спать заботливая горбунья Варвара Арсеньева - сестра хозяйки дома княгини Дарьи Меншиковой.

В своих письмах к Петру и Екатерине Меншиков писал: «Дорогие детки ваши, слава Богу, здоровы». Одно из первых упоминаний о Елизавете в переписке Петра и его жены встречается под 1710 годом: в письме от 1 мая царь передал привет «четвертной лапушке» - таким было прозвище, по-

видимому, только что начавшей ползать на четвереньках младшей дочери. Тогда же царь плавал по морю на новой шняве с милым ему названием «Лизетка». Впрочем, точно так же звали и любимую собаку царя.

Вообще, в письмах к дочерям и о дочерях суровый, занятый сотнями важных дел Петр преображается: он ласков, весел и заботлив. Аннушка и Лизанька были его любовью, и царь постоянно передает приветы детям, особенно младшей, посылает им гостинцы. Первый официальный выход Елизаветы состоялся 9 января 1712 года. Этот день был весьма важен для судьбы будущей императрицы: ведь она, вместе с сестрой, оставалась внебрачным ребенком, бастардом или, как тогда говорили по-русски, выблядком. В этот день Петр узаконил свои отношения с Екатериной церковным браком - венчанием в церкви. При этом девочки - одной было два, другой - три года, держась за подол матери и спотыкаясь, обошли вослед за родителями вокруг аналоя. Тем самым законность детей признавалась церковью, а стало быть - и Богом, и людьми. Они становились «привенчанными» детьми, законными и правоспособными. После церемонии венчания Анна и Елизавета некоторое время восседали за пиршественным столом во дворце в качестве «ближних девиц» матери-невесты, пока их, усталых и сонных, не унесли в постель. Впрочем, и церемония «привенчания» впоследствии не спасла Елизавету от постоянных заочных укоров своих подданных в незаконности ее происхождения и - соответственно - в отсутствии у нее прав на российский престол.

11 июня 1717 года Екатерина писала мужу, что Елизавета заболела оспой, но болезнь оказалась легкой, и вскоре дочь «от оной болезни уже освободилась без повреждения личика своего». Можно с уверенностью сказать, что если бы после этой болезни Елизавета осталась рябой, то вся история ее жизни, да, наверное, и история России тоже сложилась бы по-другому - ведь божественная красота цесаревны, а потом и императрицы, сильнейшим образом влияла на ее характер, привычки, поступки и даже политику.

Царских дочерей начали обучать грамоте довольно рано.

Уже в 1712 году Петр писал Елизавете и Анне записки, впрочем, без особой надежды на ответ. А вот в 1717 году переписка с родителями уже шла вовсю. Екатерина, бывшая с Петром в походе, просила Анну «для Бога потщиться: писать хорошенько, чтоб похвалить за оное можно и вам послать в презент прилежания вашего гостинцы, на чтоб смотря, и маленькая сестричка также тщилась заслужить гостинцы».

И вскоре, действительно, младшая заслужила гостинец! В

начале 1718 года Елизавета получила от отца письмо: «Лизетка, друг мой, здравствуй! Благодарю вам за ваши письма, дай Боже вас в радости видеть. Большова мужика, своего братца (царевичу Петру Петровичу было чуть больше трех лет. - *Е.А.*) за меня поцелуй».

Совершеннолетней, то есть пригодной к браку, Елизавету признали в феврале 1722 года, когда ей было чуть больше 12 лет. Б. Х. Миних видел девочку в это время и позже вспоминал: «Она была хорошо сложена и очень красива, но весьма дородна, полна здоровья и живости, и ходила так проворно, что все, особенно дамы, с трудом за ней поспевали, уверенно чувствуя себя на прогулках верхом и на борту корабля. У нее был живой, проницательный, веселый и очень вкрадчивый ум, обладающий большими способностями. Кроме русского, она превосходно выучила французский, немецкий, финский и шведский языки, писала красивым почерком» *(Безвременье, с.72)*.

На торжественной церемонии по случаю признания совершеннолетия Елизаветы Петр обрезал с платья дочери маленькие белые крылышки (обычай совсем не принятый в православии), и начался новый этап ее жизни - она стала невестой на выданье. К этому цесаревен готовили многие годы. Французский посланник при русском дворе Жан Кампредон сообщал 9 февраля 1722 года о церемонии вступления в совершеннолетие Елизаветы: девочка кажется «очень милой и прекрасно сложенной. Церемония эта обозначает, что принцесса вышла из детства, и досужие политики выводят отсюда разные заключения относительно брачных партий». Елизавета не уступала в изяществе старшей дочери императора - Анне Петровне, которая, по признанию французского дипломата, «красавица собой, прелестно сложена, умница» *(РИО, 49, с.44, 59)*.

Сестры, ставшие с тех пор цесаревнами, то есть дочерьми цесаря-императора, уже умели читать, писать, бегло говорили по-французски, по-итальянски, по-немецки, разбирались в музыке, танцевали, умели одеваться, знали этикет. А что еще нужно, чтобы, имея подаренную Богом ослепительную красоту, стать, например, французской королевой? Именно такую судьбу готовил Петр своей средней дочери Елизавете (к этому времени родилась еще дочь Наталья). В 1721 году он писал русскому посланнику во Франции князю В. Л. Долгорукому, что, будучи в Париже в 1719 году, говорил матери короля Людовика XV «о сватанье за короля из наших дочерей, а особливо за середнею, понеже равнолетна ему (Луи родился в 1710 году. - *Е.А.*), но пространно, за скорым отъездом, не говорили, которое дело ныне вам вручаем, чтоб, сколько возможность допустит, производили». Впрочем, Петр был

готов выдать дочь и за принца Луи-Филиппа Шартрского - ближайшего родственника французского короля.

Поручение царя оказалось для такого опытного дипломата, каким был князь Василий Долгорукий, тяжелым и, в сущности, неисполнимым - Версаль не был в восторге от предложенной партии с дочерью портомби, рожденной к тому же до заключения законного брака царя. Ледран, чиновник департамента Министерства иностранных дел Франции, писал: «Брачный союз, от коего произошли принцессы, которых он (царь. - *Е.А.*) теперь желает выдать замуж, не заключает в себе ничего лестного, и говорят даже, что младшая из этих принцесс (Елизавета. - *Е.А.*), та, которую могут предназначать для герцога Шартрского, сохранила некоторые следы грубости своей нации». Не без этого! - скажем мы. Нравы петровского двора изяществом не отличались, да и воспитатели царевен были люди весьма простые. Миних упоминает о двух самых близких женщинах цесаревны - одна была некая Ильинична, другая - карелка Елизавета Андреевна *(Безвременье, с.71)*. Впрочем, Кампредон считал, что недостатки в образовании и воспитании цесаревны вполне поправимы: «Принцесса Елизавета по себе особа чрезвычайно милая. Ее можно даже назвать красавицей ввиду ее стройного стана, ее цвета лица, глаз и рук. Недостатки, если таковые вообще есть в ней, могут оказаться лишь в воспитании и в манерах. Меня уверяли, что она очень умна. Следовательно, если… найдется какой-нибудь недостаток, его можно будет исправить, назначив к принцессе, если дело сделается, какую-нибудь сведущую и искусную особу» *(РИО, 49, с.324)*.

Возможно, что Кампредон подпал под обаяние чар, которыми обладала Елизавета, но все же заметим, что он не был простодушным и наивным человеком. Кампредон известен как опытный, хладнокровный дипломат; один из мемуаристов приводит такой пример: во время очередного пира у царя все гости перепились и только маленький Кампредон, как сокол, зорко за всеми наблюдал. Он отличался умом и проницательностью. В 1722 году Кампредон писал, например, что, если Петру будет отпущено лет десять жизни, Россию ждут грандиозные перемены, так как после возвращения из-за границы, где царь пробыл довольно долго, он действует по-другому и в реформировании России добьется выдающихся успехов, «ибо ежедневный опыт доказывает, что твердостию и смелостию из этого народа можно сделать все, что угодно» *(РИО, 49, с.58)*. И это было очень верное наблюдение. С 1718 года Петр Великий начал новый цикл грандиозных реформ во многих сферах жизни русского общества.

Но все же, несмотря на авторитетность посланника в Петербурге, в Версале с осторожностью относились к его рекомендациям: французский двор опасался, что реализованный брачный прожект Петра усилит российское влияние в Европе, что для Франции считалось нежелательным - в то время многие западноевропейские государства были встревожены чересчур смелым вмешательством России в германские дела во время Северной войны 1700-1721 годов *(РИО, 49, с.XXVI)*.

Петр же, столкнувшись с сопротивлением Версаля, не отчаивался. Он хорошо знал, что в политике никогда не говорят «никогда», вел интенсивные и тайные переговоры с Кампредоном и, как писал последний 5 февраля 1723 года, как-то раз даже удалил всех приближенных и беседовал о русско-французских делах с Кампредоном с глазу на глаз. Переводчиком же им служила императрица Екатерина Алексеевна, которая, как и Кампредон, бывший ранее послом в Стокгольме, знала шведский язык. Судя по многим фактам, император хотел использовать будущий брак Елизаветы в затеянной им крупной политической игре, в которую предполагалось втянуть Францию и Польшу. В финале ее принц Шартрский Луи-Филипп, сын регента Франции Филиппа Орлеанского, оказывался с польской короной на голове, а рядом с ним на троне восседала королева Польши Елизавета *(РИО, 49, с.L-LIX)*.

А в это же время в Петербурге уже три года маялся еще один искатель руки цесаревны - голштинский герцог Карл-Фридрих, который по приглашению Петра приехал в 1721 году в Россию и ходил в женихах, причем ни он, ни его окружение точно не знали, которую из дочерей Петра за него выдадут - Анну или Елизавету? Между тем голштинцы требовали, чтобы этот вопрос им разъяснили как можно быстрее - Голштиния, мечтавшая вернуть свою провинцию Шлезвиг, отнятую у герцога Данией еще в 1704 году, очень нуждалась в поддержке России. Такая поддержка проще всего достигалась с помощью брака молодого герцога с одной из дочерей царя. Но Петр, который, с одной стороны, боялся продешевить, а с другой - не хотел расставаться с одной из любимых дочек, тянул с окончательным решением и лишь незадолго до смерти решился, наконец, выдать за голштинского герцога старшую дочь Анну.

В поведении императора в то время можно усмотреть явное противоречие. Как часто бывало в политике тех времен, дети, особенно дочери, при всей любви к ним царственных родителей, служили разменной монетой в большой политической игре. Но при этом они оставались родными, любимыми существами, окруженными в семье лаской и заботой. По всему видно, что

атмосфера в семье Петра и Екатерины была замечательная, теплая и уютная. Как сообщал в 1722 году Кампредон, «обе царевны принимаются плакать, как только с ними заговаривают о замужестве, а принуждать их не хотят» *(РИО, 49, с.90)*. Такое возможно, когда в семье царят любовь и мир, и детям не хочется покидать любимых родителей.

Впрочем, были и «домашние» брачные проекты. Хитроумный вице-канцлер Андрей Иванович Остерман предлагал выдать Елизавету за сына покойного царевича Алексея Петровича, великого князя Петра Алексеевича, который родился в 1715 году и был на шесть лет младше Елизаветы. Остерман, как и другие сановники, опасался, что после смерти Петра Великого, здоровье которого было уже подорвано опасной и тяжелой жизнью, могут возникнуть династические трения между первой и второй семьями царя. Напомню, что царевич Алексей был рожден от брака Петра с Евдокией Лопухиной, так что его сын Петр приходился Елизавете по отцу родным племянником. Однако такое близкое родство не смущало прожектеров - они ссылались на Португалию и Австрию, где католическая церковь разрешала подобные браки родственников. А кто мог бы в России возразить главе церкви - императору? Отчаянных противников такого кровосмешения среди высшего русского духовенства быть не могло *(РИО, 49, с.130)*.

К началу 1725 года переговоры с французами результата не дали - Версаль отговаривался молодостью короля Людовика XV и чего-то выжидал. Впрочем, предложение из России расценивалось все же весьма высоко. В специальном списке-таблице семнадцати возможных невест короля, который был составлен Министерством иностранных дел Франции и содержал перечисление всех достоинств и недостатков возможного брака короля с каждой кандидаткой, имя Елизаветы стояло под № 2 - сразу после испанской инфанты, от которой (за молодостью лет) уже решили отказаться. Даже внучка английского короля стояла ниже русской цесаревны *(Россия, с.278)*. Но когда в конце января 1725 года Петр Великий умер, с мнением его преемницы, императрицы Екатерины I, в Версале никто не стал считаться - короля женили на дочери польского экс-короля Станислава I Лещинского Марии и тем самым поставили точку в русско-французских брачных переговорах. Так и не суждено было Елизавете стать женой Людовика XV, получившего прозвище «Возлюбленный». Не стала она и бабушкой последнего Бурбона, находившегося у власти, - Людовика XVI. Впрочем, ее судьба еще долгие годы после смерти отца, а вскоре и матери оставалась неясной.

Умирая в мае 1727 года, мать Елизаветы - императрица

Екатерина I завещала дочери выйти замуж за Карла-Августа - младшего брата мужа Анны Петровны голштинского герцога Карла-Фридриха. Карл-Август был молодой, симпатичный юноша, который уже к тому времени приехал в Россию, был при дворе и весьма понравился Елизавете. Но, к несчастью, летом 1727 года Карл-Август неожиданно заболел и умер. Впоследствии, в 1744 году, императрица Елизавета Петровна расплакалась, когда увидела мать будущей Екатерины II Иоанну-Елизавету - так была удивительно похожа она, младшая сестра Карла-Августа, на своего брата - давным-давно умершего, но незабытого жениха цесаревны Елизаветы.

Впрочем, тогда, в 1727 году цесаревна-невеста печалилась недолго. Она стала первой звездой двора императора Петра II. Юный император только что освободился от назойливого гнета Меншикова и вкушал все прелести свободы российского самодержца *(Анисимов, 1994, с.151-171)*. По Москве, куда из неуютного Петербурга в начале 1728 года перебрался двор, разнеслась потрясающая сплетня о романе императора и его красавицы-тетушки. Для сплетни как будто были основания: 18-летняя Елизавета славилась как девица легкомысленная, а 13-летний император поражал наблюдателей своим ростом и телесной крепостью. В компании своего распутного фаворита князя Ивана Долгорукого юный царь уже многое испытал и многое видел. Петр и Елизавета были какое-то время неразлучны. Испанский посланник герцог де Лириа писал в Мадрид: «Больше всех царь доверяет принцессе Елизавете, своей тетке, которая отличается необыкновенной красотой, я думаю, что его расположение к ней имеет весь характер любви». У императора и цесаревны нашлось много общего - оба оказались изрядными прожигателями жизни и без ума любили развлечения: праздники, поездки, танцы и особенно охоту. «Русские, - продолжает де Лириа, - боятся большой власти, которую имеет над царем принцесса Елизавета: ум, красота и честолюбие ее путают всех…» *(Лириа, с.32, 34, 118-119)*.

У автора нет никакого желания выяснять, как далеко зашла нежная семейная дружба тетки и племянника, хотя сплетен вокруг этого сохранилось немало. Пусть Петр и Елизавета останутся в нашей памяти такими, какими их увидел и изобразил на своей картине художник Валентин Серов: два изящных наездника на великолепных конях летят по осеннему полю, и юноша-император догоняет и не может догнать ускользающую от него Диану - красавицу с манящей улыбкой на устах…

Впрочем, дружба эта продолжалась недолго, и вскоре цесаревна разъезжала уже в другой компании. В эти годы

Елизавета казалась особенно беспечна и весела. Жизнь, с ее кажущейся в молодости бесконечной вереницей лет, для нее только начиналась. Уже в ранние годы Елизавета, в отличие от сестры Анны, была смелой и не тушевалась в обществе. Голштинский придворный Берхгольц рассказывает в своем дневнике о праздновании Пасхи 1722 года в царской семье, где принимали голштинского герцога Карла-Фридриха. Традиционный обряд целования со словами «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!» шел своим чередом, пока герцог не столкнулся с девицами-дочерьми царя. Екатерина разрешила ему облобызаться с ними. Старшая Анна долго колебалась, а «младшая тотчас же подставила свой розовый ротик для поцелуя» *(Берхгольц, с.117)*.

Елизавета очень рано поняла значение своей необыкновенной красоты, ее завораживающее действие на мужчин и стала истинной и преданной дочерью своего гедонического века с его культом наслаждений и удовольствий. Нега веселья и праздности поглотила цесаревну с головой. Об уровне интересов Елизаветы и ее окружения выразительно говорит письмо ближайшей наперсницы цесаревны, а потом и ее статс-дамы Мавры Шепелевой, посланное из Киля, куда та была отправлена в свите молодой герцогини Голштинской Анны Петровны летом 1727 года[1]: «Матушка-царевна, как принц Орьдов хорош! Истинно, я не думала, чтоб он так хорош был, как мы видим: ростом так велик, как Бутурлин, и так тонок, глаза такия, как у вас цветом и так велики, ресницы чернии, брови темнорусия… румянец алой всегда на щеках, зуби белы и хараши, губи всегда алы и хороши, речь и смех - как у покойника Бишова, асанка паходит на осудереву (то есть Петра П. - *Е.А.*) асанку, ноги тонки, потому что молат; 19 лет, воласы свои носит и воласы по поес, руки паходят очинь на бутурлины. Еще ж данашу: купила я табакерку и персона в ней пахожа на вашо высочество, как вы нагия» *(Письма к государыне, с.67-72)*.

Кроме неизвестных нам лиц и Петра II, в этом письме дважды упомянут Александр Борисович Бутурлин. Этот красавец исполинского роста числился камергером двора Елизаветы и слыл за ее любовника. Верховники - члены Верховного тайного совета, управлявшие страной при малолетнем императоре Петре II, внимательно следили за поведением Елизаветы и, устрашенные слухами о кутежах цесаревны и ее камергера в подмосковной вотчине Елизаветы - Александровской слободе, нашли предлог отправить Бутурлина подальше от Москвы, в армию, стоявшую на Украине. Впрочем, это не особенно огорчило цесаревну. Увлеченная прожиганием жизни, она легко перенесла

разлуку с Бутурлиным - вскоре на его месте был уже другой счастливец. Елизавета не поехала даже на похороны любимой сестры Анны, тело которой было осенью 1728 года доставлено русским фрегатом из Киля в Петербург.

Судьба старшей дочери Петра Великого сложилась трагически. Выданная по воле отца за голштинского герцога Карла-Фридриха, Анна страдала в столице Голштинии. Брак ее оказался неудачен. Среди чужих людей дочь Петра Великого чувствовала себя одинокой, муж оказался недостойным такого сокровища каким, по единодушному мнению современников, была Анна («Прекрасная душа в прекрасном теле», - писал о ней ганноверский резидент Вебер). Герцог был слабым человеком, распутником и гулякой. Письма Анны к сестре Елизавете, к императору Петру II полны тоски, слез и жалоб. Но изменить ничего уже было невозможно - разводы в таких браках считались вещью немыслимой. Осенью 1727 года Анна забеременела. Мавра Шепелева писала Елизавете, что в кильском дворце шьют рубашонки и пеленки и что у Анны «в брухе что-то ворошится».

В феврале 1728 года герцогиня родила мальчика, которого назвали Карлом-Петером-Ульрихом. Так появился на свет будущий российский император Петр III. Вскоре после родов у 20-летней Анны Петровны открылась скоротечная чахотка, и она умерла, завещав похоронить ее в Петербурге, возле родителей. Думаю, что Анне, так нежно относившейся к младшей сестре, хотелось, чтобы та приехала на похороны, ведь все детство и юность они были неразлучны. Но осень - время охоты, и Елизавета не нашла двух-трех дней, чтобы домчаться до Петербурга и поклониться праху близкого ей человека. То, что она в это время была здорова, мы знаем точно.

В деревне застали Елизавету и события начала 1730 года, когда заболел и умер Петр II. Накануне датский посланник Вестфален в своем письме предупреждал верховников, что принцесса Елизавета «непременно найдет средства завладеть российским престолом или лично для себя или же для своего племянника», то есть для упомянутого выше Карла-Петера-Ульриха. В ответ, как писал позже Вестфален в Копенгаген, глава верховников князь Д. М. Голицын «присылал ко мне (человека) с уверениями, что ни принцесса Елизавета, ни ее племянник не взойдут на престол» *(Дипломатические депеши, с.198, 201)*.

И все-таки верховники явно опасались возможных попыток дочери Петра Великого захватить власть и даже отняли у нее вооруженную охрану. Основанием для беспокойства стали интриги голштинских дипломатов, которые носились с проектом возведения на русский престол (в случае смерти императора

Петра II) другого внука великого царя - Карла-Петера-Ульриха под именем Петра III и при регентстве Елизаветы Петровны. Однако волнения и тех и других оказались напрасны: узнав о болезни императора, Елизавета Петровна даже не приехала в столицу из Александровской слободы, которую превратила в свое веселое пристанище. (Игра истории: ведь Александровская слобода была известна как одно из самых зловещих мест в истории России - именно там устроил свою опричную столицу Иван Грозный.)

Впрочем, Елизавета и не помышляла о повторении опричной истории; все источники единодушно говорят о полной пассивности цесаревны в эти дни. Даже самый ярый противник Елизаветы, упомянутый выше Вестфален, в конце января 1730 года, перед самым приездом вызванной верховниками на русский императорский престол герцогини Курляндской Анны Ивановны, сообщал своему правительству из Москвы, что «все здесь тихо, никто не двигался, принцесса Елизавета держит себя спокойно, и сторонники голштинского ребенка не смеют пошевелиться» *(Дипломатические депеши, с.210)*. Французский дипломат Маньян также писал в Версаль, что «принцесса Елизавета вовсе не показывалась в Москве в продолжении всех толков о том, кто будет избран на престол. Она жила в деревне, несмотря на просьбы своих друзей, готовых ее поддержать… Елизавета не раньше явилась в город, как по избранию Анны Ивановны».

Одни наблюдатели усматривали в этом какую-то особо тонкую тактику честолюбивой дочери Петра Великого, ждавшей своего часа, другие подозревали, что как раз в это время она была беременна и стеремилась в загородном уединении скрыть свою позорную тайну. Думаю, что все было проще - честолюбие цесаревны еще спало, ее не интересовала власть, в ней лишь играла молодая кровь. Да, сказать по правде, в тот момент ее шансы занять престол были ничтожно малы, а времени на раздумья у нее и не оставалось - ночью 19 января 1730 года, то есть сразу же после смерти Петра II, верховники объявили об избрании на русский престол Анны Ивановны. «Впрочем, - справедливо писал Маньян, - вряд ли личное присутствие в Москве послужило бы Елизавете Петровне в пользу даже в том случае, если бы она приехала раньше, так как у нее не может быть друзей среди влиятельных русских вельмож, которые могли бы ей быть полезны. На это существуют три одинаково важные причины…» И далее он эти причины называет: беспечность красавицы-цесаревны, предосудительное поведение ее матери Екатерины I во время короткого царствования в 1725-1727 годах и, наконец, «низость» породы цесаревны *(Из дипломатической*

переписки, с.58-59).

Действительно, обсуждая на заседании Верховного тайного совета в ночь смерти Петра II вопрос о престолонаследии, глава верховников князь Дмитрий Голицын предложил в русские императрицы Анну Ивановну как «чисто русскую» царскую дочь и, походя, недобрым словом помянул отродье шведской портомби. И этого было достаточно - имя цесаревны среди возможных кандидатов более не возникало. В общем, Маньян был совершенно прав: у цесаревны среди высшей знати сторонников в самом деле не оказалось. Многие люди, глядя на любовные приключения цесаревны Елизаветы, думали, что румяное яблочко укатилось недалеко от лифляндской яблоньки и что Елизавета может стать такой же царицей-вакханкой, как и ее мать.

Впрочем, были немногие, кто пытался выразить свое несогласие с тем, что дочь Петра обошли. В 1730 году в Петербурге старый моряк, сподвижник Петра I, адмирал Петр Сивере позволил себе усомниться в праве Анны Ивановны занять престол вперед дочери Петра Великого. Он сказал: «Корона Его императорского высочества цесаревне Елизавете принадлежит!» Произнесено это было публично и по-солдатски недипломатично, в присутствии главнокомандующего Петербурга генерала Б. Х. Миниха, который и поспешил донести на Сиверса новой государыне. Судьба адмирала оказалась печальной - разжалование и ссылка *(Еще письмо, с.175)*.

* * *

Царствование Анны Ивановны (1730-1740), которая приходилась Елизавете двоюродной сестрой, оказалось для цесаревны долгим, тревожным и малоприятным. Нет, ничего страшного с ней не происходило. С самого начала царствования Анны Ивановны цесаревна всячески подчеркивала свою лояльность новой власти и достигла в этом успеха - она не была опасна новой государыне. Английский резидент Клавдий Рондо писал летом 1730 года, что цесаревна не присутствовала на коронации Анны Ивановны в Кремле по болезни, но это никого не встревожило - об интригах обойденной цесаревны не могло идти и речи - «она ведет жизнь весьма свободную, а царица, видимо, довольна этим» *(Из дипломатической переписки, с.63)*. По придворному протоколу Елизавета занимала весьма почетное третье место - сразу после императрицы и ее племянницы принцессы Анны Леопольдовны. В таком же порядке провозглашалось ее имя на церковных ектениях.

У Елизаветы был собственный дворец, она имела штат придворных, слуг, свои вотчины и денежное содержание из казны. Но прежнего положения избалованной дочки-красавицы, всеобщей любимицы, чьи капризы становились законом, уже не было - новая императрица кузину особенно-то не жаловала. За неприязнью Анны Ивановны скрывалось многое: и презрение к «худородности» Елизаветы, и опасения относительно ее намерений на будущее. Не могла императрица простить цесаревне и ее молодости и ослепительной красоты. Жгучая зависть к счастливой судьбе, беззаботной веселости девушки, не познавшей, как она, Анна, ни бедности, ни унижений, ни отчаяния вдовьей судьбы вдали от родины.

От Елизаветы почти ничего и не требовалось для того, чтобы возбудить ненависть императрицы: ей достаточно было просто появиться в бальном зале с бриллиантами в великолепной прическе, в новом платье, с улыбкой богини на устах, чтобы в толпе гостей и придворных раздался шелест восхищения. Для императрицы он звучал как оглушительные аплодисменты. Со своего трона тяжелым взглядом следила Анна за Елизаветой - вечной звездой бала. Ей - рябой, чрезмерно толстой, старой (Елизавета была на 17 лет моложе Анны) судьба не дала возможности соперничать с сестрицей в красоте и изяществе. Жена английского резидента леди Рондо описывает посещение китайским послом придворного бала: «Когда он начался, китайцев, вместе с переводчиком, ввели в залу; Ее величество спросила первого из них (а их было трое), какую из присутствующих здесь дам он считает самой хорошенькой. Он сказал: «В звездную ночь трудно было бы сказать, какая звезда самая яркая», но, заметив, что она ожидает от него определенного ответа, поклонился принцессе Елизавете: среди такого множества прекрасных женщин он считает самой красивой ее, и если бы у нее не были такие большие глаза, никто не мог бы остаться в живых, увидев ее» *(Безвременье, с.214)*. Нетрудно представить, что испытывала в такие минуты государыня.

Зато она отводила душу в другом - угнетала Елизавету материально и морально. Для начала она положила кокетке на содержание всего 30 тысяч рублей в год и не давала ни копейки больше. Это было настоящей трагедией для Елизаветы, ранее сорившей деньгами без удержу. Конечно, цесаревна не сидела без денег - кредиторы с радостью ссуживали ей деньги под проценты, но потом Елизавете приходилось униженно просить Анну Ивановну оплатить долги. Пришедший к власти осенью 1740 года после смерти Анны Ивановны регент империи герцог Бирон завоевал расположение Елизаветы тем, что сразу же покрыл из

казны ее огромный долг в 50 тысяч рублей. Кто знает, может быть, именно поэтому пущенный регентом вниз по воде кусок хлеба вернулся к нему, как говорится, с маслом - как только Елизавета вступила на престол, она распорядилась вывезти Бирона с семьей из заполярного Пелыма, куда его заслала в 1741 году правительница Анна Леопольдовна, и поселила опального временщика в уютном Ярославле. На место же Бирона в Пелым был сослан его обидчик, фельдмаршал Миних.

Зная о том, что каждый ее шаг известен государыне, Елизавета держалась как можно дальше от политики, однако имя ее постоянно присутствовало в политических процессах аннинского периода. По материалам дел князей Долгоруких 1738-1739 годов, которым пришлось расплачиваться кровью за попытку ограничения императорской власти в начале 1730 года, а также из дела кабинет-министра Артемия Волынского 1740 года видно, что цесаревну не воспринимали всерьез как политическую фигуру, считали легкомысленной и порочной. И тем не менее опасения у властей на ее счет все равно сохранялись. Поэтому Елизавету не встречали с распростертыми объятиями при дворе императрицы, и многие из царедворцев Анны Ивановны стремились избежать с ней встреч и бесед. Словом, Елизавета чувствовала себя крайне неуютно при дворе Анны Ивановны.

Но все же самой главной причиной неприязни императрицы к Елизавете было то, что бездетная (по крайней мере - официально) Анна Ивановна серьезно беспокоилась о будущем своих родственников. И в этом-то состояла причина прохладного отношения Анны Ивановны к кузине. Императрица хотела, чтобы верховная власть больше никогда не попала в руки Елизаветы и других потомков Екатерины I. Несмотря на публичную присягу Елизаветы в верности любому распоряжению императрицы о престолонаследии, ни Анна, ни ее окружение не могли спать спокойно. Расчетливый вице-канцлер Андрей Иванович Остерман в особой записке писал, что «в том сомневаться не возможно, что, может быть, мочи и силы у них (то есть у Елизаветы и ее племянника Карла-Петера-Ульриха. - *Е.А.*) не будет, а охоту всегда иметь будут» к занятию престола.

Проще всего решить «проблему Елизаветы» можно было, выдав ее замуж за какого-нибудь иностранного принца. И перед Елизаветой прошла целая вереница таких женихов: Карл Бранденбург-Байрейтский, принц Георг Английский, инфант Мануэль Португальский, граф Мориц Саксонский, инфант Дон Карлос Испанский, герцог Эрнст Людвиг Брауншвейгский. Присылал сватов и персидский шах Надир. Может быть, некоторые из женихов и понравились бы привередливой

цесаревне, да все они не нравились самой императрице Анне, которая, вместе с Остерманом, мечтала выдать Елизавету «за такого принца… от которого никогда никакого опасения быть не может». Так писал в упомянутой выше записке вице-канцлер. Представить, что в Мадриде или Лондоне будет подрастать внук Петра Великого - претендент на русский престол, что в нем будет течь кровь Романовых и одновременно Бурбонов или Габсбургов, было выше сил Анны Ивановны и людей, ее окружавших. Поэтому императрица все тянула и тянула с замужеством Елизаветы, пока сама не умерла в 1740 году.

Все годы царствования Анны Ивановны за Елизаветой постоянно наблюдали тайные агенты. Когда в 1731 году цесаревна поселилась в Петербурге, Миних получил секретный указ императрицы днем и ночью смотреть за Елизаветой, «понеже она по ночам ездит и народ к ней кричит» *(Пекарский, 1911, с.8)*. В том же году был арестован и сослан в Сибирь Алексей Шубин - фаворит цесаревны, к которому она, в отличие от предыдущих любовников, сильно привязалась. Разлуку с ним Елизавета переносила тяжело. Из дела Тайной канцелярии 1731 года видно, что императрица Анна, ссылая без всякой видимой причины Шубина и его приятелей, преследовала цель разорвать все связи дочери Петра Великого с гвардейцами, которые не раз проявляли к ней, как писал один из шпионов, «свою горячность». Эта жестокость императрицы нанесла глубокую рану сердцу Елизаветы. В одной из песен, которую цесаревна сочинила в это время, есть трогательное обращение к быстрым струям ручья, на берегу которого сидит нимфа-певица, чтобы они смыли с ее сердца тоску.

Судьба Шубина сложилась несчастливо. Он провел в Сибири десять лет и был освобожден только в 1742 году. Указ о его освобождении императрица подписала сразу же после манифеста о восшествии на престол, но посланный в Сибирь офицер долго не мог по сибирским тюрьмам найти Шубина - имя его не упоминалось в списках узников, а сам Шубин, узнав о том, что его всюду ищут, молчал. Он, как и другие узники, боялся еще худшей судьбы - история князей Долгоруких, которых императрица Анна извлекла из многолетней сибирской ссылки, приказала пытать, а потом отправила на эшафот, была всем памятна и поучительна. Только случайно посланный офицер нашел Шубина и вручил ему милостивый указ Елизаветы. Шубин вернулся в Петербург, был ласково принят при дворе, но сердце его возлюбленной уже было занято другим.

Да и самой Елизавете мало нравилась жизнь аннинского двора. Он блистал роскошью, но живой и веселой цесаревне там

было скучно. Танцев и маскарадов при дворе было мало, карточная игра, забавы с шутами заполняли время императрицы и ее окружения. Неудивительно, что Елизавета стремилась укрыться в своем дворце в центре столицы или на летней даче в кругу близких ей людей.

Между тем Анне Ивановне было недостаточно знать, с кем спит, куда и зачем ездит сестрица. Она пыталась проведать, о чем, вернувшись в свой дворец, говорит и думает цесаревна, чем она дышит. Не без оснований Кирилл Флоринский в своей проповеди 18 декабря 1742 года в Успенском соборе Московского Кремля говорил, что можно было видеть Елизавету в предшествующие царствования «от всезлобных людей в монастырь понуждаемую, приставленными неусыпными шпионами надзираемую что пьет, что делает, куда ездит, с кем беседует» *(Флоринский, с.3-4)*.

В 1735 году неожиданно арестовали регента придворной капеллы цесаревны Елизаветы Ивана Петрова и вместе с бумагами увезли в Петропавловскую крепость, где находилась Тайная канцелярия. Собственно, Петрова и взяли из-за бумаг, которые оказались текстами пьес, ставившихся при дворе цесаревны. Начальник Тайной канцелярии генерал Андрей Иванович Ушаков допросил регента о тайных спектаклях при дворе Елизаветы. Петров показал, что спектакли играются придворными певчими, «також и придворными девицами для забавы государыни цесаревны, а посторонних, кроме придворных, на тех комедиях не бывало». Начальник Тайной канцелярии вскоре выпустил Петрова на волю, строго предупредив того, чтобы он об аресте «никому не разглашал, також и государыни цесаревне об этом ни о чем отнюдь не сказывал».

На следующий год Елизавета была крайне встревожена неожиданным для нее императорским указом об освобождении из-под стражи управляющего ее имениями, посаженного цесаревной за воровство. Столь бесцеремонное вмешательство власти в ее домашние дела так напугало Елизавету, что, опасаясь доноса со стороны проворовавшегося управляющего, цесаревна поспешила подать императрице униженную челобитную, в которой старалась пояснить причину ареста своего холопа. При этом она писала: «И оное мне все сносно, токмо сие чувствительно, что я невинно обнесена перед персоною Вашего императорского величества, в чем не токмо делом, но ни самою мыслию никогда не была противна воле и указам Вашего императорского величества, ниже предь хощу быть». И в конце, в традициях того времени, подписалась: «Вашего императорского величества послушная раба Елизавет» *(АВ, 1, с.5)*. Положение

цесаревны таким и являлось на самом деле: как и все подданные, Елизавета была в полной власти самодержицы, и Анна Ивановна могла поступить с кузиной как с обыкновенной дворянской девицей. «Принцесса Елизавета, - писал французский дипломат в 1737 году, - веселого расположения и доступнее в обращении (чем Анна Леопольдовна. - *Е.А.*); живет в городе и является при дворе только во время съездов; ей вовсе не дают средств поддерживать свое звание и происхождение» *(Пекарский, с.1)*.

Возвращаясь к неприятной истории с регентом Петровым, отметим, что выпустили его только после того, как Анна Ивановна отправила бумаги Петрова на экспертизу архиепископу Феофану Прокоповичу, большому знатоку театра и любителю политического сыска. Феофану было поручено выяснить, нет ли в текстах комедий, ставившихся при дворе цесаревны, состава государственного преступления - оскорбления чести Ея императорского величества, например? В те времена это было весьма распространенное политическое обвинение, и с его помощью можно было «зацепить» цесаревну и ее окружение. Однако осторожный Феофан, хитрый и дальновидный, не усмотрел криминала в бумагах из дворца дочери Петра Великого. Только после этого Петрова выпустили на свободу *(Черты из жизни, с.329-330)*.

Интерес императрицы к спектаклям во дворце цесаревны не связан с театральными увлечениями самой Анны Ивановны. Она точно знала, что спектакли эти проходят за закрытыми дверями и «посторонних, кроме придворных, никого в тех коллегиях не бывало». И эта тайна казалась императрице подозрительной. Известно, что при самодержавии все тайное, кроме «тайного советника» и «Тайного совета», считалось преступным или, по крайней мере, подозрительным. Действительно, в 30-е годы XVIII века Елизавета Петровна создала тесный, закрытый мирок, куда соглядатаям и шпионам «большого двора» проникнуть оказалось трудно - недаром и возникло дело Петрова. Вокруг цесаревны оказывались только близкие, преданные ей люди, которые разделяли с ней ту полуопалу, в которой она жила. Они были верны своей госпоже и твердо знали, что при «большом» дворе императрицы Анны Ивановны им карьеры уже не сделать. Почти все они были молоды: в 1730 году, когда самой цесаревне исполнился 21 год, ее ближайшей подруге Мавре Шепелевой было 22 года, будущему канцлеру России Михаилу Воронцову - 19, братьям Александру и Петру Шуваловым - около 20. Фаворит цесаревны Алексей Разумовский был на год старше своей возлюбленной. Все они - энергичные и веселые - не были отягощены древними родословиями, орденами, чинами, семьями,

болезнями. Из переписки цесаревны с ее окружением видно, как был тесен и дружелюбен ее кружок, в котором общее незавидное положение в свете и молодость уравнивали всех. «Государь мой Михайла Ларивонович! - пишет Воронцову цесаревна. - …просил меня Алексей Григорьевич (Разумовский. - *Е.А.*), дабы я вам отписала, чтоб вы на него не прогневалися, что он не пишет к вам для того, что столько болен был, что не без опасения - превеликой жар. Однако, слава Богу, что этот жар перервали… и приказал свой должной поклон отдать и желает вас скорее видеть! Прошу мой поклон отдать батюшке и матушке, и сестрицам вашим… Остаюсь всегда одинакова к вам, как была, так и пребуду, верной ваш друг Михайлова» *(АВ, 1, с.7-8)*.

Подпись эта неофициальная - так некогда великий отец цесаревны подписывался в посланиях своим близким друзьям - «Петр Михайлов». Дочь явно подражала отцу. В узком кругу молодых людей - первых сподвижников Елизаветы - начали завязываться и семейные связи. Михаил Воронцов женился на молодой тетке цесаревны Анне Скавронской, а Петр Шувалов - на любимице Елизаветы Мавре Шепелевой. Потом пошли дети, и, как ее отец, Елизавета охотно соглашалась быть крестной: «Пожалуй, матушка государыня цесаревна, не оставь нашей просьбы рабской, но милостию своею кумою быть не отрекись», - писали супруги Шуваловы в 1738 году. Елизавета в просьбе не отказала, что видно из другого письма Мавры будущей императрице, которое было на «ты», начиналось словами: «Кумушка, матушка!», а кончалось так: «Остаюсь кума ваша Мавра Шувалова». И непременный привет: «Поклон отдаю Алексею Григорьевичу» *(АВ, 1, с.80-81)*.

Скромность двора цесаревны видна из списка придворных и служителей. На первом месте стояла фрейлина Анна Карловна Скавронская (Воронцова), потом шли фрейлины Симановские, затем камер-юнкер Александр Шувалов, упомянутый выше Воронцов, взятый из кучеров Никита Возжинский. А дальше шли камердинеры, «мадамы», музыканты и певчие. В общем, над «породой» придворных цесаревны можно было потешиться при «большом дворе» Анны Ивановны. Смеялись там и над «порто-мойным» происхождением самой Елизаветы. Под стать цесаревне была и ее родня - графы Скавронские, Гендриковы и Симановские. Еще в начале 1726 года о таких графах никто и не слыхивал. Именно тогда началось неожиданное «нашествие» родственников императрицы Екатерины I из Лифляндии. Об их существовании знали давно. Еще в 1721 году в Риге к Петру и Екатерине, смущая придворных и охрану своим деревенским видом, пожаловала крепостная крестьянка Христина Скавронская,

которая утверждала, что она родная сестра царицы. Так это и было. Екатерина поговорила с ней, наградила деньгами и отправила домой. Тогда же Петр распорядился отыскать и других родственников жены, разбросанных по стране войной. Всех их приказали держать под присмотром в Лифляндии и строго-настрого запретили им болтать с посторонними про свое родство с императрицей.

В этом смысле демократичный в обращении Петр знал меру, и те милости и блага, которыми он осыпал саму Екатерину, царь не собирался распространять на ее босоногую семью. И неслучайно - крестьянские родственники Екатерины могли нанести ущерб престижу династии, бросить тень на царских детей. Придя в 1725 году к власти, Екатерина долго не вспоминала о своей родне, но те сами дали о себе знать - вероятно, они решили действовать, когда до них докатилась весть о вступлении сестрицы на российский престол. Рижский губернатор князь Ани-кита Репнин в 1726 году сообщил в Петербург, что к нему пришла крепостная крестьянка Христина Скавронская и жаловалась на притеснения, которым подвергал ее помещик. Христина сказала, что она сестра императрицы. Екатерина I была поначалу явно смущена. Она распорядилась содержать сестру и ее семейство «в скромном месте и дать им достаточное пропитание и одежду», а от помещика, под вымышленным предлогом, взять и «приставить к ним доверенного человека, который мог бы их удерживать от пустых рассказов», надо полагать - о трогательном босоногом детстве боевой подруги первого императора.

Однако через полгода родственные чувства взяли свое. По приказу императрицы семейство Скавронских срочно доставили в Петербург, точнее - в загородный дворец, в Царское Село, подальше от любопытных глаз злопыхателей. Можно себе представить, что творилось в Царскосельском дворце! Родственников было очень много. Кроме старшего брата Самуила, прибыл средний брат Карл с тремя сыновьями и тремя дочерьми, сестра Кристина с мужем и четырьмя детьми, сестра Анна также с мужем и двумя дочерьми - итого не меньше двух десятков нахлебников. Оторванные от вил и подойников, деревенские родственники императрицы еще долго отмывались, учились приседать, кланяться, носить светскую одежду. Разумеется, обучить их русскому языку было некогда, да это было не так уж и важно - все они в начале 1727 года получили графские титулы, а также большие поместья и стали сами богатыми помещиками. Правда, сведений об особой близости семейства с императрицей Екатериной что-то не видно.

И вот теперь, в 1730-е годы, все эти новоявленные графы и особенно графские дети стали льнуть ко двору цесаревны - своей единственной родственницы в «верхах». Елизавета приблизила к себе Анну Карловну - свою молодую тетку, покровительствовала и другим своим родственникам, считая себя главой всей большой крестьянско-графской семьи. «Надеюсь, что вы не забыли, что я большая у вас», - писала Елизавета вдове своего дяди графа Федора Скавронского, когда та попыталась распорядиться вотчинами мужа по своему усмотрению (*ОВ, 2, с.215)*. Одним из родственников она помогала советом, другим посылала деньги, двоюродного брата пристроила в Сухопутный Кадетский корпус, потом хлопотала о повышении его в чине - без протекции получить новый чин было, как всегда в России, трудно *(АВ, 1, с.35-42)*.

Впрочем, несмотря на пристальное внимание агентов Тайной канцелярии, в занятиях этой молодежи никакого политического криминала не было - окружение Елизаветы вполне беззаботно проводило время, и заводилой во всех их затеях выступала сама цесаревна. Лучше ее никто не мог ездить верхом, танцевать, петь, даже писать стихи и сочинять песни. До нашего времени дошло несколько песен, написанных - или, как тогда говорили, напетых - Елизаветой. И все эти песни были грустными. В одной из них, уже упомянутой выше, пелось о печальной красавице-нимфе, сидящей на берегу ручья:

> Тише же ныне, тише протекайте, чисты струйки, по песку
> И следов с моих глаз вы не смывайте, смойте лишь мою тоску.

О чем, казалось бы, грустить и тосковать цесаревне, окруженной всеобщим восхищением и ласками? Можно было уехать в загородное имение Царское Село, скакать по полям, охотиться с собаками или соколами, устраивать прогулки на воде или маскарады - да мало ли найдет себе занятий молодежь, когда есть досуг и фантазия! Можно было заняться и хозяйством: по письмам Елизаветы видно, что она, несмотря на огромные траты, была рачительной и даже прижимистой хозяйкой имения - это вообще оставалось ее свойством на всю жизнь - разорять казну немыслимыми тратами и одновременно экономить по мелочам. «Степан Петрович, - пишет она своему городскому приказчику, - прикажите объявить, где надлежит для продажи яблок, а именно в Царском и в Пулковском, кто пожелает купить, понеже у нас уже был купец и давал за оба огорода пятьдесят рублев, и мы оному отказали затем, что дешево дает, того ради прикажите,

чтобы в нынешнее время, покамест мы здесь, чтобы продать, а то уже и ничего не видя валятся». В общем, заняться Елизавете было чем, тем более что с 1731 года у цесаревны начался роман с красавцем Алексеем Разумовским.

Но, нет! грустно было красавице Елизавете. Как повествует одно из дел Тайной канцелярии, стоял как-то солдат гвардии Поспелов на часах во дворце цесаревны и слышал, как госпожа вышла на крыльцо и затянула песню: «Ох, житье мое, житье бедное!». В казарме Поспелов рассказал об этом своему другу солдату Ершову, а тот, не подумав, и брякнул: «Баба бабье и поет!» Это было весьма грубовато, но совершенно точно. Благополучие девицы в тогдашнем обществе было непрочным, а будущее - тревожным. Елизавета понимала, что, даже если она будет жить тише воды, ниже травы, все равно - уже фактом своего существования она представляет опасность для государыни. О том, что цесаревна Елизавета Петровна имеет шансы на престол, иностранные дипломаты писали из Петербурга постоянно, особенно учитывая сложившуюся в России династическую обстановку, которую нельзя было не назвать весьма оригинальной. Как мы помним, пришедшая к власти в 1730 году Анна Ивановна уже в следующем году подписала указ о том, что престол отойдет к принцу, который родится от будущего брака тогда еще 13-летней племянницы, дочери царевны Екатерины Ивановны, принцессы Анны Леопольдовны и неизвестного еще ее мужа. Брак состоялся в 1739 году, ребенок родился в 1740 году, но и после этого сбросить цесаревну с династического счета было невозможно.

Говорили в обществе и о том, что мать будущего наследника престола, принцесса Мекленбургская Анна Леопольдовна, не православная. Правда, в 1733 году это поспешили исправить - племянницу императрицы окрестили по православному обряду. Тем не менее «все эти обстоятельства, - писал в Париж Маньян, - дают возможность предполагать, что, если бы царица (Анна Ивановна) скончалась, цесаревна Елизавета могла бы легко найти сторонников и одержать верх над всеми другими претендентами на российский престол» *(РИО, 81, с.254-255)*. И хотя претензии Елизаветы на власть при живой Анне Ивановне были, что называется, писаны вилами по воде, а рассказы о ее намерениях оставались во многом домыслами дипломатов, цесаревна не могла не дрожать от страха за свое будущее. Ведь она была в полной власти императрицы и отлично понимала, что достаточно только одного высочайшего слова - и ей придется ехать в глухую германскую землю, чтобы стать женой какого-нибудь немецкого ландграфа или герцога, и смотреть всю жизнь, как тот экономит

каждый грош на свечах или наоборот - проматывает ее доходы. Одно только царское слово - и она уже пострижена в каком-нибудь дальнем монастыре, и судьба княжны Прасковьи Юсуповой, сгинувшей за свой длинный язык и строптивость в темной и холодной келье, может стать и ее судьбой.

Вот тут-то и спасал… театр, седьмое чудо света. В маленьком зале горстка зрителей - только свои, доверенные люди - завороженно смотрели на сцену, где в неверном свете свечей разворачивалась перед ними драма о «преславной палестинских стран царице» Диане, жене царя Географа, - красивой, доброй, милой - ну, вылитая наша госпожа! Ее нещадно гнетет и тиранит злая, грузная, конопатая свекровь. И переглядываться зрителям не нужно - и так ясно, кого вывел на сцену доморощенный драматург Мавра Шепелева - а именно она написала пьесу, которую захватили люди Ушакова у регента Петрова в 1735 году. Плачут зрители, не в силах помочь оклеветанной свекровью, опозоренной, изгнанной мужем в пустыню Диане. Ко всем прочим несчастьям львица утаскивает у нее сына-младенца! О, горе!

Но все же есть Бог на свете и правда на земле! Некие путешественники случайно находят несчастную и ее дитя в пустыне, привозят их к обманутому матерью Географу, все недоразумения разъясняются, неправды и интриги зловредной свекрови разоблачены, и Диана с триумфом занимает место на троне рядом с мужем. В таком же аллегорическом духе писались и ставились и другие спектакли этого, как потом скажут исследователи, «оппозиционного театра Елизаветы Петровны» на Смольном дворе - так называлась загородная дача цесаревны *(см. Итигина)*. Истинно, театр - волшебная, необыкновенная вещь.

Театральное чудо победы добра над злом, красоты над безобразием, правды над несправедливостью свершалось всякий раз на глазах нашей красавицы и ее молодых друзей, и всем им, вероятно, казалось, что вот-вот это чудо произойдет и с ними. Разве не об этом говорилось в пьесе о Лавре: «Ни желание, ни искание, ни помышление, но Бог, владея всем, той возведе тя на престол Российской державы, тем сохраняема, тем управляема буди во веки!» *(Черты, с.329-330)*. На подмостках театра мечты они разыгрывали свою грядущую жизнь. Но самое удивительное - это то, что ни актеры, ни зрители, сидевшие в маленьком зале, даже в самых смелых мечтах не предполагали, что сбудется все, о чем они думали втайне, что их ждет действительно сказочное, волшебное будущее, что все они станут богаты, знатны, славны, к ним будут прислушиваться первейшие сановники и иностранные дипломаты, что они войдут в русскую историю как сподвижники императрицы Елизаветы Петровны, которой предстоит править

Россией целых двадцать лет! И самое важное - они не знали, КАК СКОРО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ!

ГЛАВА 3
БРАУНШВЕЙГСКОЕ СЕМЕЙСТВО

И вот 25 ноября 1741 года чудо свершилось - императрица Елизавета I Петровна стояла у окна в своем императорском Зимнем дворце и смотрела на город и страну, теперь безраздельно принадлежавшие ей. Шел первый день ее царствования, конец которого казался бесконечно далеким…

И с первым же днем пришли трудности и хлопоты, ранее неведомые полуопальной цесаревне. Прежде всего следовало решить, что же делать с арестованной Брауншвейгской фамилией. А как отнеслись к перевороту в армии, и нет ли волнений в частях, как встретит дочь Петра Москва - старая столица, сердце России? Требовалось срочно составить манифест о восшествии Елизаветы Петровны на престол. Между тем стране и миру было так непросто объяснить, каким же образом цесаревна оказалась на российском троне. Ведь в Европе прекрасно знали, что император Иван Антонович вступил на престол в 1740 году, согласно завещанию императрицы Анны Ивановны, и что все подданные, в том числе и цесаревна Елизавета, присягали на кресте и Евангелии в верности малолетнему императору, а потом и Анне Леопольдовне как правительнице. Следовательно, власть императора Ивана была законна, тогда как власть Елизаветы - нет.

Но вернемся к жертвам ночного переворота 25 ноября 1741 года - Брауншвейгской фамилии и расскажем о них подробнее.

Правительница России великая княгиня Анна Леопольдовна не производила на окружающих выгодного впечатления. «Она не обладает ни красотой, ни грацией, - писала жена английского резидента леди Рондо в 1735 году, - а ее ум еще не проявил никаких блестящих качеств. Она очень серьезна, немногословна и никогда не смеется; мне это представляется весьма неестественным в такой молодой девушке, и я думаю, за ее серьезностью скорее кроется глупость, нежели рассудительность» *(Безвременье, с.222)*.

Иного мнения об Анне Леопольдовне был ее обер-камергер Эрнст Миних - сын фельдмаршала Миниха. В своих мемуарах он писал, что принцессу Анну считали холодной, надменной, презрительной, но на самом деле ее душа была нежной и сострадательной, великодушной и незлобивой, а ее холодность служила лишь защитой от «грубейшего ласкательства», столь распространенного при дворе ее тетки. Так или иначе, некоторая

нелюдимость, угрюмость и неприветливость принцессы Анны бросались в глаза всем. Шетарди передавал рассказ о том, что герцогиня Мекленбургская Екатерина Ивановна, мать Анны Леопольдовны, была вынуждена прибегать к строгости, чтобы победить в дочери диковатость и заставить ее свободно появляться в обществе. Впрочем, объяснение не особенно симпатичным чертам Анны Леопольдовны нужно искать не только в ее характере, данном природой, но и в обстоятельствах ее жизни, особенно после 1733 года.

Семейная жизнь Анны Леопольдовны не сложилась. Она жила в браке без любви. Приехавший в 1734 году из Германии жених Анны принц Брауншвейг-Люнебургский Антон-Ульрих всех разочаровал: и императрицу Анну Ивановну, и двор, и прежде всего саму невесту. Худенький, белокурый, женоподобный сын герцога Фердинанда-Альбрехта, отысканный в Германии специальным посланником Анны Ивановны графом Карлом-Рейнгольдом Левенвольде, казался неловким провинциалом и замирал от страха и стеснения под пристальными, недоброжелательными взглядами «львов» и «львиц» русского императорского двора. Как писал в своих мемуарах Бирон, «принц Антон имел несчастье не понравиться императрице, очень недовольной выбором Левенвольде. Но промах был сделан, исправить его, без огорчения себя или других, не оказалось возможности». Императрица не сказала официальному свату - австрийскому послу - ни да ни нет, но оставила принца в России, чтобы он, дожидаясь совершеннолетия принцессы, обжился, привык к новой для него стране. Ему был дан чин подполковника Кирасирского полка и соответствующее его статусу содержание.

Принц неоднократно и безуспешно пытался сблизиться со своей будущей супругой, но девица равнодушно отвергала его ухаживания. «Его усердие, - писал впоследствии Бирон, - вознаграждалось такой холодностью, что в течение нескольких лет он не мог льстить себя ни надеждою любви, ни возможностью брака» *(Бирон, с.522)*. Летом 1735 года произошел скандал, отчасти объяснивший подчеркнутое равнодушие Анны к Антону-Ульриху. Шестнадцатилетнюю девицу заподозрили в интимной близости с красавцем и любимцем женщин графом Морицем Карлом Динаром - польско-саксонским посланником в Петербурге, причем соучастницей тайных свиданий признали воспитательницу принцессы госпожу Адеракс. В конце июня того же года этого незадачливого педагога поспешно посадили на корабль и выслали за границу. Затем по просьбе русского правительства польский король Август II отозвал из России и графа Линара. Причина скандала была, как писала леди Рондо,

очень проста - «принцесса молода, а граф - красив». Пострадал и «связник» возлюбленных камер-юнкер принцессы Иван Брылкин - его сослали в Казань.

Больше об этом инциденте сказать нечего. Известно лишь, что с приходом Анны Леопольдовны к власти в 1740 году Динар тотчас явился в Петербург, стал своим человеком при дворе, участвовал в совещаниях о государственных делах, получил высший орден России - Святого Андрея Первозванного, шпагу, украшенную бриллиантами, и прочие награды. Факт, несомненно, выразительный, как и то, что неведомый никому бывший камер-юнкер Брылкин был тогда же назначен обер-прокурором Сената. Наконец, известно, что после скандала императрица Анна Ивановна установила за племянницей чрезвычайно жесткий, недремлющий контроль. Посторонним лицам вход на половину принцессы Анны был совершенно закрыт.

Изоляция от общества ровесников, подруг, от света и даже двора, при котором она появлялась лишь на официальных церемониях, длилась пять лет и не могла не повлиять на психику и нрав Анны Леопольдовны. Не особенно живая и общительная от природы, теперь она стала совсем замкнутой, склонной к уединению, раздумьям, сомнениям и, как писал Эрнст Миних, увлеклась чтением книг, что в те времена считалось делом диковинным и барышень до добра не доводящим. Анна поздно вставала, небрежно одевалась и причесывалась - даже на одном из немногих известных портретов Анны ее голова повязана платком. С неохотой и страхом выходила она на сияющий паркет дворцовых зал. Такую нелюдимость Анна Леопольдовна сохраняла и в дни своего правления - ей всегда было неловко в большом обществе, и правительница предпочитала малолюдные собрания друзей и хороших знакомых, с которыми она играла в карты или сидела у камина. О шумных, веселых праздниках и маскарадах при ней никто и не заикался.

Изоляция принцессы Анны была прервана лишь летом 1739 года, когда австрийский посол маркиз де Ботта от имени принца Антона-Ульриха и его тетки - австрийской императрицы - официально просил у императрицы Анны Ивановны руки принцессы Анны и получил, наконец, благосклонное (по крайней мере, с виду) согласие русской государыни. Инициатива в этом деле принадлежала императрице Анне Ивановне. Поначалу она не хотела думать ни о каком наследнике - ей, ставшей императрицей в 37 лет, после долгих лет унижений, бедности, ожиданий, казалось, что жизнь только начинается. К тому же ни племянница, ни ее будущий супруг императрице совсем не нравились, а потому она затягивала решение этого скучного и,

казалось, ненужного для нее брачного дела племянницы.

Судьба принцессы Анны Леопольдовны весьма беспокоила фаворита императрицы Анны Ивановны герцога Бирона. Видя демонстративное пренебрежение Анны Леопольдовны к своему заморскому жениху, Бирон в 1738 году пустил пробный шар: через посредницу - придворную даму, он попытался выведать, не согласится ли принцесса выйти замуж за старшего сына герцога, Петра Бирона. При этом он заранее заручился поддержкой императрицы, а то обстоятельство, что Петр был на шесть лет младше Анны, не особенно смущало герцога - ведь в случае успеха его замысла Бироны породнились бы с правящей династией и посрамили бы тем самым ловкачей предыдущих времен - Меншикова и Долгоруких, которые пытались сделать то же самое. Но Анна Леопольдовна слишком высоко ставила свое царственное происхождение и с возмущением отвергла притязания «низкородного» Бирона. Она сказала, что, пожалуй, готова выйти замуж за Антона-Ульриха - все-таки он принц из древнего германского рода. К слову сказать, принц, жених ее, к этому времени возмужал, он поучаствовал волонтером в русско-турецкой войне 1735-1739 годов, показал себя храбрецом под Очаковым, за что удостоился чина генерала и ордена Андрея Первозванного.

1 июля 1739 года молодые обменялись кольцами. Антон-Ульрих вошел в зал, где происходила церемония обручения, одетый в белый с золотом атласный костюм; его длинные белокурые волосы были завиты и распущены по плечам. Леди Рондо, стоявшей в зале рядом со своим мужем, пришла в голову странная мысль, которой она и поделилась со своей приятельницей: «Я невольно подумала, что он выглядит, как жертва». Удивительно, как случайная, казалось бы, фраза о жертвенном агнце стала мрачным пророчеством. Ведь Антон-Ульрих действительно был принесен в жертву династическим интересам русского двора.

Но в тот момент все думали, что жертвой была невеста. Она дала согласие на брак и «при этих словах… обняла свою тетушку за шею и залилась слезами. Какое-то время Ее величество крепилась, но потом и сама расплакалась. Так продолжалось несколько минут, пока, наконец, посол не стал успокаивать императрицу, а обер-гофмаршал - принцессу». После обмена кольцами первой подошла поздравлять невесту цесаревна Елизавета Петровна. Реки слез потекли вновь. Все это скорее походило на похороны, чем на обручение.

Сама свадьба состоялась через два дня. Великолепная процессия потянулась от дворца к церкви Рождества на Невском

проспекте. В роскошной карете лицом к лицу сидели императрица и невеста в роскошном серебристом платье. Все движение кортежа было обставлено с надлежащей торжественностью и блеском. После венчания последовал долгий свадебный обед, затем бал… Наконец, невесту отвели в спальню и облачили в атласную ночную сорочку, герцог Бирон привел к ней уже одетого в домашний халат принца, и двери супружеской спальни закрылись.

Целую неделю двор праздновал свадьбу. Были обеды и ужины, маскарад с новобрачными в оранжевых домино, опера в придворном театре, фейерверк и иллюминация в Летнем саду. Леди Рондо находилась в числе гостей и потом сообщала в письме своей приятельнице, что «каждый был одет в наряд по собственному вкусу: некоторые - очень красиво, другие - очень богато. Так закончилась эта великолепная свадьба, от которой я еще не отдохнула, а что еще хуже, все эти рауты были устроены для того, чтобы соединить вместе двух людей, которые, как мне кажется, от всего сердца ненавидят друг друга; по крайней мере, думается, что это можно с уверенностью сказать в отношении принцессы: она обнаруживала весьма явно на протяжении всей недели празднеств и продолжает выказывать принцу полное презрение, когда находится не на глазах императрицы» *(Безвременье, с.251-252)*. Говорили также, что в первую брачную ночь молодая жена убежала от мужа в Летний сад.

Как бы то ни было, через тринадцать месяцев этот печальный брак дал свой плод - 18 августа 1740 года Анна Леопольдовна родила мальчика, названного, как его прадед, Иваном. Более всех рождению сына у молодой четы обрадовалась императрица Анна Ивановна - покой династии, казалось, был обеспечен, и государыня, став восприемницей новорожденного, тотчас засуетилась вокруг него. Для начала она отобрала младенца у родителей и поселила его вместе с няньками в своих покоях. Теперь и Анна Леопольдовна, и Антон-Ульрих мало кого интересовали - свое дело они сделали. Однако понянчить внука, точнее - внучатого племянника, заняться его воспитанием императрице Анне не довелось: 5 октября 1740 года прямо за обеденным столом у нее начался сильнейший приступ болезни, которая через две недели и свела ее в могилу. Согласно завещанию покойной, двухмесячный принц Иван Антонович стал императором, а герцог Бирон регентом при нем.

Регентом Бирон пробыл совсем недолго. Как уже говорилось, 9 ноября 1741 года гвардейцы во главе с Минихом, заручившимся поддержкой родителей императора, свергли Бирона, и Анна Леопольдовна была провозглашена великой княгиней и

правительницей России. Впрочем, несмотря на эти головокружительные перемены, Анна Леопольдовна продолжала жить так же, как жила раньше. Мужа своего она по-прежнему презирала и часто не пускала ночевать на свою половину. Теперь трудно понять, почему так сложились их отношения, почему принц Антон оказался так неприятен своей супруге. Конечно, принц был слишком тих, робок и неприметен. Он не обладал изяществом, лихостью и мужественностью графа Динара. Миних говорил, что провел с принцем две военные кампании, но так и не понял: рыба он или мясо. Когда кабинет-министр Артемий Волынский как-то в 1740 году спросил Анну Леопольдовну, чем ей не нравится принц, она отвечала: «Тем, что весьма тих и в поступках несмел».

Бирон говорил саксонскому дипломату Пецольду с немалой долей цинизма, что главное предназначение Антона-Ульриха в России - «производить детей, но и на это он не настолько умен», и что нужно молиться Богу, чтобы родившиеся от него дети оказались более похожи на мать, чем на отца. Словом, вряд ли бедный, нерыцарственный Антон-Ульрих мог рассчитывать на пылкую любовь молодой жены.

Анна Леопольдовна, как пишет ее современница, «была некрасива, но приятна, небольшого роста, брюнетка, с хорошими и приятными, но грустными глазами, довольно правильными чертами лица, с красивою шеею и руками, видная, но в общем она не была привлекательна. Во всем существе ее слышалась печаль и меланхолия» *(Анна-Елизавета, с.466)*. Драма жизни Анны Леопольдовны усугублялась еще тем, что она совершенно не годилась для «ремесла королей» - управления государством. Ее никогда к этому не готовили, да никто об этом, кроме судьбы и случая, и не думал. У принцессы отсутствовало множество качеств, которые позволили бы ей, если не управлять страной, то хотя бы пребывать в заблуждении, что она этим занимается для общей пользы. У Анны не было трудолюбия, честолюбия, энергии, воли, отсутствовало умение понравиться подданным приветливостью или, наоборот, привести их в трепет грозным видом, как это успешно делала Анна Ивановна. Фельдмаршал Миних писал, что Анна «по природе своей… была ленива и никогда не появлялась в Кабинете. Когда я приходил по утрам с бумагами… которые требовали резолюции, она, чувствуя свою неспособность, часто говорила: «Я хотела бы, чтобы мой сын был в таком возрасте, когда бы мог царствовать сам». Далее Миних пишет то, что подтверждается другими источниками - письмами, мемуарами, даже портретами: «Она была от природы неряшлива, повязывала голову белым платком, идя к обедне, не носила фижм

(дело, как читатель понимает, совершенно недопустимое! - *Е.А.*) [2] и в таком виде появлялась публично за столом и после полудня за игрой в карты с избранными ею партнерами, которыми были принц - ее супруг, граф Динар - посол польского короля и фаворит великой княгини, маркиз де Ботта - посол австрийского императора, ее доверенное лицо… господин Финч - английский посланник и мой брат (барон Х. В. Миних. - *Е.А.*)» *(Безвременье, с.65)*. Только в такой обстановке, дополняет сын фельдмаршала Эрнст, она бывала свободна и весела.

Вечера эти проходили за закрытыми дверями в апартаментах ближайшей подруги правительницы и ее фрейлины Юлии Менгден, или, как презрительно называла ее императрица Елизавета Петровна, Жульки. Без этой, как писали современники, «пригожей собой смуглянки» Анна не могла прожить ни дня - так они были близки. Их отношения были необычайны, и на это обращали внимание. Финч, хорошо знавший всю картежную компанию, писал, что любовь Анны к Юлии «была похожа на самую пламенную любовь мужчины к женщине», что они часто спали вместе. Анна дарила Юлии бесценные подарки, в том числе полностью обставленный дом. Далее, как бы написали в прошлом веке, скромность не позволяет автору развивать эту тему.

В целом, Анна Леопольдовна слыла существом безобидным и добрым. Правда, как писал Манштейн, правительница «любила делать добро, но вместе с тем не умела делать его кстати». Таким, как Анна, - ленивым, простодушным и доверчивым людям - не место в волчьей стае политиков, где рано или поздно они теряют власть и гибнут. То, что произошло с Анной Леопольдовной, было неизбежным.

Конец лета 1741 года - первого и последнего лета Анны Леопольдовны как правительницы России - прошел под звуки фанфар и салюта. В июле Анна родила второго ребенка - принцессу Екатерину, а 23 августа русские войска под командой фельдмаршала Петра Ласси наголову разбили шведскую армию под Вильманстрандом… Но уже через три месяца, ночью 25 ноября 1741 года, Анна Леопольдовна проснулась от шума и грохота солдатских сапог. За ней и ее сыном пришли мятежники, и вскоре их перевезли во дворец теперь уже бывшей цесаревны. Новая государыня и ее окружение ломали голову. Что же делать с младенцем-императором и его семьей, никто толком не знал.

Впрочем, раздумья новой императрицы были недолги - радость быстрой и легкой победы кружила ей голову, Елизавете хотелось быть доброй и великодушной, и она решила попросту выслать из страны Брауншвейгскую фамилию. 28 ноября об этом вышел манифест, и в ту же ночь санный обоз из закрытых

кибиток, в которых сидели император, его родственники и приближенные, а также многочисленный конвой под командованием обер-полицмейстера Петербурга Василия Салтыкова, поспешно покинул Петербург по дороге на Ревель и Ригу, то есть к западной границе России.

Перед отъездом Салтыков получил особую инструкцию, согласно которой экс-императора Ивана надлежало срочно доставить в Ригу, а затем в Митаву и далее отправить в Германию. Но не успели кибитки отъехать от Петербурга, как срочный курьер от императрицы нагнал конвой и передал Салтыкову новую инструкцию, которая требовала от него совершенно противоположного: «Из-за некоторых обстоятельств то (то есть быстрая езда до Митавы. - *Е.А.*) отменяется, а обязаны вы ваш путь продолжать как возможно тише и отдыхать на каждой станции дня по два».

«Некоторые обстоятельства» заключались в том, что Елизавета сообразила, что Брауншвейгская фамилия, оказавшись за границей, в окружении своих могущественных родственников, среди которых были австрийская императрица, прусский и датский короли, будет представлять для нее серьезную опасность. Словом, Елизавета явно пожалела о своем благородстве и великодушии уже на следующий день после высылки экс-императора и его родственников из Петербурга.

Поезд с узниками ехал к русской границе все медленнее и медленнее, указы, приходившие Салтыкову из Петербурга, требовали все более и более суровых мер охраны Брауншвейгской фамилии, ранее довольно свободный режим содержания делался все жестче и жестче. В конце концов, через год такого странного путешествия, несчастная семья оказалась в заточении в Динамюнде - крепости под Ригой. Стало ясно, что клетка за несчастными захлопнулась навсегда. В крепостных казематах Динамюнде узники провели более года, там в 1743 году Анна родила третьего ребенка - Елизавету, а в январе 1744 года Салтыков получил указ срочно отправить своих подопечных подальше от границы - в центр России, в город Ранненбург Воронежской губернии.

В печальной судьбе Брауншвейгской фамилии свою роль могло сыграть и следующее, весьма странное обстоятельство. В ноябре 1743 года прусский король Фридрих II вызвал русского посланника и просил передать Елизавете Петровне совет о том,как следует ей поступить с Брауншвейгской фамилией, приходящейся ему через жену, королеву Елизавету-Христину, родственной. Он сказал, что их надлежит заслать «в такие места, чтоб никто знать не мог что, где и куда оные девались и тем бы

оную фамилию в Европе совсем в забытое привесть, дабы ни одна потенция за них не токмо не вступилась, но при дворе Вашего императорского величества о том домогательствы чинить, конечно, не будет» *(Совет Фридриха, стр.1542)*. Известно, что прусский король был человеком в высшей степени талантливым, оригинальным и беспринципным, чем, собственно, и заслужил славу великого. Позже, лет тринадцать спустя, он в этом вопросе уже вел политику иную - стремился использовать фигуру опального императора и его родственников с целью ослабить режим Елизаветы Петровны. Но тогда, в 1742 году, он явно заигрывал с русской государыней и таким образом пытался убедить ее в своем особом расположении, ради чего был непрочь пожертвовать и своими родственниками.

Дав указ о вывозе Брауншвейгской фамилии, императрица требовала, чтобы Салтыков при этом сообщил, как вели себя, отъезжая на новое место, Анна Леопольдовна и ее муж: были они «недовольны или довольны» указом? Салтыков рапортовал, что когда члены семьи увидели намерения конвоя рассадить их по разным кибиткам, то они «с четверть часа поплакали». По-видимому, они подумали, что их хотят разлучить друг с другом. Эта опасность нависла над ними теперь как дамоклов меч. Отныне жизнь их проходила в ожидании худшего поворота событий.

Новый начальник конвоя капитан Вындомский сначала по ошибке повез арестантов не в Ранненбург Воронежской губернии, а в Оренбург - город, отстоящий на тысячи верст восточнее, почти в Сибири. Только по дороге маршрут был уточнен. В Ранненбурге (ныне город Чаплыгин Липецкой области) Брауншвейгская семья прожила до конца августа 1744 года, когда сюда внезапно прибыл личный посланник императрицы Елизаветы майор гвардии Николай Корф. Он привез с собой секретный указ государыни. Это был жестокий, бесчеловечный указ. Корф был обязан ночью отнять у родителей экс-императора Ивана и передать капитану Миллеру, которому вместе с ребенком («mit dem Kleinen») ехать без промедления на север. В инструкции Миллеру было сказано о четырехлетнем малыше: «Онаго приняв, посадить в коляску и самому с ним сесть и одного служителя своего или солдата иметь в коляске для сбережения и содержания того младенца и именем его называть Григорий». Роковое в русской истории имя! Может быть, это имя было выбрано случайно, а может быть, и неслучайно - в династической истории России имя Григорий имеет явный негативный «след» - так звали самозванца Отрепьева, захватившего в России власть в 1605 году и своим авантюризмом обрекшего страну на невиданные страдания и

разорение. Тем самым Елизавета как бы низводила бывшего императора до уровня самозванца.

Корф, судя по его письмам, не был тупым служакой-исполнителем, а имел доброе сердце и понимал, что его руками совершается жестокое дело. Поэтому он запросил Петербург, как поступать с мальчиком, если будет «беспокоен из-за разлуки с родителями» и станет спрашивать у охраны о матери или отце. Петербургские власти отказали Корфу в его просьбе придать экс-императору кормилицу или сиделицу, «чтоб он не плакал и не кричал», и вообще велели не умничать и в точности исполнять указ. Миллеру же предписывалось по прибытии в Архангельск потребовать от местных властей судно, на него «посадить младенца ночью, чтобы никто не видал, и отправиться в Соловецкий монастырь, где его ночью же, закрыв, пронести в четыре покоя и тут с ним жить так, чтобы кроме его, Миллера, солдата его и служителя, никто оного Григория не видел… а младенца из камеры, где он посажен будет, отнюдь не выпускать и быть при нем днем и ночью слуге и солдату, чтоб в двери не ушел или от резвости в окошко не выскочил» *(Сведения, с.85-86)*.

Корф думал не только о судьбе ребенка. Он спрашивал императрицу, как поступать с подругой бывшей правительницы Юлией Менгден - ведь ее нет в списке будущих соловецких узников, а «если разлучить принцессу с ее фрейлиной, то она впадет в совершенное отчаяние». Петербург остался глух к сомнениям Корфа и распорядился: Анну Леопольдовну везти на Соловки, а Менгден оставить в Раненбурге. Что пережила Анна, прощаясь навсегда со своей сердечной подругой, которая давно составляла как бы часть ее души, представить трудно. Ведь, уезжая из Петербурга, Анна просила императрицу только об одном: «Не разлучайте с Юлией!» Тогда Елизавета, скрепя сердце, дала согласие, а теперь, не включив Юлию в «соловецкую экспедицию», тем самым свое разрешение отменила. Корф писал, что известие о разлучении подруг и предстоящем путешествии в неизвестном для них направлении как громом поразило узниц: «Эта новость, - писал Корф, - повергла их в чрезвычайную печаль, обнаружившуюся слезами и воплями. Несмотря на это и на болезненное состояние принцессы (она была беременна. - *Е.А.*), они отвечали, что готовы исполнить волю государыни». По раскисшим от грязи дорогам, в непогоду и холод, а потом и снег, арестантов медленно повезли на север *(Корф)*.

Обращают на себя внимание два момента: поразительная покорность Анны Леопольдовны и издевательская, мстительная жестокость императрицы, которая не диктовалась ни государственной необходимостью, ни опасностью, исходившей от

этих безобидных женщин, детей и бывшего генералиссимуса, не одержавшего ни одной победы. Елизаветой владели ревность и злоба. В марте 1745 года, когда Юлию и Анну уже разделяли сотни верст, Елизавета написала Корфу, чтобы он спросил Анну Леопольдовну, кому она отдала свои алмазные вещи, из которых многих, при учете, не оказалось в наличии. «А ежели она - заканчивает Елизавета, - запираться станет, что не отдавала никому никаких алмазов, то скажи, что я принуждена буду Жулию розыскивать (то есть пытать. - *Е.А.*), то ежели ее жаль, то она бы ее до такого мучения не допустила» *(Сведения, с.95)*.

Это было не первое письмо подобного рода, полученное от императрицы Елизаветы. Уже в октября 1742 года она писала Салтыкову в Динамюнде, чтобы тот сообщил, как и почему бранит его Анна Леопольдовна - об этом до Елизаветы дошел слух. Салтыков отвечал, что это навет: «у принцессы я каждый день поутру бываю, только кроме ее учтивости никаких неприятностей, как сам, так через офицеров, никогда не слышал, а когда что ей необходимо, то она о том с почтением просит». Салтыков написал правду - такое поведение кажется присущим бывшей правительнице. Она была кроткой и безобидной женщиной - странная, тихая гостья в этой стране, на этой земле. Но ответ Салтыкова явно императрице не понравился - ее ревнивой злобе к Анне Леопольдовне не было предела.

Почему так случилось? Ведь Елизавета не была злодейкой. Думаю, что ей невыносимо было слышать и знать, что где-то есть женщина, окруженная, в отличие от нее, императрицы, детьми и семьей, что есть люди, разлукой с которыми вчерашняя правительница Российской империи печалится больше, чем расставанием со властью, что ей вообще не нужна эта власть, а нужен рядом только дорогой ее сердцу человек. Лишенная, казалось бы, всего: свободы, нормальных условий жизни, сына, близкой подруги эта женщина не билась, как, может быть, ожидала Елизавета, в злобной истерике, не бросалась на стражу, не писала государыне униженных просьб, а лишь покорно, как истинная христианка, принимала все, что приносил ей каждый новый день, еще более печальный, чем день прошедший.

Более двух месяцев Корф вез Брауншвейгское семейство к Белому морю. Но размытые дороги не позволили доставить пленников до берегов Белого моря вовремя - навигация уже закончилась. Корф уговорил Петербург хотя бы временно прекратить это путешествие, измотавшее всех - арестантов, охрану, самого Корфа, и поселить бывшего императора и его семью в Холмогорах, небольшом городе на Северной Двине, выше Архангельска. Весной 1746 года в Петербурге решили, что узники

останутся здесь еще на какое-то время. Никто даже не предполагал, что пустовавший дом покойного холмогорского архиерея, в котором их поселили, станет для Брауншвейгской фамилии тюрьмой на долгие тридцать четыре года!

Анне Леопольдовне было не суждено прожить там дольше двух лет. 27 февраля 1746 года она родила третьего мальчика - принца Алексея. Это был последний, пятый ребенок; четвертый, сын Петр, появился на свет также в Холмогорах в марте 1745 года. Рождение всех этих детей также становилось причиной ненависти Елизаветы к бывшей правительнице. Ведь эти дети рождались принцами и принцессами и, согласно завещанию императрицы Анны Ивановны, имели прав на престол больше, чем Елизавета - в завещании покойной было сказано, что в случае смерти императора Ивана Антоновича престол переходит к его братьям и сестрам. И хотя правом дочери Петра Великого была сила, тем не менее каждое сообщение о рождении очередного потенциального претендента на русский трон страшно раздражало императрицу Елизавету. Получив из Холмогор рапорт о появлении на свет принца Алексея, она - согласно сообщению курьера - «изволила, прочитав, оный рапорт разодрать». Рождение детей у Анны Леопольдовны и Антона-Ульриха тщательно скрывалось от общества, и коменданту холмогорской тюрьмы категорически запрещалось даже упоминать в переписке о детях правительницы. После смерти Анны Леопольдовны императрица Елизавета потребовала, чтобы Антон-Ульрих сам подробно написал о кончине жены, но при этом не упоминал бы, что Анна родила ребенка.

Рапорт о смерти 28-летней Анны пришел вскоре после сообщения о рождении принца Алексея. Бывшая правительница России умерла от последствий родов, так называемой послеродовой горячки. В официальных же документах причиной смерти принцессы Анны был указан «жар», общее воспаление организма, а не последствия родов. Комендант холмогорской тюрьмы Гурьев действовал по инструкции, которую получил еще задолго до смерти Анны Леопольдовны: «Если, по воле Бога, случится кому из известных персон смерть, особенно - Анне или принцу Ивану, то, учинив над умершим телом анатомию и положив его в спирт, тотчас прислать к нам с нарочным офицером».

Нарочным стал поручик Писарев, доставивший тело Анны в Петербург, точнее - в Александро-Невский монастырь. В официальном извещении о смерти умершая была названа «принцессою Брауншвейг-Люнебургской Анной». Ни титула правительницы России, ни титула великой княгини за ней не

признавалось, равно как и титула императора за ее сыном. В служебных документах чаще всего они упоминались вообще нейтрально: «известные персоны». И вот теперь, после своей смерти, Анна стала вновь, как в юности, принцессой.

Хоронили Анну Леопольдовну как второстепенного члена семьи Романовых в усыпальнице Александро-Невского монастыря. На утро 21 марта 1746 года были назначены панихида и погребение. В Александро-Невский монастырь съехались знатнейшие чины государства и их жены - всем хотелось взглянуть на женщину, о судьбе которой так много было слухов и легенд. Возле гроба Анны стояла сама императрица Елизавета. Она плакала - возможно, искренне. Хотя государыня была завистлива и мелочна, но злодейкой, которая радуется чужой смерти, никогда не слыла.

Анну Леопольдовну предали земле в Благовещенской церкви. Там уже давно вечным сном спали две другие женщины - ее бабушка, царица Прасковья Федоровна, и ее мать, герцогиня Мекленбургская Екатерина Ивановна. Известно, что царица Прасковья больше всего на свете любила свою дочь «Свет-Катюшку» и внучку. И вот теперь, 21 марта 1746 года, эти три женщины, связанные родством и любовью, соединились навек в одной могиле.

Умирая в холмогорском архиерейском доме, Анна, возможно, не знала, что ее первенец Иван уже больше года живет с ней рядом, за глухой стеной, разделявшей архиерейский дом на две части. Нам неизвестно, как обходился в дороге с мальчиком капитан Миллер, что он отвечал на бесконечные и тревожные вопросы оторванного от родителей ребенка, которого теперь стали называть Григорием, как сложились их отношения за долгие недели езды в маленьком возке без окон. Известно лишь, что юный узник и его стражник приехали в Холмогоры раньше остальных членов Брауншвейгской семьи и Ивана поселили в изолированной части дома архиерея. Комната-камера экс-императора была устроена так, что никто, кроме Миллера и его слуги, пройти к нему не мог. Содержали Ивана в тюрьме строго. Когда Миллер запросил Петербург, можно ли его, Миллера, прибывающей вскоре жене видеть мальчика, последовал категорический ответ - нет! Так Ивану за всю его оставшуюся жизнь довелось увидать только двух женщин, двух императриц - Елизавету Петровну, а потом Екатерину II, которым экс-императора показывали тюремщики.

Многие факты говорят о том, что разлученный с родителями в четырехлетнем возрасте Иван был нормальным, резвым ребенком. Нет сомнения, что он знал, кто он такой и кто его

родители. Об этом свидетельствует официальная переписка еще времен Динамюнде. Позже, уже в 1759 году, один из охранников рапортовал, что секретный узник называет себя императором. Как вспоминал один из присутствовавших на беседе императора Петра III с Иваном Антоновичем в 1762 году в Шлиссельбурге, Иван отвечал, что императором его называли родители и солдаты. Помнил он и доброго офицера по фамилии Корф, который о нем заботился и даже водил на прогулку.

Все это говорит только об одном - мальчик не был идиотом, больным физически и психически, каким порой его изображали. Отсюда следует, что детство, отрочество, юность Ивана Антоновича - волшебные мгновения весны человеческой жизни - прошли в пустой комнате с кроватью, столом и стулом. Он видел только скучное лицо молчаливого слуги Миллера, который грубо и бесцеремонно обращался с ним. Вероятно, он слышал неясные шумы за стеной камеры, до него долетал шум дождя, деревьев, крик ночной птицы.

Конечно, Елизавета бы вздохнула с облегчением, если бы вскоре получила рапорт коменданта о смерти экс-императора. Личный врач императрицы Лесток в феврале 1742 года авторитетно говорил одному иностранному дипломату, что Иван Антонович весьма мал для своего возраста и что он должен неминуемо умереть при первой же серьезной болезни. Такой момент наступил в 1748 году, когда у восьмилетнего мальчика начались страшные по тем временам болезни, не щадившие не только детей, но и взрослых, - оспа и корь одновременно. Комендант тюрьмы, видя страдания больного мальчика, запросил императрицу, можно ли допустить к ребенку врача, а если он будет умирать - то и священника. Ответ был недвусмысленный: допустить можно, но только монаха и в последний час. Иначе говоря, не лечить - пусть умирает! Но природа оказалась гуманнее царицы и дала Ивану возможность выжить.

Один из современников, видевших Ивана взрослым, писал, что он был белокур, даже рыж, роста среднего, «очень бел лицом, с орлиным носом, имел большие глаза и заикался. Разум его был поврежден… Он возбуждал к себе сострадание, одет был худо». В начале 1756 года в жизни Ивана наступила резкая перемена. Неожиданно глухой январской ночью 1756 года пятнадцатилетнего юношу тайно вывезли из Холмогор и доставили в Шлиссельбург. Охране дома в Холмогорах было строго предписано усилить надзор за принцем Антоном-Ульрихом и его детьми, «чтобы не произошло утечки». В это время власти опасались попыток похищения Брауншвейгской фамилии прусскими агентами. О планах Фридриха II

организовать побег Ивана Антоновича и его родных стало известно из данных, полученных Тайной канцелярией *(Данилевский, с.1124)*.

Иван Антонович прожил в Шлиссельбурге в особой казарме под присмотром специальной команды охранников еще долгих восемь лет. Можно не сомневаться, что его существование вызывало головную боль у всех трех сменивших друг друга властителей России: Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины II. Свергнув малыша с престола в 1741 году, Елизавета, умирая в 1761 году, передала этот династический грех своему племяннику Петру III, а от него проблему Ивана унаследовала в 1762 году Екатерина. И никто из них не знал, как быть с узником.

Между тем слухи о жизни Ивана Антоновича в тюрьме ходили в народе. Этому в немалой степени способствовали сами власти. Вступив на трон, Елизавета Петровна прибегла к удивительному по бесполезности способу борьбы с памятью о своем предшественнике. Именными указами императрицы повелевалось изъять из делопроизводства все бумаги, где упоминались император Иван VI и правительница Анна Леопольдовна, а также отменить все законы, принятые в период регентства 1740-1741 годов. Уничтожению подлежали также все изображения императора и правительницы, а также монеты, медали и титульные листы книг с традиционным обращением авторов и издателей к юному императору. Из-за границы категорически запрещалось ввозить книги, в которых упоминались «в бывшее ранее правление известные персоны». Из всех государственных учреждений и от частных лиц, под страхом жестокого наказания, было приказано присылать в Петербург все манифесты свергнутого императора, официальные акты, присяжные листы, проповеди, церковные книги, формы поминовения, паспорта. Из книг протоколов всех высших, центральных, местных учреждений повыдрали все документы времени регентства. Одним словом, все материальные предметы и бумаги, которые напоминали о предыдущем царствовании, были объявлены вне закона.

В итоге, в истории России появилась огромная «дыра», целого года жизни страны как не бывало. После 19 октября 1740 года - дня смерти императрицы Анны Ивановны - в историческом календаре России сразу следовало 25 ноября 1741 года - день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Впрочем, такое часто случалось в нашей истории - иначе она бы не славилась своими «белыми пятнами». Одну часть собранных и доставленных в Петербург бумаг приказали уничтожить, а другую (наиболее важные государственные акты) собрали и запечатали

государственными печатями. Эта пачка хранилась под строгим секретом в Сенате и в Тайной канцелярии. Ее стали называть «бумагами с известным титулом». Открывать связку категорически запрещалось. И только в 1852 году, более ста лет спустя, вышло высочайшее прощение бумагам - по докладу министра юстиции Д. Н. Замятнина Николай I распорядился не только «озаботиться о сохранении их в целости с приведением в порядок, но и издать их в свет с научною целью, в надлежащей системе» *(Карпович, с.235)*. Была создана ученая комиссия во главе с управляющим Московским архивом Министерства юстиции, сенатором и историком П. В. Калачевым, и не прошло даже тридцати лет, как два увесистых тома уникального исторического материала - как бы моментального «снимка» краткого царствования Ивана Антоновича - вошли в научный оборот *(см. Внутренний быт)*.

Думаю, что современному читателю, пережившему многие «периоды умолчания» советской истории, знакомы подобные сюжеты. Известны они и другим поколениям русских подданных: сохранился, например, указ императора Павла I от 28 января 1797 года о «выдрании из указных книг манифеста императрицы Екатерины II о вступлении ее на престол» *(О выдрании, с.592)*.

Естественно, что эффект от подобных мер был прямо противоположен задуманному. Став запретным, имя царя-младенца Ивана приобрело невиданную популярность в народе. Кто он, где содержат его и всю семью, знали все, а кто хотел подробностей, мог бы узнать и их на холмогорском базаре, куда за покупками для узников архиерейского дома приходила прислуга. И базар этот был главным распространителем сведений об Иване Антоновиче и его семье по всей стране. Естественно, что заключенный в темницу император стал в глазах народа праведником и мучеником - впрочем, не без оснований. В народном сознании царя Ивана считали жертвой не придворной борьбы, а борьбы за «истинную веру», за народ. Об Иване помнили всегда, люди по всей России рассказывали друг другу о безвинных страданиях плененного русского царя-государя, о том, что наступит и его час, а вместе с освобождением из узилища Ивана Антоновича - и час справедливости и добра.

Естественно, слухи о знаменитом узнике беспокоили власти. Болтунам исправно урезали языки, их били кнутом и отправляли в сибирскую и оренбургскую ссылку. Вместе с тем правители России испытывали по-человечески понятное любопытство, они хотели видеть Ивана! Именно поэтому в 1756 году Ивана Антоновича привозили в Петербург, в дом Ивана Шувалова - фаворита Елизаветы Петровны, где императрица впервые за

пятнадцать лет увидела своего соперника. В марте 1762 года новый император Петр III сам ездил в Шлиссельбург и разговаривал с заключенным. В августе 1762 года приезжала посмотреть на Ивана императрица Екатерина II.

Нет сомнения, что Иван Антонович производил тяжелое впечатление на своих высокопоставленных визитеров. Он был, как писали охранявшие его капитан Власьев и поручик Чекин, «косноязычен до такой степени, что даже те, кто непрестанно видели и слышали его, с трудом могли его понимать. Для произношения хотя бы отчасти вразумительных слов он был вынужден поддерживать рукою подбородок и поднимать его вверх». И далее тюремщики пишут: «Умственные способности его были расстроены, он не имел ни малейшей памяти, никакого ни о чем понятия, ни о радости, ни о горести, ни особенной к чему-либо склонности».

Важно заметить, что эти сведения о сумасшествии Ивана исходят от офицеров охраны - людей в медицине совсем некомпетентных. Представить Ивана безумцем было выгодно власти. С одной стороны, это оправдывало суровость содержания узника - ведь в те времена психически больных людей содержали как животных - на цепи, в тесных каморках, без ухода и человеческого сочувствия. С другой стороны, представление об Иване-безумце позволяло оправдать и убийство несчастного, который, как психически больной, себя не контролировал и поэтому легко мог стать опаснейшей игрушкой в руках авантюристов.

Конечно, двадцатилетнее заключение не могло способствовать развитию личности Ивана Антоновича. Маленький человек - не котенок, который даже в полной изоляции все равно вырастает котом, с присущими ему повадками. Для личности Ивана одиночество и то, что врачи называют «педагогической запущенностью», оказались губительны. Скорее всего он не был ни идиотом, ни сумасшедшим. Он был Маугли, его жизненный опыт был деформированным и дефектным. В доказательство безумия заключенного тюремщики пишут о его неадекватной, по их мнению, реакции на действия охраны: «В июне (1759 года) припадки приняли буйный характер: больной кричал на караульных, бранился с ними, покушался драться, кривил рот, замахивался на офицеров». Из других источников нам известно, что офицеры охраны обращались с ним грубо, наказывали его - лишали чая, теплых вещей, возможно и били за строптивость, и уж наверняка дразнили, как сидящую на привязи собаку. Об этом сообщал офицер Овцын, писавший в апреле 1760 года, что «арестант здоров и временами беспокоен, но до того его доводят

офицеры, всегда его дразнят». Их, своих мучителей, Иван, конечно, ненавидел, бранил. Это - естественная реакция психически нормального человека на бесчеловечное обращение.

А вообще положение узника было ужасным. Его держали в тесном, узком помещении, с постоянно закрытыми маленькими окнами. Многие годы он жил без дневного света, при свечах, и, не имея при себе часов, не знал времени дня и ночи. Как писал современник, «он не умел ни читать, ни писать, одиночество сделало его задумчивым, мысли его не всегда были в порядке». К этому можно добавить отрывок из инструкции коменданту, данной в 1756 году начальником Тайной канцелярии графом Александром Шуваловым: «Арестанта из казармы не выпускать, когда же для уборки в казарме всякой грязи кто-то будет впущен, тогда арестанту быть за ширмой, чтоб его видеть не могли». В 1757 году последовало уточнение: никого в крепость без указа Тайной канцелярии не впускать, не исключая генералов и даже фельдмаршалов *(Корф, с.192)*.

Неизвестно, сколько бы тянулась еще эта несчастнейшая жизнь, если бы не произошла трагедия 1764 года. Ночью 4 июля окрестные жители вдруг услышали в крепости беспорядочную стрельбу. Там была совершена неожиданная попытка освободить секретного узника Григория - бывшего императора Ивана Антоновича. Предприятием руководил подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Мирович. Жизненные неудачи, бедность и зависть мучили этого двадцатитрехлетнего офицера, и попыткой освободить и возвести на престол Ивана Антоновича он решил поправить свои дела. Об Иване он узнал, когда ему приходилось по долгу службы нести внешний караул в крепости. Он предполагал освободить Ивана, затем приехать с ним в Петербург и поднять на мятеж против Екатерины II гвардию и артиллеристов. Во время своего очередного дежурства Мирович поднял солдат в ружье, арестовал коменданта и двинул отряд на штурм той казармы, где сидел тайный узник. Дерзкий замысел Мировича почти удался: увидав привезенную людьми Мировича пушку, внешняя охрана казармы сложила оружие. И тогда тюремщики-офицеры Власьев и Чекин, как они писали в своем рапорте, «… видя превосходящую силу неприятеля, арестанта умертвили» *(Корф, с.264)*.

Известно, что испуганные штурмом тюремщики вбежали к разбуженному стрельбой Ивану и начали колоть его шпагами. Они спешили и нервничали, узник отчаянно сопротивлялся, но вскоре окровавленный упал на пол. Здесь-то и увидел его ворвавшийся минуту спустя Мирович. Он приказал положить тело на кровать и вынести на двор крепости, а после этого сдался

коменданту. Он проиграл, и ставкой в этой игре была его жизнь: через полтора месяца Мировича публично казнили в Петербурге, эшафот с его телом сожгли, а прах преступника развеяли по ветру.

История с убийством Ивана Антоновича ставит извечный вопрос о соотношении морали и политики. Власьев и Чекин, совершая убийство Ивана, действовали строго по данной им инструкции, которая предусматривала и такой вариант развития событий. Они выполнили свой долг… и совершили преступление. Но и здесь не все так просто. Две правды - Божья и Государственная - столкнулись в неразрешимом конфликте. Получается так, что смертный грех убийства может быть оправдан, если это предусматривает инструкция, если к этому обязывает присяга, если грех совершается во благо государства, ради безопасности больших масс людей. Это противоречие кажется неразрешимым.

Тело Ивана пролежало несколько дней в крепости, а потом, по особому приказу Екатерины II, его тайно закопали где-то во дворе. Теперь, более двух столетий спустя, теплоход подвозит нас к единственным воротам Шлиссельбургской крепости. Могучие старинные стены окружают по всему периметру маленький остров, лежащий среди струй темной и холодной воды, которая быстро стремится из Ладожского озера в Неву и дальше в Балтийское море. На крепостном дворе тепло и тихо. Кучки туристов толпятся вокруг гида, люди ходят среди развалин по большому, заросшему травой двору. Они смеются, греются на солнце, покупают детям мороженое… Они не знают, что где-то здесь, под их ногами, лежат останки несчастнейшего из людей, мученика, который жил и умер, так и не узнав, во имя чего Бог дал ему эту убогую жизнь и страшную смерть в 23 года…

Ко дню смерти Ивана его отец, муж Анны Леопольдовны Антон-Ульрих сидел в тюрьме уже два десятилетия. С ним же в архиерейском доме в Холмогорах жили две дочери и два сына. Дом стоял на берегу Двины, которая чуть-чуть виднелась из одного окна, был обнесен высоким забором, замыкавшим большой двор с прудом, огородом, баней и каретным сараем. Женщины жили в одной комнате, мужчины - в другой. Комнаты были низкие и тесные. Другое помещение занимали солдаты охраны и слуги узников.

Живя годами, десятилетиями вместе, под одной крышей (последний караул не менялся двенадцать лет), эти люди ссорились, мирились, влюблялись, доносили друг на друга. Скандалы следовали один за другим: то солдат поймали на воровстве, то офицеров - на интригах с горничными. Принц

Антон-Ульрих, как и всегда, был тих и кроток. С годами он растолстел и обрюзг. После смерти Анны Леопольдовны он находил утешение в объятиях служанок своих дочерей. В Холмогорах было немало его незаконных детей, которые, подрастая, становились прислугой членов Брауншвейгской фамилии. Изредка принц писал императрице Елизавете Петровне, а потом и Екатерине II письма: благодарил за присланные бутылки вина или еще какую-нибудь милостыню, по-современному говоря - передачу. Особенно бедствовал он без кофе, который был ему необходим ежедневно.

В 1766 году Екатерина II направила в Холмогоры генерала Александра Бибикова, который от имени императрицы предложил Антону-Ульриху покинуть Россию. Но тот отказался. Датский дипломат писал, что принц, «привыкший к своему заточению, больной и упавший духом, отказался от предложенной ему свободы». Это неточно - принц не хотел свободы для себя одного, он хотел уехать из России вместе с детьми. Но его условия не устраивали Екатерину - она боялась выпустить на свободу детей Анны Леопольдовны - претендентов на русский престол. Принцу лишь пообещали, что их всех отпустят вместе, когда сложится благоприятная для этого обстановка.

Так и не дождался Антон-Ульрих исполнения обещания Екатерины. К шестидесяти годам он одряхлел, ослеп и, просидев в заточении 34 года, скончался 4 мая 1776 года, пережив более чем на двадцать лет свою жену. Ночью гроб с телом тайно вынесли на двор и зарыли без священника, без обряда, словно самоубийцу, бродягу или утопленника. Мы даже не знаем, провожали ли его в последний путь дети.

Они прожили в Холмогорах еще четыре года. К 1780 году они были уже давно взрослыми: старшей, глухой Екатерине Антоновне, шел 39-й год, Елизавете было 37, Петру - 35, а младшему, Алексею, - 34 года. Все они были болезненными, слабыми, с явными физическими недостатками. О старшем сыне Анны Леопольдовны, Петре, офицер охраны писал, что он «сложения больного и чахоточного, немного кривобок и кривоног. Меньший сын Алексей - сложения плотного и здорового, имеет припадки». Старшая дочь Екатерина - «сложения больного и почти чахоточного, притом несколько глуха, говорит немо и невнятно и одержима различными болезненными припадками, нрава очень тихого».

Несмотря на жизнь в неволе и отсутствие образования (в 1750 году в Холмогоры бы прислан указ Елизаветы, запрещавший учить детей принцессы Анны грамоте), все они выросли умными,

добрыми и симпатичными людьми, выучились самостоятельно и грамоте. Побывавший у них наместник А.П.Мельгунов писал императрице Екатерине II о принцессе Екатерине Антоновне, что, несмотря на ее глухоту, «из обхождения ее видно, что она робка, стеснительна, вежлива и стыдлива, нрава тихого и веселого. Увидев, что другие в разговоре смеются, хотя и не знает тому причины, смеется вместе с ними… Как братья, так и сестры живут между собой в дружбе и притом беззлобны и гуманны. Летом работают в саду, ходят за курами и утками, кормят их, а зимой бегают наперегонки по пруду, катаются на лошадях, читают церковные книги и играют в шахматы и карты. Девицы, сверх того, занимаются иногда шитьем белья».

Быт их был скромен и непритязателен, как и их просьбы. Главой семьи была Елизавета, полноватая и живая девица, обстоятельная и разговорчивая. Она рассказала Мелыунову, что «отец и мы, когда были еще очень молоды, просили дать свободу, когда же отец наш ослеп, а мы вышли из молодых лет, то просили разрешения кататься по улице, но ни на что ответа не получили». Говорила она и о несбывшемся желании «жить в большом свете», научиться светскому обращению. «Но в нынешнем положении, - продолжала Елизавета Антоновна, - не останется нам ничего больше желать, как только того, чтобы жить здесь в уединении. Мы всем довольны, мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и состарились».

У Елизаветы было три просьбы, от которых у Алексея Мельгунова, человека тонкого, доброго и сердечного, вероятно, все перевернулось в душе: «Просим исходатайствовать у Ее величества милость, чтобы нам было позволено выезжать из дома на луга для прогулки, мы слышали, что там есть цветы, каких в нашем саду нет», чтобы пускали к ним дружить жен офицеров - так скучно без общества. И последняя просьба: «Нам присылают из Петербурга корсеты, чепчики и токи, но мы их не употребляем из-за того, что ни мы, ни служанки наши не знаем, как их надевать и носить. Сделайте милость, пришлите такого человека, который умел бы наряжать нас».

В конце разговора с Мельгуновым Елизавета сказала, что если выполнят эти просьбы, то они будут всем довольны и ни о чем просить не будут, «ничего больше не желаем и рады остаться в таком положении навсегда». Прочитав доклад Мелыунова, Екатерина дрогнула - она дала указ готовить детей Анны Леопольдовны (которую она, по-видимому, видела только в гробу в 1746 году) к отъезду.

Екатерина II завязала переписку с датской королевой Юлией-Маргаритой, сестрой Антона-Ульриха и теткой холмогорских

пленников, и предложила поселить их в Норвегии, тогдашней провинции Датского королевства. Королева дала согласие поселить их в самой Дании *(Корф, с.373 и далее)*. Начались сборы. Неожиданно в скромных комнатах холмогорского архиерейского дома засверкало золото, серебро, бриллианты - это везли подарки императрицы: гигантский серебряный сервиз, бриллиантовые перстни для мужчин и серьги для женщин, невиданные чудесные пудры, помады, туфли, платья. Семь немецких и пятьдесят русских портных в Ярославле поспешно готовили платья для четверых узников - датские родственники должны были оценить щедрость и великодушие императрицы Екатерины!

26 июня 1780 года Мельгунов объявил Брауншвейгской семье об отправке их в Данию, к тетке. Они благодарили Мельгунова за свободу, но только просили поселить их в Дании в маленьком городке, подальше от людей. Ночью 27 июня их - впервые в жизни! - вывели из тюрьмы. Они сели на яхту и поплыли вниз по широкой и красивой Северной Двине, серый кусочек которой они всегда видели из окна. Когда в сумраке летней северной ночи появились угрюмые укрепления Новодвинской крепости возле Архангельска, братья и сестры стали рыдать и прощаться друг с другом - они подумали, что их обманули и что на самом деле собираются разлучить и заточить в одиночные камеры крепостных казематов. Но их успокоили, показав стоящий на рейде фрегат «Полярная звезда», который готовился к отплытию.

Ночью 1 июля капитан Арсеньев дал приказ поднять паруса. Дети Анны Леопольдовны навсегда покидали свою жестокую родину. Они плакали, целуя руки провожавшему их Мельгунову. Плавание выдалось на редкость тяжелым. Долгих девять недель непрерывные штормы, туманы, встречные ветры мешали «Полярной звезде» дойти до берегов Дании. Мы не знаем, о чем думали и говорили пассажиры фрегата. Наверное, в тихую погоду они смотрели на океан, на вольных морских птиц, летевших над кораблем, а в непогоду сидели, тесно прижавшись друг к другу, молились по-русски русскому Богу, мечтая только об одном - умереть вместе.

Судьба благоволила к ним. 30 августа 1780 года показался мыс Берген. Здесь детей Анны ждал датский корабль, на борту которого они стали свободными. Но снова их ждали испытания: их насильно разлучили со слугами - побочными братьями и сестрами, которых, как положено по жестоким бюрократическим законам, оставили на русской территории - на палубе «Полярной звезды».

Свобода опоздала к принцам и принцессам на целую жизнь! Вырванные из привычной обстановки, окруженные незнакомыми

людьми, говорившими на чужом языке, они были несчастны и жались друг к другу. Тетка-королева поселила их в маленьком городке Горзенсе (совр. Оденсе) в Ютландии, но ни разу не пожелала повидаться с племянниками. А они, как старые птицы, выпущенные на свободу, были к ней не приспособлены и стали один за другим умирать. Первой в октябре 1782 года умерла их предводительница - принцесса Елизавета. Через пять лет умер принц Алексей, а в 1798 году - принц Петр. Дольше всех, целых 66 лет, прожила старшая, Екатерина, та самая, которая родилась на свободе и которую нечаянно уронили в суете ночного переворота 25 ноября 1741 года.

В августе 1803 года молодой русский император Александр I получил письмо, пришедшее как будто из прошлого. Принцесса Брауншвейгская Екатерина Антоновна прислала ему письмо, написанное собственноручно на плохом, безграмотном русском языке. Она умоляла забрать ее в Россию, домой. Она жаловалась, что датские слуги, пользуясь ее болезнями и незнанием, грабят ее. «Я плачу каждый день, - заканчивала письмо Екатерина, - и не знаю, за что меня послал сюда Бог и почему я так долго живу на свете. Я каждый день вспоминаю Холмогоры, потому что там для меня был рай, а здесь - ад». Русский император молчал. И, не дождавшись ответа, последняя дочь несчастной брауншвейгской четы умерла 9 апреля 1807 года.

Так и закончилась печальная история, которая началась почти за семьдесят лет до этого - в тот самый день 28 ноября 1742 года, когда генерал-полицмейстер Василий Салтыков рассаживал по закрытым возкам семью бывшей правительницы России и поторапливал ямщиков - в кармане у него лежал императорский указ о том, чтобы через два дня бывший император, бывшая правительница России и бывший генералиссимус были выдворены за пределы империи…

ГЛАВА 4
ИДЕОЛОГИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ, ИЛИ «ПУСТЬ ВСЕ БУДЕТ КАК ПРИ БАТЮШКЕ»

Сразу же после переворота 25 ноября 1741 года наступило время, которое в старину называли «брожением умов», с характерным для него состоянием нестабильности, ощущением беспокойства, всегда заметного при внезапной смене власти. Нужно отметить, что, идя на штурм Зимнего дворца с кучкой гренадер, Елизавета Петровна понимала, какими трудными будут ее последующие шаги - после взятия Зимнего предстояло подчинить себе столицу и самое главное - гвардию и стоявшие в городе полевые полки, которые проснулись уже при новой власти. И здесь важную услугу новой императрице оказали два иноземца на русской службе - высшие воинские начальники (после ареста генералиссимуса Антона-Ульриха) - фельдмаршал Петр Ласси и командующий гвардейским корпусом подполковник гвардии принц Людвиг-Вильгельм Гессен-Гомбургский.

Шетарди вскоре после переворота писал, что, поскольку фельдмаршал Ласси, уведомленный одним из первых о происшедшем перевороте, «выказал чистосердечную преданность, не давшую повода сомневаться в готовности, с которою всегда служил он крови Петра I, то с прибытием во дворец для него открылась деятельность: он исполнял обязанности главнокомандующего и вследствие его приказаний скоро собрались семь полков, стоявших здесь в гарнизоне» *(Пекарский, с.408)*. Так же деятельно на пользу новой государыне действовал и принц Гессен-Гомбургский, давший приказ о сборе гвардейцев. Действия Ласси и принца Людвига-Вильгельма, в сущности, решили все дело. Оба они вели себя не как иностранцы, заинтересованные в сохранении «режима немецких временщиков», а как типичные ландскнехты, которым все равно, кому служить - лишь бы исправно платили деньги. Помимо рассказа Шетарди о словах Ласси в момент переворота, известен и другой, вполне правдоподобный анекдот о старом фельдмаршале. Его, как и всех высших сановников империи, подняли сразу после переворота посреди ночи и спросили, какой государыне он служит? Он отвечал, что служит ныне правящей государыне, не уточняя при этом ее имени. Так же или примерно так вели себя и другие сановники.

Такому конформизму благоприятствовала сама Елизавета, которая оставила большинство придворных и высших чиновников и генералов на прежних местах. Вообще же весьма забавно то обстоятельство, что успех подчеркнуто «патриотического» переворота полурусской Елизаветы Петровны был во многом обеспечен деятельностью иностранцев - француз Лесток вел переговоры и получал деньги для Елизаветы от посланника Шетарди, заводилой среди гвардейцев-сторонников цесаревны оказался крещеный еврей Петр Грюнштейн, среди троих людей, сопровождавших Елизавету в ночном путешествии из ее дворца в гвардейские казармы, один был иностранец - учитель музыки Шварц. Наконец, Ласси и принц Гессен-Гомбургский не выполнили свой долг перед государем Иваном Антоновичем и не выступили против мятежников.

Однако хотя установление контроля над армией и особенно - гвардией, было весьма важно, это еще не решало дело в пользу Елизаветы окончательно. Нельзя забывать, что цесаревна пришла к власти на плечах гвардейских солдат, которые, почувствовав свою силу и значение в государстве, быстро превратились из солдат - слуг престола и Отечества - в солдатню. На какое-то время Елизавета стала «солдатской императрицей». Для солдат-участников переворота открылись неограниченные возможности выпить за казенный счет - лютый мороз и «несказанная радость» от сознания того, что к власти пришла дщерь Петра Великого, потребовали немедленного и многократного возлияния. Пьяная же вооруженная толпа всегда опасна.

Обстановку того времени хорошо передает очевидец прихода Елизаветы Петровна к власти - поляк, автор записок «Превратности судьбы». Он пишет, что в день переворота пришел к своему зятю, у которого застал «с дюжину преображенских солдат, стоявших на коленях. Один из них, назвав меня братом, сказал: «Выпьем-ка за здоровье нашей матушки - императрицы Елизаветы!»… Не желая возбуждать подозрение, я также опустился на колени и сделал вид, что пью, стал кричать заодно с компанией: «Да здравствует Елизавета!» Опустошив до 20 бутылок вина и проглотив по большому стакану водки, преображенцы поднялись и стали просить денег на угощение их жен и детей за здравие матушки-императрицы. Мой зять дал им 5 рублей, но они потребовали больше». По-видимому, это было типичное явление, и пьянка продолжалась по всему городу довольно долго. Порой она приобретала опасный оттенок.

Секретарь саксонского посольства Пецольд писал 11 декабря (то есть более двух недель спустя после переворота), что «гвардейцы и в особенности - гренадеры, которые еще не

отрезвились почти от сильного пьянства, предаются множеству крайностей. Под предлогом поздравлений с восшествием на престол Елизаветы, ходят они по домам, и никто не смеет отказать им в деньгах или в том, чего они пожелают. Один солдат, смененный с караула и хотевший на возвратном пути купить на рынке деревянную посуду, застрелил на месте русского продавца, который медлил уступить ему ее за предложенную солдатом цену. Не говорю уже о других насилиях, в особенности против немцев».

Началось это буквально с первых часов «победы» над режимом младенца-императора. Во дворец Елизаветы Петровны по указу новой императрицы устремились все высшие сановники империи, которым приходилось протискиваться сквозь толпу возбужденного народа, «не столько ласковых, сколько грубых слов слыша». Так писал Шаховской, отрывком из мемуаров которого мы начали первую главу этой книги. Поляк-мемуарист увидел во дворце картину, его поразившую: «Большой зал был полон Преображенских гренадер. Большая часть их были пьяны; они прохаживались, пели песни (не гимны в честь государыни, но неблагопристойные куплеты. - *Е.А.*), другие, держа в руках ружья и растянувшись на полу, спали. Царские апартаменты были наполнены простым народом обоего пола… Императрица сидела в кресле, и все, кто желал, даже простые бурлаки и женщины с их детьми, подходили целовать у нее руку… Моя сестра заметила мне, что гренадеры не забыли взять с собою из дворца золотые часы, висевшие около зеркала, два серебряных шандала и золотой футляр» *(Пекарский, с.413; Превратности судьбы, с.496 - 497)*.

Особенно встревожены были иностранные дипломаты в Петербурге. Они опасались не только резкого изменения внешнеполитического курса и принципов внутренней политики, а значит, и новых, неведомых проблем в своей налаженной работе, но и попросту погромов и убийств иностранцев, в которых гвардейская солдатня видела врагов Отечества и объект возможных грабежей. Пецольд со страхом писал сразу же после переворота: «Все мы, чужеземцы, живем здесь постоянно между страхом и надеждою, так как от солдат, делающихся все более и более наглыми, слышны только угрозы и надобно приписать Провидению, что до сих пор не обнаружились их злые намерения» *(Пекарский, с.413)*. И в этом не было преувеличений - ксенофобия, как известно, быстро овладевает толпой, видящей в иностранцах виновников всех своих бед. Политика Елизаветы сильно подогревала эти настроения - уже 18 января 1742 года была назначена смертная казнь государственным преступникам - вчерашним первейшим лицам государства, многие из которых

являлись иностранцами. И хотя в последний момент Остермана, Миниха, Левенвольде, Менгдена помиловали от смерти и сослали в Сибирь, толпа, собравшаяся у эшафота, была возбуждена.

Еще через три месяца произошло настоящее рукопашное сражение семеновских солдат с несколькими армейскими офицерами из иностранцев. Последние вышли из биллиардной на шум драки и пытались унять пьяных солдат, приставших к какому-то уличному разносчику. Тут пьяный гнев гвардейцев неожиданно обратился на офицеров - «каналий-иноземишек», и под одобрительные крики толпы: «Надобно иноземцев всех уходить!» солдаты загнали офицеров назад в биллиардную и там сильно побили, заодно разгромив почтенное заведение. На следствии офицеры показали, что солдаты кричали им: «У нас указ есть, чтоб вас всех перерубить, надобно всех вас, иноземцев, прибить до смерти!» В обществе усилились изоляционистские настроения, распространялись слухи не только о якобы готовящемся изгнании из страны всех иноземцев, но и о восстановлении патриаршества, возвращении к «прежнему состоянию», под которым иностранные наблюдатели понимали отказ от политики европеизации и возврат к допетровским временам *(РИО, 6, с.392-394; Письма из России, с.159)*.

Но сильно чадящий костер ксенофобии так и не запылал - использовав настроения толпы для утверждения своей власти, Елизавета постаралась с помощью разных способов успокоить солдатские и народные страсти. Она, воспитанная иностранными учителями в семье Петра Великого, жившая в окружении европейских ценностей и удовольствий, конечно, ни на минуту не помышляла о каком-либо возврате к «бородатой» старине. Она знала, что без многочисленных иностранцев-специалистов, работавших во многих отраслях управления и служивших в армии, государство будет испытывать большие трудности. Да и вообще - Россия уже давно была заодно с европейским миром.

Ослаблению напряженности в обществе способствовала и гуманная политика новой государыни, которая после восшествия на престол не устраивала кровавых расправ над своими врагами. По-настоящему сердита новая государыня была только на нескольких деятелей правительства Анны Леопольдовны и особенно - на ее первого министра Андрея Остермана, интриги которого в течение всего царствования Анны Ивановны держали цесаревну в страхе. Лишь после смерти императрицы, летом 1741 года, Елизавета, чувствуя свою возрастающую силу, позволила себе показать Остерману свои острые зубки. Это произошло тогда, когда Остерман не разрешил прибывшему в Петербург посланнику персидского шаха Надира нанести цесаревне визит

вежливости. Елизавета была страшно огорчена этим, ведь она знала, что посланник привез какие-то сказочные подарки шаха прекраснейшей принцессе, слухи о красоте которой дошли и до Мешхеда - тогдашней столицы Персии. Вот тогда-то цесаревна публично сказала об Остермане: «Как он, вчерашний мелкий писарь, подобранный и возвышенный ее великим отцом, смеет с ей, дочерью Петра, обращаться таким образом?» и добавила, что она ему этого не простит.

Это произошло довольно неожиданно - никогда раньше Елизавета не решалась тронуть столь опасного для нее первого министра. Английский посланник Финч писал: «Все были поражены той живостью и горячностью, с какой она говорила об этом обстоятельстве» *(Из дипломатической переписки, с.97)*. И действительно, цесаревна не простила Остерману! На следствии 1742 года на него взвалили все прегрешения предшествующего царствования, подвергли унизительной процедуре имитации публичной казни, а потом сослали в Березов, где он и умер, находясь под крепким караулом. За Остерманом последовали еще несколько сановников из окружения Анны Леопольдовны - фельдмаршал Миних, его сын, Карл Густав Левенвольде, Михаил Головкин.

Утихомирить «сподвижников»-гренадер, которые привели ее к власти, Елизавете удалось с помощью ласки и пожалований всех участников мятежа во дворянство. Из штурмовой роты был создан особый корпус своеобразных гвардейцев гвардии - «лейб-компания», о которой подробнее будет рассказано ниже. В лейб-компании, помимо формального командира, был настоящий вожак - Петр Грюнштейн, который один мог справиться со своевольной толпой своих товарищей. В этом влиянии Грюнштейна на гвардейцев государыня вскоре увидела опасность для своей власти, тем более что Грюнштейн уверовал в свои огромные возможности и попытался, угрожая силой, вмешаться в политические дела. Он потребовал от своего командира - Алексея Разумовского немедленного снятия с должности неугодного «ветеранам революции 25 ноября» генерал-прокурора Трубецкого. Позже Грюнштейн дерзко избил родственников самого Разумовского. Осенью 1744 года его арестовали, допросили в Тайной канцелярии, а потом вышел указ о ссылке его с женой в Великий Устюг. Таким образом лейб-компания была обезглавлена и более никогда уже не претендовала на роль политической силы.

Естественно, что и в гвардии, и среди дворянства не все были в восторге от новой государыни. Это хорошо видно из начавшегося в 1742 году дела гвардейского поручика Астафия Зимнинского и Ивана Седельстрема. Зимнинский говорил, что

Елизавета «нас, когда желала принять престол Российской, так обольстила как лисица, а ныне-де так ни на ково не хочет смотреть», что государыня приблизила украинцев и они «напред сего оныя певчия и протчия малороссияне, которыя подлова воспитания, хаживали убого и нашивали на себе убогое платье и сапоги (ценой) по осмине, а ныне вышли все по Разумовском и носят-де богатое платье с позументами, да и сам-де Разумовский из Малой России приехал в убогом платье и дядю… Стеллиха разувал, да и в сем-де нам от государыни милости-та немного, вот-де ныне государыня более милостива к малоросиянцам, а не так к нам». Елизавете, мол, жаль денег на церковь, «а брату-де Розумовского, которой-де поехал за море, не жаль было и ста тысяч дать, да и те деньги уже он прожил, а ныне-де и еще требует». Тема «малороссийского засилия» стала впоследствии «дежурной» для многих собеседников, которые попадали за такие разговоры в Тайную канцелярию. Мысль эта выражалась в общем виде так - раньше были у власти все немцы, а теперь - хохлы, нынче «Великороссия стала Малороссией».

Говорили и о том, что императрицу не любят: «Когда во время службы в церквях на ектениях поминается имя государино, и то и народ во время того не один не перекреститца, знатно что и народ ее не любит». Далее следовало утверждение, что императрица плохо себя ведет, плохо управляет: «Такая-та… богомолица: как приехала из Москвы, так ни однажды в церкве не бывала, только-де всегда упражняется в камедиях», а вот раньше… раньше, конечно, было лучше.

И неизбежно разговор собутыльников, приятелей, родственников, прохожих переходил к свергнутому императору Ивану и его семье: «В поступках своих умен и сожалел оного принца Ивана отца и мать ево, говорил: «Вот уже их в третье место перевели и не знают куда их девать, не так как нынешней наш (великий князь Петр Федорович. - *Е.А.*) трус-наследник. Вот как намедни ехал он мимо солдатских гвардии слобод верхом на лошади и во время обучения солдат была из ружья стрельба… тогда он той стрельбы испужался и для того он запретил что в то время, когда он проедет не стреляли». Другое дело - несчастный Иван. Зимнинский говорил так: «Он, дай Бог, страдальцам нашим счастия, и… многие партии его держат, вот и князь Никита Трубецкий, и гвардии некоторыя маеоры партию ево держат же… За Ивана многие держатся, а особливо старое дворянство все головою, также и лейб-компания большая половина». Седельстрем разговор поддержал, сказал, что Ивану поможет прусский король, «дай Боже, чтоб по-прежнему оному принцу Иоанну на всероссийском престоле быть императором, понеже

мать и отец ево, принца Иоанна, к народу весьма были милостивы и челобитные принимали и резолюции были скорые, а ныне государыня челобитен не принимает и скорых резолюций нет. И ежели б у меня много вина было, то б я мог много добра зделать: у нас российской слабой народ, только ево напои, а он невесть что зделает» *(РГАДА, 7, 1, 5, ч. 2, л.64 об. - 66)*.

Особую опасность для государыни представляли аппетиты авантюристов. Весной 1742 года началось дело камер-лакея Александра Турчанинова и его сообщников - прапорщика Преображенского полка Петра Квашнина и сержанта Измайловского полка Ивана Сновидова. Они задумали свержение и убийство императрицы Елизаветы Петровны. Обсуждалось, как «собрать партию» для осуществления переворота, причем Квашнин говорил Турчанинову, что он уже подговорил группу гвардейцев, готовых идти на это дело, а сержант Сновидов обещал Турчанинову «для такого дела друзей искать себе будет и кого сыщет, о том ему, Турчанинову, скажет, и после сказывал, что у него партии прибрано человек с шестьдесят». Имели заговорщики и конкретный план действий: «Собранных разделить надвое и ночным временем придти к дворцу и, захватя караул, войти в покои Ея императорского величества… и умертвить, а другою половиною… заарестовать лейб-компанию, а кто из них будет противиться - колоть до смерти». Отчетливо была выражена и конечная цель переворота - «принца Ивана возвратить и взвести на престол по-прежнему» *(О камер-лакее, с.332-335)*.

Считать эти разговоры обычной пьяной болтовней нельзя - среди гвардейцев было немало недовольных как переворотом 25 ноября 1741 года и приходом к власти Елизаветы, так и тем, что лейб-компанцы - такие же, как и они, гвардейцы - получили за свой нетрудный «подвиг» невиданные для остальной гвардии привилегии. Зимнинский говорил о лейб-компанцах: «Я думал, что я один их не люблю, а как послышу такие и многая их ненавидят. А ненавидит он их за то, что от них с престола свержен принц Иоанн» *(РГАДА,* 7, *1*, *5, ч.2, л.65)*. Вот и повод для переворота, хотя причина была в зависти, которую испытывали те, кто проспал ночь 25 ноября 1741 года, к тем, кто в ту ночь не сомкнул глаз. Ночной путь, который прошли лейб-компанцы, казался их товарищам по гвардии соблазнительным и вполне реальным для повторения. Турчанинов же, служа во дворце, знал все его входы и выходы и мог провести убийц к опочивальне императрицы. Турчанинов и его товарищи намеревались вернуть престол Анне Леопольдовне, и в этом они находили поддержку многих людей, в том числе среди знати. Об этом ясно свидетельствовало дело Лопухиных, относившихся к самым

верхам тогдашнего русского общества. Начатое по доносу двух офицеров-иноземцев на полковника Ивана Лопухина, это дело быстро охватило широкий круг людей из элиты.

В русском обществе оказалось немало людей, которые симпатизировали правительнице Анне Леопольдовне и ее довольно мягкому режиму («тихому житью») и опасались резких изменений в политике после прихода к власти дочери Петра Великого, известной своим легкомысленным поведением. Среди знати было распространено пренебрежительное отношение к дочери ливонской портомби, и в поведении новой императрицы посетители салона Лопухиных находили массу подтверждений «ниской породы» новой государыни.

Из дела Лопухиных стало ясно, что дело Турчанинова, завершившееся накануне ссылкой его участников на Камчатку, оставило после себя корни. Неслучайно в ходе допросов Лопухина следователи пытались узнать, не связан ли он с Турчаниновым - ведь были известны слова, которые Иван Лопухин говорил доносчику: «Как такая каналья - только триста человек лейб-компании - Ея величество на престол возвели, и ежели б большие хотели, то б возвели прежних владетелей, ибо, может быть, есть и такие, которые больше любят принцессу (то есть Анну Леопольдовну. - *Е.А.*), нежели Ея величество». Заметим, что сам Лопухин ранее командовал ротой Семеновского полка и был обижен понижением в чине за какой-то служебный проступок. Согласно допросам, он пользовался симпатией своих бывших сослуживцев - семеновцев *(Семевский, 1874, с.19, 27)*.

Елизавета была сильно встревожена этим делом. Как явствует из вскрытой и расшифрованной в Коллегии иностранных дел переписки французского дипломатического представителя Далиона, «царица, досадуя, что она в одном году дважды в опасении живота своего находилась, клянется, что с такою же строгостью, как Петр Великий, поступать будет» *(АВ, 2, с.395)*. И действительно, ход следствия приобрел сразу весьма суровые формы. Было выделено несколько тем, по которым всех привлеченных к следствию допрашивали особенно тщательно. Во-первых, следствие, за которым внимательно наблюдала сама императрица, стремилось выявить круг потенциальных и реальных сторонников Брауншвейгской фамилии, сидевшей в это время в Динамюнде. Елизавета была особенно обеспокоена сведениями о том, что охрана Брауншвейгской фамилии в крепости симпатизирует узникам и что между конвойными офицерами и некоторыми людьми из столичных кругов даже велась переписка. В конечном счете доказать ее существование не удалось, но из допросов стало ясно: Лопухины хорошо

осведомлены о том, как содержится в крепости семья свергнутого императора. Возникшую из-за этого тревогу Елизаветы можно понять - ведь узники содержались в строгом секрете.

Во-вторых, при расследовании возник так называемый «австрийский след». Из доносов выяснилось, что о возвращении Ивана Антоновича на престол хлопочут иностранные державы: Пруссия и - особенно - Австрия. Роль иностранных дипломатов при подготовке антиправительственных заговоров была велика - ведь Елизавета, как известно, готовила свой путч тоже не без помощи французского и шведского посланников. На первом же допросе мать Ивана Лопухина, статс-дама Н.Ф.Лопухина, принимавшая в своем салоне австрийского посланника маркиза де Ботта, хотя и не признала своего участия в заговоре, но не отрицала, что австрийский посланник не скрывал перед ней своих симпатий к опальному Брауншвейгскому семейству - Вена опасалась, что Россия при Елизавете отойдет от традиционного русско-австрийского союза *(Семевский, 1874, с.13)*.

Словом, первые год-два были для Елизаветы весьма тревожны. Некоторые иностранные дипломаты в своих донесениях в 1742-1743 годах обещали падение Елизаветы Петровны в ближайшие месяцы: «Недовольство всеобщее. Оно обнаруживается в особенности между войсками, которым не платят жалования. Беспорядок и расстройство везде и во всем усиливаются со дня на день. Словом, царица, по-видимому, правит государством так же плохо и с такими же приемами, как она правила домашним своим хозяйством, когда была цесаревною». Так, в феврале 1743 года Далион, наряду с другими своими коллегами, аккредитованными при русском дворе, предрекал скорый конец власти Елизаветы *(Письма из России, с.159)*.

Но дни слагались в месяцы, месяцы - в годы, а императрица Елизавета Петровна все еще сидела на престоле. Нельзя сказать, что она ничего не предпринимала для укрепления своей власти и что все шло само собой. Первые шаги Елизаветы на государственном поприще отличались продуманностью и дальновидностью, неожиданной для такой легкомысленной особы, какой казалась многим Елизавета. О причинах этого несоответствия будет сказано ниже, но теперь отмечу, что из всех действий, служащих упрочению власти, нерешительная в обычной жизни Елизавета выбрала как раз все те, которые обеспечили прочность ее режима на долгие годы.

Довольно скоро она постаралась отделить себя от тех, кто вознес ее на плечах к трону. Первый манифест, подписанный императрицей 25 ноября 1741 года, отличался простодушием, что

и не удивительно - ведь манифест писался уже не Андреем Ивановичем Остерманом, незаменимым в этих случаях. Время Остермана кончилось, и он, арестованный в ночь переворота, маялся в темнице Петропавловской крепости в ожидании своей судьбы. В манифесте указывалось на две причины, которые подвигли Елизавету совершить государственный переворот: во-первых, это настойчивые просьбы всех «как духовного, так и светского чинов верноподданных», в особенности гвардейцев, и во-вторых, «близость по крови» Петру Великому и императрице Екатерине I.

Три дня спустя еще в одном манифесте уточнялось, что Елизавета Петровна заняла престол согласно Тестаменту - завещанию Екатерины I от 1727 года. Довольно скоро об этом постарались забыть: по Тестаменту выходило, что преимущественное право на престол имеет как раз не Елизавета, а ее племянник - голштинский герцог 14-летний Карл-Петер-Ульрих. В Тестаменте, в частности, сказано: в случае смерти Петра II престол наследует Анна Петровна со своими наследниками, а если она умрет бездетной - то Елизавета Петровна со своими потомками. Так что именно голштинский принц (а с 1739 года - герцог), сын Анны Петровны, и был наследником, согласно завещанию своей бабки. Так же быстро исчезло и упоминание о нижайших просьбах верноподданных - уж очень не хотелось гвардейской куме вспоминать тех, кто помог ей водрузиться на престол. Остался только один аргумент - близость крови. Действительно, ближе, чем Елизавета, к умершему в 1725 году Петру Великому в 1742 году уже не оставалось никого.

Но еще важнее другое - Елизавета стремилась утвердить в обществе мысль о том, что престолом она обязана Божьей воле и самой себе, и стремилась закрепить эту мысль с помощью публичной, торжественной церемонии. Для этого требовалось ехать в Москву. Известно, что император Петр Великий терпеть не мог Москвы, но изменить место коронации русских царей в главном соборе Московского Кремля - Успенском, он все-таки не посмел, и в 1724 году именно здесь возложил на голову своей Екатерины Алексеевны императорскую корону. В Москву за признанием своей власти Богом и общественным мнением отправилась и их дочь. Елизавета явно спешила - она выехала в Москву уже 26 февраля 1742 года, а еще через два месяца архиепископ Новгородский Амвросий Юшков - глава Синода, начал торжественную службу под сводами священного кремлевского собора.

Кремль - особое место в Москве и во всей России. Это не только ценнейшие памятники - величественные древние соборы,

изумительной красоты дворцы. Это не только высокий холм, на котором была заложена первая деревянная цитадель. Кремль - история России. Вся земля в Кремле и вокруг него пропитана кровью людей, штурмовавших и оборонявших эти древние стены, казнимых на эшафотах и растерзанных толпами. Но Кремль, прежде всего, место власти, ее жилище. Магия власти, ее манящая и отталкивающая сила всегда витали над этим местом, и каждый русский человек испытывает непонятное волнение и страх, вступая на землю Кремля. Странными, неуместными в нем, но одновременно такими близкими и родными кажутся пышно цветущий яблоневый сад на склоне холма и крики ласточек в небе - там, где державно сверкает золотом Иван Великий…

Чтобы быть признанной Россией, чтобы занять свое место в бесконечной веренице правителей тысячелетнего государства, прекрасная дочь Петра Великого должна была венчаться с властью в ее жилище - в Кремле. Коронация Елизаветы Петровны отличалась невиданной ранее пышностью. Во-первых, число государственных регалий при коронации было увеличено - кроме короны, порфиры, мантии, скипетра и державы, появились Государственный меч, Государственное знамя и Государственная печать. Во-вторых, была изменена процедура коронации. Ушло в прошлое приниженное отношение светской власти к духовной, когда коронуемый самодержец называл патриарха «отцом», просил «благословить его на царство» и, стоя на коленях, подставлял голову для короны *(Коронование государей, с.282)*. Теперь патриарха не было, как не было и царства - его место заняла империя. А поучительно-назидательное слово патриарха сменилось подобострастным поздравлением президента Священного Синода. Елизавета пошла еще дальше в утверждении своего верховенства. В самый торжественный момент коронации, при «уставлении» короны на голове, она взяла корону из рук Амвросия и сама водрузила это сверкающее бриллиантами и сапфирами сооружение на свою прелестную головку. Этот поступок Елизаветы Петровны был не импровизацией, но продуманным действием, нашедшим отражение и за пределами храма - не дай Бог, чтобы кто-то этого не заметил! Так, на триумфальных воротах в Москве, воздвигнутых по случаю коронации Елизаветы, оживленная толпа москвичей разглядывала аллегорическую картину с изображением солнца в короне и подписью: «Само себя венчает». В официальном «Описании» триумфальных ворот дано такое пояснение: «Сие солнечное явление от самого солнца происходит не инако, как и Ея императорское величество, имея совершенное право, сама на себя корону наложить изволила». «Санкт-Петербургские

ведомости» писали о торжестве в Успенском соборе Московского Кремля: «Изволила Ея императорское величество собственною своею рукою императорскую корону на себя наложить» - «Само себя венчает!»

Ясно, что символические картины для триумфальных ворот готовили заранее, поэтому и эффектный жест императрицы при церемонии коронации можно считать задуманным заранее. Им императрица хотела подчеркнуть свою полную независимость от всех - от церкви, гвардейцев, подданных и вообще смертных.

Вся церемония коронации была сплавом ритуалов царского прошлого и императорского настоящего. Как и в старину, процедура была торжественна, красива и величественна - гул бесчисленных московских колоколов, блеск золота и церковной утвари, пение хора, славящего императрицу, тяжесть мантии с белыми горностаями и холод от капелек мирра, которые нанес тонкой кисточкой на лицо Елизаветы архиепископ Амвросий, - тем самым Бог, а значит, и народ признали новую земную владычицу. А потом были пиры в Грановитой палате, балы и крики восторженной московской толпы, бросавшейся за золотыми и серебряными жетонами и деньгами, которые пригоршнями швыряли с балконов и возвышений. Москва помнила веселую стройную цесаревну, некогда вихрем проносившуюся в поля, на охоту, по улицам старой столицы на белом коне.

К этому нужно добавить, что коронация дочери Петра Великого сознательно была проведена устроителями с такой помпой и размахом, что ее надолго запомнили жители Москвы. Здесь были и традиционные залпы салюта, и пальба стоящих шпалерами войск, и триумфальные арки и ворота. Но появилось и нечто новое - стены окрестных домов, вдоль которых двигалась церемония, были затянуты разноцветными полосами ковров и сукна, прочими преизрядными шелковыми и шерстяными материями. Толпы народа видели грандиозные выезды знати, а многолюдные маскарады, в которых принимали участие сразу до тысячи человек, были повторены девять раз подряд!

Щедрые милости, как из рога изобилия, хлынули на подданных - одни получили новые чины, ордена, другие - поместья, третьи - деньги, четвертые - помилование. Государыня объявила массовые амнистии. Уже 15 декабря 1741 года вышел манифест Елизаветы о прощении преступников и сложении всех штрафов и начетов с 1719 до 1730 года. Щедрость императрицы имела веские экономические основания - ведь все равно недоимки было не собрать! Для наказанных казнокрадов, растратчиков и взяточников вышла невиданная льгота. Их не только освободили от наказания, но и разрешили вернуться на

государственную службу. Очень эффектным было решение о временном (на два года) сокращении подушной подати на 10 копеек - с 70 до 60 копеек. По некоторым видам долгов должники освобождались от уплаты процентов.

27 сентября 1742 года появился указ: «Ее императорскому величеству сделалось известно, что в бывшие правления некоторые лица посланы в ссылки в разные отдаленные места государства и об них когда, откуда и с каким определением посланы ни в Сенате, ни в Тайной канцелярии известия нет, и имен их там, где обретаются, неведомо: потому Ее императорское величество изволила послать указы во все государство, чтобы где есть такие неведомо содержащиеся люди, оных из всех мест велеть прислать туда, где будет находиться Ее императорское величество и с ведомостями когда, откуда и с каким указом присланы» *(Жмаков, с.525)*. Но, пожалуй, самым важным стало то, что, не принимая формального акта, императрица Елизавета Петровна отказалась подписывать смертные приговоры. Потомки навсегда запомнили эту невиданную милость императрицы - ведь такого в истории России никогда не бывало. Словом, своей щедростью, размахом, милосердием, красотой и приветливостью Елизавета Петровна покорила москвичей и всю страну. Она уезжала из старой столицы в новую уже признанной, настоящей государыней, императрицей. Ее титулы звучали так же гордо, как и у ее предков:

> «Божиею поспешествующей милостию МЫ, ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ, императрица и самодержавица Всероссийская, Московская, Киевская, Владимирская, Новогородская, царица Казанская, царица Астраханская, царица Сибирская, государыня Псковская и великая княгиня Смоленская, княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и иных, государыня и великая княгиня Новагорода Низовския земли, Черниговская, Рязанская, Ростовская, Ярославская, Белоозерская, Удорская, Обдорская, Кондийская и всея северныя страны, повелительница и государыня Иверской земли, Картлинских и Грузинских царей и Кабардинския земли, Черкасских и Горских князей и иных наследная государыня и Обладательница».

Еще один продуманный шаг Елизаветы - это почти мгновенное объявление наследником престола племянника - 14-летнего голштинского герцога Карла-Петера-Ульриха - сына Анны Петровны и Карла-Фридриха. Курьер отправился за ним в

столицу Голштинии город Киль вскоре после восшествия Елизаветы Петровны, и уже в январе 1742 года мальчика привезли в Петербург, затем крестили в православие, нарекли Петром Федоровичем и объявили великим князем, наследником престола, а еще через два года женили. Эти государственно-династические акты оказались очень своевременными и важными - младшая ветвь Романовых (от Петра Великого) вновь перехватила корону у старшей ветви (от Ивана V). Назначив себе наследника в самом начале своего правления, бездетная Елизавета тем самым утвердила власть своей крошечной семьи с расчетом на будущее.

Для того чтобы герцога-мальчика так поспешно привезли в Петербург, были свои причины. Династические связи так причудливо переплелись, что Карл-Петер-Ульрих оказался единственным мужским потомком не только Петра Великого, но и Карла XII - отец мальчика был племянником короля-викинга. Шведы намеревались пригласить малолетнего голштинского герцога в наследники шведского престола. Дело в том, что 24 ноября 1741 года умерла, не оставив детей, королева Ульрика-Элеонора - сестра Карла XII. Власть перешла к ее мужу Фредрику I, бывшему кронпринцу Гессенскому, который был коронован в 1720 году. В Стокгольме понимали, что после смерти Фредрика в стране может возникнуть династический кризис: со смертью Ульрики-Элеоноры обрывалась славная династия Пфальц-Цвейбрюккенов, правившая страной с 1654 года, а Фредрик, из-за бездетности, оказался единственным представителем династии Гессенов. Став наследником престола, а потом и королем, внучатый племянник Карла XII Карл-Петер-Ульрих имел шанс основать новую Голштейн-Готторпскую династию.

Еще при жизни Анны Ивановны голштинцы поняли, что с воцарением Ивана Антоновича русский трон для Карла-Петера-Ульриха будет недоступен. Поэтому мальчика стали готовить к шведскому варианту - он начал изучать шведский язык и основы шведской ветви лютеранства. Но эта подготовка была прервана - шведов опередила Елизавета. Только в дурном сне она могла представить, что во главе шведской армии (а не будем забывать, что в 1741 году русско-шведская война была в полном разгаре) встанет шведский король - внук Петра Великого, - который во главе шведских войск пойдет занимать принадлежащий ему по праву русский престол.

Здесь-то и крылась вторая причина поспешного призвания племянника из Киля. Выше уже упоминалось, что, согласно завещанию Екатерины I, изданному ею весной 1727 года, была установлена следующая очередность занятия русского престола

после ее смерти: великий князь Петр Алексеевич, Анна Петровна и ее дети, Елизавета Петровна и ее дети, причем мужским отпрыскам отдавалось предпочтение перед женскими. Согласно этому завещанию, которое после вступления на престол Елизавета выдвигала как основание для захвата ею власти, цесаревна должна была отдать престол племяннику. Делать это Елизавета, конечно, не собиралась, но оставить столь опасного для себя конкурента за пределами России, в руках своих возможных недругов, она не могла. В итоге, привезенный в Петербург голштинский герцог, объявленный наследником русского престола, оказался в золотой клетке. Все царствование Елизаветы он находился под бдительным надзором людей тетушки и без ее ведения ничего не мог предпринять в свою пользу ни в самой России, ни за ее пределами.

Эти действия Елизаветы оказались дальновидными и весьма удачными. Конечно, не будем скрывать - ей еще и везло, как везло всегда и во всем. Казалось, что гений ее великого отца хранил императрицу Елизавету. Но она и сама прибегла к помощи отца и сделала его культ важнейшим элементом своего политического и государственного существования. В конечном счете это гарантировало ее правлению невиданную ранее политическую стабильность - ведь дело Лопухиных 1743 года оказалось последним из подобного рода дел, и все остальное царствование Елизаветы Петровны прошло на редкость спокойно. Так уж случилось, что под скипетром своей веселой государыни Россия обрела покой и политическую стабильность на долгих двадцать лет.

Пожалуй, сказанное о том, что Елизавета сумела использовать культ отца в своей внутриполитической доктрине, является некоторым преувеличением - сама она ничего не придумывала, все получилось как бы само собой, и нельзя не удивляться, как уже в первые дни и недели царствования Елизаветы возникает довольно непривычное для тех времен сочетание идей, жупелов и штампов, которые иначе чем идеологической доктриной власти и не назовешь. Эти идеи «висели» в воздухе, и в царствование Елизаветы они лишь окончательно оформились. Конечно, сама императрица до этого додуматься не могла - помогли ученые люди, архиереи - верные последователи умершего к тому времени Феофана Прокоповича. Потом идеи подхватили писатели, драматурги, артисты, которые внушали ее простецам.

Суть идеологии царствования Елизаветы весьма проста. Во-первых, с максимальной пользой для режима было использовано кровное родство новой императрицы с Петром Великим, культ

которого именно со времен правления его дочери вообще стал «опорным», основополагающим в идеологии российского самодержавия. Во-вторых, активно развивалась тема освобождения, спасения страны от недругов посредством идейного воскресения, «реинкарнации» Петра Великого в личности и делах его дочери. Именно она, видя неимоверные страдания русского народа под гнетом ненавистных иноземных временщиков - всего «щастия российского губителей и похитителей», - восстала «на супостаты». И с нею над Россией взошло солнце счастья.

Прежний мрак и нынешний свет, вчерашнее разорение и сегодняшнее процветание - эта антитеза повторялась все царствование императрицы Елизаветы Петровны. Никогда раньше так плодотворно для режима не обыгрывались патриотические мотивы, чтобы утвердить законность узурпированной власти. Конечно, нельзя утверждать, что патриотических или националистических настроений в русском обществе накануне переворота не было. В Тайную канцелярию Анны Ивановны попадало немало людей, которые ругали иностранцев, «севших нам на шею», заполонивших лучшие места. Такие настроения отмечали и жившие в России иностранцы, весьма чуткие к проявлениям ксенофобии. Существовали и источники подобного недовольства.

С одной стороны, в это время шел сложный процесс становления самосознания русского народа как нации Нового времени. Это приводило как к благотворному осознанию собственной национальной полноценности, так и к ксенофобии. С другой стороны, не все иностранцы вели себя скромно, и Бирон, с его спесью, жадностью и хамством, был символом таких «мироедов». Общество, всегда зорко следившее за «верхами», раздражало то, что императрица Анна Ивановна во всем ему доверилась, даже была демонстративно нежна с этим немцем. Возмущались и тем, что на ключевых постах в управлении стояли фельдмаршал Миних и А. И. Остерман. Но важно заметить: ни в царствование Анны Ивановны, ни в правление Анны Леопольдовны мотив противопоставления русских иностранцам или борьбы русского народа с неким «иностранным засильем» никогда не выступал на передний план, не становился общественным явлением или конфликтом первостепенной важности того времени. Представление о том, что до Елизаветы страна буквально стонала под гнетом иностранцев, было придумано и распространено именно в царствование дочери Петра Великого.

«Воистину, братец, - задушевно говорит один из персонажей

пьесы-агитки «Разговоры, бывшие между двух российских солдат» (1743 год), - ежели бы Елисавет Великая не воскресла и нам бы, русским людям, сидеть бы в темности адской и до смерти не видать света» *(Разговоры, с.16)*. Один из церковных деятелей того времени, Дмитрий Сеченов, в опубликованной большим тиражом проповеди 1742 года клеймил тех, кому недавно так преданно служил: «Прибрали все Отечество наше в руки, коликий яд злобы на верных чад российских отрыгнули, коликое гонение на церьков Христову и на благочестивую веру возстановили, их была година и область темная».

Дмитрий излагает «художественный» вариант той речи, с которой будущая государыня якобы обратилась к солдатам в слободе Преображенского полка: «Родители мои… трудились, заводили регулярство, нажили великое сокровище многими трудами, а ныне все растащено, сверх же того, еще и моего живота ищут (то есть - хотят лишить цесаревну жизни, не верь и этому, читатель! - *Е.А.*). Но не столь мне себя жаль, как вседражайшего Отечества, которое чужими головами управляемое, напрасно разоряется и людей столько неведомо за кого пропадает» *(Сеченов, с.14)*.

И тут же звучит другой, упомянутый выше главенствующий мотив «реинкарнации»: приход к власти Елизаветы - это возвращение Петра Великого (да заодно и Екатерины I) в Россию в облике его дочери. Архимандрит Заиконоспасского монастыря Кирилл Флоринский в проповеди 18 декабря 1741 года в Успенском соборе Московского Кремля восклицал: «Возведи о, Россие, очи твои и виждь! Се аз семя отца твоего Петра Великого седох на престоле твоем. Се во мне оживотворися Петр, жива бысть Екатерина. Отродись Петр, вся благая насеявый в недрах твоих» *(Флоринский, с.14)*. Ему вторит А.П.Сумароков:

Во дщери Петр опять на трон возшел,
В Елизавете все дела свои нашел…

В многочисленных проповедях ночной переворот 25 ноября 1741 года изображается как гражданский и религиозный подвиг дочери Петра, воодушевленной Провидением и образом своего великого батюшки, после чего она решила «седящих в гнезде Орла Российского нощных сов и нетопырей, мыслящих злое государству, прочь выпужать, коварных разорителей Отечества связать, победить и наследие Петра Великого от рук чужих вырвать и сынов Российских из неволи высвободить и до первого привесть благополучия» *(Обстоятельное описание, с.83-84; см. Попов)*.

О, Матерь своего народа!
Тебя произвела природа,
Дела Петровы окончать.

Так выполняет «социальный заказ» режима первейший пиит тогдашней России Сумароков. А вот другое агитационное произведение - Пролог к опере «Милосердие Титово» под названием «Россия по печали паки обрадованная», сочиненное академиком Якобом Штелиным. Опера начиналась с пролога, идеологическая направленность которого очень напоминала то, что происходило впоследствии в кинотеатре советских времен, когда киножурнал «Новости дня» с рассказом об очередном съезде партии или комсомола пускали перед просмотром основного фильма, на который, собственно, и шла публика. В 1742 году было примерно то же самое. Когда раздвигался занавес, то зрители видели плохо освещенную сцену, которая символизировала разоренную злодеем Бироном «запустелую страну, дикой лес и в разных местах отчасти начатое, но недовершенное, а отчасти развалившееся и разоренное строение». В этом пытливый зритель должен был усмотреть незаконченные, брошенные начинания Петра Великого.

Посредине сцены восседала женщина по имени Рутения - Россия, окруженная хныкающими детьми - русскими людьми. Сердца слушателей были тронуты жалостливой арией-плачем Рутении. Современник пишет, что в этом месте заполненный до отказа четырехтысячный зал возрыдал. Не выдержав общей печали, прослезилась и сидевшая в царской ложе императрица. Но долго мучить зрителей постановщик - итальянский режиссер и дирижер Франсиско Арайя не стал: Рутения успокаивает детей, она «обнадеживает их тем, что Петр еще жив в лице своей дщери и что он России может скоро опять возвратить прежнюю ея славу… ежели кровию Великого Петра и истинною и законною наследницею Петровы времена паки восстановлены будут»…

Вот мощно вступил оркестр, начался театральный восход солнца, в сопровождении «веселого хора музыки и поющих лиц», что следовало понимать как переворот 25 ноября 1741 года. Вместе с солнцем на облаке выплыла богиня Астрея в компании с добродетелями правящей государыни. Среди них все самые лучшие свойства, которые изображают увитые шелками Дамы: Храбрость, Великодушие, Справедливость, Милость. Возле них толпились «пять свойств верных подданных»: Любовь, Верность, Сердечная искренность, Надежда и Радость. Автору этой книги, изо всех сил стремящемуся избежать легковесных аналогий с

позднейшими временами, опять никак не удержаться, чтобы не прибавить к этим свойствам настоящих верноподданных еще два, рожденные в последние полстолетия: Глубокое удовлетворение и Искреннюю признательность.

Но и без них танец добродетелей и свойств императрицы и народа на поляне посреди лавровых, кедровых и пальмовых рощ получился, вероятно, блистательным. Оказывается, эти благоухающие рощи, пока с облаков спускалась богиня солнца, успели подняться на месте пустынь и диких лесов. Запустелые поля также вовсю радовали глаз зрителя, обернувшись в «веселые и приятные сады». Астрея исполнила арию о достоинствах императрицы Елизаветы Петровны, которая уже при рождении была одарена массой добродетелей и которой судьбой было предназначено увенчаться короной, «дабы Россию паки восстановить». После этого Астрея предлагает подданным воздвигнуть «публичный монумент» в честь государыни, что тут же и совершилось - прямо посредине сцены начали поднимать огромный обелиск с надписью: «Да здравствует благополучно Елизавета, достойнейшая, вожделенная, коронованная императрица, Мать Отечества, увеселение человеческого рода, Тит времен наших. 1742».

В заключение Пролога происходит массовое ликование обитателей всех четырех частей света (больше тогда и не знали) вместе с «добродетелями и добрыми свойствами» *(см. Милосердие Титове)*. А если к этому прибавить, что всех, кто публично сожалел о правлении кроткой Анны Леопольдовны или - не дай Бог! - сохранил у себя монету с профилем младенца-императора Ивана Антоновича или печатный указ с его «титлом», тотчас тащили в Тайную канцелярию, то станет ясно - никто не сомневался, что с воцарением Елизаветы Петровны наступило «царство света» нового Тита. Как известно, римский император Тит прославился великодушием к поверженным врагам.

* * *

Придя к власти, Елизавета сразу столкнулась с несколькими внешне- и внутриполитическими проблемами. В момент переворота Россия находилась в состоянии войны со Швецией, и уже на следующий день после переворота на улицах столицы вместе с манифестом о восшествии дочери Петра на престол читали и упомянутый выше манифест Левенгаупта о намерении шведов освободить русских от гнета иностранных временщиков. Тотчас в Выборг были посланы нарочные с приказанием русским

войскам стоять на месте, а к шведскому командующему отправили освобожденного из русского плена шведского офицера с сообщением о готовности России заключить мир. Решить эту серьезную проблему, окончить «ненужную» бывшей цесаревне, а теперь - государыне, войну тем не менее сразу не удалось.

Перемирие, объявленное после восшествия Елизаветы на престол, не окончилось миром - шведы своих требований не смягчили и продолжали добиваться возвращения Восточной Прибалтики. Так стали ясны истинные, то есть реваншистские планы шведского кабинета, который теперь воевал уже против той государыни, ради воцарения которой якобы и начал войну. Поэтому уже в конце февраля 1742 года Елизавета приказала войскам готовиться к новой кампании и начать военные действия, «дабы оными неприятель к прямому желаемого мира склонению принужден быть мог» *(Бескровный, с.261)*.

Новая кампания принесла ошеломляющие успехи русской армии, не столько благодаря победам фельдмаршала Ласси - полководца хорошего, но не блестящего, сколько из-за полного разложения шведского войска, в котором возобладали недопустимые в военной организации принципы коллективного обсуждения офицерами планов командования. Кроме того, финляндские части, составлявшие значительную часть армии, фактически отказались воевать и во множестве дезертировали. Идея освобождения Финляндии от шведского ига, как никогда, была близка к осуществлению. Ее довольно умело подогревали русские агенты, обещавшие финнам лучшие условия существования под скипетром Елизаветы Петровны, чем под сенью Трех корон. Как бы то ни было, в июне шведы непрерывно отступали, сдавали одну позицию за другой, пока русские без боя не овладели Фридрихсгамом. Шведский флот, из-за начавшейся на кораблях эпидемии, бросил оказавшуюся в стесненном положении армию и покинул прибрежные воды Финляндии. Эскадра адмирала Захария Мишукова взяла под контроль все морское побережье Финляндии.

24 августа 1742 года шведская армия капитулировала в Гельсингфорсе (Хельсинки), и генерал-фельдмаршал Ш. Э. Левенгаупт сдался русским. Финляндия оказалась оккупированной русскими войсками. По условиям капитуляции финляндские войска распускались по домам, а разоруженная армия Левенгаупта с пропуском Ласси (чтобы шведских воинов по дороге не грабили казаки кровожадного атамана Краснощекова) отправилась в Швецию. Возмущению Стокгольма позорной, без боя, сдачей Финляндии не было предела - Левенгаупта судили, а потом и казнили.

Из русских потерь самой заметной стала смерть упомянутого выше казачьего походного атамана Ивана Краснощекова, отличавшегося невероятной силой и свирепостью и наводившего ужас на шведов и финнов. Во время боя в августе 1742 года он провалился в болото и, оказавшись беспомощным, был убит шведами. В целом же, как пишет очевидец войны граф Гордт, шведы были поражены отличным состоянием русской армии, ведомой фельдмаршалом Ласси *(Гордт, с.297)*.

Следующая кампания, 1743 года, закончилась без особых успехов - флоты маневрировали, шведы не дали Ласси высадить армию уже на шведское побережье, но, видя, что войну они проиграли, политики в Стокгольме пошли на подписание 7 августа 1743 года мира в Або. Швеция снимала все свои прежние претензии к России, признавала Ништадтский мирный договор как акт, не утративший силу, и, кроме того, уступила ради «вечного мира и дружбы» часть Финляндии по реку Кюммень. Вся остальная Финляндия согласно миру возвращалась под власть Швеции. В таком положении граница осталась до 1809 года, когда мечта финляндских сепаратистов исполнилась и Финляндия была инкорпорирована, на весьма льготных по тем временам условиях, в состав Российской империи Александра I.

Договор в Або 1743 года был полным успехом русской дипломатии еще и потому, что в обмен на уход русских войск из большей части Финляндии, шведский рикстаг избрал Адольфа-Фридриха - дядю великого князя Петра Федоровича - наследником бездетного шведского короля Фредрика I. Это резко усиливало «русскую партию» в шведских верхах и позволяло русским дипломатам влиять на политическое положение соседнего, весьма недружественного России королевства. В целом, без особых усилий правительство Елизаветы Петровны успешно завершило войну со Швецией, получив территориальное «приращение», без чего ни один русский правитель не мог считать свое царствование вполне успешным.

Сложные проблемы ждали государыню и в ее собственной стране. Уже с первых шагов своего царствования Елизавета Петровна показала свои намерения во внутренней политике - она хотела, согласно своей доктрине, восстановить все государственные институты времен Петра I и Екатерины I. В одном из первых постановлений нового правительства была заявлена центральная реставрационная цель: «Усмотрели мы, что порядок в делах правления государственного внутренних отменен во всем от того, как было при отце нашем… и при матери нашей… в первый год ее владения было, ибо в другой год ее владения (то есть в 1726 году. - *Е.А.*) происком некоторых

прежний порядок правления, установленный от… родителя, нарушен вновь изобретенным Верховным тайным советом».

Разумеется, ни Елизавета Петровна, ни ее советники, писавшие этот указ, не ломали голову над тем, что же послужило причиной изменения системы управления на другой год после смерти Петра Великого. Как известно, Верховный тайный совет был создан в феврале 1726 года для помощи императрице Екатерине I. Недаром в указе об образовании Верховного тайного совета говорилось, что совет создан «при боку Ея императорского величества» и служил «не для чего инако только, дабы оный в сем тяжком бремени правительства, во всех государственных делах верными своими советами и беспристрастными объявлениями мнений своих Нам вспоможение и облегчение учинил» *(ЛСЗ, 7, №4830)*.

Вообще-то Елизавета также нуждалась в совете при своей особе. Но тогда, в 1742 году, она опасалась, сохранив Кабинет министров или создав нечто подобное, попасть под влияние своих советников и поэтому решила править «как при батюшке». Это означало, что закрывался главный исполнительный орган власти времен императрицы Анны Ивановны и правительницы Анны Леопольдовны - Кабинет министров, и восстанавливалась в полном объеме власть Сената, бывшего при Петре I высшим правительственным и судебным учреждением. Напомню, что с образованием Верховного тайного совета (1726-1730) Сенат утратил название, в котором подчеркивалось его главенство, и из «Правительствующего» превратился в «Высокий». Теперь, при Елизавете Петровне, его первое, изначальное название снова красовалось на официальных бумагах. Более того, указом 12 декабря было постановлено, что Сенат «да будет иметь преждебывшую свою силу в правлении внутренних всякого звания государственных дел». В этом и во всем другом указы и регламенты времен Петра Великого предписывалось «наикрепчайше содержать и по них неотменно поступать во всех правительствах государства нашего». Восстанавливался и бывший при Петре Великом секретариат императора - Кабинет Ее императорского величества. В принципе, эти преобразования высшего звена способствовали усилению власти самодержицы - ведь модель управления времен Петра Великого была «сшита» под его безграничное самодержавие, которое от самовластия и деспотии отличить весьма трудно. И Елизавета восстановила отцовскую систему в прежнем виде.

После указа 12 декабря 1741 года появилось на свет еще несколько важных постановлений верховной власти, в которых развивались основные идеи этого программного манифеста. Было

восстановлено несколько петровских коллегий - органов центрального управления, в Сенате вновь появилась контора генерал-рекетмейстера, который собирал жалобы подданных на должностные и иные преступления. В военной сфере стали пересматривать существовавшие при Анне Леопольдовне штаты полков, начали соотносить их с петровскими штатами 1720 года. Все эти постановления содержали в себе одну идею. Как писал историк А. Е. Пресняков, Елизавета «в глубоком преклонении перед делами великого отца представляла себе его работу над государственным строительством настолько совершенной и законченной, что одного последовательного и добросовестного проведения в жизнь его узаконений достаточно для полного благоденствия государства. Дело правительства его дочери - дело реставрации, а не творчества» *(История Сената, с.40)*.

Строго говоря, проводя реставрационную политику в управлении, новая императрица стремилась как бы очистить петровские институты от позднейших наслоений. В них она видела искажение священных петровских начал. Не следует много распространяться о том, что никто из ее современников в точности и не знал, какими были эти настоящие петровские начала и институты. Да и сам великий реформатор в ходе своей государственной реформы непрерывно изменял создаваемые им учреждения и умер в 1725 году, так и не закончив преобразований. Реставрация петровских начал более сводилась к пересмотру и отмене распоряжений предшествовавших Елизавете правительств, чем к конструктивной работе в духе Петра. Но даже в этом императрица часто руководствовалась своими капризами и сиюминутными интересами. В указе 25 февраля 1742 года Елизавета объявила свое «намерение и соизволение… дабы во всей нашей империи поступлено было по указам дражайшего нашего родителя государя императора Петра Великого» и осудила фаворитизм своих предшественниц на престоле. Она предписала, чтобы отныне в чины производились люди исключительно по старшинству и выслуге. Тем самым подтверждался знаменитый петровский принцип Табели о рангах. На самом же деле царствование Елизаветы Петровны ничем не отличалось от правления ее предшественниц - фавориты получали чины и должности в обход провозглашенных священными принципов Петра Великого. Для этого достаточно взглянуть на верхушку чиновной пирамиды елизаветинской поры. С 1700 до 1760 года в русской армии было 19 генерал-фельдмаршалов, причем в царствование Елизаветы Петровны желанный жезл получили семь человек. Из них по праву этого звания удостоился, пожалуй, только Петр Салтыков - победитель

прусского короля Фридриха II под Кунерсдорфом в 1759 году, с большой натяжкой - Степан Апраксин, чьи войска без всякого участия командующего разбили пруссаков под Гросс-Егерсдорфом в 1757 году, и Александр Бутурлин, весьма посредственно командовавший русской армией в 1760 году. Все остальные были попросту награждены фельдмаршальским жезлом за лояльность и неизвестные русской военной истории заслуги. Среди них были: Людвиг Вильгельм Гессен-Гомбургский, командовавший лейб-компанцами, последний боярин и князь Никита Трубецкой, ведавший преимущественно поставками провианта в армию, гетман Малороссии Кирилл Разумовский и его брат - Алексей Разумовский, который ни дня не прослужил в армии, зато многие годы «служил» любовником, а потом тайным супругом государыни. Когда Елизавете нужно было повысить статус своих отважных сподвижников - соучастников переворота 1741 года, братьев Шуваловых и М.И.Воронцова, то она в феврале 1742 года внесла изменения в петровский Табель о рангах - сделала придворный чин камер-юнкера, в котором они состояли, выше армейского полковника, что позволило героям ночного приключения начать головокружительную карьеру при дворе.

В реставрации начал петровской политики правительство Елизаветы Петровны ждали и успехи, и неудачи. Конечно, полностью провалилась попытка воссоздать в неизменности петровские институты. Особенно хорошо это было видно при попытке пересмотра законов. Придя к власти, Елизавета Петровна предписала Сенату пересмотреть все изданные после смерти Петра Великого законы и отменить те из них, которые противоречили петровскому законодательству. В 1743 году Сенат приступил к этой работе и к 1750 году успел пересмотреть законы только с 1726 по 1729 годы. Впереди предстояла огромная работа - всего до 1741 года было издано около трех тысяч законов. В 1754 году Петр Шувалов, набравший к тому времени силу, довольно смело выступил в присутствии императрицы в Сенате и сказал, что работа по пересмотру законодательства - напрасный труд, что было бы целесообразно переключиться на составление нового Уложения - свода законов империи.

Елизавета Петровна была вынуждена согласиться с доводами Шувалова и признать, что «нравы и обычаи изменяются с течением времени, почему необходима и перемена в законах». Возможно, для другого государственного деятеля мысль эта показалась бы банальной, но для Елизаветы она стала настоящим открытием и оказалась весьма благотворной для русского законодательства. Законотворчество получило новый стимул, и образованная вскоре Комиссия по созданию нового Уложения,

проработав несколько лет, подготовила для нового поколения екатерининских законодателей большой материал.

Во многом слепо следуя принципам Петра Великого, его дочь, неискушенная в тонкостях политики, увидела, точнее сказать, учуяла суть этих принципов, неизменных в России уже не первый век: надлежит сохранять самое главное - неприкосновенность самодержавия, чтобы в неизменности передать своим преемникам этот волшебный сосуд, до краев наполненный властью. И остальное было уже не так существенно. Конечно, личность императрицы накладывала свой отпечаток на все ее правление. Известна православная истовость Елизаветы, ее особая любовь к церковному пению, вообще - ко всему церковному. С особенностями характера императрицы связана и церковная политика того времени, ставшая весьма жесткой. С 1742 года начался новый этап суровой борьбы с приверженцами старообрядчества - с петровских времен еще не издавались такие свирепые законы по борьбе с «раскольниками». В тайге запылали «гари» - самосожжения старообрядцев. С приходом к власти Елизаветы взялись за преследование экзотических в России квакеров, принялись сносить мусульманские мечети и армянские церкви. Из-под спуда достали фактически запрещенное при Анне Ивановне антипротестантское сочинение «Камень веры», которое теперь разрешалось печатать и продавать. Одновременно Синод установил цензуру на ввоз в Россию книг церковного содержания. Словом, борьба с еретиками развернулась нешуточная.

Изданный 2 декабря 1742 года указ Елизаветы повторял указ 1727 года ее матери, императрицы Екатерины I, и предписывал немедленно выслать с территории России всех евреев за границу «и впредь оных ни под каким видом в нашу империю ни для чего не впускать». Попытка малороссийских властей остановить высылку евреев, участвовавших в украинской торговле, не была понята государыней. Не помог даже доклад Сената, который указывал на огромные потери в экономике от депортации евреев. Все разумные доводы были отвергнуты императрицей, написавшей: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». Следствием было жесткое постановление Сената: «Впредь оных ни под каким видом, ни для чего, також и в ярморочные времена на ярмонки ни на малое время в Россию не впускать» *(Шугуров, с.87)*. Среди тысяч изгнанных за пределы России евреев оказался и знаменитый врач, придворный доктор Санхес, который пользовал и государыню, и всю тогдашнюю знать. Он слыл врачом-кудесником и очень симпатичным человеком. Его судьба за границей оказалась печальной. Русский представитель во Франции Федор Бехтеев в 1757 году писал вице-

канцлеру Михаилу Воронцову об отчаянном положении Санхеса, которому не на что было жить и которого, как изгнанника, без рекомендации нигде не брали на службу: «Поистине, милостивый государь, жалко и некоторым образом порок для нашего отечества, что человек, столь учением славный и от двора нашего до такой степени возвышенный, так в бедности оставлен без малейшего награждения, ниже признания, а больше всего, что тем путь ему пресечен достаточной хлеб иметь, наипаче предосудительно нам, что против его к неудовольствию никакой причины предъявить не можно» *(АВ, 3, с.258-259)*.

Но государыня была непоколебима. За всем этим стояла ее нетерпимость к иноверцам, которые с церковного амвона клеймились как «чужестранцы-пришельцы… правоверия ругатели, благочестия растлители и истлители, под ухищренною политикою всего щастия российского губители» *(Сеченов, с. 4)*. Благосклонно смотрела государыня и на доклады Святейшего Синода о запрещении «богопротивных» книг, «дабы никто отнюдь ничего писать и печатать, как о множестве миров, так о всем другом, вере святой противном и с честными нравами не согласном». На этом основании Синод требовал запретить несколько книг, в том числе изданную в переводе Антиоха Кантемира знаменитую популяризацию концепции Коперника - книгу Бернара Фонтенеля «Беседы о множестве миров» *(Доклад, с.7-8)*.

Впрочем, церковники рано радовались и зря тешили себя иллюзиями, что вершиной религиозных мер богобоязненной дочери Петра Великого станет отмена учрежденного в 1721 году Священного Синода и восстановление патриаршества. Этого не произошло - с принципов петровской политики в отношении церкви Елизавета Петровна не сошла - государство выше церкви и главой ее является, как и при Петре Великом, сама императрица.

Более того, указом 19 февраля 1743 года императрица напомнила слегка расслабившимся после смерти грозного царя подданным, что не потерпит вольностей в их внешнем виде, и потребовала, чтоб не было никаких бород и длиннополых одежд! В этом указе, написанном суровым стилем Петра Великого, говорилось, чтобы «всякого звания российского народа людям, кроме духовных чинов и пашенных крестьян, носить платье против чужестранных - немецкое, бороды и усы брить, как в тех указах (то есть Петра I. - *Е.А.*) изображено, неотложно, а русского платья и черкасских кафтанов никому не носить и в рядах не торговать, под жестоким наказанием» *(ПСЗ, т.9, №8707)*.

Уже первые два-три года царствования императрицы Елизаветы Петровны показали, что судьба хранила ее от

промахов. Когда случайно, когда с помощью советов своего окружения неопытная, начинающая государыня все-таки сумела не совершить серьезных, роковых ошибок, удержалась на троне и постепенно смогла даже упрочить свое положение, добиться если не всеобщей любви, то хотя бы признания подданных. В этой ленивой красавице, далекой от упорного труда настоящего государственного деятеля, вдруг проявились такие черты характера, которые помогли ей удержаться у власти, стать полноправной и самовластной государыней. Об этом и вообще о личности государыни - в следующей главе.

ГЛАВА 5
ЦАРЬ-ДЕВИЦА, ИЛИ КАК ПРАВИТЬ РОССИЕЙ, ЛЕЖА НА БОКУ

Было бы преувеличением утверждать, что Елизавету очень волновала идеология ее царствования и вообще тяжкий удел государственного деятеля. Как и ее предшественницы у власти (императрица Анна Ивановна и правительница Анна Леопольдовна), она не мечтала прослыть философом на троне, не рвалась она и в воительницы-амазонки. Ее больше беспокоило то, как она выглядит и восхищаются ли ею окружающие. И еще - в чем появиться на первом балу и не вскочил ли на щеке прыщик?

Да, императрица была влюблена исключительно в себя. Античный Нарцисс выглядит жалким мальчишкой у ручья в сравнении с Елизаветой, всю жизнь проведшей у океана зеркал своих дворцов. Впрочем, это нетрудно понять, а автору-мужчине невозможно осуждать, ведь женщины более красивой, чем Елизавета, не было тогда на свете. По крайней мере так считали ее современники, каких бы взглядов они ни придерживались, каким бы темпераментом ни обладали. Французский посланник в России Кампредон писал в 1721 году о Елизавете как о возможной невесте Людовика XV (Елизавете тогда исполнилось 12 лет): «Она достойна того жребия, который ей предназначается, по красоте своей она будет служить украшением версальских собраний… Франция усовершенствует прирожденные прелести Елизаветы. Все в ней носит обворожительный отпечаток. Можно сказать, что она совершенная красавица по талии, цвету лица, глазам и изящности рук».

В 1728 году испанский посланник герцог де Лириа сообщал в Мадрид о Елизавете (девице было 19 лет): «Принцесса Елизавета такая красавица, каких я редко видел. У нее удивительный цвет лица, прекрасные глаза, превосходная шея и несравненный стан. Она высокого роста, чрезвычайно жива, хорошо танцует и ездит верхом без малейшего страха. Она не лишена ума, грациозна и очень кокетлива». Вот мнение другого иностранного дипломата: она «…белокура, красива лицом и во всех отношениях весьма пленительна и мила… Она имеет весьма изящные манеры, живой характер… постоянно весела и в хорошем настроении духа» *(Лириа, с.34, 115; Тайные известия, с.384)*.

Ангальтцербстская принцесса София-Августа-Фредерика, ставшая впоследствии императрицей Екатериной II, впервые

увидела Елизавету, когда той было уже 34 года - возраст почтенный для женщины XVIII века: «Поистине нельзя было тогда видеть в первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от того не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова была также очень красива… Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и в женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся» *(Екатерина, 1907, с.39, 310)*.

По-видимому, так это и было на самом деле - ведь Екатерина в молодости столько натерпелась от придирок императрицы Елизаветы и долго помнила зло, причиненное ей вздорной тетушкой. Поэтому она не могла бы писать о красоте Елизаветы, если бы это было неправдой. Как не без юмора говорил по такому же поводу один гоголевский герой, «женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею». Иной читатель устремится листать иллюстрации, чтобы найти самому подтверждение вышесказанному о Елизавете. Увы! Портреты эти в большинстве своем позднейшие, когда императрице было к пятидесяти, их писали так, как было принято писать тогда тяжеловесные, неподвижные парадные портреты государынь, да и не жили в то время в России Веласкес или Рембрандт, чтобы донести до нас живое обаяние этой красавицы, темно-синий, глубокий свет ее огромных глаз, изящество поз, движений и иных, сводящих мужчин с ума проявлений кокетства.

За всем этим стояла не только данная природой красота, но и тяжелейшая работа портных, ювелиров, парикмахеров, да и самой царицы - самой строгой судьи своей красоты. Нужно признать, что вкус у Елизаветы был тончайший, чувство меры и гармонии - изумительное, строгость к нарядам и украшениям - взыскательнейшая. Каждый выход в свет, на люди, особенно - на бал, в маскарад становился для нее событием важнейшим, к которому она готовилась, как полководец к генеральному сражению. «Во время менуэтов, - читаем мы в записках французского дипломата, - послышался глухой шум, имевший однако нечто величественное. Двери быстро отворились настежь, и мы увидели блистающий трон, сойдя с которого, императрица, окруженная своими царедворцами, и вошла в бальную залу. Прекращение всеобщего движения и глубокое молчание позволили услышать голос императрицы…» *(Мессельер,*

с.970-971). Вот ради таких мгновений и жила Елизавета!

Первой заботой государыни были, конечно, платья и прически. Француз Ж. Л. Фавье, видевший Елизавету в последние годы ее жизни, писал, что «в обществе она является не иначе как в придворном костюме из редкой и дорогой ткани самого нежного цвета, иногда белой с серебром. Голова ее всегда обременена бриллиантами, а волосы обыкновенно зачесаны назад и собраны наверху, где связаны розовой лентой с длинными развевающимися концами. Она, вероятно, придает этому головному убору значение диадемы, потому что присваивает себе исключительное право его носить. Ни одна женщина в империи не смеет причесываться так, как она» *(Фавье, с.189 и др.)*.

Прическам, действительно, уделялось тогда особое внимание. Женские прически в эти времена были громоздкими и тяжелыми. Особенно популярна была прическа «а-ля Фонтаж». Волосы украшались массой кружев, лент, драгоценностей. Елизавета и ее придворные дамы отдавали дань и так называемой «яйцевидной» прическе, когда волосы взбивались вверх ото лба и гладко зачесывались. Около уха на плечи спускался один или два напудренных локона. К середине века все дамы стали носить прическу «тапе», то есть завивку. Этот стиль резко расширил возможности модниц, и парикмахеры-куаферы делали так называемый «венец», «диадему», украшенную бриллиантами *(Сыромятникова, с.134-135)*. О такой прическе как раз и писал Фавье.

К концу царствования Елизаветы размеры причесок стали увеличиваться и напоминали чудовищные сооружения, с которыми в двери можно было проходить только на полусогнутых ногах. Куаферы, которых стали готовить в парижской Академии парикмахерского искусства, сооружали на голове несчастной модницы каркас, к которому крепились различные предметы и цветы. Такие тяжелые прически, напоминающие натюрморты бессмертной серии художника Хруцкого «Цветы и плоды», были сложны и делались часами. По примеру Версаля, во время причесывания в уборную императрицы допускались избранные дамы, которые благоговейно наблюдали за сложнейшей процедурой устройства прически и разговаривали с государыней. Отлучение от уборной императрицы рассматривалось придворными как проявление немилости государыни, хотя, как писала Екатерина II, присутствовать на этих посиделках было невыносимо скучно.

Чуть ниже будет подробнее рассказано о том, как Елизавета боролась со своими соперницами, которые пытались сравняться с императрицей в красоте, изяществе нарядов, причудливости

головных уборов и тем самым дерзко посягнуть на ее неоспоримое вечное первенство. Елизавета боролась с ними разными способами, но главное - государыня стремилась опередить их, нарядиться во все наимоднейшее, совершенно новое, полученное прямо из Парижа. Как у самодержавной повелительницы одной восьмой части суши, для этого у нее были неограниченные возможности, особенно денежные и административные.

Современники пишут, что Елизавета никогда не надевала одного и того же платья дважды и - более того - меняла их по нескольку раз на дню. Подтверждение этому мы находим в описании пожара в Москве, когда в 1753 году во дворце сгорело четыре тысячи платьев императрицы. Воспитатель наследника престола, великого князя Петра Федоровича, Якоб Штелин рассказывал, что после смерти Елизаветы новый император обнаружил в ее гардеробе 15 тысяч платьев, «частью один раз надеванных, частью совсем не ношенных, 2 сундука шелковых чулок, лент, башмаков и туфлей до нескольких тысяч и проч. Более сотни неразрезанных кусков богатых французских материй» *(Штелин, с.100)*.

Русские дипломаты, аккредитованные при европейских дворах, занимались не только своей прямой работой, но и закупками модных вещей «для собственного употребления Ея императорского величества». Особенно трудно приходилось, как понимает читатель, русским дипломатам в Париже - столице европейской моды. В ноябре 1759 года канцлер Михаил Воронцов писал русскому представителю в Париже, что императрице стало известно о существовании во французской столице «особливой лавки» под названием «Au tres galant», в которой «самые наилучшие вещи для употребления по каждым сезонам… продаются». Канцлер поручал нанять «надежную персону» и «по приличности мод и хорошего вкуса» покупать наимоднейшие вещи и немедленно слать их в Петербург. На эти расходы было отпущено всего 12 тысяч рублей - сумма, конечно, ничтожная, если учитывать аппетиты императрицы.

Вдова русского представителя в Париже Федора Бехтеева писала впоследствии императрице Елизавете, что ее муж остался должником, так как разорился на покупке шелковых чулок для Ее величества *(Соловьев, 24, с.331)*. Легче было дипломатам в Лондоне, но и оттуда - на пробу - приказывалось высылать ткани и галантереи. П. Г. Чернышов сообщал: «Я заказал здесь сделать куклу фута в три вышиной и к ней платья всех сортов, каковые при всяких случаях здешние дамы носят и со всеми к ним принадлежащими, как и на голове уборами» *(Дамские костюмы,*

с.346).

Чтобы понять характер императрицы, стоит заглянуть в ее переписку с секретарем Кабинета Ее императорского величества Василием Демидовым. В декабре 1744 года Елизавета провела больше месяца на Хотиловском стане по дороге из Петербурга в Москву, где врачи потребовали оставить до полного выздоровления заболевшего оспой в пути наследника престола великого князя Петра Федоровича. Государыня не только сидела у постели больного племянника, но и занималась обновлением своего гардероба. Из Хотилова и был послан в Кабинет указ: «Купца Симона Дозера, нюренбехца, отправить сюда, по получении сего в самой скорости и велеть взять с собою имеющиеся у него галантереи и куперштихи, все, сколько их имеетца, дав ис почтовых или подставных подвод потребное число, и объявить ему: не пожелает ли он несколько солдат для празнишнего времени, что не без пиянства по дороге?» *(Петров, с.55)*. Конечно, государыня так трогательно заботилась не о безопасности нюрнбергского купца, а о целости его товара.

Из переписки 1751 года видно, что более всего императрицу беспокоило, как бы другие дамы не порасхватали обворожительные галантереи вперед нее. 28 июля она писала Демидову: «Уведомилась я, что корабль французский пришел с разными уборами дамскими, и шляпы шитые мужские и для дам мушки, золотые тафты разных сортов и галантереи всякие золотые и серебряные, то вели с купцом сюда прислать немедленно». Через несколько дней императрица подняла тревогу - она узнала, что прибывший в Петербург купец уже продал часть своего, драгоценного товара, которую отобрала для себя императрица. Сделал он это скорее всего потому, что торговаться с государыней было невозможно, а она в покупках была всегда скупа - ее ювелир Позье писал в мемуарах, что «государыня была весьма бережлива в покупках и любила похвалиться, что купила что-нибудь дешево» *(Позье, с.70)*.

Столь самоуправный поступок иностранного купца вызвал гнев государыни, и она с раздражением приказала Демидову: «Призови купца к себе, (спроси) для чего он так обманывает, что сказал, что все тут лацканы и крагены, что я отобрала, а их не токмо все, но и не единого нет, которыя я видела, а именно алые. Их было больше двадцати и при том такие ж и на платье, которые я все отобрала и теперь требую, то прикажи ему сыскать и никому в угодность не утаивать». А вот и нарастающие раскаты самодержавного гнева: «А ежели, ему скажи, он утаит, моим словом, то он несчастлив будет и (также) кто не отдает. А я на ком увижу, то те равную часть с ним примут». Иначе говоря,

купленные у купца галантереи дамы были обязаны вернуть. Тут же Елизавета указывает, кто из дам мог опередить ее: «А я повелеваю всеконечно сыскать все и прислать ко мне немедленно, кроме саксонской посланницы (моды модой, а дипломатический инцидент России не нужен! - *Е.А.*), а прочие все должны возвратить. А именно у щеголих, надеюсь они куплены - у Семена Кирилловича (Нарышкина. - *Е.А.*) жены и сестры ее, у обеих Румянцевых: то вы сперва купцу скажите, чтоб он сам сыскал, а ежели ему не отдадут, то вы сами послать можете и указом взять моим» *(Императрица Елизавета, с.10-15)*.

С годами красота Елизаветы меркла - как все люди того времени, она, конечно, ничего не ведала ни о диете, ни о спортивных занятиях, да и годы брали свое. Фавье, видевший императрицу в год ее пятидесятилетия, писал, что Елизавета «все еще сохраняет страсть к нарядам и с каждым днем становится в отношении их все требовательнее и прихотливей. Никогда женщина не примирялась труднее с потерей молодости и красоты. Нередко, потратив много времени на туалет, она начинает сердиться на зеркало, приказывает снова снять с себя головной и другие уборы, отменяет предстоявшие театральные зрелища или ужин и запирается у себя, где отказывается кого бы то ни было видеть». Елизавета была не в силах признать, что ее время проходит, что появляются новые красавицы, которые могут с успехом состязаться с ней в изяществе нарядов и причесок. «Старость - вот преисподняя для женщин» - этот афоризм Ларошфуко прямо относится к Елизавете. То волшебное зеркало, которое раньше каждое утро ей говорило, что нет на свете краше и милее, в последние годы ее жизни молчало. Это стало самой большой трагедией Елизаветы, и от сознания бессилия перед старостью даже ее неограниченной императорской власти характер государыни постепенно портился. Так, с годами появилась еще одна - важнейшая! - причина для неприятия соперниц - их молодость, которая сама по себе сияет красотой. Как пишет Екатерина, «моя дорогая тетушка была очень подвержена такой мелкой зависти не только в отношении ко мне, но и в отношении ко всем другим дамам, главным образом преследованию подвергались те, которые были моложе, чем она» *(Екатерина, 1907, с.139)*.

Уже из сказанного выше видно - нрав Елизаветы был далеко не так прекрасен, как ее божественная внешность. Большинству гостей дворца, как и нам, не суждено было заглянуть за кулисы того праздника, который был всегда с императрицей, хотя многие догадывались, что Елизавета - это блестящая шкатулка с двойным дном. В 1735 году леди Рондо писала о своем впечатлении от

встреч с цесаревной: «Приветливость и кротость ее манер невольно внушают любовь и уважение. На людях она непринужденно весела и несколько легкомысленна, поэтому кажется, что она вся такова. В частной беседе я слышала от нее столь разумные и основательные суждения, что убеждена: иное ее поведение - притворство». Неизвестный нам дипломат в 1727 году писал о совсем еще молоденькой цесаревне: «Она обладает большим, живым, вкрадчивым и льстивым умом» *(Тайные известия, с.384)*.

Впечатление от ее поведения, манеры разговаривать с людьми бывало подчас весьма обманчиво. Многим непрозорливым людям, имевшим с императрицей дело, она казалась красивой дурочкой, ласковой и легкомысленной, которая станет их легкой добычей и, сев на престол, будет выполнять то, что они ей внушат, велят, нашепчут в ее прелестное розовое ушко. И каким же жестоким бывало разочарование! Как ошибались эти люди, поддавшись лукавому обаянию красавицы! Она легко соглашалась с мнением собеседника, но медлила исполнить его совет или просьбу так, что поначалу обнадеженный собеседник с возрастающей досадой видел, что все его красноречие, доводы и доказательства пропали даром - государыня ничего по его настоянию и внушению не делает.

Почему так было? У Елизаветы Петровны, при всех ее многочисленных недостатках, сохранялось хорошо развитое «чувство власти», без которого пребывать в кресле властителя человеку, конечно, можно, но только недолго. Это чувство схоже с чутьем зверя, избегающего опасности. Государыня, как и каждый настоящий властитель, была недоверчива - она постоянно опасалась за свою власть и подозревала окружающих в намерении каким-то хитрым способом повредить ей. Вместе с тем она пугалась принимать скоропалительные, неожиданные решения и, как человек, идущий в полутьме по незнакомой дороге, становилась осторожной и даже часто останавливалась в нерешительности. К каждому делу Елизавету нужно было исподволь подготовить, дать ей свыкнуться с новой для нее мыслью. Французский посланник Шетарди справедливо писал об этой черте государыни: «Я ведаю, что царица охотнее выслушивает каждое дело, когда она наперед к тому приуготовлена» *(АВ, 1, с.475)*.

Но ирония судьбы состояла в том, что сам Шетарди испытал жесточайшее потрясение как раз из-за того, что переоценил свои знания характера и повадок русской императрицы. Как уже сказано, он стал одним из инициаторов заговора цесаревны

Елизаветы Петровны, хотя в дальнейшем роль его в приходе к власти Елизаветы была скромна. Но сам-то Шетарди считал, что в происшедших в Петербурге 25 ноября 1741 года событиях он - первый человек. И в этом его убеждал тот прием, который стали оказывать французскому посланнику сразу после переворота новая государыня и ее окружение. Шетарди оказался вхож в самый узкий круг ее приближенных, сама же императрица в нем души не чаяла, вела с ним откровенные беседы, возила всюду с собой и ласкала. Через некоторое время после переворота Шетарди отбыл в отпуск во Францию и на прощание был буквально осыпан подарками и наградами, включая высший орден Святого Андрея Первозванного. Начальство из французского министерства было так довольно успехами маркиза, что вновь послало его в Россию в надежде, что Шетарди сможет добиться у Елизаветы такого поворота внешней политики России, который окажется выгодным Версалю.

В 1743 году Шетарди с триумфом вернулся в Россию, отношения с императрицей стали еще более теплыми. Она даже взяла галантного католика в пеший поход на богомолье из Москвы в Троице-Сергиев монастырь. Это была увеселительная прогулка с частыми остановками, охотой и пиршествами. Красавец-француз, казалось, находился на вершине своего успеха. Как утверждали злые языки, он покорил императрицу как женщину, но… оказалось - совсем не как политика. Возвращаясь с очередного дружественного приема во дворце, Шетарди все чаще и чаще испытывал разочарование - целей, которые ставили перед ним начальники из Версаля, он выполнить никак не мог - каждый раз государыня ускользала от него и не давала определенного, ясного ответа на его настоятельные внешнеполитические вопросы. При этом Шетарди совсем забыл, что сам он в марте 1741 года писал во Францию о приключениях своего шведского коллеги Нолькена - сподвижника по заговору в пользу Елизаветы.

Нолькен, как уже говорилось, добивался у цесаревны расписки в том, что она готова - в ответ на денежную и военную помощь шведов - отдать часть завоеванных ее отцом территорий на побережье Балтики. Эти условия были тягостны для дочери Петра Великого, и она стремилась уйти от прямого ответа и бумаги на сей счет подписывать не хотела. Шетарди тогда писал в Париж, что Нолькен был обворожен благосклонным приемом цесаревны, но «тщетно Нолькен представлял дело с точки зрения, которая могла бы ее убедить и как ни ловко он пользовался минутами, когда сама принцесса наводила его на разговор о деле, она однако упрямо отказывалась произнести слово и ограничивалась теми знаками чувствительности, которые

выражаются в движении и на лице» *(Пекарский, с.233-234)*.

И так продолжалось до самой последней встречи, на которую Нолькен явился перед своим отъездом из Петербурга - Швеция должна была вот-вот начать войну против России. При этом он держал наготове такую нужную шведам бумагу и был готов передать цесаревне огромные деньги, стоит ей только поставить свою подпись. Но и здесь его ждала неудача - Елизавета снова увильнула от скандинавского охотника за ее автографом. Шетарди так сообщал об этом во Францию 31 марта 1741 года. Оказывается, придя на встречу с цесаревной, Нолькен пожаловался ей, что посредник в переговорах Лесток плохо выполняет поручения Ее высочества и нужная шведам бумага до сих пор не подписана. По-видимому, сказал Нолькен, Лесток утаивает от своей повелительницы суть дела. «Принцесса Елизавета, - пишет со слов Нолькена Шетарди, - нисколько не оправдывала своего поверенного и скорее одобряла падавшее на него обвинение и давала заметить, что не помнит хорошенько, о чем шла речь». Такой поворот был полной неожиданностью для шведского посланника - ведь он сам лично три месяца назад передал Елизавете копию обязательства. Нолькен «не скрыл от нее удивления, что предмет такой огромной важности не оставался постоянным в ее памяти, он напомнил ей о содержании требования. Так как «она отозвалась незнанием, где находится в настоящую минуту эта бумага… то Нолькен… ответил ей, что подлинник у него в кармане и все может быть окончено в одну минуту, так как достаточно только ей подписать и приложить свою печать».

Елизавета, казалось, была загнана в угол, но и тут она вывернулась, сославшись на то, что в зале присутствует слуга, который кажется ей подозрительным. «Впрочем, - пишет Шетарди, - она высказалась столько же признательною к расположению Швеции, сколько убежденною в быстром действии, которое произведут первые демонстрации со стороны шведов». На прощание Елизавета обещала прислать поверенного с подписанной бумагой наутро, но Нолькен, тщетно прождав Лестока с драгоценной бумагой, так и отправился в дальний путь на родину ни с чем.

Между тем ни он, ни его друг Шетарди ни тогда, ни потом не обратили должного внимания на слова Елизаветы, сказанные ею на самой первой встрече с Нолькеном. Она зло высмеяла правительницу Анну Леопольдовну и рассказала, что правительница проговорилась ей о том, что совет убрать со всех постов фельдмаршала Миниха она получила от принца Антона-Ульриха и Остермана. Цесаревна сказала при этом, что «надобно

иметь мало ума, чтобы высказаться так искренне. Она совсем дурно воспитана, - прибавила принцесса, - не умеет жить.» *(Пекарский, с.266, 235)*. Елизавета явно считала себя хитрой и умеющей жить…

Вернемся к Шетарди. Ослепленный своими успехами при дворе и потом раздосадованный неудачами, он в конечном счете с треском провалил и свою карьеру, и так удачно начатую миссию. Произошло это до банального просто. Дело в том, что Шетарди, вернувшись в Россию и, возможно, рассчитывая стать фаворитом императрицы, не предъявил государыне аккредитивных грамот посланника французского короля и жил без официальных полномочий дипломата, что и облегчило его высылку. Впрочем, это все равно бы и так произошло, потому что академик Гольдбах по заданию Коллегии иностранных дел дешифровал послания Шетарди и составил ключ, с помощью которого, как он писал, «каждому, которой по-французски разумеет, все иные той же цифири пиесы дешифровать весьма легко будет» *(АВ, 1, с.463)*. Донесения Шетарди попадали на стол Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, ненавидевшего прыткого француза. Канцлер, читая депеши Шетарди, принялся собирать его самые резкие отзывы о государыне, с которой Шетарди проводил так много времени и которая была о любезном маркизе самого высокого мнения. Вот некоторые цитаты из посланий Шетарди в переводе специалистов из Академии наук. Объясняя причины своих неудач, он писал: «Надобно на моем месте быть и всю ту нетерпеливость испытать, которой… каждый подвержен, дабы верить можно было, что любовь самые безделицы, услаждение туалета четырежды или пятью на день повторенное и увеселение в своих внутренних покоях всяким подлым сбродом… себя окруженною, все ее упражнение сочиняют… Мнение о малейших делах ее ужасает и в страх приводит… Слабость и непостоянство, кои во всяком случае в поступках царицыных суть…» Жалуется он и на то, что даже если императрицу застанешь, то трудно отвлечь «ее мысли от всегда забавного для нее приготовления или к отъезду в путь, или к переселению с одного места на другое» *(АВ, 1, с.535-536)*.

Эти и подобные им выписки Бестужев однажды поднес императрице. Она была вне себя от гнева. Если бы еще это было мнение (кстати, во многом справедливое) о ней врагов! Но так писал Шетарди, ее давний друг! В 24 часа маркиз Шетарди был выдворен из России. Благодаря самонадеянности и неосторожности своего посланника, французская дипломатия на десяток лет утратила позиции в России. Впрочем, Шетарди все же прославился в истории России и полезным делом. Это он первым

привез в страну шампанское и приучил русских пить его не морщась - благо среди 100 тысяч бутылок разных вин, которые он захватил с собой в Россию, шампанского было 16 800 бутылок - достаточно для того, чтобы русская знать полюбила этот волшебный напиток *(Пыляев, 1996, с.212)*.

Те, кто жил с императрицей рядом, естественно, знали о ней больше, чем блестящие гости придворных маскарадов и куртагов. Когда золоченая дверь закрывалась за государыней и она оставалась с близкими, прислугой, от ее доброты и любезности порой ничего не оставалось. Ближние люди видели, как Елизавета может быть злой, нетерпимой, капризной и грубой. Они страдали от ее мелочных придирок, напрасных подозрений, откровенного хамства. Много об этом пишет Екатерина II, которая, будучи великой княгиней, за пятнадцать лет жизни во дворце натерпелась от императрицы всякого. Месяцами не видя наследника и его жену, Елизавета Петровна все равно не давала им ни минуты покоя. Сонм доносчиц сообщал государыне о каждом шаге членов великокняжеской семьи. И тогда перед ними появлялась придворная дама или попросту лакей, которые от имени государыни в довольно грубой форме предписывали немедленно поставить сдвинутое по приказу великой княгини Екатерины канапе на прежнее место или не делать что-нибудь из того, что государыне не нравится. Иногда же императрица лично врывалась в апартаменты молодой четы и устраивала нещадную головомойку виновным.

Общение с императрицей оказывалось делом более сложным, чем хождение по льду в бальных туфлях. Екатерина II вспоминала: «Говорить в присутствии Ее величества было задачей не менее трудной, чем знать ее обеденный час. Было множество тем для разговора, которые она не любила: например, не следовало совсем говорить ни о короле прусском, ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках (по ее указу было запрещено проносить покойников мимо дворца и по близлежащим улицам. - *Е.А.*), ни о красивых женщинах, ни о французских манерах, ни о науках - все эти предметы разговора ей не нравились. Кроме того, у нее было множество суеверий, которых не следовало оскорблять; она также бывала настроена против некоторых лиц и склонна перетолковывать в дурную сторону все, что бы они ни говорили, а так как окружающие охотно восстанавливали ее против очень многих, то никто не мог быть уверен в том, не имеет ли она чего-либо против него; вследствие этого разговор был очень щекотливым». Нередко бывало, что императрица «бросала с досадой салфетку на стол и покидала компанию».

Приближенным государыни важно было знать, хорошее у нее

или дурное настроение, и предусмотреть, что из этого последует. В записках Екатерины II есть эпизод, прекрасно иллюстрирующий нравы Елизаветы. Двор находился в подмосковном селе Софьино. В шатре был накрыт стол, все ждали, когда императрица выйдет к обеду. Екатерина пишет: «Она появилась, и все присутствующие по косому взгляду исподлобья, какой она бросала, когда была рассержена, поняли, что она была не в духе. Тут-то и надо было держать ухо востро, не сказать чего-нибудь неприятного для государыни или ответить невпопад. А как раз в такой момент императрица имела привычку задирать присутствующих. Говоря о бедности, в которой она жила при императрице Анне Ивановне (добавим от себя, что понятие «бедности» применительно к цесаревне Елизавете весьма условно. - *Е.А.*), Елизавета сказала: «Хотя у меня было тогда не более тридцати тысяч дохода, на которые я содержала весь дом, тем не менее у меня не было долгов». При этом она бросила взгляд на меня. «У меня их не было, - продолжала она, - потому, что я боялась Бога и не хотела, чтобы моя душа пошла в ад, если бы я умерла, а долги мои остались бы не уплаченными». Тут вторично был брошен на меня взгляд». Императрица продолжала: «Правда, дома я одевалась очень просто, обыкновенно я носила юбку из черного гризета и кофту из белой тафты, в деревне я также не одевалась в дорогие материи». Тут она метнула на меня весьма гневными глазами - в этот день на мне была богатая кофта, я прекрасно поняла, что императрица страшно на меня злилась, я хранила молчание по примеру всех присутствующих и слушала почтительно и не смущаясь. Ее величество еще долго продолжала в том же духе, переходя от одного предмета на другой, задирая то одних, то других и возвращаясь к тому же припеву, который я должна была глотать».

И вот в этот момент, к своему вящему несчастью, в шатер вошел шут императрицы Аксаков. «Он держал в своей шапке ежа, она спросила, откуда он пришел, он ей ответил, что был на охоте и поймал редкостного зверя. Она захотела узнать, что это такое было и подошла к нему, чтобы посмотреть, что он держал в шапке, в эту минуту еж поднял голову. Ее величество страшно боялась мышей, а тут ей показалось, что голова ежа была похожа на голову мыши, она пронзительно вскрикнула и бросилась бежать со всех ног к палатке, которая служила ей спальней. Минуту спустя она прислала приказание убрать накрытый к обеду стол…»

Так закончился один из обедов государыни. Впрочем, Екатерина не знала продолжения истории с ежом. Аксаков был схвачен и доставлен в пыточную камеру Тайной канцелярии, где

его и допрашивали по принятым в политическом сыске вопросам: «Кто тебя это делать подучил?» и «Для чего это сделал?» Дальнейшая судьба шута неизвестна.

Страшен был гнев царицы, который она вымещала на приближенных. Ее прекрасные черты уродливо искажались, лицо наливалось пунцовой краской, глаза сверкали, и она начинала быстро и визгливо говорить, почти кричать. «Она меня основательно выбранила, - вспоминала Екатерина, - гневно и заносчиво… я ждала минуты, когда она начнет меня бить, по крайней мере я этого боялась: я знала, что она в гневе иногда била своих женщин, своих приближенных и даже своих кавалеров». Доставалось и мужу Екатерины, великому князю и наследнику престола Петру Федоровичу: «Но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу». В другой раз «она прямо прошла из большой в свою малую комнатную церковь. Там она показалась до такой степени раздраженной, что заставила дрожать от страха всех присутствующих… Императрица выбранила всех своих горничных, как старых, так и молодых, число которых было немалое и доходило, пожалуй, приблизительно до сорока, певчие и даже священник - все получили нагоняй». Позже Екатерина поняла, что спасти положение могла ритуальная, почему-то сильно успокаивающая государыню фраза: «Виноваты, матушка!» *(Екатерина, 1907, с.160-162, 186, 244, 498)*. Так обычно говорили провинившиеся дворовые девки своей помещице.

Сплетни, слухи об интимной жизни придворных были для Елизаветы всегда любимым развлечением. Ради них государыня оставляла всякие важные дела; она углублялась в разбирательство семейных скандалов, вела допросы об обстоятельствах супружеских измен, тайных адюльтерах. При этом она демонстрировала высокую требовательность к своим погрязшим в грехах дамам и кавалерам и была сторонницей сурового наказания прелюбодеев и прелюбодеек. Изучив такое «дело», Елизавета порой ограничивалась тем, что ругала грешника или грешницу, как это было с фрейлиной Чоглоковой, которую она публично обзывала «дурой, скотиной». Иным виновным проказникам она давала «оплеушину» и приказывала жить смирно. Но иногда она передавала дело в Тайную канцелярию. Так было с доносом жены отставного прапорщика князя Никиты Хованского, которая донесла, что «оной Хованской ей и дочери их говаривал, что когда вас возьмут во дворец, то вы там зблядуетесь и придворных дам называл блядями, да и вас-де во дворце всякому непотребству научат». Дело Хованского особо заинтересовало императрицу обилием самых непристойных

подробностей: «3 женою своею девятнадцать лет не жил, а содержал ее в самом крайнем притеснении и никуда из дому не выпущал, а сам жил со многими служанками своими, отлуча мужьев их в деревни, а девок сильно (то есть насильно. - *Е.А.*) растлевал» и т. д.

Государыня тщательно следила за ходом расследования. Хованский во всем отпирался и ссылался как на свидетельницу на свою жену. Когда же «ему сказано, что об оном о всем показывает на него жена ево, то он сказал, что на нее не шлетца, однако как оная ево жена в допросе и в очной ставке с ним ево, Хованского, во всем и что он ее бивал и с нею девятнадцать лет не жил, и содержал ее в великом притеснении уличала». Кроме того, следователи сообщили Елизавете, что «по осмотрению Тайной канцелярии девки и жонки, с коими он жил блудно, лутче одеты были, нежели оная жена ево и дочь. А сверх того жонки и девки в роспросах и в очных с ним ставках в чинении им с ними прелюбодейства и в растлении их сильно, а не добровольно, ево, Хованского, уличали».

Прочитав все это дело, а возможно, допросив участников его лично, императрица распорядилась - Хованского высечь плетью и посадить в монастырь, «где содержать его под караулом вечно, а движимым и недвижимым имением владеть жене и дочери» *(РГАДА, 7, 1, 2041, л.145 - 145об.)*. Это был суд не столько государыни, сколько справедливой и рачительной хозяйки.

Некоторыми чертами характера Елизавета очень напоминала своего отца - человека неуравновешенного, импульсивного и беспокойного. Эта милая красавица, всегда демонстрировавшая свое «природное матернее великодушие», писала начальнику Тайной канцелярии указы о допросах и пытках так отрывисто, сурово и по-деловому жестоко, как некогда писал свои указы шефу тайной полиции ее отец. При Елизавете Петровне в работе сыска не произошло никаких принципиальных изменений. В Тайной канцелярии, в отличие от других учреждений, не сменилось даже руководство. А. И. Ушаков - верный слуга так называемых «немецких временщиков» и «душитель патриотов», вроде Артемия Волынского, продолжал свою службу и при дочери Петра Великого. Более того, по наблюдению историка политического сыска послепетровского времени В. И. Веретенникова, «никогда - ни ранее, ни позже, - не стояла Тайная канцелярия так непосредственно близко к верховной власти» *(Веретенников, с.21-22)*. Ушаков сохранил право прямых личных докладов у новой императрицы, выслушивал и записывал ее решения, представлял ей экстракты и проекты приговоров.

Вот отрывок из подобного документа за 1745 год: «Невского

пехотного полку сержант Алексей Ярославов - в произношении непристойных слов и в брани Вашего императорского величества, також и генералов всех и с тем, кто их жаловал, и в брани ж всех, кто на свете есть, и в говорении, будто бы Дмитрий Шепелев хотел Ваше величество окормить, а Андрей Ушаков и Александр Румянцев хотели Ваше величество с престола свергнуть, чтобы быть по-прежнему на престоле принцу Иоанну, а Александр Бутурлин хотел Ваше величество срубить, и в кричании им, Ярославовым, неоднократно «Слова и дела». А в роспросе, також и в застенке, с подъему он, Ярославов, показал, что-де ничего не помнит, что был безмерно пьян и трезвой-де ни от кого о том не слыхал, и злого умыслу никакова за собою и за другими не показал, и об оном ево безмерном в то время пьянстве по свидетельству явилось». Предложение Тайной канцелярии состояло в следующем: «Хотя подлежателен был розыскам, а потом и жестокому наказанию кнутом, но, вместо того, за безмерным тогда ево пьянством и что он молод - гонять шпицрутен и написать в салдаты». Государыня с проектом приговора согласилась *(РГАДА, 7, 1, 5, ч.2, л.36)*.

Особенно пристрастно императрица занималась делом Лопухиных. Кроме общего стремления обвинить Лопухиных в государственной измене, на материалах следствия лежит отпечаток личных антипатий Елизаветы Петровны к тем светским дамам, которых на эшафот привели их длинные языки. Одной из них и явилась Наталья Лопухина, пытавшаяся конкурировать с императрицей в бальных туалетах. Кроме того, Елизавета, в 1743 году бывшая еще самодержицей начинающей, может быть, впервые узнала из следственных бумаг Тайной канцелярии о том, что о ней болтают в гостиных Петербурга, и эти сведения, полученные нередко под пытками, оказались особенно болезненны для самовлюбленной, хотя и не злой императрицы.

Императрица не только выслушивала доносчиков, распоряжалась об арестах и отвозе арестантов в Петропавловскую крепость, но и участвовала в расследовании дела, хотя формально им занималась Следственная комиссия, состоявшая из И. Г. Лестока, князя Н. Ю. Трубецкого и А. И. Ушакова. Прямо из Следственной комиссии протоколы допросов отвозили к императрице, которая их читала и давала, через Лестока или Ушакова, новые указания о сыскном «изучении» тех или иных эпизодов дела. По распоряжению императрицы и составленным ею же вопросам 29 июня 1743 года привели в застенок и пытали Ивана Лопухина, допрашивали там же беременную Софью Лилиенфельд *(Семевский, 1874, с.11, 38)*.

По этому делу Елизавета сама никого не допрашивала, но

сохранились сведения, что по другим, подобным ему делам такие допросы она вела. В 1745 году из экстракта Тайной канцелярии Елизавета узнала, что двое дворян восхищаются правлением Анны Леопольдовны и ругают ее - правящую императрицу. Оба преступника были доставлены к допросу у самой императрицы. Затем императрица Елизавета уже с участием Ушакова и А. И. Шувалова вновь допрашивала доносчика по этому делу и даже делала какие-то записи по допросу *(Веретенников, с.24)*. В роли следователя выступила Елизавета Петровна и в 1746 году, когда допрашивала княжну Ирину Долгорукую, обвиненную в отступничестве от православия. Императрица, недовольная ответами Долгорукой, распорядилась, чтобы Синод с ней «не слабо поступал» *(Шаховской, с.287)*. В 1758 году, когда вскрылся заговор с участием А.П.Бестужева-Рюмина и великой княгини Екатерины Алексеевны, императрица лично расспрашивала о деле жену наследника престола великую княгиню.

Елизавета Петровна отличалась совершенно отцовской нетерпеливостью и нервной подвижностью. Как и Петр, она пела в церковном хоре потому, что не могла выдержать долгого стояния во время церковной службы. Известно, что она постоянно переходила с места на место в церкви и даже покидала храм совсем, не в силах вытерпеть до конца литургии. Как и отец, Елизавета была легка на подъем и любила подолгу путешествовать. Особенно нравилась ей быстрая зимняя езда в удобном экипаже с подогревом и ночным судном. Путь от Петербурга до Москвы (715 верст) она пролетала по тем временам необычайно быстро - за 48 часов. Это достигалось за счет частых подстав свежих лошадей, которые следовали через каждые 20-30 верст на гладкой зимней дороге. Кажется, что большая часть этих поездок была лишена смысла, не говоря уже о государственной надобности. Это было просто перемещение в пространстве под влиянием каприза, безотчетного желания смены впечатлений.

Рассказывая о Елизавете, автор вовсе не хочет создать образ этакой злодейки под маской ангела. Нет, это не так. Елизавета не была глубокой, рефлектирующей натурой - ей хватало собственного отражения в зеркалах, ее не мучили величественные страсти, ею в жизни, как и в пути, двигал каприз. Она была вполне естественна во всех проявлениях этого каприза: чаще весела, чем мрачна, более добра, чем зла. Иногда ее видели задумчивой и серьезной, иногда гневной, но и отходчивой. Характер Елизаветы не был отшлифован воспитанием.

Французский посланник Кампредон, советуя в 1721 году своему правительству пригласить 13-летнюю Елизавету во

Францию в качестве невесты Людовика XV, писал, что ей недостает правильного воспитания, однако «со свойственной ей гибкостью характера, эта молодая девушка применится к нравам и обычаям той страны, которая сделается вторым ее отечеством». Но этого не произошло. Дичок не был вовремя привит и рос, как ему подсказывала природа. Знать Петербурга недолюбливала императрицу, считала ее простолюдинкой, истинной дочерью лифляндской портомби. И хотя аристократизм самих русских вельмож середины XVIII века вызывает сильные сомнения, даже на этом фоне «простонародные» повадки Елизаветы казались шокирующими. Французский дипломат Далион в донесении писал, что «недавно видели, как отправилась она в Петергоф и в коляске у нее сидели женщины, про которых известно, что полтора года назад они мыли у нее полы во дворце». Из других источников известно, что среди окружения государыни бывало немало людей «подлого звания» и на ее закрытых ночных обедах за столом сидели горничные и лакеи.

В деле Лопухиных имеется много упоминаний об особой «простоте» государыни. Иван Лопухин говорил своему собутыльнику, оказавшемуся доносчиком: «Наша знать ее вообще не любит, она же все простому народу благоволит для того, что живет просто… любит английское пиво, непорядочно, просто живет, всюду и непрестанно ездит и бегает». Никак не могли простить подданные из высшего света, гордившиеся своими предками, ее происхождения: «Ее величество до вступления родителей в брак за три года родилась». Далион, заключая рассказ о поездках императрицы с бывшими поломойками, пишет: «По-видимому… эта государыня вовсе не думает о том, чтобы подданные уважали ее» *(Семевский, 1874, с.6, 8, 22; Далион, с.164)*.

Действительно, Елизавета многое делала необдуманно, в силу каприза, своего хотения. Это не было «педагогическое» поведение ее отца, который своим примером хотел показать подданным, как следует трудиться, отдыхать, служить Отечеству. У Елизаветы были другие цели - удовольствие, удобство, поиск новых впечатлений, так что ее совсем не волновало, что об этом думают подданные. Она ничего не стремилась доказать или показать: ей было так веселее, удобнее, вкуснее. «Я стоял (на часах в путевом дворце. - *Е.А.*) при входе, - вспоминал анонимный автор мемуаров о времени Елизаветы Петровны, - когда императрица, направляясь в комнату, сказала своему гофмаршалу Шепелеву, что не пора ли выпить водки и с редькою. Заметив, что гофмаршал затруднялся, где последнюю добыть, я предложил ему собственную, необыкновенной величины. Так как господин

Шепелев меня хорошо знал, то и согласился принять мое подношение, предложив мне самому поднести редьку Ее величеству. Елизавета Петровна, при виде редьки, покраснела, но дала мне поцеловать руку и спросила о моем имени, отчестве и чине. Ответив на все вопросы, я возымел надежду сделаться по крайней мере ротным командиром, вместо того ее величество только приказала своему гофмаршалу дать мне рюмку водки и сто рублей» *(Превратности судьбы, с.501)*.

Несомненно, привычку пить водку с редькой, как и способность принять столь необычный дар от дежурного офицера, государыня усвоила в семье Петра и Екатерины - родители ее отличались простотой нравов: отец - по убеждению, мать - по воспитанию, точнее по отсутствию такового. Ставшая знаменитой благодаря художественной литературе привычка Елизаветы Петровны засыпать под неторопливый рассказ сказочницы, которая при этом почесывала государыне пятки, явно пришла к ней из детства от нянек, да так и осталась на всю жизнь. Конечно, если бы Елизавета все-таки стала французской королевой, то в Версале вряд ли нашлось бы место чесальщицам пяток. Иначе в России - говорливых, чистых и аккуратных баб-сказочниц - так называемых бахарок - разыскивали везде и подчас брали их прямо с базара. Перед тем как ввести бахарку в опочивальню государыни, ее предупреждали, чтобы под страхом смерти она молчала обо всем, что там увидит и услышит.

Что бывало потом, рассказывает Иван Снегирев, слышавший этот рассказ от стремянного Елизаветы Петровны Извольского: «Они сиживали у ее постели и рассказывали всякую всячину, что видели и слышали в народе. Императрица, чтобы дать им свободу говорить между собою, иногда притворялась спящею; не укрылось это от сметливых баб и от придворных, последние подкупали первых, чтобы они, пользуясь мнимым сном императрицы, хвалили или хулили кого им надобно в своих шушуканиях между собою» *(Снегирев, с.518-519)*. Эту легенду я привожу здесь потому, что и ситуация, и поведение Елизаветы кажутся правдоподобными, весьма характерными для нее.

Простота поведения помогла Елизавете в те времена, когда она подбиралась к власти. Гвардейские солдаты любили свою куму, которая не сторонилась их, была с ними добра и всегда доступна для просьб и жалоб. А это всегда приносит правителю популярность среди простых людей. Впрочем, как и ее великий отец - мастер Питер - Елизавета не раз демонстрировала своим поведением ту банальную истину, что простота и демократизм правителя в быту еще не означают демократизма его правления.

Государыня любила поесть и знала в еде толк, хотя зачастую

не соблюдала меры. Об этом говорят как меню ее обедов, так и ее частые страдания от запоров или несварения желудка. Елизавета обожала сласти, и ее правление стало настоящим «веком конфект», от которых ломились столы во дворце. Сласти готовили самые лучшие кондитеры, выписанные из Франции и Италии. В конце жизни царицы врачам приходилось запрятывать лекарства в конфекты и мармелады - эта пятидесятилетняя женщина, как капризная девочка, не любила горького, но не могла жить без сладкого. Гаврила Извольский говорил, что государыня заезжала к нему и кушать изволила «любимую свою яишницу-верещагу, блины, домашнюю наливочку, бархатное пивцо и янтарный медок» *(Снегирев, с.516)*. Современные диетологи полагают, что такая сказочная еда мало способствует здоровью, и неумеренность в пище стала одной из причин болезни и смерти государыни.

В начале 1762 года датский посланник Гастгаузен писал, что вскрытие тела умершей государыни «показало великолепный организм, погубленный неправильном образом жизни», и если бы она ела поменьше, двигалась побольше, то «дожила бы до 80-ти лет». Сведения датчанина подтверждаются официальным манифестом о кончине Елизаветы. В нем сказано о «крепком сложении тела», «благополучной конституции». Короче говоря, у Елизаветы были все возможности умереть здоровой, но она этим не воспользовалась *(Гастгаузен, с.277)*. Подобному чревоугодию способствовала близость с Алексеем Разумовским. С усилением «малороссийской партии» при дворе и без того обильная и жирная кухня цесаревны украсилась превосходными украинскими блюдами.

Здесь нет ошибки - именно по ночам императрица садилась обедать. Она превращала день в ночь и наоборот. За все свое двадцатилетнее царствование Елизавета, вероятно, ни на одну ночь не сомкнула глаз. Она вообще по ночам не спала! Ее ювелир Позье писал в мемуарах: «Она никогда не ложилась спать ранее шести часов утра и спала до полудня и позже, вследствие этого Елизавета ночью посылала за мною и задавала мне какую-нибудь работу, какую найдет ее фантазия. И мне иногда приходилось оставаться всю ночь и дожидаться, пока она вспомнит, что требовала меня. Иногда мне случалось возвратиться домой и минуту спустя быть снова потребованным к ней: она часто сердилась, что я не дождался ее» *(Позье, с.29-30)*. Из письма Лестока князю Кантемиру из Москвы от 26 июня 1742 года мы видим, что даже богомольный поход в Троицкую лавру государыня совершала не в обычное для паломников время: «Ее величество отбыли нынешней ночью пешком на богомолье к

Троице и я сию минуту еду отсюда с маркизом де ла Шетарди, дабы после полудня найти Ее величество за 15 верст отсюда, так как она шествует лишь по ночам» *(Письмо Лестока, с.480)*.

Екатерина вспоминала: «Кроме воскресений и праздников она не выходила из своих внутренних апартаментов и большею частью спала в эти часы или считалось, что спит; ночь она проводила без сна с теми, кто был допущен в ее интимный круг, она ужинала иногда в два часа по полуночи, ложилась после восхода солнца, обедала около пяти или шести часов вечера и отдыхала после обеда час или два, между тем как нас с великим князем заставляли вести самый правильный образ жизни: мы обедали ровно в полдень и ужинали в восемь часов».

Такого же режима придерживались и придворные. Но так как «никто никогда не знал часа, когда Ее императорскому величеству угодно будет обедать или ужинать и часто случалось, что… придворные, проиграв в карты (единственное развлечение) до двух часов ночи, ложились спать и только что они успевали заснуть, как их будили для того, чтобы они присутствовали на ужине Ее величества, они являлись туда и так как она сидела за столом очень долго, а все они, усталые и полусонные, не говорили ни слова, то императрица сердилась» *(Екатерина, 1907, с.66)*.

Было бы ошибкой видеть в бодрствовании царицы лишь проявление того особого психологического типа, которое называется ныне «совой». Ночные бдения государыни стали следствием не только необычной, полуночной жизни на балах и маскарадах, когда, подобно пришедшей после трудного спектакля актрисе, она долго не могла успокоиться и уснуть. У государыни была еще одна причина для бессоницы. Речь идет о… страхе, страхе ночного переворота. Поручик гвардии Зимнинский говорил своему товарищу про государыню, что она «всегда в трусости находитца»; например, при перевозке беседки из сада Левенвольде сделался шум и «государыня подумала: не бунт ли?» *(РГАДА, 7, 1, 5, ч.2, л.66)*. О страхах государыни свидетельствуют и другие источники.

Были ли у Елизаветы основания для этого страха? Можно достаточно уверенно сказать, что были. Как уже сказано, вскоре после вступления Елизаветы на престол люди Тайной канцелярии арестовали камер-лакея императрицы Турчанинова и двоих его приятелей-гвардейцев. Из следственного дела Турчанинова и его сообщников - прапорщика Преображенского полка Петра Квашнина и сержанта Измайловского полка Ивана Сновидова - видно, что налицо были «скоп и заговор» с целью свержения и убийства императрицы Елизаветы Петровны. В кругу

заговорщиков подробно обсуждалось, как «собрать партию» для совершения переворота, причем совершить предполагаемое убийство государыни и наследника намеревались «ночным временем».

Только случай позволил раскрыть заговор Турчанинова. Традиция связывает с этим делом привычку императрицы Елизаветы Петровны не спать по ночам, чтобы не дать себя зарезать так, как предлагал устроить своим сообщникам ее камер-лакей. Думаю, что Елизавета была серьезно напугана и руки ее дрожали, когда она читала то зловещее место из протокола допроса Петра Квашнина, где сказано, что после первой, неудачной, попытки покушения заговорщики рассуждали: «Что прошло, тому так и быть, а впредь то дело не уйдет и нами ль или не нами, только оное исполнится». Зная, как стоят на постах ее лейб-компанцы (об этом будет рассказано ниже), императрица могла рассчитывать только на широкую спину Алеши Разумовского, да на свою природную лисью хитрость, чтобы не дать себя застать врасплох. У нее был какой-то особый, обостренный инстинкт самосохранения. Именно поэтому императрицу можно было легко напугать, точнее спугнуть.

Во время путешествия по Эстляндии ей стало известно, что ходит слух о подготовке покушения на нее. В тот же день она покинула Ревель. Большой переполох в окружении императрицы вызвал ружейный мастер Яган Гут, который подарил в 1749 году Елизавете Петровне ружье «из коего стреляют ветром», то есть пневматическое. Государыня указала допросить его и «по допросе взять, под лишением живота, обязательство, чтоб ему впредь таких запретительных ружей в России не делать» *(Журнал, с.91)*. Подлинную панику в 1758 году вызвали сообщения из Дрездена о намерениях каких-то злодеев отравить Елизавету. Всю переписку по этому поводу сразу же приносили государыне, и врачи срочно, на всякий случай, разрабатывали для нее противоядия *(АВ, 4, с.684-698)*.

Елизавета с первого взгляда замечала все, что казалось ей подозрительным, и тотчас приказывала выяснить, расследовать, устранить. «Ее императорское величество усмотреть соизволила, что к покоям Ее императорского величества приставлена была лестница, а по осмотру явилось, что та лестница приставлена была для поправления жолоба, чего ради отнюдь во дворце к покоям лестниц без докладу дежурных господ генерал-адъютантов ни для чего не приставливать» - таким записали в начале 1751 года именной указ Елизаветы *(Журнал, с.232)*. Подданным категорически запрещалось выходить в сад под окна царских покоев, находиться под террасой, на которую выходила

императрица. Страх за свою жизнь был платой за каприз властвовать. Любопытно, что, стремясь обмануть своих врагов, она не пряталась, как ее внук Павел, в неприступный (как тому ошибочно казалось) Михайловский замок. Боясь западни, как зверь, запутывающий следы, императрица постоянно меняла время и даже место своего ночлега.

Современники замечали, что императрица могла поздно вечером внезапно уехать из дворца, чтобы ночевать в каком-то другом, неизвестном окружающим месте. И в этом случае мы можем почти наверняка сказать: это уже не страсть к перемене мест, а страх гнал из дворца, на ночь глядя, веселую императрицу. Ее неуловимость становилась большой проблемой для государственных деятелей с их «скучными» докладами, а также для многочисленных доносчиков. Екатерина II писала в мемуарах, что их семью окружала толпа доносчиков, готовых выслужиться перед государыней и «единственной уздой, сдерживавшей всех этих доносчиков, которые, скажу между прочим, были таковыми из лести, была трудность для них часто видеть Ее величество» *(Екатерина, 1907, с.149)*.

Получалось так, что, живя во дворце, придворные могли неделями не видеть государыню, которая не выходила из своих покоев и никого не приглашала. Только шепотом, с помощью взятки, можно было разузнать у прислуги, что с государыней и где она находится. Но и здесь следовало соблюдать осторожность - болезни и недомогания самодержицы тщательно скрывались от придворных, а излишний интерес к здоровью государыни с неизбежностью приводил любопытствующего в Тайную канцелярию, где уже у него начинали подробно расспрашивать, с чего он так интересуется высочайшим здравием, не хочет ли ему повредить и кто научил его выспрашивать о сем?

Более того, никто наверняка не мог сказать, в каком покое спит в данный момент государыня. Ни в одном дворце она никогда не имела постоянной спальни. Даже в любимом ею Царскосельском дворце не было особого помещения, где стояла бы кровать императрицы. Прекрасный знаток Екатерининского дворца в Царском Селе А. Н. Бенуа писал по этому поводу: «Ни одна из просмотренных нами описей не выясняет с безусловной достоверностью, где была расположена опочивальная императрицы… Один из документов даже ясно указывает на то, что Елизавета не всегда останавливалась в одном и том же месте, и это нам станет понятно, если мы еще раз вспомним об ее страхе перед ночным переворотом» *(Бенуа, с.141)*.

По-видимому, со страхами Елизаветы была связана ее подлинная страсть к перестройкам и изменению интерьера своих

многочисленных и роскошных жилищ. Екатерина II, несколько преувеличивая, но все-таки отражая действительность, писала, что императрица «не выходила никогда из своих покоев на прогулку или в спектакль, без того, чтобы в них не произвести какой-нибудь перемены, хотя бы только перенести ее кровать с одного места комнаты на другое или из одной комнаты в другую, ибо она редко спала два дня подряд на том же месте; или же снимали перегородку, либо ставили новую; двери точно так же постоянно меняли места» *(Екатерина, 1907, с.144-145)*.

Кроме того, из дел Тайной канцелярии известно, что, приказывая передвинуть кровать или вынести ее в другую палату, внезапно переезжая ночевать из одного дворца в другой, императрица - женщина суеверная - боялась не только переворота, но также и порчи, колдовства, особенно после того, как однажды под ее кроватью нашли лягушачью кость, обернутую волосом - явные признаки работы колдуна, хотевшего испортить государыню.

Несомненно, Елизавета была религиозна, она с трепетом относилась к православным святыням. Она не только пела в церковном хоре, но хорошо знала церковную службу, хранила у себя различные мощи и часто обращала к иконам свои молитвы. В отличие от своего отца, прославившегося разоблачением чудес, Елизавета была убеждена в их существовании. Как вспоминает Екатерина II, Елизавета Петровна «с большой набожностью… рассказывала, что некогда шведы осадили… Тихвинский монастырь, но что небесный огонь прогнал их и что они побросали даже свою посуду». В Тихвин, на поклонение Тихвинской Божией матери императрица совершала пешее паломничество.

Это любопытная сторона жизни Елизаветы. После долгого перерыва она восстановила традицию своего деда - царя Алексея Михайловича - ходить на богомолье от Москвы до Троице-Сергиева монастыря. Длинные (на неделю) семидесятиверстные летние походы босых русских богомольцев к обители Сергия Радонежского были тяжелы и благостны одновременно. Это были походы очищения, душевной подготовки к исповеди и искренней молитве в первейшей святыне Московской Руси. На дороге в Троицу, вдали от своих суетных, пожиравших душу дел, паломник преображался. Днем на пыльном тракте или в поле, на ночлеге, в стогу, под огромным черным небом он оставался один на один со своими мыслями, думал о прожитом, вел пристойные разговоры с такими же, как он, усталыми паломниками. Не каждому такой поход удавался. Как писал А. И. Куприн о купцах XIX века: «Идут-идут, а через пятнадцать дней оказываются у Яра. Нечистый не

дает!» Точно так же, как и императрице Елизавете!

По традиции своих предков, выехав за последнюю заставу Москвы, она выходила из кареты и шла к Троице. Но что это была за паломница и что это были за паломничества! Вряд ли стоит говорить, что и при Елизавете свято соблюдалась русская традиция накануне визита высокого гостя прибрать и отремонтировать все, на что может упасть его державный взор. Срочно ровняли ямы и выбоины, чинили мосты, городили заборы, за которыми прятались руины.

20 августа 1749 года генерал-адъютант императрицы сообщал московскому губернатору о намерении государыни посетить Воробьевы горы и Воскресенский монастырь и что «оттудо возвратно шествие иметь благоволила в ночи, а так как ночи темные, дороги не мостовые, каменистые и неровные и потому не без опасности обстоит во время шествия Ея императорского величества», того ради требовалось скорейше исправить дорогу, «косогоры сравнять и мосты худые вновь стелить или починить». Оказалось, что «в овраге чрез ручей мост не только при шествии Ея императорского величества, но и для партикулярных езд, вовсе негоден» *(Журнал, с.172)*. Так что дорога, по которой хаживала на Троицу царица, была исправлена, починена, и все движение по ней на это время прерывалось, а солдаты в шею гнали с дороги всех настоящих паломников и тех, кто ехал на телегах и верхом по своим делам. Елизавета Петровна двигалась в окружении блестящей свиты, любимцев и кавалеров. В 1728 году цесаревну сопровождал ее тогдашний любовник Александр Бутурлин, а став императрицей, она брала с собой Разумовского. Обычно Елизавета Петровна, наслаждаясь природой и приятным разговором с приближенными, проходила в день 5-10 километров.

Устав от паломнических трудов, государыня требовала отдыха. По взмаху изящной ручки придворный обер-квартирмейстер приводил в действие всю мощь двигавшегося сзади обоза. Так, по велению царь-девицы в чистом поле возникали станы, «уметы», сказочные шатры, где были все мыслимые в то время удобства и развлечения. Начинался обед, при тостах палили пушки, шло веселье. Несколько дней царица отдыхала, развлекалась верховой ездой, охотой, а потом вновь выходила на Троицкую дорогу и двигалась по ней в той же великолепной и приятной компании дальше.

Иногда она вообще садилась в карету и возвращалась отдыхать в Москву, в один из своих подмосковных дворцов, посещала балы, смотрела, как в ее присутствии кадеты «в вольтажировании экзерцировались, також и на лапирах бились».

О движении и остановках во время паломничества государыни делались записи в журнале путешествия примерно такого содержания: в 9 часов государыня вышла к Троице из Мытищ, прошла четыре версты пешком до Малых Мытищ и «возвратно» в карете вернулась *(Журнал, с.158-159)*.

Спустя неделю-другую императрица приезжала на то место, до которого дошла накануне, и снова шла по дороге до следующего стана. Такие походы на богомолье могли продолжаться неделями и месяцами. И не надо обвинять богобоязненную царицу в ханжестве и лицемерии - она искренне верила в Бога, но идти в Троицу таким образом ей было удобнее, таков был ее каприз.

Государыня известна как женщина если не образованная, то грамотная. Она бегло говорила по-французски, знала по-шведски и по-немецки. Есть свидетельства, что она читала французские книжки. В те времена французская литература с ее романами о пастухах и пастушках была главной утехой книгочеев - ведь отечественная литература только что нарождалась, и книг на русском, которые можно было не изучать, а читать, лежа на боку, почти не было. У Елизаветы Петровны собралась библиотека. Книги из собрания императрицы хранились в фондах Библиотеки Академии наук. После страшного пожара 1988 года в сгоревшем хранилище, в черной груде обугленных книг, пепла и мокрой грязи, автор этих строк подобрал обложку от одной из них. Некогда изящный свиной переплет не выдержал натиска огня, воды и пара и сварился - сжался и скрючился. Но золотой вензель императрицы и двуглавый орел под ним все же сохранились и нарядно сияли среди этого леденящего душу книжного Чернобыля. Возможно, что когда-то эту книгу держала в руках государыня. Некий любознательный современник, видевший императрицу во время ее поездки по Эстляндии в 1746 году, вспоминает, что он подошел к карете государыни так близко, что рассмотрел лежавшую в ней книгу на французском. Трудно представить, чтобы Алексей Разумовский, ехавший с Елизаветой в той же карете, открывал книгу, да еще иностранную. Читала ее, очевидно, Елизавета *(см. Чумыкин)*.

Грамоте Елизавета была обучена еще в детстве, и в истории сохранился устойчивый (хотя и непроверенный) слух о том, что она все время расписывалась за свою неграмотную мать - императрицу Екатерину I. Из части публикаций документов, к которым прикасалась рука государыни, нам известно, что Елизавета писала с ошибками: «зафтре», «трох тысечь», «снаешь» (в смысле - знаешь) *(Императрица Елизавета, с.55-58)*. Но в те времена неустоявшихся норм русского языка так писали и люди

вполне образованные.

Воспроизводимый же в иллюстрации текст, написанный рукой государыни, вполне грамотен (знаки препинания - современные): «Друг мой, Михаила Ларивонович! За писание ваше благодарствую, и без ласкательства, но изтинно с радостию оные, как от вас, так и от дражайшей сватишки моей Анне Карловне получа, оными радовалася и желаю всем сердцем, чтоб как туда, так и возвращаю щи во всяком благополучии вас видеть…» и т.д. Короче - Елизавета была значительно грамотнее своего великого отца, которой и так писать не мог. Она была явно человеком способным, и один из дипломатов в 1727 году с удивлением писал: «Она… владеет многими языками, как-то: русским, шведским, немецким и французским, и это тем удивительнее, что в детстве была окружена дурными людьми, которые ее почти ничему не учили» *(Тайные известия, с.384)*.

Формально участие императрицы в управлении было значительным - количество именных указов, в сравнении с аннинским временем, увеличилось. Но вскоре стало ясно: у Елизаветы нет ни сил, ни способностей одолеть этот Монблан сложнейших государственных дел. Если не находилось подходящего к делу петровского указа, если требовалась законодательная инициатива, законотворчество, то императрица откладывала дело и оно могло лежать месяцами нерассмотренным. Сказалось то, что дочь Петра не имела никакой подготовки к сложной государственной работе, что по характеру и интересам ей был чужд и непонятен тяжелый и утомительный труд государственного деятеля. Несомненно, у Елизаветы было немало добрых побуждений, искреннего желания показать народу «матернюю милость», но она не знала, как это сделать, да и некогда ей было - столько предстояло перемерить платьев, посетить спектаклей и празднеств.

И поэтому она многое передоверяла своим министрам, хотя и тем добраться до царицы ради одной необходимейшей подписи под документом было весьма нелегко. В 1755 году вице-канцлер М. И. Воронцов подобострастнейше писал фавориту Елизаветы Ивану Шувалову: «Я ласкал себя надеждою, что прежде отъезда двора в Царское Село получить чрез ваше превосходительство высочайшее повеление по известному делу г.Дукласа, а ныне отнюдь не смею утруждать напоминанием, крайне опасаясь прогневить Ее величество и тем приключить какое-либо препятствие в забавах в толь веселом и любимом месте, надеясь однако ж, что при свободном часу вспамятовано будет». Вся проблема состояла, как видим, в том, чтобы «при удобном случае государыне к подписанию поднести». Но это было непросто -

достаточно посмотреть расписание занятий царицы: непрерывные маскарады, прогулки, обеды, концерты, спектакли и - наконец - отдых от этих «трудов».

Вся неделя императрицы была расписана между концертами, театром, балами и маскарадами. Указом 10 сентября 1749 года императрица внесла «систему» в свои развлечения: «Отныне впредь при дворе каждой недели после полудня быть музыке; по понедельникам - танцевальной, по средам - итальянской, а по вторникам и в пятницу, по прежнему указу, быть комедиям». В камер-фурьерском журнале за 1751 год можно увидеть как начался для государыни год:

1-е января - празднование Нового года;

2-е - маскарад;

3-е - в гостях у А. Б. Бутурлина;

5-е - празднование сочельника;

6-е - празднование водосвятия, парад, представление французской трагедии «Алзир»;

7-е - представление французской комедии «Жуор»;

8-е - маскарад при дворе;

9-е - гуляние по улицам в карете, в гостях у П. С. Сумарокова;

13-е - литургия, куртаг;

15-е - бал при дворе, новые танцы;

18-е - публичный маскарад;

20-е - куртаг, представление французской комедии;

22-е - придворный маскарад;

24-е - представление русской трагедии;

25-е - представление французской комедии;

28-29-е - свадьба придворных.

Примерно так же проводила время императрица в другие месяцы 1751 года, как и многих других лет своего 20-летнего царствования. Нет сомнения, меломания императрицы самым благотворным образом сказалась на развитии русского оперного, вокального, драматического, балетного, оркестрового, скрипичного и иных искусств - об этом пойдет речь чуть ниже. Но это благотворное воздействие не относилось к сфере дел государственных.

Впрочем, ситуация в России времен императрицы Елизаветы Петровны никогда не становилась драматической или взрывоопасной. Государственная бюрократическая машина, некогда запущенная рукою Петра Великого, ритмично продолжала свою монотонную работу. Эта машина - в силу своих «вечных» бюрократических принципов - была жизнеспособна и плодовита, несмотря на то, что ее создатель умер, а у власти, сменяя друг друга, находились посредственности, если не сказать

- ничтожества. Кроме того, в окружении Елизаветы были не только наперсники ее развлечений, но и вполне достойные люди, которые знали дело - будь то чиновники, дипломаты или военные, моряки, инженеры.

Все современники, как один, говорят о Елизавете Петровне как о человеке нерешительном, колеблющемся. Это так, но в этом наблюдении - только часть правды. Другую нужно искать в ее собственных признаниях австрийскому посланнику при русском дворе графу Эстергази по поводу войны с Пруссией: «Я не скоро решаюсь на что-нибудь, но если я уже раз решилась, то не изменю своего решения. Я буду вместе с союзниками продолжать войну, если даже я принуждена была продать половину моих платьев и бриллиантов» *(АВ, 3, с.205)*. Последнее заявление, которое для таких женщин, как Елизавета, - совсем не шутка, позволяет убедиться, что сказанное ею - чистая правда. Характер государыни был именно таким, как она и говорила. Да и другие поступки Елизаветы подтверждают это. Достаточно вспомнить читателю, как смогла изнеженная красавица, капризная и пугливая, решиться 25 ноября 1741 года на переворот - такое опасное дело, с непредсказуемым, возможно, кровавым исходом. Конечно, за этим стояла решимость, та внутренняя «стальная пружинка», которой природа наделила Елизавету.

И еще. Во всем, что делала Елизавета - государыня, императрица, был некий, порой скрытый от постороннего взгляда главный, основополагающий принцип. Несмотря на почти полную отстраненность от государственных дел, Елизавета оставалась самодержицей - абсолютной монархиней и ни за чем так ревниво она не следила, как за тем, чтобы никто не посмел посягнуть на эту власть и царствовать над ней.

Действительно, она осталась до конца неискушенным в политике человеком, но это не означало, что Елизавета была при этом простодушной и доверчивой. Опасение за свою власть, подозрительность к малейшей угрозе, откуда бы она ни исходила, оставались для нее важнейшим критерием отношения к людям, ее окружавшим. Фавье, знавший Елизавету в последние годы ее жизни, довольно точно подметил: «Сквозь ее доброту и гуманность в ней нередко просвечивает гордость, высокомерие, иногда даже жестокость, но более всего подозрительность. В высшей степени ревнивая к своему величию и верховной власти, она легко пугается всего, что может ей угрожать уменьшением или разделом этой власти. Она не раз выказывала по этому случаю чрезвычайную щекотливость. Зато императрица Елизавета вполне владеет искусством притворяться. Тайные изгибы ее сердца часто остаются недоступными даже для самых старых и

опытных придворных, с которыми она никогда не бывает так милостива, как в минуту, когда решает их опалу. Она ни под каким видом не позволяет управлять собой одному какому-либо лицу, министру или фавориту, но всегда показывает, будто делит между ними свои милости и свое мнимое доверие» *(Фавье, с.385)*.

И тогда даже годы, проведенные рядом с ней, уже не спасали приближенного от подозрений, холодности государыни или даже опалы. История двух ее близких сподвижников - Михаила Воронцова и Иоганна Германа Лестока - яркое тому свидетельство. Оба были героями революции 25 ноября. Воронцов был женат на близкой родственнице государыни Анне Скавронской, искренне предан Елизавете Петровне и честно ей служил. Но в 1744 году чета Воронцовых, путешествуя по Европе, заехала в Берлин, и даже это протокольное пребывание в логове «Ирода» - так называла Елизавета прусского короля, оказалось роковым для Воронцова. К тому же гнев государыни против Воронцова умело усилил не любивший его канцлер Бестужев. Воронцовы благополучно вернулись в Россию, были полны впечатлений, но Елизавета не спешила допускать их к себе. Они разом почувствовали, как все вокруг переменилось - солнце самодержавной милости для них зашло! И еще долгие годы страдал верный раб Михайло от холодности государыни.

История падения Лестока еще драматичнее. Как писала знавшая его мать Екатерины II княгиня Анна-Елизавета, Лесток был человеком, преданным еще Екатерине I, да и цесаревна родилась, можно сказать, на его руках, и вообще «он был единственным близким к Елизавете лицом. Нередко я намекала вам, какие тому причины. Тут замешалась физика…» *(Анна-Елизавета, с.464)*. Народ говорил без экивоков: «А что она не родит, то лекарь Лешток от того лечит, и она, государыня, не родит и за то же из последних лекарей в главные произведен и в ее милости содержится и что почти все при дворе это знают» (Из дела капрала Ивана Айгустова в Тайной канцелярии. - *РГАДА, 7, 1, 5, ч.2, л.55 об.)*.

И вот такой близкий императрице человек оказался в Тайной канцелярии, был подвешен на дыбу, а потом маялся полтора десятилетия в северной ссылке. А причина проста - он посягнул на власть государыни, попытался, на правах приятеля, диктовать ей выгодную ему линию политического поведения. Этого Елизавета не стерпела, и более никогда Лесток не появлялся перед ней. То же самое произошло в 1758 году с канцлером Алексеем Бестужевым, который и устроил опалу Шетарди, Воронцова и Лестока. Как только Елизавете стало известно об участии преданного ранее канцлера в заговоре против ее власти,

он был смещен, арестован, судим и сослан в деревню. Одним словом, очаровательная императрица крепко держала скипетр в своей изящной ручке.

ГЛАВА 6
БЕСТУЖЕВСКИЕ КАПЛИ ДЛЯ «ИРОДА»

Как мы помним, главной внешнеполитической проблемой, с которой столкнулась вступившая на престол Елизавета, была русско-шведская война. Покончить с ней миром сразу не удалось. Эта война была тягостна для новой императрицы, ибо она понимала, что стоит на пороге событий гораздо более важных, чем спор со Швецией за пустынную Финляндию. Действительно, в дипломатической жизни Европы того времени происходили головокружительные перемены. В конце 1730 - начале 1740-х годов разом сменились правители нескольких стран - умерли государи в Австрии, России, Пруссии и Швеции.

Октябрьской ночью 1740 года в Летнем дворце императрицы Анны Ивановны были замечены странные явления, которые повергли современников в страх. Дежурный гвардейский офицер, несший караул, вдруг увидел в темноте тронного зала фигуру в белом, чрезвычайно похожую на императрицу. Она бродила по залу и не откликалась на обращенные к ней слова. Бдительному стражу это показалось подозрительным - он знал, что императрица давно уже ушла почивать. Это подтвердил и поднятый офицером герцог Бирон. Фигура между тем не исчезала, несмотря на поднятый шум. Наконец, разбудили Анну, которая вышла посмотреть на своего двойника. «Это моя смерть», - сказала государыня императрица и ушла к себе. И смерть, действительно, вскоре пришла за ней. 17 октября 1740 года, прожив 47 лет, Анна умерла.

Примерно в те же дни призрак белой дамы появился и в резиденции императоров Священной Римской империи германской нации, в венском дворце Хофбург. Его видели многие из придворных императора Карла VI, который, откушав шампиньонов, умер 20 октября. Неизвестно, появлялась ли белая дама в Потсдаме, но и там вскоре был объявлен глубокий траур - Пруссия лишилась своего короля Фридриха-Вильгельма I.

Смерть прусского короля и австрийского императора резко накалили обстановку в Европе. Дело в том, что правивший с 1713 года Карл VI не имел потомка мужского пола, а между тем германская традиция предполагала, что императором может быть только мужчина. Это означало, что знаменитая железная корона Карла Великого будет увезена, и возможно навсегда, из Вены и

окажется на голове одного из германских правителей. Такого поворота событий Габсбурги допустить не могли. Поэтому в 1724 году Карл VI издал так называемую Прагматическую санкцию - императорский указ о неделимости владений империи Габсбургов и о наследовании короны, при отсутствии мужского наследника, женщиной - дочерью императора Карла Марией-Терезией.

Ценой значительных уступок и подкупов Австрии удалось добиться признания Прагматической санкции сначала германскими государствами на традиционном Регенсбургском сейме, а затем великими державами - Францией, Россией, Пруссией, Англией, Голландией, Испанией. Подписались под обязательствами не нарушать завещание императора и правители других государств. Платой за российское утверждение Прагматической санкции стало, к примеру, признание германским императором титула российского императора, чего Петербург от других держав добивался многие десятилетия. Впрочем, все гарантии Прагматической санкции были весьма ненадежны, и потому выдающийся австрийский полководец и политик Евгений Савойский, мало веривший в силу подписанных бумаг, говорил, что настоящей гарантией Прагматической санкции может быть только полностью отмобилизованная 200-тысячная армия, которой у Австрии в 1740 году не было, а та, что была, с трудом закончила войну с турками, потеряв при этом Белград.

Весь труд семейственного императора Карла VI оказался напрасным уже в тот день, когда новый прусский король Фридрих II узнал о его кончине. Как признался шесть лет спустя сам Фридрих, получив известие о смерти Карла VI, он «немедленно решился поддержать неоспоримые права своего дома (Гогенцоллернов. - *Е.А.*) на Силезское княжество, хотя бы с оружием в руках». Обсуждать проблему «неоспоримых прав» Пруссии на одну из богатейших провинций Австрийской империи нет никакого смысла - их никогда не существовало. Зато была уверенность молодого короля, что никто не помешает ему, воспользовавшись всеобщим замешательством, захватить Силезию одним ударом. Потому-то, узнав во время маскарада, что австрийский император скончался, Фридрих и сказал своим адъютантам: «Мажьте сапоги! Мы выступаем!» *(Брольи, p.140)*.

Да, он опасался гарантов Прагматической санкции - Англии и России, но полагал, что Англии не даст вмешаться в дело враждовавшая с ней и дружественная Пруссии Франция. Только в случае с Россией могли возникнуть сложности. Фридрих тогда писал, что Англия, Франция и Голландия не смогут помешать его

планам и только «одна Россия способна причинить мне беспокойство. Но чтобы сдержать ее, можно пролить на главнейших сановников, заседающих в совете императрицы, дождь Данаи, что заставит их думать, как мне угодно. Если императрица умрет, то русские будут так поглощены своими внутренними делами, что у них не хватит досуга заниматься внешней политикой, во всяком случае было бы уместно ввести в Петербург нагруженного золотом осла» *(PC, 1, pp.90-92)*. И тут помогла вышеупомянутая белая дама - русскому двору стало действительно не до Прагматической санкции. Сообщение из Петербурга о смерти Анны Ивановны и решило дело - потом Фридрих писал, что «обстоятельством, побудившим окончательно решиться на это предприятие (захват Силезии. - *Е.А.*), стала смерть российской императрицы Анны. По всему казалось, что во время несовершеннолетия молодого императора (Ивана. - *Е.А.*) Россия будет более занята поддержанием спокойствия внутри империи, чем охраною Прагматической санкции».

Расчеты прусского короля блестяще оправдались. В декабре 1740 года прусская армия, без объявления войны, грубо нарушив все прежние соглашения Пруссии с Австрией, вторглась в ее пределы и быстро, не встречая сопротивления гарнизонов слабых австрийских крепостей, оккупировала всю Силезию. Официально Фридрих заявил, что он совершил агрессию, опасаясь, как бы в начавшееся в империи междуцарствие кто-нибудь не посягнул на эту область. Сам же король тайно обратился к Марии-Терезии и предложил ей продать ему Нижнюю Силезию за 6 миллионов талеров. Это был гигантская сумма - она составляла несколько годовых бюджетов Пруссии. Но Фридрих не волновался - его родитель скопил в своей казне 8,7 миллиона талеров и при этом совершенно не имел долгов. Оскорбленная бесцеремонным вторжением пруссаков в Силезию и непристойным для памяти отца торгом, Мария-Терезия отвергла предложения наглеца, и Первая Силезская война началась.

Это вооруженное столкновение ознаменовало начало длительной общеевропейской Войны за австрийское наследство (1740-1748). Так как на дворе стояла зима, решение австро-прусского спора на поле битвы было перенесено на весну. 10 апреля 1741 года произошла печальная для австрийцев битва при Мольвице, недалеко от столицы Силезии Бреславля.

Эта победа стала боевым крещением не только короля - великого полководца и его армии, но и собственно Пруссии. После нее Фридриха стали уважать в Версале и Вестминстере. Впрочем, Силезская война знаменательна и тем, что впервые в XVIII веке одно немецкое государство напало на другое немецкое

государство.

Битва при Мольвице оказалась переломной для международной обстановки в Европе. Победа пруссаков прозвучала сигналом для других гарантов Прагматической санкции. Они дружно напали на владения Габсбургов, намереваясь оторвать от них куски пожирнее. Франция открыто вступила в союз с Испанией и Баварией (Нимфенбургский договор, май 1741 года), и к нему присоединились Саксония, Неаполь, Пьемонт и Модена. Все эти государства предъявили территориальные претензии к Австрии, но для Вены опаснее всех, как и раньше, была Франция. Она вообще вынашивала планы раздела Германии и уничтожения могущества династии Габсбургов. В Версале считали, что Марии-Терезии будет достаточно Венгрии, Нижней Австрии и Бельгии, которую Франция как провинцию, оторванную от основных владений Марии-Терезии, могла бы потом легко присовокупить к своим владениям *(Соловьев, 21, с.55)*. Настораживала и подозрительная возня противников Австрии вокруг претензий Баварского курфюрста Карла-Альбрехта на германскую императорскую корону. Его, больного и немощного, Фридрих II, вместе с другими противниками Австрии, подталкивал, подсаживал в опустевший после Карла VI трон императора Священной Римской империи германской нации. Претенденту на престол была обещана Прага, которую осенью 1741 года союзники и заняли. После этого курфюрст Карл-Альбрехт был провозглашен императором под именем Карла VII. Прагматическая санкция оказалась ничего не значащей бумажкой.

После Мольвица прусская армия могла бы двинуться вместе с французами на Вену, но Фридрих этого не сделал и тайно от союзников вступил в переговоры с австрийцами. Оказавшаяся в безвыходном положении Мария-Терезия пошла на заключение перемирия и согласилась уступить Пруссии Нижнюю Силезию. Так король реализовал свой излюбленный принцип: «Сначала взять, а потом вести переговоры». Соглашение подписали в сентябре 1741 года в Клейн-Шнеллендорфе. Но тогда Мария-Терезия еще не окончательно осознала, с кем приходится иметь дело. Как только Фридрих узнал о взятии французами Праги, он нарушил только что заключенное с австрийцами перемирие и двинулся в сторону Моравии. Вскоре выяснилось, что движение армии Фридриха преследует лишь одну цель - вынудить Марию-Терезию на еще большие уступки, заставить ее уступить Пруссии не только Нижнюю, но и Верхнюю Силезию.

Одновременно с военными действиями Фридрих предпринял массированное дипломатическое наступление. Ведя войну, он

думал уже о мире, точнее - о признании своих новых приобретений не участвовавшими в прусско-австро-французском столкновении державами (Англией и Россией), которые могли бы стать посредниками в мирных переговорах Пруссии с Австрией. По поводу позиции Бурбонов, извечно враждовавших с Габсбургами, он не сомневался - в Версале будут рады всякой неприятности для австрийцев. Но и здесь имелась своя тонкость - дружбой с Францией кичиться было нельзя: это вызвало бы недовольство Лондона, который соперничал с Версалем в Европе, а особенно в Северной Америке и в Азии. А к позиции Англии, сидевшей на мешке с золотом, Фридрих был всегда чуток. Вот поэтому король писал своему министру иностранных дел Подевильсу: «Имея возможность опереться на Россию и Англию, мы не имеем причины торопиться с соглашением с Тюильрийским двором, следовательно, нужно водить его за нос, пока не станет ясен вопрос о посредничестве».

Когда же оказалось, что добиться посредничества России и Англии в этом конфликте нереально, король резко изменил политику и вошел в тесные отношения с Францией, добиваясь того, чтобы Версаль сумел натравить Швецию на Россию и тем самым отвлечь русских от среднеевропейских дел. Французским дипломатам, хозяйничавшим в Стокгольме, оказалось нетрудно подтолкнуть шведов к войне - как уже сказано выше, воинственные «шляпы» давно рвались в бой с русскими. С началом русско-шведской войны Россия уже никак не могла помочь Австрии реализовать Прагматическую санкцию и тем более вернуть Силезию. Фридрих был абсолютно уверен в успехе своего тонко просчитанного дела и довольно грубо заявил французскому посланнику в Берлине Валори: «Предупреждаю вас, что трактат наш рассыплется в прах, если вы не одержите полного успеха в Стокгольме, ни на каких других условиях я не соглашусь быть союзником вашего короля» *(РС, 1, р.263)*. Французы, заинтересованные в союзе с сильной Пруссией против Австрии, сделали все, как требовал Фридрих, - летом 1741 года Швеция напала на Россию и, несмотря на поражение при Вильманстранде, продолжила войну в следующем 1742 году. Теперь в Версале ожидали решительных действий своего союзника против австрийцев.

И тут, вместо победных реляций с поля боя, французы получили текст Бреславского мирного договора от 11 июня 1742 года, по которому Австрия уступала Силезию в вечное владение Пруссии. Договор был подписан пруссаками в тайне от их союзников по антиавстрийской коалиции. Когда тот же посланник Валори узнал от Фридриха потрясающую новость о

заключении Бреславского мира, он сказал королю, что это обман! Нет, возразил в ответ прусский король, «это значит не обманывать, а только выпутаться из дела».

В Версале также были шокированы поступком Фридриха. Умудренный опытом многих десятилетий дипломатической службы кардинал Флери - глава внешнеполитического ведомства Франции, писал Фридриху с детской наивностью: «Я питал столь безграничное доверие к неоднократно повторявшимся обещаниям Вашего величества не предпринимать ничего иначе, как по соглашению с нами, и мы, со своей стороны, так верно соблюдали заключенный трактат, что не могу выразить изумления, с которым я узнал о неожиданной перемене в вашем образе действий». Но Фридрих уже не церемонился со своим союзником и отвечал невежливо: «Справедливо ли укорять меня за то, что я не намерен еще двадцать раз драться за французов? Это было бы работой Пенелопы, ибо маршал Брольи (французский главнокомандующий. - *Е.А.*) поставил себе правилом разрушать то, что создавали другие. Следует ли сердиться на меня за то, что для собственной безопасности я заключил мир и постарался высвободиться из союза?» Да и вообще, о какой верности слову могла идти речь, когда дело касалось интересов Пруссии? «Скоропостижный мироломный король» (так его называли в России) всегда считал, что лучшие его союзники - собственные доблестные войска *(Гуч, p.26)*.

Так ловко выйдя из войны, Фридрих внимательно наблюдал за тем, как другие расхлебывают заваренную им кашу. Бреславский мир 1742 года явно пошел на пользу Австрии. Освободившись от такого опасного противника, каким была Пруссия, Мария-Терезия начала успешно бороться с баварцами и французами, и вскоре ее войска вытеснили противника из Праги и Богемии. Затем австрийская армия заняла Эльзас, вторглась в Неаполитанское королевство. На сторону Австрии перешли Саксония и Пьемонт, союзником Марии-Терезии объявил себя и английский король Георг II. Франция оказалась в затруднительном положении и нуждалась в помощи. И в этот момент Фридрих опять протянул ей «руку дружбы» - в мае 1744 года он подписал с французами союзный Версальский трактат.

После этого король начал Вторую Силезскую войну с Австрией. Нарушив условия Бреславского мира, он напал на Богемию и занял Прагу, хотя вскоре ее оставил. Зато в Саксонии, на которую Фридрих напал следом, его ждали блестящие победы.

Прусские войска полностью оккупировали соседнее с Пруссией немецкое государство, выгнали саксонского курфюрста из его страны. При этом Фридрих был явно не прочь, при удобном

случае, присоединить Саксонию к своему королевству. Однако такой большой кусок все же оказался ему не по зубам - Саксония занимала прочное место в системе тогдашних международных отношений и являлась важным партнером России и других держав в политический игре в Польше, ведь ее курфюрст являлся одновременно и польским королем Августом III.

Но все же не судьба Саксонии волновала тогда прусского короля - вдоволь пограбив ее жителей, он был готов очистить территорию государства от своих войск. Успехами в борьбе со слабой Саксонией и угрозами Праге он хотел воспользоваться для того, чтобы шантажировать Марию-Терезию и вынудить ее на новые территориальные уступки. При этом он сумел ловко вывернуться из крайне неприятной ситуации и обратить свои неудачи в успехи. Дело в том, что в 1745 году неожиданно умер ставленник Пруссии и Франции император Карл VII. Это была серьезная неудача союзников - подобрать нового кандидата на это место при явных успехах австрийских войск было трудно. Самого императора, о котором Фридрих цинично говорил: «Et Caesar et nihil» («И цезарь, и никто»), королю было нисколько не жаль, обидно же то, как писал Фридрих Людовику XV, что «император не мог умереть в более неудачную минуту для наших интересов» *(Гуч, p.26)*. И тогда Фридрих снова решил бросить французов и превратить новый договор с Францией в клочок бумаги. Он совершил очередной кульбит - без согласования с Версалем, за его спиной, Фридрих предложил Марии-Терезии признать императором ее мужа, Франца Стефана Лотарингского… в обмен на всю Силезию и графство Глац в придачу. Так успешно и дорого он продал корону, которая ему не принадлежала. И опять Марии-Терезии пришлось пойти на сделку с коварным противником - у нее не было иного выхода. Дрезденский мир 25 декабря 1745 года завершил Вторую Силезскую войну. Франц Стефан стал императором Францем I, корона империи вернулась в Вену, Пруссия округлила свои владения и утвердила их полноценным международным договором.

* * *

Так что же за человек был этот «мироломный» прусский король Фридрих II, и откуда он вдруг появился на международной арене?

Фридрих родился в 1712 году в семье будущего прусского короля Фридриха-Вильгельма I и Софии-Доротеи Ганноверской. С раннего детства мальчик оказался в очень тяжелой обстановке.

Его отец, получивший прозвище «коронованного сержанта» или «фельдфебеля на троне», отличался отвратительной грубостью, бешеным нравом и совершенной бессердечностью. Он был беспощаден не только к своим подданным, которых нередко избивал палкой на улицах Берлина, но и к собственным детям, жестоко наказывая их за малейшую провинность, а порой и без всякого повода. Есть предположение, что король болел редкой тяжелой болезнью, порфирией - нарушением обмена веществ, причинявшим мучительные страдания. С годами несчастный страшно растолстел, глаза выкатились из орбит, туго натянутая кожа блестела как полированная. Все это не улучшало его характера. Король-скряга, экономивший каждую марку, Фридрих Вильгельм имел только одну любовь, одну страсть. Ею была его армия, совершенствовать которую он не уставал никогда.

Вообще, армия имела колоссальное значение для истории Пруссии. Трудно представить в Европе более беззащитное государство, чем Пруссия. Королевство представляло собой конгломерат земель, разбросанных по всей Германии, не имеющих общих границ. Не было и естественных рубежей, на которых можно бы остановить противника, вторгшегося на территорию королевства. От любой из границ Бранденбурга - сердца государственного образования королевства Пруссия - неприятелю требовалось только двое-трое суток похода, чтобы подойти к ее столице Берлину и занять город. Сделать это было нетрудно - в начале XVIII века Берлин представлял собой малопривлекательный, похожий на большую деревню город, не имевший даже крепостных сооружений. Забегая вперед, скажем, что австрийские и русские легкие отряды дважды без труда захватывали прусскую столицу. Прусское королевство складывалось постепенно, работу по собиранию своих земель курфюрсты Бранденбурга (а из этой земли пошло расти королевство) вели долго и упорно. Как экономные бюргеры, у которых в хозяйстве ничто не пропадает, бранденбургские курфюрсты вели свое скромное государственное хозяйство (за бедность ее почв Пруссию называли «песочницей» Германской империи). Они пользовались любой возможностью, чтобы купить, обменять, приобрести каждое выморочное, пусть даже крошечное германское владение. Для этого они годами, десятилетиями выжидали, когда пресечется одна из трехсот германских династий, когда легкомысленные мелкие немецкие владетели увязнут в долгах и с радостью отдадутся под руку бранденбургского курфюрста. Так же некогда скромный московский князь Иван Калита собирал под своей рукой Московское государство.

Начало роста Пруссии как государства относится к 1618 году, когда бранденбургскому курфюрсту Иоанну-Сигизмунду удалось присоединить к Бранденбургу герцогство Пруссию - бывшую территорию распавшегося под ударами поляков и литовцев Тевтонского ордена (позже эта территория называлась Восточной Пруссией, теперь это Калининградская область России и ряд воеводств Польши). Потом бранденбургские курфюрсты присоединили к своим владениям Восточную Померанию и некоторые другие прибалтийские земли и города. В 1701 году бранденбургский курфюрст Фридрих III - дед Фридриха Великого - сумел добиться у германского императора титула короля и стал называться Фридрихом I. Но стать королем Бранденбурга ему не удалось, и королевством было объявлено герцогство Пруссия.

В итоге название Пруссия закрепилось за всем королевством со столицей в Берлине, а собственно Пруссия стала с тех пор Восточной Пруссией. Всего же прусский король был владетелем множества территорий. В его титуле упоминалось, что король Прусский является курфюрстом (1 раз), герцогом (6 раз), принцем (5 раз), графом (10 раз) и бароном (без счета). Охранять такую лоскутную страну, отдельные части которой были разбросаны от границ Курляндии (потом России) на востоке и до Голландии на западе, мог только страх соседей, а его могла внушить могучая прусская армия, численность которой была чрезмерна в сопоставлении с числом подданных прусского короля. Но даже не числом пугала соседей прусская армия, а своим умением. Создавать ее начал курфюрст Бранденбургский Фридрих-Вильгельм Великий, правивший почти полвека и заложивший основы прусского могущества. К 1656 году он сформировал армию в 18 тысяч человек, а через тридцать лет в ней числилось 29 тысяч солдат, и, как писал военный историк Ганс Дельбрюк, «история отныне развивающейся бранденбургско-прусской армии является в то же время историей Прусского государства» *(Дельбрюк, с.214)*. В 1740 году у Пруссии была уже 100-тысячная армия. Это составляло 4,4% общей численности населения королевства (2,24 млн. чел.), в то время как во Франции и других странах армия не превышала 1 или 2% числа подданных.

Естественно, что отец Фридриха II король Фридрих-Вильгельм I очень хотел, чтобы кронпринц, его наследник, вырос таким же мужественным воином, как он, солдатский король, или как легендарный Фридрих-Вильгельм Великий. Король Пруссии - это значит удалой воин, славный полководец. Но Фриц рос робким заморышем, бледным и хилым. Он постоянно болел, но главное - он жил в каком-то своем, далеком от интересов отца и Пруссии мире грез и фантазий. Такой наследник, по мнению

«солдатского короля», несомненно, погубит все дело! Не успеет отец закрыть глаза, как кронпринц, ставший королем, начнет транжирить собранные с таким трудом деньги - к 1740 году Пруссия, как уже сказано выше, имела превосходный бюджет, в котором накопления равнялись нескольким годовым доходам королевства. Он заразит двор и страну французской роскошью, натащит из Парижа разной дорогой дряни, посадит за стол французских проходимцев и развеет по ветру все, что скопили предки - бранденбургские курфюрсты!

Отметим, что подобные мысли правящего монарха о своем наследнике обычны в династической истории XVIII века. Вспомним драму Петра Великого и царевича Алексея Петровича, натянутые отношения императрицы Елизаветы Петровны с великим князем Петром Федоровичем (будущим Петром III), Екатерины II с сыном цесаревичем Павлом Петровичем. Такой же конфликт сложился во Франции у короля Людовика XV с дофином Людовиком. На ножах был английский король Георг II с принцем Уэльским, который, став Георгом III, в свою очередь терпеть не мог своего сына-наследника. Мария-Терезия страдала от того, что ее наследник и соправитель, сын Иосиф II, думал обо всем не так, как нужно, даже как будто назло матери. В этом-то и состояла суть дела - дети всегда делают не так, как нужно родителям. Перевоспитать наследников в правильном духе иначе, нежели сойдя в могилу, как правило, не удается. «Измени свой нрав!» - грозно, но бессильно призывал Петр Великий своего сына и наследника царевича Алексея. Но все напрасно - новые поколения всегда идут своим путем, и этого старикам не поправить.

Впрочем, король Фридрих-Вильгельм думал иначе. Он считал, что дубинка - универсальный метод воспитания и поправит все дело. Как только король видел сына, рука его тянулась к этому «педагогическому пособию». С годами побои наследника стали нормой еще и потому, что кроме презренной вялости и субтильности кронпринц оказался заражен ненавистным для короля французским духом. С ранних лет и до самой смерти французская культура, литература и искусство, язык Франции бесконечно нравились Фридриху. Он с отвращением говорил по-немецки, родной язык ассоциировался у него с той дубинкой, которой его регулярно «учил» отец. Мальчик с трудом выносил муштру, которой стал подвергать его король с пятилетнего возраста. Фридрих-Вильгельм сформировал для этого особый корпус ровесников сына - «кадетов кронпринца». Среди своих сверстников сам «командир» - кронпринц - выглядел самым хилым, захудалым и тупым рекрутом. И тогда ярость

Фридриха-Вильгельма была беспредельна: он больно порол сына и отправлял его спать без ужина.

Ребенок не находил тепла и у матери - королева София-Доротея была несчастлива в браке, страдала от убожества берлинского двора и к тому же была постоянно занята, ведь за свою жизнь она родила четырнадцать детей (которых ей случалось прятать у себя в комнатах от отцовской дубины). Словом, она не могла окружить детей лаской и заботой - а робкий Фриц так нуждался в этом. Мир литературных героев и музыки с годами заменил Фридриху семью. Юноша сторонился грубых охотничьих развлечений отца, морщился от солдатских шуток короля и был плохим собутыльником в попойках «настоящих прусских солдат». Не было места кронпринцу и на традиционных Табачных ассамблеях, где в густом облаке дыма король и его сподвижники пили пиво и разговаривали об охоте. Фридрих не курил - вещь немыслимая для подлинного воина!

Кронпринц был во всем полным антиподом отца. В свободное от плаца время он тайно изучал латынь, увлеченно читал французские книги. От фельдфебеля, приставленного к нему, Фридрих научился играть на флейте, и вместе с волшебными звуками Глюка его душа улетала подальше от ужаса пошлой и грубой жизни при дворе отца. Настоящим райским убежищем для кронпринца стало подаренное ему в 1733 году имение Райнсберг. Здесь Фридрих построил изящный, во французском вкусе, дом. Он стоял на берегу тихого озера, был окружен парком. В уютной библиотеке дворца кронпринц запоем читал книги по философии и эстетике, инженерному делу и артиллерии, физике и астрономии. Он сочинял пьесы для флейты, готовил сборник стихов, написанных, естественно, по-французски.

Около эстета-кронпринца образовался кружок людей, близких ему по духу и интересам. Они беседовали о предметах возвышенных, вместе играли на музыкальных инструментах. Эти люди могли по достоинству оценить тонкий ум, находчивость и невероятно язвительную иронию Фридриха - с юности кронпринц имел острый, как бритва, язык и не щадил никого. С 1736 года у него появился достойный, хотя и заочный, собеседник - началась переписка Фридриха с Вольтером. Разнообразие в жизнь Фридриха вносило и участие в масонской ложе, в которую он вступил в 1738 году.

Вместе с тем кронпринц не был сибаритом и бездельником. Его отличало необыкновенное честолюбие, и он, углубленный в геополитические мечты, часами просиживал над картами. Умный, проницательный, циничный Фридрих, вынужденный при дворе отца годами лгать, скрытничать, выдавать белое за черное и

наоборот, отлично подготовился и к будущей дипломатической карьере. Он знал и любил внешнюю политику, легко постигал тонкие законы дипломатической интриги, рано сделал для себя вывод, что миром правят сила и деньги. Моральные сомнения были совершенно чужды ему. Никогда он не мечтал об объединении Германии под своей рукой - он оставался реалистом и знал, что это невозможно. У него отсутствовало «общегерманское чувство», хотя судьбой ему было уготовлено посмертно стать символом единой Германии. Он вообще был против империй, которые волокут на своей шее жернова заморских владений. Он лишь мечтал о том времени, когда песчаная и лесистая Пруссия станет великой державой, выйдет из ряда посредственных германских государств, вроде Баварии, Саксонии или Ганновера, и заставит себя уважать.

Интеллект нового короля был по достоинству оценен в Европе. К нему как к просвещенному монарху потянулись образованные люди. Король владел пером, писал стихи и пьесы, отдавал дань, по-современному говоря, политологии (его первая книга называлась «Размышления о политическом состоянии Европы») и истории. Он был, как сказано выше, страстным поклонником французской литературы и искусства. Построенный им дворец Сан-Суси - реплика Версаля. Там висели картины любимых художников короля - Ватто и Ланкре. Он говорил и писал по-французски, избегал пользоваться немецким языком, который считал грубым языком неотесанных «пивохлебов и пожирателей кислой капусты», потешался над перспективами развития немецкой литературы. Парадокс истории состоит как раз в том, что этот человек, презиравший все немецкое, в эпоху подъема германского национализма стал идолом германских патриотов. Историк Фридриха Ф. Е. Вилл подметил, что превратности людского суда выражены и в позднейшем отношении к Фридриху как главной опоре протестантизма в Европе, хотя трудно найти другого (кроме Вольтера) человека в тогдашней Европе, который бы так безжалостно потешался над религией и который нашел полупрозрачное прикрытие своему атеизму в форме так называемого деизма, отводящего Богу роль первоначального толчка в развитии мира. Точно так же Фридрих стал идолом прусских милитаристов, хотя всегда ненавидел муштру *(Вилл, p.270-271)*.

В его дворце порой собиралось лучшее общество тогдашней Европы и велись утонченные философские беседы, которых мир не слышал со времен Академии Платона и Аристотеля. За столом «философа из Сан-Суси» сходились люди незаурядные - Леонард Эйлер, гениальный математик, любимец Петербургской Академии

наук, Ламетри, естествоиспытатель и материалист. Заметим, кстати, что одна из причин неприятия Фридриха Марией-Терезией и Елизаветой состояла именно в его демонстративном вольтерьянстве, тем более что за его столом сиживал и сам Вольтер, некоторое время живший при дворе Фридриха. Жил при дворе и итальянский ученый и путешественник Альгаротти. Предметом постоянных шуток короля был президент Прусской Академии наук француз Мопертюи. Король-поэт посвящал ему свои стихи, в том числе произведение «Доктор Акакия», в котором потешался над его педантичной и бесплодной ученостью. Благодаря этому, кстати, Мопертюи вошел и в русскую литературу. Молодой Гаврила Державин был покорен стихами Фридриха и переводил их для себя. Французское Maupertuis он прочитал по-латыни, да еще случайно переставил t и p, получилось Mauterpuis, а по-русски Мовтерпий. Как писал Владислав Ходасевич - автор блестящей биографии Державина, - «этому легендарному лицу суждено было на многие годы стать спутником самых мрачных раздумий Державина».

С годами кровь предков-воинов, которая текла в жилах Фридриха, несмотря на его галломанию, утонченность и эстетизм, дала о себе знать - армия с ее четкой ясностью, надежностью, внутренней разумной жизнью стала важной частью его существования. Фридрих любил войну, он испытывал упоение в бою, кровь великого полководца вскипала при виде идущей в атаку кавалерии. Гром литавр и барабанов стал для него волнующей музыкой с раннего детства, когда в пять лет он с наслаждением бил в подаренный ему маленький барабанчик. Напрасно отец-король боялся, что сын, став королем, натащит в Берлин изнеженных бездельников и петиметров из Парижа. Этого не произошло. Фридрих стал настоящим аскетом, он не вылезал из потертого, выгоревшего мундира и позеленевших от времени ботфорт. Он оставался равнодушен к лишениям, голоду, холоду. Эти же качества он воспитывал и у своих подчиненных. Однажды внезапно он навестил генерала Зейдлица и, увидав в прихожей роскошную меховую муфту, тотчас бросил ее в камин. Каково же было его изумление через минуту, когда выяснилось, что муфта принадлежит испанскому послу, сидевшему в гостях у знаменитого кавалерийского генерала и спасавшего этой муфтой свои руки от холодного берлинского ветра.

Ко дню смерти отца Фридрих уже сформировался как политик и полководец, он знал свои способности и только ждал часа, чтобы испытать силы в гуще сражений и головоломках дипломатических интриг. В марте 1741 года он писал о причинах своего необыкновенного дебюта на международной арене:

«Молодость, огонь страстей, желание славы, да, честно говоря, любопытство, наконец, некий тайный инстинкт оторвали меня от удовольствий спокойной жизни. Меня соблазнило видеть свое имя в газетах, а потом в истории» *(Гуч, p.12)*.

Но час этот долго не наступал. Бремя деспотичной власти отца было порой для молодого человека невыносимо. В 1730 году с двумя друзьями он задумал даже бежать из солдатского государства отца во Францию, но был разоблачен и посажен в крепость Кюстрин. Отец-король лично допрашивал сына, обвинил его в дезертирстве и, вернувшись в Берлин, сказал жене, что ее недостойный сын уже мертв. Фридриха ждала участь царевича Алексея. Кронпринц не без оснований считал, что его казнят. Только вмешательство иностранных дипломатов спасло ему жизнь. По приказу короля два капитана насильно подтащили 18-летнего юношу к открытому окну камеры и заставили смотреть на смертную казнь его друга Катте, с которым он хотел бежать во Францию. С тех пор умение притворяться, хитрить, обманывать стало главным оружием Фридриха, что не могло не отразиться на его характере и судьбе.

И все же вожделенный час испытания судьбой наступил утром 10 апреля 1741 года, когда армия молодого прусского короля Фридриха II впервые вышла перед австрийской армией фельдмаршала Нейпперга на поле боя при Мольвице. Нервная дрожь била Фридриха. Риск был огромен, а успех не очевиден - ведь прусская армия не воевала минимум тридцать лет! Накануне сражения Фридрих распорядился в случае его гибели сжечь тело по древнеримскому обычаю - Известно, что король был атеист и богохульник. Но больше всего он боялся плена и поэтому предписал министру иностранных дел Подельвейсу не слушать его приказов из плена, ибо «я - король, пока я свободен». Началось сражение. Увидев, как погибла под огнем неприятеля почти вся его кавалерия, Фридрих не выдержал, испугался и покинул поле боя. И хотя победу принесли на штыках пехотинцы под командой старого фельдмаршала Шверина, король-полководец не любил вспоминать тот день под Мольвицем - он стыдился своей трусости. Но потом все наладилось, свист пуль стал привычным для него. Фридрих не раз играл со смертью, поражая всех хладнокровием и отчаянной храбростью.

Однажды, после победной битвы при Лейтене в 1757 году, распаленный преследованием неприятеля король почти в одиночестве ворвался в занятую австрийцами деревню Лисе по дороге на Бреслау и вошел в дом, где стояли на постое австрийские офицеры. В этот момент они как раз поспешно собирали свои пожитки, чтобы обратиться в бегство.

Столкнувшись лицом к лицу с ними, король не растерялся и вежливо попросил, чтобы его отвели в лучший из покоев. Думая, что деревня уже занята пруссаками, австрийцы проводили Фридриха в его комнату, а сами через черный ход поспешно бежали из дома, безмерно радуясь тому, как они ловко провели великого короля. А уже потом в деревню въехали прусские гусары *(Вилл, p.211-212)*.

Этот необыкновенный человек с первых своих шагов на международном поприще привлек всеобщее внимание. Как он и мечтал, о нем заговорили повсюду, имя его не сходило с газетных страниц и вошло в историю. Во внешности Фридриха не было ничего героического. Сутулый и худой, неказисто одетый, он не блистал образцовой красотой Людовика XV, хотя, как писал французский посланник Валори, «внешность его приятна, он не высок и исполнен достоинства, сложен неправильно - слишком длинные ноги. У него красивые голубые глаза, несколько навыкате, в них отражаются все его чувства, и выражение этих глаз часто меняется. Когда он недоволен, взгляд его свиреп. Когда он хочет нравиться, нельзя найти более ласковых, мягких и очаровательных глаз… Улыбка дружелюбная и умная, хотя часто бывает насмешливой и горькой» *(Гуч, p.130)*.

Валори и другие современники, знавшие короля, писали также о главной отличительной черте Фридриха - он глубоко презирал человечество вообще. Он считал, что люди созданы для того, чтобы беспрекословно ему подчиняться, и не терпел ничьих возражений. Как известно, прусские подданные встретили известие о смерти его отца, сурового Фридриха-Вильгельма, не совсем обычно. Екатерина II вспоминает: «Никогда, кажется, народ не выражал большей радости, чем та, которую выказали его подданные, узнав эту новость, прохожие на улицах целовались и поздравляли друг друга со смертью короля, которому они давали всякого рода прозвища, одним словом, его ненавидели и не терпели все, от мала до велика» *(Екатерина, 1907, с.16)*. Однако довольно скоро после вступления его наследника на престол обыватели притихли - новый повелитель, несмотря на переписку с Вольтером и любовь к флейте и всему изящному, оказался настоящим деспотом. Как писал Валори, «при ближайшем рассмотрении его характер совершенно такой же, как у короля - его батюшки» *(Брольи, p.362)*. С полным основанием новый король мог повторить знаменитые слова старого «фельдфебеля на троне»: «Вечное блаженство - в руке Божией, все же остальное - в моих руках». Герой прусской армии, бесстрашный кавалерийский генерал фон Зейдлиц как-то сказал человеку, просившему замолвить перед королем словечко по делу, уже закрытому

Фридрихом: «Поверьте же мне, что ни я, ни кто другой моего звания и чина никогда не может быть совершенно уверен в том, чтоб не быть отправлену из королевского кабинета в Шпандау», то есть в берлинскую тюрьму *(Энзе, с.233)*.

О цинизме Фридриха и его презрении к общепринятым нормам человеческого и международного поведения сказано немало. Это уже в конце XX века низости Фридриха кажутся обыкновенными приемами внешней политики, но тогда, в XVIII веке, люди воевали не с врагами, а с неприятелями. Рыцарство, верность данному слову дворянина и государя не были пустым звуком, нарушение обязательств было в диковинку. Все это создавало Фридриху немало врагов. Редкий государь получал так много проклятий в свой адрес. «Злодей», «Ирод», «Дьявол», «Бесчестный человек», «Прусский Надир», «Обманщик» - и это самые мягкие оценки прусского короля, которые давали ему в монархической семье Европы.

Но все-таки никто так не был сердит на Фридриха, как Мария-Терезия. Это она, дочь императора Карла VI, намеревалась унаследовать германскую императорскую корону после смерти отца в 1740 году. Ничто, казалось, не могло этому воспрепятствовать, а утвержденная великими державами Прагматическая санкция гарантировала Марии-Терезии корону. Но не тут-то было - выскочивший, как черт из шкатулки, Фридрих II растоптал Прагматическую санкцию, украл у эрцгерцогини Марии-Терезии и династии Габсбургов императорскую корону, ограбил молодую государыню, отхватив от ее владений самую богатую область - Силезию. Прусский король поступил с соседкой как разбойник с большой дороги - нагло, жестоко и цинично. Это была неслыханная дерзость, но вместе с тем и серьезнейшее испытание для Марии-Терезии. Казалось, что ни одна женщина не выдержит такого натиска объединившихся вокруг Фридриха врагов ее государства, что империя Габсбургов вот-вот рухнет. Но нет, вопреки ожиданиям 23-летняя прелестная женщина выдержала посланное Богом испытание.

Трудно представить себе более разных людей, чем Фридрих и Мария-Терезия. Слепленная из другой человеческой глины, Мария-Терезия оказалась упорным и опасным противником Фридриха. Ее ум, воля, чутье не уступали уму, воле и чутью Фридриха, и их необыкновенная дуэль продолжалась долгие годы с переменным успехом. Родившаяся в тот год, когда пятилетнему Фридриху подарили барабанчик, Мария-Терезия росла в благополучной семье императора Карла VI и Елизаветы-Христины Вольфенбюттельской, сестры кронпринцессы Шарлотты-Христины-Софии, выданной замуж за русского наследника

престола царевича Алексея Петровича. Иначе говоря, их сын, российский император Петр II (1727-1730), приходился кузеном Марии-Терезии. С ранних лет, за отсутствием мальчиков в императорской семье, Резль - так звали дома Марию-Терезию - стала наследницей престола с титулом эрцгерцогини Австрийской. И это решило ее судьбу раз и навсегда - она выросла с сознанием своей огромной ответственности перед будущими поколениями Габсбургов. Резль знала, что только она может поддержать почти угасшую династию и опровергнуть то, что с радостью говорили в Версале: «Габсбургов больше нет!» Великое династическое призвание воодушевляло ее в самые трудные времена борьбы с Фридрихом, которого она, женщина по характеру добрая, так люто ненавидела и презирала. Для управления великой империей у Резль было все необходимое - способности и желание править, ум, логика, интуиция, здравый смысл, воля, трудолюбие, умение работать с людьми.

При этом Резль не была ограниченной педанткой, погруженной только в государственные дела. Кроме долга перед империей и династией она находила опору в семье и любви. Редко можно встретить среди женщин с короной на голове такую счастливую жену. Уже в 6 лет она без ума влюбилась в пятнадцатилетнего мальчика - сына и наследника Лотарингского герцога, которого привезли в 1723 году в Вену. Его звали Франц-Стефан. Судьбой и политическим расчетом им было предопределено стать мужем и женой. В феврале 1736 года Резль и ее суженого обвенчали в Вене. Изящная, с тонкой талией 19-летняя невеста цвела, как юная роза. Под стать ей был жених - высокий, красивый и мужественный принц.

Счастье сразу же поселилось в их доме. Резль и Франц стали родителями шестнадцати детей. Выжили из них тринадцать. Им не выпало в жизни такого счастья, как их родителям, - вспомним ужасную судьбу их дочери Антонии, известной как Мария-Антуанетта, королева Франции. Кажется, что Резль и Франц «стянули» к себе все счастье, которое было отпущено Габсбургам на XVIII век. Эту чудесную пару - прекрасного рыцаря и изящную амазонку - поселяне часто видели в окрестностях Вены. На быстрых конях они мчались среди виноградников и были безмерно счастливы от того, что удалось удрать от надоедливой, церемонной свиты, которая в ужасе разыскивала пропавшую императорскую чету.

Однажды, во время такой веселой прогулки, Резль захотела пить, и Франц, не раздумывая, прыгнул через забор в чей-то виноградник и срезал там для обожаемой подруги три огромных грозди винограда. Тут-то, на месте преступления, его и схватил за

руку разъяренный хозяин виноградника и грозно потребовал уплатить штраф в пять гульденов. Но, как всегда, у богатых нет в кармане ни гроша. Тогда невежливый хозяин запер хохочущую пару в погребе, откуда их выпустили подоспевшие придворные. Мария-Терезия заплатила винограднарю 10 гульденов штрафа и приказала поставить стелу со словами: «В этом месте Его Величество Император Священной Римской империи германской нации Франц I вторгся в частные владения и похитил виноград при соучастии, а возможно, и при подстрекательстве Ее Величества Королевы Богемской и Венгерской Марии-Терезии» *(Валлоттон, p.206-207)*.

Нет сомнений, что жизненную стойкость и оптимизм придавала Резль и ее родная Вена. Этот несравненный город на голубом Дунае уже тогда слыл таким же веселым, жизнерадостным, каким мы знаем его во времена Штрауса. Резль, несмотря на ее багрянородное происхождение, утомительнейшую церемонность (по испанскому образцу) жизни императорского двора, была настоящей венкой, то есть горожанкой самого веселого города в мире, на улицах которого музыка звучала на каждом шагу. В Вене казалось, что все без исключения, от императора до последней прачки, танцуют и поют с утра до вечера. Музыка звучала всегда и при дворе. Мария-Терезия прекрасно пела, а подросшие дети составляли целый ансамбль. Страстная любовь Резль к опере привела к тому, что в Вене возник первый Национальный оперный театр, который возглавил Глюк, чьи произведения звучали и в императорской семье, и в Потсдаме, где их играл на своей флейте Фридрих II. Даже став великой государыней, Резль покидала дворец в карнавальном костюме, чтобы смешаться с веселой карнавальной толпой своих земляков на уютных улицах Вены. И ее было трудно выделить среди прекрасных венских женщин, тем более что Резль говорила по-немецки с неистребимым венским акцентом.

А как дышали покоем, музыкой прелестные зеленые окрестности Вены! Здесь Мария-Терезия построила замок Шенбрун, где проводила все лето. Как-то раз она надрала уши белокурому мальчишке из церковного хора, который, вопреки запретам взрослых, возглавил шайку таких же, как он, сорванцов, лазавших по крышам. Позже сорванец превратился в великого Иосифа Гайдна. Сюда 13 октября 1762 года из Зальцбурга привезли маленького головастого мальчика в сиреневом костюмчике. Мальчик, войдя во дворец, сразу растянулся на скользком паркете. Ему помогла встать на ноги маленькая девочка, на которой, в благодарность за помощь, он сразу же пообещал жениться. Это были Вольфганг Амадей Моцарт и

Мария-Антуанетта, почти ровесники.

Жизнерадостный гений Вены в трудные минуты не раз спасал от уныния и слабости свою повелительницу. Как справедливо писал один из биографов императрицы Марии-Терезии, мир Вены разительно отличался от мира Берлина. Австрийская столица вдыхала воздух непривычного для Берлина гуманизма, там не требовали от людей беспрекословной и унизительной покорности, там не подавляли человека, и благие склонности личности получали полную свободу для своего развития *(Валлоттон, p. 209, 211)*.

И все же можно удивляться, что Резль и Франц оказались такой удивительно гармоничной парой. Как и в каждой супружеской чете, у них был свой секрет. Супруги прошли бок о бок всю жизнь, их объединяли официальные почести, любовь, постель, семья, вкусы, музыка, но только в одном между ними никогда не было равенства - государственная власть, вся без исключения, принадлежала Марии-Терезии. Верная принципам абсолютного монарха, она не делилась властью ни с кем, даже с любимым человеком. А власть эта была тяжела и неудобоносима. Трудно представить худшую ситуацию, чем та, в которую попала Мария-Терезия в начале 1740-х годов: поражения в войне с Пруссией, появление коалиции враждебных Австрии держав, выборы в декабре 1740 года германским императором Баварского курфюрста и многие другие катастрофические неприятности, от которых, наверное, могли перевернуться в гробу ее великие предки. Да и кем она сама была для своего народа в 1740 году: очаровательной молодой голубоглазой женщиной с прекрасным цветом лица, чуть выдвинутой «габсбургской» нижней губой, рыжеватыми волосами и белыми зубками, да с иностранным мужем, во владении которого был только титул герцога? И это все! Разве может женщина править такой империей? - сомневались скептики.

Довольно быстро Мария-Терезия показала себя целеустремленным и энергичным государственным деятелем. Те, кто услышал ее твердую и ясную речь 11 ноября 1741 года на присяге в Вене, с трудом поверили, что перед ними стоит не веселая, добродушная Резль, а суровая властительница, воительница, защищающая родину. Воительницей она предстала и в Буде, в церкви святого Мартина, когда ей на голову возложили корону Святого Стефана - основателя Венгерского государства, а потом на вершине Королевской горы. Здесь, на глазах тысяч венгров, по обычаю венгерской коронационной церемонии, верхом на коне, она чертила крест в небе сверкающей на солнце саблей Святого Стефана, обращаясь во все четыре

стороны света.

Венгрия заняла особое место в ее жизни и судьбе. Венгрия была ее первой победой. По недоразумению Марию-Терезию часто называют императрицей. По существу это правильно, но формально она ею никогда не была - напомню, что после смерти Карла VII (баварского курфюрста) в 1745 году императором стал муж Резль Франц I. Когда же он, к величайшему горю своей супруги, неожиданно умер в 1765 году, императором стал Иосиф II, их сын. Сама же подлинная властительница империи Мария-Терезия имела титул королевы Венгрии, точнее - короля Венгрии. Так мужским титулом называли ее венгры. Признав в 1741 году ее своим королем, они сделали ее легитимным правителем. Помогли они Марии-Терезии и осенью того же года, когда империя оказалась в безвыходном положении после поражений в войне с Пруссией. Тогда Марии-Терезии срочно требовались сто тысяч гульденов на восстановление обороноспособности государства. Престиж Австрии упал как никогда низко. Из Петербурга, из Коллегии иностранных дел, писали русскому посланнику в Вене Людвигу Ланчинскому: «Целый свет не может довольно надивиться слабому оборонительному состоянию венского двора, надобно было ожидать, что в таком крайнем случае употребятся и крайние меры» *(Соловьев, 21, с.59)*. Вот и наступил час этих крайних мер, немыслимый ранее для гордых Габсбургов.

Мария-Терезия приехала в Буду как просительница. 11 октября, в черном одеянии, с короной Святого Стефана на голове и его саблей на боку, она взошла к трону и так - стоя - обратилась по-латыни (официальный язык Венгерского королевства) к собранию магнатов и муниципалитета. Она сказала, что в этот страшный час испытаний для империи ей не к кому более прибегнуть за помощью, кроме как к верным и доблестным венграм. И она верит, что они не бросят ее в беде. Она покорила в тот день сердца своих венгерских подданных, которые дали деньги и оказали военную помощь в борьбе с Пруссией. Через 10 дней, во время присяги Франца-Стефана, она вошла в собрание с полугодовалым, «живым, как бельчонок» эрцгерцогом Иосифом на руках, и, увидев ее, венгры дружно крикнули: «Да здравствует король Мария-Терезия!» *(Валлоттон, p.65)*. И эта первая, но такая важная победа удивила всю Европу - на политической сцене появился новый сильный лидер.

В 1743 году Мария-Терезия вступила в освобожденную от французов Прагу, где ей возложили на голову корону Святого Вацлава. Так она стала королевой Чехии и Богемии. Но при этом Мария-Терезия ни за что не хотела короноваться императорской

короной. Она считала, что это невозможно до тех пор, пока Силезия не будет освобождена от «злого человека» - Фридриха II. Ненависть к нему никогда не утихала в ее душе и даже наоборот - возрастала, о чем будет сказано ниже. Долгие годы борьба за возврат Силезии была главной, определяющей целью политики правительства Марии-Терезии, основой ее отношений со многими державами, в том числе и с Россией, к которой мы и вернемся.

* * *

В начале своего правления Елизавета Петровна долго не могла определить своего места в этом смертельном споре отважной женщины с прусским королем. С одной стороны, Россия подписала Прагматическую санкцию Карла VI, с Австрией Россию связывали международные договоры, но самым главным была общность интересов русских и австрийцев на юге (против Османской империи) и в Речи Посполитой. С другой стороны, ориентация на Австрию была характерна для свергнутого Елизаветой правительства Брауншвейгской фамилии. Более того, в 1743 году австрийский посланник в Петербурге маркиз Ботта д'Адорно оказался замешан в деле Лопухиных, обвиненных в государственном преступлении - заговоре против императрицы Елизаветы Петровны. Елизавета была оскорблена и требовала от Марии-Терезии сурово наказать посланника, вовремя уехавшего из России. И хотя никаких доказательств вины Ботта не было, Мария-Терезия, идя навстречу пожеланиям Елизаветы, приказала посадить незадачливого маркиза в тюрьму. Все это, как и русско-шведская война 1740-1743 годов, мало способствовало намерению русских встать на защиту Прагматической санкции. Да и неприятельские отношения с прусским королем Фридрихом II у Елизаветы Петровны определились не сразу.

Читатель помнит, что именно Фридрих дал Елизавете совет не отпускать опального императора Ивана Антоновича и его родных в Германию, а заслать их куда-нибудь в глубь России, чтобы о них никто и не ведал. Совет для начинающей государыни оказался дельным. Как и всегда, Фридрих был весьма циничен. Русское Брауншвейгское семейство состояло в родстве с его семьей - жена Фридриха II королева Елизавета-Христина приходилась теткой принцу Антону-Ульриху, сидевшему в Холмогорской тюрьме со своим сыном Иваном Антоновичем. Впрочем, для Фридриха родство ровным счетом ничего не значило. О брауншвейгских родственниках он говорил так: «Я признаю между владетельными особами родственниками только

тех, которые мне друзья».

Проявлял король и другие знаки внимания к дочери Петра Великого. Как только стало известно о деле Лопухиных, Фридрих, воспылавший праведным гневом, тотчас выслал из Берлина как персону нон грата упомянутого выше маркиза Ботта, переведенного к тому времени из Петербурга в Берлин. Так суетливо он стремился угодить русской царице. И вообще, Фридрих был связан с Россией теснее, чем можно поначалу подумать. Известно, что в 1730-е годы он попросту находился на содержании русского правительства. Как уже сказано выше, король Фридрих-Вильгельм I держал своего сына-кронпринца в черном теле, ограничивая его во всем и, конечно, в деньгах. А они были так нужны молодому человеку! И вот через саксонского посланника в Петербурге Зума кронпринц установил связь с русским правительством, точнее - с герцогом Бироном, который и посылал ему деньги. Речь, конечно, не идет о некой вербовке русской разведкой прусского кронпринца. Бирон посылал ему деньги на всякий случай, в расчете на будущее - «прикормить» наследника престола такого сильного государства, каким была Пруссия, никогда не было лишним.

Но русских денег молодому Фридриху все равно не хватало, и он с отчаянием писал Зуму: «Вы не поверите, с каким ожесточением некоторые господа требуют от меня книг. Есть люди, которые такие требования доводят до безрассудства. Однажды по долгу справедливости я снабдил их книгами, и теперь от них нет отбою». Пусть читатель не думает, что в письме идет речь о библиомании Фридриха. Под «книгами» подразумеваются деньги, а безрассудные люди, которые очень хотят вернуть свои книги от кронпринца, - кредиторы, мучившие его своими претензиями. Во многих письмах за 1738-1739 годы Фридрих с волнением писал об успехах «книгопечатания» в России, хлопотал, чтобы «императорская книгопечатня» немедленно слала ему все новинки, потому что он «прочел все свои старые книги и ему нечего читать».

«Русская литература» из России так волновала душу Фридриха, что он умолял Зума присылать даже «по два экземпляра, подобно тем, которые вы мне присылали в первый год вашего пребывания в России, ибо я нашел такое чтение весьма поучительным, а истины, в них заключающиеся, имеют удивительное приложение к практике». Иногда кронпринцу удавалось писать прямым текстом: «Король болен. Пусть это вам послужит аргументом, чтобы мне к лету поверили порядочную сумму, ибо если хотят меня обязать, то пусть торопятся». Письмо датировано серединой 1739 года, когда король-отец, к несчастью

для заботливого сына, поправился. И снова Фридрих хлопочет о своей библиотеке: «Что бы вам ни говорили, но мои книги весьма немногочисленны, и у меня нет даже для обыкновенного употребления, чтобы можно было хоть что-нибудь делать. Поэтому, вы видите, как мне необходимо иметь книги, которые я у вас просил. Без них планы моих занятий разлетаются как дым» *{Белов, с.378-382)*.

Как только Фридрих вступил на престол, он начал добиваться заключения с Россией оборонительного союза, который и был подписан в начале 1741 года. Этот договор полностью нейтрализовал подобное же соглашение, заключенное Россией ранее с Австрией. Фридрих теперь мог не опасаться вмешательства России в спор за Силезию. Приход осенью к власти Елизаветы заставил «мироломного» короля удвоить свои усилия по нейтрализации России. Он дал прямое указание своему посланнику в Петербурге Арвиду Акселю Мардефельду не жалеть денег на подкуп сановников и влиятельных лиц правительства новой императрицы. Незримый осел с реальным золотом был введен в Петербург. «Раздувайте огонь против врагов или ложных друзей, - писал король Мардефельду, - куйте железо, пока оно горячо!»

Иной читатель спросит, зачем прусский король так суетится, хлопоча о своих интересах в Петербурге, - ведь границы России далеки от прусских и мало что может поссорить Берлин и Петербург. Но Фридрих II думал иначе, и не зря! Россия всегда пугала его своей величиной, своими неисчерпаемыми ресурсами, своими имперскими аппетитами и непредсказуемостью политической жизни. Король не ставил высоко русскую армию (как и любую другую, кроме прусской), но ценил русского солдата еще до того, как столкнулся с ним на поле боя. В 1737 году он писал упомянутому выше Зуму: «В оборонительной войне я считаю это государство непобедимым, в этом отношении это - гидра. Армии в ней родятся, как в других странах отдельные люди… Русский тотчас становится солдатом, как только его вооружают. Его с уверенностью можно вести на всякое дело, ибо его повиновение слепо и вне всякого сравнения. Он довольствуется плохою пищею. Он кажется нарочито рожден для громадных военных предприятий» *(Белов, с.376-377)*. Россия нужна была ему как огромная гиря, которая на весах спора за Силезию перетянет чашу в его пользу, позволит гарантировать это ценное приобретение. Поэтому понятны титанические усилия Фридриха по плетению золотой паутины, которой он хотел опутать двор этого «крещеного медведя» (так в Европе называли Россию).

Эта подрывная работа началась с первых дней царствования Елизаветы, и многое благоприятствовало прусскому королю. Основу «прусской партии» при дворе составляли личности, уже известные читателю: влиятельный сановник и личный хирург императрицы Лесток, французский посланник Шетарди, инструкции которому предписывали (повторяя общую политическую линию Версаля на сближение с Берлином) тесно сотрудничать с Мардефельдом и другими агентами Пруссии при дворе Елизаветы. К этой партии вскоре присоединился воспитатель и гофмаршал наследника престола великого князя Петра Федоровича влиятельный граф О. Ф. Брюммер. В 1744 году в Петербург приехала еще одна ярая сторонница прусского короля, мать невесты Петра Федоровича, будущей Екатерины II, княгиня Иоганна-Елизавета. В итоге образовалось мощное политическое лобби, победа которого в борьбе за влияние на столь легкомысленную с виду Елизавету казалась неминуемой.

Особые надежды Фридрих возлагал на Лестока. Он писал Мардефельду: «Я имею сведения (о нем. - *Е.А.*) как о большом интригане… уверяют, будто бы он пользуется расположением новой императрицы. Важные дела подготавливаются нередко с помощью ничтожных людей, а потому (если это справедливо) государыня доверяет этому человеку и если не удастся сделать его нашим орудием, вам нужно учредить за ним бдительный надзор, чтобы не быть застигнутым врасплох». Король напрасно перестраховывался - Лесток был продажен, как уличная девка. Он уже с января 1741 года получал пенсион от французов в 15 тысяч ливров. Шетарди предупредил Лестока, что деньги даются совсем не за обворожительную улыбку лейб-медика и что ему предстоит «позаботиться о соглашении интересов короля (Франции) и вашей государыни».

С тех пор Лесток ревностно отрабатывал свои гонорары. Из перехваченных и расшифрованных депеш Шетарди за 1744 год вице-канцлеру Бестужеву-Рюмину стало ясно, что Лесток, как и подкупленный французами Брюммер, является важнейшим, говоря по-современному, агентом влияния и, пользуясь доступом к государыне, советует ей поступать так, чтобы действия России незаметно для нее «согласовывались» с интересами христианнейшего короля. Кроме того, он поставлял французам и различную информацию, действуя как обыкновенный платный агент. Перлюстрация показала, что Лесток (кличка «ату intrepide» - «отважный друг») поддерживал прямую связь с командующим русским экспедиционным корпусом в Швеции генералом Д. Кейтом, а его письма к генералу редактировал французский посланник *(Пекарский, с.513; АВ, 1, с.516-518, 582)*.

Когда Лесток получил предложение продаться и Фридриху, то согласился с удовольствием - его «французская работа» нисколько не противоречила «прусской». В марте 1744 года Фридрих, как об обычном деле, писал Мардефельду: «Я только что приказал господину Шплиттенгерберу передать вам 1000 рублей в уплату второй части пенсиона господина Лестока, который вы не замедлите выплатить, присовокупив множество выражений внимания, преданности и дружбы, которые я к нему питаю» *(РС, 1, p.68)*.

То, что Лесток состоял в «прусско-французской партии», было очень важно, но еще важнее считалось привлечь к ней руководителей внешней политики России. Коллегию иностранных дел возглавлял старый и больной князь Алексей Черкасский - фигура «в разработку» совершенно непригодная, а вице-канцлером назначили Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, который после смерти Черкасского в 1744 году занял его место. Уже с первых дней его назначения вице-канцлером в Берлине, Лондоне, Версале и Вене поняли, что именно этот человек - ключевая фигура русской внешней политики и от него зависит внешнеполитический курс России. Он один может перевесить всю компанию Лестока и его приятелей.

Бестужев принадлежал к «птенцам гнезда Петрова» - младшим современникам Петра Великого, уже пропитанным духом великих преобразований и европейской культуры. Он родился в 1693 году в Москве в семье известного русского дипломата Петра Михайловича Бестужева-Рюмина - резидента при дворе герцогини Курляндской Анны Ивановны. С юных лет Алексей Петрович жил в России наездами, он учился вместе со старшим братом Михаилом (ставшим также дипломатом) в Берлине, причем весьма преуспел в науках, особенно - в иностранных языках.

В 1712 году Бестужев-Рюмин оказался в составе русской дипломатической делегации на переговорах в Утрехте, которыми закончилась Война за испанское наследство, а потом, с согласия Петра I, поступил на службу при дворе Ганноверского курфюрста, ставшего в 1714 году английским королем Георгом II. Молодой русский дворянин, прекрасно воспитанный и образованный, очень понравился королю, и тот отправил Бестужева-Рюмина в качестве главы посольства в Санкт-Петербург - известить дружественную ему Россию о своем вступлении на престол. Появление Бестужева-Рюмина в таком качестве страшно обрадовало русского царя, ибо появление русского подданного во главе английского посольства было свидетельством очевидных успехов молодой России в ее сближении с Западом.

С этого момента и начинается дипломатическая карьера Бестужева-Рюмина, который в 1718 году становится русским резидентом в Дании. Задатки дипломата были заметны в его характере с ранних лет: он был умен, хладнокровен и расчетлив, хорошо разбирался в европейской политике. Но пребывание в Копенгагене раскрыло еще одну черту Бестужева-Рюмина - он оказался и прирожденным царедворцем, готовым на чрезмерную лесть и предательство. Как только Бестужеву в 1716 году стало известно о побеге за границу в Австрию наследника Петра царевича Алексея Петровича, этот молодой, преуспевающий дипломат написал царственному беглецу подобострастное письмо, в котором давал царевичу знать, что готов услужить ему в любой момент. По тем временам это было страшное государственное преступление - измена, участие в заговоре, но чудо (как это бывало в карьере Бестужева не раз) спасло его - во время кровавого розыска по делу царевича Алексея Петровича в 1718 году письмо не попало в руки Петра Великого, сам царевич, выдававший своих приближенных и сочувствовавших налево и направо, о Бестужеве не упомянул. Да и потом письмо не всплыло на поверхность.

Можно представить себе, как дрожал Бестужев в течение нескольких лет, распечатывая каждое пришедшее из Петербурга письмо - ведь в любой момент его могли вызвать в Россию или внезапно схватить на улице, арестовать в посольстве, посадить на русский корабль и подвергнуть страшным пыткам в Петропавловской крепости или сгноить в Сибири. Но все обошлось, и Бестужев продолжал усердно служить императору. После заключения Ништадтского мира 1721 года русская миссия в Копенгагене закатила такой роскошный праздник в честь русских побед и гения первого российского императора, что слава о нем дошла до Петра I, который в это время был в Персидском походе. На радостях император подарил Бестужеву-Рюмину свой портрет, усыпанный бриллиантами, и вскоре сделал камергером.

После смерти Петра в 1725 году карьера Бестужева приостановилась - Меншиков, правивший Россией при императрице Екатерине I, плохо относился к Бестужевым-Рюминым, особенно к старшему, Петру. Мало изменилось положение Алексея Бестужева и при Анне Ивановне: он оставался за границей, но не на первых ролях, а все больше занимал должности посланников во второстепенных государствах. Однако к середине 30-х годов ему все же удалось найти путь к сердцу тогдашнего негласного правителя России Эрнста Иоганна Бирона, и тот стал покровительствовать Бестужеву-Рюмину. После скандального происшествия с кабинет-министром Артемием

Волынским, в лице которого Бирон надеялся найти своего клеврета в правительстве, а нашел врага, Бестужев-Рюмин занял место казненного Волынского в этом высшем органе управления империей. Произошло это в марте 1740 года. За преданность Бестужева-Рюмина Бирон мог не беспокоиться - тот всегда ставил на сильнейших, а Бирон и был таковым.

В октябре 1740 года, когда умирала императрица Анна Ивановна, Бестужев-Рюмин усердно содействовал возведению Бирона в статус регента империи при малолетнем императоре Иване Антоновиче, но вскоре вместе с самим Бироном был арестован заговорщиками во главе с Минихом, решившим захватить власть. В итоге Бестужев-Рюмин оказался в каземате Шлиссельбургской крепости, был допрошен, дал показания на Бирона, но затем, при первом удобном случае, отказался от всех обвинений в адрес временщика, сославшись на угрозы и плохое содержание в тюрьме. Приход к власти Елизаветы Петровны изменил судьбу многих людей, и Алексея Петровича в том числе. После того как в Сибирь отправился А. И. Остерман, бессменно руководивший внешней политикой в течение 15 лет, а за ним и влиятельный М. Г. Головкин, дипломатические таланты Бестужева были востребованы новым режимом, и он, как уже сказано выше, стал вице-канцлером, а потом и канцлером России.

На высшем посту чиновной иерархии Бестужев-Рюмин пробыл 14 лет, фактически самостоятельно определяя внешнеполитический курс России. При этом между Елизаветой и канцлером никогда не было близости. По своему происхождению, связям и карьере Бестужев был далек от тесного кружка зрителей Театра мечты цесаревны Елизаветы Петровны. Самое большее, чего он мог добиться, - это называть себя другом фаворита, Алексея Разумовского. С новым же фаворитом императрицы Иваном Шуваловым, как и вообще с семейством Шуваловых, отношения Бестужева-Рюмина были очень непростыми. И тем не менее Бестужев сумел добиться безусловного доверия государыни, хотя Елизавета Петровна с трудом переносила его общество. Уже при одном взгляде на него у нее, как и у других людей, возникало неприятное ощущение. Впоследствии Е. Р. Дашкова вспоминала: «Я видела его всего один раз, да и то издали. Меня поразило фальшивое выражение его умного лица и, спросив, кто это такой, я впервые услыхала его имя» *(Дашкова, с.78)*. Императрицу утомляли скучная речь и сам вид заикающегося старика с шамкающим ртом, из которого торчали черные обломки зубов. Она брезгливо принюхивалась к своему канцлеру: все знали, что он был горьким пьяницей. Известно, что Бестужев изобрел знаменитые и популярные в течение

нескольких столетий «бестужевские капли» - средство от возбуждения и головной боли. А она, эта боль, так часто мучила Бестужева-Рюмина, который поразительным образом сочетал колоссальную работоспособность со склонностью к весьма сомнительным развлечениям типичного русского грешника. Как и многие выдающиеся люди, Бестужев имел тяжелый и вздорный характер, а честолюбие его ограничивалось только боязнью потерять свое и без того высокое место.

Резкий, порой необузданный и крутой, в отношениях с людьми он был деспотом и хамом, нередко пускавшим в ход кулаки. Кляузник и доносчик, он не останавливался ни перед чем, чтобы опорочить своих врагов. В 1749 году Бестужев-Рюмин донес на Григория Теплова за то, что тот, будучи в гостях, не хотел пить за здравие А. Г. Разумовского, но «в помянутой покал только ложки с полторы налил». Бестужев якобы «принуждал его оной полон выпить, говоря, что он должен полон выпить за здоровье такого человека, который Ее императорского величества верен и в Ее высочайшей милости находится». В этом же доносе императрице он вспоминает и недавний безнравственный поступок обер-церемониймейстера Веселовского, который «на прощательном обеде у посла лорда Гиндфорта, как посол, наливши полный покал, пил здоровье, чтоб благополучное Ее императорского величества государствование более лет продолжалось, нежели в том покале капель, то и все оный пили, а один Веселовский полон пить не хотел, но ложки с полторы, и то с водою токмо, налил, и в том упрямо пред всеми стоял, хотя канцлер из ревности к Ее величества и из стыда пред послами ему по-русски и говорил, что он должен сие здравие полным покалом пить, как верный раб, так и потому, что ему от Ее императорского величества много милости показано пожалованием его из малого чина в толь знатный» *(Из подлинных бумаг, с.92-93)*.

Бестужев много ссорился с родственниками, особенно - со своим братом Михаилом, который также служил в посольствах России за рубежом. В 1745 году Михаил жаловался из-за границы на своего брата Петру Шувалову. Он писал, что Алексей весьма сурово поступил с их сестрой, вышедшей замуж не за того, за кого хотел канцлер. Поведение Алексея, писал Михаил, бросает тень на семью, скажется во мнениях иностранцев о России и русских; нужно убедить канцлера, «дабы он беспристрастно и совестно рефлектовал и подумал бы, как в здешних краях о таком гонении к сестре родной толковать станут… Сестра наша ниже от меня, ниже от него не депендует (зависит. - *Е.А*), она сама собою живет и за кого хочет, за того замуж идет… она здумала лучше замуж, нежели блядовать и мне кажется, вина ее не велика, что для

содержания своих деревень за курляндца замуж вышла». Но Алексей Петрович закусил удила и слышать ничего не хотел - сестра поступила не так, как ему было угодно *(Письма Бестужева, с.367)*.

Могущество этого неопрятного старика объяснялось несколькими причинами. Он сочетал качества блестящего дипломата и ловкого царедворца. С одной стороны, Бестужев был самым опытным и образованным из русских дипломатов, он прекрасно знал европейскую конъюнктуру, был знаком со многими деятелями европейского дипломатического мира. Он много и усердно работал, уверенной рукой руководил всею довольно разветвленной сетью дипломатических представителей и агентов России во многих странах. Бестужев был подлинным начальником Коллегии иностранных дел. Длительное время вести дела ему помогал Карл Бреверн - член коллегии, тайный советник, незаменимый и знающий клерк. После же его смерти Бестужев никого, в том числе вице-канцлера М. И. Воронцова, не подпускал к наиболее важным делам.

С другой стороны, Бестужев-Рюмин показал себя как опытный, прожженный царедворец, который никому не доверял, никого не любил и в совершенстве владел искусством интриги. В итоге канцлер добивался победы над своими недругами тонкими, продуманными действиями. Как писала Екатерина II, Бестужев был искусен в применении «отвратительного правила - разделять, чтобы повелевать. Ему отлично удавалось смущать все умы, никогда не было меньше согласия и в городе, и при дворе как во время его министерства» *(Екатерина, 1907, с.44)*. На многих сановников он собирал досье, куда складывал компрометирующий их материал. Никто так широко, как Бестужев, не использовал во внешней политике и придворной борьбе перлюстрацию и шпионаж. Бестужев был подлинным мастером этого грязного дела.

Он хорошо знал нравы, вкусы и пристрастия императрицы, умел ее наблюдать, как астроном наблюдает яркую комету - недаром один из современников писал, что канцлер изучал Елизавету Петровну как науку. Действительно, в «елизаветоведении» он стал настоящим академиком. Он точно знал, когда лучше подойти к государыне с докладом, что сказать ей, а о чем промолчать. Ему было известно, в какой момент, пренебрегая поднимающимся гневным нетерпением государыни, говорить и говорить, заставляя ее слушать, когда оборвать речь, обратить внимание на важную для нее деталь, мелочь, а потом вновь и вновь напомнить о скучном для императрицы, но нужном для него, России, империи деле. Ему иногда удавалось, несмотря

на пугливость императрицы, тонко манипулировать Елизаветой: сначала канцлер внушал ей некоторые идеи и потом, в представленных канцлером «объективных» выписках из иностранной прессы и особенно - в экстрактах перлюстраций депеш иностранных дипломатов она как бы самостоятельно находила подтверждение идей, внушенных ей Бестужевым. Чтобы пакет с перлюстрациями государыня случайно не пропустила, он приписывал на нем: «Ея императорскому величеству не токмо наисекретнейшаго и важнейшаго, но и весьма ужаснаго содержания». Он знал, что уж такой пакет любопытная Елизавета вскроет непременно! *(Фурсенко, с.63)*.

В личности Бестужева было поражавшее людей «отрицательное обаяние». Как вспоминал Станислав Август Понятовский, «пока он не оживлялся, он не умел сказать четырех слов подряд и казался заикающимся. Коль скоро разговор его интересовал, он находил и слова, и фразы, хотя очень неправильные, но полные силы и огня, которые извлекал рот, снабженный четырьмя обломками зубов, и которые сопровождались сверкающим взглядом его маленьких глаз. Выступившие у него багровые пятна на синеватом лице придавали ему еще более страшный вид, когда он приходил в гнев, что случалось с ним часто, а когда он смеялся, то это был смех сатаны. Он понимал отлично по-французски, но предпочитал говорить по-немецки с иностранцами, которые владели этим языком… Иногда он был способен на благородные поступки именно потому, что он по чутью понимал красоту всякого рода, но ему казалось столь естественным устранять все, что мешало его намерениям, что он не останавливался ни перед какими средствами» *{Фурсенко, с.13)*.

Так получалось, что, несмотря на неприязнь и даже нелюбовь Елизаветы к Бестужеву, он был ей нужен, она искренне верила в его политическую мудрость - крупнейший «елизаветовед» сумел внушить императрице и это. И все же главным, что связывало императрицу и Бестужева, было принципиальное, общее в их понимании политической линии, главного направления внешней политики России.

У Бестужева-Рюмина было множество врагов и в России, и за границей. Они возникли почти сразу же после того, как он в конце 1741 года стал вице-канцлером. Война с Бестужевым продолжалась несколько лет и закончилась полным разгромом партии его противников и даже разрывом России с неприятными канцлеру державами - Францией и Пруссией. Враги Бестужева были в основном врагами идейными. Они ставили цель либо заставить Бестужева действовать по планам Версаля или Берлина,

либо добиться у Елизаветы отстранения и ссылки этого, столь ненавистного им, пронырливого, хитрого и вредного старика. Самым опасным внешним врагом Бестужева-Рюмина был прусский король Фридрих II. В изображении прусского короля, - как мы видели, не самого большого праведника - русский канцлер предстает исчадьем ада, безнравственным и порочным. «Главное условие - условие непременное в нашем деле, - писал Фридрих своему посланнику в Петербурге А. Мардефельду, - это погубить Бестужева, ибо иначе ничего не будет достигнуто. Нам нужно иметь такого министра при русском дворе, который заставлял бы императрицу делать то, что мы хотим». Не будет Бестужева, считал Фридрих, не будет союза России и Австрии, Мария-Терезия окажется в изоляции. Поэтому речь идет не просто об интриге против одного из сановников двора императрицы Елизаветы, а о будущем Пруссии.

Фридрих без устали интриговал против Бестужева, не оставляя при этом надежды его подкупить. Он давал указание Мардефельду: «Вы должны будете изменить политику и, не переставая поддерживать тесные сношения с прежними друзьями, употребите все старания, чтобы Бестужев изменил свои чувства и свой образ действий относительно меня. Для приобретения его доверия и дружбы придется израсходовать значительную сумму денег. С этой целью уполномочиваю вас предложить ему от 100 000 до 120 000 и даже до 150 000 червонцев, которые будут доставлены вам тотчас, как окажется в том нужда» *(AB, 2, c.76, 94; PC, 2, p.271, 413)*. Но даже такая огромная сумма не соблазнила Бестужева.

Много раз прусско-французским «партизанам» казалось, что вот-вот Бестужев рухнет. Особенно тревожен был для него 1743 год, когда дело Лопухиных привело к ухудшению русско-австрийских отношений. Тогда враги Бестужева были готовы уже пить шампанское за победу над непотопляемым канцлером. Далион сообщал в Париж в августе 1743 года: «Хотя б паче всякого чаяния ничего не нашлося, чем бы Бестужевых судным порядком погубить можно было, то однако уже власно как решено, что по меньшей мере они в какой нибудь угол деревень своих сошлются» и позже: «Господа Брюмер и Лесток меня твердо обнадежили, что сие дело несовершенным оставлено не будет» *(AB, 2, c.395, 398)*. Но нет! Канцлер опять удержался на плаву.

Интриги прусских дипломатов были так же тщетны, как и интриги их французских коллег. Особенно неудачно действовал против Бестужева-Рюмина французский посланник маркиз де ла Шетарди. Досада маркиза была особенно острой, ибо в немалой степени благодаря именно ему Бестужев-Рюмин, сподвижник

сосланного в ссылку Бирона, занял пост вице-канцлера: любезный Алексей Петрович внушил доверие влиятельному при дворе Елизаветы французу, и тот понадеялся, что Бестужев-Рюмин будет «ручным». Шетарди даже уговаривал Елизавету прогнать от себя ленивого канцлера князя Черкасского и поставить на его место Бестужева - так понравился услужливый опальный вельможа французскому посланнику. Но вскоре началась полоса разочарований - Бестужев-Рюмин оказался неблагодарен.

Поначалу он отказался от пенсиона в 15 тысяч ливров - столько получал Лесток. Шетарди думал, что вице-канцлер набивает себе цену. Но и это оказалось ошибкой. Уже первая попытка Шетарди, защищавшего интересы шведского союзника, прибегнуть к помощи вице-канцлера для заключения мира на выгодных для Швеции условиях потерпела неудачу - Бестужев-Рюмин не слушался Версаля и не смотрел в сторону Стокгольма. Он жестко стоял на сохранении принципов Ништадтского мира 1721 года и был против всяких территориальных уступок шведам. В этом его поддержала императрица Елизавета, и Шетарди понял, что Бестужев - враг. Выше уже говорилось, как с помощью перлюстрации переписки французского посла Бестужев сумел собрать против своего бывшего благодетеля такой разоблачительный материал, что императрица с позором изгнала Шетарди из России. И это было только начало разгрома франко-прусской партии при русском дворе.

Сначала с большим трудом Бестужеву удалось убрать из России Брюммера, который поддерживал прусские симпатии в «молодом дворе» наследника престола Петра Федоровича. Вообще, «молодой двор» на какое-то время стал центром борьбы с Бестужевым. Как писала потом Екатерина II, враги Бестужева «все собирались у нас». Бороться с ними, не нанося удара по наследнику престола, Бестужеву было непросто. И тем не менее после Брюммера со скандалом была отправлена за границу мать великой княгини и жены наследника Екатерины Алексеевны, княгиня Иоганна-Елизавета, которая активно интриговала в пользу Фридриха при русском дворе. Бестужеву пришлось много поработать для этого успеха. Но все же самой большой победой Бестужева было свержение всемогущего Лестока. Это произошло в 1748 году. Как опытный охотник, Бестужев годами выслеживал свою дичь, умело расставлял капканы и рыл глубокие волчьи ямы, пока его жертва не попалась в одну из них.

Лесток был опасен своей близостью к государыне, он знал ее интимные тайны, в любой момент входил в императорские апартаменты и, как свой человек, мог повлиять на взгляды императрицы. Досье на Лестока собиралось годами, и Бестужев

сумел незаметно разбудить подозрения Елизаветы о вредных намерениях некоторых ее подданных лишить ее власти посредством сговора с иностранными державами (ведь она же сама прошла этим путем!), а заодно и нанести ущерб интересам империи. Лесток действительно поддерживал отношения с прусскими посланниками, о чем Бестужев узнавал из перлюстраций. В апреле 1749 года была перехвачена депеша прусского посланника Финкельштейна, в которой, с помощью дешифратора, прочитали: «Вчера граф Лесток, находящийся в деревне с императрицею, дал знать мне, что государыня была разгневана против морских держав, она говорила об них раздражительно… Сообразно этим изъявлениям великий канцлер настаивает, чтобы до весны войска оставались в Богемии». Чтобы настроить государыню против Лестока, Бестужев приписал на выписке из этой перлюстрации следующий комментарий: «Ее императорскому величеству лучше известно, изволила ль такие разговоры при Лестоке держать, но преступление его в том равно, лгал ли он или верный рапорт делал министру короля Прусского. Ее императорское величество из прежних писем уже усмотреть изволила, что Лесток советовал, чтоб ни министра Ее императорского величества на конгрес не допускать, ниже Россию в мирный трактат не включать» *(Из подлинных бумаг, с.87-89)*.

Бестужев искусно раздувал опасения Елизаветы за ее жизнь и здоровье. Начитавшись докладных записок Бестужева и специально подобранных экстрактов из перлюстраций дипломатов об их постоянных контактах с Лестоком, императрица нашла в них подтверждение опасности таких встреч своего лейб-хирурга с дипломатическими представителями недружественных России держав. Зная мелочность императрицы, Бестужев особенно выпячивал, в сущности, маловажные эпизоды, которые Елизавете, наоборот, казались очень важными и оскорбительными для нее. Так, она была взбешена полученными из перлюстрации сведениями о том, что как-то раз Шетарди отдал Лестоку для передачи ей табакерку и писал при этом: «чтоб Геро отдать» (т.е. Героине). Почему-то эта кличка страшно возмутила Елизавету. Гневом дышит и ее записка, обращенная к Лестоку: «Возможно ли подумать верному рабу, не токмо учинить, как ты столь дерзостно учинил. Ведая ж совершенно во всем свете запрещенное (а здесь наипаче в самодержавном государстве) что кому не поручены дела с (иностранными) министрами видеться тайно, сиречь к ним ездить и их по выбору к себе звать, а наипаче, которые государству и государю противные и интересу, с такими как шведской и прусской. А ты отважился всегдашнюю компанию у себя водить!». Переделав эту

филиппику в допросный пункт, который был подан императрице, Бестужев добавил еще один: «Не искал ли он лекарством или ядовитым ланцетом или чем другим ее императорского величества священную особу живота лишить?» И неважно, что подозрения эти были ложными, неважно даже, что ответит на это Лесток, важно было заронить в душу государыни страх и сомнения! А далее, как справедливо вспоминал пословицу Фридрих, куй железо, пока горячо!

Лесток был арестован, пытан в застенке Петропавловской крепости и затем сослан в Устюг Великий. Во время этого разбирательства прусский посланник Финкельштейн поспешно вручил заранее заготовленные отъездные грамоты и покинул Петербург. Бестужев выразил посланнику свои сожаления по поводу столь внезапного отъезда «давнего друга России». Сожаления были действительно искренними - какая крупная рыба сорвалась! Столько материалов набралось против Финкельштейна, что он вполне мог бы угодить и за решетку! Как бы то ни было, отношения с Пруссией были разорваны, а это Бестужев считал для России большим благом.

И все же он не был уверен, что разбил всех своих врагов. Дело Лестока готовилось им как дело Лестока - Воронцова. Михаил Илларионович Воронцов был бельмом на глазу канцлера. Занимая пост вице-канцлера, он принадлежал к кругу ближайших сподвижников Елизаветы - ведь это он стоял ночью 25 ноября 1741 года на запятках саней, на которых цесаревна мчалась навстречу своей судьбе по улицам столицы. Такое долго не забывается. Поэтому Бестужеву было невыносимо видеть, как его подчиненный, на правах старого приятеля, оказывается ближе к государыне, чем он сам.

В сложной борьбе за власть Воронцов не был самым проворным и хитрым. Он оставил у современников хорошую память. Француз Фавье писал о нем так: «Этот человек хороших нравов, трезвый, воздержанный, ласковый, приветливый, вежливый, гуманный, холодной наружности, но простой и скромный… Его вообще мало расположены считать умным, - продолжает Фавье, - но ему нельзя отказать в природном рассудке. Без малейшего или даже без всякого научения и чтения, он имеет весьма хорошее понятие о дворах, которые он видел и также хорошо знает дела, которые он вел. И когда он имеет точное понятие о деле, то судит о нем вполне здраво».

Впрочем, Фавье справедливо отмечает то, что видно по письмам Воронцова, - отсутствие страстности канцлера к делу, его склонность к меланхолии, вялость. Сталкиваясь с ним по делам, Фавье отмечал, что занятия тяготят Воронцова, что

продолжительные беседы о политике ему утомительны, а «всякий спор, всякое противоречие даже и с его стороны, когда надо настаивать на чем-нибудь с жаром, отзывается в нем болезненно. Выходя из этих совещаний, он имеет вид усталого, еле дышащего человека с которым как будто только что был нервный припадок» *{Фавье, с.390)*.

Прекрасные характеристики Воронцова, данные Фавье, подтверждаются другими современниками. Никто из них не писал о нем плохо - Воронцов не был ни беспощадным карьеристом, ни «пожирателем печени своего врага», ни страстным интриганом и честолюбцем, как его начальник. Бестужеву было трудно собирать компромат на своего заместителя. Никаких особых страстей и страстишек за Воронцовым не замечалось - разве что общая для двора Елизаветы любовь к театру, карточная игра «по маленькой», да пристрастие к постройкам. Его огромный дворец на Садовой поражал гостей роскошью; «его прислуга многочисленна, ливреи богаты, стол изобилен, но не отличается изысканностью и тонкостью блюд; приглашенных у него бывает много, но без особого выбора; расходы его громадны и производятся с видом небрежности, в которой нет ничего напускного. Его обкрадывают, его разоряют, между тем как он не удостаивает обращать ни малейшего на то внимания» *(Фавье, с.390)*. Поэтому опытный интриган Бестужев стремился незаметно вредить Воронцову, вливая яд в душу Елизаветы постепенно, так, чтобы не вызывать подозрения.

Хороший случай избавиться от Воронцова представился Бестужеву в 1745 году, когда Воронцов с женой отправился за границу. Елизавета Петровна рассталась с Воронцовыми очень тепло, желала супругам хорошо отдохнуть и подлечиться в Европе. Так, обеспокоенная полученными ею известиями о появлении у границ отрядов бошняков, известных своими разбойными нападениями на путников, императрица срочно послала к Воронцовым охрану *(АВ, 1, с.11-12)*.

Обласканный государыней, Воронцов пустился в путь и тут допустил грубейшую ошибку, которой тотчас воспользовался его тайный враг. Как уже говорилось выше, Воронцов заехал в Берлин, был тепло принят Фридрихом, который подарил ему украшенную бриллиантами шпагу и вообще обласкал. Об этом Воронцов с восторгом написал в Петербург посланнику Пруссии Мардефельду. Бестужев же перехватил на почте письмо, скопировал его, как и другие материалы, говорившие с ясностью, что Воронцов ездил в Берлин не зря, что он получает деньги от пруссаков и что в нем Фридрих видит главного борца с Бестужевым. А как же иначе можно было понять строчки письма

Фридриха секретарю прусского посольства в Петербурге Варендорфу? Король писал секретарю, чтобы тот тщательно «наблюдал, каким образом граф Воронцов, только что возвратившийся из Берлина, возьмется за дело и сможет опрокинуть своего противника» канцлера Бестужева *(Фурсенко, с.24)*.

Все эти письма в виде препарированных Бестужевым экстрактов попали к Елизавете, и вернувшийся в Россию Воронцов сразу же почувствовал, что холодом повеяло от вчера еще такой доброй к нему императрицы. А он так нуждался в ее ласке и особенно подарках - разоренный роскошью, он все время испытывал нужду в деньгах. Поэтому-то и пришлось ему по-прежнему брать у пруссаков пенсион. Переписка о том, как ami imporant («важный друг» - псевдоним Воронцова в переписке Фридриха II) получает деньги и снабжает прусского посланника сведениями о делах при дворе - все это в виде копий расшифрованных писем исправно попадало в досье Бестужева. Когда же началось дело Лестока, Бестужев представил государыне сведения о неблаговидной деятельности приятеля Лестока Воронцова, прибавив сюда еще и несколько старых дел о связях Воронцова с высланной некогда матерью великой княгини Екатерины Алексеевны. Видя, как проваливается в бездну Лесток, он ожидал, что за лейб-хирургом последует и вице-канцлер. Но не тут-то было! Воронцов, к неудовольствию Бестужева, удержался.

В чем же причина этого? Вряд ли Елизавету остановили воспоминания юности, в которых Воронцов занимал такое важное место. И тем не менее имея бесспорные свидетельства связей Воронцова с пруссаками, государыня его не тронула. Возможно, она не была уверена в безусловной виновности своего доброго, простодушного сподвижника, который был всегда ей предан и неопасен. В очередной раз она ускользнула от тех, кто расставлял на нее сети. Допускаю, что она не хотела полной победы Бестужева над его противниками - чужая душа потемки! Да ведь и сам канцлер тоже брал взятки!

Было бы ошибкой думать, что Елизавета ничего не понимала в дипломатии и только зевала, слушая шамканье Бестужева. Во-первых, она всегда помнила, чья она дочь. Престиж империи, утверждаемый как раз за границей, не был для нее пустым звуком. В 1753 году императрица с гневом писала в Главный магистрат, что ей «известно учинилось коим образом российские купцы для торга своего в чужестранные государства, а особливо в Швецию, приезжают и там так гнусно и подло пребывание свое имеют, что не токмо великое презрение и посмеяние на себя самих, но и на все всероссийское купечество немалое

предосуждение и поношение там наносят; а именно многие в серых кафтанах и с небритыми бородами приезжают, надлежащего пристойного обращения с чужестранными купцами не имеют, притом же некоторые и нетрезво себя содержат, также и другие, весьма непристойные поступки делают».

Императрица предписала, чтобы отныне «не токмо поведение свое и платье совершенно переменили, но и всякое честное поведение и пристойное обхождение и знакомство тамо заводить старались, ибо тем они, как себе самим, так и всему российскому купечеству честь, почтение и лучший кредит у всех чужестранных наций приобрести могут». Не доверяя русскому купеческому слову, государыня приказала отобрать у купцов подписки «с крепким подтверждением о честном и пристойном поведении под опасением за неисполнение высочайшего Ее императорского величества гнева и жестокого наказания» *(Указ Главному магистрату, с. 489-490)*. Есть и другие свидетельства крайне щепетильного отношения императрицы к вопросам международного престижа России.

Во-вторых, говоря об отстраненности Елизаветы Петровны от государственного управления, сделаем одну поправку - существовали дела, которые ни при каких обстоятельствах без нее решить было невозможно. До тех пор, пока она оставалась самодержицей и не хотела утратить этой власти, она была вынуждена подписывать именные указы, вести переписку. И среди бумаг, к которым прикоснулось перо Елизаветы, есть такие, которые отражают самое пристальное внимание императрицы к определенному виду дел. Это были дела по внешней политике, требовавшие как раз того, чем, казалось бы, вовсе не обладала императрица: внимания, трудолюбия, таланта. И тем не менее в непрерывной череде празднеств и развлечений Елизавета находила «окна», чтобы выслушивать доклады канцлера А. П. Бестужева-Рюмина или Ивана Шувалова, читать донесения русских посланников из-за границы, выписки из иностранных газет и перлюстрации. На таких бумагах остались пометы, сделанные ее рукой. Чем же объяснить такое исключение из правил царицы, далекой от всякого труда?

Ларчик открывается просто: внешняя политика была интересна императрице. Дипломатия тогда была «ремеслом королей»; вся Европа была монархической (за исключением Венеции, да и то там сидел дож, который воспринимался в России как государь), и всюду правили людьми императоры, короли, князья, ландграфы, герцоги. Это была большая, недружная семья властителей, хотя и связанная родством, но раздираемая противоречиями и враждой. Члены коронованного семейства

постоянно интриговали друг против друга, стремились расстроить чьи-то союзы, заполучить для себя новых союзников. Дипломатическая история переворота Елизаветы была весьма характерна для нравов тех времен. И еще важное обстоятельство: дипломатия была всегда персонифицирована, и часто, имея в виду страны, говорили «Мария-Терезия», «король Фридрих», «король Людовик».

Это был мир, в котором жили и интриговали мадам Помпадур и кардинал Флери, Уольпол, Бестужев, Юлленборг и десятки других известных личностей, между которыми с годами устанавливались довольно сложные отношения симпатии и антипатии, равнодушия, дружбы, вражды. У каждого из членов этого сообщества были свой имидж и своя кличка. Елизавета называла Фридриха «Иродом», он, в ответ, находил для нее, как и для Помпадур, весьма непристойные клички, самой мягкой из которых была «шлюха». Резкие высказывания, шутки друг о друге, слухи тотчас сообщались публике, обсуждались в салонах Парижа, на биржах Амстердама, становились достоянием гамбургских газет, которые читали по всей Европе.

Многие из боровшихся или друживших между собой государей никогда не видели друг друга, но тем не менее тонко ощущали свое родство по власти и свою борьбу. Императрица Елизавета в полной мере осознавала себя членом этой семьи и явно симпатизировала Марии-Терезии, с которой возмутительно вызывающе вел себя прусский король. Елизавете нравилось читать донесения посланников, особенно тех, которые подробно и живо описывали перипетии придворных интриг при дворе своего аккредитования. В мае 1745 года Бестужев поощрял русского посланника в Копенгагене барона Иоганна Альбрехта Корфа: «Все от вас присылаемые частные известия не только что Ее императорское величество сама читать изволит, но… реляции ваши имеют еще более преимущества пред другими, ибо оные для некоторых необходимых причин наперед докладываемы бывают Ее императорскому величеству, нежели частные дела и будьте уверены, что оными всегда Ее величество бывает довольна. Ваше высокоблагородие можете свободно продолжать ваши рассуждения и известия, а особливо из Швеции приходящие и касающиеся до Ее императорского величества высочайшего дома и интереса, также и княжеской Гольстинской фамилии» *(АВ, 4, с.585)*.

Крайне любопытное чтение для императрицы представляли зарубежные газеты. Выписки из них делались с таким расчетом, чтобы императрица могла сразу узнать все важнейшие зарубежные слухи и скандалы. И Елизавета полностью отдавалась

этому столь любезному ей миру интриг и сплетен. Этот мир представлялся ей огромным дворцом, где можно было внезапно отворить дверь одной из комнат и застать там камер-юнкера, тискающего в потемках камер-фрейлину. Все это, конечно, в европейском масштабе.

Вместе с тем Елизавета проявляла качества хорошего дипломата. В ее характере и поведении было много черт, тому благоприятствующих. Не без оснований француз Лефермиер писал в 1761 году, что «из великого искусства управлять народом она усвоила себе только два качества: умение держать себя с достоинством и скрытность». Последнее качество, как мы знаем, для дипломата первейшее, после ума, конечно. И оно не раз выручало Елизавету, спасало от опрометчивых поступков.

Бестужев все эти особенности личности своей повелительницы знал и, не добившись своего в деле Воронцова, в отставку тем не менее не подал. Вести корабль «Россия» по прочерченному им курсу было для него важнее всего. Что же это был за курс? По мнению раздосадованных неудачами в борьбе с канцлером пруссаков и французов, ошибка их состояла в том, что англичане и австрийцы купили Бестужева раньше их и дали ему больше. Но это было неверно, впрочем, как и утверждение, что Бестужев-Рюмин славился неподкупностью. Он ничем не отличался от своих противников, так же как они, был нечист на руку, брал взятки, много взяток и пенсионов, даже жил за счет взяткодателей. В документах английских дипломатов он имел кличку «My friend» (Мой друг). В 1746 году Бестужев получил от английского правительства гигантскую взятку в 10 000 фунтов, оформленных как долг без процентов на десять лет под залог дворца канцлера. При этом Бестужев умело вымогал деньги.

Когда осенью 1752 года саксонский курфюрст и польский король Август III испугался приготовлений Фридриха II к нападению на Саксонию, то его посланник в Петербурге устремился к русскому канцлеру за помощью. Тот, безусловно, обещал оказать содействие дружественному государю и при этом «признался» посланнику, что растратил на собственные нужды более 20 тысяч дукатов из денег Коллегии иностранных дел и что при первой же ревизии его, искреннего друга саксонцев, лишат должности. И тогда он не сможет помочь Саксонии. При этом он просил саксонского дипломата известить об этой печальной новости своих австрийского и английского коллег. Все три посланника сели обсуждать создавшееся положение - Бестужев явно вымогал деньги. Английский резидент Вульф, на карман которого особенно рассчитывали саксонец и австриец, возмутился и отказался спасать «своего друга». С бумагами на руках он

доказал коллегам, что за последний год передал канцлеру свыше 62 тысяч рублей. С трудом удалось «выбить» из английского резидента 8 тысяч рублей, остальные прислали от Марии-Терезии *(Щепкин, с.152-162; РИО, 102, с.254; РИО, 103, с.ПО и др.)*.

Секрет, казалось бы, странного поведения Бестужева, который брал деньги у одних и не брал у других, отгадывается довольно просто. Подкуп иностранных государственных деятелей в те времена был делом обычным. За деньги просили предоставить нужную информацию, надеялись, что деньги помогут изменить курс данного государства в нужную коронованному взяткодателю сторону. В 1749 году граф Гуровский, посланец графа Морица Саксонского, ставшего во Франции маршалом Саксом, предложил Бестужеву 25 тысяч червонцев, чтобы тот добился от императрицы Елизаветы обещания никогда не выпускать из ссылки герцога Бирона и его сыновей. Морицу, который еще в 1726-1727 годах неудачно претендовал на курляндский трон, все-таки хотелось его занять и для этого было крайне важно, чтобы герцог Бирон с сыновьями подольше посидел в своей ярославской ссылке.

Бестужев написал об этом разговоре с Гуровским Алексею Разумовскому и просил передать все это государыне. Канцлер сообщал, что он недавно «вкратце, за недостатком времени» (известно, что у Елизаветы времени для дел было очень мало) просил выпустить Бирона и отправить его в Курляндию и тем самым покончить с так называемым «Курляндским вопросом» - ведь свободный «курляндский стул» не давал покоя многим честолюбцам и тем создавал проблемы для России. Однако, как пишет Бестужев, государыня «сказать изволила, что его (Бирона. - *Е.А.*) не освободит». Поэтому Бестужев просит Разумовского передать императрице, что «граф Сакс ничего более и не требует, как такого со стороны Ее императорского величества изъяснения, что Бирон свободен быть не может; следственно мне легко было б 25 ООО червонных принять. Но я весьма верной Ее императорского величества раб и сын Отечества, чтоб я помыслить мог и против будущих интересов Ее и государства малейше поступить» *(Из подлинных бумаг, с.90-91)*.

Документ этот интересен не тем, что Бестужев демонстрирует свою неподкупность, а тем, как работает механизм подкупа и поведения сановника, которого покупают. Смысл документа в том, что Бестужев мог бы взять деньги за содействие Морицу Саксонскому и при этом совсем не заниматься хлопотами о том, чтобы Бирон по-прежнему сидел в ссылке - ведь государыня и так не намеревалась его выпускать. Зато потом можно было заявить Туровскому о «проделанной» канцлером работе. Но Бестужев по

каким-то причинам на сделку с Морицем не пошел, но представил все это дело в выигрышном для себя, как он думал, свете.

История с Бироном и Морицем позволяет понять философию продажности канцлера. Он не брал деньги от французов и пруссаков не потому, что очень не любил Людовика XV или Фридриха II и был без ума от Марии-Терезии или Георга II. Суть в том, что Бестужев не брал денег у противников своей политической линии и с охотой брал их у тех государей, политика которых не противоречила этой линии. Это было так же удобно и безопасно, как в описанном деле Морица. Взяткодатели думали, что политика России направляется ими благодаря деньгам, которые они дают Бестужеву. На самом же деле канцлеру не требовалось в этой политике ничего менять - эта политика отвечала его целям, намерениям, она одобрялась государыней. Польский король Станислав Август Понятовский писал о Бестужеве-Рюмине: «Как во всем, он был настойчив в том, чего хотел. Он всю свою жизнь был приверженцем Австрии, до ярости отъявленным врагом Пруссии. Вследствие этого, он отказался от миллионов, которые ему предлагал прусский король. Но он не совестился принять подношения и даже просить о нем, когда он говорил с министрами Австрии или Англии, или Саксонии, или другого какого-либо двора, которому он считал нужным благодетельствовать для пользы своего собственного отечества. Принять подачку от государя, связанного дружбой с Россией, было по его понятиям не только в порядке вещей, но своего рода признанием могущества России, славы которой он по-своему желал» *(Фурсенко, с.13)*.

В чем же суть политики, во имя которой канцлер брал и даже требовал от одних пенсионы и грубо отвергал взятки от других иностранцев? В многочисленных докладах, записках, письмах Бестужева-Рюмина не раз излагалась концепция внешней политики России, называемая им «системой Петра Великого». В основе ее лежало, во-первых, признание важности для России, как великой державы, собственных имперских задач. Во-вторых, опорой международных отношений России считались три союза - с «морскими державами» - Англией и Голландией, а также Саксонией и Австрией. Называя союз с Англией «древнейшим», Бестужев считал, что Россию и Англию связывают торговые отношения, которые приносят огромные барыши купечеству и казне, и за этот союз, имеющий экономическую подкладку, России нужно держаться двумя руками. Союз с Саксонией важен тем, что саксонский курфюрст - польский король, а Польша - один из тех районов Европы, куда с особой силой распространяются

русские имперские интересы. Заметим, что к этому времени будущие разделы Речи Посполитой были во многом подготовлены активной русской политикой по разложению польской государственности и отказываться от этого магистрального интереса ради эфемерного союза с Пруссией Россия никак не могла.

Но более всего общность долговременных интересов связывала Россию с Австрией. Это было продиктовано и «польской проблемой», и борьбой с Пруссией за влияние над Германией, и так называемыми «турецкими делами». Борьба России с сильной Османской империей была невозможна без союзника, а таким единственным естественным союзником, кроме ослабевшей Венеции, выступала Австрия, имевшая, как и Россия, давние претензии к Турции и мечтавшая, как и Россия, о расширении своих владений и влияния за ее счет.

Эту-то концепцию внешней политики Бестужев называл «системой Петра Великого», и дочь царя-реформатора ее горячо поддерживала, ибо она свято верила в то, что сохранение важнейших начал политики ее отца есть гарантия могущества России и одновременно незыблемости ее личной власти над страной. В конечном счете именно в этом и заключалась причина столь прочного положения Бестужева-Рюмина при дворе. В глазах Елизаветы престарелый канцлер, при всех его недостатках и пороках, был носителем столь уважаемой и комфортной для государыни идеи.

Отражала ли «система Петра Великого» взгляды и идеи самого Петра? В стратегическом смысле преемственность политики Петра I по укреплению империи сохранялась с того момента, как первый император умер в январе 1725 года. И правительство Елизаветы, вслед за правительством всех ее предшественниц на троне, эту общую идею всецело поддерживало. Ни один правитель России, ни до Елизаветы, ни после нее, не намеревался отказаться от завоеваний времен Северной войны, от влияния России в Прибалтике, Польше, Германии, на международной арене. Бестужев справедливо писал, что Петр Великий особо следил за Саксонией, «неотменно желал саксонский двор, колико возможно, наивяще себе присвоять, дабы польские короли сего дома совокупно с ним Речь Посполитую польскую в узде держали». Никто из русского руководства не хотел, чтобы Россия вернулась к положению 1680-х годов, когда Россия - великая страна - считалась второстепенным государством. Поэтому Бестужев продолжал «систему» Петра Великого, которую до него развивали Меншиков и Бирон, Остерман и Левенвольде.

В тактическом же смысле (выбор союзов, характер соглашений) «система Петра Великого» - мистификация Бестужева-Рюмина. Как объяснял государыне канцлер, безопасность России требует, «чтоб своих союзников не покидать для соблюдения себе взаимно во всяком случае… таких приятелей, на которых положиться можно было, а оные суть морские державы, которых Петр Первый всегда соблюдать старался, король Польский как курфюрст Саксонский и королева Венгерская по положению их земель, которые натурально с сею империею (то есть Россией. - *Е.А.*) интерес имеют. Сия система с самого начала славнейшего державствования Ее императорского величества… родителя состояла» *(АВ, 2, с.22-23, 78-81)*.

На самом же деле политический курс Петра Великого в конце его царствования был иным. С польским королем и саксонским курфюрстом Августом II отношения, после измены последнего в 1705 году, были далеки от дружественных и союзнических. Очень активно русская дипломатия действовала в Швеции и на севере Германии. Это вызывало острое недовольство как раз «морских держав», которые с русским царем дружить не хотели и даже несколько раз посылали в Балтийское море свои эскадры, запиравшие русский флот на его базе в Ревеле. Не было у Петра и союзнических отношений с Австрией. Они сложились у России благодаря А. И. Остерману уже после смерти первого императора, который в конце своей жизни все свои усилия устремлял на Восток - в Персию, на завоевание Индии. Умирая, Петр не оставил никакого политического завещания, которое бы позволило сверить достижения его преемников с тем, что задумывал великий государь.

Это не означает, что курс, который избрал Бестужев и назвал «системой Петра Великого», противоречил имперским интересам России. Так, перспективный союз с Австрией и контроль над Польшей вполне отвечали этим интересам. Более проблематична была форма отношений с Англией и особое ожесточение в отношениях с Пруссией. Русско-английские отношения сводились не столько к торговле, как писал Бестужев, сколько к так называемым субсидным конвенциям. Дело в том, что английский король Георг II был одновременно курфюрстом северогерманского владения Ганновер. О безопасности Ганновера его владетель весьма беспокоился. С одной стороны, Ганноверу могли угрожать явные захватнические аппетиты Пруссии, а с другой - Франции, которая постоянно тянула руки к Германии. Тем более для Ганновера был опасен союз Франции и Пруссии в ходе Войны за австрийское наследство 1740-1748 годов. Угрозу вторжения в Ганновер можно было отвести только с помощью

большой группировки войск, которая по первому сигналу двинется в Германию и живым щитом прикроет отчину английского государя. Для этого лучше всего подходили, по мнению английских политиков, русские войска - их у русской государыни было много, солдаты славились неприхотливостью, а в Петербурге денег все время не хватало. В 1746 и 1747 годах такие субсидные англо-русские конвенции были заключены.

Согласно их условиям Россия должна была предоставить за крупную сумму денег в полное ведение англичан, точнее - ганноверцев - армию в 30 тысяч солдат. Сразу же отметим, что никакого отношения к защите российских национальных или имперских интересов субсидные трактаты не имели. Это была просто продажа пушечного мяса за деньги. Весной 1748 года русская армия под командованием генерала князя В. А. Репнина, во исполнение конвенции 1747 года, двинулась через Германию на Рейн, где хозяйничали французы, воевавшие с Австрией и угрожавшие немецким владениям, в том числе и Ганноверу. Движение корпуса Репнина серьезно повлияло на ход переговоров в Аахене, и в итоге Война за австрийское наследство закончилась. Одновременно, раздраженный русским вмешательством в войну, Версаль порвал отношения с Россией. В декабре 1747 года Россию покинули посланник Даллион, а затем и консул Совер.

Прусский посланник уехал из Петербурга, как сказано выше, в следующем, 1748 году в самый разгар дела Лестока. К этому времени отчетливо определилась проавстрийская и антипрусская политика России. До 1743 года, который увенчался успехом пруссаков, заключивших с Россией договор о взаимопомощи, дела Фридриха в России, обеспеченные действием сильной «партии» Лестока и других, шли неплохо. Даже когда началась Первая Силезская война, Елизавета колебалась, на чью сторону встать. Екатерина II писала в записках, что «императрица имела одинаковые поводы к неудовольствию против Австрийского дома и против Франции, к которой тяготел прусский король» *(Екатерина, 1907, с.232)*. Наблюдения мемуаристки подтверждаются многочисленными дипломатическими документами.

Но потом русско-прусские отношения становились все хуже и хуже. Напрасно в 1746 году Фридрих II обвинял вернувшегося из Петербурга Мардефельда в том, что тот пожалел и не дал Бестужеву взятку в 100 тысяч рублей для предотвращения русско-австрийского сближения. Да, роль Бестужева в изменении курса русского правительства была велика, «партия» короля при русском дворе была подавлена, но все же самой важной причиной поворота России к Австрии стала политика самого Фридриха II в

ходе Первой и Второй Силезских войн, рост территории его королевства. Блестящие победы прусской армии стали представлять угрозу общей системе международных отношений и той роли, которую привыкла занимать в Европе Россия. Сильное беспокойство вызывали непредсказуемые, нарушающие все принятые нормы поведения поступки «мироломного» короля, его неприкрытая агрессивность и несомненная возрастающая сила.

Все империи «подворовывали», не стеснялись прихватить чужие территории, расширяя зону своего влияния, ведя упорную закулисную борьбу в «спорных» зонах. Но никто не действовал столь решительно и грубо, как Фридрих. России, например, потребовались многие десятилетия, чтобы незаметно втянуть в себя и «проглотить», как удав кролика, Курляндию, затем точными, выверенными шагами низвести до ничтожества государственность Речи Посполитой, приучить общественное мнение, усыпить бдительность врагов России, отвлечь их от «жирного гуся» (так называл Курляндию Бирон). А тут неожиданно и дерзко появляется король-разбойник, на глазах у всех он нападает на почтенную даму и грабит ее раз, потом другой! Доверять такому господину нельзя. По этому поводу Бестужев писал: «Коль более сила короля Прусского умножится, толь более для нас опасности будет, и мы предвидеть не можем, что от такого сильного, легкомысленного соседа нашей империи приключиться может» *(АВ, 2, с.19-21)*. Речь, конечно, шла не о территории России, а о ее интересах в Европе.

Фридрих, несмотря на все свои старания усыпить «северную медведицу», достичь этого так и не смог - слишком тесна Европа, слишком перепутаны в ней различные интересы. В итоге, если во время Первой Силезской войны (1740-1742) Елизавета, при дворе которой была сильна прусско-французская партия Шетарди - Лестока, прохладно относилась к отчаянным призывам Марии-Терезии о помощи, которую Россия была обязана предоставить согласно договору, то все изменилось с началом в 1744 году Второй Силезской войны, когда Фридрих напал на Саксонию. Это был тревожный звонок для Петербурга. Вторжение рассматривалось как вмешательство в сферу русских интересов - ведь саксонский курфюрст - наш польский король! Саксония обратилась за содействием к России. Елизавета, как всегда, долго колебалась, но потом ее убедили слова канцлера: «Интерес и безопасность… империи всемерно требуют такие поступки (Фридриха. - *Е.А.*), которые изо дня в день опаснее для нас становятся, индифферентными не поставлять, и ежели соседа моего дом горит, то я натурально принужден ему помогать тот огонь для собственной безопасности гасить, хотя бы он

наизлейший мой неприятель был, к чему я еще вдвое обязан, ежели то мой приятель есть». С позором изгнанный из Дрездена Август III как раз и был приятель России.

Бестужев в специальной записке, поданной императрице в сентябре 1745 года, настаивал на выработке конкретного плана помощи Саксонии, ибо, по его мнению, оставшись в стороне, «дружбу и почтение всех держав и союзников потерять можно» *(АВ, 2, с.71-72, 81-82)*. Елизавета Петровна вняла требованиям Бестужева и 8 октября 1745 года предписала фельдмаршалу Петру Ласси сосредоточить в Лифляндии и Эстляндии около 60 тысяч войск, чтобы весной начать наступление против Фридриха II. Это обстоятельство ускорило заключение мира между Пруссией и Саксонией. Не будем забывать, что ахиллесова пята Прусского королевства - Восточная Пруссия, находилась прямо под носом Российской империи и, как показали события Семилетней войны, защитить Кенигсберг основными силами прусской армии оказалось невозможно.

Уже после этого отношения России к Пруссии стали подчеркнуто недружественными. Но это была победа Бестужева, и он, не без удовольствия, писал императрице, подводя итог всему происшедшему: «Король прусский не вполне преуспел в своих домогательствах и что достигнутое им от России не совсем соответствовало его надеждам». Так оформилась доктрина сдерживания Фридриха с помощью угрозы захвата Восточной Пруссии и намерения войти в Германию с экспедиционным корпусом. Важным элементом этой доктрины стали и дружественные отношения России с Австрией. С начала 1746 года в Петербурге велись напряженные переговоры с австрийскими дипломатами о заключении оборонительного союза. Договор был подписан в конце мая 1746 года и оказался очень важен для Австрии. Союзники обязались поддерживать друг друга в действиях против Турции и Пруссии, причем Мария-Терезия очень рассчитывала найти поддержку у России в осуществлении своей заветной мечты - возвращении Силезии в состав империи. История с подготовкой корпуса Ласси в 1745 году показалась удачной, и Россия с тех пор держала в Лифляндии крупную группировку войск, готовую в любой момент двинуться на Кенигсберг.

Напряженные отношения с Пруссией ужесточало начавшееся острое соперничество русских и прусских дипломатов в третьих странах. В конце 1740-х годов Петербург был особенно раздражен попытками Пруссии вмешаться в шведские дела и добиться усиления шведского короля. Это как раз шло вразрез с интересами России, которая хотела ослабления шведской

государственности и всячески поощряла борьбу политических группировок в среде шведского дворянства и в рикстаге. Наконец, к прочему прибавилось яростное неприятие императрицей Елизаветой персоны Фридриха, которого она, подобно Марии-Терезии и мадам Помпадур, люто возненавидела. Чем же Фридрих вызвал такую ярость трех прекрасных дам, будет сказано в главе о Семилетней войне.

ГЛАВА 7
СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ ДВУХ ЛЕНТЯЕВ

XVIII век, как и все другие столетия, полон историй о счастье, которое вдруг падает к ногам самого обыкновенного человека, как сказочной красоты бриллиант, и нужно только наклониться, чтобы поднять его из дорожной пыли. История удачи одного из самых счастливых семейств XVIII века - Разумовских - началась в первых числах января 1731 года. «Изрядно продрогший полковник Федор Вишневский, командированный на Украину за вином для двора императрицы Анны Ивановны, остановил свои сани у ограды маленькой церкви села Чемары, что под Черниговом, перекрестился и вошел в теплую тьму сельского храма. Шла служба, в церкви было много народа, пел хор и сразу же Вишневский замер от изумления - среди голосов хористов его ухо уловило дивный тенор. Его обладатель - ладный 22-летний парубок Олеша Розум вскоре предстал перед столичным гостем». Так или примерно так описывают начало этой волшебной истории все авторы. И самое удивительное, что история эта, несмотря на ее литературность, подлинная. Вишневский - реально существовавший человек, после возвышения Разумовского ставший одним из его приближенных. Молодой Розум сразу же понравился Вишневскому, оценившему скромность, природную воспитанность, голос, ум и прекрасную внешность певца. На следующий день полковник увез Алешу в дальний заснеженный Петербург, в придворную капеллу. Так начался «случай» Разумовского.

Как известно, в XVIII веке «случаем» называли успех, удачу, необыкновенное везение. В соседней с Чемарами деревне Лемеши на почтовой дороге от Чернигова на Козелец, где жила вся большая семья Розумов (отец, мать, три сестры и три брата - Данила, Алексей и Кирилл), так и считали - Алешке Розуму подвалило необыкновенное счастье! Впрочем, такие случаи были известны и раньше - украинских певчих высоко ценили в церковных хорах России и в придворной капелле, их даже выискивали по всей Украине присланные из столицы нарочные. По петербургскому тракту отправились уже многие местные хлопцы. Щедрая, певучая Украина была неисчерпаема на голосистые таланты. Как писала наперсница цесаревны Елизаветы Мавра Шувалова в 1738 году с Украины своей госпоже, «с

великою охотою отдают к Вашему высочеству хлопцев отцы и родня, слышут, каковы к ним милостивы и как содержите» *(АВ, 1, с.82)*. Но Алеше повезло вдвойне - его жизнь была тяжела, в округе не знали другой такой бедной и несчастной семьи, какой была семья Розумов. Отец Алексея Григорий Розум был горьким пьяницей, большую часть дня проводил в шинках, пропивая там все, что мог найти дома и отобрать у жены. У Натальи же Демьяновны Розумихи - матери Алексея - оказалось ангельское терпение. Жить со вздорным, грубым, несдержанным на слово и руку мужем было мучительно и даже опасно: как-то раз он спьяну чуть не зарубил топором Алексея, обнаружив, что сын не пасет стадо, а сидит дома с книжкой в руках.

Говорят, что судьба - это характер. Розумиха была отчаянной оптимисткой и, несмотря на несчастную жизнь с пьяницей и драчуном, свято верила в грядущее счастье своих детей. За три дня до того, как полковник Вишневский вошел в притвор чемарской церкви, Розумихе приснился сон, что в ее хате под потолком сияли сразу и солнце, и месяц, и звезды. Соседи смеялись над ее наивными пророчествами о сказочном будущем сыновей. Но старая казачка чувствовала приближение счастья, видела его отблески в незаметных для других черточках обыденной жизни. Став потом камер-дамой двора императрицы Елизаветы Петровны, она не без удовольствия вспоминала: «Сыновья мои родились счастливыми: когда Алеша хаживал с крестьянскими ребятишками по орехи и грибы, он их всегда набирал вдвое больше, чем товарищи, а волы, за которыми ходил Кирюша (то есть будущий граф, кавалер, гетман Украины, президент Академии наук и генерал-фельдмаршал Кирилл Григорьевич Разумовский. - *Е.А.*), никогда не заболевали и не сбегали со двора» *(Васильчиков, с.3-4 и далее)*.

И вот свершилось - Алеша уехал в столицу за своим счастьем. Вишневский представил Алексея Розума обер-гофмаршалу двора графу Левенвольде, и тот зачислил юношу в придворный хор. Однако вскоре, вероятно молитвами Розумихи, Алексея Розума услышала и увидела цесаревна Елизавета Петровна. И вот, на одной из служб в придворной церкви, она, как раньше полковник Вишневский, была потрясена голосом нового певчего Алексея Григорьева, а еще больше - необыкновенной красотой этого гибкого, смуглого, высокого парня с черными глазами, в которых светился ум, покой и юмор. Она влюбилась в этого певчего - своего ровесника. И хотя Алексей вскоре простудился, потерял голос и потом лишь играл на бандуре, из сердца своей красавицы он уже не выходил.

По воле цесаревны его тотчас перевели к ее двору. В реестре

об отпуске придворным и служителям вина и пива имя «певчего Алексея Григорьева» значится выше музыкантов и певчих, среди имен камердинеров, и на день ему было положено выдавать по одной «крушке» вина и по четырем-семи - пива *(АВ, 1, с.20)*. Постепенно казачий сын стал при дворе цесаревны первым человеком, звался уже Алексеем Григорьевичем Разумовским, сладко ел и пил, мягко спал в опочивальне цесаревны. Он ведал имениями цесаревны, благосклонно выслушивал многочисленных льстецов. У него появилась масса небескорыстных друзей, которые вились вокруг того, кто держал в руках сердце веселой, неугомонной красавицы. И нужно отдать должное Разумовскому - он укротил Елизавету, стал ее повелителем почти на два десятилетия!

Возрастающее значение красивого певчего в 30-е годы XVIII века заметно по множеству писем и прошений на его имя о заступничестве, денежном пособии, помощи. Десять лет пролетели в празднествах, охотничьих забавах, поездках в загородное имение цесаревны Царское Село. Все это время Алексей Разумовский был рядом со своей возлюбленной. Однако ночью 25 ноября 1741 года «друга нелицемерного» (так цесаревна называла в письмах Разумовского) рядом с ней не было. Человек нетрусливого десятка, он воодушевлял подругу на подвиг, но при этом обладал природным тактом, чтобы вовремя уйти в тень, не появляться в гвардейской казарме в роковой час переворота - в ту ночь наследница великого Петра принадлежала не ему, а гвардии, Отечеству, России.

Ну а уже наутро, когда его панночка взошла на престол, он привычно стоял за ее спиной - теперь не просто певчий, а первый человек в империи. Награды, чины и пожалования сразу же хлынули на него золотым дождем. В день коронации Елизаветы Петровны на церемонии в Кремле 25 апреля 1742 года Разумовский нес шлейф и был пожалован чином обер-егермейстера и орденом Святого Андрея Первозванного. Так решила императрица накануне, написав: «Синия ленты дано: князю Василью Владимировичу, Алексею Григорьевичу и обер-егермейстером» *(Бумаги, с.48)*. Если для бывшего украинского пастуха усыпанная бриллиантами звезда была в диковинку, то недавно выпущенный из тюрьмы старый фельдмаршал В. В. Долгорукий получал ее…во второй раз. Впервые он удостоился высшего ордена в краткое правление Петра II, но в 1731 году был лишен и наград, и поместий, и чинов, и свободы на долгие десять лет - так императрица Анна Ивановна отомстила своим врагам из княжеского рода Долгоруких. Кроме этого, Разумовский получил деревни и села в России и на Украине. Впоследствии он стал

генерал-фельдмаршалом, хозяином Аничкова дворца.

Согласно легенде, в дни пребывания двора в старой столице Разумовский выехал за несколько станций от Москвы навстречу матери, с которой не виделся более десяти лет. Розумиха долго отказывалась признать в роскошном, холеном вельможе в бриллиантах и кружевах своего Олешу, пока тот, мало смущаясь блестящей свиты, не разоблачился и не показал матери родимое пятно, о котором знала лишь она да, может быть, Елизавета. Старушку переодели в фижмы, робу, причесали, нарумянили и повезли во дворец, где она тотчас пала на колени, приняв за императрицу собственное отражение в гигантском золоченом зеркале. Но потом окруженная любовью сына и обласканная императрицей Наталья Демьяновна быстро освоилась в Москве. Вернувшись к удобному ей малороссийскому платью, старая шинкарка (на деньги, посылаемые сыном, Розумиха после смерти мужа купила шинок и вела бойкую торговлю) принимала украинскую старшину, а потом, истосковавшись по Лемешам, отпросилась у царицы и сына домой. Сын всегда с любовью и почтением относился к матери, что хорошо видно из его писем ей: «Милостивая государыня матушка! Сказувал мне Степан Лутай, что желание есть, чтоби смотреть за теми дворами и хуторами, которие вы изволили сами покупать. И ежели то подленно так, то прошу мне уведомить, то я с радостию велю их отдать вам…» *(Письмо Разумовского, с. 488)*.

Влияние Разумовского на Елизавету-императрицу после коронации не уменьшилось, а даже возросло. Все царедворцы, министры и генералы, непрерывно, как тогда говорили, «ласкали» его. Как писал саксонский дипломат Пецольд, «хотя он прямо и не вмешивается в государственные дела, к которым не имеет ни влечения, ни талантов, однако каждый может быть уверен в достижении того, что хочет, лишь бы Разумовский замолвил слово». Лучше всего Разумовский чувствовал себя дома, вдали от затянутых пороховым дымом поприщ бессмертной славы. Ленивый, вальяжный, в парчовом шлафроке, он вместе с одетой по-домашнему императрицей обедал в кругу ближних людей за столом, который с помощью механизма поднимался с нижнего этажа, полностью сервированный и уставленный дымящимися яствами. В 1754 году такую машину показывали приехавшим на экскурсию в Царское Село иностранным дипломатам: «Пред обедом министры с особливым любопытством рассматривали машины столовые, а после обеда в скорости оные столы спущены и полы переведены были, чему особливо удивлялись» *(АВ, 4, с.656)*. Делалось так для того, чтобы слуги не могли видеть теплой компании, которая собиралась на половине у Алексея

Григорьевича. Из мемуаров Екатерины II мы узнаем, что ее супруг как-то раз просверлил дырочку в двери и приглашал поглядеть на это зрелище и Екатерину, которая, однако, благоразумно уклонилась от приглашения. По крайней мере так Екатерина написала в своих записках *(Екатерина, 1907, с.132)*.

Благодушие Разумовского вошло в поговорку. Он не был безмерно честолюбив, не рвался к должностям и званиям, его не сжигала жажда деятельности, сладости власти он предпочитал покой и волю. Впрочем, власть у него была всегда под рукой, и он мог ею воспользоваться по своему усмотрению - для любовника, а потом и мужа императрицы не существовало никаких преград. Захотел он стать графом Великой Римской империи германской нации - и вот сам австрийский император Карл VI подписал роскошную грамоту о пожаловании украинского пастуха в рейхсграфы, причем из грамоты Разумовский узнал, что он родился от древнего польского рода Рожинских, не имевших, естественно, никакого отношения к пьянице Гришке из Лемешей. Сочинил всю эту генеалогию ученый монах из Киево-Печерской лавры Михаил Козачинский. Разумовский был глубоко верующим человеком и крепко держался за ритуальную сторону веры: как-то раз сам патриарх Константинопольский давал разрешение больному Разумовскому нарушить строгий пост. Подозреваю, что грамота из дальнего Стамбула пришла в Петербург уже тогда, когда либо Разумовский выздоровел, либо пост кончился. Зато все подивились особому благочестию фаворита.

Зная благодушие и щедрость Разумовского, толпы «искателей» окружали его. Льстивые письма первейших вельмож империи вчерашнему пастуху - яркое тому свидетельство. В письмах к Елизавете ее сподвижники обязательно передавали приветы «особливо Алексею Григорьевичу». Ближе всего к фавориту стоял канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Разумовский был необразованным, но умным человеком и прекрасно понимал, что сравниться по уму с Бестужевым никто в России не может, кроме, пожалуй, сидевшего в Березове Андрея Ивановича Остермана, а значит, Бестужева надо всячески поддерживать, что фаворит и делал.

В окружении Алексея Разумовского были и другие люди, очень известные впоследствии - уже в царствование Екатерины II. Первым из них следует назвать Григория Теплова, сына истопника, нежного воспитанника знаменитого Феофана Прокоповича, человека талантливого, образованного, но подлого, способного на предательство и любую низость, и все - ради карьеры. Теплов был сделан воспитателем Кирилла Разумовского вместе с Василием Адодуровым - первым русским выпускником

Академической гимназии и первым адъюнктом Петербургской Академии наук, составителем первой русской грамматики. Адодуров должен был учить Кирилла правильному русскому языку. Генерал-адъютантом при Разумовском был Александр Петрович Сумароков - знаменитый русский поэт. Сумароков служил Разумовскому вместе со знаменитым при Екатерине II «Перфиличем» - Иваном Перфильевичем Елагиным, литератором, более известным как один из отцов русского масонства.

Только лишняя рюмка горилки могла вывести Разумовского из состояния покоя и благодушия. Тогда дух старого драчуна и грешника Розума вселялся в него, и Алексей Григорьевич утрачивал свой мягкий украинский юмор и бывал, как осторожно выражается современник, «весьма неспокоен» *(Порошин, с.72)* или, попросту говоря, раздавал окружающим тумаки или приказывал сечь подвернувшегося под горячую руку - впрочем, грех простительный для такого вельможи и благодетеля! Особенно бушевал Разумовский на охоте, и, по сохранившимся легендам, больше других почему-то доставалось П. И. Шувалову: то ли поведение будущего фельдмаршала чем-то не нравилось Разумовскому, то ли физиономия казалась подходящей для оплеухи. Как повествует легенда, супруга Шувалова, Мавра Егоровна, всякий раз заказывала молебны во здравие, если ее муж возвращался с охоты небитым Разумовским *(Пекарский, 1911, с.15)*. Государыня тоже боялась, когда ее Олеша прикладывался к горилке. Тогда он становился неуправляемым. Как-то раз двор находился в имении Разумовского - Гостилицах, и случилось несчастье: один из корпусов, в котором спали наследник престола и его жена, рухнул ночью, задавив нескольких слуг. И хотя Петр Федорович и Екатерина успели выскочить, горю хозяина не было края. Как вспоминает Екатерина II, императрица Елизавета приказала «присматривать за ним, в особенности опасалась она, что он напьется - к этому он имел естественную склонность, и вино действовало на него плохо: он становился неукротимым и даже бешеным. Этот человек, обыкновенно такой кроткий, в нетрезвом состоянии проявлял самый буйный характер. Опасались, чтоб он не покусился на свою жизнь» *(Екатерина, 1907, с.126)*. А вообще-то, Разумовский, как потом Иван Шувалов, был безобиднейшим из длинного ряда фаворитов российских императриц. Как прекрасно писал биограф Разумовского А. А. Васильчиков, «среди всех упоений такой неслыханной фортуны, Разумовский оставался всегда верен себе и своим. На крылосе и в покоях Петербургского дворца, среди лемешевского стада и на великолепных праздниках роскошной Елизаветы, был он всегда все тем же простым, наивным, несколько хитрым и насмешливым,

но в то же время крайне добродушным хохлом, без памяти любящим прекрасную свою родину и своих родственников… вся родня его вышла в люди» *(Васильчиков, с.21)*.

Есть множество свидетельств той любви, которая долго связывала императрицу с Разумовским. Один видел, как в сильный мороз, выходя из театра, самодержица Всероссийская заботливо застегивала ему шубу и поправляла на его голове шапку. Другой наблюдал на охоте, как Разумовский простудился и заболел, а государыня «при всех кавалерах, кто тут же ездил за охотою, взошед в тот шалаш и, как словно со своего мужа, рубашку сняла и надевала другую». Третий слышал разговор Елизаветы Петровны с каким-то генералом с голубой лентой, который предлагал убавить псовую охоту «для того, что ее очень много, и на то государыня изволила сказать: «Инде той охоты убавить!», но Разумовский возразил: «Ежели изволите приказать убавить, то прошу Вашего величества, чтоб меня от двора уволить», и государыня изволила сказать: «Инде на что убавливать, можно и еще прибавить!» *(РГАДА, 7, 1, 5, ч.2, л.64 об. - 66; РГАДА, 7, 1, 5, ч.3,л.6- 6 об.)*.

Попавший в Тайную канцелярию дворцовый служитель Семен Ачаков дерзновенно рассказывал: «Разумовского спальня возле государниной спальни и как двери отворят и придет государыня или Разумовский - кто из них захочет, - и ежели государыня придет к тому Разумовскому, то он, Разумовский, своего камердинера вышлет из спальни и что хотят то они там и делают, а что фрейлины от все до одной знают и она, государыня, с тем Разумовским ездит в баню вместе, к слепому бандуристу». Разумовский «з государынею в одном шлафроке кушает и можно думать, что оной Разумовской с нею, государынею, живет». Другой допрашиваемый был уверен не только в том, что «комната Разумовского возле комнаты Ее величества», но и что «оной Разумовский вместе с государыней на одной постели и спит». В 1750 году расследовался преступный разговор двух служивших у А. Г. Разумовского украинцев - Петра Ласкевича и Григория Александровича: «Видел он, Ласкевич, что государыня в потемках из спальни своей бежала к Разумовскому в покой в одной сорочке и на переходах встретилась с ним, Ласкевичем, и при том будто бы оной Александрович говорил же, ежели б так она, государыня, попалась, то б я ей не спустил» *(ОВ, 2, с.277; РГАДА, 7, 1, 5, ч.3, л.8 об; РГАДА, 7, 1, 5, ч.2, л.55 - 55 об.)*.

Лакей Лазарь Быстриков попал в Тайную канцелярию за такое воспоминание: «Во время бытности моей при дворе видел я, что Ее величество живет с Разумовским, и видал же я часто, что Ее величество у Разумовского сиживала на коленях». В Оренбург

на вечные работы с вырезанными ноздрями в 1751 году отправился под конвоем другой свидетель эпизодов интимной жизни государыни - солдат Василий Щеченок. Он видел, «во дворце в покоях в окошко (которое было растворено): под тем окошком Всемилостивейшую государыню и Алексея Григорьевича Разумовского вместе, и в то время с оного Алексея Григорьевича спали штаны, то тогда Всемилостивейшая государыня молвила Алексею Григорьевичу: «Поди сюда, я тебе штаны-та подвяжу!» и потом повела ево, Алексея Григорьевича, в другие покои и те штаны ему и подвязала» *(РГАДА, 7, 1, 5, ч.3, л.3 об. и др.)*.

Императрица и Разумовский, не скрываясь, часто появлялись на людях. Это была завидная, счастливая пара. Такими их увидел в Эстляндии один из местных жителей. Он был восхищен красотой Елизаветы, которая вышла вместе с Разумовским из кареты на берегу моря и гуляла по лугу «веселая и без всякой принужденности». Стоял июль, сияло яркое солнце, с моря дул легкий ветер. «Государыня была в легком платье, она поговорила что-то с графом Разумовским… и он повел ее под руку на близлежащую возвышенность». Мемуарист неожиданно оказался в десяти шагах от державной красавицы. «Ветер взвевал ее шелковую черную юбку так, что виднелась сорочка тончайшего полотна. «Не уставай!» - сказала она по-русски графу Разумовскому и тотчас очутилась вместе с ним на холму, окруженная толпою зрителей обоего пола» *(Поездка, с.7)*.

Подобные рассказы волнами расходились по стране. Материалы Тайной канцелярии свидетельствуют, что в народе не любили фаворита императрицы, хотя он не был так жаден, как Меншиков, или так страшен, как Бирон. Мне кажется, что народ вообще не любит, когда государь счастлив в семейной жизни. Правитель должен любить только народ, который всегда ревнует его к другому или другой.

По этим следственным делам кажется, что не было застолья, где бы не обсуждался «блуд» императрицы с Разумовским, где бы не говорилось, что «Разумовский нажил себе щастие чрез тур (выговоря то слово скверно)» или что он «государыню попехивает». Говорили об этом обычно с особым неудовольствием и даже ненавистью, как будто пересыпанную матом речь за кабацким столом вели не простые пьяные грешники и их порой весьма непритязательные подружки, а исключительно праведники, постники и девственницы. Соликамская жонка (так в делах сыска называли замужнюю женщину) Матрена Денисьева говорила своему любовнику - дворовому человеку: «Вот мы с тобою забавляемся (то есть чиним блудодеяние), так и Всемилостивейшая государыня с Алексеем Григорьевичем

Разумовским забавляются ж». Еще крепче выразились и жонки Ульяна и Елизавета соответственно: «Мы, грешницы, блядуем, но и Всемилостивейшая государыня с Алексеем Григорьевичем Разумовским живет блудно»; или: «Я - блядь, но такая Всемилостивейшая государыня живет с Разумовским блудно» *(РГАДА, 7, 1, 5, ч.2, л.77 об, 93 об; 15 об.)*.

Если вернемся к Разумовскому и Елизавете, то скажем, что секрет этой искренней, вызывающей зависть и ненависть любви был не только в плотской страсти императрицы к статному красавцу, но и в его несокрушимой надежности, верности и доброте. В придворном мире, среди интриг и ненависти, Разумовский выделялся тем, что, обладая невероятными возможностями фаворита властительницы империи, никогда ни в чем не посягнул на власть государыни, не позволил заподозрить себя ни в каких интригах против нее. Всю свою благополучную - через край - жизнь он помнил, кто он, откуда и в чем секрет его счастья. Он знал людям и себе самому истинную цену и не раз, с присущим его народу мягким юмором, шутил над той волшебной историей, которая в январе 1731 года началась в селе Чемары.

Но, попав в Петербург, понравившись цесаревне и став ее фаворитом, он, оказывается, достал еще не все золотые яблоки. Осенью 1742 года в глубокой тайне, о которой знали только несколько человек, два раба Божьих - «раб Алексей» и «раба Лизавета» венчались в церкви подмосковного села Перово. Так произошло невероятное - украинский пастух стал мужем русской императрицы.

Как появилась идея этого беспримерного в истории России брака правящей императрицы с одним из ее подданных, неизвестно. В XVII веке дочери царя - царевны - оставались в девицах на всю жизнь и под старость уходили в монастырь. Завести семью они не могли - против этого были законы и традиция. Их не выдавали за иностранных принцев, ведь православной царевне пришлось бы сменить свою священную веру! Нельзя было отдать царскую дочь и за подданного - государева холопа. Впервые женщин из дома Романовых стал выдавать замуж за границу Петр. Так стали герцогинями Анна и Екатерина Ивановны. Но это все же были браки с царственными особами. Выходить за своих подданных царские дочери начали после смерти Петра Великого, который сам, своим браком с латвийской крестьянкой Мартой Скавронской, сильно расшатал вековые династические традиции. Во второй половине 1720-х годов дочь царя-соправителя Петра I Ивана Алексеевича царевна Прасковья Ивановна тайно венчалась с генералом Иваном Ильичей Дмитриевым-Мамоновым. Но и это не могло сравниться

с тем, что произошло в 1742 году: под венец шла не просто царевна - дочь давно умершего царя, а самодержица Всероссийская, повелительница жизни и судьбы миллионов русских!

По-видимому, церковного оформления этого брака хотела сама государыня, которая была довольно набожна. Ее тяготило то, что брак с Разумовским оставался столько лет «блудным», незаконным. В своем христианском намерении Елизавета встречала полную поддержку у Разумовского, человека глубоко верующего, а также у своего духовника отца Федора Дубянского - священника умного и влиятельного. С его именем связывают усиление «патриотической партии» в русском духовенстве и при дворе. Эта партия боролась с влиянием протестантизма и вообще всего западного в России. По-видимому, именно Дубянский и венчал императрицу с Разумовским в маленькой церкви в Перово. Впоследствии Елизавета построила здесь великолепный дворец, разбила прекрасный английский парк и подарила все это в 1744 году Разумовскому. Особо богатые дары она приносила в памятную ей церковь. Позже здание перестроили, и над крестами обычной русской церкви засверкала золоченая корона - копия тех, которые держали над головами венчавшихся в перовской церкви в 1742 году. Кто держал короны, кто вообще в тот день был в церкви - мы не знаем и никогда не узнаем. Эти несколько человек умели помалкивать. Лишь через пять лет саксонский резидент Пецольд написал: «Все уже давно предполагали, а я теперь это знаю достоверно, что императрица несколько лет тому назад вступила в брак с обер-егермейстером». Некоторые косвенные свидетельства позволяют нам поддержать Пецольда в его запоздалых разысканиях - факт венчания, несомненно, достоверен.

Самым важным является документ служебного назначения - именные списки лейб-компании, в которых числился и Разумовский. В эти списки вносились довольно подробные сведения о лейб-компанцах, участниках переворота 1741 года: об их образовании, семейном положении, наличии крепостных и т. д. Графа о семейном положении вполне стандартна: если человек женат - указано имя жены, если одинок, то указана причина - «вдов» и т. д. Если посмотреть на графу о семейном положении графа Разумовского, то можно заметить, что в этой, столь пунктуально заполненной по всем другим графам и разделам ведомости зияет чистый пробел: не написано ничего!

Мне кажется, что этот пробел в документе убедительно свидетельствует о тайном браке императрицы Елизаветы и Разумовского. В самом деле, поставим себя на место составителя

именных списков. Зная о реальном положении дел, что он мог написать в графе о семейном положении фаворита? «Холост» - это неправда, «Вдов» - тоже неправда, «Женат» - тогда нужно указать имя жены. Не могли же писцы отметить: «Елизавета Петрова дочь Романова». Поэтому графа о семейном положении была оставлена пустой *(см. Именные списки)*.

Много десятилетий спустя после того осеннего дня в Перово, уже при Екатерине II, когда Разумовский мирно доживал свои дни в Москве, историю эту пришлось вспомнить. Покой старого вельможи, давно удалившегося от дел, потревожил срочно прибывший из Петербурга генерал-прокурор Сената князь А. А. Вяземский. Он поспешно явился к Алексею Григорьевичу с необычайной просьбой от императрицы Екатерины II - подтвердить или опровергнуть слух о его тайном браке с покойной императрицей Елизаветой. К повторению елизаветинского тайного венчания императрицу принуждал Григорий Орлов, которому не терпелось стать мужем государыни. Говорят, что Разумовский в ответ на переданное генерал-прокурором повеление помолчал, подумал, потом бережно достал из драгоценной шкатулки завернутую в шелк заветную грамоту с печатями, дал ее прочитать генерал-прокурору и к величайшему изумлению вельможи бросил в горящий камин… Прошедшие с чемарской истории годы не пропали даром для лежебоки - он стал мудрецом и опытным царедворцем.

Смысл его поступка заключался в том, чтобы, с одной стороны, подтвердить подлинность своего брака с императрицей (для этого он и показал документ первому чиновнику России), а с другой - показать свою преданность государыне. Он бросил драгоценную бумагу в камин, «уничтожил» исторический прецедент и тем самым развязал Екатерине руки - мол, бумаг нет, брака нет! Ведь если проникнуть еще глубже в помыслы Разумовского, то можно понять ход его мыслей - если самовластная правительница Российской империи, самодержица Всероссийская, которая может все, что ей заблагорассудится, спрашивает у него через генерал-прокурора, был или не был прецедент с браком царствующей монархини с одним из ее подданных, то она явно не хочет этого брака.

При такой любви Елизаветы и Разумовского уже тогда казалось странным отсутствие у них детей. И слухи о детях от этого брака появились уже при жизни наших героев, а потом вылились в драматическую легенду о так называемых «князьях» или «графах Таракановых». Дело это настолько запутано, что наверняка утверждать о детях Елизаветы и Разумовского мы не можем. Но вначале о слухах. В 1751 году в Тайной канцелярии

расследовали дело крестьянки Прасковьи Митрофановой, говорившей: «Государыня матушка от Господа Бога отступилась, что она живет с Алексеем Григорьевичем Разумовским, да уже и ребенка родила, да не одного, но и двух - вить у Разумовского и мать-та колдунья. Вот как государыня изволила ехать зимою из Гостилицкой мызы в Царское Село и как приехала во дворец и прошла в покои, и стала незнаемо кому говорить: «Ах, я угорела, подать ко мне сюда истопника, который покои топил, я ево прикажу казнить!», и тогда оного истопника к ней, государыне, сыскали, который, пришед, ей, государыне, говорил: «Нет, матушка, всемилостивая государыня, ты, конечно, не угорела» и потом она, государыня, вскоре после того родила ребенка и таперь один маленькой рожденный от государыни ребенок жив и живет в Царском Селе у блинницы, а другой умер и весь оной маленькой, который живет у блинницы, в нее, матушку всемилостивую государыню, а государыня называет того мальчика крестным своим сыном, что будто бы она, государыня, того мальчика крестила и той блинницы много казны пожаловала». За этот рассказ Прасковья Митрофанова была наказана кнутом и отослана на житье в дальний сибирский город - наказание весьма суровое *(РГАДА, 7, 5, ч.2, л.11 об.)*.

Анализировать этот рассказ весьма сложно, но из первой его половины (о ложном угаре императрицы) хорошо видно, что источник сведений о беременности государыни находился где-то поблизости от Елизаветы. Так и видишь, что кто-то из прислуги затаился в соседнем с царицыным покое и слышал разговор Елизаветы с «незнаемо кем». К этому примешивается легенда о Розумихе - колдунье, которая, надо понимать, и приворожила императрицу к Разумовскому. Затем следует самое существенное - рассказ о некой царскосельской блиннице - тайной мамке сына Разумовского и Елизаветы. Эта история, может быть, и не лишена какой-то подлинной основы - подобным образом часто поступали с незаконнорожденными детьми. Вспомним историю тайного рождения в 1762 году Алексея Бобринского - внебрачного сына императрицы Екатерины Алексеевны и Григория Орлова. Его тайно вынес из дворца в корзине из-под белья камердинер императрицы Екатерины Шкурин и взял в свой дом, где бастард воспитывался вместе с родными детьми Шкурина. Ко всему этому примешивается немало легенд, одной из которых уже в 1770-х годах воспользовалась некая самозванка, ставшая известной как «княжна Тараканова». Существует слух и о заточенной в московском Ивановском монастыре некой старице Досифее, дочери Елизаветы.

А.А.Васильчиков был твердо убежден, что никаких детей от

брака императрицы с Разумовским не существовало. Он весьма убедительно интерпретировал миф о Таракановых - тайных детях императрицы. Фамилия Таракановы, по его мнению, является переделкой из малороссийской фамилии Дараган - такой была фамилия старшей сестры Алексея и ее детей. В камер-фурьерских журналах двора Елизаветы Петровны они упоминаются как «Дарагановы» и тут уже один шаг до пресловутых Таракановых. Дети воспитывались при дворе, Елизавета Петровна хорошо относилась к племянникам своего мужа, как и вообще к его родственникам. Сестру же Алексея - Прасковью императрица привечала особо, чему есть немало свидетельств. Эти ласки, естественно, распространялись на племянников. Спустя какое-то время подросших младших Дараганов, как тогда было принято, отправили за границу, в закрытый пансион, где их окружили особым комфортом и тайной, что и послужило появлению в немецких газетах сведений о прибывших в Европу тайных детях Елизаветы и Разумовского, которых якобы и скрыли под фамилией «Tarakanoff» *(Васильчиков, с.280-288)*.

Мнение Васильчикова преобладает в историографии, и я в целом его придерживаюсь в той части, которая касается всей «истории Таракановых». Но при этом отрицать полностью существование детей у Елизаветы и Разумовского нельзя - их рождение было вполне возможно, как и то, что таких детей стремились где-то пристроить, дать образование, как-то обеспечить их будущее. Но это вовсе не означает, что рожденные таким образом дети представляли какую-то угрозу для престола и их нужно было прятать по темницам. Упомянутая история Бобринского или история сына императрицы Анны Ивановны и Бирона Карла Эрнста, который благополучно пожил за счет русской казны, много путешествовал, кутил и даже попал за подделку векселей в знаменитую Бастилию, - яркое тому свидетельство.

С появлением при дворе Разумовского в русскую придворную жизнь, которая раньше, при императрице Анне Ивановне, сочетала вкусы старинной царицыной комнаты в кремлевском «Верху» со вкусами мелких немецких владетелей, вошли привычки Украины. Запахи наваристого украинского борща с пампушками и чесноком, к которому, вслед за своим мужем, пристрастилась императрица, витали над дворцом, как и звуки бандуры, голоса бесподобных украинских певчих и лихие пляски в широких, как Днепр, шароварах. Один из иностранных дипломатов писал: «Я был свидетелем плясок и музыки, столько и новых для меня, причем не мог довольно надивиться легкости и силе, с которою пляшут жители Украины». Пристрастия

Разумовского - мецената и любителя музыки - были, в целом, благотворны для русского двора, его вклад в русскую культуру велик - он покровительствовал искусствам, итальянской опере, балету. В этой атмосфере созрели таланты Дмитрия Бортнянского, Максима Полторацкого и других великих талантов XVIII века родом с Украины.

В Петербург зачастили делегации казацкой старшины (читатель помнит, как кузнец Вакула из «Вечеров» Гоголя как-то затесался в подобную делегацию, которая ехала к императрице Екатерине II). Они везли Алексею Григорьевичу приветы с милой родины, а заодно и пространные челобитные в надежде, что земляк не оставит без внимания проблемы Украины. А они были и, по-преимуществу, политические. Как известно, отец Елизаветы Петр Великий не простил Украине измены гетмана Мазепы в 1708 году и держал ее в ежовых рукавицах. И хотя сразу же после измены Мазепы, осенью 1708 года, он распорядился, чтобы украинская старшина выбрала послушного Москве гетмана (им стал Иван Скоропадский), доверия к институту гетманства и вообще к малороссам у царя не было никакого. Когда в 1723 году Скоропадский умер, царь сказал, что все гетманы Украины, за исключением Богдана Хмельницкого и Скоропадского, - изменники, и учредил в тогдашней административной столице Малороссии городе Глухове Малороссийскую коллегию из русских офицеров, к которым и перешла фактическая власть на Украине. Несмотря на некоторые послабления, данные этой провинции империи в первые послепетровские годы, для украинцев наступили тяжелые времена. Кандидаты в гетманы обивали высокие пороги в Петербурге, но все было бесполезно - железная рука москаля тяжело лежала на хохляцком плече. И вдруг такая неожиданность - свой брат стал хоть и не царем, но мужем царицы!

Конечно, о близости государыни с Разумовским на Украине знали давно, но безвластие цесаревны при Анне Ивановне внушало украинцам мало надежд на успешное решение их дел. Приход Елизаветы Петровны к власти 25 ноября 1741 года все круто изменил: украинская делегация прибыла в Петербург по тем временам почти мгновенно - в январе 1742 года - и сразу же отправилась в гости к земляку. Во главе делегации стояли люди известные: сын последнего гетмана лубенский полковник Петр Апостол, первые лица из старшины: Григорий Лизогуб, Яков Маркович, Андрей Горленко. Раньше они, проезжая в Чернигов из Киева, наверное, и не взглянули бы на босоногого парубка, стоящего с пастушьим кнутом на обочине, а теперь ломали перед ним шапки - фортуна на знатность и пожиток не смотрит!

Разумовский искренне обрадовался гостям и принимал их как своих старинных приятелей. Яков Маркович, ведший дневниковые записки о тех незабываемых днях, пишет, что они бывали у фаворита почти ежедневно и «бокалов по 10-ти венгерского выпивали и подпиахом». Веселые застолья под бандуру порой нарушались приятным происшествием - в дверях слышался шелест шелков, и сияющая красотой императрица, заскучавшая по своему Алеше, являлась перед старшиной и удостаивала их «быть у ручки». Украинские гости бывали и при дворце, и на оперных спектаклях, дивясь «преизрядному» пению кастрата Метастазия и не менее диковинным «танцам экстраординарным» *(Маркович, с.168)*.

Конечно, не ради пения кастрата приехали Апостол с товарищами. Вскоре Сенат издал указы о привилегиях Киева, о запрете русским помещикам закрепощать украинцев (как известно, за империей всегда следом шло крепостное право), о даче различных льгот и привилегий. Думаю, что для того, чтобы Сенат издал эти указы, Разумовскому не пришлось просить генерал-прокурора князя Якова Шаховского - тот и сам, получив челобитье малороссов, понял что к чему. Но не только льгот добивались украинские старшины в Петербурге. Каждый из гостей Разумовского мечтал о гетманской булаве - символе власти на Украине. Петр Апостол считался первым кандидатом в гетманы, но знал, что получить булаву не так уж и просто.

Проводив гостей, Разумовский заскучал и, видно, захотел поехать на родину. Препятствий к исполнению желаний Алеши не было: 27 мая 1744 года императрица Елизавета Петровна с огромной свитой выступила из Москвы в поход - так назывался еще с древних времен выезд государя за пределы столицы - на Киев. Официально государыня, движимая особым благочестием, направлялась поклониться угодникам Киево-Печерской лавры, где еще не забыли, как ее отец пытался вскрывать гробницы праведников в катакомбах, чтобы получше изучить способы старинного мумифицирования. Но фактически Разумовский вез свою «женку» казать родне и черниговским землякам, а та, наслышавшись от возлюбленного об Украине, сама хотела взглянуть на этот дивный край.

Поездка была организована с грандиозной, еще невиданной в России помпой - десятки карет, сотни слуг, 23 тысячи лошадей на подставах - все, естественно, за счет обывателей. Но ехать было все равно неудобно, придворные кареты для такого долгого путешествия оказались малопригодны и, как вспоминает Екатерина II - тогда еще невеста наследника престола Петра Федоровича, - езда была мучительна *(Екатерина, 1907, с.53-54)*.

Но зато встреча на Украине произвела на всех самое благоприятное впечатление: старшина лицом в грязь не ударила и сумела поразить капризную царицу роскошью, а самое главное - теплотой приема. Особенно эффектным был въезд императрицы в столицу Украины Глухов. За несколько верст до города Елизавету Петровну встречали реестровые казаки - тогдашние вооруженные силы Украины. Все они, как на подбор, бодрые и усатые, с лихо заломленными шапками, одетые в синие черкески и шаровары, встречали государыню в пешем строю редким строевым фокусом, который хорошо описал историк Украины Георгий Конисский: «Первый полк, отсалютовавши государыне знаменами и саблями и пропустя монархиню, поворачивался рядами с правого фланга и проходил позади второго полка, а там опять становился во фрунт в конце всей линии; второй проходил позади третьяго полка и занимал место в конце первого. И так, делая все полки и команды, представляли непрерывный фронт и бесконечную линию до самой ставки монаршей. А как государыня ехать изволила очень тихо, а несколько часов иногда проходила и пешком, то конвой войск оных продолжался и успевал в маршах своих и поворотах без всякого затруднения» *(Конисский, с.244)*.

Музыка, удалые украинские и польские пляски сменялись «вертепами» - спектаклями семинаристов и студентов на библейские сюжеты, а вокруг толпился благоденствующий под щедрым солнцем Украины народ. Он не знал войны и голода уже четвертое десятилетие и столько же не видел царственную особу, а потому хотел «бачить» красавицу-государыню вместе с Разумовским и для этого стоял вдоль всей дороги, по которой блестящий кортеж ехал из Москвы. Каждый хотел увидеть собственными глазами, как сбывается сказка о невероятной удаче простого казака, ставшего почти царем. Императрица была в восторге от оказанного ей необыкновенно горячего приема и якобы произнесла: «Как я люблю народ сей благонравный и незлобивый!» *(ОВ, 2, с.300)*.

С особым трепетом Разумовский подъезжал к родному дому. Он давно готовился к этой поездке и просил матушку сказать управляющему Семену Пустоте, чтобы тот «накрепко смотрел и наблюдал, дабы (никто) не ходил и не шатался б…, чтоб он как зятьям, дядьям, так и всей родне именем моим приказал бы быть всем в одном собрании в деревне Лемешах и дожидаться бы тамо моего свидания… а наипаче запретить, чтоб отнюдь никто с них в то время именем моим не фастал бы и не славился б тем, что он мне родня» *(Васильчиков, с.47-48)*. Разумовский хорошо знал свою родню - многочисленных родственников буйного Григория Розума. Матушка Наталья Демьяновна жила в Козельце, куда и

приехала императрица, чтобы повидаться со свекровью.

Встреча кортежа в самом Киеве теплым августовским днем 1744 года поражала грандиозностью, многолюдством, радушием и различными театральными эффектами. Как пишет Конисский, государыню приветствовал с колесницы «основатель города» - седовласый старец Кий: «Колесница у него была божеский фаетон, а в него впряжены два пиитические крылатые кони, называемые пегасы, прибранные из крепких студентов», наверное, из таких красавцев, какими были знаменитые богослов Халява и философ Хома Брут. Елизавета молилась в церквях, посещала монастыри, делала богатые вклады; по ночам устраивались балы и фейерверки, шла большая карточная игра.

За кулисами празднеств и приемов велась напряженная политическая работа - старшина собирала подписи и подавала государыне челобитные о восстановлении гетманства. Нужно было ковать железо, пока горячо. Все эти челобитные милостиво принимались императрицей, она обещала непременно «помочь» землякам Алексея Григорьевича, но, по своей привычке никогда не спешить с ответственными политическими решениями, ставить свою подпись под соответствующим указом медлила еще шесть лет. Наконец это произошло в 1750 году и было для многих неожиданным. Гетманом стал младший брат Разумовского Кирилл Григорьевич.

* * *

История Кирилла Разумовского не менее фантастична, чем история его старшего брата. Хотя Алексей давно был первейшим человеком двора цесаревны, Кирилл жил в Лемешах и, как некогда его знаменитый брат, пас скотину. Но приход Елизаветы к власти круто изменил и его судьбу - в 1742 году Кирилла поспешно вывезли ко двору. Его умыли, причесали, переодели, и в марте 1743 года под выдуманной фамилией Обидовский, вместе с наставником Григорием Тепловым, Кирилл отправился в Германию и Францию, «дабы учением наградить пренебреженное поныне время, сделать себя способнее к службе Ея императорского величества» - так было сказано в инструкции старшего брата младшему. Год Кирилл провел в Кенигсбергском университете, где, с помощью Теплова, постигал географию, «универсальную историю», немецкий, а также тогдашний язык науки - латынь. Потом его повезли в Берлин к знаменитому Леонарду Эйлеру, гениальному математику, одному из первых русских академиков, который покинул в 1741 году Россию, но

оставил там добрые о себе воспоминания. Вольная жизнь студента коснулась и вчерашнего пастуха. Прослушав курс наук у Эйлера, Разумовский поехал во Францию, в Страсбург.

Через два года путешествий за знаниями и впечатлениями Кирилл вернулся в Россию, и тут произошло второе чудо. Разумовский-младший поразил всех, кто знал его раньше, необыкновенными переменами, с ним происшедшими. Вместо пастуха явился молодой, красивый вельможа, прекрасно одетый, с вполне светскими манерами, бегло знавший по-немецки и по-французски, а главное - не говоривший ни на одном языке глупостей. Он оказался умен, уживчив, весел и тотчас прославился как один из красивейших мужчин двора. Почти мгновенно он превратился в изящнейшего петиметра; окружавшие не могли надивиться на его трость - она стоила 20 тысяч рублей и была вся из агата с рубинами и алмазами. Как писала Екатерина II, «он был хорош собой, оригинального ума, очень приятен в обращении и умом несравненно превосходил брата своего (Алексея. - *Е.А.*), который тоже был красавец, но был гораздо великодушнее и добрее его. Все красавицы при дворе были от него без ума. Я не знаю другой семьи, которая, будучи в такой отменной милости при дворе, была бы так всеми любима, как эти два брата» *(Екатерина, 1907, с.284)*. Восторг Екатерины понять можно - ей, совсем не красавице, льстило, что Кирилл оказывал особые знаки внимания молодой великой княгине, да и вообще история знает множество примеров того, как вышедшие «из грязи в князи» становились нестерпимыми для окружающих хамами, негодяями, несли с собой все пороки и комплексы парвеню. С Разумовскими этого не произошло!

Придворная жизнь с ее бессонной вереницей празднеств и концертов тотчас втянула юношу - он стал настоящим придворным и усердно нес нелегкую службу при дворе. Эта служба была ему приятна. Появилось много подруг и друзей. Особенно близко он сошелся с графом Иваном Григорьевичем Чернышевым, который был до кончиков ногтей светским, придворным человеком. Его бойкое письмо к Разумовскому, написанное после возвращения из Франции, говорит само за себя и рисует мир, в котором жила тогдашняя золотая молодежь: «Сколь же мне прискорбно, что вашего сиятельства я здесь не застал, о том маню себя, что вы уверены. Сколько бы я вас, по приезде своем из Франции, забавил. Рассудите, каков я стал: других кафтанов не ношу как шелинговых, в красных каблуках и все пою песни, да какие - одна другой лутче, и навез их столько много, все в том разуме, чтобы вас оным поучить. Я в Париже был 10 недель и 4 часа и из онаго времени в крайней скуке был

только 4 часа, а прочее вы догадаться можете, каково мне было. Хожу всяк день в двух лентах (орденских. - *Е.А.*)… дорого бы дал, чтоб Григорий Николаевич Теплов меня видел, каков я чинен стал в двух лентах: он бы, на меня глядя, все хохотал. Платья из Парижа навез тьма и карету, предорога. Прощайте, милостивый государь… ADIEU, MONSEIGNEUR» *(ОВ, 2, с.319-320)*.

В 1746 году Кирилл Разумовский породнился с Романовыми - женился на родственнице императрицы Елизаветы Екатерине Ивановне Нарышкиной. Этот брак состоялся по воле государыни и расчету, а не по любви - Кирилл хотел еще, что называется, погулять и не рвался под венец. Дети Разумовского стали первейшими вельможами при преемниках Елизаветы Петровны. Как и его старший брат, Кирилл не кичился своим положением и, согласно легенде, хранил костюм пастуха волов, в котором его застиг курьер из столицы, чтобы увезти к новой блистательной жизни. Он показывал его своим сыновьям, чтоб они помнили о своем происхождении, однако один из сыновей, не без основания, ответствовал, что между отцом и сыновьями огромная разница: «Вы сын простого казака, а я сын русского фельдмаршала» *(Знаменитые россияне, с.110)*.

Кирилл был человеком любознательным, не без способностей, но не стал ученым - как говорится, лень родилась прежде него. А коли так, то ему была уготована иная участь - стать «организатором науки». Указом 21 мая 1746 года Разумовский-младший был назначен… президентом Петербургской Академии наук, как сказано в именном указе, «в рассуждение усмотренной в нем особливой способности и приобретенного в науках искусства» *(ОБ, 2, с.322)*. Такое назначение поразило современников, уже привыкших к головокружительным «случаям». Как писал в своем доносе товарищ купцов Ерофея и Василия Коржавина, братья говорили, что Разумовский «весьма недостоин такой чести и великого чина и правления Академии» *(АВ, 4, с.313)*.

Но, как ни странно, Разумовский просидел в кресле президента пятьдесят лет и оказался, на поверку, одним из лучших президентов Академии наук за всю ее историю. Он был умен, не страдал тщеславием графомана и не заставлял писать научные труды за себя. Спокойный, уравновешенный Разумовский был далек от раздирающих Академию распрей. Он относился к своим обязанностям с долей юмора и никогда не вставал ни на чью сторону. Но главное - Разумовский не мешал ученым заниматься наукой, а в России это значит очень много. Не следует забывать, что делами в Академии от его имени заправлял упомянутый выше Григорий Теплов. Выходец из семьи истопника

(от чего якобы и происходит его фамилия), Теплов поднялся наверх благодаря своему уму, блестящим интеллектуальным способностям, а также отталкивающей беспринципности и приспособленчеству. Теплов был одним из образованнейших людей своего времени. Став асессором Академии, Теплов превратился в «серого кардинала» и хладнокровно и методично интриговал в среде и без того недружных ученых, притеснял мелкими придирками наиболее талантливых и самостоятельных из них. В 1750-е годы, когда его патрон стал гетманом Украины, Теплов отправился туда вместе с ним и исполнял при лентяе-гетмане ту же роль, что и в Академии. Воспитанный, мягкий в общении, но последовательный в достижении своих далеко небескорыстных целей, Теплов добился полного доверия Кирилла Григорьевича, используя его как ширму для своих интриг и махинаций, а также обогащения за казенный счет. Когда же к власти пришла Екатерина II, Теплов, не раздумывая, предал своего покровителя и друга и перебежал к новой государыне, став и для нее совершенно незаменимым человеком.

1750 год - важная дата в истории Украины. В этом году Кирилла избрали в гетманы. Тогда Разумовскому было не то 26 лет, не то 22 года - точная дата его рождения неизвестна. Украина получила то, чего так давно желала. Но эти заочные выборы петербургского новоиспеченного графа, никогда не державшего в руке казачьей сабли и не слышавшего свиста турецкой пули или татарской стрелы, да еще проведенные вдали от громады-войска, среди одной только генеральной старшины - все это свидетельствовало о вырождении украинской вольности, о печальном конце уникальной казачьей республики. Разумовскому разрешили вернуться в старую столицу Украины Батурин, некогда сожженную войсками Меншикова и проклятую Петром Великим как змеиное гнездо изменника Мазепы. Вскоре там был построен великолепный дворец, сиявший золотым убранством и наборными паркетами. В нем-то и поселился с семьей новый гетман. Перед выездом на родину, 13 марта 1751 года, он присягал в Петропавловском соборе быть «верным, добрым и послушным рабом подданным» русской императрицы. Канцлер А. П. Бестужев-Рюмин на золотом блюде поднес государыне золотую с драгоценными каменьями булаву, и та вручила ее на несколько лет гетману.

И все же отдадим должное последнему гетману Украины Кириллу Разумовскому. Он не обольщался своим чином и, как пишет историк Украины Маркович, считал себя гетманом марионеточным, а последним настоящим гетманом называл Ивана Степановича Мазепу *(Маркович, с.633)*. Но казачьей плетью

московского обуха не перешибешь, и нужно уметь жить и под Москвой, да помогать землякам. А возможности для этого у Кирилла, как понимает читатель, были большие. И вот последовали один указ Елизаветы Петровны за другим. Ими уничтожались тяжелые налоги, введенные на Украине еще Петром, снимались таможни на границе с Россией, облегчались трудовые повинности украинцев, дела по Украине были перенесены в Сенат, что позволяло гетману иметь право доклада у императрицы *(ОБ, 2, с.379)*.

Оба брата очень естественно вошли в высший свет тогдашней России, их высокое место, богатство стали неоспоримыми. И когда любовь, так долго связывавшая Алексея и Елизавету, прошла, это не стало катастрофой для отвергнутого супруга и фаворита - изменился лишь статус Разумовского, он лишь покинул дворец, уступив место другому, более удачливому и молодому. Мы не вправе сурово судить Елизавету в ее выборе - пути сердца неисповедимы…

Несколько слов о дальнейшей судьбе добрейших лентяев. Оба пережили Елизавету Петровну. После прихода к власти Екатерины II Алексей полностью отошел от дел, жил барином в своих домах в Москве и Петербурге. В северной столице он и умер 6 июня 1771 года, и земля Александро-Невского монастыря приняла его. Брат его умер в 1803 году. Он вольготно жил при Елизавете, был хорошо принят и при дворе Петра III, назначившего гетмана главнокомандующим армии, собиравшейся в 1762 году в химерический поход против Дании - извечного личного врага голштинского герцога, ставшего русским императором. Тайно Разумовский помогал супруге императора, готовившей переворот, и в решительный момент революции 28 июня 1762 года, возведшей на престол Екатерину II, он, командир гвардейского Измайловского полка, перешел на сторону императрицы и дал приказ печатать в типографии Академии наук указ о восшествии новой государыни на престол.

За эту услугу он попросил утвердить за Разумовскими наследственное гетманство. Императрица же, следуя имперским принципам, шла по другому пути. Она стремилась включить Украину в состав России на правах губернии, что и сделала 10 ноября 1764 года, ликвидировав гетманство и передав всю власть на Украине П. А. Румянцеву. От огорчения Кирилл уехал на пару лет развеяться за границу, ас 1771 года переселился в Батурин, где и жил до конца своих дней. Сохранилось немало рассказов о его благотворительности, щедрости к бедным, о доброте к своим детям (которых у него было одиннадцать). Последние годы он много болел, одряхлел, но оставался приятным и остроумным

собеседником. С восшествием в 1796 году на престол Павла I Разумовский, помня свое участие в свержении отца нового государя, императора Петра III, уже не питал никаких надежд на царские милости и в ответ на вопрос курьера, ехавшего с Украины с известием о смерти фельдмаршала П. А. Румянцева в Петербург, что передать императору, сказал: «Передай, что и я умер». Но Павел все же не тронул старика и позволил ему даже пережить себя.

ГЛАВА 8
БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ И ИХ КРОТКИЙ КУЗЕН

Как любили при дворе братьев Разумовских, так ненавидели и боялись братьев Шуваловых - Петра и Александра Ивановичей. Они с давних пор числились при дворе Елизаветы Петровны, рядом с ней претерпевали долгое царствование Анны Ивановны и были, как и многие придворные «бесперспективного» двора цесаревны, бедны и скромны. Вступление на престол Елизаветы все изменило для Шуваловых - у них появилась возможность сделать карьеру и разбогатеть. Однако ближе всего к трону встали Разумовские, и старшему из Шуваловых, Петру, еще долго, как сказано выше, приходилось терпеть оплеухи от Алексея Григорьевича. Но постепенно его дела наладились. Он сумел выдвинуться благодаря двум обстоятельствам - выгодной женитьбе и умению быть царедворцем - искусство трудное и довольно хлопотное. Петр Шувалов женился на немолодой, некрасивой фрейлине цесаревны Мавре Егоровне Шепелевой, той самой, которая писала Елизавете Петровне забавные письма из Киля.

Вернувшись после смерти Анны Петровны в Россию, Шепелева стала ближайшей подругой императрицы. Мавра играла при ней незавидную роль, оттеняя божественную красоту цесаревны. Роль свою она исполняла исправно, а при этом пользовалась особым доверием государыни и даже имела на нее влияние. Она была хохотунья, легкая и веселая сподвижница цесаревны. Как писала Екатерина II, хорошо знавшая Мавру - «воплощенную болтливость», «эта женщина любила поговорить, была очень весела и всегда имела наготове шутку» *(Екатерина, 1907, с.147)*. Шепелева была, конечно, сплетница, переносившая государыне на своем подоле все свежие новости, до которых Елизавета была большая охотница. Мавра хорошо знала вкусы и пристрастия своей госпожи и умела ей тонко угодить. Об этом говорят письма Мавры из Киля, да и с Украины, куда она с мужем ездила в 1738 году: «А я, матушка, и сама к тебе много везу гостинцу украинского. Я говорю по-черкасски очень хорошо. Ах, матушка! как в Киеве хорошо! А в Нежине товары очень дешевы, а наипаче парчи, стофы и салфетки: три скатерти и три дюжины салфеток камчатых - 15 рублей…» Далее Мавра обещает связать цесаревну с купцом, который будет доставлять эти прелести

почти бесплатно. «А какие водки сладкия хорошия, очень дешевы, не хуже дубельтевых. Жидов множество и видела их, собак! В Киеве весна и в Нежине… И везу к Вашему высочеству двух дишкантов и альтиста, которых в Нежине апробовал в гласах отец Гарасим и очень хвалил, и надеюсь, что Вашему высочеству очень будет нравен Лапинский. И я, матушка, столько рада, что могла достать Вашему Высочеству хороших хлопцев!» Вот так должен действовать истинный царедворец!

Из письма Мавры можно составить полный каталог пристрастий царь-девицы. Тут весь набор: и пришедшая к цесаревне вместе с любовью к Разумовскому любовь к его родине, Украине, к голосистым парубкам - украшению придворной капеллы, и обычная нелюбовь Елизаветы к евреям, и подзадоривание в ожидании каких-то замечательных подарков из Нежина, да еще возможности самой покупать тряпки за такие смешные цены. Мы-то уже знаем, что для цесаревны, любившей погулять задешево, это было также важно. До самой ее смерти в 1759 году никто не мог заменить Мавру в роли любимой подружки Елизаветы - так ловко она умела подстроиться под капризный характер своей госпожи.

Вот на некрасивой Мавре и женился видный, вальяжный Петр Иванович Шувалов. Скорее всего, это был брак по расчету, но время показало, что расчет с обеих сторон оказался замечательно точным: Мавра стала женой одного из влиятельнейших и богатых людей империи, она же сама много сделала, чтобы Шувалов стал таким влиятельным и богатым. У нее, прекрасно знавшей повадки Елизаветы, было немало ходов, чтобы незаметно помочь мужу укрепиться у власти. В своих мемуарах Яков Шаховской, бывший на ножах с Шуваловым, рассказывает, как ловко его «подставила» хитрая Мавра. Во время какого-то приема во дворце она отвела одну из придворных дам в сторону, подальше от императрицы и стала на ухо рассказывать сплетни про Шаховского. Делалось это с такими ужимками и так завлекательно, что проходившая вдали императрица - сама большая любительница сплетен, не удержалась и подошла узнать, о чем таком интересном шепчутся кумушки. Вот тут-то и была умело вылита в уши императрицы грязь на Шаховского. Он тотчас почувствовал высочайший гнев государыни. Ясно, что прямая жалоба на Шаховского такого результата бы не дала - Елизавета была недоверчива и нелегковерна.

Впрочем, сам Шувалов много башмаков стоптал на блестящих придворных паркетах и был опытен в искусстве интриги и в ремесле лести. Как с желчью пишет князь М. М. Щербатов, Петр Шувалов достиг успехов и богатства, «соединяя все, что хитрость

придворная наитончайшая имеет, то есть не токмо лесть, угождение монарху, подсуживание любовнику Разумовскому, дарение всем подлым и развратным женщинам, которые были при императрице (и которые единые были сидельщицы у нее по ночам, иные гладили ноги), к пышному, немного что знаменующему красноречию» *(Щербатов, с.63)*. Все верно. Достаточно посмотреть на приписку, которую сделал Шувалов на цитированном выше письме жены из Малороссии - они путешествовали там вместе: «Хору честнейшему вспевальному, товарищам моим отдаю мой поклон, а особливо Алексею Григорьевичу и прошу покорно в доброй памяти меня содержать» *(АВ, 1, с.83-85)*. Муж и жена знали кому угодить. И постепенно Шувалов пошел в гору.

К 1744 году Шувалов стал сенатором, генерал-лейтенантом, а потом и камергером, графом. Но настоящий взлет Петра Шувалова и его брата Александра произошел в 1749 году, когда начался «случай» у императрицы юного Ивана Ивановича Шувалова - их двоюродного брата. Как писал иностранный дипломат, «братья извлекают для себя выгоды, пользуясь его (Ивана. - *Е.А.*) счастливой судьбой». Об этой истории - чуть ниже, здесь же закончу о братьях Шуваловых. Во многом благодаря фавору брата Ивана, Петр Шувалов стал в 1750-х - начале 1760-х годов одним из самых влиятельных и богатейших людей России, генерал-фельдцейхмейстером, а под конец и генерал-фельдмаршалом.

Конечно, и Шаховской, и Щербатов правы, говоря о тех неблаговидных способах, которыми пользовался Шувалов на пути к власти. И вообще, он производил на людей впечатление надутого индюка. Шувалову были свойственны все звездные болезни выскочки: безмерно льстивый, с гибкой спиной во дворце, он выпрямлялся, как только покидал апартаменты государыни, был груб, властен, нетерпим, злопамятен. Жадный к деньгам и наградам, он никогда не мог утолить своей жажды к богатству и почестям. Ж. Л. Фавье писал, что Шувалов «вместо того, чтобы скромно умерять блеск своего счастия, возбуждает зависть азиатскою роскошью в дому и в своем образе жизни: он всегда покрыт бриллиантами как Могол и окружен свитою из конюхов, адъютантов и ординарцев».

Бурная деятельность и прожектерство «доставляли графу Петру случай прославлять себя и приобретать своего рода бессмертие посредством медалей, надписей, статуй и т. п. Во всей Европе, кажется, нет лица, которое было бы изображаемо и столь часто и столь разными способами, существуют его портреты, писанные и гравированные, бюсты и пр. У него мания заставлять

писать с себя портреты и делать с себя бюсты» *(Фавье, с.394)*.

Дом Шувалова отличался невероятной роскошью. Как пишет граф Гордт, «убранство его покоев было невероятно роскошное. Тут было все: и золото, и серебро, и богатые материи, и стенные часы, и картины» *(Гордт, с.318)*. Попасть к вельможе, жившему в самом роскошном частном дворце Петербурга, можно было, только пробившись к фавориту вельможи, генерал-адъютанту Михаилу Яковлеву. Так поступил, например, бедный офицер Андрей Болотов, приехавший просить чин в столицу. Он пришел к нужному часу в приемную временщика и увидел жужжащую толпу просителей - людей разных чинов и состояний, ждавших выхода Яковлева. «Мы прождали его еще с добрую четверть часа, но, наконец, распахнулись двери и графский фаворит вошел в зал в препровождении многих знаменитых людей, и по большей части таких, кои чинами были гораздо его выше. Не успел он показаться, как все сделали ему поклон не с меньшим подобострастием, как бы то и перед самим графом чинили» *(Болотов, с.95-96)*. Но потом Яковлева сменил другой любимец, подьяческий сын Макаров, который «своим проворством как для письменных дел способным, так и в других нежных услугах графу понравился».

Это уже цитата из записок другого мемуариста - артиллерийского капитана М. В. Данилова, который много претерпел от капризов Шувалова, но ценил те его черты, которые бросались в глаза людям, его знавшим, ведь даже беспощадный к своим современникам Щербатов признается: «Петр Иванович Шувалов был человек умный, быстрый, честолюбивый». Данилов же в своих безыскусных записках показывает, что Шувалов обладал даром редким - умел видеть и ценить новое в идеях, проектах, мыслях людей. Он был властен и крут, но и брал на себя ответственность, а не стремился, как многие его коллеги, «ставить парусы по ветру» и ковырять в носу на заседаниях в Сенате, лишь бы не беспокоили. В отличие от Алексея Разумовского Шувалов все время работал и ценил людей, умевших работать, что-то изобретать. Данилов писал, что «граф был охотник (до проектов. - *Е.А.*) и сего требовал от всех офицеров, кто может что показать».

Как известно, любимым делом Шувалова была артиллерия, которой он посвящал много внимания, и в значительной мере благодаря Шувалову артиллерия с середины XVIII века стала лучшим видом войск в русской армии. Шуваловские гаубицы и единороги стреляли лучше прусских пушек, а прислуга орудий отличалась замечательным проворством и мастерством. Данилов - сам артиллерист и изобретатель, только благодаря этому

проникал в залу, где обедал вельможа: «Когда за столом при обеде случалось ему, графу, разговаривать и советовать об артиллерии, то, оставя всех с ним сидящих», он, пишет Данилов, требовал от поручика «своему разговору одобрения и изъяснения. Я ему отвечал на все его слова по приличности и, видя хорошее о себе мнение, утешался тем не мало». Можно представить эти пиршества на золоте и серебре в роскошном дворце Шувалова, хозяин которого с увлечением обсуждает со скромным молодым поручиком устройство орудия или фейерверка, к чему Данилов питал особое пристрастие *(Безвременье, с.324 и далее)*.

В доме Шувалова, где он, по обычаю тех времен, часто работал и принимал посетителей, был целый штат писцов, которые переписывали многочисленные проекты Шувалова, шедшие на «верх», к государыне. Они были изложены таким высокопарным языком, что их не только понять, но и прочитать вслух весьма затруднительно: «Не всяк ли чювствует общее добро, которое, протекая от края до края пределов империи, напаяет, питая обитателей, так обильно, что, сверх чаяния и желанию человеческому свойственных вещей неописанныя милосердии от руки ея ниспосылаются…» И все же, если сесть с карандашом в руках, расшифровать проект Шувалова, отбросить все словесные завитушки, то смысл проекта окажется ясным и четким, а идеи - интересными и исполнимыми. Благодаря идеям Шувалова, в России, раньше чем в других странах, были ликвидированы внутренние таможни, унаследованные от средневековья и мешавшие складывавшемуся всероссийскому рынку. Проводить эту операцию было рискованно - казна могла много потерять от отмены сборов, которые шли с тысяч таможен, расположенных у каждого города, на границах провинций и уездов. Но Шувалов уговорил Елизавету рискнуть и выиграл - доходы от оборотов освобожденной торговли оказались больше, чем от таможенных пошлин *(см. Волков М.)*.

Впрочем, отметим сразу: многие предложения Шувалова о повышении доходов казны легко осуществлялись… но по преимуществу за счет кармана налогоплательщиков. Шувалов предложил и сам же осуществил грандиозные проекты чеканки облегченной серебряной и медной монеты, введение новых монополий на соль, различные промыслы, причем думал не только о государственной казне, но и о собственном кармане. За это его не любили в народе.

Екатерина II вспоминала, что когда в 1762 году Шувалов умер и толпа любопытствующих слишком долго ждала выноса тела покойного, то люди стали произносить о Шувалове весьма ядовитые эпитафии: «Иные, вспомня табашной того Шувалова

откуп, говорили, что долго его не везут по причине той, что табаком осыпают; другие говорили, что солью осыпают, приводя на память, что по его проекту накладка на соль последовала; иные говорили, что его кладут в моржовое сало, понеже моржовое сало на откуп имел и ловлю трески. Тут вспомнили, что всю зиму трески ни за какие деньги получить нельзя, и начали Шувалова бранить и ругать всячески. Наконец, тело его повезли из его дома на Мойке в Невский монастырь. Тогдашний генерал-полицмейстер Корф ехал верхом пред огромной церемонией, и он сам мне рассказывал в тот же день, что не было ругательства и бранных слов, коих бы он сам не слышал противу покойника, так что он, вышед из терпения, несколько из ругателей велел захватить и посадить в полицию, но народ, вступясь за них, отбил было, что видя, он оных отпустить велел, чем предупредил драку и удержал, по его словам, тишину» *(Екатерина, 1907, с.531-532)*.

И точно, народ не ошибался. Шувалов со своим братцем Александром был настоящим государственным разбойником. Изобретая все новые и новые источники дохода казны, он сразу же становился руководителем каждого такого проекта и всюду снимал сливки. Проводя денежную реформу или организуя банк, он не давал отчетности в Сенат. Устанавливая монополию, он делал монополистом себя, брата или приятелей. Шуваловы провели самую хищническую приватизацию казенной промышленности, в особенности ее самых выгодных секторов: металлургии, горного дела, беспощадно разоряя своих конкурентов, которым было не по силам соперничать с ними. По желанию Шувалова меняли горное законодательство, вводили новые порядки, вопиюще противоречившие и принятым законам, и интересам государства. Все боялись высокопоставленных разбойников братьев Шуваловых, а младшего больше всех: он ведал самым страшным заведением - Тайной канцелярией и любого своего противника мог отправить туда, куда Макар телят не гонял.

Александр Иванович Шувалов был личностью малоприятной. Он тушевался на фоне своего бриллиантового брата, но за ним шла зловещая слава. Фавье писал, что А. Шувалов ведает тайным сыском, и «от этого в России все страшно боятся графа А. И. Шувалова» *(Фавье, с.395)*. Впрочем, у какого начальника политического сыска России была слава гуманиста? Один из ближайших придворных молодой цесаревны Елизаветы Петровны, с ее воцарением Шувалов стал пользоваться особым доверием и уже с 1742 года выполнял различные поручения сыскного свойства: арестовывал провинившегося в чем-то принца Людвига Гессен-Гомбургского в 1745 году, вместе с начальником Тайной

канцелярии генералом А. И. Ушаковым расследовал дело лейб-компанца Петра Грюнштейна. По-видимому, работа с опытным Ушаковым стала для Шувалова настоящей школой сыска, и в 1746 году он заменил часто болевшего в это время Ушакова на его ответственном посту. Когда Ушаков в 1747 году умер и Шувалов стал начальником Тайной канцелярии, машина политического сыска продолжала исправно работать. Новый начальник Тайной канцелярии внушал окружавшим страх странным подергиванием лица. Как писала в своих записках Екатерина II, «Александр Шувалов не сам по себе, а по должности, которую занимал, был грозою всего двора, города и всей империи, он был начальником инквизиционного суда, который звали тогда Тайной канцелярией. Его занятие вызывало, как говорили, у него род судорожного движения, которое делалось у него на всей правой стороне лица от глаза до подбородка всякий раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью» *(Екатерина, 1907, с.356)*.

Шувалов не был, как Ушаков, фанатиком сыска, и не проводил в Канцелярии дней и ночей напролет. Большие возможности, открывшиеся в 1749 году с началом фавора их молодого родственника Ивана Шувалова, использовались А. И. Шуваловым, как и его братом Петром, для обогащения. Много времени у Александра Шувалова отнимали и придворные дела-с 1754 года он стал гофмейстером двора великого князя Петра Федоровича. И хотя Шувалов держал себя с наследником и его женой предупредительно и осторожно, сам тот факт, что гофмейстером двора наследника стал страшный шеф тайной полиции, не позволял ему добиться расположения ни у великого князя Петра Федоровича, ни у его жены Екатерины Алексеевны, которая, как она писала об этом в позднейших записках, смотрела на Шувалова всякий раз «с чувством невольного отвращения». Это чувство, которое разделял и ее супруг, не могло не отразиться на карьере А. И. Шувалова после смерти 25 декабря 1761 года императрицы Елизаветы Петровны и прихода к власти Петра III. Новый император сразу же уволил Шувалова от его должности.

Смерть Елизаветы стала трагедией и еще для одного Шувалова, который, в отличие от Петра и Александра, не был графом, фельдмаршалом и владельцем бесчисленных заводов и поместий. Этого удивительного Шувалова звали Иваном Ивановичем. Он родился в 1727 году под Москвой в небогатой и незнатной дворянской семье, получил домашнее образование. Когда он подрос, то Петр и Александр Шуваловы, приходившиеся Ивану двоюродными братьями, пристроили его на придворную службу - помогли определить в пажи. С самого начала Иван

заметно отличался от своих сверстников и вообще придворных. Он обратил на себя внимание окружающих умом, начитанностью, мягкой манерой поведения, красотой. «Я вечно его находила в передней с книгой в руке, - писала о нем впоследствии императрица Екатерина II, в ту пору молодая великая княгиня, - я тоже любила читать и вследствие этого я его заметила; на охоте я иногда с ним разговаривала; этот юноша показался мне умным и с большим желанием учиться… он также иногда жаловался на одиночество, в каком оставляли его родные; ему было тогда восемнадцать лет, он был очень недурен лицом, очень услужлив, очень вежлив, очень внимателен и казался от природы очень кроткого нрава». Заметим попутно, что этому высказыванию можно верить - Екатерина, став императрицей, не особенно симпатизировала Шувалову и не могла простить ему участия в интригах против нее накануне смерти Елизаветы.

Однако родственники - двоюродные братья - недолго оставляли юношу в одиночестве. Точнее сказать, жена Петра Шувалова, графиня Мавра, обратила внимание императрицы на симпатичного пажа. Так начался «случай» 18-летнего Ивана Шувалова у 39-летней императрицы. Все это происходило осенью 1749 года под Москвой. Шувалов был тогда пожалован в камер-юнкеры и «благодаря этому, - пишет Екатерина, - его случай перестал быть тайной, которую все передавали друг другу на ухо, как в известной комедии».

В истории долгой связи Елизаветы и Шувалова была своя тайна. Трудно развивать эту интимную тему, но и умолчание о ней было бы ханжеством и лицемерием. Можно сказать определенно, что не юный Шувалов стал инициатором этой близости. «Случай» Шувалова отразил личные проблемы императрицы. Многолетний брак с Разумовским к концу 1740-х годов дал трещину, время заботливых хлопот императрицы вокруг «друга нелицемерного» Алеши прошло. Вряд ли изменился Разумовский - в то время мужчина в самом соку. Изменилась сама императрица. К закату своей жизни ослепительная красавица Елизавета панически боялась малейшего упоминания о смерти, она отчаянно бежала от старости, безобразившей ее прекрасное лицо. Между тем люди в тот век старились быстро, к тому же государыня вела, как сказано выше, весьма неумеренный, полуночный образ жизни, любила много и жирно поесть.

Умение стареть так, чтобы не выглядить смешной, как известно, большое искусство - им не овладела даже Екатерина II, женщина необыкновенно умная, но к концу жизни потерявшая весь свой юмор и самоиронию в погоне за очередным «Пиром», «Красным кафтаном», «Чернушкой» или другим юным альфонсом.

А что уж говорить об императрице Елизавете, безумно любившей себя и, как точно сказал В. О. Ключевский, «не спускавшей с себя глаз». Вот и ее, подошедшую к сорокалетию, не миновала такая же страсть, в основе которой было, в сущности, отчаянное желание стареющей женщины остановить неумолимое время, стремление вместе с юным любовником вернуть ощущения новизны жизни и молодости.

Поначалу казалось, что век Шувалова - смазливого мальчика - будет коротким, как век других подобных юношей-кадетов, которые стали появляться у государыни. Зная императрицу и Шувалова, нельзя не поразиться несходству типов личности, интеллекта партнеров в этой паре. Но месяц проходил за месяцем, молодой фаворит не исчезал из покоев императрицы, а наоборот - обосновался в апартаментах, в которых раньше жил Разумовский, и остался там до самой смерти государыни в 1761 году. Фавориты - отставной и действующий - оказались выше всяких похвал: не было ни сцен, ни скандалов, ни кляуз. Разумовский попросту отошел в сторону, а Шувалов его не преследовал. Императрица подарила Разумовскому Аничков дворец на Невском проспекте, сделала его генерал-фельдмаршалом, и тот спокойно принял своеобразное отступное от бывшей супруги и зажил в свое удовольствие.

Кажется, что столь долгая привязанность императрицы к Ивану Шувалову объясняется не только желанием отодвинуть подальше осень жизни, но и тем, что Елизавета узнала и оценила многие замечательные качества своего юного любовника. С самого начала «случая» он, ставленник своих властолюбивых кузенов, не проявлял свойственной им наглости и беспредельной жадности. Он по-родственному поддерживал Петра и Александра. Благодаря фавору кузена те заняли первенствующие места в правительстве и при дворе. Но при этом нельзя сказать, что он был безвольной марионеткой в их руках. Шувалов вел себя необычайно скромно для «ночного императора». А возможности получить чины, звания, богатства у него были не меньшие, чем у Бирона или Потемкина в эпоху их фавора. При этом власть Шувалова была весьма велика, особенно в последние годы жизни императрицы, после ухода из политики канцлера Бестужева-Рюмина и усиления в конце 1750-х - начале 1760-х годов болезни Елизаветы, которая все реже и реже появлялась на людях и никого не принимала. Тогда Иван Шувалов оставался единственным докладчиком и секретарем больной императрицы, а порой единственным придворным, которого она допускала к себе. Шувалов не скрывал, что сам готовит тексты указов государыни. Так, он писал М.И. Воронцову: «Приказала мне

написать письмо к собственному подписанию, которое теперь и подано» *(Письма Шувалова, с.1416)*.

И все же, несмотря на огромную власть, которая у него, волею случая, оказалась, Шувалов вел себя подчеркнуто неприметно и скромно, не афишировал свое положение, отводил себе роль пунктуального исполнителя указаний своей повелительницы: «Не будучи ни к чему употреблен, не смею без позволения предпринимать, а если приказано будет, то вашему сиятельству отпишу» - из письма Михаила Воронцову *(АВ, 6, с.279)*. На самом же деле такая позиция была весьма удобна для фаворита, снимала с него ответственность за принятые даже по его инициативе решения. Подписи Шувалова появляются под официальными документами только в конце царствования Елизаветы Петровны, но в реальности его власти и до этого никто не сомневался. «Он вмешивается во все дела, не нося особых званий и не занимая особых должностей, - писал в 1761 году Фавье. - Чужестранные посланники и министры постоянно видятся с Иваном Ивановичем Шуваловым и стараются предупреждать его о предметах своих переговоров (в Коллегии иностранных дел. - *Е.А.*). Одним словом, он пользуется всеми преимуществами министра, не будучи им; впрочем, влияние на дела он имеет, действуя сообща со своими двоюродными братьями. Камергер - так его зовут для краткости» *(Фавье, с.392)*.

В 1757 году вице-канцлер Михаил Воронцов подал на подпись императрице (читай - Шувалову, через которого к государыне шли все бумаги) проект именного указа, согласно которому Иван Шувалов сразу становился вровень с братьями - графом, членом Конференции при высочайшем дворе, сенатором, кавалером высшего ордена Святого Андрея Первозванного, помещиком деревень с десятью тысячами душ. Бесспорно, соблазн был велик - государыня чувствовала себя неважно, а молодому Ивану Ивановичу - жить да жить, самое время упрочить свое состояние. Но Шувалов выдержал испытание соблазнами власти и медными трубами. В ответ на проект указа он писал Воронцову: «Могу сказать, что рожден без самолюбия безмерного, без желания к богатству, честям и знатности; когда я, милостивый государь, ни в каких случаях к сим вещам моей алчбы не казал в таких летах, где страсти и тщеславие владычествуют людьми, то ныне истинно и более притчины нет». Позже, уже после смерти Елизаветы, в октябре 1763 года Шувалов писал сестре, П. И. Голицыной: «Благодарю моего Бога, что дал мне умеренность в младом моем возрасте, не был никогда ослеплен честьми и богатством, и так в совершеннейших годах еще меньше быть могу» *(Письма Шувалова, с.1398-1401; Письма Шувалова к сестре, с.140)*.

Это была не поза, а жизненная позиция. У Шувалова действительно не было безмерного самолюбия. Он не рвался к чинам и званиям, не выпрашивал у государыни, как это делали другие сановники, «крестьянишек» и «деревенишек». Конечно, все относительно. Естественно, Шувалов никогда не бедствовал, он жил в императорском дворце больше десятка лет, наслаждался всеми благами, которые давало ему положение фаворита. В 1754 году роскошным балом-маскарадом он отметил новоселье в новом доме на углу Невского и Большой Садовой с огромной картинной галереей и библиотекой *(Пыляев, 1990, с.168 - 169)*. Но все же после смерти государыни он не выехал из ее дворца на возу с золотом и не укрылся, как Разумовский, в своих бесчисленных и богатых поместьях.

Его титул может показаться пышным современному читателю, но на самом деле это не так - могущественный временщик императрицы за все годы своего фавора не стал не только светлейшим князем, но даже и графом, не говоря уже о чине генерал-фельдмаршала или хотя бы полного генерала, кавалера высшего российского ордена Святого Андрея Первозванного. Шувалов так и остался «генерал-адъютантом, от армии генерал-поручиком, действительным камергером, орденов Белого Орла, Святого Александра Невского и Святой Анны кавалером, Московского университета куратором, Академии Художеств главным директором и основателем, Лондонского королевского собрания и Мадридской королевской Академии Художеств членом» *(Анисимов, 1985, с.95)*.

После смерти Елизаветы Шувалов жил весьма скромно. В 1763 году он отправился за границу, откуда просил денежной помощи у сестры, княгини Голицыной, а вернувшись в Россию, довольно часто жил в ее доме. Легенда гласит, что после смерти императрицы Елизаветы он отдал ее преемнику, императору Петру III, миллион рублей, которым наградила его Елизавета. Можно спорить о сумме, но сам поступок Шувалова соответствует всему, что мы о нем знаем.

Думаю, что Елизавета, всегда ревнивая и подозрительная к малейшей попытке использовать ее благорасположение в ущерб ее же власти, безусловно доверяла Шувалову. Таких людей при ее дворе за все двадцатилетнее царствование можно было пересчитать на пальцах одной руки. Недоверчивая к людям императрица все больше полагалась в делах на Шувалова. У нее не раз бывала возможность проверить честность и порядочность своего молодого друга, и тот всегда подтверждал свою репутацию бессребреника.

В 1759 году канцлер Михаил Воронцов, видя, как богатеет на

поставках и монополиях его брат Р. И. Воронцов, получивший прозвище «Роман - большой карман», попросил Шувалова похлопотать перед Елизаветой о предоставлении ему исключительной монополии на вывоз за границу русского хлеба. В подобных случаях предполагалось, как само собой разумеющееся, что ходатай по такому делу разделит выгоду, и не малую, всего предприятия. Шувалов, в свойственной ему мягкой, деликатной манере, отвечал приятелю, что в данный момент монополия на хлебный вывоз государству не нужна, и «против пользы государственной я никаким образом на то поступить против моей чести не могу, что ваше сиятельство, будучи столь одарены разумом, конечно, от меня требовать не станете».

Мы не знаем, как на самом деле относился к годившейся ему в матери государыне Шувалов. Он не оставил никаких мемуаров, не сохранилось его высказываний о покойной императрице, которые бы запомнили и передали нам современники фаворита. Это так же примечательно, как и то, что Шувалов после смерти Елизаветы прожил еще 36 лет, но так и не женился. До нас не дошли сведения о каких-то его романтических увлечениях. Впрочем, сохранившиеся документы вообще говорят о Шувалове как человеке рассудочном, уравновешенном, даже несколько вялом, расслабленном, жившим без ярких эмоциональных вспышек. В одном из писем М. И. Воронцову он пишет, что им часто владеют «гипохондрические мысли, которые я себе в утешение часто за слабостью моего рассудка и малодушием представляю» *(АВ, 6, с.287)*.

Думаю, что став фаворитом, Шувалов не особенно смущался - в ту эпоху фаворитизм являлся полноценным общественным институтом, считался замечательным средством, чтобы устроиться в жизни, и уж совсем не рассматривался как непристойное ночное занятие, приносящее дневные плоды. Шувалов воспринимал свою жизнь фаворита, как ее воспринимало европейское общество эпохи «Возлюбленного» Людовика XV и мадам Помпадур. Молодой, красивый, модно одетый, Шувалов оставался сыном своего гедонического века - кто же из тогдашней молодежи петербургского света отказался бы от «случая» и счастья стать любовником пусть даже стареющей императрицы. И вообще, говоря о Шувалове - деятеле русского Просвещения, одном из первых наших интеллектуалов, меценатов, основателе и попечителе наук и искусств, - не будем забывать, что он был светским человеком, всю свою жизнь любил красиво одеться, хорошо поесть, при этом старался поразить гостя каким-нибудь диковинным блюдом, вроде печеной картошки с ананасом.

Был он и русским барином, со смягченными европейской культурой повадками своих предков. Вот что вспоминает о нем Илья Тимковский. Беседуя с гостем у камина, на полке которого стояли две античные статуэтки, привезенные им вместе с мраморным камином из Неаполя, Шувалов рассказывал: «После моего возвращения съездил я в свою новую деревню. Там перед окнами дому, мало наискось, открывался прекрасный вид за рекою. Пологостью к ней опускается широкий луг и на нем косят. Все утро я любовался видом и потом спросил у своего интенданта, как велик этот луг. «Он большой, - говорит, указывая в окно, - по тот лес и за те кусты». «Сколько тут собирается сена?» «Не могу доложить, он - графа Кирилла Григорьевича Разумовского, так подходит к нам». «Чужое в глазах так близко», - подумал я, и луг остался на мыслях. Я выбрал время, послал к графу с предложением, не уступит ли мне и какую назначит цену? «Скажите Ивану Ивановичу, - отвечал граф, - что я имения моего не продаю, ни большого, ни малого, а если он даст мне те две статуэтки, что у него на камине, то я с ним поменяюсь». Я подумал: луг так хорош и под глазами, но буду ль я когда в деревне, а к этим привык. Отдавши, испорчу камин, и мысль свою оставил» *(Тимковский, с.1459-1760)*.

Несмотря на особую любовь к книгам и музам, Шувалов оставался типичным модником и петиметром. Вероятно, иной человек и не смог бы стать фаворитом императрицы-щеголихи, проводившей время между балами, маскарадами и театром. Шувалов имел и друзей под стать ему, естественно и мило сочетавших интеллект и щегольство. Одним из них был Иван Григорьевич Чернышев - образованный, до кончиков ногтей светский человек, истинный петиметр и повеса. Его бойкое письмо к Кириллу Разумовскому уже цитировалось выше. Такие же письма писал он и Шувалову, ставшему другом этого ловкого царедворца, который начинал письма Шувалову словами «Любезный и обожаемый Орест!», а кончал так: «Будьте здоровы, любите меня по-прежнему и верьте, что во мне имеете вернейшего друга и усердного слугу, одним словом на века Пилад» *(Письма к Шувалову, с.1858)*. Орест и Пилад, как известно, - неразлучные древнегреческие друзья.

Иван Шувалов, как и его друзья, был изрядным галломаном и, как писал Фавье, «с приятной наружностью он соединял чисто французскую манеру выражаться… Будучи щедрым и великодушным, он облагодетельствовал многих французов, нашедших себе приют в России, и надо признаться, что он не ищет случая этим хвастать… Он оплакивает свое положение, которое лишает его возможности путешествовать, особенно же он

сожалеет, что никогда не бывал в Париже и еще сильнее канцлера (Воронцова. - *Е.А.*) вздыхает о свободе и нежном климате Франции. Впрочем, - отмечает дипломат, - это пристрастие (чистосердечно оно или нет - это безразлично) нисколько не влияет на политическую деятельность камергера» *(Фавье, с.392)*.

О легкомысленных нравах светских приятелей Шувалова ворчали, как и во все времена, старики и завистники, вроде «Перфильича» - литератора и масона Ивана Елагина, который в своей знаменитой сатире «На петиметра и кокеток» целил как раз в Шувалова и людей его круга. Сатирик бил наверняка - все узнали в капризном петиметре, завивающем волосы и думающем только о красе ногтей и ленточках, Ивана Ивановича. И действительно, Шувалов принял сатиру на свой счет, но в отличие от Артемия Волынского, палкой избившего за подобное сочинение Василия Тредиаковского, пошел иным путем - он попросил Михаила Ломоносова ответить поэтическим ударом на выпад Елагина. После долгих колебаний Ломоносов выдавил из себя весьма слабое стихотворение, которое начиналось словами:

Златой младых людей и беспечальный век
Кто хочет огорчить, тот сам не человек…

На что, в ответ, вполне заслуженно, получил стихотворное обвинение в холуйстве.

Шувалов с удовольствием жил той праздничной, нарядной и комфортной жизнью, которую устроила для себя сама императрица:

Чертоги светлые, блистание металлов
Оставив, на поля спешит Елизавет.
Ты следуешь за ней, любезный мой Шувалов
Туда, где ей Цейлон и в севере цветет.
Где хитрость мастерства, преодолев природу,
Осенним дням дает весны прекрасный вид…

Так, воспевая прогулки царицы и ее фаворита в Царскосельских оранжереях и зимних садах, писал Ломоносов. Но далее следуют другие строки:

Толь многи радости, толь разные утехи
Не могут от тебя парнасских гор закрыть.
Тебе приятны коль российских муз успехи.
То можно из твоей любви к ним заключить.

Эти строки, обращенные в 1750 году к совсем еще молодому любовнику Елизаветы, не были поэтическим преувеличением или одной лишь безусловной лестью. С ранних лет Шувалов был глубоко и искренне предан культуре, литературе, искусству. Но прежде чем остановиться на деяниях Шувалова, нужно сказать о тех причинах, факторах и обстоятельствах, которые создали этот феномен - незаурядного деятеля русской культуры, который, думая о красе ногтей, оставался дельным человеком. Нужно помнить, что родившийся в 1727 году Шувалов представлял собой поколение детей реформаторов. Они уже не испытали, как их отцы, шока реформ, мучительного разрыва с прошлым. Они родились как бы уже в париках и фижмах и были по-настоящему первыми нашими европейцами. Немаловажно то, что Шувалов, подобно Пушкину, был, так сказать, туземным европейцем - в отличие от Ломоносова или Тредиаковского он не получил европейского образования, не жил в Европе, как Антиох Кантемир. Шувалов до 1763 года вообще не был за границей, но с младых ногтей нес на себе все признаки высокой европейской образованности. Источником ее были французские книги, которые оказывались в библиотеке Шувалова не позже, чем в библиотеке Фридриха II или других просвещенных людей Европы.

В отличие от поколения отцов, более всего ценивших точное, техническое, практическое знание, Шувалов вырос совершеннейшим гуманитарием. Его любовь к поэзии, искусству была искренняя и глубокая, а чувство слова и художественный вкус - если судить по тем вещам и картинам, которые он покупал, - безупречны. Шувалов не был одарен талантами творца прекрасных произведений и это, кстати, понимал. Но у Шувалова было то, что довольно редко встречается у бесталанных людей, - он не завидовал гению других. Наоборот, он радовался проявлению таланта и помогал ему расцвести. У Шувалова было чутье на талантливых людей, он умел отыскать их среди толпы, он, внимательный и терпеливый, мог найти общий язык с гениями, характеры которых, как и во все времена, были тяжелы и даже невыносимы. Шувалов был истинным меценатом: внимательным и благодарным слушателем, тонким ценителем и знатоком изящного, страстным коллекционером, щедрым и немелочным богачом, а в поощрении и развитии русского искусства и культуры он видел цель своей жизни. Отведенная природой и положением в обществе роль сопричастника творчества, мецената ему нравилась больше упорного и безнадежного труда высокопоставленных любителей и

рифмоплетов, вроде Теплова или Хвостова.

Конечно, в меценатстве Шувалова была своя корысть - в ответ на моральную и материальную поддержку гения меценат был вправе рассчитывать на благодарность Мастера. А какой же может быть благодарность Мастера, как не желание увековечить мецената в произведении искусства, помочь ему, восторженному любителю, переступить порог вечности, на правах друга гения попасть в бессмертие? Но это простительная слабость, тем более что роль первого русского мецената вполне удалась Шувалову - поколения не забыли заслуг Ивана Ивановича.

Стоит обратить внимание на тон и стиль письма Шувалова Ломоносову от 1757 года, в котором меценат призывает поэта заняться составлением русской грамматики: «Усердие больше мне молчать не позволило и принудило вас просить, дабы, для пользы и славы Отечества в сем похвальном деле обще потрудиться соизволили и чтоб по сердечной моей любви и охоте к российскому слову был рассуждениям вашим сопричастен, не столько вспоможением в труде вашем, сколько прилежным вниманием и искренним доброжелательством. Благодарствую за вашу ко мне склонность, что не отреклись для произведения сего дела ко мне собраться… Ваше известное искусство и согласное радение, также и мое доброжелательное усердие принесет довольную пользу, ежели в сем нашем предприятии удовольствие любителей Российского языка всегда пред очами иметь будем» *(Билярский, с.355)*.

В насквозь военно-чиновной России Шувалов, благодаря исключительности своего положения и чертам своего характера, остался неслужилым и даже невоенным человеком. Разумеется, у него был камергерский ключ, чин генерал-лейтенанта, но он не выделялся из блестящей толпы придворных ни ростом, ни статью, ни бриллиантовым панцирем из орденов и украшений. Он не был воинственен, лих и мужественен. Когда после смерти Елизаветы Петр III назначил Шувалова начальником Кадетского корпуса, его друзья покатывались со смеху. Граф Иван Чернышов писал Шувалову: «Простите, любезный друг, я все смеюсь, лишь только представлю себе вас в штиблетах (в смысле - гетрах. - *Е.А.*), как ходите командовать всем корпусом и громче всех кричите: «На караул!» Сам Шувалов с грустью писал своему другу Вольтеру 19 марта 1762 года: «Мне потребовалось собрать все силы моей удрученной души, чтобы исполнять обязанности по должности, превышающей мое честолюбие и мои силы» и далее зачеркнуто: «…и входить в подробности, отнюдь не соответствующие той философии, которую мне бы хотелось иметь единственным предметом занятий» *(Письма к Шувалову, с.1844; Новые тексты,*

с.62, 64).

Культура, искусство - вот что было для Шувалова важнее и превыше всего. Скажу так: не будь в России Ивана Шувалова - фаворита императрицы Елизаветы, долго бы еще не открылся первый русский университет, не было бы Академии Художеств, угасло бы много талантливых художников, скульпторов, беднее была бы русская литература, иным, менее плодотворным был бы творческий путь Михаила Ломоносова.

С Ломоносовым Шувалова связывала дружба, основанная на просвещенном патриотизме, на казавшихся им вечными и неизменными ценностях: вере в знания, талант, науку, Просвещение, в неограниченные возможности просвещенного русского ума, способного на благо себе изменить все вокруг. Оба они были истинными сынами отечества - так называли тогда патриотов. Для Шувалова Ломоносов являлся живым воплощением успеха просвещенного знаниями русского народа. Благодаря настояниям Шувалова, за спиной которого стояла императрица, Ломоносов занялся русской историей, писал много стихов. Но, как часто бывает в жизни, отношения их не были простыми и ровными - слишком разными были эти люди. Ломоносова и Шувалова разделяли пропасть лет, различие в происхождении, социальном положении, диаметральное несходство характеров. Один - человек интеллигентный, мягкий, уклончивый и одновременно беззаботный, избалованный, другой - человек тяжелого характера, необузданный в гневе и под влиянием винных паров, подозрительный и честолюбивый, вечно страдающий от укусов, как ему казалось, ничтожеств и бездарностей. Ломоносов хотел, чтобы Шувалов не только восхищался его гением, но и помогал осуществлять его грандиозные планы, продвигал его весьма амбициозные идеи при дворе, у императрицы.

У Шувалова-царедворца были свой счет, свои проблемы, с которыми великий крестьянский сын не считался и которых даже не понимал. Так, после открытия Московского университета в 1755 году Ломоносов хотел добиться с помощью Шувалова образования нового университета в Петербурге, причем себя видел его ректором. Шувалова же пугали деспотические замашки властного Михаила Васильевича, который мог поступить круто, своевольно и неразумно. Поэтому Шувалов тянул с реализацией планов, которые они так горячо и заинтересованно обсуждали с Ломоносовым. И все это страшно огорчало нетерпеливого и подозрительного помора.

Возвращаясь из Петергофа после очередного бесполезного визита ко двору, Ломоносов остановился на отдых на поляне и

тут же написал горькие стихи, обращенные к кузнечику, который скачет и поет, свободен, беззаботен:

Что видишь, все твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.

Шувалов, петиметр и барин, подчас не щадил обостренного самолюбия Ломоносова, никогда не забывавшего о своем низком социальном происхождении, и от души смеялся, глядя, как происходит за его столом подстроенная им же самим неожиданная встреча Сумарокова и Ломоносова - соперников в поэзии и заклятых врагов в жизни. Это стравливание за столом двух поэтов было не чем иным, как смягченной формой традиционной барской утехи с шутами во время сытного и скучного обеда: «Того же времени соперником Ломоносова был Сумароков. Шувалов часто сводил их у себя… Сумароков злился, тем более Ломоносов язвил его, и если оба не совсем трезвы, то оканчивали ссору запальчивою бранью, так что он высылал или обоих, или чаще Сумарокова… «Если же Ломоносов занесется в своих жалобах, - говорил он, - то я посылаю за Сумароковым, а с тем, ожидая, заведу речь об нем. Сумароков, услышав у дверей, что Ломоносов здесь, или уходит, или, подслушав, вбегает с криком: «Ваше превосходительство, он все лжет, удивляюсь, как вы даете у себя место такому пьянице, негодяю!» - «Сам ты подлец, пьяница, неуч, под школой учился, сцены твои краденые». Но иногда мне удавалось примирять их, и тогда оба были очень приятны» *(Тимковский, с.1453-1454)*.

Один из гостей Ивана Ивановича, вернувшись домой, записал в свой дневник: «Бешеная выходка бригадира Сумарокова за столом у камергера Ивана Ивановича. Смешная сцена между ним и господином Ломоносовым». Ломоносов же увидел в этом совсем другое: его унизили, пытались превратить в Тредьяковского - шута-рифмоплета. Вернувшись домой, он написал своему покровителю полное гнева и оскорбленного достоинства письмо: «Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл (разум. - *Е.А.*), пока разве отнимет». За такие слова при Бироне наш великий самородок отправился бы в Сибирь, а Иван Иванович не обиделся и, скорее всего, как-то нашел возможность сгладить неловкость, ведь он дружил с Ломоносовым и, не кривя душой, восхищался его гением. В одном из писем Ломоносову Шувалов писал: «Удивляюсь в разных сочинениях и переводах ваших… богатству и красоте российского языка, простирающегося от часу лучшими успехами еще (в

смысле - даже. - *Е.А.*) без предписанных правил и утвержденных общим согласием» *(Билярский, с.355)*.

Дружба была потребностью Шувалова. В 1763 году, оказавшись за границей, он писал сестре: «Если Бог изволит, буду жив, и, возвратись в мое отечество, ни о чем ином помышлять не буду, как весть тихую и беспечную жизнь; удалюсь от большого света, который довольно знаю; конечно, не в нем совершенное благополучие почитать надобно, но, собственно, все б и в малом числе людей, родством или дружбою со мной соединенных. Прошу Бога только о том, верьте, что ни чести, ни богатства веселить меня не могут» *(Письма Шувалова к сестре, с.140)*. Несомненно, Шуваловым владели популярные тогда идеи так называемого философского поведения, предполагавшего жизнь в некой бочке Диогена, построенной, однако, в виде комфортабельного эрмитажа или вольтеровского Фернея - искусственно созданного уединенного уголка прекрасного. Здесь можно было бы вместе с единомышленниками - такими же умными, образованными, несуетными друзьями предаваться высоким идеям, интеллектуальным наслаждениям, заниматься самосовершенствованием. Но кроме моды здесь было и извечное стремление человека выскочить из беличьего колеса суетной, быстротекущей жизни, исчезнуть в живописном имении или уютной гостиной. Можно верить Шувалову, что пустая светская жизнь ему приелась, придворные интриги и ложь на дипломатических переговорах утомляли его, довольно уже вкусившего власти. Шувалов действительно стремился к другой жизни, в мир гармонии и тишины, спокойного чтения, нелицемерных бесед с друзьями о прекрасном.

Как и у большинства людей, эта мечта осталась бы мечтой, если бы в Рождество 1761 года вся жизнь Шувалова, вопреки его воле, круто и безвозвратно не переменилась - со смертью Елизаветы он потерял власть, утратил влияние, но обрел такой желанный покой и волю. Произошло это не сразу. Еще до смерти императрицы он пытался сблизиться с «молодым двором», но, встретив непонимание у Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны, интриговал и даже пытался изменить завещание в пользу семилетнего цесаревича Павла Петровича. В день смерти Елизаветы его видели с щекой, разодранной ногтями. По-видимому, Шувалов сильно переживал смерть императрицы и свое крушение. Иван Чернышев в начале 1762 года писал из-за границы: «Любезный и обожаемый друг! Я разделяю все ваши горести, клянусь вам и очень сожалею, что в эту минуту я не в России. Я был бы с вами, может быть и нашел бы средство развеселить вас. Пожалуйста, не предавайтесь горести. Знаете,

что первый мой курьер, возвратясь ко мне, сказал мне, что вы очень постарели и что, глядя на вас, можно подумать, что вы пятью годами старше меня, это мало меня радует» *(Письма к Шувалову, с.1818)*. Чернышев родился в 1728 году и был на год старше Шувалова, которому в год смерти государыни исполнилось 34 года. Тогда он не знал, что это еще не конец жизни, а ее зенит, и судьбою ему отпущено еще 36 лет.

Со смертью Елизаветы началась вторая половина жизни Шувалова. Ему можно позавидовать: он был знаком с гениями, гостил в Фернее у своего друга Вольтера, посещал салоны в Париже, пользуясь там всеобщим почетом и уважением и являя собой «русского посла при европейской литературной державе» *(Голицын, с.262)*. Он долго жил в благословенной Италии, коллекционируя шедевры живописи и скульптуры. Он познал власть, увидел еще при жизни свою славу. Необременительные обязанности попечителя Московского университета и камергера не мешали ему жить в свое удовольствие. Шувалов создал свой литературный салон. Это был первый литературный салон в России. «Светлая угловая комната… там налево в больших креслах у столика, окруженный лицами, сидел маститый, белый старик, сухощавый, средне-большого росту в светло-сером кафтане и белом камзоле… В разговорах и рассказах он имел речь светлую, быструю, без всяких приголосков. Русский язык его с красивою обделкою в тонкостях и тонах. Французский он употреблял где его вводили и когда, по предмету, хотел что сильнее выразить. Лицо его всегда было спокойно поднятое, обращение со всеми упредительное, веселовидное, добродушное». Таким увидел Шувалова на склоне лет мемуарист Тимковский. В тот день за обеденный стол Шувалова сели поэты Гаврила Державин, Иван Дмитриев, Дмитрий Хвостов, Осип Козодавлев, адмирал и филолог Александр Шишков, выдающийся педагог Федор Янкович, будущий директор Публичной библиотеки Александр Оленин. В салоне Шувалова бывали княгиня Дашкова, переводчик Гомера Ермил Костров, Ипполит Богданович - автор «Душеньки» - знаменитой при Екатерине II поэмы о русских Психее и Купидоне и другие литераторы *(Тимковский, с.1458, 1140; Пыляев, 1990, с.171- 173; подр. см. Канторович)*.

Шувалов не слыл мизантропом, вроде Ивана Бецкого или князя Михаила Щербатова, и всегда нуждался в человеческом сочувствии и в друзьях. В 1757 году - в эпоху своего могущества - он писал о своих горестях и плохом настроении Михаилу Воронцову и добавлял: «Простите, милостивый государь, в оном меня, когда откроешь мысли к кому поверенность есть, то кажется, будто полегче» *(АВ, 6, с.140)*. Однако он не был наивен и

простодушен и понимал, что многие ищут его дружбы и подчас дружат с ним как с «сильным человеком». Как показало время, такой и была его дружба с Воронцовым. За месяц до смерти Елизаветы, 29 ноября 1761 года, он писал Воронцову: «Вижу хитрости, которые не понимаю, и вред от людей, преисполненных моими благодеяниями. Невозможность их продолжать прекратила их ко мне уважение, чего, конечно, всегда ожидать был должен и не был столь прост, чтоб думать, что меня, а не пользу свою во мне любят». Это был прямой упрек «верному другу» Михаилу Илларионовичу, который, подобно всем другим царедворцам, предвидя скорую смерть императрицы, уже начал вертеться возле ее наследника - великого князя Петра Федоровича. С тех же пор, как фаворит утратил власть, он приобрел настоящих друзей и мог с полным основанием писать сестре, что, наконец, сумел «приобресть знакомство достойных людей - утешение мне до сего времени неизвестное, все друзья мои, или большею частию, были (друзьями) только моего благополучия, теперь - собственно мои». По-видимому, так и было.

К концу жизни Шувалов все больше сидел дома - у него болели ноги, он редко появлялся на людях, еще реже посещал двор. Осенью 1797 года после долгого перерыва он выехал в свет - его хотела видеть императрица Мария Федоровна. Дорога в Павловск и обратно оказалась тяжелой для старика, он заболел и вскоре умер. «При всем неистовстве северной осени, петербургской погоды, холода и грязи, - писал Тимковский, - умилительно было видеть на похоронах, кроме великого церемониала, съезда и многолюдства, стечение всего, что было тогда в Петербурге из Московского университета, всех времен, чинов и возрастов, и все то были, как он почитал, его дети. Все его проводили. Памятник Ломоносова видел провозимый гроб Мецената. Его похоронили в Александро-Невском монастыре, в Малой Благовещенской церкви. Служил митрополит Гавриил, надгробное слово сказал известный тогда вития, архимандрит Анастасий: «Жизнь Шувалова достойна пера Плутархова» *(Тимковский, с.1462)*. Шувалов был счастливым человеком и сподобился того, о чем мечтает каждый Меценат: имя его, вплетя в свои стихи, обессмертил Поэт, который сам будет жить, пока живет русское слово:

Начало моего великого труда
Прими, Предстатель муз, как принимал всегда
Сложения мои, любя Российско слово,
И тем стремление к стихам давал мне ново.

Тобою поощрен в сей путь пустился я:
Ты будешь оного споспешник и судья.

ГЛАВА 9
ТЯЖКАЯ ЖИЗНЬ В ЗЕМНОМ РАЮ

Правление Елизаветы Петровны - время расцвета русского барокко в его самом нарядном, эффектном итальянском варианте. Этот популярный в те времена во многих странах художественный стиль с капризными завитками, причудливыми изгибами, чувственностью и пышной роскошью был как будто специально создан для императрицы Елизаветы Петровны. Барокко для нее - как драгоценная оправа для редкостного бриллианта. И на эту оправу Елизавета не жалела денег. Торгуясь с купцом за каждую мушку или брошь, императрица, почти не глядя, подписывала гигантские сметы, которые ей приносил Мастер - архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Именно его веселому гению мы обязаны шедеврами архитектуры школы итальянского барокко в России и особенно - в Петербурге.

Растрелли появился в России шестнадцатилетним юношей. Его привез приглашенный Петром I в 1716 году отец - итальянский скульптор и архитектор Бартоломео Карло Растрелли. Довольно быстро сын опередил отца - талант архитектора у Варфоломея Варфоломеевича (так его звали в России) оказался блистательным, да и на повелителей - заказчиков ему везло. Бирон заказывал ему роскошные дворцы в Курляндии, но больше всего нравился Растрелли-младший императрице Елизавете Петровне. Так случилось, что архитектурные амбиции молодой императрицы оказались грандиозны, а возможности государственной казны практически неограниченны, и Растрелли вошел в историю как один из редчайших зодчих, чьи самые смелые идеи и дорогостоящие замыслы оказались воплощенными в камень. Благодаря расточительности веселой Елизаветы они сияют на радость потомкам своей небесной голубизной и изумрудной зеленью уже третье столетие.

Вообще же, у Елизаветы Петровны было множество дворцов - летних, зимних, путевых. В 1730-х годах в Петербурге цесаревна Елизавета жила в каменном доме, построенном для ее зятя, герцога Голштинского Карла-Фридриха, и ее сестры - герцогини Голштинской Анны Петровны. Пожили молодожены в нем совсем немного - два года, и потом дворец отошел к Елизавете, которая здесь и поселилась после возвращения двора в Петербург в 1731 году. В этом дворце цесаревна провела десять лет своей жизни. Отсюда в ночь на 25 октября 1741 года она отправилась

испытывать свою судьбу в гвардейские казармы. Летом Елизавета жила либо в небольшом дворце, унаследованном от матери в Царском Селе, либо в летнем доме у Смольного двора. В 1748 году на месте этого летнего дома императрица заложила мраморный камень в основание Воскресенской церкви, ставшей впоследствии знаменитым Смольным собором - сердцем Смольного монастыря *(Шумигорский, с.312)*.

В 1742 году в Императрицыном саду было завершено строительство дворца, который находился на том самом месте, где сейчас возвышается Михайловский замок. Дворец стоял в огромном саду, протянувшемся от Фонтанки до Екатерининского канала и от Невского проспекта до современного Летнего сада. Это был типичный регулярный французский парк с фигурно подстриженными деревьями, прудами, обширными цветниками, лабиринтом из искусно подстриженных кустов. Неподалеку находился и Слоновый двор, обитатели которого с удовольствием купались в Фонтанке. Дворец этот Елизавета очень любила и часто в нем жила. Здесь 20 сентября 1754 года родился сын Екатерины Алексеевны и Петра Федоровича Павел Петрович. Судьбе было угодно, чтобы на том же месте, только уже в Михайловском замке, или, как тогда его называли, во Дворце святого Михаила, в 1801 году жизнь Павла трагически оборвалась.

На месте современного Зимнего дворца до 1754 года стояло старое здание Зимнего дворца, законченного постройкой к 1737 году. Цесаревна Елизавета приезжала сюда на торжества и балы при дворе императрицы Анны Ивановны. Здесь же, в дворцовом театре, называемом «Театр-комедия», она смотрела спектакли. Именно этот дворец Елизавета, во главе отряда своих кумовьев, и захватила ночью 25 ноября 1741 года. Это здание, построенное архитектором Трезини, имело два главных подъезда - один на Неву, другой - во двор, то есть со стороны Луга - современной Дворцовой площади. Думаю, что именно через этот подъезд мятежники и проникли во дворец. Он имел четыре этажа, три балкона, выходившие на Неву, Адмиралтейство и на Луг. Дворец был довольно обширный и, кроме театра, там располагались большой и богато украшенный тронный зал, картинная галерея и множество жилых и служебных комнат. При Елизавете именно здесь проходили все торжества, среди которых пышностью выделялись празднование мира со Швецией в 1743 году и свадьба великого князя и наследника престола Петра Федоровича с Екатериной Алексеевной в 1745 году. Но к середине 1750-х годов этот дворец показался императрице тесным, и она приказала Растрелли строить новый Зимний - уже знакомый нам. Сама же

Елизавета переселилась в поспешно построенный для нее деревянный дворец у Зеленого моста через Мойку на Невском. Здесь она и умерла 25 декабря 1761 года.

Любила Елизавета и построенный еще ее отцом Екатерингофский дворец, стоявший в том месте, где Нева впадала в Финский залив. В этом уютном, уединенном месте многое напоминало императрице о ее детстве. Дворец был возведен в 1711 году, и еще во времена Елизаветы в нем хранилось немало личных вещей Петра Великого, его книги, картины, множество китайских вещей - вазы, фонари, ширмы. Сама Елизавета перестроила этот дворец, и для нее сделали несколько богато украшенных комнат, стены одной из которых украшал белый бархат с цветами, а другой - атласный штоф. В других комнатах висели первые русские гобелены, живописные и тканые картины. Возможно, что звон старинных английских часов напоминал императрице ее детство - эти часы привезли из Англии еще для Петра, и с тех пор они отбивали быстротекущее время *(Пыляев, 1990, с.81-85, 160-165, Лонгинов, с.46-49)*.

Все дворцы, как каменные, так и деревянные, строились в стиле барокко - вначале в его более скромном голландском варианте, а потом - в пышном итальянском. Именно из Италии с шестнадцатого века пришло в мир барокко. Гений Палладио и его учеников и последователей создал удивительные палаццо и соборы в стиле барокко. Но в Италии, Франции, Голландии, и без того заполненных творениями разных эпох, эти сооружения барокко не стали тем, чем они стали в России. Здесь были целина, простор, немереная страна и бездонная казна, здесь не было предела фантазии, и Растрелли сумел заново осмыслить концепцию барокко, он придал светским по преимуществу постройкам в этом стиле невиданный для других стран размах, создавал в России не просто здания в стиле барокко, но целостные ансамбли, поражавшие наблюдателей богатством внешней отделки зданий и фантастической роскошью внутреннего убранства в модном тогда стиле рококо. Этот пышный, вычурный, прихотливый стиль оформления внутренних интерьеров отвечал представлениям Елизаветы Петровны о том, как нужно жить среди красивого, легкого, изящного, веселого, удобного и благозвучного. Растрелли сумел угодить вкусам императрицы, гениально сочетать желания и прихоти заказчицы с традициями и правилами архитектуры и даже национальными традициями России, что позволило впоследствии говорить о школе русского барокко.

Знаменитый собор Смольного монастыря, который начал строиться в 1748 году, чем-то напоминал Успенский собор

Московского Кремля, а колокольню собора предполагалось сделать с оглядкой на колокольню Ивана Великого. Кроме Смольного собора до нас дошли еще несколько бессмертных шедевров Растрелли. На крутой горе в Петергофе прямо над фонтанами «висит» Большой дворец - еще одно феноменальное творение Растрелли. Мастер начал строить его с 1745 года. Строительство продолжалось десять лет. Растрелли сумел гениально вписать дворец в природную среду, учесть близость моря, простор небес и лесов вокруг. Архитектор первой половины XIX века В. П. Стасов писал о Растрелли: «Характер зданий, произведенных графом Растрелли, всегда величественен, в общности и частях часто смел, щеголеват, всегда согласен с местоположением и выражающий точно свое назначение, потому что внутреннее устройство превосходно удобно…» *(цит.:Овсянников, с.95)*. Шедевром же шедевров Растрелли стал даже не Зимний, Строгановский или иные дворцы, а роскошный Екатерининский дворец в Царском Селе. Архитектору потребовалось одиннадцать лет, чтобы построить в пригороде столицы волшебный Царскосельский дворец.

Удивительное зрелище открывалось перед теми, кто ехал в Царское Село из Петербурга. Перед ними среди лесов и полей, на фоне голубого неба, сверкал огромный золотой чертог. Как писал сам Растрелли, «весь фасад Дворца был выполнен в современной архитектуре итальянского вкуса; капители колонн, фронтоны и наличники окон, равно как и столпы, поддерживающие балконы, а также статуи, поставленные на пьедесталах вдоль верхней балюстрады Дворца - все было позолочено». Вызолочены были даже будки часовых вокруг дворца *(Материалы, с.24)*. А над всем этим великолепием блистали золотые купола придворной церкви. Идет уже третье столетие, как построен этот дворец, которому, как некогда пошутил иностранный дипломат, гость императрицы, не хватает только одного - футляра, чтобы сохранить эту жемчужину.

Еще в тридцатые годы XVIII века здесь было довольно глухое место. На поляне возле финской деревни стоял небольшой дворец Екатерины I (вначале деревянный, а с 1718 года - каменный), некогда подаренный Петром своей жене. По наследству он перешел к цесаревне Елизавете, она приезжала сюда, чтобы поохотиться, весело провести время вдали от двора Анны Ивановны и глаз ее соглядатаев. Жить же постоянно во дворце матери было небезопасно - вокруг стояли нетронутые, дремучие леса, шалили разбойники. Сохранилось письмо Елизаветы 1735 года из Царского Села к управляющему петербургским дворцом. «Степан Петрович! - писала цесаревна. - Как получите сие письмо,

в тот час вели купить два пуда пороху, 30 фунтов пуль, дроби 20 фунтов и, купивши, сей же день прислать к нам сего ж дня немедленно, понеже около нас разбойники ходят и грозились меня расбить» *(Бенуа, с.22)*. Дело было, по-видимому, серьезное - в те времена разбойники извещали свою жертву о намерении напасть на нее.

С Царским Селом у Елизаветы были связаны теплые, детские воспоминания - она всю жизнь так любила это место! Царское Село было для нее таким же отчим домом, как для Петра Преображенское, а для Анны Ивановны Измайлово. Сюда ее тянуло всегда, здесь она провела детство и беспечную юность, здесь она укрывалась от безобразной старости. С приходом цесаревны к власти местность вокруг этого глухого урочища разительным образом переменилась. Растрелли получил задание построить новый дворец и приказ ради возводимого шедевра не жалеть ни материалов, ни денег, но, несмотря на весь свой талант, он никак не мог угодить вкусам императрицы, раз за разом заставлявшей переделывать дворец; подчас архитектору было непонятно, что же она от него хочет. Как писала в конце XVIII века императрица Екатерина II, «это была работа Пенелопы: завтра ломали то, что было сделано сегодня. Дом этот был шесть раз разрушен до основания, и вновь выстроен прежде, чем доведен был до состояния в котором находится теперь. Целы счета на миллион шестьсот тысяч рублей, которых он стоил, но кроме того, императрица тратила на него много денег из своего кармана, и счетов на них нет» *(Екатерина, 1907, с.120-121)*. И все же когда, наконец, Растрелли закончил свой шедевр, восторгам не было конца.

Помимо изумительного внешнего вида посетителей потрясало внутреннее убранство дворца. В 1754 году на экскурсию во дворец был вывезен весь дипломатический корпус, и дипломаты «с особливым прилежанием смотрели как резную и позолоченную работу, так и особливо плафоны, весьма выхваляя великолепность и вкус оных украшений… наслаждался смотрением оных украшениев» и вообще весьма адмирировали (восхищались) «не токмо одно великолепие и богатства, употребленные как в наружных, так и внутренних убранствах всего огромного здания, но изрядный и особливый вымысел и порядок, который при всем усматривался» *(АВ, 4, с.656)*. Что могли видеть гости императрицы Елизаветы, описывает знаток Екатерининского дворца Александр Бенуа: «Через светлую, украшенную золоченою резьбою дверь, на которой лепилась картуш с государственным гербом, входили в самый дворец. Сразу же из первой залы открывалась нескончаемая анфилада

позолоченных и густо разукрашенных комнат. В глубине этого таинственного лабиринта, за бесчисленными дверями и стенами жило мифическое существо - «самая благочестивая государыня императрица». Оттуда, из глубины глубин, точно из какого-то зеркального царства, подвигалась она в высокоторжественных случаях и выходила к толпившимся в залах подданным. Медленно превращалась она из еле видной, но сверкающей драгоценностями точки в явственно очерченную, шуршащую парчой и драгоценностями фигуру».

Миновав анфиладу проходных комнат - антикамер с их живописными плафонами, наборными паркетами, позолоченной резьбой, орнаментами, нарядной голубизной голландских изразцовых печей, гости попадали в Большой зал - главную архитектурную драгоценность дворца. В этом зале происходили балы и торжества. Вот как увидел современник - французский дипломат - этот зал в конце 1750-х годов: «Красота апартаментов и богатство их изумительны, но их затмило приятное зрелище 400 дам, вообще очень красивых и очень богато одетых, которые стояли по бокам зал. К этому поводу восхищения вскоре присоединился другой: внезапно произведенная одновременным падением всех штор темнота сменилась в то же мгновение светом 1200 свеч, которые со всех сторон отражались в зеркалах». Речь идет о трех сотнях зеркал в золоченых рамах, занимавших сверху донизу простенки между окнами Большого зала. Фантастический эффект, описанный автором, состоял в том, что все свечи начинали многократно отражаться как в зеркалах, так и на поверхности зеркального наборного паркета, создавая иллюзию волшебного расширения пространства. Потом, как пишет французский дипломат, заиграл оркестр из 80 музыкантов, и бал открылся.

«Зала была очень велика, танцевали зараз по двадцать менуэтов, что составляло довольно необыкновенное зрелище. Бал продолжался до одиннадцати часов, когда гофмаршал пришел доложить Ея величеству, что ужин готов. Все перешли в очень обширную и убранную залу, освещенную 900 свечами, в которой красовался фигурный стол на четыреста кувертов. На хорах залы начался вокальный и инструментальный концерт, продолжавшийся во все время банкета» *(Мессельер, с.970)*.

Гости, по-видимому, перешли в Картинную столовую - другое чудо дворца. Все стены этого зала были сплошь покрыты картинами, разделенными лишь узкими золотыми рамами. Это создавало впечатление единой живописной панели, составленной из сотни картин знаменитых художников. Как пишет Бенуа, «эта «варварская», с точки зрения музейной техники развеска имеет,

однако, свою декоративную прелесть. Потускневшие от времени краски этих полотен сливаются в однозвучный и благородный аккорд. Глаз скользит по роскошному полю, целиком состоящему из ценных произведений искусства… Стены Картинного зала напоминают древние пиры, когда столы ломились под нагроможденными яствами, а приглашенные насыщались одним видом такого изобилия, не успевали и не могли отведать и десятой доли угощений. Желанный эффект был достигнут: гости уходили, пораженные богатством хозяев. Едва ли Елизавета, любившая, правда, живопись, но не имевшая к ней глубокого отношения, желала произвести иное впечатление на своих приглашенных. Весь дворец, с его наружной и внутренней позолотой, с его сказочной и даже разнузданной роскошью, должен был давать представление о каком-то сверхчеловеческом богатстве. И картинная коллекция не могла при этом предъявлять права на самостоятельное значение. Картины совсем так же, как и золото, и янтарь, и полы из заморских дерев, и горы редкого фарфора, должны были в своей совокупности, в своей массе говорить о чрезвычайных сокровищах императорского дома, а следовательно, и об его могуществе».

А как была изящна наполненная удивительными восточными вещами Китайская комната. А рядом сияла своими дивными панелями Янтарная комната. Как известно, ее по эскизам талантливого немецкого архитектора Андреаса Шлютера и под руководством архитектора Гете делали два прусских мастера Эрнст Шахт и Готфрид Турау для дворца в Шарлоттенбурге, принадлежавшего первому прусскому королю Фридриху I. Еще никто так не поступал с янтарем - обычно его использовали в украшениях, инкрустациях, при оформлении мебели. Здесь же мастера, тщательно подбирая обработанные куски янтаря, создавали панели и мозаичные картины необыкновенной красоты. В Пруссии Янтарную комнату так и не собрали в одном помещении, и презиравший роскошь Фридрих-Вильгельм I спрятал сокровище в цейхгаузе. Теперь неясно, при каких обстоятельствах она попала к Петру I, который получил ее в подарок от своего союзника прусского короля. Возможно, это была плата за города шведской Померании, отданные пруссакам, возможно, Петр попросту выпросил Янтарную комнату у коронованного приятеля. Известно, что он также просил, даже требовал, чтобы город Данциг (современный Гданьск) отдал ему висевшую в городском соборе картину «Страшный суд», чем-то особенно поражавшую современников. Однако Данциг отстоял свою драгоценность.

Как бы то ни было, янтарные панели были привезены в

Россию и пролежали втуне до 1743 года, когда Елизавета Петровна распорядилась установить их в своем Зимнем дворце. Но когда началась постройка последнего (четвертого) Зимнего дворца и старые покои начали ломать, был дан приказ - панели «Ентарного кабинета» на руках перенести в Царское Село, что солдаты и сделали весной 1755 года. Растрелли и мастер Мартелли полтора месяца устанавливали Янтарную комнату в Екатерининском дворце. Растрелли внес усовершенствования в устройство комнаты, он переделал некоторые панели, приказал дописать красками «под янтарь» те панели, которых «не хватало» по размерам комнаты, украсил комнату зеркальными пилястрами, золоченым фризом и добавил другие - в стиле барокко - интерьерные детали. Вдоль стен стояли столики с янтарными статуэтками, различными кунстами - диковинками и поделками из янтаря. И хотя потом Янтарная комната много раз переделывалась, она сохраняла основные архитектурные идеи Растрелли, которому, кажется, одному оказалось по плечу вписать этот великолепный шедевр в архитектурное произведение.

Из комнат второго - парадного - этажа дворца гости попадали на террасу галереи, где был разбит висячий сад: «Общее впечатление от этого висячего сада было, вероятно, фантастическое. Стоя у стены правого флигеля, посетитель наблюдал приблизительно следующую картину. С обеих сторон вглубь уходили колоннады внутренних сторон с их раззолоченными капителями, орнаментами и статуями. Всю глубину этого странного зала без потолка занимал фасад церкви с ее полуколокольней, а над ним сверкали в воздухе золоченые купола и кресты. Вместо рисунка штучного паркета изгибались пестрые и яркие разводы цветников, мебель состояла из каменных скамей, расположенных под вишнями, яблонями и грушами» *(Бенуа, с.96, 130-131, 145)*.

Барокко, как и любой другой стиль - это не просто внешний вид архитектурного сооружения, набор деталей, который позволяет нам отличить его от других стилей. Барокко - это образ жизни среди этой архитектуры. Висячий сад Царскосельского дворца уже стал не нужен в следующую, екатерининскую эпоху. Новой владелице дворца, воспитанной в ином, «классическом», стиле, потребовалось другое - закрытая Камеронова галерея с ее псевдоантичной простотой. Екатерине II уже не нравились фонтаны Петергофа - ее возмущали попытки «мучить» воду, не позволявшие ей течь естественно. И Растрелли уже казался старомодным и напыщенным со своими завитушками. Но для Елизаветы Петровны его творения пришлись как нельзя кстати- в

этом море зеркал и золота она видела, как плыла ее сверкающая бриллиантами божественная фигура.

Нам не дано понять и прочувствовать все прелести и недостатки жизни в елизаветинских дворцах. Теперь это государственные музеи: шаг влево, шаг вправо от дорожки для экскурсантов - и срабатывает визгливая сигнализация или вмешивается дежурная старушка. И вообще эти дворцы так много испытали на своем веку - от пожаров, войн, нашествия невежд. От времен Елизаветы в них мало что осталось, прекрасные зеркала в золоченых рамах уже другие, и в них никогда не отражалась красавица-императрица, как и на сверкающие паркеты из редчайших пород дерева никогда не ступала ее божественная ножка. И только иногда, стоя перед сверкающей в лучах летнего солнца анфиладой залов Екатерининского дворца - в те редкие минуты, когда одна экскурсия исчезла за поворотом, а другая еще шаркает тапками где-то на лестнице, - видишь перед собой все ту же, что и в XVIII веке, теплую зеркально-золотую бесконечность. Кажется, что это «туннель истории», уходящий в прошлое…

Гость, впервые попадавший во дворец, замирал от красоты и яркости всего, что он видел. «Признаюсь искренно, что я удивлен был великолепием двора нашей императрицы. Везде сияющее золото, собрание людей в голубых и красных лентах (то есть редких тогда андреевских и александровских кавалеров. - *Е.А.*), множество дам прекрасных, наконец, огромная музыка - все сие поражало зрение и слух мой, и дворец казался мне жилищем существа выше смертного» *(Фонвизин, с.202)*. На это все во дворце и было рассчитано.

Дворцы для Елизаветы - огромные сцены, на которых разыгрывалась бесконечная пьеса ее жизни с переодеваниями, праздниками, обедами, приемами. Попытаемся и мы представить себе, как проходила эта жизнь. Возьмем для примера обычный праздник и расскажем о нем, что знаем.

* * *

Празднеств при дворе было великое множество. Дни рождения, тезоименитства императрицы и наследника, его супруги, а потом и цесаревича Павла Петровича, памятный день 25 ноября 1741 года, принесший Елизавете власть, полковые праздники императорской гвардии, кавалерские праздники орденов Андрея Первозванного, Александра Невского, польского Белого Орла, викториальные (победные) дни. Самым торжественным из них был день Полтавской баталии. Разумеется,

отмечали и праздники Русской православной церкви: Рождество, Пасху, Богоявление, Водосвятие, Святую Троицу, Пятидесятницу и другие. Нужно вспомнить еще свадебные торжества по случаю счастливого бракосочетания придворных и вообще дворцовых служителей. Все праздники отмечались пышно, торжественно и очень долго, что было весьма утомительно для участников.

С петровских времен сложились вполне устойчивые ритуалы официальных праздников и торжеств. Все начиналось с литургии, как правило, в придворной церкви. Тогда же раздавался праздничный перезвон колоколов городских церквей и салют. Тучи галок и грачей поднимала в петербургское небо почти непрерывная пальба пушек с бастионов Петропавловской и Адмиралтейской крепостей, со стоявших в Неве кораблей. С моря также доносился страшный грохот - это палили сотни орудий цитадели и фортов Кронштадта и кораблей Балтийского флота. Пушки ставили также на основных площадях и перекрестках улиц. Пушечная пальба сопровождалась беглым ружейным огнем стоявших возле дворца и в других местах города гвардейских и армейских полков - а это не меньше десятка тысяч ружей. Не будем забывать, что порох тогда - в отличие от позднейших времен - был только дымным, причем очень дымным и черным. Нашему современнику, попавшему в Петербург елизаветинской поры, показалось бы, что город подвергся нападению противника и идут упорные уличные бои, если бы не громкие крики «Виват!», грохот полковых литавр, сверкавших своими золочеными боками, и пронзительные клики труб, слышные в перерывах пальбы. Причиной этого, привычного людям восемнадцатого века, свето-, а точнее, звуко-преставления была особая любовь к праздникам - имитациям войн и побед в войнах, а также невероятное количество пороха, который готовили в изобилии многочисленные пороховые заводы.

После литургии императрица, одетая в платье, сшитое как мундир полковника Преображенского полка (она же была полковником и других гвардейских полков), принимала парад. В нем участвовали не только четыре гвардейских полка - Преображенский, Семеновский, Измайловский, Конный, но и несколько полевых полков, обычно квартировавших в городе или его окрестностях. Императрица, конечно, не вставала, как ее отец, в общий строй первого полка русской регулярной армии и не участвовала в марше, но была рядом со своими усатыми красавцами и в роскошном экипаже объезжала их строй. Во время парада на праздник Водосвятия у проруби-иордани перед Зимним дворцом полки стояли шпалерами на льду Невы от Стрелки Васильевского острова до Охты - иначе столько солдат и

офицеров и разместить было невозможно. В 1749 году на лед было выведено девять полков или 16 047 человек! *(Журнал, с.189)*. В тот момент крики «Виват!!!» могли заглушать и пушечную пальбу - присутствие государыни всех воодушевляло, как и подносимая ею чарка водки наиболее заслуженным воинам. Порция на солдата в то время была такова - две чарки водки и кружка пива, а то порой и больше, а также сбитень и горячие калачи.

Во время праздника Водосвятия 1752 года «стоящих в параде штаб- и обер-офицеров трактовали (угощали. - *Е.А.*) на воде (то есть на льду. - *Е.А.*), были для их столы: первый - против Иордани, близ дворца, в нарочно огороженном ширмами великом шатре, в котором довольствовались гвардии полков штаб- и обер-офицеры холодным кушаньем, гретым вином с пряными зельи и другими разными винами, кофеем и чаем, приходя самопроизвольно, с переменою довольствовались. Второй стол, близ императорских академических палат (то есть Академии наук. - *Е.А.*) армейских полков штаб- и обер-офицеров довольствовал, а которым офицерам от полков отлучиться было за дальностью невозможно, развозили санями на лошадях от тех столов холодное кушанье, всякия вины по полкам. И то трактование происходило по утру, от 10 часа, как полки на воду пришли и до самого окончания» *(КФЖ, 1752 год, с.6)*.

Народ на улицах также ликовал в предвкушении дармового угощения - по улицам разносился не только пороховой дым, но и запах жареного мяса и густой, бодрящий простолюдина дух сивухи: на площади у дворца стояли многоступенчатые пирамиды, на которые дворцовые служители поднимали зажаренных на вертеле быков с золочеными рогами. В распоротое брюхо быка набивали жареную дичь - глухарей, тетеревов, уток и рябчиков. «Другие пищи» для народа были установлены также на помостах в разных концах площади. Сивухой разило от винных фонтанов. Это были небольшие деревянные бассейны, в которые лили водку или недорогое красное вино - астраханский чихирь из приподнятых на столбах бочек. Во время праздников в Московском Кремле бочки поднимали на колокольню Ивана Великого, откуда водка устремлялась вниз, а потом взлетала вверх - о высоте такого винного фонтана можно только догадываться - здесь нужны вычисления, которые автор сделать не в состоянии. Точно известно, что обычно винных бочек выкатывали из дворцовых погребов не меньше полусотни *(Карпович, с.273)*.

Полиция загородками, шлагбаумами и живой цепью с трудом сдерживала алчущую толпу, которую допускали к угощению по

особому сигналу пушки. Вот как описывал французский дипломат Корберон подобный обычай уже при Екатерине II: «Перед дворцом находится очень большая площадь, на которой может поместиться до 30 ООО человек. Посреди этой площади был воздвигнут помост из бревен с несколькими ступенями. На него кладут жареного быка, покрытого красным сукном, из-под которого виднеются голова и рога животного. Народ стоит вокруг, сдерживаемый в своем прожорливом нетерпении чинами полиции, которые, с хлыстами в руках, обуздывают его горячность. Это напоминает наших охотничьих собак, ожидающих своей доли оленя, которого загнали и разрубают на части, прежде чем выкинуть им. На этой же площади, направо и налево от помоста, бьют фонтаны, имеющие форму ваз, из них льет вино и квас. При первом выстреле из пушки все настораживаются, но только после второго выстрела полиция отходит в сторону, и весь этот дикий народ кидается вперед; в это мгновение он производил впечатление варваров и скотов. Помимо прожорливости здесь было и другое побуждение: предлагалось схватить быка за рога и оторвать ему голову, тому же, кто принесет голову во дворец, обещано было сто рублей награды за ловкость и силу. И сколько желавших одержать эту победу! Люди опрокидывают, увечат, топчут друг друга, и все хотят быть причастными к этой славе. Триста несчастных тащили с криками свой отвратительный трофей, от которого каждый рвал куски, и обещанные сто рублей были поделены между ними». Впрочем, не будем забывать, что сам Корберон прибыл из страны, в которой весной 1770 года, во время празднества бракосочетания Людовика XVI и Марии-Антуанетты, озверевшая толпа, устремившись к даровым угощениям, затоптала свыше тысячи человек. Думаю, что зрелище это было не менее жуткое и дикое, чем то, которое француз видел в России.

За чудовищной свалкой у быков и фонтанов с дворцового балкона со смехом наблюдали императрица и ее высокопоставленные гости. Как и во Франции в это время, в России говядина и дичь стоили копейки, а на полкопейки в любом кабаке можно было упиться водкой. Но люди рвались на площадь и топтали друг друга только потому, что все давали даром.

Новая свалка начиналась, когда с дворцового балкона в толпу начинали бросать деньги, а в особо торжественных случаях - специально отчеканенные золотые и серебряные жетоны. К этому времени все знатные персоны и дипломаты иностранных государств находились уже во дворце и приносили свои поздравления государыне, в строгом порядке подходя к ручке. В

памятный день вступления на престол, 25 ноября, государыня, одевшись в «лейб-компании корпуса в кавалерский гренадерский убор, яко капитан», выходила в окружении свиты в галерею, где «вся лейб-компания стояла в параде без ружья» и жаловала к ручке всех ветеранов - героев революции 25 ноября. Их заранее заставляли вымыться и приодеться и «чтоб на шапках перья были у всех поставлены и заворочены одним манером, также, чтоб оные перья гораздо укреплены были, чтоб не выпадали и не шатались… и когда будут подходить к руке Ее императорского величества, чтоб шапок не скидали, а притом бы береглись, чтоб Ее императорское величество перьями не обезпокоить» *(Панчулидзев, с.300)*.

* * *

После этого следовали так называемые столы или трактование, то есть угощение. Длинным столам придавалась причудливая форма - в виде извивающейся змеи, барочного узора, какой-нибудь буквы. Скатерти переплетали разноцветные ленты, они были заколоты красивыми большими розетками, с помощью которых у свисающих концов скатертей образовывались причудливые оборки. Особенно живописно убирался стол во время кавалерских орденских праздников, когда строго соблюдалась орденская гамма - в одежде участников, в ливреях слуг, в украшении стола и даже в посуде - до наших дней дошли так называемые «кавалерские сервизы».

Сам стол напоминал сложное архитектурное сооружение со ступенями и пирамидами. Все это сооружение в документах Придворной конторы называлось «гора банкетная деревянная». На нем стояли различные символические фигуры, вензеля, короны. Особенно восхитительны были тысячи искусственных цветов, соединенных фантазией архитектора и художника в причудливые букеты и золоченые фигуры, маленькие деревья, увитые живыми и искусственными цветами. Последние были двух типов - китайские бумажные и итальянские из перьев диковинных тропических птиц. Они украшали пирамиды, нависали гирляндами над маленькими фонтанами, которые журчали тут же на столах. Здесь же живописными грудами лежали «конфекты» - сласти, приготовленные французскими кондитерами. Все сласти оформлялись в виде огромных съедобных картин («десерт представлял Марсово поле с Марсом и с разными приличными тому торжеству украшениями,…поставлено было кушанья 1300 блюд и конфектов 300 пирамид…»). К этому нужно добавить

блеск сотен белых восковых свечей, украшенных золотыми узорами и вставленных в особые футляры - белые и желтые «налепы» и «факелы»; как писал современник, за столом на четыреста персон горело девятьсот свечей. Свечи отражались в сверкающих золотых и серебряных сосудах и тарелках. Украшением стола служил диковинный фарфоровый сервиз, предметы которого представляли собой вид окорока, кабаньей головы или кочана капусты в натуральную величину.

Протокол соблюдался строго - каждый приглашенный имел свое определенное место и не мог его менять. Государыня милостиво улыбалась гостям из-за особого стола, стоявшего, как правило, на возвышении, под балдахином. У подножия этого возвышения ставили столы для первейших особ государства, с которыми государыня, если, конечно, находилась в милостивом расположении духа, любезно разговаривала. Но бывали и другие столы. Как отмечено в описании обеда императрицы с гвардией 3 мая 1750 года в Зимнем дворце, «стол поставлен был фигурою наподобие короны. В средине изволила сидеть всемилостивейшая государыня, всех лейб-гвардии полков господин полковник. Господа подполковники сидели по нумерам старшинства своего: 1. Преображенского, Его императорского высочества государь великий князь (Петр Федорович. - *Е.А.*); 2. Лейб-гвардии Конного полка генерал-поручик, ордена Александра Невского кавалер Юрья Ливен; 3. Семеновского, генерал-аншеф, ордена Александра Невского кавалер Степан Апраксин; 4. Измайловского, генерал-майор, ордена Святой Анны кавалер Иосиф Гамф; 5. Лейб-гвардии Конной, обер-егермейстер, лейб-компании капитан-поручик, действительный камергер, ордена Святого апостола Андрея и других орденов кавалер граф Алексей Разумовский». За этим же столом сидели подполковник Измайловского полка Кирилл Разумовский и Александр Бутурлин. «Ниже», то есть дальше от государыни, сидели «лейб-гвардии полков господа майоры» числом десять человек, «и от того стола поставлены четыре стола, в четыре луча, за которыми сидели по старшинству полков офицеры, а столы по нумерам и каждой чин сидел по старшинству: 1. Преображенского; 2. Измайловского; 3. Лейб-гвардии Конной; 4. Семеновский» *(Нащокин, с.97-100)*.

Гостей за столом бывало так много, что сидевшие на «низких» местах, то есть в конце извилистого стола, могли видеть дородную государыню в колеблющемся свете сотен свечей в виде крошечной сверкающей бриллиантами куколки. Столы обслуживали сотни официантов - подавальщиков в изящных статс-ливреях. Как вспоминает французский дипломат де Мессельер, «были кушанья всех возможных стран Европы, и

прислуживали русские, немецкие и итальянские официанты, которые старались ухаживать за своими соотечественниками» *(Мессельер, с.971)*.

Что же пили и ели за этими великолепными столами? Современный читатель (имею в виду прежде всего тех, кто наведывается в рестораны) был бы сильно разочарован. Привычный для него современный тип ресторанов с разнообразными, только что приготовленными блюдами был неведом гостям тогдашних банкетов или «трактований». Выставленные на столах картинные гордые лебеди, трогательные поросята с пучком петрушки во рту, дичь, говядина были приготовлены задолго до пиршества. Они давно остыли и вряд ли были вкусными, как и все новые и частые «смены», которые приносили на золотых и серебряных блюдах шедшие непрерывной вереницей официанты.

Впрочем, поначалу гости были увлечены напитками, и холодные закуски на столе оказывались очень кстати - как раз начинались официальные тосты, и нужно было свой «покал» наполнить обязательно до краев и быстро, не мешкая, опустошить - не пить за здравие государыни считалось государственным преступлением. Выбор заграничных вин и водок уже тогда был весьма широк, и винные погреба дворца постоянно пополнялись все новыми и новыми сортами и видами белого, красного вина, ликеров, водок и т. п. Об этом заботилось придворное ведомство, русские дипломатические представители за границей. Благодаря их любознательности и рвению при русском дворе в первой половине XVIII века познакомились со всеми изысканными сортами вин. Дедовские меды, наливки, грубые водки остались для простолюдинов и провинциальных помещиков. За угощением во дворце в основном пили венгерское, бургундское, шампанское, пиво английское, рейнвейн, белое и красное в расчете по две и больше бутылки на человека. Как и во многом другом, новатором в этом деле выступил батюшка правящей императрицы, который обожал иностранные вина и посылал целые экспедиции в Венгрию, Голландию, Германию и другие благословенные места.

Многие из этих самых вин поднимались в «покалах» за праздничным столом Елизаветы Петровны. Список тостов утверждался как меню, и их произносил обер-гофмаршал. Естественно, самым первым и главным был тост «Высочайшего здравия!» или «За здоровье Ея императорского величества всемилостивейшей нашей государыни!». Кроме того, всегда поднимался тост за долголетие государыни, чтоб Господь дал ей столько лет, сколько капель вина в этом наполненном «покале»! Часто произносили тост «Добраго мира или щастливой войны!» -

естественно, в зависимости от ситуации в международных отношениях. В момент испитая тоста специальный служитель взмахивал платком и по этому сигналу батарея, стоявшая у дворца на площади, дружно выпаливала приветственный залп. В такие дни орудийные расчеты у раскаленных орудий оказывались как в настоящем сражении - все в поту и пороховой гари. Им приходилось палить непрерывно - тосты следовали один за другим, а потом, естественно, учащались, хотя вставать всем гостям вовремя удавалось не всегда. В день тезоименитства государыни 29 июня 1748 года во время банкета прозвучало 82 пушечных залпа! *(Журнал, с.83)*. Впрочем, чересчур пьяных гостей при дворе Елизаветы Петровны не бывало - привычки ее батюшки насильно спаивать приглашенных не вошли при его дочери в число возрожденных обычаев. Кроме того, отметим еще одну особенность этих пиршеств - есть основания думать, что нигде на столах нельзя было найти яблок - Елизавета Петровна не терпела запаха этих фруктов и гневалась на тех придворных, от которых исходил запах съеденных ими накануне яблок *(Пыляев, 1990, с.77)*.

Обеды во дворце затягивались на четыре - семь часов, чуть короче были завтраки и ужины. Все время банкета с хоров неслась приятная для уха и пищеварения музыка - это изо всех сил старались придворный оркестр и капелла, их сменяли музыканты и певцы Шляхетского корпуса и моряков (трубачи галерного флота), полковые музыканты. Впрочем, и во время танцев жаждущие напитков и еды могли не беспокоиться. Как писал беглый венецианец Казанова, «в некоторых покоях помещались буфеты внушительной наружности, ломившиеся под тяжестью съедобных вещей, которых достало бы для насыщения самых дюжих аппетитов» *(Казанова, с.538)*.

Особо торжественны, хотя и не так многолюдны, бывали кавалерские и полковые праздники, демонстрировавшие единение государыни, специально одетой в роскошное кавалерское или полковое платье, со своей армией. На полковых празднествах трактовали всех обер-офицеров полка, а за пределами дворца угощали штаб-, унтер-офицеров и солдат.

После обеда начинался бал или маскарад. Здесь необходимо небольшое отступление. Известно, что одним из следствий петровских реформ в России стало торжество идеи «регулярного», «полицейского» государства. Государственная власть стремилась тщательно следить и регулировать все, что было связано с поведением, внешним видом и даже мыслями подданных. Эти идеи прочно вросли в русскую почву, и нет царствования или правления в России, в котором бы они не проявились. Они

зависели подчас не только от общих, генеральных представлений о суровом и непререкаемом властвовании государства над обществом, но и от вкусов и пристрастий правителя. О Петре Великом даже нет нужды много писать - о его методах насильственной европеизации знают все. Но и более гуманная государыня Екатерина II не особенно церемонилась с непослушными подданными и, например, предписывала вешать ящик для пожертвований на шею тех, кто болтал в храме во время службы.

Наша же героиня, императрица Елизавета Петровна, вошла в историю русского самовластия как жесточайший тиран в вопросах моды; она сурово диктовала подданным, как им нужно причесываться и во что одеваться. Екатерина II вспоминала, что на прощальную аудиенцию австрийского посланника Елизавета всем дамам велела «надеть на полуюбки из китового уса короткие юбки розового цвета с еще более короткими казакинами из белой тафты и белые шляпы, подбитые розовой тафтой, поднятые с двух сторон и спускающиеся на глаза. Окутанные таким образом, мы походили на сумасшедших, но это было из послушания».

Пожалуй, самым курьезным и в то же время характерным для режима самовластия дочери Петра Великого может служить указ о бритье… светских дам. «В один прекрасный день, - вспоминает Екатерина II, - императрице нашла фантазия велеть всем дамам обрить головы. Все ее дамы с плачем повиновались, императрица послала им черные, плохо расчесанные парики, которые они были принуждены носить, пока не отросли волосы». То же самое было указано сделать с дамами петербургского света. Оказывается, государыня, в погоне за модой, стала жертвой каких-то шарлатанов, доставивших ей какую-то сомнительную краску для волос. После процедуры окрашивания великолепные волосы государыни оказались так испорчены, что их пришлось сбрить *(Екатерина, 1907, с.122)*. Нет сомнения, что Елизавета Петровна страшно страдала от этого. Разумеется, она могла отправить в Сибирь купца, продавшего краску, или подвернувшихся под горячую руку парикмахера и служанок, но она решила иначе - пусть пострадают с ней вместе и другие дамы. Это и привело к появлению столь необычайного указа. Впрочем, необычайного ли? В 1800 году Павел I издал особый указ об аплодисментах: «Его императорское величество с крайним негодованием усмотреть изволил во время последнего в Гатчине бывшаго представления, что некоторые из бывших там зрителей, вопреки прежде уже отданных приказаний по сему предмету, принимали вольность плескать руками, когда Его величеству одобрения своего изъявлять было неугодно и, напротив того,

воздерживались от плескания, когда Его величество своим примером показывал желание одобрить игру актеров. Равно и то, что при самом дворе Его величества женский пол не соблюдает в одежде того вида скромности и благопристойности, приличного их званию и состоянию, относит все такие упущения против предпочтения и нравственности духу своевольному и неблаговоспитанию» *(Распоряжение, с.298)*.

Последнее замечание Павла кажется смешным брюзжанием педанта в сравнении с волевыми и конкретными указами Елизаветы на эту тему. Камер-фурьерские журналы, в которые вносились записи о парадной жизни елизаветинского двора, - настоящая летопись тирании моды и изящного вкуса. Там часто встречаются самые различные регламентационные постановления об одежде, прическах и т. д. Так, в 1748 году было предписано, чтобы дамы, готовясь к балу, «волос задних от затылка не подгибали вверх, а ежели когда надлежит быть в робах, тогда дамы имеют задние от затылка волосы подгибать кверху». Так же придирчиво, силою именных указов назначались цвет и фасон одежды светских дам и кавалеров. Иные указы самодержицы Всероссийской кажутся не государственными актами, а рекомендациями журнала мод: «Дамам - кафтаны белые, тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые, зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папельон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам - кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые… с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные ж, небольшие» *(КФЖ, 1748 год, с.59)*.

Вот обычный для тех времен именной указ об очередном маскараде: «Ее императорское величество изволила указать… при дворе Ее величества быть публичным маскарадам против того, какие минувшаго декабря 2-го и сего января 2-го чисел… маскарады были, и на оные приезд иметь против прежнего ж всем знатным чинам и всему дворянству российскому и чужестранному с фамилиями, окроме малолетних, в приличных масках». Смысл указа в том, чтобы не позволить помещикам вырядиться, под видом литературных «пастушек» и «пастушков», в одежды своих дворовых и тем самым сэкономить на дорогом маскарадном костюме.

Далее строго-настрого предписывалось: «А при том платья перигримского и арликинского и непристойного деревенского, також и на маскарадных платьях мишурного убранства и хрусталей нигде не было б, а кто не из дворян, тот бы в оной маскарад быть не дерзал, и при себе б не иметь никаких оружий

под опасением штрафа». Гости предупреждались, чтобы не вздумали жульничать: «А для исчисления, сколько во оном маскараде всех дамских и кавалерских персон действительно быть имеет, пропуск чинить по билетам же и для того об оном… высочайшем соизволением персонам учинить повестки, причем объявить, чтоб те персоны, кто во оной маскарад желают, для пропуску билетов требовали точно на то число персон, сколько в том маскараде быть имеют, дабы во исчислении персон не было помешательства, ибо во минувшие маскарады многая персоны, получа билеты, не были, да из тех же персон, кто получит билеты, другим… тех билетов отнюдь не давали». Чтобы все было по-честному, «те персоны при входе у дверей маски снимали… и, которых приставленные гоффуриеры точно знать не могут, то и о чести их спрашивать приказано, дабы под тем видом таковые, кому в тот маскарад быть не подлежит, пройтить не могли…» *(Придворные маскарады, с.775-776)*.

Пропустить бал или маскарад для приглашенных (как мы видим из указа, им присылали особые билеты) считалось невозможным - полиция за этим строго следила. За февраль 1748 года сохранился рапорт генерал-полицмейстера Алексея Татищева о прогульщиках и прогульщицах: «По именному Вашего императорского величества указу поведено нижеобъявленных дам спросить для чего оне 15-го числа февраля при дворе Вашего императорского величества на бале не были и впредь всем дозволенным в приезде ко двору… персонам подтвердить, дабы в случающиеся при дворе… торжества, балы и знатные свадьбы, и в прочие дни, когда повестка бывает, приезжали неотложно под опасением гнева Вашего императорского величества». Ниже был приложен список дам с указанием причин отсутствия на балу: «Вице-адмирала Головина дочь - ветром себя застудила и от той стужи около гортани явилась опухоль» и т. д. *(Студенкин, 1892, с.433)*.

Но и дисциплинированные дамы, явившись на бал, не могли быть спокойны. Дело в том, что угодить вкусам и пристрастиям императрицы было сложно. Дамы как не могли нарушать данные государыней именные указы о модах, так и не смели проявлять особого рвения и искусства одеваться. Входя в бальный зал, государыня ревниво оглядывала всех своих потенциальных соперниц на поприще красоты. Как писала потом в своих мемуарах Екатерина II, императрица «не очень-то любила, чтобы на этих балах появлялись в слишком нарядных туалетах». Однажды на балу, вспоминает Екатерина II, государыня подозвала к себе одну из дам и у всех на глазах срезала украшение из лент, очень шедшее к прическе молодой женщины,

«в другой раз она лично сама остригла половину завитых спереди волос у своих двух фрейлин под тем предлогом, что не любит фасон прически, какой у них был». Потом «обе девицы уверяли, что Ее величество с волосами содрала и немножко кожи». В другой раз императрица передала жене наследника, чтобы она «никогда больше не являлась перед ней в таком платье и с такой прической» *(Екатерина, 1907, с.178)*. Это был верный признак «попадания в цель» - значит молодая женщина оделась великолепно!

Какой-то особенно недобрый, ревнивый счет был у Елизаветы Петровны и к другой даме - Наталье Лопухиной, тогдашней отчаянной щеголихе. Как уже сказано выше, в 1743 году началось следственное дело ее сына Ивана Лопухина, и мать - светская львица, была втянута в расследование дела, наказана кнутом и с урезанием языка сослана в Сибирь. На деле лежит отпечаток пристрастного, ревнивого внимания Елизаветы к своей бальной сопернице, и кажется, что Лопухину подвергли опале не только за преступную болтовню, но и за кокетство, которым она досаждала на балах государыне.

До самой своей кончины государыня хотела, чтобы все окружающие ее люди были вечным «китайским посольством» и всякий раз, при ее появлении, замирали в восхищении перед ее, казалось, немеркнущей красотой и грацией.

Вернемся к тому, с чего начали это отступление. Маскарады занимали особое место в политике Елизаветы - тирана моды. Они быстро укоренились в придворном быте императорского двора и вносили разнообразие в довольно скучные балы с неизменным набором церемонных танцев. Маскарады были теми событиями в жизни Елизаветы, ради которых она, казалось, и жила. И не зря! Вот что писал Штелин: «Всему свету известно, что императрица Елизавета Петровна совершеннейшая была своего времени танцовщица, подававшая собою всему двору пример правильного и нежнейшего танцевания, она также чрезвычайно хорошо танцевала и природные русские танцы, которые хотя вообще и не употреблялись больше при дворе и в знатных домах, однакож иногда, а особливо во время придворных маскарадов их танцуют» *(цит. по: Пыляев, 1990-1, с.133)*.

Устройство и организация маскарадов считались делом непростым: костюмы, танцы и музыка являлись далеко не единственными атрибутами этих увеселений. Гости приезжали уже в костюмах и масках согласно врученным им заранее билетам-приглашениям. Допускались и люди без масок. Их размещали в ложах, где они могли наблюдать за танцующими в партере и на сцене, но не более того. Для гостей-масок в

отдельных помещениях выставлялись напитки и закуски, ставились карточные столы, на которых шла большая игра. Ставками были десятки золотых или небольшие бриллианты. Разыгрывались также различные забавные лотереи.

Было бы неправильно думать, что маскарад представлял собой этакий итальянский карнавал, снимавший обычные для сословного общества перегородки, олицетворявший стихию веселья, уравнивающего всех. Из описаний балов и маскарадов (правда, относящихся ко времени Екатерины II, но их можно распространить и на время царствования ее предшественницы Елизаветы Петровны) видно, что веселящиеся под одну и ту же музыку гости были разделены на две-три группы низкими решетками, отделявшими «особ высшего полета» от круга прочих приглашенных. Эта традиция (конечно, уже без заборчика) сохранилась и сейчас на придворных балах в Букингемском и иных королевских дворцах.

Изредка Елизавета устраивала маскарады с переодеваниями. Указ о таком маскараде предписывал: «Быть в платье дамам - в кавалерском, а кавалерам - в дамском, у какого какое имеется: в самарах, кафтанах или шлафорах дамских; а обер-гофмейстерине госпоже Голицыной объявлено, что ей быть в маскарадном мужском платье - в домино, в парике и шляпе». Видно, Голицына чем-то прогневала государыню, за что ей и велено было вырядиться отлично от других. Как вспоминает Екатерина II, все общество выглядело ужасно неуклюже и жалко: «Нет ничего безобразнее и в то же время забавнее, как множество мужчин, столь нескладно наряженных, и ничего более жалкого, как фигуры женщин, одетых мужчинами; вполне хороша была только сама императрица, к которой мужское платье отлично шло, она была очень хороша в этих костюмах», для чего собственно и устраивались такие маскарады. «На этих маскарадах мужчины были вообще злы как собаки, а женщины постоянно рисковали тем, что их опрокинут эти чудовищные колоссы, которые очень неловко справлялись со своими громадными фижмами и непрестанно нас задевали, ибо стоило только немного забыться, чтобы очутиться между ними, так как по обыкновению дам тянуло невольно к фижмам» *(Екатерина, 1907, с.56)*. Такие маскарады с переодеванием были нужны Елизавете прежде всего для того, чтобы продемонстрировать свои длинные и изящные ноги. Иного способа прилюдно это сделать, одеваясь в платья с фижмами, не существовало. Впрочем, и сама Екатерина II, став императрицей, иногда устраивала такие же маскарады и была на них - особенно в начале своего царствования - совсем недурна. Вообще, этот «философ на троне» была тоже большой модницей и

многие десятилетия спустя, на склоне лет, с удовольствием описывала в мемуарах свои эффектные прически и «победные костюмы», изящество которых злило государыню Елизавету. Ясно, что Елизавета не могла подозвать к себе жену наследника престола и публично срезать ножницами не в меру эффектный бант с ее головы.

Особенно красивы были маскарады с кадрилями в разноцветных домино. Екатерина вспоминала: «Первая кадриль была великого князя в розовом с серебром, вторая в белом с золотом, третья - моей матери в бледноголубом с серебром, четвертая - в желтом с серебром». В каждой кадрили танцевало по двенадцать пар необыкновенной красоты. Моду на маскарады в России подхватили. Предприимчивый антрепренер итальянец Локателли устраивал публичные, «вольные» маскарады (преимущественно - в Москве) и одним из первых стал развешивать афиши, призывающие любителей спешить на эти увеселения, называемые «Локателев маскарад». Афиша извещала, что вход на маскарад стоит три рубля с персоны и билеты можно купить с утра. Если же «кто-то пожелает ужинать, также кофе, чаю и питья, оные будут получать в том же доме за особливую плату». Предполагалось начинать маскарад с концерта, «пока съедутся столько масок, чтоб бал зачать можно было и от сего времени съезд в маскарад имеет быть всякое воскресенье в 7 часу пополудни, а без маскарадного платья, також и подлые люди никто впущены не будут».

Локателли стремился создать полную иллюзию «верхних», то есть придворных маскарадов - предварительно давал уроки бальных танцев, следил, как и при дворе, чтобы не впускали людей «в самых подлых масках». Во время маскарада устраивались буфеты, в соседних с главным залом комнатах шла карточная игра, в которую желающие могли «веселиться». Можно было поиграть и в лотерею - за вечер продавалось до тысячи билетов ценою по 25 копеек. За этот пустяк можно было собственноручно вытащить из ящичка свое счастье ценой до 200 рублей *(Забелин, с.572-574)*.

* * *

Но вернемся во дворец. Когда за окнами окончательно темнело, из окон дворца становилась видна иллюминация - праздничное световое украшение улиц и домов города. Иллюминация не требовала особой изощренности от специалистов огненной потехи. Это были попросту зажженные

глиняные плошки, наполненные говяжьм салом, - на вечер отпускалось со складов не меньше 150 пудов. Сколько шло масла у обывателей, никто не интересовался - они были обязаны украшать плошками свои дома за свой же счет. Несколько тысяч плошек, расставленных на земле, вдоль оград домов и на бастионах обеих петербургских крепостей подчеркивали архитектуру города, преображали его пространство. Зимой из плошек под разноцветными стеклянными колпаками на льду Невы составлялись аллегорические фигуры, выписывались вензеля. Летом для подобных целей использовали широкие, стоящие вдоль берегов Невы плоты. Для десятков дворцовых служителей и солдат время фейерверков становилось временем таскания на крыши сотен ведер воды - угроза пожаров от иллюминаций и особенно фейерверков была вполне реальна. Особенно красивы были иллюминации в Петергофе («кругом фонтана была иллюминация, також по прешпекту и кашкаду были зажжены плошки»), да еще под «итальянскую голосную и инструментальную музыку» *(Журнал, с.208)*.

Но все же не было зрелища прекраснее, чем фейерверки. Их устраивали на открытых городских пространствах, подальше от жилья. Зимой чаще всего для этого использовали огромную ледовую площадь, ограниченную Зимним дворцом, Петропавловской крепостью и Стрелкой Васильевского острова. Эта подаренная природой естественная водная площадь - настоящее украшение Петербурга - организует все его городское пространство. Без этой площади город потерял бы половину своей величавой прелести. Создатели фейерверков умели использовать эту площадь не только зимой, но и летом, когда волшебные огненные потехи переносились на плоты и стоящие на Неве суда.

Вообще, фейерверк был настоящим искусством и требовал от тех, кто его устраивал, огромных знаний в химии, пиротехнике, механике, геометрии, перспективе и других науках. Самое главное состояло в том, чтобы на замкнутом, погруженном во тьму пространстве - «большом театре фейерверков», - используя реактивную силу пороховых ракет и других снарядов, а также с помощью разноцветных пиротехнических огней создать иллюзию перспективы и разнообразного движения. Как только начинало смеркаться, зрители - их в то время называли «смотрителями» - располагались на трибуне или толпились в приличном (не дай Бог прожечь искрой дорогой камзол или спалить парик!) удалении. Некоторые из них держали в руках отпечатанные гравюры фейерверков с подробными пояснениями того, что произойдет перед ними, ведь фигуры фейерверка были символичны и отличить Астрею от Паллады без программы

оказывалось непросто.

Любимым и очень эффектным приемом, с которого пиротехники начинали представление, было изображение сада, с уходящими вдаль, «до глубочайшего горизонта» и поэтому уменьшающимися в перспективе огненными кедрами или соснами, «цветниками огненных цветов и прочими натуральному саду весьма подобными вещьми». Потом восхищенные зрители видят (читаем по программке) «великий бассейн, огненному озеру подобный, посреди которого стоит статуя, представляющая Радость и испускающая великий огненный фонтан». В какое-то мгновение темное пространство вокруг фонтана вдруг оживало, что-то начинало шипеть, сверкать, шевелиться, словом, жить. Зритель видел «великое множество по земле бегающих швермеров, ракет и других прыгающих по всему сему пространству сада огней, которые своим журчанием, треском, лопаньем и стуком немалую смотрителям подают утеху». Часто центром фейерверочной фигуры становился огромный щит с изображением целой символической картины.

Вряд ли стоит подробно говорить о том, что символика фейерверков была утомительно идеологизирована. Читатель понимает, что описанная выше статуя - не просто фонтанирующая огнем абстрактная Радость, а Радость верноподданного, живущего под благословенным скипетром императрицы Елизаветы Петровны. В «увеселительном фейерверке», сожженном перед Зимним дворцом на льду Невы на Новый 1756 год, было огромное множество таких огненных статуй-аллегорий, толпившихся вокруг «Храма Российской империи», который сиял огненным транспарантом «Буди щастлива и благополучна!». Среди фигур смотрители видели «Любовь к Отечеству» в виде девы с венцом на голове и мечом в деснице, на груди которой пылал государственный герб. С мечом была и «Сила» со своими атрибутами, и «Постоянство», и другие достоинства *(Васильев, с.22; Ровинский, с.249)*.

Читатель ошибется, если будет думать, что фейерверк - только горящие фигуры богинь, крутящиеся мельницы, светящиеся ложные перспективы и упрыгивающие вдаль ракеты. Нет, пиротехники тех времен были настоящими кудесниками. Они придумывали сложные композиции, двигающиеся фигуры экипажей, животных, сказочных существ. Сложная система невидимых в темноте блоков приводила в движение «летящего» в темном небе двуглавого орла, который держал, как писали тогда, в «ноге» пучок сверкающих «молний» и обрушивал их на рыкающего льва под тремя коронами, сиречь Свейское королевство.

Фейерверк заканчивался красочным салютом. Казалось, что десятки гигантских мортир или жерла вулкана со страшным грохотом извергают в небо миллионы разноцветных огней, которые пышными букетами медленно расцветают над городом, заменяя ему частые тогда, но беззвучные северные сияния, хорошо видные людям того века. После фейерверка гостям императрицы, которая, вполне возможно, уходила переодеваться в новый наряд, можно было вновь окунуться в золотой жар праздника, казалось, никогда не кончавшегося…

* * *

Но все же праздник кончался, и во дворце начиналась обычная жизнь. Многочисленные уборщики из дворцовой прислуги начинали мыть и натирать паркеты, вычищать загаженные гостями углы, убирать раздавленные конфекты и экзотические фрукты, собирать и уносить ставшие такими жалкими и ненужными бумажные убранства праздника. Все чувствовали себя свободно, когда государыня, по своему обыкновению, куда-нибудь внезапно уезжала. Но, значит, в каком-то другом дворце, где Елизавету не ждали, начиналась паника среди расслабившихся придворных и служителей. Государыня влетала в апартаменты, и ее острый, придирчивый взгляд сразу замечал все непорядки. В указе 9 октября 1750 года мы читаем, что, войдя в один из апартаментов дворца, Ее величество «изволила усмотреть, что в оной комнате пажи сидели на лавках, обитых штофом, на которых никто не должен садиться». Последовавший затем указ категорически запрещал подобные «резвости» пажей и предупреждал, чтобы служители пажам «непристойные проступки… воспрещали, а в случае за таковое непорядочество и за уши их драли». Из другого распоряжения видно, что государыня предписала «указать, чтоб на ступенях у трона никто не садился, о чем подтвердить стоящим в зале сержантам, також приказать часовым смотреть, чтоб едущие в каналах (мимо дворца. - *Е.А.*) шапки скидывали» *(Журнал, с.210)*.

Дворец был огромным живым организмом, его обслуживали тысячи людей - несметное число водоносов, истопников, поваров, лакеев, прачек, музыкантов и других служителей. Одни из них постоянно жили в нижних помещениях дворца, другие рано утром приходили из своих домов, расположенных на близлежащих улицах. Зимний дворец в начале 1740-х годов отапливался девятью десятками голландских печей! Топка их была многотрудным делом. Дровяные склады заполняли все

пространство позади Зимнего в сторону современной Дворцовой площади.

Кроме того, ежедневно нужно было кормить не только императрицу, ее двор, но и многочисленную прислугу. На дворцовых кухнях работали сотни людей, большинство из которых почти открыто занимались воровством. Управлять этой массой служителей было довольно сложно, тем более что прислуга подчас вела себя ужасно. Обер-гофмейстер граф Миних предложил проект Генерального придворного регламента, в котором от служителей требовалось вести себя пристойно, регулярно ходить в церковь, не заходить самовольно в императорские апартаменты, на кухню, в погреб и чуланы, побольше молчать о том, что они видят при дворе, и вообще «всякие непотребства как в императорском, так и в забавных и загородных Ее величества домах, обхождение с подозрительными и худого житья женщинами, под каким бы предлогом оное не было, також пьянствование, неочередная еда, карты и зерни и в прочем всем христианам непристойные буйства и сквернословия наикрепчайше запрещаются» *(АВ, 2, с.451)*.

Неудивительно, что дворец напоминал проходной двор, и это раздражало государыню, проводившую в танцах всю ночь и засыпавшую лишь под утро - а именно тогда начиналась работа придворных служителей. И вот появляется указ: «Чтоб под залою, в проходных сенях поставить двух часовых, им приказать, чтоб в тех сенях нечистоты отнюдь не было, також ходящих теми сеньми людей мочиться и лить помои отнюдь не допускать, також и чтоб шуму и крику от проходящих людей не было» *(Журнал, с.210)*. Также раздражали государыню «шум и резвости» дневальных пажей в «предпочивательных покоях», где те - в сущности, дети - вероятно, устраивали шумные игры *(Именные указы - 2, с. 555)*. Не было порядка и в дворцовых садах. В 1749 году государыня распорядилась: «В саду соизволила указать у яблонных дерев поставить часовых с таким приказом, чтоб, кроме кавалеров и дам, рвать яблок без садовника и его подчиненных никого не допускать». О том же был предупрежден часовой, стоявший на крыльце у покоев государыни во время пребывания Елизаветы Петровны в Москве: «Чтоб смотрел стоящих… черемух и щипать никого не допускал» *(Журнал, с.150, 210)*.

Не терпела государыня и табачного дыма. Об этом в 1749 году был дан особый указ, «дабы при дворе Ее императорского величества табаку отнюдь никто курить не дерзал». В том же указе вновь подтверждалось, чтоб «никого в серых кафтанах и лаптях подлого народа пропускать не велеть, кроме работных людей» *(Журнал, с.189)*. Это объяснялось не только тем, что вид

лаптей и армяков оскорблял взор императрицы Елизаветы, но и тем, что такой человек мог быть представителем неугомонного племени челобитчиков - отчаявшихся просителей. Эти несчастные люди в поисках справедливости и правды, где ползком, где бегом пробирались со своими бумагами в сады, рощи и прочие места, где прогуливалась государыня, и с криком валились к ней в ноги. Для каждого русского государя челобитчики, как и регулярные недоимки, становились большой неприятностью, и каждый из русских царей от души ненавидел их и всячески старался не допустить их появления. Обязанность караульных солдат Елизаветы состояла в том, чтобы «наиприлежнейше смотреть, чтоб не могли быть допущены, паче чаяния до ее величества челобитчики». Угрозой их «набегов» объясним и указ 1749 года, которым императрица «соизволила указать, чтоб в Перовые рощи (Перово под Москвой. - *Е.А.*), також и близ оных посторонних людей для гулянья також и челобитчиков никого не допускать». В том же журнале генерал-адъютантов есть сведения и о том, как вылавливали в роще все же просочившихся туда челобитчиков *(Журнал, с.86, 151)*. Императрице редко удавалось покинуть дворец без того, чтобы под ноги лошадям царской кареты не бросился очередной бедолага, а наиболее отчаянным и хитрым просителям удавалось проникать даже в самый дворец, подкупив часовых, что рассматривалось как государственное преступление.

Но случались и забавные челобитчики. В 1753 году Елизавета получила челобитную костромской помещицы Анны Даниловны Ватазиной, жены товарища воеводы Максима Ватазина, уволенного из гвардии прапорщика. Ватазина приехала добиваться для мужа-недотепы майорского чина. Она обивала пороги многих учреждений, так примелькалась всем сановникам, что сенаторы (как она писала) «все отходят смешком», а Петр Иванович Шувалов, к которому она, вероятно, не в первый раз пыталась подойти со своей нижайшей просьбой, прогнал надоедливую просительницу: «Гневается и я испужалась и прозьбы своей не докончила». Но возвращаться ни с чем Ватазина не хотела: «А мне без ранга и мужу моему показатца нельзя». Императрица оставалась последней надеждой упорной провинциалки, которая не пожалела для государыни самого дорогого, что у нее было: «Умилься, матушка, надо мною, сиротою, прикажи указом, а я подвезу Вашему императорскому величеству лучших собак четыре: Еполит, да Жульку, Жанету, Маркиза…» Притом, чтобы окончательно убедить императрицу, Ватазина добавляла: «Мужа моего знают, дураком не назовут».

Впрочем, зная, что просьба ее может не дойти до государыни, Ватазина написала письмо и первой даме двора Мавре

Шуваловой, слезно прося ее напомнить государыне о ее беде. Однако это письмо ставит под сомнение чистоту помыслов костромской прапорщицы: «А что, государыня-матушка, касается до собак, то истинно кой час приеду в Кострому, Жулию вам пришлю, а Иполита, матушка, обещала я его превосходительству Василью Ивановичу Чулкову. Еще же, милостивая государыня-матушка, муж мой пишет ко мне: достал такого славного кобеля, которого по всей Костроме лучше нет, и тем вам услужу… Не оставь бедной просьбы, чтоб я бедная, приехала в Кострому вашей высокою милостию во славу, а не посмешище…» Кому еще из высших сановников империи были обещаны костромские собачки, неизвестно, но под конец письма следует «страшная угроза»: «А ежели вы, государыня-матушка, милости не покажите, то, приехавши в Кострому, всех собак переведу и держать их у себя не буду, коли они, проклятые, бещасны» *(Черты нравов, с.189)*.

Во дворцах Елизаветы, да и ее знатных сановников жить было неуютно. Екатерина II пишет о дворцах, в которых ей приходилось жить, как о бестолково спланированных помещениях, большей частью проходных; по их залам гуляли страшные сквозняки. В щели в стенах, в окна и двери, через прогнившие переплеты окон прорывался студеный мороз. Летом в дворцовых покоях было невыносимо душно, зимой дымно от неимоверно чадящих печей.

Многие здания строились второпях, из плохих материалов. Екатерина II описывает, как однажды она и ее муж - наследник престола Петр Федорович - чуть было не погибли ночью в Гостилицах под Петербургом, в роскошном доме графа Алексея Разумовского. Гости спаслись только благодаря бдительности часовых, вовремя заметивших, как начинает скрипеть и медленно разваливаться огромный дом. «Едва мы, - пишет Екатерина, - переступили порог, как дом начал рушиться, и послышался шум, похожий на то, как когда спускают корабль на воду». Осевшее здание раздавило своими обломками шестнадцать слуг, спавших в его нижних помещениях.

Нередко случались и пожары в дворцовых помещениях. Их причиной, как правило, становились неисправные печи или небрежность истопников и слуг. Не раз и не два слуг предупреждали, «чтоб стерегли от огня и в окна головень и угольев с огнем выкидывать никого не допускали», но все напрасно - в 1753 году от такой головни загорелся и со всем добром погиб в пламени Яузский дворец цесаревны. Если истопники рано закрывали трубы (чтобы лишний раз не беспокоить господ и самим не торчать в прихожей), то у господ открывалась возможность досрочно отправиться на тот свет от

воздействия угарного газа. Как вспоминает Екатерина, печи были до того стары, что когда их топили, насквозь был виден огонь - так много было щелей, и дым наполнял комнаты, у нас у всех болели от него голова и глаза» *(Екатерина, 1907, с.348)*.

Ко всему прочему нужно добавить, что императорские дворцы не были обставлены мебелью, поэтому всю обстановку каждый раз перевозили туда, куда переезжала императрица и двор. В дороге драгоценные зеркала, комоды, кровати бились и ломались. Постоянной мебели не было даже в двух петербургских главных дворцах - Зимнем и Летнем. Наконец, отсутствовали элементарные гигиенические удобства (кроме ночных горшков для членов царской семьи и сугроба или куста под окном для всех остальных придворных и сотен слуг). Зимой и летом сени служили как бы импровизированным отхожим местом и войти в них со свежего воздуха было тяжелым испытанием для каждого.

Сущим наказанием для обитателей дворцов были полчища живших в них разнообразных паразитов. Наши предки отличались изрядной нечистоплотностью, и это касалось и двора, и народа. Отсылая читателя к главе из воспоминаний француза Ш. Массона под характерным названием «Дамы и вши», отмечу, что в елизаветинское время во дворце было нисколько не чище, чем в описанный очевидцем век Екатерины Великой. Вши были у всех, они беспрепятственно переползали от слуг к господам, с дам на кавалеров и наоборот. От регулярных частых бань обычно было мало проку, если при этом одевались в то же самое, снятое перед мытьем белье. Вши становились причиной заразных болезней. Блохи резво прыгали по великолепным паркетам из ценного дерева, гнездились в щелях и язвили самые прекрасные тела. Их ловили специальными блохоловками. Эти произведения искусства из слоновой кости, золота или серебра представляли собой трубочки со множеством дырочек. Снизу трубочка была запаяна, а в верхнюю часть вворачивался стволик, намазанный кровью или сиропом, чтобы блохи, попав в трубочку, прилипали к нему. На цепочке блохоловка вешалась на шею дамы. После бала трубочку опускали в воду - так топили злодеек. От клопов также не было спасу - считается, что балдахины над кроватями возводились для того, чтобы клопы хотя бы не падали с потолка прямо на лицо.

Конечно, с паразитами боролись разными народными и заграничными средствами - порошками, травами. Тараканов морили холодом, открывая в лютые морозы окна и двери помещений, клопов казнили, обливая щели крутым кипятком. Сложнее было с мышами и крысами - их беготня, шуршание и писк за гобеленами и по углам беспокоили и пугали государыню.

А этих тварей было очень много. Екатерина II вспоминала, что самым потрясающим зрелищем во время пожара Яузского дворца было несметное количество крыс и мышей, которые, несмотря на суету слуг, выносивших на улицу мебель и вещи, «спускались по лестнице гуськом, не слишком даже торопясь». В связи с засильем грызунов появилось несколько императорских указов о поощрении дворцового котоводства в России. 27 октября 1753 года Дворцовой канцелярии было предписано для Зимнего дворца «набрать… кошек до трехсот и, посадя оных в те новосделанные покои, в немедленном времени прикармливать и как прикормлены будут, то в те покои распустить, чтоб оные по прокормлении разбежаться не могли, которых набрать и покупкою исправить от той канцелярии и то число кошек содержать всегда при дворе Ее императорского величества непременно».

Через год в новом указе последовало уточнение: кошкам говядину и баранину более не отпускать, а «велеть для помянутых котов… отпускать в каждой день рябчиков и тетеревов по одному» *(Именные указы - 1, с.444)*. С чем было связано изменение меню котов - науке неизвестно. Впрочем, с некоторыми из хвостатых «подданных» у государыни сложились хорошие отношения. Так, дважды было публично объявлено, что «сего апреля 3-го из Комнаты Ее величества пропал кот серый, большой, а приметы у него - лапы передние серые…» *(Журнал, с.235)*.

Прокормить триста котов было, конечно, легче, чем содержать при дворе триста лейб-компанцев. После переворота 25 октября 1741 года награды посыпались прежде всего на участников мятежа. Те три сотни преображенцев, которые возвели государыню на престол, не желали растворяться в общей массе гвардейцев. Согласно сведениям из нескольких источников, они якобы остановили государыню при ее дневном, под клики приветствий, «занятии» Зимнего дворца и попросили создать из них особую роту, а самой стать, ее капитаном. Государыня милостиво согласилась и 31 декабря 1741 года издала указ: «А гренадерскую роту Преображенского полка жалуем: определяем ей имя - Лейб-Компания, в которой капитанское место Мы, Наше Императорское Величество, соизволяем сами содержать и оною командовать, а в каком числе каких чинов оная Наша Лейб-Компания состоять имеет и какие ранги обер- и унтер-офицерам и рядовым мы всемилостивейше пожаловали, то следует при сем…» И далее следуют назначения: капитан-поручик считался отныне в ранге полного генерала (им стал принц Гессен-Гомбургский). Поручиков в ранге генерал-лейтенанта было двое (А. Г.

Разумовский и М. И. Воронцов/Подпоручиками в ранге генерал-майоров стали братья А. И. и П. И. Шуваловы. Прапорщиком в ранге полковника считался Петр Грюнштейн. Все остальные солдаты получили также офицерские чины: сержанты - подполковников, капралы - капитанов и т. д.

Так росчерком пера было создано элитное соединение, которое не выполняло никаких других функций, кроме охраны дворца и личности государыни. Все лейб-компанцы были пожалованы в потомственные дворяне, и им предписывалось: «В нашей герольдии вписать в дворянскую книгу и для незабвенной памяти будущим родам государства нашего, о сем, от Господа Бога дарованном, успехе в восприятии Нами всероссийского родительского нашего престола, в котором случае оные персоны нашей лейб-компании знатную свою службу Нам и всему государству показали, сделать гербы по апробованному от нас рисунку; а которые есть из дворян, и тем в гербы их прибавить и сей новый герб, и приготовить надлежащие дипломы к подписанию нашему» *(Панчулидзев, с.250-251)*. Уже на первом - крещенском, у иордани - параде 6 января 1742 года лейб-компанцы щеголяли в новой, невероятно красивой форме, какой не было еще никогда в русской армии.

Архивные материалы, опубликованные и пересказанные автором вышедшей в 1899 году фундаментальной монографии об истории кавалергардов Сергеем Панчулидзевым, рисуют весьма выразительную историю лейб-компании в елизаветинское время. Лейб-компанцы несли караул вместе с солдатами других полков - всего в 1749 году на постах в Летнем и двух Зимних дворцах - Старом и Новом, стояли соответственно 254 и 156 человек, а во всех правительственных зданиях - 536 человек *(Журнал, с.78)*. Лейб-компанцы охраняли непосредственно покои государыни. Внутренний караул от лейб-компании состоял из 50 человек, он сменялся ежедневно. Под наблюдением дежурного сержанта караульные заряжали ружья и шли на посты. Самыми ответственными постами были те, которые находились в непосредственной близости от покоев государыни. Неподалеку, в соседнем с ними помещении на ночь располагался так называемый пикет («бекет»), откуда часовые заступали на пост у дверей опочивальни на 2 - 3 часа. На каждом посту находились по двое - часовой и его подчасок. Ночью они пропускали к государыне только ее служанок, а днем - только тех придворных и генералов, которых с утра включали в особый, врученный начальнику караула список-реестр. Стоящие у опочивальни часовые только одной императрице отдавали честь. Из-за того, что Елизавета часто спала на новом месте, внутренние караулы

постоянно перемещались. Личная охрана государыни была налажена так, что часовые, стоявшие у ближних покоев, не подчинялись даже приказам генерал-адъютанта, а только непосредственно императрице. Это также лишний раз свидетельствует о страхах государыни перед возможным покушением на ее жизнь, равно как и установление особой «горячей» связи между постовыми и государыней в случае какой-нибудь «экстры» - так называли чрезвычайное происшествие: в этом случае часовой должен был дернуть за шелковый шнур, проходящий сквозь стену в покои государыни.

Казалось бы, что при такой системе охраны ни один посторонний человек не мог проникнуть в ближние комнаты государыни. Но в России ничего невозможного нет - иначе бы мы не узнали приведенных выше рассказов из Тайной канцелярии. Лейб-компанцы охраняли государыню плохо. Они часты бывали пьяны или заступали на пост после тяжкого похмелья. Елизавета была так добра к своим сподвижникам, что - в противоречие уставу - позволяла им сидеть на посту и вставать только при своем появлении. Поэтому они вечно спали или дремали на стульях. Сержант обходил часовых и «ежели, кого из них увидит, что спит, сидя, или вздремнет, - бьет тех пальцем по носу», чем вызывал, вероятно, недовольство подчиненных.

Стоять на посту было скучно, разве что государыня велит «стоящим перед столовой часовым смотреть, чтоб соловью, который на стене в столовой, от кошек не было вреды» *(Панчулидзев, с.275-277)*. Борьба с дурными привычками личной гвардии продолжалась все двадцать лет царствования Елизаветы. Лейб-компанцев оказалось невозможно приучить к тому, чтобы они соблюдали чистоту тела и одежды и вели себя, как было принято в приличном обществе. Именные указы многократно предупреждали, чтобы лейб-компанцы «содержали себя, как регул и воинский порядок требует, и командирам своим были послушны, чин чина почитали б, а постороннему генералитету и прочим штаб- и обер-офицерам отдавали б почтение, кому надлежит, помня Высочайшую… оказанную им милость» и не дерзали «посторонне, и не в свое дело и должность мешаться, а мимо настоящей команды где инде докладывать», чтобы они «ходили на караул и на куртаги всегда в косах и во всякой чистоте… чтоб… мундир был чист, рубахи, галстухи и на ногах щибель-манжеты были белые… сапоги вычищены». Об этом почти непрерывно следовали указы, и тем не менее Алексей Разумовский, сменивший на должности командира лейб-компании принца Гессен-Гомбургского, писал, что «особливо вновь пожалованные (в офицерские чины. - *Е.А.*) не стараются

явить себя честным офицером, ходят по улицам, по Гостиному двору, около качелей и по прочим публичным собраниям, растрепав волосы, распустя косы; ветхия свои, позументом не обшитые и без бантов, шляпы, во одеждах ветхих, неприличных месту и собственной их, гренадер, чести…» *(Панчулидзев, с.253 - 256, 266)*. Государыня не раз «усмотреть изволила… что гренадеры бывают как в верхнем и нижнем мундире, так и в ружье и аммуниции неисправны и около себя чистоты, также и волосов в приборе не содержат», требовала, «дабы на караул ходили во всякой чистоте и исправности, и волосы были б напудрены, и, как капралы поведут на часы, то б подтверждали гренадерам, дабы они ходили бодро и не нагибались». Проходя мимо часовых, государыня, по-видимому, морщила носик и потом предписывала, чтобы солдаты мылись, «чтоб на пол и на стены не плевали, а плевали б в платки; а ящики с песком, которые ставятся для плевания, тем часовым иметь только в ночи, а в день выносить»; «во время куртагов… при часовых… чтоб стулья не было», «чтобы ружья и сами к стене не присланивались,…на пикет чтоб шли тихо и не стучали бы, также и на пикете разговоров никаких не чинили», «без аммуниции не ходили», «от своих мест не отходить и ружей из рук не покидали б, и на часах стояли б с осторожностью, и к окошку не отходили б, и в окно не смотрели б»; «чтобы разговоров между собою не имели, також и в ходьбе стуку не имели, а ходили б тихим образом» и т. д. и т. п. Одним словом, славно стояли на посту наши удальцы!

А тот вид, в котором уходили они из дворца со службы, мог привести в гнев даже такого далекого от дисциплины человека, каким был командир лейб-компанцев Алексей Разумовский. В 1748 году он заметил, что, сменяясь с караула, гренадеры «сумы и гренадерские шапки надевают на слуг своих» и плетутся за ними вослед. Но запрещение не помогло - в 1761 году гренадер Иван Ляхов просил отпустить его человека из полиции. Оказывается, он ему нужен «для отношения за ним ружья и аммуниции при командировании в дом Ее императорского величества». Наконец, было замечено, что более состоятельные лейб-компанцы завели манеру увиливать от дежурства и стали нанимать вместо себя своих бедных товарищей так, что вид одного и того же знакомого усатого лица на посту в течение нескольких дней подряд изумлял придворных и государыню.

Надо сказать, что почти сразу после учреждения лейб-компании начались скандалы, которых еще не знала история русской регулярной армии с ее основания и, может быть, до наших дней. В 1744 году гренадер Ларионов, находясь во внутреннем карауле, самовольно с него ушел и вернулся только

поздно ночью «весьма пьян», причем ругал дежурного капрала «шельмою, канальей, капитанишком и» - как еще обозвал своего командира гренадер Ларионов, публикатор нам не сообщает, а впрочем, читатель и сам может догадаться. Гренадер Емельян Ворсин отлучился с караула всего лишь на час, но вернулся пьяным и также обматерил дежурного капрала. В июле 1745 года дежурный сержант доносил, что «содержащийся под арестом гренадер Дементий Дубов (он был арестован за то, что, находясь в карауле, самовольно отлучился и, «напившись пьян, шатался по Миллионной улице, спустя штаны». - *Е.А.*) напился пребезмерно пьян и в том пьянстве чинил непорядочные поступки, и шумствовал, и дрался… за что посажен был в цепь, но и от того не воздержался и учинил наипущие таковые же непорядочные поступки».

19 марта 1742 года тот же Дементий Дубов «отлучился самовольно с караулу в доме Ее императорского величества и прогулял часы, и найден за домом Ее императорского величества в снегу спящим, бесчувственно пьяным, и приведен рабочими мужиками на свой караул». Гренадер Гречухин «в бытность в доме Ее императорского величества на карауле, напившись пьяным, приводил в караульню неведомо каких двух человек мужиков, и хотел был подчивать пивом, только от того капралом Талеровым был унят; однако продолжал мерзко бесчинствовать». В книге «Словесных приказов» по лейб-компании за 1755 год записано под 17 мая: «Обретающийся на карауле во дворце поручик и лейб-компании гренадер Никита Корченко с караулу ушел без позволения команды и, напившись пьян, валялся перед покоями Его императорского высочества… и поднят был без чувства». Еще через десять дней другая запись: «Капитан и лейб-компании гренадер Никита Максин сего мая 27 числа, будучи пьян, пришед в дом ясновельможного гетмана графа К. Г. Разумовского и, обнажа свою шпагу», бил стекла, а потом и людей гетмана.

В тот же самый день гренадер Тарас Долгой находился во внутреннем карауле, где, «напившись безобразно пьян, забыв офицерскую честь, чинил самые подлые поступки регулам весьма противно». В конце концов, бросив ружье и амуницию, он скрылся в неизвестном направлении. 1 марта 1747 года гренадер Николай Молвянинов, также самовольно уйдя из внутреннего караула, отправился вместе со своим товарищем Иваном Суховерковым в винный погреб. Там друзья потребовали бутылку красного вина, но отказались платить за выпивку и избили хозяина и его работника. Когда хозяин в ужасе выбежал вон, гренадеры вскрыли хозяйский сундук, взяли из него 25 рублей «да шапку мужскую соболью ценою в 6 рублей». Обоих за эти и другие

многочисленные «продерзости» «выписали» в армию, Суховеркова - прапорщиком, а Молвянинова - сержантом, «памятуя то, что они во время вступления Ее императорского величества на престол были при Ее величестве».

В армии же оказался в 1748 году еще один ветеран ноябрьского переворота гренадер Ефим Жуков. Этого красавца-воина поймали при уводе им со двора, «где исправляется казенное мытье», крестьянской лошади, и притом у него отобрали «изпод эпанчи два хомута и две узды крестьянские». Как он смог спрятать под епанчу, то есть суконный плащ, два хомута - непонятно, разве нацепил оба себе на шею? И снова императрица осталась верной памяти 25 ноября 1741 года. Она миловала лейб-компанцев, чаще всего ограничивая наказания арестом, из-под которого арестованных выпускали к какому-нибудь очередному празднику с предупреждением, «дабы они впредь от таковых продерзостей воздержались». Уход с поста - тяжелейший для воина проступок во все времена - наказывался только выговором: «В команде объявить с крепчайшим подтверждением, чтобы таковых дуростей делать впредь не отваживался никто, памятуя, что они стоят на часах у комнат Ее императорского величества» *(Панчулидзев, с.259-262, 280, 284)*.

Сходили с рук лейб-компанцам и многочисленные безобразия при сопровождении государыни в ее многочисленных походах. Во время поездки государыни из Петербурга в Москву на остановке во Всесвятском было обнаружено отсутствие двоих капралов и пятидесяти восьми гренадер охраны! Оказалось, что многие из них отстали по дороге, двое «в роще… играют в кости на деньги… со множеством солдат разных команд на разостланной солдатской епанче». К тому же они беспрестанно теряли в дороге казенные вещи: один «утратил данный ему государев пистолет», другой - «государеву аммуницию: штык, тесак, подсумок, погонный ремень с кряжом и с ножнами, шапку гренадерскую», а третий - ружье со штыком и ямскую лошадь с казенным седлом и парою пистолетов *(Панчулидзев, с.297)*.

Особенно безобразно вели себя лейб-компанцы в первопрестольной во время коронации Елизаветы Петровны весной 1742 года. Тогда пришлось выгнать из лейб-компании 14 человек, сумевших как-то особенно дерзко отличиться в московских кабаках и на улицах города. Так революция 25 ноября «пожирала» своих сынов. А в феврале 1754 года лейб-компанцы, их домочадцы и слуги, общим числом 3000 человек, поселенные в Лефортовском дворце, чуть не спалили всю Москву - по-видимому, от небрежности пьяных обитателей этой гвардейской слободки загорелась крыша дворца, и головни полетели на

соседние здания. Накануне же Елизавета приказала перевезти в Лефортовский дворец большую часть своих золотых и серебряных сервизов и денег; при спасении их оказалось, что сундуки, в которых хранились ценности, были без дна и это «причинило разные приключения, чего ради караульные гелебардами и штыками отгоняли народ, который, под протекстом помощи, хватал только рассыпавшиеся по земли деньги» *(АВ, 4, с.652)*.

Лейб-компанцы были грозой столицы не только в то время, когда «стояли» на посту, но и когда были свободны от дежурства. 18 октября 1743 года гренадер Прохор Кокорюкин, «идучи от биржи весьма пьяным образом, так, что едва идти и говорить мог, вошел с азартом во двор Акинфия Демидова, где чинил следующие непорядки»: войдя к прачке, изрубил тесаком лохань и изодрал на прачке рубашку. От прачки Кокорюкин отправился к другим квартирантам и в помещении приезжих кунгурцев вылил из ведра воду, снял с одного человека шубу и хотел ее взять себе, изрубил стол, причем «за неимением у тех кунгурцев волос, драл их за уши немилостивно…». Потом он пошел к дому фельдмаршала князя Долгорукого и начал ругаться непристойной бранью, а затем сел в стоявшую у крыльца коляску и говорил: «Отвезите меня до квартиры моей!» Выйдя затем из коляски, Кокорюкин вынул из ножен тесак, воткнул его в землю перед крыльцом, а потом влез на крыльцо со словами: «Я пришел поклон отдать к фельдмаршалу и надлежит мне его видеть!» Караульные офицеры и адъютант вежливо уговаривали незваного гостя, но он куражился и орал, пока сам генерал-фельдмаршал, «высунувшись в окно, не кричал Кокорюкину: «Долго-ль стоять на крыльце, пора идти на свою квартиру!», и что если сам не пойдет, то отошлют его в команду под караулом. Кокорюкин все-таки фельдмаршала послушался и ушел, но еще долго шатался по городу и только к вечеру, потеряв шапку и тесак, весь в грязи и избитый, был доставлен в лейб-компанию. Никакого взыскания на него наложено не было.

Но прочих кутил и драчунов из лейб-компании превзошел и удивил лейб-компанец Иван Телеснин, вышедший «из берейторских учеников Конюшенного двора». Он интересно и с пользой для себя провел отпуск в Москве в 1743 году - организовал шайку разбойников и с нею грабил москвичей и гостей города. Такого «шалуна» никак уж нельзя было отправить в полевую армию офицером, поэтому его пороли и, кажется, посадили в тюрьму *(Панчулидзев, с.287)*.

С годами главной причиной безобразий и преступлений лейб-компанцев стала обыкновенная белая горячка - доктора никакой другой болезни, «кроме пьянства», у этих молодцов не отмечали.

В белой горячке лейб-компанцы начинали кричать «Караул!», а потом и «Слово и дело!». Для простого смертного крик этот означал арест, пытку в Тайной канцелярии, а затем жестокое наказание. Но лейб-компанцы пользовались, как тогда писали, «особливой протекцией Ее императорского величества», и поэтому начальник Тайной канцелярии генерал Ушаков и сменивший его А. И. Шувалов отпускали этих явно ложных изветчиков без наказания, только слегка пожурив за сказанные нечаянно слова.

Так было с гренадерами Замятиным и Локтевым. Сидя под арестом за какие-то проступки, они напились, потом Локтев велел Замятнину выбросить через окно в канал его, Локтева, пуховик и сундук, что тот и сделал. Следом и сам он бросился в канал, а Локтев закричал вослед «Слово и дело». В Тайной канцелярии дело это к рассмотрению не приняли, как и дело гренадера Петровского, который в 1749 году по дороге в Москву, «соскоча с саней, незнаемо за что бил дубиною смертно грейдеров Егачева и Попова», а пытавшегося его унять гренадера Чернова «сшиб с ног и стал зубом есть, причем и руку перешиб, и хотел шпагою заколоть». Когда его, явно впавшего в пьяное буйство, стали вязать, то он кричал «Слово и дело». Из-за бесконечных возлияний - во время службы и в свободное время - некоторые лейб-компанцы постоянно «обретались в безпамятстве и меланхолии», а иные в буквальном смысле сходили с ума от пьянства, умирали в страшных пьяных муках.

Под стать мужьям были жены лейб-компанцев. Приходилось посылать особые наряды караульных на рынки смотреть, чтобы те не отбирали бесплатно товары у торговцев и купцов. Пили боевые подруги лейб-компанцев не меньше, чем их мужья. На квартирах - а лейб-компанцев поселили поблизости от Зимнего дворца - творился сущий кошмар. Хозяева были в ужасе и тоске. Как писал один из таких хозяев - секретарь Федоров, - лейб-компанец Ласунский силой занял почти весь его дом, а дети и слуги Ласунского никому жить не давали своим «во дворе всегда в городки игранием, и в огороде замков и загородков ломанием, и в том огороде беганием и игранием же, а в пруду купаньем, и нагим беганием, и дерев повреждением, и овоща срыванием, и прочими… нападении». Но все это мелочи в сравнении с постоем лейб-компанцев в Москве! Там на квартирах шли непрерывные пьяные кутежи, семьи и слуги лейб-компанцев вели себя, как погромщики, разрушая все, к чему прикасалась их рука. В 1749 году перепившиеся лейб-компанцы «кидали сверху из окон в стоящего возле стены Лефортовского дворца у присмотру его сиятельства (канцлера Бестужева. - *Е.А.*) дому часового камнями и

сбили оного часового с места» *(Панчулидзев, с.381 - 384)*.

Первое, что сделал новый император Петр III, вступив на престол после смерти императрицы Елизаветы Петровны, так это разогнал сборище пьяниц и бузотеров. И правильно поступил!

* * *

Привычкам и вкусам императрицы Елизаветы в нарядах и украшениях должны были следовать все дамы света. На придворные торжества им предписывалось приходить каждый раз в новом наряде и, по слухам, чтобы они не жульничали, при выходе из дворца гвардейцы ставили на их платья несмывающиеся грязные метки или даже государственные печати - второй раз такое платье уже нельзя было надеть. При этом, как уже говорилось выше, надо было одеваться так, чтобы не вызвать зависти и гнева ревнивой к чужой красоте государыни-кокетки. И все-таки, несмотря на эту страшную опасность, дамы не могли удержаться и не блеснуть новым нарядом. Платья меняли не только потому, что этого требовала Елизавета, но потому, что иначе было нельзя! Екатерина пишет, что на балах она до трех раз меняла платья, «наряд мой был всегда очень изысканный и если надетый мною маскарадный костюм вызывал всеобщее одобрение, то я наверное ни разу больше его не надевала потому, что поставила себе за правило - раз платье произвело однажды большой эффект, то вторично оно может произвести уже меньший», а это, как всему свету известно, недопустимо. Другие дамы следовали этому закону неуклонно, и «ухищрения кокетства были тогда очень велики при дворе и… всякий старался отличиться в наряде» *(Екатерина, 1907, с.315)*.

Пример блистательной коронованной модницы был чарующе заразителен, и, по словам Екатерины II, «дамы тогда были заняты только нарядами, и роскошь была доведена до того, что меняли туалеты два раза в день». Между тем наряды того времени были необыкновенно сложным сооружением и, как всегда, страшно дорогим удовольствием - за иное платье из Парижа можно было купить деревню, а то и две. В елизаветинское время вошли в моду драгоценные камни, жемчуг и особенно бриллианты. Для самой императрицы и верхов русского общества, не покладая рук, работал ювелир - по терминологии тех времен, бриллиантщик - Позье, который имел к государыне более свободный доступ, чем канцлер или генерал-прокурор. Императрица знала толк в камнях и любила украшения из них. По признанию Позье, да и других современников, нигде в мире (вероятно, кроме Индии) при дворе

не было столько бриллиантов, как в России. Они покрывали головные уборы и прически дам, унизывали их платья, у мужчин камни сверкали на орденских знаках, пряжках, шляпах, тростях, табакерках, пуговицах, обшлагах камзолов. Мелкие бриллианты лежали кучами при дворе на карточных столах. Их блеск говорил о невероятном богатстве русской знати.

В елизаветинское царствование погоня за модой стала повальной не только у женщин, но и у мужчин. Это удивительно, ведь еще отцы елизаветинских модников стонали от узких петровских кафтанов и требовали непременно положить им в гроб отрезанную по воле грозного реформатора бороду. Теперь же все волшебным образом переменилось. В сатирической литературе даже появился обобщенный тип легкомысленного модника - петиметра, посвящающего жизнь нарядам. В 50-е годы XVIII века была весьма популярна сатира Ивана Елагина «На петиметра и кокеток», в которой сурово бичевался такой повеса. Вот он сидит дома, в комнате поднимается смрадный дым - это парикмахер завивает ему волосы. Сам же петиметр грустен - он думает, что слишком загорел на «жарком» петербургском солнце, а загар тогда считался предосудительным для человека света. И далее следуют строки, актуальные в России до сих пор:

Тут истощает он все благовонны воды,
Которыми должат нас разные народы,
И, зная к новостям весьма наш склонный нрав,
Смеются, ни за что с нас втрое деньги взяв.
Когда б не привезли из Франции помады,
Пропал бы петиметр, как Троя без Паллады.

Затем щеголь начинает одеваться, и тут возникают новые затруднения:

Потом, взяв ленточку, кокетка что дала,
Стократно он кричал: «Уж радость, как мила
Меж пудренными тут лента волосами!»
В знак милости ее он тщился прицепить
И мыслил час о том, где мушку налепить.
Одевшися совсем, полдня он размышляет:
«По вкусу ли одет?» - еще того не знает,
Понравится ли таким, как сам,
Не смею я сказать - таким же дуракам.

Да, это изображение вполне карикатурно. Но, если исходить

из критериев моды того времени, то быть одетым по моде, так, чтобы тебя не осмеяли, не сказали, что ты одет как посадская баба или приказчик, оказывалось весьма непросто. И ленточки, и укладка волос - все тогда имело огромное значение, как сейчас расцветка галстука или цепь на шее. Щеголихи и петиметры, намаявшись с одеванием и причесыванием, являлись ко дворцу, наполняли дворцовые залы и под охраной храбрых лейб-компанцев весело отплясывали и кокетничали.

Шумные праздники и танцы позволяли незаметно переговорить о деле, назначить свидание, передать любовную записку или шпионское донесение. Но следовало быть осторожным - тысячи глаз следили за происходящим праздником, которому, казалось, не было конца.

Но и здесь были разные способы ловко избежать слежки. Взять, к примеру, распространившиеся в елизаветинское время мушки. Как и духи, отбивавшие неприятные запахи немытого тела и несвежего белья, мушки появились, чтобы прикрыть ими прыщики на лице. Но потом они стали украшением, их вырезали из черной тафты в виде звезд, крошечных фигурок животных. Мушки несли смысловое значение - с их помощью подавали на бале условный сигнал возлюбленной, сообщали разные важные для влюбленных вести; с их помощью можно было назначить свидание любовнику, и тот, оглядев лицо возлюбленной, безошибочно приходил в нужный час и в нужное место. Без мушки появиться на бале было положительно невозможно. «Я прошла, не останавливаясь через всю галлерею, - вспоминает Екатерина II, - и вошла в покои… я встретила императрицу, которая мне сказала: «Боже мой! Какая простота! Как! даже ни одной мушки?» Я засмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой. Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала из них одну средней величины, которую прилепила мне на лицо» *(Екатерина, 1907, с.315)*.

Невероятная роскошь двора Елизаветы, непрерывные празднества требовали огромных расходов. Если сама императрица брала деньги из государственной казны, то ее вельможам приходилось труднее. Мало кто хотел ударить в грязь лицом и появиться на маскараде в старом наряде или изображать «пастушек» и «пастушков» в одежде своих дворовых слуг. Самое лучшее, самое дорогое и непременно из Парижа - вот какой была высокая цель елизаветинских вельмож. Столичное дворянство украшало дома французской мебелью, картинами, великолепной посудой. Как писал бескомпромиссный критик нравов своего времени князь Михаил Щербатов, «двор, подражая или, лучше сказать, угождая императрице, в златотканные одежды облекался,

вельможи изыскивали в одеянии все, что есть богатее, в столе - все, что есть драгоценнее, в питье - все, что есть реже, в услуге - возобновя древнюю многочисленность служителей, приложили к оной пышность в одеянии их. Екипажи возблистали златом, дорогие лошади, не столь для нужды удобные, как единственно для виду, учинились нужны для вожений позлащенных карет. Домы стали украшаться позолотою, шелковыми обоями во всех комнатах, дорогими мебелями, зеркалами и другими. Все сие составляло удовольствие самых хозяев, вкус умножался, подражание роскошнейшим народам возрастало и человек делался почтителен (в смысле - уважаем. - *Е.А.*) по мере великолепности его житья и уборов» *(Щербатов, с.59)*.

Особенно важен был «выезд» - экипаж, лошади, сбруя, богато одетые кучера, стоявшие на запятках гайдуки - предпочтительно чернокожие и рослые. В роскоши того времени был размах, масштаб, но не было утонченности и лоска, присущих позднейшим временам императорской России. Не без иронии Екатерина II писала в мемуарах о Москве тех времен: «Вообще, все дворянство… с величайшим трудом покидало Москву - это излюбленное ими всеми место, где главным их занятием является безделие и праздность и где они охотно проводили бы всю жизнь в том, чтобы таскаться целый день в карете шестериком, раззолоченной не в меру и очень непрочно сработанной, этой эмблеме плохо понимаемой роскоши, которая там царит и скрывает от глаз толпы нечистоплотность хозяина, беспорядок его дома вообще и особенно его хозяйства. Нередко можно видеть, как из огромного двора, покрытого грязью и всякими нечистотами и прилегающего к плохой лачуге из прогнивших бревен, выезжает осыпанная драгоценностями и роскошно одетая дама в великолепном экипаже, который тащат шесть скверных кляч в грязной упряжи, с нечесаными лакеями на запятках в очень красивой ливрее, которую они безобразят своей неуклюжей внешностью» *(Екатерина, 1907, с.174)*.

Праздники в домах вельмож уступали дворцовым, пожалуй, только в масштабах. Французский дипломат Мессельер так описывал праздник, данный канцлером Бестужевым-Рюминым. Празднество проходило на принадлежавшем канцлеру Каменном острове в Петербурге. На него были приглашены вся знать и весь дипломатический корпус: «В назначенный день придворные яхты и гондолы, богато убранные, были готовы, и мы пустились в путь, севши на них близ дома канцлера. Вся эта щегольская эскадра, предшествуемая судами, на которых находились музыканты, поплыли вверх по Неве на пути к очарованному острову. Здания, построенные на нем канцлером, были украшены в китайском

вкусе. Праздник был полнейший во всех отношениях и мы испытали много удовольствия, находя во время прогулки местами китайские киоски в рощах, бальные залы, карусели и воздушные театры. Все это было переполнено веселящимся народом, хорошо одетым, и людьми обоего пола, которых канцлер забавлял и угощал на свой счет» *(Мессельер, с.974)*.

Наиболее состоятельные вельможи не просто устраивали богатые праздники, а брали себе за правило держать так называемый «открытый стол». Вот как описывает такой дивный для Западной Европы обычай заезжий иностранец: «Многие вельможи держат открытый стол. Сделанное однажды приглашение делается навсегда. Единственная формальность, требуемая в настоящем случае, заключается в том, что гость должен справиться утром, будет ли хозяин обедать дома в этот день, или нет. Если оказывалось, что будет, то гость мог, не стесняясь, явиться прямо к столу. Чем чаще бывали мы за этими радушными обедами, тем становились более дорогими гостями и как будто сами делали одолжение, а не принимали его» *(Путешествие, с.33)*. Бывали случаи, когда хозяин не знал, кто к нему приходит годами, отчего возникали конфузы. На все эти столы шли гигантские средства.

«Жалея» своих усыпанных бриллиантами приближенных, императрица приказывала выдавать им жалованье на год вперед, чтобы они могли приодеться к очередному празднеству, вереница которых никогда не кончалась. Но денег все равно не хватало. Один из богатейших людей того времени канцлер Михаил Воронцов, владелец сотен крепостных, заводов, лавок, почти непрерывно выпрашивал у императрицы «землицу», «крестьянишек», причем, получив просимое, тотчас начинал просить вновь, чтобы государство выкупило у него эти земли и крестьян - для «открытого стола» и нарядов нужны были деньги, деньги и деньги. И все равно он страдал от безденежья и был мучим кредиторами. В одном из прошений 1746 года канцлер писал Елизавете, не без оснований изображая щедроты государыни единственным источником своего существования, «ибо как я все, что на свете имею от Бога и Вашего императорского величества имею, следовательно чего же и не имею, ни откуда и…ожидать и где просить должен, как у Бога и Вашего императорского величества».

В другом прошении Воронцов прибегает к сравнению, которое кажется лестным только на первый взгляд: «Ибо как свет сей без вариаций и теплоты солнечного сияния никак пробыть, а тело без души движения иметь отнюдь не может, так мы все верные Ваши рабы без милости и награждения от Вашего

императорского величества прожить не можем. И я не единаго дома, фамилии в государстве не знаю, которая бы собственно без награждений монаршеских щедрот себя содержала» *(АВ, 2, с.609-610)*. В 1747 году он же сообщал, что никак не может заплатить скопившиеся долги: «Нахожусь в непрестанном беспокойстве и печали, не зная, каким образом избавиться от моего долгу», и поэтому просил подарить ему деревень и тем самым «избавить от крайней моей нужды, дабы я чрез сию великую милость в состояние приведен был как долги мои оплатить, так и сходно с высочайше пожалованным мне чином настоящее мое житье вести». Эта причина - необходимость жить сообразно чину, иметь представительство, как подобает сановнику, выставлялась Воронцовым и ему подобными в различных прошениях о пожалованиях как главная причина бедности. «Со всяким моим старанием и милостивым Вашим награждением освободиться не могу, - продолжает Воронцов, - понеже расходы на содержание дома моего превосходят ежегодные доходы, и я, как здесь, так и в Москве, все за деньги покупать должен… Ежели б не сия милость Вашего императорского величества и чины мои не принуждали меня о сем награждении просить, я бы собственно весьма малым доволен быть мог и в сем артикуле без тщеславия называться бы мог философом. Но когда чин и должность моя по-министерски, а не по-философски жить заставляют, того ради единую надежду имея на Ваше императорское величество, всеподданнейше прошу о милостивом услышании сей моей нижайшей просьбы, дабы я мог еще несколько лет знатность чина моего к службе Вашего величества содержать, а потом остальную жизнь мою и старость в покое скончать. Я ни малейше, всемилостивая государыня, не нахожу, чтоб чрез сие пожалование деревень какой ущерб в доходах Вашего императорского величества учинился, или кому-нибудь какая обида от того последовала» *(АВ, 2, с.617-618)*.

Когда умер граф Петр Шувалов - самый богатый сановник царствования Елизаветы Петровны, - то его наследство оценивалось в астрономическую сумму 588 тысяч рублей. Но и этих денег не хватило, чтобы заплатить долги Шувалова, составлявшие 680 тысяч рублей. Вот что значит держать «открытый стол» и гнаться в роскоши карнавалов за государыней!

Французский язык, литература, театр Франции становятся в России образцом, далеко не безупречным нравам Версаля подражают - естественно, не обходилось при этом без обезьянничания и глупостей. Непременной фигурой в богатом доме становится французский гувернер и учитель. После того как спустя полтора десятилетия дипломатические отношения России

и Франции возобновились, французские дипломаты, прибывшие в Петербург, были поражены количеством своих соотечественников, обосновавшихся в русской столице.

Мессельер писал: «Нас осадила тьма французов всевозможных оттенков, которые, по большей части, побывавши в переделках у парижской полиции, явились заражать собою страны Севера. Мы были удивлены и огорчены, найдя, что у многих знатных господ живут беглецы, банкроты, развратники и немало женщин такого же рода, которые, по здешнему пристрастию к французам, занимались воспитанием детей значительных лиц; должно быть, что эти отверженцы нашего отечества расселились вплоть до Китая - я находил их везде. Господин посол (Лопиталь. - *Е.А.*) счел приличным предложить русскому министерству, чтоб оно приказало сделать исследование об их поведении и разбор им и самых безнравственных отправить морем по принадлежности. Когда предложение это было принято, то произошла значительная эмиграция, которая, без сомнения, затерялась в пустынях Татарии. Русская нация, кажется, приняла с благодарностью этот поступок, согласный со справедливостью и честью нашего отечества. Императрица узнала о нем с удовольствием и смеялась над теми, которые были обмануты этими негодяями» *(Мессельер, с.973)*. Как мы знаем из последующей истории, это было еще только начало. Долго еще русские помещики разыскивали хотя бы какого-нибудь французика или на худой конец немца для того, чтобы образовать своих Митрофанушек.

ГЛАВА 10
АНТИГЕРОИ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ЦАРСТВОВАНИЯ

Как известно, у каждой эпохи свои герои и свои антигерои. Символы елизаветинской эпохи, так сказать положительного характера, известны всем - это Михаил Васильевич Ломоносов и Елизавета Петровна. Антигероев выбрать тоже нетрудно: Дарья Николаевна Салтыкова и Иван Осипов. Правда, России они более известны под кличками, которые приросли к ним навсегда: Салтычиха и Ванька Каин. Эти люди, совершенно незнакомые друг другу, были современниками Ломоносова и Леонарда Эйлера, Иоганна-Себастьяна Баха и Антонио Вивальди, Вольтера и Монтескье, Джорджа Вашингтона и мадам Помпадур. Они - современники и подданные нашей главной героини, и без них мир России времен Елизаветы Петровны будет беден, а коли так, то расскажем и о них.

В предыдущей главе речь шла о том, сколь тяжкой была жизнь вельможи, петиметра, кокетки - словом, всех, кто имел счастье лицезреть государыню на балах, приемах, прогулках. Иначе, неспешно и монотонно, текла жизнь рядового дворянина-помещика. Он просыпался на утренней заре в спальне своего обширного деревенского дома. Помещичьи дома тех времен отличались от крестьянских только размерами, но не удобствами. Строились они из одного материала - дерева. Комнаты (как говорили тогда - «хоромы») были в них низки и неуютны, с голыми деревянными стенами, потемневшими от старости и копоти. Свет с трудом пробивался сквозь маленькие слюдяные или стеклянные окошки. Петровская эпоха принесла новое даже в самые глухие уголки. Вернувшись в деревню со службы, дворяне привозили диковинные заморские вещи, украшения.

Дедовская примитивная мебель соседствовала с каким-нибудь «новоманирным» столиком или стулом с высокой резной спинкой, привезенным из прусского похода. Голые стены и потолки с огромными щелями тоже не нравились тем дворянам, которые видели, как живут люди в Петербурге или за границей. Поэтому они приказывали обить потолки парусиной или обмазать мелом, на стены же прибивались обои из расписных тканей. В деревне обходились не дорогими, купленными обоями, а самодельными, расписанными крепостным художником, который изображал, как правило, растительный орнамент. Гобелены и

ковры встречались только у очень богатых людей.

Услышав, что барин проснулся и вылез из-под пуховиков (спали на перине и такой же укрывались), дверь спальни открывал ближний, доверенный слуга-лакей с подносом, на котором стоял чайник с чаем или кофейник с «кофием», варенье, подогретые сливки или рюмка водки - в зависимости от вкуса и привычек господина. Другой лакей следом нес уже раскуренную трубку - привычка к табаку стала устойчивой и модной. Надев шлафрок - широкий халат - и не снимая с головы ночной мягкий колпак, барин выходил в другую комнату. Многие помещики начинали день с молитвы - в спальне или в особой комнате, в красном углу, находились старинные иконы с пышными окладами. Перед иконами горела лампада, заправленная конопляным или льняным маслом. Помещик молился, благодаря Бога за еще один дарованный ему день.

Пробуждения «болярина» давно ждал и староста, который докладывал о том, как в имении прошла ночь, какие предстоят работы в поле и по дому, выслушивал распоряжения барина. Положение старосты (управляющего) всегда было довольно сложным. С одной стороны, все требования и прихоти помещика считались для него законом, а с другой стороны, ему приходилось общаться с крестьянами, учитывать реальное положение дел. Немало было старост, которые, пользуясь полным невежеством барина в сельском хозяйстве, обманывали, обворовывали его, прибирали власть к рукам и становились маленькими диктаторами в деревне. Но встречались помещики, которые вникали во все тонкости сельского хозяйства, с раннего утра садились на коня и объезжали свои владения, зорко посматривая, нет ли в их лесу порубок, потравы в полях. Известно, что крестьянам в больших имениях жилось легче, чем в малых - в них контроль был слабее и барщина легче.

Завтракал и обедал помещик с семьей и гостями, которые живали у него часто подолгу, в особых покоях или в отдельных пристройках - флигелях. С давних пор при богатых помещиках жили обедневшие родственники, соседи - приживалки и приживалы, которые часто играли роль шутов, становились предметом довольно грубых шуток. Частым гостем барина бывал и местный батюшка - священник приходской церкви. Хотя священник и был свободным человеком, но он во многом зависел от господина земли, на которой стоял храм, а храм этот постоянно требовал ремонта, пожертвований на утварь, иконы. Обед затягивался, смены блюд следовали непрерывной вереницей. Кушанья отличались простотой, были обильны и жирны. Крепостные поварихи искусно готовить не умели, а повар

- выученик какого-нибудь столичного французского повара, встречался редко и стоил не меньше, чем собственный куафер-парикмахер, умевший завивать волосы. Впрочем, в деревне одевались и причесывались попроще. Здесь, вдалеке от строгой власти, можно было не нацеплять каждый день парик, редко надевали и нарядный кафтан из шелка или бархата, из-под которого виднелся безрукавный камзол и белая полотняная рубашка без воротника, с пышным жабо на груди.

После обеда наступало сонное затишье - все отдыхали: барин в спальне, дворовые - в тени на земле или у порога дома. Потом полдничали. Вечера проходили довольно скучно. В полутемной гостиной - восковые свечи были дороги, жгли сальные, дававшие тусклый свет, - барин сидел с гостями, играли в карты, пили чай, слушали рассказы, сплетничали о соседях. Новости из столиц получали через письма родственников, приятелей, приказчиков да из старых номеров «Санкт-Петербургских ведомостей», которые изредка доходили до глухих дворянских гнезд. Характерные для XIX века музыкальные вечера еще не вошли в моду, да и иностранные инструменты были недоступны многим помещичьим семьям.

Ложились рано, как только темнело. Зевая, барин отправлялся к своим пуховикам. Слуги обходили хоромы, проверяли запоры, ложились на войлоке у дверей барской спальни или в людской на полу и на лавках. Так слуги спали всегда. Аракчеев о своей любовнице Настасье Минкиной, убитой дворовыми, писал, стремясь подчеркнуть ее особую преданность, что «двадцать два года спала она не иначе, как на земле у порога моей спальни, а последние пять лет я уже упросил ее приказать ставить для себя складную кровать» *(Грузинская трагедия, с.16)*. Во времена отца Аракчеева так с избранными холопками не миндальничали. С улицы слышались лишь лай собак да стук в деревянную доску - это сторожа, обходя усадьбу, отпугивали лихих людей. В доме только тускло светила лампада, начинали шуршать мыши, да выходили из своих щелей тараканы и клопы - верные спутники человека XVIII века.

Издали помещичья усадьба казалась скопищем построек, замыкающим широкий и грязный двор. К барскому дому пристраивались людские избы, где жили в тесноте и грязи слуги - дворовые люди. Вокруг двора громоздились разные хозяйственные постройки: сараи, погреба, конюшня, псарня и т. д. Домашним хозяйством, как правило, руководила сама помещица, она давала распоряжения ключнице - доверенной холопке, которая ведала припасами. Работы было всегда много. Дворовые не только готовили еду на день, но и занимались заготовками -

крестьянки приносили из леса ягоды и грибы, в саду созревали яблоки и груши, на огороде поспевали овощи. В девичьей целыми днями работали над пряжей и шитьем крепостные девушки. Осенью, когда убирали хлеб, любимым занятием помещика становилась псовая охота. Государыня Елизавета разделяла с юных лет это лихое развлечение русских помещиков и носилась по осенним полям вослед собачьим сворам, а иногда пускала с руки сокола. Любимые места охоты царицы под Петербургом - Мурзинка, Славянка, Гостилицы. В Гостилицах - владении Разумовского - было все, что нужно для веселой охоты - псарни, конюшни и пиры не уступали петербургским, хотя и проходили они в огромных палатках, рядом играли оркестры, гремели салюты. Простой помещик, конечно, такого себе позволить не мог, но на охоте тоже веселился вдоволь.

Очень редко помещик заглядывал в избу своего крепостного. Деревянный дом с маленькими окошками, затянутыми бычьим пузырем, казался темной пещерой, куда попадали через низенькую, обитую рогожами дверь. Единственная, без перегородок горница с земляным полом, иконами в красном углу и мебелью - столом и лавками вдоль стен - отапливалась по-черному, то есть печь не имела трубы. Дым уходил наверх в темную мглу - привычных нам потолков не строили, и внутренняя часть крыши служила потолком. Черное отопление позволяло лучше согреть дом - дров на черную печь шло в два раза меньше, чем на печь с трубой. Между тем заготовка дров с одним только топором, при отсутствии в те времена пил, была делом хлопотным и долгим.

Возле печи - места работы хозяйки с раннего утра до вечера - строились полати. Это был помост, который упирался одной стороной на печь, а другой - в стену дома. На полатях спали дети, старики же забирались на лежанку печи, на самое теплое место. Под полатями на зиму селили телят, овец. На узком пространстве перед печью, освещаемом вечером лучиной, и протекала жизнь русского крестьянина первой половины XVIII века. Так жили государственные, дворцовые, помещичьи крестьяне. Всем им хлеб доставался тяжким трудом на поле, непрерывной борьбой с природой. Все они боялись недорода, ранних заморозков, долгих дождей, с тревогой всматривались в небо, если оно долго не приносило дождя. Жизнь людей XVIII века, особенно крестьян, была коротка: недоедание, болезни, несчастные случаи обрывали ее задолго до 35-40 лет. Но страшнее всего для многих становилось крепостное право…

В конце 50-х годов XVIII века по Москве поползли зловещие слухи о страшных делах, которые творятся в поместье и в

городском доме на Сретенке у вдовы ротмистра Конной гвардии Глеба Салтыкова Дарьи Николаевны. Говорили о сотне зверски замученных помещицей дворовых, о страшных пытках, которым она их подвергала перед тем, как отправить на тот свет. Молва так возбудила общество, что пришлось нарядить следствие по делу Салтыковой. Следствие тянулось шесть лет, пока не состоялось решение суда, утвержденное уже новой государыней Екатериной II в 1768 году.

Салтычиха родилась в 1730 году, имела от мужа двоих сыновей, была довольно состоятельна, зимой жила в собственном доме у Сретенки, в Кузнецкой улице, а летом выезжала в свое богатое подмосковное имение - село Троицкое. Иногда Салтычиха совершала дальние поездки по святым местам, в Киев, следовательно, была богомольна. Это не мешало ей мучить, пытать и убивать своих дворовых людей и особенно - сенных девушек. Многочисленные доносы и жалобы крепостных об изуверствах их госпожи и даже страшная улика - изуродованное, обваренное кипятком тело дворовой девушки не приводили ни к какому результату. Чиновники за деньги готовы были покрыть самые страшные преступления. Салтычиха даже хвасталась перед дворовыми: «Вы мне ничего не сделаете… сколько вам ни доносить, мне они (чиновники-милостивцы. - *Е.А.*) все ничего не сделают и меня на вас не променяют» *(Студенкин, 1874, с.498-499)*.

Приказывая конюхам убить пытанных ею крестьян, Салтычиха в исступлении кричала: «Бейте до смерти, я сама в ответе и никого не боюсь… никто ничего сделать мне не может!» Деньги, щедрые подношения (например, двадцать возов сена, овес, мука, гуси, утки) чиновникам Полицмейстерской канцелярии, одному из советников Сыскного приказа (тогдашнего уголовного розыска), секретарю Тайной конторы - отделения Тайной экспедиции (тогдашнего политического сыска) помогали Салтычихе выкрутиться из таких «убийственных дел», за которые простые смертные попадали в Сибирь. Естественно, хуже всего приходилось самим доносчикам. Их признавали лжедоносчиками, били кнутом и отправляли либо в ссылку, либо - что еще страшнее - отдавали назад помещице, которая мучила их по-своему. И все-таки сколько веревочка ни вейся, да кончик будет…

Дело началось с того, что измученные пытками Салтычихи ее дворовые (всего шесть человек) отправились доносить на нее в Московскую сенатскую контору. Узнав об этом, Салтычиха выслала в погоню десяток дворовых, которые почти настигли челобитчиков, но те «скорее добежали до будки (полицейской. - *Е.А.*) и у будки кричали «Караул!». Скрутить их посланцы

Салтычихи уже не могли - дело получило огласку, полиция арестовала челобитчиков и отвезла на съезжий двор. Через несколько дней Салтычихе удалось подкупить полицейских чиновников, и арестованных доносчиков как-то ночью повели якобы в Сенатскую контору. Когда крестьяне увидели, что их ведут к Сретенке, то есть к дому помещицы, то они стали показывать за собою «дело государево!». Конвойные пытались побоями заставить их замолчать, но потом, по-видимому, испугались и отвели колодников вновь в полицию, после чего дело о страшных убийствах началось *(Студенкин, 1874, с.534 -535)*.

Из челобитной Ермолая Ильина стало известно, что Салтыкова убила одну за другой трех его жен. К челобитной Ильина присоединился конюх Савелий Мартынов. Более всего дворовые умоляли власти не возвращать их госпоже, «чтоб от таковых смертных губительств и немилосердных безчеловеческих мучительств защитить, не отдавая помещице их, доносителей». При этом Ильин и Мартынов первыми назвали общую приблизительную цифру убитых их госпожой за пять лет: «От 1756 году душ со ста таковым же образом ею, помещицею, погублено, и по исследовании за те бесчеловечные мучительства и смертные убивства учинить с нею как законы повелевают».

Начатое следствие показало, что доносы крепостных Салтычихи - не выдумки. Как сообщили крестьяне соседних владений и священники, они не раз слышали, что Салтычиха «людей своих бьет и мучит», и крепостные Салтычихи «летом, из села Троицкого везли чрез их деревню мертвое тело девки, причем сопровождавшие рассказывали, что девка та убита помещицею, и они видели на теле ее с рук и с ног кожа и с головы волосы сошли» *(Студенкин, 1874, с.503)*. Соседские крестьяне видели как раз то, что происходило регулярно: Салтычиха убивала людей или на своем московском дворе, или в Троицком - своей главной усадьбе и затем отсылала мертвое тело для похорон в одну из своих глухих деревень. Следователи выяснили, что упомянутую выше убитую девку звали Фекла Герасимова и она «за нечистоту в мытье платья и полов была сечена, по приказу помещицы, розгами». Потом ее заставили вновь мыть полы, хотя «от сечения уже и ходить на ногах не могла, но помещица била ее еще скалкою… После побой тех Герасимова находилась чуть жива: и волосы были у нее выдраны, и голова проломлена, и спина сгнила».

Скалка, полено, палка, раскаленные щипцы, кнут, крутой кипяток были главными орудиями пытки и убийства дворовых. Судя по материалам следствия, Салтычиха проявляла все черты

маньяка-мучителя, страшно распаляясь при виде беззащитной жертвы и крови. При этом Салтычиха заставляла родственников своих жертв пытать несчастных. Дворовый Сергей Леонтьев показал на следствии, как был убит его товарищ крестьянин Хрисанф Андреев. «Помещица, - говорил он, - била Андреева сама езжалым кнутом якобы за несмотрение его за бабами и девками в мытье полов, а потом, призвав дядю его, гайдука Федота Михайлова Богомолова, приказала того Хрисанфа бить тем же кнутом нагова и он, гайдук, его бил и от тех побой тот человек и на ногах стоять не мог и, подняв его, оный гайдук отдал под караул… И тот Хрисанф всю ночь стоял на морозе, а после того введен он был в палаты, и она, Салтыкова, втайне у себя сама еще била его палкою и при том велела ему (Леонтьеву) принести разженные припекальные щипцы, кои он, Леонтьев, и принес, и она, Салтыкова, теми разженными щипцами сама брала Хрисанфа за уши и лила горячую воду ему на голову и на лицо из чайника и еще палкою била и как упал, то и пинками била, от которого бою он чуть жив…», после чего Хрисанф умер. Дядя отвез изуродованное тело племянника в Троицкое, причем Салтычиха приказала, чтобы тело это он «схоронил в лесу или хотя в воду бросил». Дядя так и сделал - позже Хрисанфа нашли местные крестьяне в сугробе, всего исклеванного птицами *(Студенкин, 1874, с.511-512)*.

Для гайдука Богомолова убийства людей по указу госпожи стали привычны. В 1759 году, во время поездки Салтычихи на богомолье в Киев, она заехала в одно из своих сел и там убила (опять за скверное мытье полов) девку Марью Петрову. После того как госпожа вконец изнемогла, кнут взял гайдук Богомолов и, по приказу Салтычихи, стал избивать девушку и «после побои… гонял ту девку тем же кнутом в пруд (дело было ранней весной. - *Е.А.*), которая, быв в пруде по горло, из того пруда выгнана и потом паки заставляли мыть пол, но от таких побои и мученья она мыть уже не могла, и тогда она, помещица, била ту девку палкою, а оной гайдук бил ту девку с нею по переменам за то, будто б она ругается и пол мыть не хочет и от тех побои та девка Марья в тех же хоромах того ж дня, в вечеру, умерла и из хором тот гайдук мертвое тело оной девки вытащил в сени», а потом закопал в лесу *(Студенкин, 1874, с.518-519)*. Дворовый человек Лукьян Михеев был убит собственноручно Салтыковой, которая разбила своему рабу голову, многократно ударяя ею о стенку. При вскрытии тела дворовой Григорьевой было установлено, что «по всей спине и по обоим бокам кожа и мясо до самых внутренностей согнило», дворовая Аграфена Агафонова была так избита палками, что у нее переломаны руки и ноги. При

пытках Акулины Максимовой помещица приказала «принести пук лучины, и взяв сама оную лучину и на свечке зажгла и тем огнем у той жонки волосы сожгла». Свидетели показали, что когда забитую до смерти крестьянку Прасковью Ларионову повезли хоронить в Троицкое (дело было зимой), то на труп бросили ее грудного ребенка, который, не доезжая до Троицкого, замерз на теле матери. Общий список замученных составил 75 человек, в том числе и 12-летняя девочка, не говоря уже об этом несчастном младенце.

Примечательной чертой следствия было полное и безусловное отпирательство преступницы. Несмотря на неопровержимые улики, Салтычиха привычно отвечала: «И те женки и девки живы ль или померли - она не ведает, а хотя, может быть, и померли, но по воле Божией, а она, Салтыкова, их никогда не бивала и людям своим бить не приказывала и от побои они не умирали». Столкнувшись с таким упорным отрицанием, следователи решили попугать Салтычиху пыткой. Она «привезена была в Розыскную экспедицию за караулом и сведена была в застенок и в чинимых ею людям своих мучительствах и от того смертных убивствах, Юстиц-коллегии присутствующими, что на нее показано и какие на то есть доказательства довольно увещевана же, после чего, по непризнанию ее ни в чем, показана ей очевидно жестокость розыска над приговоренным к тому преступником и посему паки чинено же ей было увещевание» *(Студенкин, 1874, с.501)*. Но и демонстрация пытки не помогла - Салтычиха отрицала как убийства, так и другие свои преступления. Отправить на дыбу дворянку власти не решились - Салтычиха приходилась внучкой известному деятелю петровской эпохи Автомону Иванову.

Попутно, кроме убийств, изуверства и взяток, выяснилось немало и других преступлений Салтычихи. Оказалась, что она решила отомстить своему неверному любовнику капитану Николаю Тютчеву, который решил жениться на девице Панютиной. Салтычиха, решив уничтожить Тютчева вместе с его невестою, приказала дворовым купить порох и сделать бомбу и ею взорвать дом, в котором остановились Тютчев и Панютина. Несмотря на понукания и побои, дворовые так и не решились совершить это преступление, за что были жестоко наказаны. После этого она приказала подстеречь жениха и невесту на дороге и «разбить и убить до смерти», что, к счастью для влюбленных, рабам Салтычихи осуществить не удалось.

Дело тянулось до 1768 года. Следственная комиссия после долгой работы была вынуждена признать, что зверства Салтыковой стали причиной гибели «если не всех ста человек,

объявленных доносителями, то, несомненно, 50 человек». Екатерина II вынесла приговор, в котором говорилось: «Указ нашему Сенату. Рассмотрев поданный нам от Сената доклад о уголовных делах известной бесчеловечной вдовы Дарьи Николаевой дочери, нашли мы, что сей урод рода человеческого не мог воспричинствовать в столь разные времена и такого великого числа душегубства над своими собственными слугами обоего пола одним первым движением ярости, свойственной развращенным сердцам, но надлежит полагать,…что она особливо пред многими другими убийцами в свете имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую». Констатация этого исходного факта позволила вынести приговор: «Лишить ее дворянскаго названия и запретить во всей нашей империи, чтоб она ни от кого никогда, ни в судебных местах, и ни по каким делам впредь так как и ныне в сем нашем указе именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа… Приказать в Москве… в нарочно к тому назначенный и во всем городе обнародованный день вывести ее на первую площадь и, поставя на эшафот, прочесть пред всем народом… сентенцию (приговор. - *Е.А.*)… сего нашего указа, а потом приковать ее стоячую на том же эшафоте к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими буквами: «Мучительница и душегубица».

После часового стояния у позорного столба Салтычиху предписывалось заковать в кандалы и посадить в подземную тюрьму одного из московских женских монастырей, в которой «по смерть ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда в ней света не имела. Пищу ей обыкновенную старческую (то есть еду стариц-монахинь. - *Е.А.*) подавать туда со свечою, которую опять у ней гасить, как скоро она наестся» *(Студенкин, 1874, с.542-543)*.

Гражданская казнь (а именно к ней приговорили Салтычиху) была совершена в Москве, на Красной площади, в субботу, 17 октября 1768 года. На площади возвели эшафот, посредине него стоял позорный столб с цепями, которыми и прикрепляли приговоренного. Казнь обычно устраивалась в субботу, когда в город съезжалось немало окрестных крестьян. В этом состояла государственная педагогика тех времен - путем публичной казни отучить людей от преступлений. Но дело Салтычихи было таким громким, что народ повалил бы посмотреть на ужасную злодейку даже в будний день. Как всегда, слухи раздували преступления Салтычихи до неимоверных размеров. Говорили, что она ела нежные женские груди своих жертв, была сексуальной извращенкой и т. д. Автор одного письма о казни Салтычихи писал своему адресату, что вся Москва задолго до казни была сама не своя - не было дома, где бы не обсуждалось дело

Салтычихи, и все хотели на нее поглазеть: «Что ж надлежит до народу, то не можно поверить, сколько было оного: почти ни одного места не осталось на всех лавочках, на площади, крышах, где бы людей не было, а карет и других возков несказанное множество, так, что многих передавили и карет переломали довольно» *(Современное письмо, с.95)*. Истинно, как писал Пушкин, «заутро казнь, привычный пир народу».

После вывода к позорному столбу и лишения дворянства и всех прав состояния Салтычиху отвезли в Ивановский девичий монастырь и посадили в подземную тюрьму. Место это было мрачное и скорбное - здесь доживали свой век сумасшедшие, искалеченные под пытками, нераскаявшиеся раскольницы. Одиннадцать лет просидела в подземной тюрьме Салтычиха и в 1779 году была переведена в особый застенок, устроенный на поверхности, с тыльной стороны монастырского храма. Сюда потянулись толпы любопытствующих, чтобы посмотреть через решетку на это страшное существо. По некоторым сведениям, в этом заточении она родила ребенка, зачатого ею от караульного солдата. За все годы, проведенные в тюрьме, Салтычиха не раскаялась. При появлении людей она с бранью бросалась, как дикий зверь, на решетку. По-видимому, к этому времени она уже находилась в состоянии полного умопомешательства и в таком положении прожила еще 23 года. Проведя таким образом в заключении 34 года, преступница умерла в 1801 году, так и не покаявшись в своих чудовищных преступлениях.

Салтычиха, чье имя стало нарицательным, символом изуверской жестокости, была для тогдашней России и уникальна, и типична. В той или иной степени многие помещики поступали со своими крепостными так же, как она, жестоко и бесчеловечно. Крепостное право развращало и рабов, и господ. Такого ужасающего количества замученных одной помещицей русское общество, конечно, не знало, но глумление над крепостными людьми было возможно. Каждодневные издевательства, порки и даже убийства совершались в помещичьих домах постоянно. Вспоминая о Москве 1750 года - подлинной дворянской столице России, - Екатерина II писала в мемуарах: «Предрасположение к деспотизму выращивается там лучше, чем в каком-либо другом обитаемом месте на земле; оно прививается с самого раннего возраста к детям, которые видят, с какой жестокостью их родители обращаются со своими слугами; ведь нет дома, в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить цепи без преступления» *(Екатерина II, 1907, с.174-175)*.

Крепостничество, достигшее в середине XVIII века такого размаха, требовало своего юридического оформления, хотя правовые основы крепостного права были заложены еще в Соборном Уложении 1649 года. В 1754 году образованная по инициативе Петра Шувалова Комиссия для составления нового Уложения собирала пожелания дворянства, их требования, изучала старые законы. К 1761 году была закончена очень важная часть будущего Уложения под названием: «О состоянии подданных вообще». Она так и не увидела свет, но идеи, в ней заложенные, во многом отражают дворянские требования, социальные мечты.

К середине XVIII века у дворян выработалось представление о своем особом, привилегированном положении в русском обществе. И авторы проекта Уложения это учли. Одна из глав Уложения так и называлась: «О дворянах и их преимуществах». В ней говорилось, что дворяне отличны «от прочих сограждан своим благоразумием и храбростью», они показали «чрезвычайное в государственных делах искусство, ревность (то есть усердие. - *Е.А.*) и знатные услуги Отечеству и Нам», то есть императрице.

Соответствовать этому должны и привилегии, особые отличия дворян перед другими слоями общества. Таких главных, коренных привилегий, согласно проекту Уложения, у дворянства - три. Во-первых, отменялся принцип петровской Табели о рангах 1724 года, позволявшей недворянам дослужиться до дворянского звания. В проекте Уложения пояснялось: Петр ввел этот принцип, чтобы поощрить разночинцев к успехам в науках, мореплавании, военном деле. А все это делалось для того, чтобы дворяне, глядя на них, «возымели ревность и получили большую охоту» к полезным занятиям. Теперь дворяне в службе вполне преуспели, и разночинцам нет необходимости давать дворянство.

Во-вторых, авторы Уложения предусмотрели такой порядок, при котором обязательная государственная служба для дворян отменялась, они получали свободу от участия в местных «земских» делах, могли свободно выезжать за границу, а при желании восстанавливаться на службе. Дворянина нельзя было арестовывать (без поимки с поличным на месте преступления), пытать, подвергать телесным наказаниям, ссылать на каторгу. Он судился особым судом.

Наконец, в-третьих, дворяне получали исключительное право на владение винными, стекольными, металлургическими, горными мануфактурами. Купцам и предпринимателям запрещалось владеть этими самыми доходными отраслями промышленности. Все это превращало дворянство в узкую, замкнутую, обладающую особыми, исключительными

привилегиями группу населения, которая безраздельно властвовала в стране. Но дворяне в своих мечтах шли дальше. Это нашло отражение в «Фундаментальных и непременных законах», составленных и поданных императрице И. И. Шуваловым. При написании этого законодательного проекта Шувалов использовал знаменитое сочинение Ш. Монтескье «О духе законов».

Суть проекта Шувалова состояла в том, чтобы императрица и ее подданные присягнули в строгом соблюдении неких «Фундаментальных и неприкосновенных законов», которыми устанавливались те особые преимущества дворян, о которых шла речь в проекте Уложения. Кроме того, отныне и навсегда русский престол должен был переходить только к православным государям, а все сенаторы, президенты коллегий и губернаторы набирались только из русских, как и две трети генералитета. Утверждение «Фундаментальных и непременных законов» привело бы - если исходить из схемы французского философа Монтескье - к переходу России от деспотии к конституционной монархии.

Ни проект Уложения, ни проект Ивана Шувалова, так ярко отразившие социальные мечты русского дворянства, не осуществились, хотя некоторые важные положения их были реализованы в следующие царствования. Но нам сейчас интересно посмотреть, на каких правовых основах строились отношения крепостного и его господина-помещика в елизаветинскую эпоху. В разделе «О власти дворянской» дается полный перечень составляющих эту власть исключительных прав дворянина. Вот этот перечень:

«Дворянство имеет над людьми и крестьяны своими мужеского и женского полу и над имением их полную власть без изъятия, кроме отнятия живота и наказания кнутом и произведения над оными пыток. И для того волен всякий дворянин тех своих людей и крестьян продавать и закладывать, в приданые и в рекруты отдавать и во всякие крепости укреплять, на волю и для прокормления на время, а вдов и девок для замужества за посторонних отпускать, из деревень в другие свои деревни… переводить и разным художествам и мастерствам обучать, мужскому полу жениться, а женскому полу замуж идтить позволять и, по изволению своему, во услужение, работы и посылки употреблять и всякия, кроме вышеписанных наказания, чинить или для наказания в судебные правительства представлять, и, по рассуждению своему, прощение чинить и от того наказания освобождать» *(Проект Уложения, с.119)*.

Здесь мы видим не столько проект законодательного утверждения неких несуществующих, но разработанных в

Комиссии прав дворянина, а перечень реальных, уже существующих прав помещика - фактического рабовладельца. Проект Уложения, в отличие от неосуществленного проекта Фундаментальных законов Ивана Шувалова, лишь констатирует правовое состояние крепостного, лишенного прав. Он имел лишь одно, дарованное Богом, право на жизнь. Ее могло отнять только самодержавное государство, которое обладало исключительным правом суда и вынесения наказания над всеми подданными - будь то помещики или крестьяне. Но последующая, екатерининская эпоха, опираясь на законодательные проекты времен Елизаветы Петровны, и в этом сделала уступку помещикам - они получили право ссылки провинившихся крепостных в Сибирь.

Огромная, фактически неконтролируемая власть одного человека над другим, которую давала вся система крепостного права, не могла не развращать людей - как помещиков, так и крепостных. Крепостные почти всегда не были заинтересованы в труде на своего помещика и придумывали массу уловок, чтобы увильнуть от работы, уменьшить ее нагрузку, выполнить работу хуже, чем положено. Напротив того, помещики и их приказчики стремились стеснить крепостного, ужесточить наказания, придумывали новые способы контроля за работой и жизнью крепостных.

Порка была неотъемлемой частью этой жизни. Крепостного пороли за все: за лень, неповиновение, воровство, косой взгляд, нерасторопность, «самовольство», не говоря уже об «упрямстве» и других видах скрытого и открытого неповиновения или сопротивления. Но «холодные чуланы», кандалы, кнут на конюшне переставали быть эффективными средствами управления крепостными. Они воспринимались ими как необходимое зло, которое нужно сносить так же, как непогоду, волю Бога, который «сам страдал и нам страдать велел». Неудивительно, что в этих условиях благородная цель труда как единственного достойного способа существования и совершенствования своей жизни исчезала. Обмануть, украсть, навредить, сделать свою работу плохо было для крепостного не постыдным, а наоборот, похвальным делом, которым можно было похвастаться перед людьми. К сожалению, эти особенности менталитета русского человека - наряду с такими замечательными чертами, как невероятное терпение, незлобивость, неприхотливость, - во многом пришли в наше время из крепостного прошлого.

Неверно думать, что крепостные крестьяне, не знавшие свободы, не хотели ее. Стремление к свободе заложено в человеке изначально, с самого его рождения. Мечта о воле порождала

фантастические слухи о «Беловодье» - волшебной стране, где можно укрыться от всяческого гнета и стать счастливыми. При полном бесправии миллионов людей неведомая свобода понималась искаженно, уродливо. Она не воспринималась как тяжелая ответственность за себя, свою семью, деревню, страну. Крестьяне понимали свободу как полное освобождение от всяческих обязанностей перед обществом. Жить на свободе значило для крепостных вообще не зависеть от кого бы то ни было, не выполнять обязанности, которые неизбежно налагает общество на своих свободных членов, будь то налоги на государственные нужды или работы по содержанию мостов и дорог в своей деревне. Может быть, многие наши несчастья тянутся оттуда, из далеких времен Салтычихи.

Законно избавиться от крепостничества, кроме как по воле помещика, не представлялось возможным. Все остальные способы добиться свободы были либо преступны, следовательно - уголовно наказуемы, либо аморальны. Так, в материалах Тайной канцелярии аннинского и елизаветинского царствований встречаются дела, которые заведены по доносам дворовых, подслушавших разговор господ в спальне и потом кричавших «Слово и дело!». Они надеялись, что таким образом получат - согласно закону - свободу как вознаграждение за донос на политических преступников.

Другие сами вступали на путь преступления. А для этого так мало требовалось - уйти без спросу помещика или приказчика со двора или из деревни. И вот ты уже и преступник, беглый! Но что же делать? Бегство было единственным и самым распространенным способом спасения от крепостного права. Крестьяне бежали в Польшу, на Юг (Дон и его притоки), в Сибирь. Но не дремали и власти: заставы, воинские команды, облавы, кандалы, кнут и… возвращение к помещику.

Немало крепостных, отчаявшись, брались за оружие, уходили в многочисленные разбойничьи шайки, нападавшие на помещичьи усадьбы. Не все такие истории говорили о сопротивлении крестьян крепостникам - среди разбойников укрывалось немало беглых уголовников, опустившихся личностей, садистов, наслаждавшихся мучениями помещичьих жен или детей на огне или дыбе. Известно много случаев, когда такие банды возглавляли дворяне-помещики, сделавшие свои имения притонами для разбойников и воров. Но все же признаем, что между разгулом крепостничества и разбоями существовала прямая связь: крепостное право с его фактически неограниченным насилием неизбежно порождало ответное насилие.

К елизаветинскому времени относится история братьев

Роговых - крепостных прокурора Пензенского уезда Дубинского. Двое из братьев - Никифор и Семен - бежали от помещика, но их поймали и отправили в ссылку. По дороге братья бежали, вернулись в уезд и пригрозили помещику расправой. Их вновь поймали и отправили по этапу: Никифора - в Сибирь, в Нерчинск, а Семена - в Оренбург, откуда он несколько раз убегал. Несмотря на жестокие наказания за побег с каторги, Семен не унимался. В послании помещику он писал: «Хотя меня десять раз в Оренбург посылать будут, я приду и соберу компанию и тебя изрежу на части». В 1754-1755 годах имение Дубинского трижды поджигали, а в 1756 году Семен бежал с каторги, добрался до родного уезда и спрятался у третьего из братьев - Степана. Помещик, узнав об этом, писал властям, что Семен собрал «партию человек до сорока и дожидается меня, как я буду в оную деревню, чтобы меня разбить и тело мое изрубить на части».

Степана арестовали за укрывательство беглого брата, но он бежал из-под караула и ушел вместе с сыном из вотчины, пригрозив помещику расправой. Дубинский, хотя и являлся уездным прокурором, но был так напуган, что не решался приезжать в свою деревню, пока Роговы гуляют на свободе. Надо полагать, что причины такой яростной, отчаянной ненависти братьев Роговых к своему помещику, были весьма основательны. Братья не похожи на разбойников с большой дороги, которым все равно кого грабить и убивать *(Алефиренко, с.150-151)*.

Таких бесстрашных смельчаков, как братья Роговы, было немного. Они составляли ничтожную часть той многомиллионной массы рабов и рабынь, которые смиренно несли свой крест и по приказу помещика убивали кнутом своих близких, а потом сами ложились под кнут. Особенно драматично было положение крепостных женщин и девушек. Не случайно, что большая часть замученных Салтычихой - это сенные девушки, выполнявшие домашнюю работу. Они были совершенно беспомощны и беззащитны перед издевательствами, насилием и глумлением. С мужиком-крепостным поступить жестоко считалось неразумно и опасно - как-никак он, мужик, был рабочей силой, приносил доход, за него платилась в казну подушина, он становился рекрутом. В ревизских сказках мужик писался «душой мужеска полу», женщины же вообще не учитывались в переписи. Мужик, наконец, имел возможность оказать сопротивление. Доведенный до отчаяния, он мог - часто ценою своей жизни - отомстить за унижения и побои.

Иначе со слабыми женщинами - им не было спасения, им никто бы не пришел на помощь. Дворовых девушек держали под суровым контролем, они не могли бежать, сопротивляться. Их

сознание подавлял страх. Поэтому они безропотно умирали от непосильной работы, побоев, под кнутом в конюшне, замерзали раздетыми на морозе. Молодые девушки сами лезли в петлю или бросались в омут, чтобы избавиться от постоянных мучений, которые и жизнью-то назвать трудно. Их никто не жалел, это была «человеческая трава». Цена на «хамку» - так презрительно звали крепостных помещики - самая низкая на рынке рабов.

Вот один из обычных документов - купчая: «Лета тысяча семьсот шестидесятого, декабря в девятый на десять день (то есть 19-го. - *Е.А.*).

Отставной капрал Никифор Гаврилов сын Сипягин, в роде своем не последний, продал я, Никифор, майору Якову Михееву сыну Писемскому старинных своих Галицкого уезда Корежской волости, из деревни Глобенова, крестьянских дочерей, девок: Соломониду, Мавру да Ульяну Ивановых дочерей, малолетних, на вывоз. А взял я, Никифор, у него, Якова Писемского, за тех проданных девок денег три рубли. И вольно ему, Якову, и жене, и детям, и наследникам его теми девками с сей купчей владеть вечно, продать и заложить, и во всякие крепости учредить» *(Адинцов, с.399)*.

Разумеется, никому не было дела до того, что чувствовали маленькие девочки-сестры, оторванные от матери и увезенные из родной деревни навсегда. И таких купчих заключалось тысячи, десятки тысяч. Люди - мужчины, женщины, дети - целыми деревнями, семьями, поодиночке продавались как скот, мебель или книги. Конечно, не следует считать, что все помещики были такими жестокими садистами, как Салтычиха; вряд ли Никифор Сипягин продал девочек-сестер по рублю за голову на вывоз, желая доставить им несчастье. Помещики были разные, многие из них относились к крестьянам вполне гуманно. Даже обязательные порки регламентировались. В инструкции приказчику 1751 года выдающегося полководца графа П. А. Румянцева написано, что если дворовым дадут 100 плетей или 17 000 розог, то «таковым более одной недели лежать не давать, а которым дано будет плетьми по полусотне, а розгами по 10 000 - таковым более полунедели лежать не давать же; а кто сверх того пролежит более, за те дни не давать им всего хлеба, столового запасу…». А вот как писал в инструкции своим приказчикам в 1758 году один из просвещеннейших людей того времени - князь М. М. Щербатов: «Наказание должно крестьянам, дворовым и всем протчим чинить при рассуждении вины батогами…

Однако должно осторожно поступать, дабы смертного убийства не учинить или бы не изувечить. И для того толстой палкой по голове, по рукам и по ногам не бить. А когда случится

такое наказание, что должно палкой наказывать, то, велев его наклоня, бить по спине, а лучше сечь батогами по спине и ниже, ибо наказание чувствительнее будет, а крестьянин не изувечится» *(Индова, с.458)*.

В этой инструкции - столько рачительной предусмотрительности, нешуточной заботы о…живом инвентаре, который нельзя повредить. Так же предусмотрителен Щербатов, когда дает указания о содержании скота, о севообороте, сборе податей. Именно в том, что крепостное право было таким обычным, заурядным, и состояла его самая страшная сторона. Оно казалось естественным состоянием общества, одной из тех основ, на которой держался порядок на русской земле. И его ужасы воспринимались людьми так же естественно, как гнев государя, удар грома, смена времен года. Вот помещица зимой заперла двух сенных девушек на холодном чердаке за какую-то провинность, да и забыла, вспомнила о них на следующий день, а девушки уже замерзли. Случилась беда, конечно, но не судить же за это столбовую дворянку! Никто не решился не только обратиться в суд, но даже напомнить барыне о девках, замерзающих на чердаке. Представление о том, что дворовые - это не люди, а «хамы» и «подлянки», что жестокости с ними неизбежны и необходимы, прочно сидело в сознании дворянства.

Екатерина II писала: «Если посмеешь сказать, что они (то есть крепостные. - *Е.А.*) такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую, что в меня станут бросать каменьями». Вспоминая конец 60-х годов XVIII века, она продолжала: «Я думаю, не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили бы гуманно и как люди. А в 1750 году их, конечно, было еще меньше, и, я думаю, мало людей в России даже подозревали, что для слуг существовало другое состояние, кроме рабства» *(Екатерина, 1907, с.175)*.

Естественно, мысли об этом никогда не приходили к императрице Елизавете. Этот мир каждодневного насилия и издевательства был для нее естественен, и о праве на свободу крепостных она никогда и не слыхала. Она чувствовала себя, как и ее предшественница императрица Анна Ивановна, помещицей, и со своими непокорными слугами была, как уже сказано выше, весьма крута.

Вор и убийца Ванька Каин достиг своей известности не только беспримерными злодеяниями, но и… литературной деятельностью. Он так и не выбрался с каторги и сгинул где-то в Сибири, но перед этим, отбывая каторгу в Рогервике (ныне Палтийски, Эстония), написал (или продиктовал) мемуары о своих головокружительных приключениях. Зарифмованные

записки эти, которые мы, с известной осторожностью, используем ниже при описании похождений Каина, были такие же лихие, талантливые и хвастливые, как и их автор. Довольно скоро в рукописях (а в те времена переписывались для размножения даже печатные книги) они разошлись по всей России. В 1777 году их напечатали типографским способом под обычным для тогдашних книг длинным названием:

> «Жизнь и похождения российского Картуша, именуемого Каина, известного мошенника и того ремесла людей сыщика, за раскаяние в злодействе получившего от казни свободу, но за обращение в прежний промысл, сосланного вечно в каторжную работу, прежде в Рогервик, а потом в Сибирь, написанная им самим при Балтийском порте в 1764 году».

Вот ведь как: нам мало иметь своих быстрых разумом Невтонов, нам подавай и своих знаменитых воров, которые не хуже заморского Картуша, шалившего во Франции, а даже, пожалуй, и превосходят его в удали и подлости, потому, что при всем своем жульничестве Картушу никогда не пришло бы в голову пойти в парижскую полицию и подать такую челобитную, которую подал в декабре 1741 года профессиональный вор и разбойник Ванька Каин в Московский Сыскной приказ. В этой челобитной Каин признавался, что он страшный грешник - вор и обманщик, но теперь глубоко раскаивается и, во искупление содеянных им бессчетных грехов, готов выдать полиции всех своих товарищей - что вскоре и сделал, сдав полиции сразу 37 приятелей. А потом еще и еще… Думаю, что Ванька за свою «трудовую деятельность» в полиции сдал властям сотни две-три своих товарищей.

К такой жизни он пришел не сразу. Известна старинная протяжная песня, которую якобы, томясь в тюрьме, «напел», то есть сочинил, Каин:

> Мне-да ни пить-да, ни есть, добру молодцу, не хочется.
> Мне сахарная, сладкая ества, братцы, на ум нейдет,
> Мне Московское сильное царство, братцы, с ума нейдет…

Песня эта, как мне кажется, передает душевный настрой знаменитого вора, который устал бегать от «Московского сильного царства» и, не лишенный разума, но лишенный совести, решил заключить с этим царством беспримерное соглашение. Тем

самым он пошел по совершенно новому пути, который, конечно, никого не удивит.

Преступный жизненный путь Каина - «в миру» Ивана Осипова, крепостного крестьянина села Ивашова Ростовского уезда - вотчины именитого московского купца Петра Филатьева, начался с того, что его, юношу, привезли в московский дом помещика и поселили, как дворового, в людской. Четыре года привыкал к Москве деревенский парнишка, а потом решил бежать. «Служил в Москве у гостя Петра Дмитриевича господина Филатьева, - пишет Каин, - и что до услуг моих принадлежало, то со усердием должность мою отправлял, токмо вместо награжения и милостей несносные от него бои получал. Чего ради вздумал: встать поране и шагнуть от двора его подале. В одно время, видя его спящего, отважился тронуть в той спальне стоявшего ларца ево, из которого взял денег столько довольно, чтоб нести по силе моей было полно, а хотя прежде оного на одну только соль промышлял, а где увижу и мед, то пальчиком лизал, и оное делал для предков, чтоб не забывал (то есть воровал по мелочи. - *Е.А.*). Висящее же на стене платье ево на себя надел и из дому тот же час, не мешкав, пошел, а более затем торопился, чтоб от сна не пробудился и не учинил бы за то мне зла… Вышед со двора, подписал на воротах: «Пей воду как гусь, ешь хлеб как свинья, а работай черт, а не я».

Начало воровской карьеры Каина вполне традиционно: так начинали многие дворовые и крестьяне, по разным причинам рвавшиеся на свободу. Почти каждая челобитная помещиков государю о побеге их крепостных упоминала «грабеж пожитков и денег». Каин романтизирует свой побег. Его, нагруженного хозяйским добром, ждал за забором сообщник - а значит, кража и побег не были импровизацией. У Каина давно завелся приятель и опытный наставник. Этот сообщник и учитель, старше Каина на семь лет, звался Петром Романовым, хотя всей Москве был известен по кличке «Камчатка» (место самой дальней по тем временам ссылки).

До знакомства с Каином Камчатка прожил бурные, наполненные приключениями годы. В семнадцать лет его, как пойманного с поличным мошенника, сдали в солдаты. В полку он прослужил недолго, бежал, скрывался в Москве, воровал, был пойман, наказан и отправлен на работы в Суконный двор. Не прошло и года, как он снова бежал и с тех пор стал скрываться по московским притонам *(РГАДА, 372, 1, 6260, л.2-3)*. Возможно, что именно в это время и познакомились Камчатка с Каином. После кражи у Филатьева, а по дороге от него - еще и кражи пожитков из дома какого-то священника, друзья скрылись среди московских

развалин.

Москва XVIII века представляла собой своеобразнейший город. При въезде в нее людям открывалась чарующая панорама огромного, живого, сверкающего десятками золотых куполов города. Несмотря на то, что резиденцией двора был Петербург, Москва оставалась настоящей столицей, сердцем России, сюда сходились все дороги страны, здесь кипела жизнь. Вместе с тем старая столица поражала гостей своим странным, нелепым устройством. Посетивший ее в 1774 году французский капитан Ф. А. Тесби де Белькур писал, что «нельзя лучше представить себе Москву, как в виде совокупности многих деревень, беспорядочно размещенных и образующих собою огромный лабиринт, в котором чужестранцу нелегко опознаться» и, добавим, потеряться и погибнуть - по утрам десятки раздетых безымянных трупов убитых и ограбленных под покровом ночи людей свозили в отведенное для этого место, чтобы родственники пропавших могли опознать тела своих близких. Довольно близко от центра сплошная, запутанная, состоящая из тупичков, проулков и закоулков городская застройка кончалась и начинались разбросанные там и сям слободы. Они перемежались выпасами, пустырями, развалинами.

Ко времени, о котором идет речь, таких развалин было множество. Москва совсем недавно пережила катастрофу: 29 мая 1737 года начался один из великих московских пожаров, опустошивший центр города и многие его слободы. Бедствие началось по известной пословице: «Москва сгорела от копеечной свечки». Эту свечку зажгла перед домовой иконой, да и оставила без присмотра солдатская женка Марья Михайлова, жившая в доме отставного прапорщика Александра Милославского. Пожар, вскоре начавшийся во всем квартале, перекинулся на другие кварталы, погубил город и унес жизни тысячи его жителей. Он был так силен и разрушителен, что даже одиннадцать лет спустя, в 1748 году, полиция сообщала, что ветхие каменные строения во множестве стоят запустевшие и безобразные, и в них «множество помету и всякого скаредства, от чего соседям и проезжим людям, особенно в летнее время, может быть повреждение здоровью». Такое бывало во многих крупных городах. Долго стоял запустелым Лондон после ужасающего пожара в сентябре 1666 года, когда охапка дров в пекарне на Пудинглейн привела к гибели множества кварталов английской столицы и тысяч ее жителей.

Впрочем, в Москве всегда хватало скаредства. Как писал знакомым в 1726 году приехавший из Петербурга генерал Волков: «Только два дни, как началась оттепель, но от здешней, известной

вам чистоты такой столь бальзамовый дух и такая мгла, что из избы выйти нельзя». Что там петербургский генерал! - сами привычные к духу родного города москвичи страдали неимоверно и с давних пор. В XVII веке купцы и лавочники в отчаянии взывали к государю: «Лавки их заскаредили пометом и от того помету и от духу сидеть им в лавках невозможно» *(Шереметевский, с.589)*. Такими были и другие города Европы. Непроворный прохожий всегда мог попробовать ведро помоев, вылитое ему на голову и в Лондоне, и в Париже (Петр I писал, что «Париж воняет»), и в Стокгольме, и в других городах. Мусор, шкуры, требуху, трупы кошек и собак традиционно бросали в грязь прямо перед домом или оттаскивали в ближайшую речку или овраг.

Сразу скажем, что московские овраги, особенно при въезде в город, славились не только собранием разного скаредства, но и смертельными опасностями, которые подстерегали там проезжего. Названия московские овраги носили устрашающие: Греховный, Страшный, Бедовый. Проезжать мимо них было опасно не только вечером, но и днем. Автор знаменитой книги «Старая Москва» М. И. Пыляев писал: «Как в глубине лесов, среди непроходимых болот, в ущельях и оврагах, так и в городах, и в столице были шайки и станы разбойников» *(Пыляев, 1990-2, с.199)*.

Особенно кишела Москва преступниками всех мастей зимой. Сюда, после окончания воровского и разбойничьего «сезона», со всех концов страны с ярмарок, перевозов, торжков собиралось жулье, вылезали из лесов и разбойники - ни в тонях, ни в лесу зимой прожить было невозможно. К тому же, как вспоминал впоследствии Каин, нужно было думать о будущем лете, и поэтому «для покупки ружей, пороху и других снарядов в Москву многие партии (разбойников. - *Е.А.*) приезжают». Прибыв в город, разбойники не мерзли бесприютными на улицах. «Героев с большой дороги» с радостью встречали заскучавшие без них «боевые подруги» - проститутки, воровки, портнихи - перелицовщицы краденого, сожительницы, содержательницы притонов. Многочисленные скупщики, перекупщики краденого ждали «товара», добытого в воровских предприятиях. Притоны и «малины» ютились в брошенных домах, развалинах, пещерах. Пришлому бандиту, да и просто беглому, «беспашпартному» человеку можно было перезимовать и просто в кабаках, которые никогда не закрывались, и при переписях населения оттуда вытаскивали так называемых «голых» - пропившихся до последней нитки бедолаг. Они уже никак не могли выйти на улицу в холодную погоду, поэтому так и жили до весны в кабаках

и притонах. В этот-то мир и нырнул Иван Осипов, чтобы стать там навсегда Ванькой Каином.

Каин так описывает свое приобщение к воровскому миру: «И пришли мы под Каменный мост, где воришкам был погост, кои требовали от меня денег, но я, хотя и отговаривался, однако дал им двадцать копеек, на которые принесли вина, потом напоили и меня. Выпивши, говорили: «Пол да серед сами съели, печь да полати в наем отдаем, а идущему по сему мосту тихую милостыню подаем (то есть грабим. - *Е.А.*), и ты будешь, брат, нашего сукна епанча (такой же вор. - *Е.А.*), поживи в нашем доме, в котором всего довольно: наготы и босоты извещены шесты, а голоду и холоду амбары стоят. Пыль да копоть, притом нечего и лопать». Погодя немного, они на черную работу пошли».

Досидев до рассвета в одиночестве, Каин решил осмотреться, вышел из своего убежища - и вот незадача! - сразу же налетел на дворового Филатьева, который сгреб юного злоумышленника и потащил домой. Взъяренный хозяин решил пытать Каина и для этого велел выдержать поначалу его в голоде, холоде и страхе. Для этого Каина приковали в углу двора, неподалеку от медведя, которого в богатых домах держали для забавы. Дворовая девка, приходившая кормить цепного зверя, тайком давала поесть и Каину. Она же заодно приносила ему и разные домашние сплетни. Когда эта девка рассказала, что недавно в драке холопов Филатьева во дворе убит и брошен в старый колодец гарнизонный солдат, Каин понял, что он спасен - при первой же попытке Филатьева допросить его с пристрастием о пропавших деньгах и вещах Каин завопил «Слово и дело!», отчего, как пишет Каин, «Филатьев в немалую ужесть пришел».

Хозяину Ваньки было от чего прийти в ужас: «Слово и дело!» - роковой публичный клич доносчика о государственном преступлении, тотчас приводил к аресту как изветчика, так и всех, на кого он указывал как на возможных государственных преступников. И скрыть извет было невозможно - это тоже считалось преступлением. Доставленный в Московскую контору Тайной канцелярии, которая находилась в Преображенском, Каин, естественно, показал на самого Филатьева и обвинил его в убийстве государева служилого человека. В «Стукаловом приказе», как тогда называли политический сыск, быстро разобрались: свидетели - дворовые люди Филатьева - слова Каина подтвердили, труп из колодца подняли. Как выкрутился из этого дела Филатьев, мы не знаем, но Каин вышел из Преображенского, где по старой, со времен Петра Великого, памяти размещались пыточные палаты, вышел с высоко поднятой головой - в его кармане лежало «для житья вольное письмо», которое в награду

от государыни выдавали крепостным, доказавшим свой извет.

Почти сразу же вольный Каин встретил Камчатку с компанией из-под Каменного моста, и они пошли на «дело» - обокрали ночью дом придворного доктора, а через некоторое время и дом дворцового портного Рекса. При краже в доме последнего воры использовали довольно жуткий прием: еще вечером сообщник Камчатки, некто Жаров, забрался под кровать к хозяину и, когда в надежно запертом доме все уснули, тихо вылез из укрытия и так же тихо отворил двери своим товарищам.

Надо сказать, что Каин сразу же выделился из толпы московских воров и грабителей своей редкостной изобретательностью - чертой, присущей несомненно талантливым натурам. В воровском деле он тонко использовал различные жизненные обстоятельства, досконально изучил человеческие слабости и привычки, был настоящим актером, умел блестяще импровизировать. Вот три примера. Задумала как-то раз банда Каина ограбить богатый дом. Но как же его осмотреть, если двор окружен высоким забором с гвоздями поверху, дворники и ночные сторожа не дадут даже и задержаться перед воротами, не то что пустят подозрительного человека на двор? Задача неразрешимая, но только не для Ваньки! Его действия гениально просты: он подходил к забору с пойманной за углом курицей, перебрасывал ее через забор, потом громко стучал в ворота и требовал поймать его собственность или пустить во двор, чтобы это сделать самому. Как затем он вместе с дворниками гонялся за увертливой птицей и за это время осмотрел все подходы, двери и замки, по-военному говоря, сделал рекогносцировку, описывать подробно нет смысла. Ночью казенка - глухая комната, где обычно хранили все ценности, оказывалась непостижимым образом обчищена, несмотря на заборы, замки и бдительных сторожей.

В другой раз ночью за ворами, тащившими с «дела» взятые деньги и ценности, снарядили погоню - по терминологии Каина, «учинилась мелкая раструска». Пришлось ворам поспешно бросить добычу в большую грязную лужу посреди улицы у приметного дома Чернышева. Наступило утро, вытащить из лужи спрятанное богатство, на глазах у всех, было непросто, но Каин справился и с этим. На украденной предварительно (и тоже весьма хитроумно) карете - «берлине» разбойники поехали на фабрику купца Милютина, высвистали оттуда свою лихую «боевую подругу» и увезли с собой. Чтобы приодеть ее к задуманной операции, воры совершили по дороге так называемый «скок» - импровизированное ограбление. В доме жертвы - некоего купца, они прихватили прежде всего дамские наряды. Девицу

приодели и велели ей «быть барыней». И вот прохожие напротив дома Чернышева увидели привычную для Москвы картину: посредине грязной лужи застряла роскошная карета, запряженная четверкой лошадей; у кареты отвалилось колесо и одетые в ливреи слуги по колено в грязи пытаются устранить поломку. Барыня же из накренившейся кареты на чем свет стоит бранит нерасторопных холопов и бьет их по щекам. А тем временем, как пишет Каин, «из той грязи пожитки в тот берлин переносили в тож время, чтоб проезжающие мимо нас люди дознаться не могли… И как без остатку все забрали, надели по-прежнему колесо, и поехали».

Наконец, во время погони на Макарьевской ярмарке Ванька успел закопать украденные деньги в песок, а утром пришел с купленным наспех товаром и разбил в этом самом месте палатку, в которой, под видом сидельца-лавочника, торговал лаптями, посмеиваясь над полицейскими, которые сбились с ног в поисках вора и украденного.

Над многими проделками Каина можно от души посмеяться. Вот как действовали Каин с Камчаткой, когда им захотелось мясного. Ночью приятели забрались в пустующий дом, вставили в оконный проем склеенную из бумаги непрозрачную раму. «А когда настало утро, то стали камень о камень тереть, будто что мелем: Камчатка насыпал голову мукой в знак калашника (булочника. - *Е.А*); высунув из окошка голову, кликнул с продаваемым мясом мужика, которое, сторговав, велел подавать в то окошко; мы, взяв ту говядину, из той избы ушли. А тот мужик стоял под тем окном долгое время, ожидал за проданное мясо денег и, усмотрев, что никого в той избе нет, рассуждал с прохожими людьми: люди ль то были или дьяволы с ним говорили и говядины лишили?»

Но были у Каина мошенничества, которые улыбки не вызывают. Одно из них отразилось в песне о женитьбе Ваньки Каина: переодевшись богатым подьяческим сыном, в «черной шляпе с позументом», он подошел в воскресный день к стоявшей у базара открытой коляске, в которой сидела девица, что в торговых «рядах уж нагулялася, отца-мать тут, сидя, дожидалася», и сказал ей:

«Твои матушка и батюшка
С моим батюшкой родимым
К нам пешком они пожалуют.
Мне велели проводить тебя
К моей матушке во горницу,
Она дома дожидается».

Красна-девица в обман далась,
Повели ее на Мытный двор,
На квартиру к Ваньке-Каину,
Там девица обесславилась,
Но уж поздно, хоть вспокаялась.

Хотя эта песня и не о реальной женитьбе Каина (то была другая, не менее мерзкая уловка), она вполне правдоподобно показывает жульнические приемы и «подходцы» Каина.

Не меньших успехов достиг Каин в очень тонком, требующем особого таланта и тренировки «карманном мастерстве». Карманник-ширмач «денно и ночно, будучи в церквах и в разных местах, у господ, и у приказных, и у купцов, и у всякого звания у людей вынимал из карманов деньги, платки шелковые, часы, ножи и табакерки». А, как мы понимаем, глядя на витрины музеев, иная табакерка того времени стоила целое состояние. Ванька, как опытный карманник, работал не в одиночку. Так, в половодье Каин «чистил» карманы ротозеев на переправе через Москву-реку. Смешавшись с толпой, он садился в лодку и у «разных людей вынимал платки и деньги» под дружеским присмотром перевозчика Губана, которому платил за содействие дань *(РГАДА, 372, 6210, л.46)*.

Уже тогда существовала воровская специализация. В 1742 году, по доносу Каина, был взят ремесленный ученик Алексей Елахов, который даже обиделся, когда его назвали карманным вором. Он клялся, что сам «не вынимывал», а «только стеснял народ, чтоб товарищем ево вынимывать было способно, а что товарищи его вынут, за то он, Алексей, брал с них пай» *(РГАДА, 372, 1, 6210, л.98 об.)*. Прием, известный каждому читателю, - в автобусной давке смотри не за тем, кто тебе на ноги наступает и грубо теснит, а кто возле тебя трется и почти нежно прижимается!

Воровская кооперация, солидарность и поддержка играли большую роль в преступной жизни Каина и его товарищей. Как-то раз Каина «сдала» пойманная полицией скупщица краденого; он попал в тюрьму и дотоле столь удачливому вору стала грозить своими просторами Сибирь. Спас его верный друг и учитель Камчатка. «Прислал ко мне, - вспоминает Каин, - товарищ мой, Камчатка, старуху, которая, пришед (в тюрьму. - *Е.А.*), ко мне говорила: «У Ивана в лавке по два гроша лапти» (то есть нет ли возможности уйти из-под караула? - *Е.А.*). Я сказал ей: «Чай примечай, куды чайки летят», то есть я так же, как и товарищ, время к побегу хочу избрать (накануне товарищ Каина уже бежал.

- *Е.А.*)». Бежать же после побега товарища Каину было очень трудно - охрана удвоила к нему внимание. Тогда Каин устроил побег скупщицы краденого, которая показала на него. За отсутствием изветчика, Каин стал только подозреваемым, и его вскоре выпустили на свободу под расписку.

Наступила весна, а с нею и традиционные летние «гастроли» воров по российским городам и ярмаркам. Банда, как правило, нигде не задерживалась, поскольку «поемы» - так назывались операции по очищению лавок и карманов в ярмарочной толчее - было неразумно часто делать на одном и том же месте. Из «поемов» складывалось увлекательное «путешествие»: в Кашине - «один поем», в Устюжне - «один поем», в Гороховце - «один поем», во Владимире - «один поем», на Макарьевской ярмарке - «пять поемов». Число последних не случайно - на протяжении столетий огромные Нижегородская и Макарьевская ярмарки, на которые съезжались тысячи людей, становились на несколько месяцев центром притяжения купцов, торговцев, крестьян и… воров. Здесь ворам было раздолье: в хаосе балаганов, палаток, среди тысячной толпы зевак и торгующих было легко укрыться. Но Ваньке не повезло - его поймали в колокольном ряду (пытался украсть серебро в ломе), жестоко избили; он снова кричал «Слово и дело!» и был отведен в местную полицейскую канцелярию, где его заковали и посадили в подвал. Ваньку ждала отправка в Московскую контору Тайной канцелярии, неизбежные пытки и т.д.

Но тут перед очередным престольным праздником в тюрьме появился «добрый самаритянин» с милостыней. В те времена узники кормились исключительно милостыней. Каждому колоднику он подарил по калачу, а чем-то понравившемуся ему Ваньке - аж два. При этом тихо сказал: «Триока калач ела, стромык сверлюк страктирила». «Самаритянином» был Камчатка, а сказал он на воровском языке следующее: «Тут в калаче ключ для отпирания цепи».

А далее все произошло так, как бывает в приключенческом фильме: «Погодя малое время, послал я драгуна купить товару из безумного ряду (то есть вина в кабаке. - *Е.А.*); как оной купил, и я выпил для смелости красовулю, пошел в нужник, в котором поднял доску, отомкнул цепной замок, из того заходу ушел. Хотя погоня за мной и была, токмо за случившимся тогда кулачным боем от той погони я спасся; прибежал в татарский табун, где усмотрел татарскова мурзу, которой в то время в своей кибитке крепко спал, а в головах у него подголовок (обитый жестью сундучок с деньгами. - *Е.А.*) стоял. Я привязал того татарина ногу к стоящей при ево кибитке на аркане лошади, ударил ту лошадь

колом, которая оного татарина потащила во всю прыть, а я, схватя тот подголовок, который был полон монет, сказал: «Неужели татарских денег на Руси брать не будут?» Пришел к товарищам своим, говорил: «На одной неделе четверга четыре, а деревенский месяц с неделей десять» (то есть везде погоня, нужно сматывать удочки).

Не успели приятели собраться в путь-дорогу, как наехали солдаты и началась облава. Скрываясь от погони, Каин забежал в торговую баню, разделся, забросил платье под полок и в одних портках выбежал, отчаянно крича, что его, «московского купца», только что обокрали, взяли у него все вещи и деньги, а главное - пропали документы, паспорт! Кражи в банях, - дело привычное, и убитого горем, причитавшего купца солдаты отвели в казенное присутствие, чтоб подьячие с ним разобрались. И «как стал подьячий меня допрашивать, - вспоминает Каин, - то я ему шепнул на ухо: «Тебе будет, друг, муки фунта с два с походом» (то есть кафтан с камзолом). И уже вскоре с новым «чистым» паспортом Ванька ехал в Москву.

К этому времени там подобралась компания серьезная - бывалые воры и убийцы. Одни клички чего стоят: Кувай, Летает, Жузла, Столяр, Каин, Камчатка. Они решили поразбойничать в банде атамана Зари, который действовал на Волге. Сначало все шло, как и задумано, гладко, но потом слух о банде пронесся вдоль Волги, погоня все время шла по пятам, куда бы разбойники ни плыли, их опережал предупредительный набат сельских колоколов - всюду их уже ждали с оружием в руках. С трудом банде удалось скрыться и к осени 1741 года вернуться в Москву.

Тут-то Ванька, явно «заскучавший» от опасной жизни, решился пойти, как тогда говорили, «с повинкой» и предложить властям свои услуги. Судье Сыскного приказа князю Кропоткину идея Каина понравилась. Он принял предложение вора и дал указания протоколисту Петру Донскому испробовать Ваньку в деле. За 28 декабря 1741 года сохранился первый отчет Донского о проведенной операции: «Я, Донской, с салдаты (14 человек) ходил, и он, Каин, указал мне в Китай-городе, в Зарядье, незнаемо чей двор и сказал, что-де в том дворе живут товарищи ево, мошенники, и в том доме взяли, по указыванию ево, Каинову, 18 человек, в том числе 7 женщин». В трех других притонах, указанных Каином, солдаты взяли еще несколько подозрительных личностей. Далее Донской писал в рапорте, что «он же, Каин, близ Москворецких ворот, указал печеру (пещеру. - *Е.А.*) и сказал, что в той печере мошенник, Казанского полку беглой извощик Алексей Иванов сын Соловьев; и в той печере оного Соловьева взяли; у него же, Соловьева, взяли из кармана доношение, в

котором написан рукою ево, что он знает многих мошенников и при том написан оным мошенникам реэстр». Иначе говоря, Каин с солдатами и протоколистом влезли в вырытую на склоне речного берега пещеру в тот самый момент, когда Соловьев, словно легендарный летописец Нестор, при свете лучины или свечного огарка составлял список своих товарищей по воровскому ремеслу.

Выскажу догадку, что Каин не случайно уже в первый день повел солдат в «печеру» Соловьева. Возможно, он знал о намерении последнего сдать товарищей и боялся попасть в его «реэстр». Поэтому он и поспешил раньше Соловьева к князю Кропоткину со своим «реэстром», в который включил и самого Соловьева. А после этого никто Соловьева уже и не слушал - доношение его, по аресту, силы не имело. Кроме того, в руки следствия попал уникальный в истории русской уголовщины дневник совершенных Соловьевым преступлений. Из него видно, что Соловьев был специалистом по банным кражам и тщательно вел учет всего похищенного: «В понедельник: взято в Всесвятской бане ввечеру 7 гривен; в четверк: рубаха тафтяная, штаны нижегородские, камзол китайчатый, крест серебряной; на Каменном мосту - 16 алтын; в субботу: штаны, денег 1 рубль 20 копеек; в воскресенье - 1 рубль» и т. д. *(РГАДА, 372, 1, 2225, л.126 и др.; РГАДА, 372, 1, 6210, л.10)*. Рассчитывать на помилование государыни с таким «дневником» Соловьеву не приходилось.

Так удачно начатые облавы Каина продолжались и после Нового года, причем Каин проявлял редкостное рвение, и по его доносам полиция очищала одну «малину» за другой. Здесь-то и наступил решительный для замысла Ваньки момент. Из журнала указов Сыскного приказа от 17 февраля 1742 года мы узнаем, что Каин уже сам, без протоколиста, занимается облавой: «Доносителю Каину велено дать для сыску воров и разбойников из гарнизонных солдат трех» *(РГАДА, 372, 1, 2225, л.126)*. Замысел Каина удался.

Но ошибаются те, кто полагает, будто Ванька и в самом деле решил исправиться и посвятить свою жизнь борьбе с мелким жульем (а в его улове, как понимает читатель, была, в основном, мелкая «рыбешка» - содержатели притонов, скупщики краденого, уличные воришки, проститутки). Для начала он нанял в Зарядье дом, который сделал настоящим «штабом». Здесь сидели прикомандированные к Каину солдаты, заходили чиновники сыска. Одновременно Каин сделал из своего дома притон - здесь шла большая карточная игра, «зернь», вечно толпился разный (и скажем сразу - подозрительный) люд, что было очень удобно для «доносителя Ивана Каина» - так он официально стал называться. К Каину незаметно заходили нужные люди, просители, агенты,

сюда приводили пойманных воров, и уже Ванька решал их судьбу. Так в центре старой столицы, недалеко от Кремля, можно сказать, на глазах Елизаветы Петровны, которая любила Москву и нередко приезжала в нее, открылось частное сыскное бюро, служившее одновременно и «малиной» для большой банды грабителей, воров и убийц.

Каин же стал оборотнем. Как потом было сказано в приговоре по его делу, «определенной в Москве при Сыскном приказе для сыску воров и разбойников доноситель Иван Каин под видом искоренил таких злодеев, чинил в Москве многие воровства и разбои, и многие грабительства и, сверх того, здешним многим обывателям только для одних своих прибытков немалое разорение и нападки».

Как следует из материалов дел, Каин укрепил свое положение тем, что сумел угодить сильным мира сего. Он охотно обслуживал прежде всего высокопоставленных персон, у которых случалось несчастье - обокрали дом, ограбили родственника, бежали, прихватив имущество, как некогда сам Ванька, дворовые. Полиция, как всегда, разводила руками, а Каин действовал сноровито и быстро. Через своих людей в воровском мире (у него была особая «служба» мелких жуликов, которая шарила по скупкам и барахолкам и по опознанным вещам находила грабителей) он возвращал украденное, находил беглецов, делал и другие услуги своим «благодетелям». В итоге, в 1744 году он получил охранную грамоту - особый сенатский указ, в котором было сказано, что все действия доносителя Каина защищает закон и что «ему, Каину, в поимке… злодеев никому посторонним обид не чинить и напрасно не клеветать». Более того, в указе говорилось: «А ежели кто при поимке таких злодеев ему, доносителю Каину, по требованию его, вспоможения не учинит… таковые, яко преступники, жестоко истязаны будут без всякого упущения».

Зная среду, из которой он вышел, Каин обезопасился и от доносов на него схваченных воров и разбойников. В указе Сыскного приказа было сказано: «Ежели… кто из содержащихся колодников или впредь пойманных злодеев будет на него, Каина, что показывать, того, кроме важных дел (то есть по делам о государственной безопасности. - *Е.А.*) не принимать и им, Каином, по тому не следовать» *(Есипов, 1869, с. 312)*. Так Каин стал неуязвим для всех и на целых пять лет превратился в некоронованного короля преступной Москвы.

Пересказывать «подвиги» Каина - значит цитировать почти дословно современную уголовную хронику. Главное, что в «работе» Каина борьба с преступниками и преступления самой

банды Каина тесно переплетались. В сущности, он лишь для вида, «для отчетности», ловил мелких жуликов, случайных, заезжих в Москву воров, которые, если хотели спастись, платили Каину отступного и потом выходили на свободу. Взыскивал он дань и с вполне преуспевающих купцов и ремесленников, если узнавал порой постыдные тайны их обогащения и источники капиталов. Подпольные мастера и купцы-контрабандисты видели прямую пользу от дружбы с Каином. Он действовал как современный мафиози - устранял конкурентов «своих» предпринимателей, конфискуя у «чужих» товар, инструменты, сдавал их в Сыскной приказ. Все это делалось, естественно, небесплатно. Порой Каин брал с собой на операции гарнизонных солдат и чиновников Сыскного приказа, порой обходился своими людьми - постепенно у него образовалась «гвардия» головорезов: Шинкарка, Баран, Чижик, Монах, Тулья и Волк и т. д. - около 40 человек. То он совершал по Москве «торговые инспекции» - ловил на недовесе казенных торговцев солью, хватал контрабандистов, торговцев запрещенным или ворованным товаром, а потом, взяв с них дань, отпускал с миром. Когда ему надоедала «законная деятельность», он выходил ночью поразмяться с кистенем и со своей бандой совершал налеты, грабил и убивал. Пользуясь своей властью, он брал в заложники богатых московских старообрядцев и отпускал только тогда, когда их родственники приносили выкуп. Когда сведения об этом дошли до Раскольнической канцелярии, имевшей монопольное право мучить старообрядцев, Каин подкупил подьячих, и бумага, требовавшая Каина к ответу, шла в Сыскной приказ три года! *(Есипов, 1869, с.314)*.

Каина не всегда прельщали деньги, которых ему и так хватало. Он шел на дела, движимый и страстью авантюриста, испытывающего удовольствие от опасности, а то и «со скуки». Вот он, переодевшись посыльным гвардейским офицером, явился в один из московских монастырей, чтобы с помощью подложного указа освободить монашку, которая нарушила обет и вышла замуж, за что ее арестовали. После довольно опасных романтических приключений в монастыре Каин, вручая супругу счастливому мужу, изволил пошутить: «Ежели и впредь в другой старице будет тебе нужда, то я служить буду». Правда, деньги за работу, 150 рублей, все-таки взял *(РГАДА, 372, 1, 2172, л.2 об.)*.

Любил Каин и жестокие шутки. Мог для смеху завести в зимнее поле приказчика и пустить его, как зайца, без штанов. Мог, в шутку, конечно, обмазать дегтем надерзившего ему подьячего, освободить из-под стражи колодника, а в его цепи заковать, для смеха, караульного солдата. А сколько было потехи, когда он приказал привязать задержанного его бандой извозчика

к оглоблям, а его воз с сеном поджег, после чего лошади помчались как сумасшедшие! Вообще же, в его натуре не было ни расчетливой жестокости, ни осторожности, ни меры.

Любил он, по широте своей души, «шумнуть», «дать жару», «учудить» нечто такое, чтобы вся Москва наутро говорила о его очередном подвиге.

Пришла пора, и Каин решил завести семью. Приглянулась ему соседская вдова Арина Иванова. Ванька посватался, да получил отказ - уж соседи-то знали, кто живет рядом с ними. Тогда Каин пошел своим, привычным, мерзким путем: подговорил пойманного им и сидящего в Сыскном приказе фальшивомонетчика дать на Арину, как на свою сообщницу, показания. Несчастную вдову взяли в Сыскной приказ, жестоко били плетьми, и она, не выдержав боли, «призналась», что помогала жуликам делать деньги. Дело серьезнейшее, пахнет Сибирью! А после этого Каин подослал некую «женщину сказать Арине: ежели она пойдет за меня замуж, то в тож время освобождена на волю будет». Сначала Арина упорно отказывала такому жениху, но узнав, что ее будут снова пытать, скрепя сердце, согласилась. После этого Каин легко вытащил ее из застенка, чтобы потом устроить шутовскую, глумливую свадьбу с пьяным попом и издевательством над гостями.

Ясно, что, живя в таких грехах, Каин не мог спокойно смотреть в будущее. Опасность разоблачения постоянно висела над ним, и не раз по нему плакали дыба и кнут - доказательств его преступлений было множество. Но всякий раз он выкручивался, и, как потом писал императрице Елизавете Петровне генерал-полицмейстер Алексей Татищев, его отпускали из полицейских соображений, «в рассуждение о том, дабы впредь в сыску воров и разбойников и протчих подозрительных людей имел он крепкое смотрение» *(РГАДА, 22, 1, 1, л.1 и др.)*. Из дела Каина видно, что генерал-полицмейстер обманывал свою государыню. Каин держался, главным образом, за счет преступной дружбы с чиновниками Сыскного приказа, полиции и даже Сената. Он сразу же завязал дружбу с посланным в первый поиск воров протоколистом Петром Донским, который потом стал секретарем приказа и первым покровителем, укрывателем и партнером Каина. Сращение администрации и преступников было налицо. Позже, уже на следствии по своему делу, Каин показал, что свои преступления «все чинил в надежде на имеющихся в Сыскном приказе судей и протоколистов, которых он за то, чтоб ево остерегали, даривал и многократно в домах у них бывал и, как между приятелей, обыкновенно пивал у них чай и с некоторыми в карты игрывал». Из других показаний Каина видно,

что найденные у скупщиков краденые вещи доставлялись бандой Каина ночью в Сыскной приказ и раскладывались на столе в судейской палате - так сказать, прямо на алтаре правосудия. И полицейские чиновники выбирали из кучи добра то, что им приглянулось *(РГАДА, 372, 1, 2173, л.37 об. и др.)*.

Вместе с друзьями из сыска Каин кутил, поставлял им девиц, секретари Сыскного приказа «прихаживали к нему, Каину, в дом и в зернь игрывали». Делал он им подарки, когда дорогие, а когда - не очень. Раз присмотрел Петр Донской себе шляпу полупуховую, хотел было купить, а Каин «сказал ему, Донскому, что те деньги заплатит он, Каин». Это из признания Донского на следствии по делу Каина. Понятно, что Донской вспоминал только мелочи, но за такими подарками уголовника видна целая система *(РГАДА, 372, 1, 2173, л.34 и др.)*.

Но до бесконечности преступления Каина продолжаться не могли. Запись в журнале Сыскного приказа от 8 августа 1748 года, кажется, предвещает его грядущее падение: «В Сыскной приказ пришед, доноситель Иван Каин словесно объявил: оного числа ходил он, Каин, для сыску и поимки воров и разбойников, и мошенников, и он, Каин, шел за Москву-реку… и на мосту попался ему мошенник Петр Камчатка, которой прежде сего и ныне ворует, мошенничает… которого взяв он, Каин, для следствия в том воровстве привел в Сыскной приказ» *(РГАДА, 372, 1, 6260, л.1)*. Камчатку пытали, били кнутом и сослали навечно в Оренбург, на каторгу. Конечно, «вор должен сидеть в тюрьме», и Камчатка симпатий не вызывает, но все-таки эта запротоколированная в Сыскном приказе сцена на мосту, когда Каин «сдал» шедшего ему навстречу старого учителя, друга, не раз выручавшего самого Каина из петли, позволяет сказать, что Каин подошел к своему концу.

Как часто бывает в истории, все началось с женщины, точнее - с пятнадцатилетней девочки, дочери отставного солдата Тарасова, которую Каин, как ту героиню песни, «для непотребного дела сманил», а потом, как ненужную тряпку, выбросил на улицу. Так бы и забылся и этот случай - управы на могущественного Каина не было, если бы не отец девушки, Федор Тарасов. Он дошел-таки до самого генерал-полицмейстера и подал ему челобитную о деле. Татищев, уже наслышанный о «подвигах» доносителя Каина, приказал арестовать его. Каин прибег к старому, испытанному фокусу с кричанием «Слова и дела!», Татищев отослал его в Московскую контору Тайной канцелярии. Там быстро выяснили, что донос Каина - ложный и не стали, как принято (и на что рассчитывал Каин), долго разбираться в доносе, а опять отвезли к Татищеву, который на

этот раз был с лжедоносчиком суров - посадил в сырой погреб на хлеб и воду. Каин, давно забывший такое обращение, взмолил о пощаде и… тут-то он и допустил роковую ошибку - он начал показывать на чиновников Сыскного приказа как на своих сообщников, оговорил многих высокопоставленных взяточников. Дело приобрело скандальный характер. Татищев писал государыне, что «в настоящих полицейских делах учинилась остановка и потому полиции исследовать эти дела не возможно и, сверх того, так как Каин обнаружил, что с ним были в сообщничестве секретари и прочие чиновники Сыскного приказа, полиции, Раскольнической комиссии и Сенатской конторы», он просил создать особую комиссию *(Есипов, 1869, с.327)*.

Между тем Сыскной приказ, в котором Каин «верой и правдой» служил столько лет официальным доносителем, хотел во что бы то ни стало заполучить злодея себе, чтобы, как понимает читатель, детальнее расследовать его дело. Можно предположить, чем бы для Каина закончилось (и довольно быстро) это «расследование». Понимал это и Татищев, приказавший удвоить караулы у Каина и арестовать некоторых его коллег по Сыскному приказу. Следствие тянулось долго. Лишь в 1755 году Сенат приговорил Каина и его ближайшего подручного Шинкарку к смертной казни, которая была заменена наказанием кнутом. Кроме того, приговоренным ворам вырвали ноздри и поставили клейма: букву «В» - на лбу, букву «О» - на левой, а букву «Р» - на правой щеке. После этого Каина, заклепав в кандалы, отправили «в тяжкую работу» на каторгу в Рогервик, где он и написал свою книгу - одно из любимых народом сочинений, которое, вместо Белинского и Гоголя, нес с базара каждый грамотный простолюдин первой половины XIX века в одной пачке с описанием подвигов королевича Бовы и проделок шута Ивана Балакирева. Думаю, что сам факт такого сочинительства на каторге замечателен. Он говорит, что и здесь Каин устроился неплохо и едва ли работал кайлом или катал тачку! Как писал в своих воспоминаниях А. Т. Болотов, служивший в Рогервике конвойным офицером, те из каторжников, кто имел деньги, дикий камень не ломали и на дамбу его не таскали, а жили припеваючи в отгороженных из общей казармы покоях, окруженные заботой начальника конвоя.

И последнее - никто из названных на следствии Каином московских чиновников вместе с ним на каторгу так и не отправился. Расследование их дел, за недоказательностью обвинения, закончилось ничем, что и неудивительно. Они все говорили, что о преступлениях Каина не знали, а если чем и даривал злодей их, то разве шапками, платками, перчатками да

упомянутыми популярными в Москве пуховыми шляпами. А более, говорили чиновники, ничего у него не «бирывали», да и шляпы эти и перчатки «бирывали» без охоты, по бедности - жалованье ведь им задерживали постоянно.

ГЛАВА 11
РОССИЙСКИХ МУЗ УСПЕХИ

Впрочем, что это мы все о мерзостях да о душегубствах? Мир, как известно, окрашен не только в черный цвет. Он цветной и многоголосый. «Век песен» - так назвал елизаветинское царствование поэт Гаврила Державин. Действительно, эти двадцать лет оказались выдающимися в истории русской музыкальной культуры. И главную роль здесь сыграли личные пристрастия императрицы, женщины одаренной несомненными музыкальными способностями. Известно, что императрица пела в церковном хоре, а в придворной капелле был даже особый пульт, за который она обычно вставала. Из любви Елизаветы к хоровому малороссийскому пению и выросла ее любовь к Разумовскому, чей голос очаровал государыню. Историки русской музыки считают, что Елизавета - автор двух народных песен, которые она «распела» в 1730-х годах. Елизавета вообще любила петь, и, как отмечалось выше, часовые у ее покоев слышали, как государыня пела для себя *(Прач и др.)*.

Став императрицей, Елизавета сделала музыку важной составной частью жизни своего двора. Естественно, главное внимание уделялось оркестру придворной капеллы. В 1757 году он увеличился в четыре раза по сравнению с 1740 годом, причем в нем преобладали высококлассные итальянские, французские и немецкие музыканты. Во время долгих обедов и ужинов - для улучшения аппетита и услаждения слуха хозяйки и гостей - с хоров непрерывно, в течение нескольких часов, звучала, как писали в газете «Санкт-Петербургские ведомости», «вокальная и инструментальная музыка». Музыки при дворе было столько, что все царствование Елизаветы походило на какой-то непрерывный музыкальный фестиваль. «Отныне впредь при дворе каждой недели после полудня, - читаем мы указ от 10 сентября 1749 года, - быть музыке: по понедельникам - танцевальной, по средам - итальянской, а по вторникам и в пятницу, по прежнему указу, быть комедиям».

Конечно, при дворе Елизаветы Петровны, как и во всей Европе, господствовала итальянская музыка. В 1742 году из Италии в Россию, после некоторого перерыва, вернулся Франческо Арайя, композитор, дирижер и режиссер, уже работавший раньше при дворе Анны Ивановны. Он привез с собой оркестр, труппу актеров и певцов. И после этого начались постановки грандиозных оперных спектаклей. Опера была

вершиной театрального и музыкального искусства того времени. Она отличалась от современной оперы и по жанру, и по сценическому воплощению.

Как писал знаток и теоретик русского искусства XVIII века Якоб Штелин, «опера называется действие, пением отправляемое. Она, кроме богов и храбрых героев, никого на театре быть не позволяет. Все в ней есть знатно, великолепно и удивительно. В ее содержании ничто находиться не может, как токмо высокие и несравненные действия, божественные в человеке свойства, благополучное состояние мира, златые века собственно в ней показываются. Для представления первых времен мира и непорочного блаженства человеческого рода выводятся в ней счастливые пастухи и в удовольствии находящиеся пастушки. Приятными их песнями и изрядными танцами изображает она веселие дружеских собраний между добронравными людьми. Чрез свои хитрые машины представляет она нам на небе великолепие и красоту вселенной, на земле силу и крепость человеческую, которую они при осаждении городов показывают… Речь, которою человеческие пристрастия изображаются, приводится посредством ее музыки в крайнее совершенство, а звук последующих за нею инструментов возбуждает в слушателях те самые пристрастия, которые тогда их зрению открываются» *(Финдейзен, с.14-15)*.

Уже из этого описания видно, что наряду с сольным и хоровым пением слушатели оперы могли видеть балетные номера и, добавим, слышать декламацию. Жесткие рамки классицизма заставляли постановщиков оперы думать о том, чтобы сюжет был преимущественно из античности, чтобы зло было всегда наказано, а добро торжествовало, чтобы все было грандиозно, величественно и громко.

Спектаклю предшествовали аллегорические прологи, которые должны были убеждать зрителей в том, что лучшей самодержицы Россия еще не знала. В 1759 году в честь дня тезоименитства Елизаветы Петровны и победы русской армии над пруссаками при Кунерсдорфе был поставлен пролог под названием «Новые лавры», слова к которому сочинил Александр Сумароков, а музыку - немецкий композитор Ф. Хильфердинг, который одновременно выступил как режиссер спектакля. Все действо разворачивалось на фоне великолепных декораций итальянского художника-декоратора Джузеппе Валериани, который прославился огромного масштаба живописными панно. Валериани работал со своим помощником А. Перезинотти. Его приняли на русскую службу «чином первого инженера и маляра театрального для изобретения и малерования украшений и

махин, и управления всего того, что к театру двора Ее императорского величества потребно будет». Начиная с 1744 года и до самой своей смерти в 1762 году Валериани оформлял оперные спектакли *(см. Коноплева)*. Непривычную для глаз масштабность произведений этого художника мы можем оценить в Большом зале Екатерининского дворца в Царском Селе, плафон которого расписан им. Окинуть взором всю эту картину и рассмотреть ее детали можно разве только лежа на полу или расхаживая, как это бывает в итальянских дворцах, с зеркалом в руках - так грандиозно это произведение монументального барокко.

Но прежде всего Валериани прославился как театральный художник - его декорации к оперным постановкам Арайя и других композиторов превосходили все, что могли вообразить люди в России того времени. Медленно поднимался пышный занавес, и завороженные зрители видели восход солнца на берегу Средиземного моря, виднелись руины какого-то древнего храма, светилось вдали южное море. На фоне подобных роскошных и весьма дорогих декораций огромный хор начинал петь канты - торжественные песни во славу государыни императрицы, балет сменяла декламация драматических актеров, звучала божественная музыка. Знаменитый актер Иван Дмитревский в образе «объятого облаком» Аполлона такими виршами прославлял царствование Елизаветы:

> Не тем уж местом ты, Петрополь, ныне зрим,
> Где прежде жили фины:
> На сих брегах поставлен древний Рим,
> И древние Афины.

В этом месте многоголосый хор подхватывал:

> Тут - Словесные науки днесь цветут.

Во время пения канта, как сообщает нам либретто, «облака закрывают богов, а потом расходятся и открывают Храм славы». Без подобного псевдоантичного сооружения не обходилось ни одно тогдашнее торжество. Храм не был пуст - в нем «видима селящая Победа с лавровой ветвию и россияне, собравшиеся торжествовать день сей. Потом слышно необыкновенное согласие музыки. Является российский на воздухе орел. Россиянин приемлет пламенник (факел. - *Е.А.*) и к себе других россиян созывает воспалити благоухание. Нисходит огонь с небеси и

предваряет предприятие их. Орел ниспускается и из рук Победы приемлет лавр. Балет продолжается» *(Сумароков, с.181-189)*. Актеры на сцене изображали фигуры: «Благополучие России», «Радость верноподданных» и, наконец, «Обрадованную ревность». Так в аллегориях была выражена победа армии Салтыкова над армией Фридриха II.

Перегруженные аллегориями оперы, казалось, были обречены на провал. Но нет! Оперные спектакли пользовались колоссальным успехом у зрителей. Для представления «Милосердия Титова» в 1742 году был построен специальный деревянный театр на пять тысяч мест, и этих мест не хватало. Как писал Якоб Штелин, наплыв желающих был так велик, что «многие зрители и зрительницы должны были потратить по шести и более часов до начала, чтобы добыть себе место». Что же могло приводить их в подобное неистовство? Неужели «счастливые пастухи и в удовольствии находящиеся пастушки»? Думаю, что не они. В жизни людей того времени было довольно мало красочной грандиозности, а зрелищ, как известно, люди всегда требовали наравне с хлебом. Зрители валом валили, чтобы увидеть одетых в драгоценные костюмы актеров, посмотреть балет, поразиться световым эффектам, декорациям Валериани. Вся атмосфера оперного спектакля поражала воображение зрителей.

Особенно сильное впечатление производили на зрителя действия театральных механизмов - «махин». При помощи скрытых от глаз зрителей канатов, блоков и других хитроумных изобретений плыли, опускались и возносились на небо «облака», в пышных складках которых удобно располагались «боги». Грохот «небесного грома», яркие вспышки «молнии», другие звуковые и световые эффекты оперного театра потрясали простодушного зрителя.

Значение итальянского оперного спектакля в истории становления русской оперы огромно. Именно в итальянских операх впервые запели русские (точнее - украинские) оперные певцы - Максим Березовский, Михаил Полторацкий, Степан Рашевский. «Эти юные оперные певцы, - писал Якоб Штелин, - поразили слушателей и знатоков своей точной фразировкой, чистотой исполнения трудных и длительных арий, художественной передачей каденций, своей декламацией и естественной мимикой». В 1758 году в опере «Альцеста» семилетним мальчиком участвовал будущий композитор Дмитрий Бортнянский. В балетных номерах стали все чаще появляться русские балерины и танцовщики. Их сурово готовили прекрасные педагоги - Ланде, основавший еще при Анне

Ивановне балетную школу, а также Фоссалино. Музыку писали композиторы Арайя и Герман Раупах, сменивший Арайя на месте руководителя придворной капеллы. Всего за время царствования Елизаветы было поставлено тридцать опер на античные сюжеты: «Сципион», «Селевк», «Митридат», «Беллерофонт», «Александр в Индии» и тому подобные. В 1759 году был поставлен балетный спектакль «Прибежище добродетели», либретто к которому написал Александр Сумароков *(Штелин, 1935, с.91; Всеволодский-Гернгросс, с.48-49)*.

Четыре часа длился оперный спектакль. В перерывах тоже устраивались музыкальные номера, нередко в русском духе. Современник пишет, что в антрактах «музыку, русские песни играли и пели певчие песни, а по сем танцовщицы Аграфена и Аксинья русскую пляску танцевали», после чего государыня императрица, насмотревшись итальянских и французских балетов, патриотично «изволила сказать, что русское всегда на сердце русского (человека) действие производит, чем чужестранное». Это не значит, что императрица не любила итальянских опер. Наоборот, она жила ими и не жалела денег на их постановки. «При окончании оперы, - писала газета «Санкт-Петербургские ведомости», - Ее императорское величество соизволила свое удовольствие оказать ударением в ладони, что и от всех прочих смотрителей учинено было, причем чужестранные господа министры засвидетельствовали, что такой совершенной и изрядной оперы, особливо в рассуждении украшениев театра, проспектов и машин нигде еще не видано». Вот так!

И все же оперы были редким зрелищем - слишком сложное и дорогое это дело. Доступнее были концерты оркестра и хоров. Придворная капелла издавна набиралась из голосистых малороссов и отличалась высочайшим искусством. Музыка, которую теперь называют классической, входила и в знатные дома. К 1748 году относится первая афиша о публичном концерте классической музыки: «По желанию любителей музыки еженедельно по средам, после обеда, в 6 часов, в доме князя Гагарина, что на Адмиралтейской стороне, на улице Большой Морской против немецкого театра, будут устраиваться концерты по образцу итальянских, немецких и голландских». Вход по билетам был свободен для всех желающих, в том числе и для купцов, горожан. Запрещалось пропускать в зал только «пьяных, лакеев и распутных женщин» *(Финдейзен, с.44, Гозенпуд, с. 55)*.

Благодаря музыкальным пристрастиям царицы в русскую культуру вошли новые, а теперь давно уже привычные нам инструменты - арфа, мандолина и, главное, гитара. Некоторые историки музыки считают, что именно Елизавета стала

зачинательницей городской песни - романса, и напела (то есть сочинила) несколько весьма популярных в XVIII веке романсов. При Елизавете родился и один необычайный вид искусства - роговая музыка. Ее изобрел чешский валторнист Иоганн Антон Мареш в 1748 году. Он приехал в Россию и нашел мецената в лице обер-егермейстера двора Семена Нарышкина. И вот однажды в 1757 году императрица, совершавшая прогулку верхом по осенним полям под Измайлово, была поражена звуками величественной музыки, которая как будто лилась с небес. В чистом поле раздавались фуги Баха.

Это был сюрприз Нарышкина - концерт рогового оркестра, состоявшего из десятков музыкантов, которые дули в свои инструменты. Длина самого большого рога составляла 3,5 сажени, а самого маленького - 3 дюйма, и каждый издавал только звук определенной высоты. Исполнители могли и не знать музыкальной грамоты, а лишь отсчитывали такты, чтобы не пропустить свою партию. Это был настоящий живой орган гигантских размеров и оглушительной громкости. Слушать его можно было только на приличном расстоянии - метров за 300 - 500, не ближе. Вскоре такой оркестр стал символом крепостничества, роскошества богатейших помещиков - владельцев тысяч рабов, из которых только и можно было его собрать. Впрочем, императрица близко к живому органу не подъезжала, и оборотная сторона музыкального чуда, как и жизни ее подданных, осталась ей неведомой *(Пыляев, 1990 - 1, с.89)*.

По популярности с музыкой в Петербурге мог соперничать только драматический театр. Заслуга появления первого профессионального русского театра по праву принадлежит двум людям - императрице Елизавете Петровне и актеру Федору Волкову. Природа театра была очень близка императрице, которая всю жизнь разыгрывала перед людьми спектакль своего царствования и наслаждалась как собственной игрой (и костюмами, конечно), так и созданным ею же миром вечного придворного, почти театрального праздника. Не было другого государя в России, который бы так самозабвенно любил театр. Известно, что государыня доводила до изнеможения свой двор тем, что могла часами, днями не покидать представления, вновь и вновь требуя повторения полюбившихся ей пьес. Лишь только раз государыня не выдержала. В 1744 году она приехала в Киев, где в ее честь был устроен спектакль. Екатерина II вспоминала, что на сцене с семи вечера непрерывно шли «прологи, балеты, комедия, в которой Марк Аврелий велел повесить своего любимца, сражение, в котором казаки били поляков, рыбная ловля на Днепре и хоры без числа. У императрицы хватило терпения до

двух часов утра, потом она послала спросить, скоро ли кончится. Ей просили передать, что не дошли еще до середины, но что, если Ее величество прикажет, они перестанут тотчас. Она велела сказать им, чтобы перестали» *(Екатерина, 1907, с.54)*.

Давно уже сказано, что театр - еще одно чудо света, а имена великих актеров - гордость каждой нации. Таким актером для России стал Федор Волков, которого В. Г. Белинский назвал «отцом русского театра». С этим, безусловно, можно согласиться, но пожалуй, титул «матери русского театра» все же принадлежит императрице Елизавете Петровне. Волков был наделен выдающимся дарованием, которое завораживало зрителей, приводило их в восторг, вызывало слезы. Знаток театра Якоб Штелин писал, что Волков обладал «бешеным темпераментом», был вдохновенным и величавым в трагедиях, смешным в комедиях. За свою недолгую жизнь он сыграл не меньше 60 ролей самого разного плана. Лучше всего ему удавались роли героические, возвышенные.

Это был красивый, статный мужчина. При первой встрече он казался немного угрюмым и колючим, но потом собеседник попадал под обаяние его живых глаз, видел в нем доброго и любезного человека. В отличие от актерской братии Волков не был простым исполнителем, способным виртуозно говорить чужие тексты. Он был образован, умен, являл собой личность яркую, и не только на сцене. Денис Фонвизин называл Волкова «мужем глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие знания и мог бы быть человеком государственным». По происхождению Волков был купеческим сыном из Костромы, его отец рано умер, мать вышла замуж за богатого ярославского купца Подушкина и переехала с сыном в Ярославль. Полушкин хорошо относился к пасынку и дал ему первоначальное образование. Существует легенда, согласно которой учителем Федора Волкова был немецкий пастор - духовник Бирона, жившего в ссылке в Ярославле с 1742 года. Затем мальчик попал в Москву, в известную Заиконоспасскую академию. Вернувшись в Ярославль, он вошел в дело отчима и преуспел как предприниматель - владелец заводов и купец. Однажды, в 1746 году, Волков по купеческим делам приехал в Петербург и попал на спектакль придворного театра. С тех пор театр стал его главной страстью, высокой мечтой. После смерти отчима он создал в Ярославле первую труппу и летом 1750 года в обширном амбаре поставил драму на библейский сюжет - «Эсфирь».

Волков выступил не просто главным исполнителем в спектакле, но и сверх того - режиссером, художником,

оформителем, главным театральным техником. То, что солидный купец покровительствует искусству, да и сам к нему причастен, чрезвычайно понравилось ярославцам. Спектакли Волкова пользовались огромным успехом, и вскоре на добровольные пожертвования было выстроено деревянное здание театра.

Слава о волковской труппе, в которой играли знаменитые впоследствии актеры Яков Шуйский и Иван Дмитревский, а также братья Федора - Григорий и Гаврила Волковы, дошла до столицы, и в 1752 году их пригласили представить трагедию «Хорев» в Царском Селе перед самой императрицей Елизаветой Петровной. Несмотря на успех при дворе, труппа Волкова была, по неизвестным причинам, распущена, основная часть актеров зачислена в кадеты Шляхетского корпуса, в котором до этого часто ставились спектакли. Волков быстро стал главным актером и там. Наконец, 30 августа 1756 года произошло знаменательное событие в русской культуре - указом императрицы был учрежден «Русский для представления трагедий и комедий публичный театр», который размещался в Петербурге, на Васильевском острове. Директором театра стал Александр Сумароков, а Волков, получивший звание «придворного актера», - его первым трагиком. В творческом смысле это было прекрасное содружество: Сумароков был талантлив, он писал пьесы «под Волкова», и эти пьесы имели оглушительный успех.

Волков был не просто актер, в нем жил организаторский талант, он постоянно совершенствовал спектакли, их технику и оформление. В 1759 году ему поручили организовать публичный театр в Москве, и он справился с этим делом. Волкова высоко ценили при дворе, он получил дворянство, ходил в друзьях видных сановников. Его имя вошло в историю дворцового переворота 1762 года, когда был свергнут император Петр III и на престол вступила императрица Екатерина И, наградившая Волкова, в числе других активных участников переворота, 700 душами крестьян. Известно, что Волков находился в Ропше и, возможно, участвовал в убийстве свергнутого императора. Ему же было поручено сочинение и постановка маскарада «Торжество Минервы», приуроченного к празднованию коронации Екатерины в Москве весной 1763 года. Ответственное задание императрицы Волков выполнил, но, к несчастью, сам он на маскараде простудился и 4 апреля 1763 года умер *(см. Волков)*.

Конечно, театр времен Елизаветы и Волкова был совсем другой, чем тот, к которому привыкли мы. Как и опера, он, по воле своего законодателя, французского драматурга Никола Буало, был жестко связан догмами классицизма с его обязательными пятью актами, законами единства места и

времени, высоким александрийским «штилем». Поэтому он мог бы показаться нам манерным, скучным и смешным.

Репертуар театра составляли преимущественно трагедии. На сцене нужно было показать захлестывающие человека страсти, которые ведут героев к кровавой развязке; в конце концов всегда побеждало добро. Трагедии отличались особой назидательностью. Как писал большой знаток театра Василий Тредиаковский, «трагедия делается для того - по главнейшему и первейшему своему установлению, чтобы вложить в смотрителей любовь к добродетели, а крайнюю ненависть к злости и омерзение ею… надобно отдавать преимущество добрым делам, а злодеяния, сколько б оно не имело каких успехов, всегда б на конец в попрании (было)». Комедия же должна была высмеять наиболее типичные человеческие пороки - корыстолюбие, чванливость, бюрократизм, но без всяких политических намеков *(Всеволодский-Гернгросс, с.196)*.

Сценическое искусство в то время совсем не походило на теперешнее. Игра актера была ближе всего к костюмированной декламации, подчиненной строгим канонам. С наибольшей полнотой эти каноны изложены в учебнике актерского мастерства Ф. Ланги «Рассуждение о сценической игре». В нем говорится, что поведение актера ни в коем случае не должно было походить на естественное поведение людей. Вот как нужно было двигаться по сцене: «Если актер, будучи на сцене, хочет передвинуться с одного места на другое или идти вперед, то он сделает это нелепо, если не отведет сначала назад несколько ту ногу, которая стояла впереди. Таким образом, нога, стоявшая прежде впереди, должна быть отведена назад и затем снова выдвинута вперед, но дальше, чем стояла раньше. Затем следует другая нога и ставится впереди первой, но первая нога, чтобы не отставать, снова выдвигается вперед второй» и т. д.

Актеру нужно было избегать «делать движения рукой перед глазами или очень высоко, закрывать глаза и лицо, которое всегда должно быть видно зрителю, засовывать руку некрасивым жестом за пазуху или в карман и т. д. Никогда не следует сжимать руку в кулак, кроме тех случаев, когда на сцене выводится простонародье, которое только и может пользоваться таким жестом, так как он груб и некрасив».

Разговаривать на сцене так, как говорят обычные люди, - значило бы опозорить себя как актера. Прежде чем ответить на вопрос партнера, актер старался «игрою изобразить то, что он хочет сказать», а кончив говорить, не мог «покидать тотчас свое душевное состояние». Далее Ланга поясняет, как положено актеру изображать различные чувства. Актер, выходящий на сцену,

должен, при выражении отвращения, «повернув лицо в левую сторону, протянуть руки, слегка подняв их в противоположную сторону, как бы отталкивая ненавистный предмет». При удивлении «следует обе руки поднять и приложить несколько к верхней части груди, ладонями обратив к зрителю». Например, «в сильном горе или в печали можно и даже похвально и красиво, наклонясь, совсем закрыть на некоторое время лицо, прижав к нему обе руки и локоть, и в таком положении бормотать какие-нибудь слова себе в локоть или в грудную перевязь, хотя бы публика их и не разбирала - сила горя будет понята по сему лепету, который красноречивей слов» *(Ланга, с.141 и далее)*.

Язык этого театра был так же привычен зрителям времен Елизаветы, как нам - язык нашего театра. Не странный неестественный шаг актеров, не несуразные шептания в перевязь увлекали зрителей. Их, людей XVIII века, как и во все времена, манило прежде всего волшебство театрального действия. «Вон стонут балконы и перила театров, - писал Гоголь в 1842 году о театре своего времени, - все потряслось сверху донизу, все превратилось в одно чувство, в один миг, в одного человека, и все люди встретились, как братья, в одном душевном движенье». Так это было через сто лет после Елизаветы, так будет сто лет спустя после нас: не все ли равно, как изображается горе, если весь зал замер и плачет, ибо видит, что оно подлинное!

К этому времени Шекспир уже был хорошо известен в Европе, хотя отношение к нему оставалось противоречивым. Его очевидный, признанный драматургический гений входил в противоречие с нормами тогдашнего классического театра. Вольтер - тогдашний властитель умов и законодатель эстетических норм - писал о великом английском драматурге: «Читая его, кажется, будто это сочинение есть плод воображения дикого пьяницы. Но среди этих грубых неправильностей, делающих даже и теперь английскую драматическую литературу столь нелепой и первобытной, в «Гамлете» встречаются, вследствие еще большей странности, самые возвышенные черты, достойные самых великих гениев». В том же стиле выразился и Александр Сумароков: «Шекеспир, аглинский трагик и комик, в котором и очень худова и чрезвычайно хорошева очень много» *(Шекспир, с.19-20)*.

Неудивительно, что «Гамлет» Шекспира из-за его «неправильностей» был до неузнаваемости переделан при переводе на французский язык, а потом, Сумароковым, и при подготовке его для русского зрителя. По Сумарокову финал пьесы - иллюстрация «правильного» классического спектакля: мятежный принц свергает Клавдия, женится на вполне здоровой Офелии и

становится датским королем. Но все же великий монолог

«Быть или не быть?» («Что делать мне теперь? Не знаю что зачать?» - так Сумароков перевел его начало) сохранился и, как пишут современники, весьма волновал зрителей XVIII века. Голос Волкова будил в зрителях глубокие и сильные чувства:

Но если бы в бедах здесь жизнь была вечна,
Кто б не хотел иметь сего покойна сна?
И кто бы мог снести злощастия гоненье,
Болезни, нищету и сильных нападенье,
Неправосудие бессовестных судей,
Грабеж, обиды, гнев, неверности друзей,
Влиянный яд в сердца великих льсти устами?
Когда б мы жили в век и скорбь жила б в век с нами -
Во обстоятельствах таких нам смерть нужна.
Но ах! во всех бедах еще страшна она.
Каким ты, естество, суровствам подчиненно!
Отверсть ли гроба дверь, и бедства окончати?
Или во свете сим еще претерпевати?
Когда умру, засну… Засну и буду спать;
Но что за сны сия ночь будет представлять!
Умреть… и внити в гроб - спокойствие прелестно,
Но что последует сну сладку? - Неизвестно.
Мы знаем, что сулит нам щедро божество
Надежда есть, дух бодр, но слабо естество!

При Елизавете на русской сцене начали ставить отечественные пьесы на местные сюжеты. Первым русским драматургом считался Александр Сумароков, а его пьесы на древнерусские сюжеты «Хорев» (1747 год) и «Синав и Трувор» (1750 год) были необычайно популярны. Тогда, в середине XVIII века, закладывались основы великой русской драматургии, у которой все еще было впереди - и «Недоросль», и «Горе от ума», и «Ревизор», и «Гроза», и «Чайка»! Сумароков стоял у истоков этого культурного явления.

Он не был так прост, как его порой изображают. При всей скандальности своего характера, при неумении достойно вести себя, кажущейся недалекости ума, безмерном, но вечно уязвленном честолюбии Сумароков, как каждый великий драматург, имел в себе некое особое «устройство» ума, чувства, сердца, фантазии, с помощью которого он улавливал незаметные иному «дуновения» общественного мнения и переплавлял их в явления искусства, волновавшие всех и формировавшие мир русского человека. Как справедливо писал Г. А. Гуковский,

благодаря пьесам Сумарокова усилился процесс формирования дворянского мировоззрения, представлений дворянина о своем месте в мире *(Гуковский, с.150)*. В пьесах Сумарокова звучали идеи служения отечеству, проповедовались высокие гражданские чувства. Дворянам елизаветинской поры Сумароков давал образец поведения в реальной жизни, причем подходил к той опасной черте, которую подданному самодержицы преступать было нельзя - он пытался учить царей!

Иначе нельзя истолковать значение диалога Полония и Гертруды из сумароковского «Гамлета». Кстати, этого диалога и в помине не было у Шекспира:

> Полоний:
> Кому прощать царя? Народ в его руках,
> Он - бог, не человек в подверженных странах.
> Когда кому дана порфира и корона,
> Тому вся власть, и нет ему закона.

Здесь мы видим, в сущности, сжато выраженную генеральную идею русского самодержавия, чья неограниченная воля и признается единственным законом. На эту сентенцию подруга Полония, мыслящего о своей власти, как Петр Великий, резонно отвечает:

> Гертруда:
> Не сим есть праведных наполнен ум царей:
> Царь мудрый есть пример всей области своей.
> Он правду паче всех подвластных наблюдает
> И все свои на ней уставы созидает,
> То помня завсегда, что краток смертных век,
> Что он в величестве такой же человек…

Зная политическую культуру того времени, нельзя не подивиться смелости драматурга, а прочитав нижеследующие советы властителю из «Синава и Трувора», - и отчаянному политическому нахальству пиита:

> От скверных льстивых уст ты уши отвращай
> И в утеснении невинных защищай,
> Храни незлобие, людей чти в чести твердых,
> От трона удаляй людей немилосердных
> И огради ево людьми таких сердец,
> Какие показал, имея, твой отец

(Сумароков, с.78, 163 - 164).

А как смеялись зрители над героями комедий Сумарокова - первого российского комедиографа, смеялась императрица в своей золоченой ложе, знать в партере, простолюдины на галерке - все было так узнаваемо и смешно:

Представь бездушнова подьячего в приказе,
Судью, что не поймет, что писано в указе,
Представь мне щеголя, кто тем вздымает нос,
Что целый мыслит век о красоте волос,
Который родился, как мнит он, для амуру,
Чтоб где-нибудь склонить к себе такую ж дуру.
Представь латынщика на диспуте ево,
Который не соврет без «ерго» ничево:
Представь мне гордова, раздута как лягушку,
Скупова, что готов в удавку за полушку,
Представь картежника, который снявши крест.
Кричит из-за руки, с фигурой сидя, «реет!».

Так Сумароков формулировал свое кредо драматурга - бичевателя общественных пороков. А что же Елизавета? Как она относилась к поучениям пиита? Прекрасно относилась! Елизавета слушала все это, аплодировала, хвалила и… ничего! Грозные сентенции и неприкрытые советы-рекомендации императрице, как управлять и кем себя окружать, летели мимо ее ушей. Она бы страшно удивилась, если бы ей сказали, что эти воззвания Сумарокова обращены к ней. Императрица, всегда подозрительная, когда шла речь о ее власти, была искренне убеждена, что она достойная преемница своего великого отца, Матерь своего народа, благодетельница и прекрасная властительница - и потому эти сумароковские намеки к ней не относятся.

Елизаветинское время стало временем подъема не только национального театра, но и всей русской культуры, национального самосознания. Воодушевляющая мысль о том, что благодаря реформам Петра Великого, а также бесценным дарам Просвещения Россия разорвала «путы варварства», вошла в единую дружную семью просвещенных народов, владела в равной степени и бывшим поморским крестьянином Ломоносовым, и столбовым дворянином Иваном Шуваловым, и множеством других русских людей.

Ключевую роль в истории русской культуры середины XVIII века сыграл Иван Шувалов. Он стал не только щедрым меценатом, но и идеологом Просвещения в русской редакции. Он был убежден в абсолютной ценности Просвещения для своей страны. В послании к французскому философу Гельвецию Иван Шувалов писал, что в России «мало своих искусных людей, или почти никого нет, чему не склонность и понятие людей, но худое смотрение в премудрых учреждениях виноваты». Это было главное - нужны были учреждения, несущие людям благо, свет, культуру. Идея «премудрых учреждений» подразумевала не только определенные культурные принципы и навыки, но и центры культуры и просвещения, учебные заведения. В создании их Шувалов видел свой долг просвещенного россиянина.

Преклоняясь перед творческим гением Вольтера, Шувалов не разделял уничтожающей старый порядок иронии своего французского друга, осуждал его атеизм. Смысл русского, шуваловского прочтения идей Просвещения в том, чтобы, отбросив крайности французских просветительских доктрин, под эгидой самодержавного государства, путем создания «премудрых учреждений», начать лепить, воспитывать просвещенных, сознательных, образованных и послушных верноподданных, которые должны своими знаниями, умениями приносить славу Отечеству и престолу, крепить «старый порядок» в России, делать режим самовластья более гибким, приспособленным к изменениям в мире. В этом смысле Шувалов был государственник. Просвещение понималось им прежде всего как образование, распространение культуры, знаний, как мудрая государственная политика культуртрегерства.

Важно и то, что в сознании Шувалова интернациональные идеи Просвещения, космополитизм естественно уживались с идеями патриотизма, подчеркнутой любви к России. Мысль Шувалова и его современников проста - общие идеи Просвещения объединяли страны и народы как равные, солнце знания светит всем одинаково. Россия Шувалова хотела видеть себя равной в единой семье просвещенных народов, а русских людей - такими же, как и другие народы. Шувалов с досадой писал Гельвецию о послепетровских годах: «Столь неприятный для нас промежуток времени дал повод некоторым иностранцам несправедливо думать, что отечество наше не способно производить таких людей, какими бы они должны быть», то есть просвещенных, талантливых *(Голицын И., с.272 и др.)*. Преодолеть комплекс национальной неполноценности, убедить просвещенную Европу в том, что русские способны делать все, что делают другие народы: торговать с прибылью, воевать с победой, рождать собственных

Платонов и Невтонов, верифицировать русские слова, чтобы они звенели в прекрасных рифмах, рисовать картины - такой была патриотическая цель Шувалова и его круга. А возможности для этого имелись. По мнению Шувалова и его единомышленников, требовалось только больше работать, творить во благо прекрасной России, чьи ресурсы, как известно, неограниченны, люди талантливы, а язык способен выразить самые тонкие человеческие чувства.

Просветители видели истоки будущего процветания просвещенной России и в особенностях политического строя и национального характера русского народа. Друг Шувалова М. И. Воронцов писал в 1758 году генералу Фермору, командующему русской армией в Пруссии, что у противника нужно перенимать все новое и полезное: «Нам нечего стыдиться, что мы не знали о иных полезных воинских порядках, кои у неприятеля введены; но непростительно б было, если бы их пренебрегли, узнав пользу оных в деле. Смело можно народ наш, в рассуждение его крепости и узаконенного правительством послушания, уподобить самой доброй материи, способной к принятию всякой формы, какую ей дать захотят» *(АВ, 6, с.353-354)*. Словом, нужна только просвещенная самодержавная государственная воля.

Патриотизм Шувалова и его круга нес в себе идею собственного совершенствования русского народа, он ничего не имел общего с тем патриотизмом, который строит все сравнения с другими народами на унижении их качеств, черт и свойств, на подчеркивании собственной исключительности. Раскрыть творческие способности русского народа с помощью общих культурных ценностей, разветвленной системы образования - такой была высшая цель Шувалова и его круга. И тогда все увидят, что мы не хуже других. Ученик Ломоносова и протеже Шувалова, Николай Поповский в 1755 году в своей речи, обращенной при открытии гимназии Московского университета к юношам-гимназистам, говорил: «Если будет ваша охота и прилежание, то вы скоро можете показать, что и вам от природы даны умы такие же, какими целые народы хвалятся; уверьте свет, что Россия больше за поздним начатием учения, нежели за бессилием, в число просвещенных народов войти не успела» *(Из произведений, с.92)*.

Можно утверждать также, что та культурная среда, в которой жил и которую создавал Шувалов под ласковым солнцем власти императрицы Елизаветы, была достаточно развита и относительно многочисленна. Об этом говорит история существования «Литературного хамельона» - журнала на французском языке, который в 1750-х годах стал выходить под

редакцией литератора и масона Т. Г. Чуди, протеже и секретаря Шувалова. Его тираж составлял 300 экземпляров, что по тем временам для издания на иностранном языке было много. На страницах журнала читатели знакомились с новостями культурной жизни Франции, узнавали обо всех литературных новинках и спектаклях в Париже - интеллектуальной столице мира *(см. Попова)*. Все это, в конечном счете, благоприятствовало стремительному распространению и восприятию в России идей европейского Просвещения. Почва для него была подготовлена, а подобные Шувалову русские европейцы, потенциальные сторонники и поклонники Монтескье, Вольтера и энциклопедистов, уже существовали.

Вряд ли стоило бы так много рассуждать о просвещенном любовнике императрицы Елизаветы Петровны Иване Шувалове, если бы он ограничился письмами к Гельвецию и высокопарными разговорами о нашей серости и необходимости просвещения. Таких бесплодных разговоров в России всегда велось достаточно. Шувалов же осуществил несколько таких «культурных инициатив», за которые в других странах людям ставят памятники.

Самым главным культурным подвигом Шувалова стало открытие в 1756 году в Москве первого русского университета. Идея создания университета принадлежала Ломоносову, но без Шувалова университет не был бы создан. История возникновения этого «премудрого учреждения» хорошо изучена. Между тем «классовая» позиция нескольких поколений советских историков Московского университета (особенно после 1930 года) привела к тому, что действительно значительная роль Ломоносова в этом деле была раздута до невероятных размеров, а Иван Шувалов, наоборот, изображался неким примазавшимся к поморскому гению пигмеем, ничтожеством.

Между тем это далеко не так.

Шувалов и Ломоносов не раз обсуждали идею университета. Формально при Петербургской академии наук имелся университет. Но он был ведомственный, изначально лишенный тех особенностей, которые присущи подлинному университету. Речь не идет о факультетах, предметах и т. п. Речь идет о душе университетской организации - кодексе университетских прав и вольностей. Шувалов хорошо понимал смысл этих вольностей, он последовательно стремился добиться для университета такой автономии и таких привилегий, которые бы позволяли ему жить внутренней свободной жизнью западноевропейских университетов.

При этом Шувалов не забывал, в какой стране создается

университет - дивный заграничный цветок среди бюрократических дебрей русской жизни. Поэтому в основополагающих документах университета Шувалов стремился смягчить, завуалировать радикализм университетских вольностей, чтобы в условиях России не загубить все благое начинание на корню. Именно поэтому он спорил с Ломоносовым, который, по его словам, «много упорствовал в своих мнениях и хотел удержать вполне образец Лейденского с несовместными вольностями» *(Тимковский, с.1453)*.

Чтобы не раздражать академиков и чиновников из Петербурга, Шувалов добился организации университета именно в Москве. Без его влияния, без упорного «проталкивания» необходимых для образования университета бумаг через Сенат благородная идея долго бы не стала реальностью.

Но даже не это было главным в культурном подвиге Шувалова. Он стал основателем первого в России Московского университета, первым его куратором и практическим организатором, ибо все начиналось с пустого места, точнее - с пустого здания, выделенного под университет. Не было ни профессуры, ни студентов, ни книг, ни пособий, ничего! Создание университета началось с образования университетской гимназии, в которой поспешно готовили будущих студентов. Тем временем Шувалов занимался другими сторонами организации университета - его правовым статусом, бюджетом, типографией, программой образования. Годами куратор любовно подбирал книги для библиотеки, создавая тем самым бесценный и мощный интеллектуальный фундамент русской науки и культуры *(Документы, с.35-231)*.

Лишь упомянув заслугу Шувалова в организации системы гимназического образования (при нем возникли две первые гиманазии - в Москве и в Казани), сразу перейдем к другой его блестяще осуществленной грандиозной идее - созданию в Петербурге Академии Художеств. Эта идея волновала Шувалова, любителя и ценителя искусств, издавна. Он был убежден, что отсталость страны выражается и в отсутствии в ней творческой интеллигенции. В подготовленном Шуваловым и принятом Сенатом указе о создании Академии было сказано, в частности, и об экономическом эффекте отечественного художественного образования: «Необходимо должно установить Академию Художеств, которой плоды, когда приведутся в состояние, не только будут славою здешней империи, но и великою пользою казенным и партикулярным работам, за которые иностранные посредственного звания, получая великие деньги, обогатясь, возвращаются (к себе), не оставя по сие время ни одного русского

ни в каком художестве, который бы умел что делать» *(ПСЗ, 14, №10776)*.

Просвещенный друг Шувалова Ломоносов к созданию Академии Художеств отношения не имел, поэтому с советской историографией этого учреждения обстоит все благополучно. Историки весьма высоко оценивают, как они пишут, «шуваловский период Академии Художеств», «президентство Шувалова» (1757-1763), то есть время, когда Шувалов был ее куратором, отмечают огромные усилия Ивана Ивановича по становлению работы Академии.

Особое внимание Шувалов уделял созданию регламента Академии. За основу были взяты регламенты европейских академий художеств. При этом Шувалов, проявляя мудрость, призывал своих заместителей не спешить с утверждением регламента, обобщить работу Академии за несколько лет и уж затем принять такой регламент, «который большей частию самым опытом совершенной быть может». За короткий срок он наладил преподавание в академии, пригласив из европейских стран высококлассных мастеров. У Шувалова было несомненное чутье на талантливых людей. Ни возраст, ни происхождение кандидатов при зачислении роли не играли - главное, чтобы это были талантливые люди. Выбрать из бедных, но способных молодых людей - таков был его принцип. В 1761 году он писал в Дворцовую канцелярию о том, что «находится при дворе Ее императорского величества истопник Федот Иванов сын Шубной, который своей работой в резьбе на кости и перламутре дает надежду, что со временем может быть искусным в своем художестве мастером». Поэтому Шувалов просит дворцовое ведомство отпустить Шубного в Академию Художеств и чтобы он «в содержание причислен был… где надежно, что он время не напрасно и с лутшим успехом в своем искусстве проводить может» *(Яремич, с.57)*. Так России был открыт один из ее выдающихся скульпторов - Федот Шубин. Любопытно, что свою карьеру земляк Ломоносова (оба с Куростровa из-под Холмогор) начал с крайне опасной истории. В 1758 году епископу Холмогорскому донесли, что «Федотко Шубной сказывал и похвалялся в разговоре в харчевице… что он, Федотко, с братом Яшкой вырежут князей и царствующий дом и на дереве развешут». Арестованный Федот с трудом оправдался, что был в харчевне «не в трезвой памяти», но что он имел в виду не то, что говорил доносчик, а «за благо почитал, действительно, сотворить в дар царице все родословие державы Российской… и что вырезать сие родословие вознамерился с братом Яковом в виде барельефов на кости» *(Коничев, с.23)*. По-видимому,

доказательства были представлены, и вскоре 18-летний юноша отбыл в Петербург, где жил за счет продажи сделанных им гребенок, вееров и табакерок из кости и перламутра. Так бы и остался он ремесленником, если бы не Шувалов, который определил Шубина к известнейшему и талантливому скульптору Н. Жилле, приглашенному Шуваловым же в профессора Академии Художеств. Шубин оказался среди других учеников Жилле: Ф. Гордеева, М. Козловского, Ф. Щедрина, И. Прокофьева, И. Мартоса. В 1766 году Шубин закончил Академию и как лучший выпускник получил первую золотую медаль и «аттестат со шпагою», давший ему первый офицерский чин и дворянство. Шубин поехал пенсионером во Францию, учился у Ж. Б. Пигаля, общался с Дидро, художниками Грезом, Буше, русским посланником в Париже, просвещеннейшим князем Д. А. Голицыным, стал, наконец, гордостью русского искусства *(Лазарева, с.14- 15)*. А все началось с перламутрового гребешка, который случайно попал в руки Ивану Ивановичу, большому петиметру в те времена.

Шувалов подарил Академии не только прекрасную библиотеку, но и коллекцию из 104 картин гениальных художников: Рембрандта, Ван Дейка, Тинторетто, Перуджино, Веронезе, Пуссена, Остенде и других. Впоследствии эта коллекция стала основой всемирно известного собрания Эрмитажа *(Левинсон-Лессинг, с.46-47)*. Уехав из России в 1763 году на долгие годы и живя во Франции и Италии, Шувалов не забывал о своем детище. Список книг, подаренных им в Академию Художеств, говорит о том, что Шувалов прекрасно разбирался в новинках и знал толк в научной и художественной литературе, умел подобрать для Академии самое важное и нужное *(АВ, 6, с.305)*. Он присылал в Академию не только книги, но и антики, картины, слепки с античных фигур. Но самое главное - он понял, что молодой человек при всем таланте не может стать настоящим художником, если не увидит Францию, Италию, не познакомится с их художественными шедеврами. Положение о том, что окончившие Академию с золотой медалью едут для усовершенствования на три года за казенный счет за границу, - заслуга Ивана Шувалова. Потом, уже за границей, Шувалов всячески помогал русским художникам-пенсионерам, которые не без оснований видели в нем отца-покровителя. И результаты работы Шувалова не заставили себя долго ждать.

Краткий «шуваловский» период истории Академии, благодаря уму, предусмотрительности, заботливости ее основателя, не жалевшего денег на дорогостоящих иностранных учителей, картины, скульптуры, пособия и материалы, оказался

чрезвычайно плодотворным, дал мощнейший толчок развитию искусства в России, открыл миру новые таланты. Уже в первом выпуске Академии Художеств оказались незаурядные мастера: архитектор Иван Старов, скульптор Федор Гордеев, художник Антон Лосенко и другие. Без них невозможно представить себе русское искусство XVIII - начала XIX века.

ГЛАВА 12
КЛЮЧИ ОТ БЕРЛИНА

22 февраля 1756 года английский посланник Чарлз Уильяме внезапно попросил канцлера Бестужева принять его и объявил, что получил с курьером из Лондона текст только что заключенного англо-прусского трактата. Бестужев с изумлением выслушал текст этого документа. Он сразу понял, что произошло событие, из ряда вон выходящее. В трактате так говорилось о взаимных обязательствах двух государств: «1. Не токмо друг друга не атаковать, но паче каждому и союзников своих от нападения воздерживать. 2. Проходу чрез Германию и вступлению туда всяких чужестранных войск совокупно сопротивляться. 3. Возобновляются прежние между ими трактаты и обязательства». После этого канцлер вежливо спросил посланника: «Нет ли при том (трактате) еще каких особливых секретных артикулов?» Вопрос был вполне резонен - ни один важный дипломатический акт между державами не мог обходиться без секретных статей, в которых и заключался весь смысл соглашения. Уильяме отвечал, что есть один секретный пункт: действие договора распространяется только на Германию и не касается Голландии, «а в прочем наисильнейше уверял, что никакого более сепаратного артикула нет» *(АВ, 4, с.355)*.

Опытный Бестужев не поверил англичанину. Он сразу же понял, что заключение англо-прусского трактата - это «дипломатическая бомба» огромной мощности, которая разрушит всю систему международных отношений в Европе и заставит Россию кардинально пересмотреть свои позиции. Дело в том, что соглашение уничтожало русско-английскую субсидную конвенцию о посылке русского корпуса через Германию на защиту владений английского короля в Ганновере. Ведь согласно русско-английской субсидной конвенции 19 сентября 1755 года, Россия, в обмен на 500 тысяч фунтов, выставляла в защиту Ганновера 55-тысячный корпус. Теперь эта конвенция утрачивала свою силу. Одновременно Лондонский договор Пруссии и Англии резко усиливал позицию Пруссии, которая стала получать денежную и иную поддержку из Британии.

Да и сам Бестужев оказался в весьма сложном положении. Высшие политические расчеты заставили Британию бросить своего давнего и преданного русского друга (вспомним кличку «My friend), который теперь оставался без всякого политического кредита перед лицом своих врагов и без пенсиона перед лицом

своих кредиторов.

В своем докладе императрице по поводу происшедших событий Бестужев был вынужден откровенно признать, что старая надежная система сдерживания «Ирода» - Фридриха II - с помощью русско-англо-австрийских союзов разом разрушилась: «Никто оспорить не может, что заключенный в Лондоне с королем Пруским трактат разрушает прямой вид здешней конвенции (то есть взлелеянной Бестужевым Петербургской субсидией русско-английской. - *Е.А.*), а именно атаковать короля Пруского общими силами, и что английское при сем случае поведение не похвально, а наименьше с прямой союзническою дружбою сходственно». Здесь эмоциональный канцлер почти не сдерживается и фактически обвиняет британцев в предательстве. Как бы то ни было, нужно было срочно вырабатывать какую-то новую модель внешней политики, контуры которой были неясны.

Вместе с известиями о смене политических приоритетов Англии, ранее державшейся подальше от авантюриста Фридриха, появились передаваемые многими русскими дипломатическими представителями слухи о том, что «якобы Венский двор потаенные с Франциею соглашения чинит» *(АВ, 4, с.357*). Эта «бомба» была посильнее первой. Речь шла о подрыве еще одной опоры русской внешней политики - союза с Австрией, так как отношения России и Франции были враждебны.

Кресло под бессменным канцлером закачалось. В этот момент Бестужев-Рюмин предпочел отстраниться от единоличного создания новой внешнеполитической концепции и не брать на себя ответственность за нее. Ранее такой властный и решительный, он не допускал в свою дипломатическую кухню даже тихого и безответного вице-канцлера Воронцова. Теперь же, видя крах своих построений, во время доклада государыне 3 марта 1756 года Бестужев заявил «о надобности и пользе для всевысочайшей Ее величества службы учредить некоторую особливую из доверенных персон комиссию, которая бы под единым руководством Е. и.в. поручаемое ей отправляла». Главная цель комиссии - «трудиться о составлении такого генерального статского или систематического плана, которому бы прямо следуя, все согласно служило к главному устремлению, а именно, чтоб короля Пруского до приобретения новой знатности не допустить, но паче силы его в умеренные пределы привести и одним словом неопасным уже его для здешней империи сделать». Императрица согласилась - не ей же самой решать такую головоломку. Указом государыни была создана Конференция при высочайшем дворе.

30 марта Конференция утвердила новую концепцию внешней

политики России. Она строилась на том, чтобы «весьма удобовозможными образы стараться о склонении Венского двора, чтоб он со своей стороны в одно время тож и равномерно учинил». Не упустить Австрию, не лишить себя последнего верного союзника - вот смысл нового плана. Второе, на этот раз принципиально новое направление русской политики, о котором заговорили на Конференции, состояло в попытке сближения с Францией, которую нужно было «приласкать» и «привести до того, чтоб она на сокращение сил короля Пруского спокойно смотрела и Венскому двору не препятствовала».

В Петербурге были весьма обеспокоены - англо-прусский союз с несомненностью означал, что война не за горами, что, скорее всего, столкновение с Фридрихом неизбежно. Поэтому на заседании Конференции решили «между тем и Польшу исподволь приуготовлять, чтоб она проходу здешних войск для атакования Прусии не только не препятствовала, но паче охотно на то смотрела». Эти положения были объявлены основанием всех дальнейших предприятий, которые должны были «к тому простираться, чтоб, ослабя короля Пруского, сделать его для здешней стороны нестрашным и незаботным» *(АВ, 4, с.357, 379-380)*.

* * *

Семилетняя война (1756-1763) - один из крупнейших вооруженных конфликтов XVIII века - была, по-существу, общеевропейской войной. В конечном счете, суть конфликта сводилась к ожесточенной борьбе имперских интересов за сферы влияния и господства в Европе и за ее пределами. Главной составляющей конфликта были англо-французские противоречия, возникшие задолго до 1756 года в североамериканских колониях. Начало военных действий было положено нападением в июне 1754 года отряда молодого офицера Джорджа Вашингтона на французский форт Дюкен. В борьбу за территории, прежде всего Новой Франции - Канады, кроме французских и английских колонистов и дружественных каждой из сторон индейцев, стали включаться регулярные войска, доставленные из Европы. Англо-французское соперничество обострилось и в Индии, где с 1746 года, когда французы захватили Мадрас - владение Британии, британцы организовали сопротивление и постепенно вытеснили соперника из Индии. Разгоралась и морская война в форме разрешенного пиратства - каперства, жертвами которого становились корабли государства-соперника. Особенно знаменит

каперством был английский адмирал Боскавен, чьи корабли перехватили более 300 французских судов.

Не менее острыми были англо-французские противоречия и в Европе. Только позиции сторон были иными, чем в Америке и Индии. Если там активность проявляли англичане, последовательно вытеснявшие своих соперников, то в Европе такую позицию занимали французы. «Король-солнце» Людовик XIV вел непрерывные завоевательные войны. Голландия, австрийские (ранее - испанские) Нидерланды и западная Германия стали сферой особых геополитических интересов и территориальных претензий Франции. В середине XVIII века опасения Англии относительно завоевательных намерений Франции возрастали по мере того, как ожесточались схватки с французами в Америке и Индии. В конце 1755 года французский посол покинул Лондон, а 10 января 1756 года (в России стоял еще декабрь 1755-го) был объявлен формальный разрыв мирных отношений между Францией и Англией. И вот спустя несколько дней после объявления войны последовало заключение англопрусского трактата в Лондоне.

Этот трактат был вызван серьезным страхом Англии за Ганновер. Как уже говорилось выше, Ганновер играл роль ахиллесовой пяты Британии, поскольку ее король Георг II оставался курфюрстом Ганновера. Это княжество имело довольно слабую армию и плохо обороняемые границы. «Субсидные конвенции» России и Англии не очень успокаивали Лондон - пока русский живой щит дойдет до Северной Германии, там уже будут хозяйничать прыткие французы! Но еще опаснее казалось другое. По мере колоссального усиления Пруссии, начинавшей все более уверенно хозяйничать в Германии, русский корпус мог вообще не достичь Ганновера. Более того, при усилении военных столкновений французов с англичанами Пруссия могла сама реально угрожать Ганноверу, что и произошло в 1752 году. Принципы прусского короля были хорошо известны в столицах Европы: «Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточно сил, занимайте ее немедленно. Как только вы это совершите, всегда найдется достаточно юристов, которые докажут, что вы имеете все права на занятую территорию».

Учитывая все эти и многие другие обстоятельства, английский король прибегнул к известному принципу: если с бандитом нельзя справиться, надо с ним договориться. Упрощенно говоря, в этом и состоял смысл заключенного Лондонского (или Уайтхоллского) договора Англии и Пруссии. Согласно ему, не Россия, а Пруссия становилась гарантом безопасности Ганновера. От кого? Все понимали, что от

французов. Поэтому договор в Лондоне означал разрыв Пруссии с ее союзником Францией (как помнит читатель - это происходило уже не в первый раз!) и, как следствие, вызывал серьезное беспокойство в Версале, ибо позиции Англии в Европе усиливались, и Франция, потеряв дружбу Фридриха, оказывалась в изоляции.

Перед надвигавшейся большой войной французская дипломатия не могла этого допустить. Она стала искать союзников среди своих старых врагов. Пожалуй, самым заклятым врагом Бурбонов многие столетия оставалась Австрия. Истоки многовекового конфликта Бурбонов и Габсбургов были даже глубже, чем англо-французские противоречия. Целые поколения людей в обеих странах выросли с представлениями о том, что Габсбурги (Бурбоны) - злейшие враги их отечества. Война за австрийское наследство, в которой Франция выступала на стороне любого врага Австрии, - ярчайший пример этого неискоренимого антагонизма.

Но шли годы, а в международных отношениях нет ничего вечного. К середине XVIII века, особенно после проигранных Силезских войн, Вена также уже без ненависти поглядывала на Версаль. Дерзкий прусский король сильно потрепал австрийского черного орла, былую мощь империи восстановить оказалось невозможно. Резко усилившаяся Пруссия стала реально угрожать собственно австрийским владениям, не говоря уже о германских землях империи. Словом, с конца 1740-х годов в правительственных кругах Вены стали задумываться над перспективами австрийской политики и искать таких союзников в Западной Европе, которые могли бы помочь «окоротить» Фридриха. Инициаторами австро-французского сближения стали две весьма крупные личности - канцлер Кауниц и мадам Помпадур.

Обе эти персоны необыкновенно интересны для истории. Венцлав-Антуан-Доминик де Кауниц, граф Ридберг пришел во власть из родовитого дворянства. Он получил прекрасное образование в Вене, Германии и Голландии, много путешествовал по Европе, был посланником во Франции, а потом четверть века руководил дипломатическим ведомством Австрии. Это был прирожденный дипломат, прекрасный оратор и писатель, утонченный эстет, как и многие образованные люди того времени, помешанный на всем французском. Не зная отдыха, он работал на внешнеполитическом поприще, но находил время беседовать с умными людьми, слушать музыку, читать новинки французских писателей - властителей дум просвещенного европейского общества.

Вдовец Кауниц никогда не испытывал одиночества, потому что еще крепче французской литературы любил прекрасных и веселых венских дам. Они тоже тянулись к нему - большего петиметра, пожалуй, не было во всей Вене. Он изобрел какой-то невероятно красивый «струящийся парик» и по-особому готовил его для выхода в свет. Дело в том, что тогда было модно пудрить парики. Надев парик, Кауниц входил в особую комнату, в которую камердинер предварительно горстями вбрасывал пудру. Образовывалось молочное облако подобно тому, которое обычно висит на мукомольной мельнице. В комнате уже стояли в два ряда шесть лакеев, которые веерами начинали овевать медленно прохаживающегося взад-вперед канцлера. Когда он видел, что локоны парика достаточно хорошо опылены пудрой, то выходил из комнаты, переодевался и отправлялся на прием или бал, поражая знатоков и модников необычайной элегантностью прически и нарядов.

У канцлера были свои причуды, он слыл за оригинала: белье отсылал стирать только в Париж; всегда отходил ко сну ровно в 11 часов вечера, даже если у него в доме были гости (даже коронованные); выгонял из-за стола сильно надушенных дам. Подобно императрице Елизавете Петровне Кауниц запрещал говорить при нем о смерти и болезнях. Он страшно боялся заболеть оспой и при чтении депеш избегал тех отрывков, где шла речь об этой весьма популярной в те времена болезни, уносившей куда больше людей, чем войны. Если кто-то умирал, секретарь произносил условную фразу: «Господина N. нет дома». Когда скончался начальник его канцелярии, то в ответ на вопрос канцлера об этом чиновнике секретарь сообщил, что господин начальник канцелярии «отложил перо». Когда же умер император Иосиф II, то даже эту новость канцлеру сообщили иносказательно - секретарь протянул бумагу и сказал, что «Его императорское величество бумаг более не подписывает».

Дома и в гостях Кауниц всегда ел только одно блюдо: курочку с рисом и на официальные банкеты являлся со своим поваром и водой. Вода канцлеру была нужна для того, чтобы сразу после обеда, не выходя из-за стола, полоскать рот и чистить зубы. Он доставал зеркало и щетку и, к ужасу гостей и хозяев, делал это с тщанием, громко и весьма долго - не менее четверти часа. Лишь однажды французский посол сумел поставить бесцеремонного канцлера на место: увидав после обеда приготовления Кауница, он встал из-за стола и громко сказал: «Господа! Прошу встать и покинуть стол, князь хочет остаться один». После этого Кауниц вообще перестал ходить на официальные обеды *(Валлотон, с.226)*.

Мария-Терезия мирилась со своим канцлером. Острый ум, великолепное знание международной конъюнктуры, уверенность и способность мыслить широко, оригинально и реалистично - всем этим не обладал ни один из ее сановников. Именно Кауницу было суждено стать нарушителем вековых традиций, инициатором австро-французского сближения. В 1750 году он был направлен посланником в Версаль, сблизился там с мадам Помпадур, достиг того, что ранее казалось нереальным - обмена любезностями и даже подарками между Марией-Терезией и фавориткой французского короля. Вернувшись в 1755 году в Вену и став канцлером, Кауниц продолжил линию на австро-французское сближение. Медленными шагами, с оглядкой и осторожностью, уже бывшие враги, но еще не друзья, Австрия и Франция двигались навстречу друг другу. Заключение Лондонского договора Англии и Пруссии резко подтолкнуло стороны ко взаимным объятиям.

Особенно важную роль в этом сближении сыграла мадам Помпадур. Мнение, распространенное в литературе об этой женщине, - результат недоразумений и незнания ее подлинной жизни. Со времен Салтыкова-Щедрина Помпадур превратилась в нарицательный образ явно негативного свойства, символ самодурства. Даже в Большом энциклопедическом словаре 1997 года издания о ней сказано только, что она была фавориткой Людовика XV и что «оказывала влияние на гос. дела». Это выглядит так, как если бы о Григории Потемкине написали лишь: был любовником императрицы Екатерины II, известен «потемкинскими деревнями» и «оказывал влияние на гос. дела», забыв при этом о несомненных заслугах светлейшего в военном деле, строительстве Черноморского флота, многочисленных городов и всей грандиозной деятельности в Новороссии.

Между тем судьба этой худенькой женщины необыкновенна. Скажем для начала о существовании при французском дворе, по сути дела, официального титула «фаворитки короля». Женщина, обладавшая этим титулом, сразу же занимала высокое место при дворе и оказывала влияние на политику Франции по должности, ибо она пользовалась особым доверием короля. При этом она уже могла и не быть его любовницей (хотя с постели все, как правило, и начиналось). В других странах институт фаворитов и фавориток существовал так же, как реальный, но формально не конституированный институт власти. Во Франции же он приобрел черты формального придворного чина. При дворе проводилась даже процедура представления «фаворитки короля», и ее, в присутствии всех придворных, знакомили с королевой и дофином.

Жанна-Антуанетта Пуассон - так звали с детства Помпадур - поднялась к титулу «фаворитки короля» почти с самого низа тогдашнего общества. Ее дед - из крестьян, мать была замужем за человеком, который занимал малопочтенную должность поставщика армии, разумеется, проворовался и бежал от тюрьмы за границу. После этого мадам Пуассон перешла на содержание к более удачливому и богатому коллеге беглого мужа.

С ранних лет девочка попала в хорошие руки учителей и воспитателей. Она получила прекрасное образование, которое позволяло Помпадур не просто сносно вести беседу в салоне, но и блистать там точными знаниями и тонким юмором. Эту «шлифовку» она продолжала всю свою довольно короткую жизнь - Помпадур умерла в 1764 году всего лишь 43 лет от роду. В ее библиотеке было огромное количество книг, она всегда интересовалась книжными новинками и много читала. Заметим, что творцы этих увлекательных новинок, вроде Вольтера, считали для себя за честь предстать перед элегантной и сведущей читательницей. Не будем говорить о корысти этой дружбы, ведь писатели посещали ее салон задолго до того, как эта женщина стала любовницей короля. Когда же Жанна стала фавориткой Людовика XV, в Версале появился удивительный очаг культуры, туда стали приезжать необыкновенные люди - писатели, философы, художники. Благодаря Помпадур трудноперенесимый в обществе Вольтер был всегда неплохо устроен на какой-нибудь синекуре и никогда не бедствовал. Помпадур оказалась щедрой меценаткой, ее без ума любили деятели искусства и литературы. И все это было необыкновенно для Версаля. Как известно, Людовик XV был весьма далек от интеллектуальной жизни, презирал философов, хотя не держал в руках ни одной из их книг. Его мир был бесконечно далек от мира Вольтера и энциклопедистов. Как писал один из биографов Людовика, казалось, что «кипение идей в Париже будто происходило на другой планете», а не в стране, которой управлял Людовик *(Гун, с.78)*. Помпадур, к удивлению всех, сумела примирить две эти вселенные.

Кроме образованности, красоты, природной грации и изящества юная девушка еще с детских лет отличалась огромным честолюбием. В семье ее звали «Ренетт» - «Королевна». Можно много смеяться над разными пророчествами, но в девять лет гадалка предрекла девочке, что она будет властвовать. Одни воспринимают подобное пророчество как шутку, другие же видят в этом приоткрытый на долю секунды занавес будущего и смело устремляются претворять предсказание в жизнь. Так и произошло с Жанной Пуассон, вернее мадам д'Этиоль, ибо к этому времени

девушка была выдана замуж за Шарля д'Этиоля, дворянина, человека богатого и доброго. Семья, в которой вскоре родилась дочь, летом жила в родовом замке, расположенном возле Версаля и как раз в тех местах, где часто охотился король. Мадам же д'Этиоль больше всего на свете полюбила бывать на природе и прогуливаться в нарядной коляске или пешком. Одним словом, Жанна выследила короля на охоте, и тот ее заметил и запомнил.

Это было сделать нетрудно даже не потому, что король не пропускал ни одной юбки и к концу жизни, боясь сифилиса, перешел на девственниц, а потому, что в начале 1740-х годов мадам д'Этиоль была на редкость привлекательной женщиной. С удивительной гармонией она сочетала телесные прелести и совершенство души и ума. Прекрасные глаза, волнистые волосы, тонкий стан, нежный цвет лица, соблазнительные ямочки на розовых ланитах, живость, огонь, непошлое кокетство, французский шарм, особая дорогая простота и изящество в одежде и нарядах - все это было великолепной внешней оболочкой развитого интеллекта, подлинного изящества ума, доброты и остроумия. Как писал ее современник, «она была высока, в глазах светился огонь, ум и блеск, которого я никогда не видал у других женщин» *(Гун, с.152)*. Кроме того, она оказалась еще прекрасной певицей, обожала театр и на любительской сцене играла вполне профессионально заглавные роли.

Блестящие данные мадам д'Этиоль помогли ей завлечь короля в свои тенета. «Случайные» встречи с королем на дорожках парка, на балах и маскарадах вскоре превратились в неслучайные, а после свиданий влюбленный король, как обыкновенный кавалер, провожал мадам д'Этиоль домой. Потом был «отчаянный» побег Антуанетты от ревнивого «мужа-тирана», слезы, дрожащий голосок, который просил о помощи и… безмерная доброта короля. Будем помнить, что в те времена супружеская верность была явлением уникальным. Любить своего супруга считалось признаком пошлости и мещанства. От женщины, в юности выданной замуж родителями по расчету, требовалось немногое - родить детей, чтобы продолжить род. После этого она получала почти неограниченную свободу, могла заводить любовников, естественно, соблюдая формальные приличия и не позволяя себе глумиться над принципами веры. Как о необыкновенном чуде рассказывали о жене влиятельного герцога Шуазеля, которая так любила мужа, что оказалась чуть ли не единственной женщиной Версаля с незапятнанной репутацией. Впрочем, вряд ли наша героиня смогла бы поселиться в Версале, если бы на ее счастье в это время довольно неожиданно не

умерла прежняя фаворитка короля герцогиня Шатору - особа злобная и ревнивая.

Как бы то ни было, после безуспешных попыток вернуть жену муж дал Антуанетте развод, сам отправился на сытную должность в Авиньон, а его бывшая супруга переселилась в Версаль. Ее уже обуяло желание властвовать над королем и королевством. Представление ее как фаворитки короля прошло 15 сентября 1745 года, королева Мария приняла новобранку с непроницаемым лицом. Та вела себя скромно, почтительно заверила королеву в своем глубоком уважении. Фаворитка показалась всем присутствующим особой безобидной, доброй, хорошо воспитанной и деликатной. Королева примирилась с неизбежным и осталась довольной. Впоследствии Помпадур так очаровала королеву Марию, что была включена в 1756 году в число придворных дам королевы - случай редкий.

Сам же король был без ума от своей любовницы и не покидал ее покоев. Чтобы покончить с прошлым Антуанетты, он подарил ей выморочный титул маркизы де Помпадур, с которым она и вошла в мировую историю. Отец же ее получил дворянство, что далось легко - для Помпадур ничего невозможного уже не было.

Довольно скоро она поняла, почему так тяжела жизнь фавориток короля Людовика XV. Этот красавец и добряк был непостоянен, и от фавориток требовались огромные усилия, чтобы удерживать его внимание, непрестанно развлекать его. По своей природе король был слаб, подвержен чужому влиянию, он пустил на самотек все дела, его занимали только удовольствия, и он не терпел неисполнения своего каприза. Борьба за короля изматывала Помпадур. Все ее таланты уходили на то, чтобы казаться королю каждый раз новой, интересной и загадочной. С годами здоровье ее ослабло, ее мучили головные боли, хроническое переутомление, но усилием воли она преодолевала слабость и вновь выходила на версальскую сцену, чтобы нравиться королю. И так продолжалось двадцать лет. Хотя в начале 1750-х годов Помпадур совсем перестала интересовать короля как женщина, власть ее над ним была по-прежнему велика. Она оставалась для короля совершенно незаменимой, и он смотрел на мир глазами Помпадур. Ее влияние на государственные дела было огромно и разнообразно. Дипломатический представитель Федор Бехтеев в депеше из Парижа в 1757 году писал вице-канцлеру Воронцову: «Вся сила состоит в маркизе Помпадур по чрезмерной милости и доверенности к ней королевской. То бесспорно, что она имеет весьма проницательный и прехитрый разум. Она все меры приняла и неусыпно старается о сохранении своего кредита, для

того в министерстве посадила таких людей, которые не токмо б ей преданы, но и знанием и умом своим ненравны были… Ее политика в том устремляется, чтоб не было первого министра или такого между статскими секретарями, который бы силу оного имел» *(АВ, 3, с.276)*.

Действительно, в умении держать власть в своих руках, расставлять на ключевые места в управлении своих людей состояла сила Помпадур как государственного деятеля. Вообще, она всегда поддерживала выдвинутых ею людей, кем бы они ни были. Несмотря на утомительную придворную жизнь, она выполняла обязанности неофициального, но могущественного премьер-министра. Известно, что в разных странах у нее была собственная дипломатическая служба, которая действовала параллельно Министерству иностранных дел и поставляла ей тайную информацию по внешней политике. От ее власти зависела политика Франции, вся деятельность государственного аппарата. Федор Бехтеев в 1757 году с беспокойством писал Воронцову: «Госпожа Помпадурша уже больше четырех вторников как нас, чужестранных министров, до себя не допущает, что не знаю чему приписывать должно» *(АВ, 3, с.260)*.

Именно Помпадур стала с французской стороны инициатором австро-французского союза. Для этого она сместила ведавшего иностранными делами государственного секретаря маркиза де Пюизье и поставила на это ключевое место своего протеже, который придерживался той точки зрения, что с Австрией нужно помириться. Аббат Берни, полностью зависимый от Помпадур, начал вести тайные переговоры с австрийским посланником графом Штаренбергом. За ходом этих переговоров Помпадур внимательно следила и координировала усилия дипломатов. Король разделял ее взляды на проблему. Из всех государственных дел его, как и Елизавету Петровну, внешнеполитические дела волновали более других сфер управления *(Ван-даль, с.202-203)*.

Неизвестно, сколь долго тянулись бы переговоры, если бы не пришли сенсационные известия из Лондона о заключении англо-прусской конвенции. Эта новость шокировала Версаль так же сильно, как Петербург и Вену. В австрийской столице восприняли происшедшее как непосредственную угрозу своей безопасности со стороны Фридриха. Кауниц стал торопить французов с заключением оборонительного трактата. 1 мая 1756 года был подписан Версальский договор о взаимной обороне. После Лондонского трактата это было уже второе событие, разрушившее старую систему международных отношений. Впоследствии историки назовут эти события «дипломатической революцией

1756 года».

Австрийцы, по-видимому, так перепугались, что стали сосредоточивать войска в Богемии и Моравии. И не зря - 18 августа 1756 года прусские войска без объявления войны вторглись в Саксонию, пленили саксонскую армию и опять, как во время Второй Силезской войны, выгнали польского короля Августа III из его наследственных владений в Польшу. В сентябре Фридрих нарушил австро-прусскую границу в Богемии, и 1 октября его войска под Лобозицем разбили армию австрийского фельдмаршала Броуна. Дрезден и Вена обратились за помощью к России. 1 сентября 1756 года Россия объявила войну Пруссии, а 31 декабря 1756 года примкнула к Версальскому договору. Ось Версаль - Вена - Петербург стала политической и военной реальностью.

* * *

Это событие 31 декабря 1756 года было по тем временам не меньшей сенсацией, чем договор Австрии с Францией в Версале. Дело в том, что после высылки Шетарди русско-французские отношения оказались замороженными. Русский поверенный в делах покинул Париж в конце 1748 года, и с тех пор во Франции не было русских дипломатов. Франция последовательно придерживалась антирусской позиции, хлопотала о сот здании пресловутого «Восточного барьера» из Турции, Польши и Швеции, что очень не нравилось в Петербурге. Особенно сильны были позиции французов в Стамбуле и Стокгольме, а непрерывная борьба дипломатий России и Франции в Польше проходила с переменным успехом. Иначе говоря, предпосылок для русско-французского сближения не существовало. Забегая вперед, отмечу, что когда это сближение все-таки произошло, то русские дипломаты обиделись на своих французских коллег в Варшаве, Стамбуле и Стокгольме за то, что те продолжали вести себя так, будто Россия оставалась не их союзницей, но врагом. Из Парижа успокаивали Петербург тем, что нельзя же сразу развернуть огромную машину, которая десятилетия работала против России, нужно поменять людей, а этого разом не сделаешь.

Реакция французских дипломатов на перемену декораций вполне понятна - русско-французское сближение готовилось втайне от них, и подготовка проходила по неофициальным каналам. Более того, первые франко-русские контакты скрывали даже от Бестужева-Рюмина, чья антифранцузская позиция была столь яростной, что он не разрешал приезжать в Петербург ни

одному французу. Поэтому восстановление отношений происходило посредством личной переписки короля Людовика XV и императрицы Елизаветы Петровны. Помогали налаживать отношения люди, далекие от дипломатии. Так, связь Воронцова с Францией поддерживал некто Мишель - владелец модного галантерейного магазина в Петербурге, полуфранцуз, кредитор вице-канцлера. Он часто ездил во Францию за товаром и заодно выполнял функции тайного дипломатического курьера. Были и другие посредники *(Черкасов, с.86-87)*. Летом 1755 года в Петербург направили шевалье Маккензи Дугласа. Выбор для этой цели не француза, а англичанина был сделан умышленно - он меньше вызывал подозрений у людей канцлера. В инструкции от Дугласа требовалось «устанавливать полезные знакомства, необходимые для получения желаемой информации». Информация же была явно шпионского свойства, начиная от выяснения состояния флота и кончая проблемой Ивана Антоновича и настроений простого народа. Дуглас должен был дать ответ и на главный вопрос - можно ли восстановить с Россией дипломатические отношения?

Миссию Дугласа окружала особая тайна, соблюдались законы чрезвычайной конспирации. Тут были и табакерки с двойным дном, и условный язык, которым он должен был писать письма, сообщая о своих успехах как о покупке русских мехов. «Соболем» в переписке обозначался Бестужев, «рысью» Мария-Терезия. Дугласу предстояло, минуя Бестужева, добраться до Воронцова (о разногласиях Бестужева с его заместителем в Версале знали) и сообщить ему, что король Франции предлагает русской императрице тайную и прямую переписку, минуя дипломатические каналы. Упомянутый выше Мишель устроил Дугласу тайную встречу с вице-канцлером. И хотя тайный посланник не предъявил письменных полномочий, Воронцов поверил ему и сообщил о предложении короля Елизавете Петровне. Затем Дуглас вернулся в Париж, по дороге его догнало письмо Мишеля и самого Воронцова о том, что русская сторона готова продолжить тайные контакты с Францией.

В феврале 1756 года Дуглас был снова послан в Петербург для того, чтобы расширить тот дипломатический прорыв, который ему удалось совершить в 1755 году. Начались тайные переговоры с Воронцовым, который проникался все большим доверием к Дугласу. Наконец, 7 мая 1756 года Дуглас был приглашен к вице-канцлеру, и тот вручил ему официальный ответ от имени императрицы о ее благосклонном отношении к намерениям Людовика XV восстановить нормальные отношения с Россией.

О тайной миссии Дугласа не знали ни в Вене, ни в Берлине (как мы видим, несмотря на прусские пенсионы, Михаил Воронцов, когда нужно, умел держать язык за зубами). Не знал об этом даже сам Бестужев. А шпионы его имелись повсюду - на границе, в портах, в учреждениях, при дворе. Вся эта операция показала, насколько эффективна французская тайная дипломатия, называвшаяся «Le secret du Roi» - «Секрет короля». С тайной операцией в России связана известная легенда о шевалье д'Эоне. Согласно легенде, в свой первый приезд в Россию Дуглас привез с собой племянницу Лию де Бомон и, возвращаясь в Париж, оставил девушку на попечение друзей. Воронцов представил юное создание ко двору. Императрице, падкой до всего французского, девица понравилась. Вскоре она стала фрейлиной и жила в одной комнате с юной же графиней Екатериной Воронцовой (в замужестве - знаменитой княгиней Дашковой). И вдруг наступил ужасный момент - Лия заявила своей подруге Катеньке, а потом и императрице, что она вовсе не девица, а мужчина, сподвижник Дугласа, и что вся операция с переодеваниями нужна была только для того, чтобы проникнуть во дворец и сообщить государыне о страстном намерении Людовика XV восстановить отношения с Россией. Елизавета была в восторге от проделки ловкого француза и послала его в Париж с известием о том, что раскрывает свои объятия христианнейшему из королей.

Все это - выдумка, за исключением того, что во второй приезд в Россию в 1756 году Дугласа сопровождал секретарь шевалье д'Эон. Личность этого элегантного, субтильного господина, прекрасного юриста, писателя, отважного дуэлянта и воина не лишена некоторой экзотичности. Он действительно любил переодеваться в женское платье, и его безбородое, румяное лицо, тонкий голос, грация и вкус делали его неотразимой «женщиной». Известно, что много лет спустя после возвращения из России он и умер в женском платье. Проведенная властями экспертиза показала, что шевалье был мужчиной. По-видимому, с этой страстью к переодеванию и перевоплощению и связана легенда о прекрасной Лии де Бомон.

Как всегда бывает, жизнь прозаичнее легенд - восстановление русско-французских отношений шло весьма тяжело. В надвигающейся войне обе стороны хотели добиться минимума - невмешательства партнера по переговорам в возможный конфликт на стороне противника. О взаимной любви и дружбе никто и не мечтал. Для контактов с французами в Париж был послан русский представитель, надворный советник Федор Бехтеев, доверенное лицо Воронцова. О подлинной цели миссии

Бехтеева Бестужев также не знал - Бехтеев присылал ему малозначительные депеши, основную же и секретнейшую переписку он вел непосредственно с Воронцовым, а тот докладывал самой Елизавете. Она очень интересовалась депешами Бехтеева по двум причинам - и как государыня, и как кокетка. Не забудем, что Ф. Д. Бехтеев - тот самый дипломат, который упомянут выше как покупатель модных корсетов и чулок для государыни. К переговорам с французами в Петербурге довольно скоро подключился фаворит императрицы Иван Шувалов, который и стал главой «французской партии» при русском дворе. Бестужев досадовал, но сделать ничего не мог - могущественный и бескорыстный Шувалов был ему явно не по зубам.

Вообще, русско-французские отношения до середины XVIII века имели плохую предысторию. После посольства в 1680-х годах князя Якова Долгорукого, прославившегося непрерывными скандалами, Людовик XIV слышать не хотел о русских. Отношения восстановились спустя десятилетия, когда царь Петр в 1717 году посетил Париж и носил на руках короля-мальчика Людовика XV. Потом была борьба вокруг «Восточного барьера», потом начался скандал с высылкой Шетарди, следом опять наступил провал в отношениях и вот, наконец, Бехтеев появился в Париже. После долгого перерыва русские дипломаты знакомились с французами. Бехтеев писал Воронцову: «Я приметил, милостивый государь, что здешний двор и генерально французский народ готов все учтивости оказывать и уступать во всем, что никакого следствия иметь или примером впредь служить не может, но, как ни кажется ветрен французский народ, со всем тем, сколь скоро касается до сохранения или приобретения какого преимущества, то нет народа постояннее и твердее в том, как французской. Все персональные учтивости оказывать готов, но по характеру не более, как введенной обычай велит» *(АВ, 3, с.196)*.

В отечественной историографии, особенно последних пяти десятков лет, Семилетняя война 1756-1763 годов представляется как борьба России против прусского милитаризма, против той опасности, которую нес народам Европы завоеватель Фридрих II. Идеи эти в той или иной степени находили подтверждение в докладах канцлера Бестужева-Рюмина, делавшего все, чтобы представить политику Пруссии весьма опасной для России и русских интересов. И это было правдой, но не всей. Нужно говорить не просто о русских, а тем более - национальных интересах, а именно об имперских интересах России, о далеко идущих планах экспансии и распространения влияния Петербурга

на другие страны. В этом смысле Россия вела себя совершенно так же, как и другие империи - захватчики. Многие факты позволяют утверждать, что весной 1756 года в русских политических верхах вырабатывалась не просто программа помощи Австрии, подвергшейся агрессии «мироломного» прусского короля, но принципы наступательной, экспансионистской политики открытого вмешательства в германские дела. Эта политика ставила целью расширение влияния России в Германии и территориальные приобретения, которые и осуществились через полтора года в виде аннексии Восточной Пруссии.

Надо сказать, что пристальное внимание русских верхов к будущей наступательной войне относится уже к июлю 1755 года, когда Коллегия иностранных дел направила в Военную коллегию промеморию, дабы узнать, «сколько ныне регулярных и нерегулярных войск обретается» в Прибалтике и можно ли рассчитывать на то, чтобы собрать и отправить в поход корпус в 50-60 тысяч человек. Военное ведомство бодро отвечало, что у России армия велика - 287 809 человек регулярных войск и 35 623 иррегулярных, кроме казаков и калмыков *(АВ, 4, с.657- 658)*. Как показали последующие события, такие многочисленные войска существовали преимущественно на бумаге. В апреле 1756 года поступило распоряжение разворачивать армию для нападения на Пруссию. Около Риги, в Курляндии и по Западной Двине сосредоточили пехотные полки общей численностью 73 тысячи человек. Кавалерийские полки срочно доукомплектовывались и перебрасывались с Украины на Двину и в район Пскова. Донским казакам, калмыкам, казанским татарам и башкирам велено было срочно двигаться на запад и расположиться на линии западной границы от Чернигова до Смоленска. Общая численность регулярной армии составляла 92 тысячи, а с нерегулярными - 111 тысяч человек. С теми частями войск, которые предполагалось посадить на галеры для атаки и взятия крепости Мемель, а также оставить в резерве, русская армия «для атакования короля Прусского» составила 130 тысяч без 44 человек *(АВ, 4, с.397-399, 405)*.

Из переписки русских и австрийских дипломатов видно, что Россия рвалась в бой уже в начале 1756 года, и австрийцам, ведшим переговоры о наступательном союзе с Францией, приходилось даже сдерживать императрицу Елизавету от немедленного нападения на Фридриха. Все это представляется естественным для имперской политики того времени. Восточная Пруссия была для Петербурга лакомым куском. Клеймя и осуждая Фридриха за захват Силезии, Россия почти сразу же после

оккупации Восточной Пруссии в 1757 году включила ее в состав империи, хотя никакого отношения к этим землям Россия не имела. Когда позже наступила очередь Речи Посполитой, то Россия Екатерины II вошла в сговор с «Иродом» и совершила расчленение Польского государства в 1772 году, а потом повторила это дважды в конце XVIII века. В сговоре с Россией и Пруссией по разделу Польши и уничтожению польской государственности находилась и Австрия. И можно понять жестокую шутку Фридриха II, когда он сказал после раздела Польши: «Ну, ладно. Нам с Екатериной, как разбойникам, не привыкать грешить, но что же скажет своему исповеднику столь благочестивая королева Венгерская?»

Но была и еще одна причина Семилетней войны, которая проистекала из личных отношений политических деятелей. Когда состоялся союз России, Австрии и Франции, то Фридрих II пошутил, что ему теперь придется воевать против трех нижних юбок, имея в виду Елизавету, Помпадур и Марию-Терезию. И это была одна из самых пристойных шуток, которые язвительный король отпускал по поводу союза трех европейских красавиц. Шутки Фридриха были всегда остроумны, часто непристойны и непременно достигали ушей царственных и высокопоставленных особ, о которых он так резко высказывался. Опытный политик, Фридрих, однако, никогда не знал меры в своем остроумии и был из тех, кто ради красного словца не пожалеет и родного отца. Его остроты вызывали усмешку всей просвещенной Европы. Ярость государственных деятелей, припечатанных острым словцом короля, была огромна и бессильна.

Остроты приходили Фридриху на ум обычно за столом во время официального обеда, на балу, в театре, и он, не задумываясь ни на секунду, их высказывал. Когда в театре застопорился занавес и виднелись только ноги балерин и танцовщиков, он громко, так, чтобы слышал французский посланник, сказал: «Ну, ни дать ни взять французское правительство: сплошные ноги и ни одной головы!» И это в то время, когда он был особенно заинтересован в дружбе с французским правительством! *(Вилл, с.271.)*.

Предметом непристойных шуток Фридриха многие годы служила Мария-Терезия. Он зло высмеивал ее и потешался над образцовой семейной жизнью плодовитой королевы Венгерской, подвергал сомнениям верность ее возлюбленного мужа, императора Франца I. Отпускал Фридрих II шутки и о самой Марии-Терезии, считая ее ханжой и лицемеркой, которая делает культ из приличий и сексуальных запретов. Все это, как писал биограф Фридриха, поддерживало Марию-Терезию «в состоянии

белого каления» *(Вилл, с. 170)*.

Эти шутки над венской государыней-«бюргершей», не знавшей других мужчин, кроме своего бесцветного Франца, были бы понятны, если бы при этом король не издевался над женщинами совершенно другого склада - мадам Помпадур и Елизаветой Петровной. Их он называл шлюхами и грязно шутил о низком происхождении и постыдной безнравственности обеих. Это приводило только к одному - обе женщины были в том же состоянии, что и Мария-Терезия. Согласно легенде, в 1760 году австрийский посол в Петербурге в беседе с императрицей Елизаветой Петровной выразил сомнение относительно верности России союзному антипрусскому договору - слишком уж затянулась война, слишком большие расходы обременяли бюджет. В ответ императрица совершенно серьезно заявила, что готова продать половину своих бриллиантов, лишь бы добить Фридриха II. Если Елизавета действительно сказала подобное, то велика же была ненависть, которую императрица питала к прусскому королю - ведь жертва, на которую она готова была пойти ради победы, просто невероятна для щеголихи, годами собиравшей роскошную коллекцию «камешков».

Некоторые историки считают, что причины такого эпатирующего поведения короля - в его нетрадиционной сексуальной ориентации. Так думали многие уже при его жизни. Другие видят в иррациональном отвращении Фридриха ко всем женщинам последствия мучивших его комплексов, тяжелого детства, о котором рассказано выше. Действительно, женщин Фридрих не любил. Но он не был одинок в своем суждении о прекрасной половине человечества как о низших существах, неспособных не только к управлению государством, но и вообще ко всякой сознательной деятельности. Так было принято в XVIII веке, да и в иные времена. В одном из своих проектов 1730 года о создании совета при императрице Анне Ивановне В. Н. Татищев писал, что совет необходим, так как государыня «как есть персона женская, к таким многим трудам неудобна» *(Корсаков, с.155)*. И в этом усматривали не оскорбление государыни, а констатацию факта. Только самым выдающимся женщинам удавалось переломить подобное отношение, да и то только к себе лично. Наконец, важно заметить, что кроме культа галантности петиметров, дежурного волокитства за женщинами в тогдашнем обществе была распространена и другая модель поведения. Ее придерживались многие выдающиеся люди, вроде А. В. Суворова. Речь идет о демонстративном презрении к женщинам, ухаживать за которыми, любить которых - удел не воина, не работника, а бездельника и бесполезного для общества щеголя. Так считал и

Фридрих.

Фридриху не повезло в браке, и, возможно, это действительно изменило его сексуальную ориентацию (что видно из многих фактов) и деформировало его отношение к женщинам. Принцесса Елизавета-Христина Брауншвейгская стала женой кронпринца Фридриха по выбору его деспотичного отца, о нравах которого уже знает читатель из предыдущего повествования. Невеста не понравилась Фридриху, но принц подчинился воле отца, сказав лишь: «Вот и еще одной несчастной принцессой будет больше!» Елизавета-Христина не смогла хотя бы на время привязать молодого мужа к себе, как это сделала Мария Лещинская, ставшая супругой Людовика XV. У Фридриха и его жены не нашлось ничего общего. Она была домовита, добра, покорна, но чрезвычайно глупа, малообразованна, мелочна. Хуже того, королева оказалась бесплодной. Фридрих отчаянно скучал с ней. В конечном счете, такая жена не защитила достоинств прекрасной половины человечества в глазах своего юного мужа, и тот как-то мрачно пошутил: «У Соломона был сераль из тысячи жен, и ему все равно было мало. У меня же - только одна жена, но для меня и это слишком много!» *(Гуч, с.119)*.

Как только Фридрих вступил на престол, он оставил жену, и та прожила всю жизнь в одиночестве, посылая супругу трогательные письма о своей преданности и любви, в искренности и полной бесполезности которых нет нужды сомневаться. Но король навсегда сохранил равнодушие к ней, как и ко всем другим женщинам. Общество интеллектуалов, философские беседы, концерты были для него во сто крат ценней женского общества, хотя порой он отдавал должное талантам и обаянию какой-нибудь заезжей итальянской актрисы. Все же остальное время короля занимала тяжкая война с «тремя юбками», которая выматывала из него все душевные и физические силы. Поначалу, проведя две скоротечные и победоносные Силезские войны, он даже не предполагал, что новая война окажется для него такой тяжелой. Забегая вперед, скажем, что когда эта война наконец завершилась, люди не узнали своего короля. К нему, полному сил и дерзости инициатору общеевропейского конфликта в 1756 году, в конце войны пришла преждевременная старость. Фридрих навсегда утратил все свое обаяние остряка и умницы, от его жизнелюбия не осталось и следа. Король - душа компании, стал теперь скучен. Время блестящих споров интеллектуалов за его столом закончилось, гости дремали под монотонный шум его скучных и высокопарных монологов. Как пишет биограф короля, после заключения мира в 1763 году король правил еще 23 года, но «жизнь его не

представляет интереса, будто темное облако опустилось на него» *(Вилл, с.225)*.

Когда же осенью 1756 года Фридрих получил известие о вступлении России в войну, он не очень заволновался. Во-первых, он считал, что русские, французы, австрийцы, как и другие его враги, никогда не договорятся между собой и антипрусская коалиция неизбежно распадется. Во-вторых, король верил в свой полководческий гений, он знал сокрушающую мощь своих войск и надеялся, что хорошо подготовленная армия фельдмаршала Левольда, прикрывавшая Восточную Пруссию, непременно побьет русских, как только они сунутся на землю анклава.

* * *

Как это часто бывало в нашей истории, власть объявила войну, а армия к ней не подготовилась. Кое-как могли начать поход размещенные в Лифляндии, Псковской и Новгородской губерниях полки, которые и раньше, согласно англо-русским конвенциям, готовились для «субсидных» походов на Рейн. Эти войска насчитывали максимум 40-50 тысяч человек. Остальные же полки стояли по всей России, и их военная подготовка была плохой. Лишь летом 1755 года, на пороге войны, Военная коллегия установила, что некомплект в полевой армии составлял не менее одной десятой части солдат. Рекрутский набор 1755 года решить проблему также не мог - в полки поступали необученные и не приспособленные к тяжелым походам новобранцы.

Плачевным оказалось и положение кавалерии. Главной бедой ее в течение всего XVIII века было отсутствие в России хороших конных заводов. Власти ограничивались тем, что пригоняли из Поволжья табуны степных лошадей, которые удивляли всех в Германии своей мелкопородностью. Немецкий мемуарист писал о русских войсках в Германии: «В телегах у них лошади до того мелкие, что их принимают за собак» *(Царевич Алексей, с.432)*. Эти слова в устах немца не должны казаться особенно обидным преувеличением (точнее, преуменьшением). Возможно, вид русских упряжных лошадей напомнил немецкому наблюдателю привычную картину на улицах северогерманских и голландских городов, когда маленькие тележки для перевозки овощей, воды и мелких грузов тащили одна-две мощные дворовые собаки.

Особенно нуждалась в породистых статных конях тяжелая кавалерия - кирасиры. Плохо обстояло дело и с боевой выучкой кавалеристов. Занятые заготовкой сена и выпасом лошадей,

драгуны подолгу не садились на коней, мало занимались вольтижировкой в манеже, не отрабатывали приемы ведения индивидуального и коллективного кавалерийского боя. Поэтому самой боеспособной и подготовленной частью русской кавалерии оказывались казаки - настоящие удальцы и смельчаки. Под стать им были калмыки, башкиры и татары, которые не нуждались ни в чем - лишь бы не мешали грабить окрестных жителей.

Но и казаки, и башкиры, как великолепная легкая конница, не привыкшая действовать в строю, хороши были лишь для диверсий, налетов, охранения бивуаков, разведки. Кстати, потом, во время войны, немцев потрясало зрелище переплывающих Шпрею или Одер неоседланных татарских лошадей, за гривы которых держались абсолютно голые ездоки с одними лишь луками за спиной и кривыми саблями; казалось, что возвращаются времена Атиллы и гуннов. Но при этом казаки не выдерживали натиска тяжелой кавалерии пруссаков. Не случайно в Гросс-Егерсдорфском сражении 1757 года русская кавалерия была сразу же опрокинута кавалерией генерала Финкенштейна, и лишь мужество пехотинцев спасло положение.

Пехота была подготовлена лучше. При Елизавете уделяли особое внимание гренадерам. В гренадеры брали самых подготовленных и физически крепких солдат, их выделяли из рот и сводили в отдельные привилегированные подразделения. В 1753 году в каждом батальоне была одна гренадерская и четыре обычные мушкетерские роты. Чуть позже были сформированы отдельные гренадерские полки - ударная сила русской пехоты. Наблюдатели отмечали, что в гренадеры брали людей только сильных и высоких. В боях Семилетней войны гренадеры показали себя с наилучшей стороны. Содержали гренадер, естественно, лучше, чем обыкновенных мушкетеров и, как это часто бывало, за счет последних. В гренадерских соединениях реже случался и обычный для армии некомплект - о пополнении гренадерских полков особо заботилось начальство *(Леонов и Ульянов, с.69-70)*. Но в целом русская армия не воевала уже 14 лет - срок по тем временам огромный. У солдат, офицеров и даже генералов не было боевого опыта.

Сразу же после объявления войны главнокомандующим армией был назначен 54-летний Степан Федорович Апраксин. Он служил в Преображенском полку, воевал в Русско-турецкой войне 1735-1739 годов и закончил ее генерал-майором. Однако военную карьеру Апраксина предопределили не его военные подвиги, а родство: он был сыном известного петровского генерал-адмирала Ф. М. Апраксина и зятем канцлера Г. И. Головкина. Ближайшими друзьями Апраксина были Шуваловы, принимали его и

Разумовские, а также Бестужев-Рюмин. Апраксин умел угодить всем и слыл за человека «пронырливого», склонного к интриганству. В 1746 году он стал генерал-аншефом, а в 1756 году - генерал-фельдмаршалом. Он не был талантлив как полководец, но императрице не приходилось выбирать: старые военачальники либо умерли, либо пребывали в отставке. Кроме Апраксина в России было еще три фельдмаршала - один другого хуже. А. Г. Разумовский не служил даже фендриком и получил высший чин лишь по большой любви к нему императрицы Елизаветы. Князь Н. Ю. Трубецкой был таким же фельдмаршалом, как раньше боярином. Последний чин ему почему-то дал Петр Великий, когда Боярской думы не существовало уже лет двадцать. Наконец, последний кандидат в главнокомандующие - А. Б. Бутурлин - также не имел опыта командования войсками и был полной бездарностью в военном отношении. Не побеспокоилась Елизавета заранее, как это делал некогда ее отец, и о найме на русскую службу талантливых иностранных генералов. Словом, опыта пришлось набираться в ходе сражений, не щадя людей.

Перед походом императрица приободрила Апраксина наградой - собольей шубой и серебряным сервизом в несколько пудов. Получив инструкцию о ведении войны, Апраксин в октябре 1756 года отбыл в Ригу, поближе к театру военных действий. Как отмечал военный историк Д. М. Масловский, Апраксин, еще не выезжая в Ригу, допустил как полководец «капитальную ошибку… заключавшуюся в принятии инструкции, выполнить которую он не мог» *(Масловский, с.31, 287)*. Инструкцию составлял канцлер Бестужев-Рюмин, полки никогда не водивший. Это была, скорее, дипломатическая инструкция, которая предписывала во всех случаях… ждать из Петербурга новых инструкций. От армии, пересекшей границу империи, требовалось, чтобы она «обширностью своего положения и готовностию к походу такой вид казала, что все равно, прямо ли на Пруссию или влево чрез всю Польшу в Силезию маршировать» (то есть на помощь австрийцам). Бестужев-Рюмин полагал, что, увидев это грандиозное выдвижение русских богатырей, Фридрих II начнет метаться в панике, не зная, куда же пойдут эти непобедимые русские. Тем самым, полагал хитроумный канцлер, «королю Прусскому сугубая диверзия сделана будет».

Одновременно Бестужев предписывал Апраксину не только стоять, но «непрестанно такой вид казать», что «скоро и далее маршировать будет». «Нужда в том настоит крайняя, - отмечалось в инструкции, - дабы атакованных наших союзников ободрять, короля Прусского в большой страх и тревогу приводить и наипаче всему свету показать, что не в словах только одних состояли

твердость и мужество, которые мы учиненными… инструкциями оказали».

Противоречие заключалось в том, что Апраксину до весны 1757 года запрещалось вступать в бой, ибо не признавалось «за удобно всею нашею команде армии действовать противу Пруссии или какой город атаковать». И тут же отмечалось: «Ежели б вы удобный случай усмотрели какой-либо знатный поиск над войсками его (Фридриха. - *Е.А.*) надежно учинить или какою крепостию овладеть, то мы не сумневаемся, что вы оного никогда из рух не упустите… Но всякое сумнительное, а особливо противу превосходящих сил сражение, сколько можно, всегда избегаемо быть имеет». Как резюмирует этот важный документ Д. М. Масловский, «в общем выводе по инструкции, данной Апраксину, русской армии следовало в одно и то же время и идти, и стоять на месте, и брать крепости (какие-то) и не отдаляться от границы. Одно только строго определено: обо всем рапортовать и ждать наставительных указов» *(Масловский, с.165-166)*.

Инструкция отражала мышление Бестужева - скорее интригана, чем крупного государственного деятеля, который ставил бы перед полководцем простые и ясные военные задачи и тем самым брал политическую ответственность за успех всего дела на себя. Не таков был Бестужев. Согласно его инструкции, вся политическая и военная ответственность тяжким грузом ложилась на плечи Апраксина, который, по мере приближения рокового часа начала боевых действий, постепенно терял мужество. Насколько он был готов к войне, видно из того, что в поход полководец захватил и подаренный сервиз, и множество других предметов роскоши. За ним ехал огромный обоз с припасами, мебелью, слугами. Последних, в том числе лакеев, было 150 человек. В личном обозе фельдмаршала насчитывалось 250 лошадей. Однако вскоре выяснилось, что карты театра военных действий он забыл в Петербурге. Одновременно Апраксин писал панические письма сановникам в столице и всячески пытался оттянуть начало похода. Ивана Шувалова он просил «при случае Ее императорскому величеству внушить, чтобы со столь рановременным и по суровости времени и стуже более вредительным, нежели полезным, походом не следует спешить» *(Из бумаг, с.449)*.

Словом, Апраксину удалось отсрочить осеннее выступление армии. Но настала весна 1757 года, и фельдмаршалу все же пришлось покинуть уютную Ригу. К этому времени подоспела новая инструкция, где было ясно сказано, что топтаться на границе более не следует и нужно двинуться в Восточную Пруссию, ставя задачу занятия двух главных городов Восточной

Пруссии - Мемеля и Кенигсберга.

Начало выступления затянулось до мая - ждали, когда подсохнут дороги. Дорогу же в Восточную Пруссию выбрали кружную: через Польшу, на Ковно. Теоретики из Петербурга не решились высадить десант в Восточной Пруссии - со времен Петра Великого, который десантировал огромные массы войск на побережье Швеции, прошло много времени и никто уже не знал, как это делается, да и боялись решиться на такое сложное предприятие. Вдоль Балтики двинулся только особый осадный корпус генерала В. В. Фермора к Мемелю - важному порту и морской крепости, прикрывавшей Восточную Пруссию со стороны Куршского залива. До Ковно основная армия добралась 7 июня. Шли долго и тяжело - полки волокли огромные обозы. Тысячи фур и телег растягивались на десятки верст, скапливались в дефиле и на переправах. Забегая вперед, отметим, что огромный обоз и вообще медленное движение оказались характерны для русской армии в Семилетнюю войну, и это, при всех ее достоинствах, резко снижало возможности армии, вело к потере темпа наступления и инициативы.

Сам Апраксин делал все, чтобы замедлить и без того медленное движение. Он обращался по малейшим вопросам в Петербург и ждал ответа. Сохранившиеся письма Апраксина говорят, что он больше заботился о собственном комфорте, чем о боеспособности армии. Но даже не это было главным препятствием к быстрому продвижению войск. Чуткий к придворным переменам царедворец, Апраксин поддерживал переписку с Бестужевым и с великой княгиней Екатериной Алексеевной. Обе эти персоны тогда состояли в заговоре, планировали переворот в случае смерти Елизаветы, здоровье которой осенью 1756 года ухудшилось. Зная о пропрусских симпатиях будущего императора Петра III Федоровича, Апраксин боялся сделать неосторожный шаг и сломать всю свою карьеру. Но его медлительность стала, наконец, настолько демонстративной, что заговорщики испугались и принялись поторапливать Апраксина-уж очень он затянул переход прусско-польской границы.

В письме от 15 июля 1757 года Бестужев писал, что государыня «с великим неудовольствием отзываться изволила, что ваше превосходительство так долго… мешкает». Еще через три дня он повторил, что по Петербургу идут упорные слухи и шутки, «кои даже до того простираются, что награждение обещают, кто бы российскую пропавшую армию нашел» *(АВ, 3, с.95-97)*.

Войти в прусские пределы Апраксин решился только в

середине июля, когда стало известно, что Фермор, после непродолжительной бомбардировки с суши и моря, вынудил коменданта Мемеля сдать крепость. Гарнизон численностью 800 человек не мог устоять против осадного корпуса в 16 тысяч человек. Армия Апраксина также превосходила армию фельдмаршала Г. Левальда (50 тысяч против 30 тысяч прусских солдат). И хотя прусский военачальник располагал все же значительными силами и временем, он оказался достоин своего мешкотного противника - так же, как Апраксин, колебался, медлил и тянул. Первый месяц ушел на осторожное маневрирование противников, которые не решались напасть друг на друга. Апраксин пытался обойти расположенные по реке Прегель прусские войска, чтобы выйти прямо к Кенигсбергу с юго-востока. Не желая быть отрезанным от столицы Восточной Пруссии, Левальд отступил и занял хорошую позицию у деревни Гросс-Егерсдорф.

Апраксин же, полагая, что он уже обошел Левальда и что впереди пруссаков нет, двинулся к городу Алленбургу, не позаботившись даже выслать вперед разведку. Рано утром 19 августа 1757 года, выйдя по дороге на опушку леса у деревни Гросс-Егерсдорф, русские передовые части внезапно увидели всю прусскую армию, построенную в боевом порядке. В тот же момент кавалерия принца Голштинского нанесла стремительный удар по выходящим в походном прядке русским войскам. Однако 2-й Московский полк, попавший под главный удар, сумел перестроиться, выстоял и отбил прусскую атаку. Ситуация была почти катастрофическая - войска, обозы забили узкую дорогу к опушке леса, пруссаки своим огнем и атаками на давали справиться с этой пробкой. Но все же генералу В. А. Лопухину удалось вывести в поле четыре полка пехоты, которые стали строиться слева и справа от потрепанного, но держащего оборону 2-го Московского полка. В этот момент в атаку двинулись основные силы прусской инфантерии. У нее была инициатива, перевес в силах на узком направлении атаки. Пруссаки сумели потеснить войска Лопухина и охватили правый фланг русских позиций. Потери русских были огромны, сам генерал Лопухин, смертельно раненный, попал в плен, но солдаты отбили его у противника. Полки Лопухина не удержали позицию и начали отступать к лесу, обрекая себя на поражение.

И тут впервые ярко блеснул полководческий гений более известного до этого кутежами и похождениями генерал-майора Петра Румянцева. С четырьмя полками он, бросив обоз на дороге, «продрался через лес» и внезапно ударил во фланг прусской пехоте. Атака была яростная и результативная - пруссаки

отступили. Повторная атака Левальда также не принесла успеха. Вскоре он дал приказ об отступлении. Поле боя осталось за русскими. По принятому тогда обычаю это означало победу. И хотя потери русской армии вдвое превосходили потери пруссаков, армия сохранила силы, и путь на Кенигсберг был открыт.

Но Апраксин, который в битве не участвовал, тем не менее не спешил двинуться по дороге на Кенигсберг. Некоторое время, как бы по инерции, он двигался по задуманному ранее пути на Алленбург, продолжая уже ставший ненужным обходной маневр. Достигнув Алленбурга 24 августа, Апраксин устроил военный совет, который постановил отказаться от движения на Кенигсберг и предписал отступать на Тильзит. Апраксин объяснял необходимость отступления тем, что армия утомлена, имеет много больных, а продовольствия не хватает. К Тильзиту войска отступали в полном порядке, но уже затем, после 18 сентября, движение армии стало поспешным и более напоминало бегство.

Позорное отступление после победы оказалось для всех полной неожиданностью, «чему, - как писал А. Т. Болотов, - сначала никто, и даже самые неприятели наши не хотели верить». 14 октября 1757 года М. И. Воронцов писал Бестужеву о «странном и предосудительном поступке» главнокомандующего Апраксина, который «ко двору Ее императорского величества чрез пятнадцать дней по поданном полном известии о воздержанной над прусским войском победе ничего не писал, и мы здесь ни малейшей ведомости о продолжении военных операций в Пруссии в получении не имели покамест, к крайнему сокрушению и против всякого чаяния, наконец от фельдмаршала получили неприятное известие, что славная наша армия, за недостатком в провианте и фураже, вместо ожидаемых прогрессов, без указу возвращается… будучи непрестанно преследуема и якобы прогоняема прусскими командами» и что «для прикрытия стыда» было объявлено: армия начала отступление по именному указу императрицы *(Болотов, 1, с.186; АВ, 2, с. 369-370)*.

На самом деле Елизавета была в ярости от бездарных действий Апраксина, опозорившего ее армию и поставившего Россию в дурацкое положение в глазах союзников, которые вскоре узнали, что после бегства русских Фридрих настолько уверился в безопасности Восточной Пруссии, что даже перебросил армию Левальда в Померанию, где к этому времени высадились союзные Австрии и Франции шведские войска. Апраксина отозвали от армии. В конце 1757 года он был арестован и посажен в тюрьму, где и умер в 1758 году.

В чем же причина такого поспешного бегства армии

Апраксина? Некоторые считали, что главнокомандующий, который вел постоянную переписку с Бестужевым-Рюминым, получил известие о внезапном и очень тяжелом припадке болезни, который обрушился на Елизавету в Царском Селе 8 сентября 1757 года. Поэтому, боясь гнева будущего монарха Петра III, благоволившего пруссакам, Апраксин обратился в постыдное бегство из Восточной Пруссии. Однако это не так. Действительно, Апраксин внимательно следил за придворной конъюнктурой, но напрямую это не связано с отступлением армии. Уже 27 августа, то есть задолго до получения известий о припадке императрицы, на военном совете было постановлено отступить, отойти к Тильзиту. В донесении Конференции при высочайшем дворе Апраксин писал, почему он решился на такой шаг: «Воинское искусство не в том одном состоит, чтоб баталию дать и выиграть, далее за неприятелем гнаться, но наставливает о следствиях часто переменяющихся обстоятельств более рассуждать, всякую предвидимую гибель благовременно отвращать и о целости войска неусыпное попечение иметь» *(Масловский, с.308-309)*.

Д. М. Масловский в своей книге о русской армии в Семилетней войне детально разобрал сложившуюся в Восточной Пруссии ситуацию и пришел к выводу о том, что отступление армии Апраксина было неизбежным и необходимым. Общие потери ее составили 12 тысяч человек, причем 80% из них - это умершие от болезней и только 20% погибли в сражении и стычках с пруссаками *(Масловский, с.325)*. Естественно, вина лежит на главнокомандующем. Это он не позаботился о снабжении и содержании своих войск. Как и каждый военачальник, он испытывал страшное бремя ответственности за «целость войска» (вспомним Петра Великого, отводившего армию из Польши в 1707-1709 годах, или Кутузова после Бородина в 1812 году). Но, как известно, похвальная забота о сохранении армии не есть самоцель командующего, да и по потерям 1757 года видно, как мало заботился он именно о «целости войска» во время похода.

Думается, что действия Апраксина и поддержавшего его военного совета объяснимы боязнью поражения, неуверенностью в исходе сражения под стенами Кенигсберга. Первое в истории столкновение русских войск с армией Фридриха II хотя и закончилось победой русских, но не внушило им уверенности - так сильны показались необстрелянным русским генералам прошедшие горнило нескольких тяжелых войн прусские войска. Поэтому Апраксин и решился отступать, и в этом его поддержали все генералы. Переломить такие настроения сразу было невозможно, и лишь пот и кровь, пролитые в последующих

сражениях с пруссаками, излечили русскую армию от комплекса неполноценности.

* * *

А так ли уж сильны были прусские войска? Да, можно без преувеличения утверждать, что в середине XVIII века прусский король Фридрих II командовал самой сильной армией в мире. Мало того, что она имела огромный опыт военных действий, вся ее система обучения, содержания, снабжения приближалась к идеалам теоретиков господствовавшей тогда линейной тактики ведения войны. Стратегия и тактика прусского короля были значительно совершенней, чем в других армиях Европы. Нравился Фридрих или не нравился как личность, но во многих странах стали перенимать его военные приемы и военную организацию. Одни копировали формальную сторону, обращали внимание в основном на шагистику и муштру (без которых, строго говоря, из крестьянина или люмпена солдата сделать было невозможно), другие улавливали сущность военной системы гениального полководца, ценили удивительное сочетание выучки и инициативы его войск, затверженных принципов и неординарности их применения на поле боя, поражались великому искусству короля-полководца использовать местность, быстротекущее время для достижения победы. Многие сражения Фридриха сразу же входили в учебники тактики, а к каждому его слову на военную тему прислушивались в штабах многих армий, и не зря - опыт его был бесценен. Он был одним из тех редких полководцев, которые одерживали блестящие победы над численно превосходящим противником.

Можно только удивляться, как в условиях бедной Пруссии возникла такая совершенная армия. Она комплектовалась наполовину из неуклюжих прусских крестьян, а наполовину из разноплеменного сброда, завербованного обманом и силой вездесущими прусскими вербовщиками. Главным источником ее мощи была необыкновенно строгая дисциплина. В «Наставлении о военном искусстве», ставшем во многих странах учебным пособием для офицеров, Фридрих начинает именно с дисциплины: «Важное дело состоит в том, чтоб пресечь побег». Далее следует объяснение: «Некоторые из наших генералов думают, что человек - вещь невеликая и что лишение одного человека не сделает упадка во всем войске, но что в сем случае о других войсках рассуждать должно, то оное совсем для наших войск не касается». Фридрих пишет, что поскольку прусская

армия строится на двухлетнем тщательном обучении каждого солдата принятым в прусском войске приемам, то утрата только одного солдата нанесет ущерб всему войску, ибо снизит его боевое качество.

Как уже сказано выше, Фридрих вообще глубоко презирал человечество. И к солдату он не испытывал теплых чувств. Солдат для него был лишь винтиком огромной военной машины. Фридрих полагал, что относиться к простому народу, мужикам, солдатам с теплотой нельзя - иначе они тотчас сядут на шею,, увидят в этом проявление слабости, реальную возможность обмануть командира, хозяина. В этом он не был одинок. Как известно, победитель Наполеона при Ватерлоо герцог Веллингтон гнал своих героев в бой словами: «Вперед, негодяи, грязные подонки! Смелей, сукины дети!» и потом писал о своем солдате: «Нельзя ему выразить свое удовольствие, иначе он в следующий раз выразит тебе неудовольствие».

Но при этом, как и Веллингтон, Фридрих прекрасно понимал, что полководец и вообще командир не может быть бессмысленно жестоким. Король сурово наказывал за вину, но и награждал за подвиг, он заботился о здоровье и настроении солдата. Таких потерь от болезней, как в армии Апраксина, у Фридриха просто быть не могло. В первых строках его Наставления говорится, что солдат «должно содержать во всегдашней строгости, беречь с крайним попечением и чтоб они имели гораздо лучшее пропитание, нежели все прочие европейские войска». Подобного положения не было ни в одном из наставлений полководцев других стран. Солдат - винтик, но он должен быть хорошо смазан!

Порой Фридрих отпускал вожжи железной дисциплины, чтобы его подчиненные на время освободились от жесткого психологического пресса и могли вволю погулять или пограбить. Так делали многие великие знатоки солдатских масс. Вспоминается знаменитый мореплаватель Джеймс Кук - сторонник суровейшей дисциплины на своих кораблях. Несколько раз в году, особенно на Рождество, на два-три дня он позволял всему экипажу расслабиться. В те дни на борту перепивались все, и только один трезвый командор сутки напролет держал штурвал корабля. Таким же был и Фридрих.

Словом, дисциплина должна обеспечить целостность войска, предупредить дезертирство. Поэтому король-полководец предусматривал все: возле леса лагерь не разбивать, регулярно пересчитывать солдат в палатках, направлять разъезды гусар вокруг лагеря, во ржи держать почти непрерывную цепь егерей, за водой идти только строем с офицерами, по ночам не маршировать, в дефиле, когда нарушается строй, офицерам при

входе и выходе из узкого места вести наблюдение, об отступлении солдатам не говорить, а «сие сделать под видом, который бы солдатам делал удовольствие». И вновь повторение: командирам наблюдать, «дабы войско ни в чем недостатка не имело, ни в хлебе, ни в мясе, ни в вине, соломе (на ней спали. - *Е.А.*) и в прочем» *(Наставление, с.1-4)*. И еще. Если в роте умножались побеги, то Фридрих требовал главного: «Тотчас изыскивать причины, дабы узнать, получает ли солдат свое жалованье и прочее ему положенное исправно и не капитан ли его в том виновен?»

Фридрих был гением дисциплины, которую он понимал гораздо глубже, чем его критики - историки, обвинявшие короля в пристрастии к бессмысленной муштре, палочной дисциплине и мелочности. Мелочей в военном деле для него вообще не было. Своей жизнью Фридрих-полководец показал, что психология людей в военном мундире - важнейшее дело. Он требовал рвения от каждого офицера и генерала. «Большая часть армии, - писал он в Наставлении, - состоит из людей беспечных. Когда генерал за ними беспрестанно не смотрит, то сия искусная и совершенная махина совсем скоро испортится… и для того надлежит привыкать к беспрестанным трудам, и те, которые сие делают, увидят из собственного искусства, что сие необходимо и что ежедневно находятся непорядки, пресечения достойные, которые не видят только одни те, кои не стараются их наблюдать». Отсюда прямой путь к победе, такой генерал выше всех своих противников: «Генерал, который у других народов за отважного почитается, делает у нас только то, чего обыкновенные правила требуют. Он может на все отважиться, и все предпринимать, что возможно исполнить людям» *(Наставление, с.5-6)*.

Фридрих, как и его отец, питал слабость к высоким солдатам. Эти богатыри как бы символизировали сокрушающую мощь прусских вооруженных сил. Впрочем, и в других армиях такие солдаты ценились, но в прусской армии любовь к великанам стала истинной манией. У короля было два батальона великанов общей численностью 1200 человек. Их называли «Потсдамские великаны» или, по цвету специальной формы, «Синие пруссаки». Отец Фридриха даже пытался вывести особую породу великанов - каждый высокий мужчина, согласно суровому указу короля, мог жениться только на высокой женщине. Однако не будем обольщаться относительно роста великанов. Так, для основных полков Фридрих требовал, чтобы солдаты первой шеренги были не ниже 5 футов и 8 дюймов (170,6 см), во второй шеренге 5 футов и 6 дюймов (165,4 см). Для нас такой рост считается средним и даже низким. Однако будем учитывать общую

низкорослость населения в XVIII веке, которое страдало от постоянного недоедания, частых неурожаев, отсутствия витаминов.

Добиться выполнения указа короля о пополнении армии великанами было непросто. Их добывали разными, порой нечестными путями. Чтобы наладить дружбу с отцом Фридриха, Фридрихом-Вильгельмом I, и тем самым заключить союз с Пруссией и, в частности, получить Янтарную комнату, Петр Великий подарил прусскому королю несколько десятков высокорослых солдат, причем, как видно из сохранившегося списка, это были в основном украинцы.

Техника обучения солдата - дело необыкновенно тонкое, и Фридрих им владел в совершенстве. Обучение состояло из нескольких элементов: хождение в ногу строем, церемониальный и походный марш, ружейные приемы, боевое движение и стрельба залпами, четкое исполнение правил караульной службы, субординация и отдавание чести. Сделать из гражданского человека солдата всегда непросто. Нужна ласка и требовательность, сочувствие и суровое наказание за неподчинение. «Во время учения, - пишет Фридрих, - никого нельзя ни бить, ни толкать, ни ругать… солдат обучается терпением и методичностью, но не побоями». Но как только командир видит, что солдат пускается в резонерство, не хочет делать то, что ему велят, жульничает, то раздумывать не надо - следует всыпать палок, «но в меру». В армии Фридриха муштра никогда не была самоцелью, жестокой забавой, игрой в живых солдатиков. Она - лишь средство достижения необходимой в линейной тактике согласованности действий масс людей. Военный историк Г. Дельбрюк писал об армии Фридриха: «Капитан, который вымуштровал своих людей так, что рота в любой момент соответственными движениями откликалась на его команду, мог рассчитывать и на то, что по его приказу она пойдет и в неприятельский огонь, при этом на точности движения рот построены были те технические эволюции, которые давали победу полкам Фридриха» *(Дельбрюк, с.222)*.

Столь же взыскательно относился король и к офицерам. Армия Фридриха отличалась единообразным составом офицерства. Конная полиция налетала на помещичьи дома, и мальчиков-дворян, под вой матерей, увозили в кадетские корпуса, где из них с помощью дисциплины делали настоящих мужчин, то есть офицеров. Выученный и вымуштрованный офицер не имел права на ошибку в бою. Биограф кавалерийского генерала Зейдлица пишет, что в победном для пруссаков сражении при Росбахе против французов (ноябрь 1757 года) произошел

характерный для прусской армии случай. При развороте во фронт шедшей на полном карьере кавалерии под командиром одного из эскадронов лейб-кирасир замялась лошадь, «от того эскадрон стеснился, но порядок был мгновенно восстановлен, однако Зейдлиц это заметил. В полноте чувства начальника и будучи сам для всех образцом, он скачет ко фронту и со словами «Убирайтесь к черту!» отгоняет назад онемевшего ротмистра, который после сего никогда более не являлся к полку» *(Энзе, с.75-76)*.

Цель дисциплины - растворить личность в массе, точнее - в тактической единице, лишить идущего навстречу ядрам и пулям солдата страха смерти. Как писал Фридрих, «наши войска столь превосходны и ловки, что они строятся в боевой порядок во мгновение ока, они почти никогда не могут быть застигнуты врасплох неприятелем, так как их движения очень быстры и проворны… Враги говорят, что когда приходится стоять перед нашей пехотой, то чувствуешь себя как перед разверстой пастью ада. Если вы хотите, чтобы наша пехота повела штыковую атаку без выстрела - какая же пехота лучше ее твердою поступью, не колеблясь, пойдет на противника? Где вы найдете большую выдержку в минуту величайшей опасности? А если нужно сделать захождение плечом, чтобы ударить неприятеля во фланг, то этот маневр выполняется мгновенно и завершается без малейшего труда».

Конечно, многое в этом описании - правда, но правда и то, что поле боя - не гладкий плац, и такую армию, как прусская, все же побеждали, и не раз. У пруссаков были свои слабости, о которых король предпочитал умалчивать. Дельбрюк пишет: «Чем лучше становилась дисциплина и чем больше на нее можно было полагаться, тем меньше цены стали придавать доброй воле и другим моральным качествам рекрута». Эти черты вырабатывались четкостью, виртуозностью строевых учений, «которые в своем развитии зашли так далеко, что на солдата стали смотреть как на сменяемую часть машины и соответственно с ним обращаться» *(Дельбрюк, с.222-223)*. Опыт Семилетней войны и других войн показал, что с помощью дисциплины можно было добиться многого, но не всего. Вымуштрованные войска прекрасно шли в атаку, но плохо держали оборону. Подавленный дисциплиной солдат не был стойким в индивидуальном бою, и как только строй, сплоченный дисциплиной, под воздействием отважного противника распадался, бегство сплоченной массы строя становилось неизбежным.

Вернемся, однако, к русской армии, переживавшей в конце 1757 года позор бегства после победы. Начиная новую кампанию 1758 года, новый, назначенный вместо Апраксина

главнокомандующий генерал-аншеф Виллим Фермор привел в порядок расстроенные части армии и, воспользовавшись отсутствием войск противника в Восточной Пруссии, без боя занял весь анклав, включая и Кенигсберг. Вступление русских войск в прусские города производило необычайное впечатление на немецких бюргеров. Как пишет очевидец, «их появление изумило мирных граждан Мариенвердера, привыкших к спокойствию и тишине. Сидеть покойно в креслах и читать известия о войне - совсем не то, что очутиться лицом к лицу с войною. Несколько тысяч казаков и калмыков с длинными бородами, суровым взглядом, невиданным вооружением - луками, стрелами, пиками- проходили по улице. Вид их был страшен и вместе - величествен. Они тихо и в порядке прошли город и разместились по деревням» *(Теге, с.276)*. Войскам был дан особый приказ не чинить тех привычных насилий над жителями, которыми обычно сопровождался проход русских войск через Польшу. Армия вступала не в провинцию неприятеля, а в будущую часть Российской империи - так смотрели из Петербурга на Восточную Пруссию.

Это произошло в самом начале января 1758 года, и такой новогодний подарок внушал в Петербурге оптимизм относительно исхода будущей летней кампании против Пруссии. Правда, в ноябре 1757 года Фридрих одержал две блестящие победы - при Росбахе он разгромил французов и германские имперские войска, а при Лейтене - австрийцев. Под Росбахом король имел против 39-тысячной армии противника 22 тысячи своих войск, а при Лейтене - против 60 тысяч австрийцев маршала Дауна у него было всего 40 тысяч. Тем не менее, несмотря на такое превосходство противника, победа осталась за ним.

Летом 1758 года Фридриху приходилось большей частью заниматься австрийцами, которые оказали ему упорное сопротивление в Силезии, причем маршал Даун - «гений окапывания» - ни разу не дал пруссакам применить свои грозные тактические приемы и не позволил Фридриху ввязать себя в сражение на открытом поле боя, где пруссаки были традиционно сильнее австрийцев. Так столкнулись две философии войны: Фридрих хотел поставить все на карту и победить, а Даун, наоборот, хотел одержать победу, не рискуя.

К этому времени русские войска, медленно продвигаясь, вступили в Бранденбург и даже осадили Кюстрин - важную крепость на пути в Берлин. Внимательно наблюдавший за действиями Фермора Фридрих решил, что пора заняться и русскими. Он стремительно двинулся из Силезии, переправился

на правый берег Одера под Франкфуртом, отрезал от основных сил русских группировку генерала Румянцева, который тщетно поджидал переправы пруссаков в другом месте, и у деревни Цорндорф обошел русскую армию с тыла. Этот маневр Фридриха был вовремя замечен, и русская армия, сделав дружный поворот кругом, изготовилась к бою.

Очевидец сражения пастор Теге оставил удивительно тонкое описание томительных часов и минут, предшествовавших столкновению армий. Он, пруссак из Мариенвердера, был взят в русское войско, в котором не хватало пасторов - ведь среди офицеров находилось немало протестантов. Теге исполнял свой долг, оказавшись в стане русских.

Вот как говорит он о ночи перед битвой в русском лагере на поле у Цорндорфа: «Самая красивая полночь, которую я когда-либо запомню, блистала над нами. Но зрелище чистого неба и ясных звезд не могло меня успокоить, я был полон страха и ожидания. Можно ли меня упрекнуть в этом?… Что-то здесь будет завтра, в этот час? - думал я. Останусь ли я жив или нет? Но сотни людей, которых я знал, и многие друзья мои погибнут наверное или, может быть, в мучениях, они будут молить Бога о смерти… Но вот подошел ко мне офицер и сказал растроганным голосом: «Господин пастор! Я и многие мои товарищи желают теперь из ваших рук приобщиться Святых Тайн. Завтра, может быть, нас не будет в живых, и мы хотим примириться с Богом». Взволнованный до глубины души, я поспешил приступить к Таинству. Обоз был уложен, палатки не было, и я приобщил их под открытым небом, а барабан служил мне жертвенником. Над нами расстилалось (синее) небо, начинавшее светлеть от приближения дня… Молча расстались со мною офицеры; я принял их завещания, дорогие вещи и многих-многих из них видел в последний раз. Они пошли умирать, напутствуемые моим благословением. Ослабев от сильного душевного волнения, я крепко заснул, пока солдаты наши не разбудили меня криками: «Пруссак идет!» Солнце уже ярко светило, мы вскочили на лошадей и с высоты холма я увидел приближающееся к нам прусское войско; оружие его блистало на солнце; зрелище было страшное. Но я был отвлечен от него на несколько мгновений. Протопоп, окруженный попами и множеством слуг с хоругвями, ехал верхом… и благословлял войско, каждый солдат после благословения вынимал из-за пояса кожаную манерку, пил из нее и громко кричал: «Ура!», готовый встретить неприятеля. Никогда не забуду я тихого величественного приближения прусского войска. Я желал бы, чтобы читатель мог живо представить себе ту прекрасную, но страшную минуту, когда прусский строй вдруг

развернулся в длинную кривую линию боевого порядка… До нас долетал страшный бой прусских барабанов, но музыки еще не было слышно. Когда же пруссаки стали подходить ближе, то мы услышали звуки гобоев, игравших известный гимн «Ich bin ja, Herr, in deiner Macht» («Господи, я во власти Твоей!»). Ни слова о том, что я тогда чувствовал; но я думаю, никому не покажется странным, если я скажу, что эта музыка впоследствии, в течение моей долгой жизни, всегда возбуждала во мне самую сильную горесть. Пока неприятель приближался шумно и торжественно, русские стояли так неподвижно и тихо, что, казалось, живой души не было между ними. Но вот раздался гром прусских пушек, и я отъехал внутрь четырехугольника, в свое углубление» *(Теге, с.294-295)*.

Здесь нужно сделать отступление и сказать несколько слов о европейской войне XVIII века. Она была кровавой, но не жестокой. Ядра, бомбы, картечь и пули делали из стоящих на открытом поле батальонов кровавое месиво, выдирали в сплошном строю солдат чудовищные зияющие провалы. Страшны были мучения умирающих людей и коней на поле боя. Широко известное «гусарство», возмущавшие обывателей кутежи воинов можно понимать как прощание гусар с жизнью, ибо каждый из них, как только раздавалась команда «Сабли наголо!», был уже смертником и шансов выйти живым из боя почти не имел.

Слепы были ядра и пули, но не люди. Войны XVIII века отличались более гуманным отношением воюющих друг к другу, чем это было раньше - в эпоху религиозных войн - или позже, когда революционная и контрреволюционная идеология, националистические доктрины стали превращать людей в зверей, делать из общих детей Марса заклятых врагов, способных в бою перегрызть друг другу глотки. При всей карикатурности изображения войны в знаменитом французском фильме «Фан-фан-Тюльпан», в нем лучше, чем в иных исторических романах, передано то непривычно легкое для нас отношение к войне, которое характерно для общества XVIII века.

Эта война не была тотальна, не охватывала всей толщи народа, не меняла его привычной жизни. Австрийские войска могли терпеть одно поражение за другим, но Вена дышала музыкой и весельем - война шла далеко, и на ней умирали люди, для которых военное дело являлось профессией. Поэтому война не считалась, как позже, несчастьем. Она была нужна солдату, который хотел трофеев, юному корнету, который жаждал славы, засидевшемуся в ротных капитану, ожидавшему нового чина. Генерал же примеривал к себе мундир фельдмаршала. И все хотели обогатиться. В условиях медленно развивающейся

экономики с преимущественно аграрным строем только война давала возможность быстро нажить состояние, привезти домой побольше богатства. Многие европейские дворянские состояния стали результатом удачных военных походов, а вовсе не следствием приносящей ничтожные доходы эксплуатации крестьян, о которой так часто вспоминали советские историки.

Трофеи и грабежи - вот истинная цель войны для профессионалов той эпохи по всей Европе. Для всех офицеров разных наций, составлявших некое европейское космополитическое сообщество, война была ремеслом, и они уважали таких же, как они, профессионалов на другой стороне поля боя. Мог наступить день, когда вчерашние противники оказывались под одним знаменем. Только в те времена были возможны вежливые поклоны командиров сблизившихся шеренг. Они, подчас знакомые по прежней службе, вежливо уступали друг другу право первого залпа, благо от ружейной стрельбы толку тогда было мало. Только в те времена могли отпускать пленных офицеров под честное дворянское слово, что они не будут воевать за противника до конца войны. Пленным часто предлагалось пойти на службу к вчерашнему противнику, сменить знамя. После пленения саксонской армии в начале Семилетней войны целые ее роты включались в прусское войско, и пленные солдаты даже не успевали сменить свои красные мундиры на прусские зеленые. Это особенно характерно для офицеров-немцев. Они добровольно шли на службу короля, который стал настоящим кумиром для Германии.

Не было зверского ожесточения к неприятелю и среди солдат. Пограбить противника каждый был рад, но ведь это были трофеи. Потом наступало умиротворение. Петр Панин писал брату Никите о победном для русских Пальцигском сражении 1759 года, что раненых пруссаков наши «своим хлебом и водою, в коей сами великую нужду тогда имели… снабжали» *(Письма Панина, с.71)*. Пастор Теге воспроизводит обычную для тех времен сценку: «Передо мною шел, опираясь на костыль, высокий прусский гренадер с простреленной ногой. Он нес под мышкою большой хлеб и ел его с аппетитом. Один из русских (пленных. - *Е.А.*) солдат с завистью поглядел на него и, прищелкивая языком, произнес, как умел, по-немецки: «Братец прусак, мне очень есть хочется!» Гренадер важно остановился, достал из кармана ножик, отрезал русскому половину хлеба и с достоинством сказал: «Ты, может быть, такой же молодец, как и я!» Из леса выходили голодные русские солдаты и сдавались в плен, где их кормили».

Но я забежал вперед - сцена, описанная Теге, произошла уже после окончания битвы при Цорндорфе. Мы же вернемся к ее

началу.

Итак, битва началась обстрелом прусской артиллерией правого фланга русских, а затем прусская пехота перешла в наступление. Атака пруссаками русских позиций была проведена в соответствии с принципами так называемого «косого боевого порядка», блестяще испытанного Фридрихом против австрийцев при Лейтене. Суть его состояла в том, чтобы не вести наступление лоб в лоб всеми силами, а, сосредоточив на одном из своих крыльев превосходящие силы, ударить противника по одному из его флангов и достичь там перевеса. Фридрих не открыл в этом Америки. Как писал Дельбрюк, «сама идея была проста и очень стара, трудно было осуществить ее. Ибо сделать одно крыло сильнее другого - дело простое. Но когда противник это заметит, он или сделает то же самое или, со своей стороны, атакует более слабое крыло наступающего. Действенность приобретает косой боевой порядок лишь тогда, когда удастся охватить своим наступательным крылом крыло противника». В этой ситуации и противник не будет стоять сложа руки, он начнет разворачиваться поперек захода войск противника в свой фланг. Поэтому наступающим, во-первых, нужно стремительно перебросить свои превосходящие силы на атакуемое направление и, во-вторых, одновременно связать действия противника в его центре и другом фланге, что достигалось опережающим ударом и перевесом сил на одном из флангов. Дам слово специалисту: «Я склонен формулировать дело таким образом: косой боевой порядок представляет собой такую форму сражения, решаемого на одном крыле, при которой вся боевая линия образует единый, возможно менее и даже вовсе не прерывающийся фронт. С сражением, решаемым на одном крыле, оно имеет ту общую черту, что одно из крыльев выдвигается вперед, а другое задерживается, причем атакующее крыло усиливается и стремится, по возможности, охватить неприятельский фронт с фланга и даже с тыла» *(Дельбрюк, с.241)*.

Вот тут-то и срабатывала феноменальная подготовка прусской армии, когда ее полки и эскадроны быстро и слаженно перемещались по полю сражения, и противник Фридриха напоминал шахматиста, которому владеющий инициативой партнер своим мощным наступлением на одном из флангов не позволяет уравновесить положение. И тогда все ходы этого шахматиста - вынужденные, они только оборонительные. Но риск у наступающих огромен, захваченная инициатива еще не есть победа.

Фридрих, сосредоточив на своем левом фланге 23 тысячи солдат против 17 тысяч у Фермера (при том, что русская армия

имела общее численное превосходство), отдал приказ наступать авангарду генерала Мантейфеля (8 батальонов) на правый фланг русских. По-видимому, это и видел с холма пастор Теге. Мантейфеля в этом наступлении должен был поддержать генерал Каниц, 20 батальонов которого, без интервалов, побатальонно, уступами, должны были ударить по русскому флангу и смять его. Но при движении Каница следом за авангардом его батальоны натолкнулись на горящую деревню Цорндорф и отклонились вправо от авангарда. Атаки охватывающим русский правый фланг уступом не получилось - возник разрыв в прусском фронте. Увидев это, Фермор, получивший, благодаря отставанию Каница, превосходство на своем правом фланге, ударил по Мантейфелю. Русская пехота успешно атаковала пруссаков и потеснила их авангард и даже некоторые из подошедших батальонов Каница.

Но Фермор недооценил противника. На левом фланге Фридриха скрытно сосредоточилась вся кавалерия под командой генерала Зейдлица. Он терпеливо ждал своего часа, отмахиваясь от указов короля выступать. В очередной раз король прислал адъютанта со словами, что Зейдлиц отвечает головой за сражение, на что генерал ответил, что после сражения его голова в распоряжении короля, но сейчас он хотел бы применить ее наилучшим образом на пользу службы. И когда русские пехотинцы, преследуя Мантейфеля, обнажили свой фланг, Зейдлиц силами 46 эскадронов нанес сокрушительный удар по русским войскам…

Читатель может представить себе эту картину, если он познакомится с Зейдлицем и его кавалерией. Фридрих Вильгельм барон фон Зейдлиц был настоящей легендой прусской армии. Великолепный наездник, отчаянный рубака, он слыл фанатиком службы. Ничего, кроме армии, для него не существовало. До старости он служил солдатам образцом для подражания. Чего только стоит его молодечество - промчаться на коне сквозь быстро вращающиеся крылья ветряной мельницы или выстрелить из пистолета на скаку по торчащей в земле курительной трубке, раз за разом отбивая у нее по небольшому кусочку.

Вот как описывает биограф его методу подготовки кавалериста. Прибывших в полк новобранцев сразу же сажали на невыезженных лошадей и, погоняя арапниками, отдавали на произвол судьбы. Если седок ломал себе шею или получал травму, о нем забывали. Того же, кто выдерживал это родео, ожидало обучение по правилам. «Из этого в скором времени оказывалось следствием, что весь полк, в особенности лейб-эскадрон, состоял из отличнейших, отважных ездоков. Каждый рядовой, умея ценить себя, имел наружность и осанку

офицерскую». Щегольству, бодрой воинственной осанке придавалось особое значение. Как известно, офицеры ходили в лосинах. Было модно носить их обтянутыми так, как ныне одевают свое трико танцовщики балета. Лосины намачивали, с трудом влезали в них, а затем слуги кавалерийского модника подвешивали его за лосины к потолку. Так, в течение нескольких часов он, под действием силы тяжести, сползал в свои штаны, достигая тем самым нужной красоты облегания.

Потери личного состава при методах Зейдлица были велики, но он с этим не считался - по его мнению, шею ломали только неумехи, которым все равно сломает шею противник, но с ущербом для Пруссии. Он любил рассказывать, как его учил первый командир, некий маркграф Фридрих-Вильгельм. Они выезжали в поле в коляске, потом кучер и форейтор слезали, бросали поводья и стегали лошадей. Четверка лошадей мчалась во весь опор, коляска ломалась или опрокидывалась. Этой-то минуты и ждали стоявшие на ступеньках отважный маркграф и его юный адъютант - они были обязаны спасаться «отважным скачком, в чем и заключалась слава».

Прошедшего испытание и не сломавшего шею новобранца учили вначале всем строевым приемам пехотинца, прививали черты настоящего воина. Зейдлиц писал: «Повторяю напоминание, чтоб господа офицеры приложили возможное старание к искоренению из солдата крестьянских приемов, внушая в него как можно более честолюбия и напоминая ему, что рейтар может быть совершенным солдатом только тогда, когда вне строя и в отсутствие офицеров он будет иметь вид благопристойного, порядочного человека». Владение конем, стрельба из седла, как и умение зарядить оружие на полном скаку, - все это доводилось до автоматизма, и в итоге «весь полк, рядовые и офицеры, ездили однообразно, с одинаковою правильностью, быстро, ловко, с величайшей смелостию и отважностию. Одиночные всадники, равно как и целые эскадроны, должны были всегда сохранять совершенную власть над собою, ежемгновенно и во время самого пылкого движения повиноваться каждому мановению начальника, ежемгновенно уметь то дать полную свободу лошади, то обуздать ее пылкость».

Здоровая лошадь, по указу короля, не должна была более двух дней стоять в конюшне без движения; верховой езде и вольтижировке уделялось особое внимание. Зейдлиц хотел, чтобы «конь и всадник составляли одно (целое), чтобы неровности земли исчезали и в пылу быстрого движения господствовала обдуманная ловкость. Обучить лошадь по всем правилам искусства, укротить самую резвую и владеть самою пылкою - это

было обязанностью каждого простого гусара. Надлежало перескакивать чрез глубокие рвы, чрез высокие заборы, надобно было скакать в кустарниках, плыть через воду, все это производилось неутомимо, невзирая на препятствия и повреждения» *(Энзе, с.200, 190 и др.)*.

По принятым Фридрихом уставам, атака начиналась за 1800 шагов до противника. Кавалерия разгонялась и последний участок проходила карьером. Команду для этого давал сам скачущий впереди своих молодцов Зейдлиц - он, на глазах тысяч своих всадников, поднимал высоко над головой свою трубку, и это означало сигнал атаки «Марш-марш!». Это была страшная для противника атака. Эскадроны шли без интервалов, сомкнутым строем, стремя к стремени, колено к колену. Только человек с крепкими нервами мог выдержать эту атаку: от бешеного топота тысяч копыт содрогалась и гудела земля, и на тебя неумолимо и стремительно, все ускоряясь и ускоряясь, мчался высокий черный вал, готовый смять и растоптать на своем пути все живое…

Перед лицом такой устрашающей атаки Зейдлица русские гренадеры не дрогнули. Они не успели построиться в каре - оборонительные боевые квадраты, а лишь успели встать кучками спина к спине и мужественно приняли на себя удар конницы Зейдлица. Как пишет его биограф, «возникло настоящее кровавое побоище, где пехота и кавалерия, смешавшись, сражались холодным железом со всеми порывами озлобления, не давая и не принимая пощады» *(Энзе, с.100)*. Сбить и погнать русских пехотинцев не удалось. Сила прусского удара ослабла, и Зейдлиц отвел расстроенные эскадроны.

С этого момента Фермор бросил войска и покинул командный пункт - вероятно, он считал, что сражение безнадежно проиграно. Однако русские полки, несмотря на серьезные потери и панику части солдат, начавших разбивать бочки с вином и грабить полковые кассы, удержали позиции. К вечеру сражение стало по всему фронту стихать. Фридрих приказал своим потрепанным полкам отойти.

Никогда в истории России Нового времени потери русских войск не были так велики: они составили половину личного состава, причем убито было больше, чем ранено, - 13 тысяч из 22 тысяч 600 человек. Это говорит о страшной кровопролитности и ожесточенности сражения, ведь обычное соотношение убитых и раненых - один к трем. Страшно пострадал генеральский корпус: из 21 русского генерала 5 были взяты в плен, 10 убиты. В строю осталось только шесть генералов! Неприятелю досталось 85 русских пушек, 11 знамен, войсковая казна.

Но и потери пруссаков были велики - свыше 11 тысяч

человек. Поэтому наутро следующего дня Фридрих не воспрепятствовал отходу русских с залитого кровью и заваленного тысячами людских и конских трупов поля беспримерно жестокой битвы. Построившись двумя походными колоннами, между которыми разместили раненых, 26 трофейных пушек и 10 знамен, русская армия, растянувшись на 7 верст, несколько часов шла перед позициями пруссаков, но великий полководец так и не решился атаковать ее, отдавая должное мужеству несломленного противника.

Битва под Цорндорфом не была победой русских - поле битвы осталось за Фридрихом II, но не стала и их поражением. Елизавета по достоинству оценила происшедшее: посредине вражеской страны, вдали от России, в кровопролитнейшем сражении с величайшим тогда полководцем, русская армия сумела проявить «дух мужества и твердости» и выстоять. Это, как говорилось в рескрипте императрицы, «суть такие великие дела, которые всему свету останутся в вечной памяти к славе нашего оружия» *(Соловьев, 24, с.446)*. Ныне, спустя два с половиной столетия, нет оснований думать иначе.

Фермор отступил от Цорндорфа, беспрепятственно соединился с корпусом Румянцева и двинулся в Померанию, где долго и бесплодно маневрировал, избегая сражений с армией генерала Дона. Затем, не совершив более ничего важного, он ушел с армией на зимние квартиры и тем решил свою судьбу - его уволили от командования. На место Фермора назначили генерала Петра Семеновича Салтыкова. Этого генерала в армии не знали - назначен он был из украинской ландмилиции и оставлял странное впечатление. Как вспоминал Андрей Болотов, видевший Салтыкова в Кенигсберге, это был «старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком кафтане, без всяких дальних украшений и без всяких пышностей, ходил он по улицам и не имел за собой более двух или трех человек в последствии. Привыкнувшим к пышностям и великолепиям в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не понимали, как такому простенькому и по всему видимому ничего не значащему старичку можно было быть главным командиром столь великой армии, какова была наша, и предводительствовать ею против такого короля, который удивлял всю Европу своим мужеством, храбростью, проворством и знанием военного искусства. Он казался нам сущей курочкой, и никто не только надеждою ласкаться, но и мыслить того не отваживался, чтоб мог он учинить что-нибудь важное» *(Болотов, с.236-237)*. Однако Болотов и его друзья - молодые офицеры, пренебрежительно смотревшие на «курочку», - глубоко ошиблись.

Салтыков принял армию и повел ее в Германию. Две прошедшие кампании сделали для армии больше, чем десять лет учений под Петербургом. Появился омытый кровью боевой опыт. В указах Конференции при высочайшем дворе, которая ранее стремилась проконтролировать малейшие передвижения войск и требовала отчета о каждом дне кампании, появились иные, обращенные к командующему, слова: «Избегайте таких резолюций, какие во всех держанных в нынешнюю компанию военных советах были принимаемы, а именно с прибавлением ко всякой резолюции слов: «…если время, обстоятельства и неприятельские движения допустят». Подобные резолюции показывают только нерешительность. Прямое искусство генерала состоит в принятии таких мер, которым бы ни время, ни обстоятельства, ни движения неприятельские препятствовать не могли».

Конечно, в ходе войны в армии проявились многие недостатки, неразбериха и глупости. Как и всегда, в тылу царило воровство. Но тем не менее, несмотря на огромные потери русской армии, ресурсы ее были неисчерпаемы, а воинский опыт и мастерство солдат и офицеров непрерывно совершенствовались, и потому русские войска все увереннее и увереннее шли к конечной победе в войне. Елизаветинские полководцы и дипломаты сумели внести необходимые коррективы в политику и тактику.

Перемены не заставили себя ждать. Войска стали маневреннее, проходили за кампанию около тысячи верст, улучшилась система снабжения. Энергичный П. И. Шувалов за короткое время сумел перевооружить артиллерию пушками усовершенствованного образца - единорогами, более легкими и скорострельными, чем прежние. В организации артиллерии произошли коренные изменения, были созданы специальные части прикрытия артиллерии, солдаты которых были обучены пушкарскому делу и могли заменить выбывших с поля боя артиллеристов.

Общая цель, которую поставили перед Салтыковым в кампании 1759 года, состояла в том, чтобы двигаться в Силезию, соединиться с австрийской армией Дауна и вести совместные действия против Фридриха. Последний преследовал иную цель - не дать русским и австрийцам соединиться. Вначале командовавший прусскими войсками генерал Ведель пытался маневрами оттеснить Салтыкова от Одера, через который лежал прямой путь для соединения с австрийцами. Но это не удалось - русские медленно продвигались к своей цели. Тогда им был дан бой. Ведель, имея значительно меньшие, чем Салтыков, войска

(27 тысяч у пруссаков и 40 тысяч у русских при 284 орудиях), 12 июля при деревне Пальциг стремительно атаковал русскую армию, как с фронта, так и с фланга. Все эти атаки, исполненные в лучших традициях прусской армии, потерпели неудачу - русские устояли, а затем обратили неприятеля, потерявшего более 4 тысяч человек, в бегство. Как писал Петр Панин, «атаки его (противника. - *Е.А.*) были самые смелые, наступление наипорядочное, и производил их одну после другой пять, не взирая на то, что храбростию и преудивительнейшим постоянством, терпением и послушанием наших войск он всегда с великим уроном и расстройкою отбит был» *(Письма Панина, с.70)*. Это была нежданная, воодушевляющая победа!

21 июля русская армия заняла Франкфурт-на-Одере, где и соединилась с 20-тысячной армией австрийского генерала Лаудона - самого талантливого из генералов Марии-Терезии. Лаудона послал навстречу русским фельдмаршал Даун. Салтыков не успел решить, что ему делать дальше, как вдруг получил известие о приближении армии самого короля Фридриха. Зная «скоропостижного» Фридриха, который мог стремительно перебрасывать свои войска с места на место, Салтыков приказал своей армии и австрийцам занять оборонительные позиции на правом берегу Одера, напротив Франкфурта, у деревни Кунерсдорф, название которой вошло потом во все учебники военной истории. Удивительна судьба таких знаменитых деревенек, о которых никто не знал, пока по их улицам не потекли потоки крови! Лев Толстой в «Войне и мире» гениально уловил эту великую безвестность и отразил то, что называется историзмом. Перед Бородинской битвой офицеры говорят о какой-то деревне с названием вроде «Бурдино». Они никак не могут ее вспомнить без карты - а через несколько дней о Бородино знала вся Европа. Так и Кунерсдорф, у которого 1 августа 1759 года армии Салтыкова и Лаудона (всего 60 тысяч человек) были атакованы армией Фридриха (48 тысяч человек).

Нужно сказать о русских позициях. Они не были особенно хороши. Салтыков занял их не без колебаний, но искать лучших уже было некогда. Правое крыло русской армии упиралось в низкий топкий берег Одера почти напротив Франкфурта, стоявшего на другом берегу реки. Левое крыло заходило за расположенную на одной линии (запад - восток) деревню Кунерсдорф. Три возвышенности царили над этой равниной: ближе к Одеру - гора Юденберг, восточнее, то есть в центре, гора Большой Шпиц и еще восточнее, то есть у Кунерсдорфа - гора Мюльберг. От Большого Шпица ее отделял овраг Кунгруд, по которому потом и потекла кровавая река.

Русские войска заняли все три высоты и укрепили их склоны. Позиция была хороша тем, что со стороны Одера противник подойти не мог. Плохо же было, что расположение армии не имело достаточной глубины. Войска теснились вокруг вершин холмов. Наконец, всю позицию рассекал надвое этот проклятый овраг Кунгруд. На Юденберге встали войска Фермора, на Большом Шпице - дивизия П. А. Румянцева и на Мюльберге - корпус А. М. Голицына. Австрийцы Лаудона расположились в резерве за горой Юденберг. Фридриха ждали с севера, так что Фермор стоял на русском левом фланге, а Голицын - на правом. Но Фридрих знал, откуда его ждут, и неожиданно появился с другой - южной стороны, то есть зашел русским в тыл. Как и при Цорндорфе, русским командирам пришлось скомандовать: «Налево кругом!», и правый фланг оказался левым, а левый - правым. В результате выяснилось, что теперь отступать, в случае поражения, было уже некуда.

Верный своей тактике, Фридрих не стал бить во фронт изготовившихся русских войск. Он сразу же охватил левый фланг русского построения и после артиллерийской подготовки ударил по корпусу Голицына (гора Мюльберг) силами пехоты и конницы. Как и в других битвах, Фридрих не дал Салтыкову ни времени, ни возможностей усилить атакованный им фланг русских позиций. Для этого он умело использовал складки местности, в которых скрытно сосредоточились его войска. Удар достиг цели - корпус Голицына (всем было известно, что это наиболее слабая часть русской армии) дрогнул и поспешно оставил позицию на Мюльберге. Заняв эту высоту, пруссаки установили пушки и открыли обстрел главных сил русской армии на горе Большой Шпиц. Пехота короля тем временем спустилась в овраг Кунгруд и начала атаку русских позиций на Большом Шпице. Это была типичная для Фридриха атака превосходящими силами во фланг неприятеля. Салтыков не мог развернуть всю сидевшую на холмах, как на жердочке, армию поперек движения противника. Поэтому он приказал войскам, стоявшим на Большом Шпице, образовать несколько линий навстречу поднимавшимся из Кунгруда прусским пехотным батальонам. Место на горе было узкое, и линии вступали в бой по очереди - по мере того как солдаты из передних линий гибли под огнем. Вот как Болотов описывает эти драматические события: «И хотя они (линии. - *Е.А.*) сим подобным образом выставляемы были власно как на побиение неприятелю, который, ежеминутно умножаясь, продвигался отчасу далее вперед и с неописанным мужеством нападал на наши маленькие (в смысле узкие. - *Е.А.*) линии, одну за другой истреблял до основания, однако, как и они (русские

линии. - *Е.А.*), не поджав руки стояли, а каждая линия, сидючи на коленях, до тех пор отстреливалась, покуда уже не оставалось почти никого в живых и целых, то все сие останавливало сколько-нибудь пруссаков» *(Болотов, с.237)*.

Одновременно с атакой во фланг Большой Шпиц был атакован пруссаками и с фронта и с тыла. Русские войска попали под перекрестный огонь. Наступил критический момент битвы - потеря центральной позиции на Большом Шпице означала катастрофу. Но здесь, как и в других битвах, помогло мужество русских солдат, которые гибли целыми шеренгами, но стойко держались под убийственным огнем. Атаки прусской кавалерии с тыла отбили Румянцев и Лаудон, наступление прусской пехоты с фронта захлебнулось из-за контратак русской пехоты и убийственного огня многочисленной и проворной русской артиллерии. Теперь наступил критический момент битвы для Фридриха. Богиня Победы, немного покружив над его командным пунктом, упорхнула на вершину Большого Шпица, где со зрительной трубкой стоял старичок с косичкой на затылке…

У Фридриха осталась последняя надежда - сплоченный удар эскадронов Зейдлица. Но атака вышколенных прусских кавалеристов провалилась из-за сильного огня русских пушек. Потом по Зейдлицу ударила русская и австрийская кавалерия, а затем русская пехота бросилась в штыки. Солдаты перебрались через овраг и вновь овладели Мюльбергом. Попытки Фридриха перехватить инициативу не удались, его войска побежали. Военные теоретики отмечали, что Фридрих пал жертвой своей тактики флангового удара. Этот обычно эффективный удар был нанесен в узком месте, что не позволило использовать всю мощь сосредоточенных здесь и превосходивших противника сил пехоты и конницы. В конечном счете, обороняться на узком участке фронта было легче, чем наступать. Разгром прусской армии оказался сокрушительным, Фридрих потерял 23 тысячи человек, русским достались большие трофеи. Потери войск Салтыкова были также велики - 13 тысяч человек. После битвы он мрачно пошутил: «Ежели мне еще такое же сражение выиграть, то принуждено мне будет одному с посошком в руках несть известие о том в Петербург».

Фридрих чуть не попал в плен к русским и был спасен своими гусарами. В отчаянии он писал одному из своих приближенных: «Я несчастлив, что еще жив. Из армии в 48 тысяч человек у меня не остается и 3 тысяч. Когда я говорю это, все бежит, и у меня уже нет больше власти над этими людьми. В Берлине хорошо сделают, если подумают о собственной безопасности. Жестокое несчастье! Я его не переживу. Последствия дела будут хуже, чем

оно само. У меня нет больше никаких средств, и, сказать правду, я считаю все потерянным» *(PC, 13, p.481)*. Нет, пожалуй, ни одного отечественного издания, где бы ни были приведены эти похвальные для нашего оружия слова. Но Фридрих - натура эмоциональная, он был склонен преувеличивать. Не остудив голову после горячего боя, он переоценил свои потери и, кроме того, думал, что его противник будет так же решителен, как был бы решителен он сам. Но Салтыков оказался другим человеком.

Простояв несколько дней на поле победы, он пошел не к Берлину, а навстречу армии Дауна. По-видимому, необычайно жаркое сражение подорвало и его силы. Да Салтыков и не доверял своей победе над Фридрихом. Он знал, что король - полководец опытный. И верно, немного успокоившись, Фридрих стал собирать своих беглецов на реке Шпрее у Фюрстенвальда, начал подтягивать войска из гарнизонов, и вскоре у него набралось не менее 30 тысяч для обороны столицы.

Даун был готов дать Салтыкову для похода на Берлин 10-тысячный корпус Лаудона и 12-тысячный корпус генерала Гаддика, который знал дорогу к Берлину лучше всех: в 1757 году он уже захватывал прусскую столицу, где и его хорошо запомнили - такую огромную контрибуцию он содрал с берлинских бюргеров! Салтыкову предложенные силы казались недостаточными. Даун же сам двигаться на Берлин не хотел. У него за спиной стояли две прусские армии - одна в Саксонии, другая в Силезии. В общем, союзники никак не могли договориться.

Каждый стоял на своем, а время уходило. Более того, Даун предлагал Салтыкову действовать вместе в Силезии. Русский же командующий боялся слишком далеко оторваться от своих коммуникаций с Восточной Пруссией и Польшей, где находились его провиантские склады. Салтыков также считал, что сами австрийцы мало работают на общую победу над Фридрихом и хотят получить ее за счет русских. Начались неудовольствия и взаимные попреки.

Военные и дипломатические плоды блестящей победы под Кунерсдорфом так и не удалось собрать. Вскоре выяснилось, что Салтыков страдает той же болезнью, что и его предшественники - нерешительностью и медлительностью. Моральная ответственность за врученную ему армию, распри с австрийцами угнетали его, и победитель пал духом, опять стал «курочкой». С нескрываемым раздражением императрица Елизавета, еще недавно восхищавшаяся победителем, писала новоиспеченному фельдмаршалу по поводу его рапортов: «Хотя и должно заботиться о сбережении нашей армии, однако худая та

бережливость, когда приходится вести войну несколько лет вместо того, чтобы окончить ее в одну кампанию, одним ударом». В итоге, более 18 тысяч жизней русских солдат, погибших в 1759 году, оказались напрасной жертвой - противник побежден не был. В середине кампании 1760 года Салтыкова пришлось сменить на фельдмаршала А. Б. Бутурлина.

Тем временем в окружении Елизаветы росло недовольство как действиями армии, так и общей ситуацией, в которой оказалась Россия. Победа под Кунерсдорфом досталась русским неслучайно. Она отражала возросшую мощь армии. Опыт непрерывных походов и сражений говорил о том, что армия эта хороша, но ее полководцы действуют не так решительно, как нужно. В рескрипте Салтыкову 13 октября 1759 года Конференция при высочейшем дворе отмечала: «Так как король прусский уже четыре раза нападал на русскую армию, то честь нашего оружия требовала бы напасть на него хоть однажды, а теперь - тем более, что наша армия превосходила прусскую и числом, и бодростью, и толковали мы вам пространно, что всегда выгоднее нападать, чем подвергаться нападению».

Активности требовала вся ситуация на театре войны. Нерасторопность союзных генералов и маршалов (а против Фридриха воевали Австрия, Франция, Россия, Швеция, многие германские государства) приводила к тому, что четвертую кампанию подряд Фридрих выходил сухим из воды! И хотя союзные армии превосходили прусскую армию в два раза, победами и не пахло: Фридрих, непрерывно маневрируя, нанося удары поочередно каждому союзнику, умело восполнял потери, уходил от общего поражения в войне. С 1760 года король стал вообще неуязвим. После поражения под Кунерсдорфом он стал избегать, по возможности, сражений и непрерывными маршами, ложными выпадами доводил до исступления австрийских и русских полководцев. Такое изменение стратегии и тактики Фридриха предвидели в России. В мемории австрийскому правительству в конце 1759 года говорилось, что русские победы заставят короля «последовать другим правилам и меньше полагаться на свое счастье и ярость нападений». Так и оказалось. Примерно в то же время Фридрих, размышляя о неудаче Карла XII в Полтавском сражении 1709 года, в корне изменившем судьбу короля, писал, что идти на генеральное сражение стоит только тогда, когда «можешь потерять меньше, чем выиграть» и когда решительный удар приводит к полному поражению противника. Сломя же голову бросаются в битву только посредственные генералы. Себя среди таковых Фридрих не числил *(Дельбрюк, с.269)*.

Вот тогда и созрела идея занять Берлин, что позволило бы нанести Фридриху большой материальный и моральный ущерб. В конце сентября русский отряд генерала Тотлебена подошел к столице Пруссии и обстрелял город. Находившийся в городе генерал Зейдлиц, который лечился от боевой раны, организовал сопротивление русским. Но 24 сентября к 8-тысячному отряду Тотлебена подошли два отряда - Захария Чернышева (11,5 тысячи солдат) и австрийский отряд генерала Ласси (14 тысяч). В это время в Берлинском магистрате было созвано совещание, на котором обсуждался вопрос: кому сдавать город - русским или австрийцам. Как вспоминал один из участников совещания, купец Гочковский, предпочтение было отдано русским: «Австрийцы - настоящие враги, а русские только помогают им». Это мнение поддержал магистрат - ключи от ворот Берлина оказались в руках Тотлебена.

Но когда горожане узнали о сумме контрибуции, которую потребовали от них русские, им стало плохо, а городской голова Кирхейзен «пришел в совершенное отчаяние и от страха почти лишился языка». Тотлебен запросил 4 миллиона талеров или 40 бочек золота. Даже жадные австрийцы, которые в ноябре 1757 года уже занимали Берлин, взяли всего 2 миллиона. В магистрате вели совещания, а неприятельские солдаты гуляли по улицам города, их становилось все больше и больше, и между ними «заходила речь о разграблении» *(Гочковский, с.14-15)*. С мольбами и плачем берлинские толстосумы уговорили Тотлебена согласиться только на 15 бочек золота и 200 тысяч талеров. Позже Тотлебена заподозрили в том, что он оказался сговорчивым потому, что 16-я бочка досталась ему лично. За это его судили и приговорили к ссылке в Порхов.

Пока в Берлине собирали деньги, отряды союзников дотла сожгли оружейные заводы, цейхгаузы, магазины, склады с провиантом и амуницией в Берлине и в Потсдаме. Особо отличился сербский полковник Цветинович, дотла разоривший заводы знаменитого пригорода немецкой столицы. То, что союзники не смогли увезти с собой, ломали и топили в Шпрее. Узнав, что «скоропостижный» Фридрих стремительно движется на Берлин, триумфаторы поспешно ретировались из обобранного города.

Берлинская операция не могла восполнить неудачи на других театрах военных действий. Главный противник Пруссии - австрийская армия действовала крайне неудачно, терпела поражения от Фридриха, а ее командующие так и не смогли найти общий язык с русскими. Недовольство Петербурга вызывало то, что с самого начала войны России отводилась

подчиненная роль, она обязывалась все время подыгрывать Австрии, воевавшей за Силезию. Русские же стратегические и имперские интересы между тем были нацелены в другом направлении. С 1760 года русские дипломаты все решительнее требовали от союзников солидной компенсации за пролитую на общую пользу кровь. В виде главного приза за победу в Петербурге надеялись получить Восточную Пруссию с Кенигсбергом. Она была не просто оккупирована Россией, а фактически присоединена. Ее население присягнуло в верности новой государыне. Елизавета шла по пути своего отца, который после взятия Риги и Лифляндии в 1710 году, то есть за 11 лет до заключения мира со Швецией, вынудил население Риги присягнуть ему как своему государю.

В 1758 году доцент Иммануил Кант просил свою новую государыню утвердить его профессором кафедры логики и метафизики при Кенигсбергском университете. Он сообщал, что «написал по этим наукам две диссертации», четыре статьи, три программы и три философских трактата. «Готов умереть в моей глубочайшей преданности Вашему императорскому величеству» - заканчивал Кант, точнее «наиверноподданнейший раб Еммануэль Кант» *(Бартенев Ю., с.455)*. Но императрице Елизавете Петровне успехи Канта в науках показались недостаточными, и она утвердила в профессорах другого кандидата - некоего доктора Бука, который и попал на эти страницы только потому, что его предпочли гениальному немецкому философу.

Стремясь наверстать упущенное, русская армия всерьез взялась за осаду ключевой на прусском побережье крепости Кольберг, контроль над которой позволил бы решительнее действовать против Фридриха и столицы его королевства. Осада эта - довольно печальная страница русской военной истории. Впервые крепость пытался взять в 1758 году В. В. Фермор. Но ему не удалось даже подойти к укреплениям крепости - русские войска завязли на подступах к ней. Тогда было решено высадить десант с кораблей русской эскадры. Этому благоприятствовало отсутствие у Пруссии военно-морского флота. Но русские моряки боялись не пруссаков, а штормового ветра. При дочери Петра Великого флот находился в плачевном состоянии. Во время шторма из 27 транспортных судов на дно отправились одиннадцать. Идея десанта провалилась, и армия отошла от крепости. Во второй раз крепость пытались взять в 1760 году с помощью десанта под командованием адмирала Мишукова, который пришел к крепости с эскадрой из 27 линейных кораблей и фрегатов и 17 вспомогательных судов. Им на помощь прибыли еще 9 шведских кораблей. Но трехтысячный десант успел только

высадиться на берег. Было получено сообщение о подходе к Кольбергу крупных сил пруссаков, и Мишуков поспешно снял осаду и отбыл в Ревель. Как писал Иван Шувалов Михаилу Воронцову, это был «поступок, делающий стыд нашему оружию. Впрямь думают, что только умеем города жечь, а не брать» (*Письма Шувалова, с.1402)*. Действительно, за русскими войсками в Германии тянулась дурная слава. Особенно памятно было уничтожение города Кюстрина, сожжение множества сел и деревень. Очевидец действий русских в Пруссии, шведский граф Гордт, вспоминал: «Нет такого ужасного поступка, который не совершили бы ее (Елизаветы. - *Е.А.*) войска во владениях короля» *(Гордт, с.304)*.

В 1761 году русское командование решилось взяться за Кольберг всерьез. Командующим осадным корпусом был назначен П. А. Румянцев. Начал он весьма решительно, пытаясь обложить крепость со всех сторон. Но это Румянцеву просто фатально не удавалось. Сначала русские войска не смогли овладеть господствующими над городом высотами, на которых размещались форты. Вскоре в крепость, прямо через лагерь осаждающих, прорвались войска прусских генералов Платена и принца Вюртембергского. В итоге гарнизон крепости удвоился, и атаковать ее русскому осадному корпусу стало невозможно. Флот, державший морскую блокаду, из-за плохой погоды снялся с якоря и ушел в Россию. Наступала зима. Военный совет рекомендовал Румянцеву снять блокаду. Но командующий был уязвлен - он решил драться до конца. Пруссаки, привыкшие, что с наступлением холодов русские уходят из-под крепости, такого поворота дела не ожидали. Пришедшая ранее к ним подмога оказалась бременем для коменданта крепости - войска Платена и принца Вюртембергского исправно подъедали продовольственные запасы осажденных. Крепости грозил голод. Наконец принц Вюртембергский решил уйти из Кольберга, и это ему, к стыду Румянцева, удалось. Воспользовавшись туманом и беспечностью осаждавших, принц со своим корпусом вырвался из Кольберга на стратегический простор. За ним намеревался двинуться и оставшийся гарнизон. Но Румянцев все же не допустил еще одного прорыва и объявил ультиматум коменданту, угрожая кровавым штурмом города. Комендант сдал крепость, и более трех тысяч человек ее гарнизона сложили оружие *(Бескровный, с.286)*.

Это произошло 5 декабря 1761 года. В армии были очень довольны этим успехом. Как писал генерал Чернышов, «теперь этот Фридрих Великий увидит, что значит нажить себе врагом [Российскую] империю, ее войска идут, сражаются, берут

крепости в то время, когда все остальные народы пугаются сырого зимнего воздуха и еще менее смеют помышлять о каких-либо предприятиях». О цене этой победы Чернышов написал в другом письме: «Впрочем, я считаю чудом, что наша армия не умерла от голода, так как многие дни у солдат не было хлеба и по шесть месяцев им не давали жалованье» *(Граф Чернышов, с.184, 186)*.

К этому времени положение Пруссии стало тяжелым. Основные силы государства были исчерпаны, лучшие воины убиты, города и деревни разорены. Унижение или самоубийство ожидало Фридриха. Он состарился за несколько месяцев. Как вспоминает приближенный Фридриха II Гейсер, он видел короля в декабре 1761 года, сидящим в уцелевшей от пожара части Бреславского дворца. «Он представляется нам как бы сидящим на развалинах, не имеющим перед собой ничего в виду, кроме развалин. Оторванный от общества, неподвижно устремив взоры в темное будущее, он почти ничего не видит, не заводит речи ни о чем, кроме деловых разговоров».

И вот, в самом начале 1762 года для короля блеснул «солнечный луч» - 25 декабря 1761 года умерла императрица Елизавета Петровна, и король получил послание от только что вступившего на престол Петра III с предложением заключить мир без всяких уступок и контрибуций. Фридрих тотчас ответил: «Моя голова так слаба, что я не могу вам ничего больше сказать, только одно - царь России божественный человек, которому я должен воздвигнуть алтари». Король назвал Петра «государем, у которого сердце поистине немецкое», что, в общем-то, верно *(Письма Фридриха, с.13)*.

В апреле 1762 года сепаратный мир был подписан, Восточная Пруссия была возвращена королю, русские, по воле императора, начали собираться в поход на Данию, некогда обидевшую Голштинию, и Фридрих несколько воспрянул духом. Время работало на него. Французы, австрийцы и все другие участники войны уже устали от конфликта и искали пути к миру. Война закончилась в 1763 году подписанием двух договоров - 10 февраля в Париже и 15 февраля в саксонском замке Губертсбург. Парижский мир принес победу Англии - она отняла у Франции Канаду, большую часть Луизианы, получила Флориду, острова в Вест-Индии, Сенегал, владения в Индии. Куба отошла к Испании. На море укрепилось английское господство. В замке Губертсбург собрались представители Пруссии, Саксонии и Австрии. Вечный спор Марии-Терезии с Фридрихом из-за Силезии все-таки закончился в пользу Фридриха - даже истекая кровью, он не выпустил из рук добычу своей молодости. Мария-Терезия была в трауре - Силезия осталась у врага. Польский король получил

назад свою «отчину» - Саксонию, уже изрядно ограбленную пруссаками. Россия на конференции не присутствовала - реки пролитой русской армией крови ушли в песок, все перечеркнуло сепаратное соглашение Петра III с Фридрихом. Восточную Пруссию пришлось оставить Фридриху, хотя король больше никогда не приезжал в анклав - он презирал его жителей за то, что, присягнув Елизавете, те изменили ему.

Прошло совсем немного времени, и мир забыл, из-за чего, собственно, поссорились один малосимпатичный господин из Берлина и три прекрасные дамы из Вены, Версаля и Петербурга.

ГЛАВА 13
«Я БУДУ ЦАРСТВОВАТЬ ИЛИ ПОГИБНУ!»

Когда Елизавета Петровна стала императрицей Всероссийской, то первое, что она сделала, это вызвала из Киля - столицы Голштинии - своего племянника, сына своей старшей сестры Анны Петровны, герцога Карла Петера Ульриха. Он был сиротой. Его двадцатилетняя мать умерла вскоре после рождения сына 10 февраля 1728 года, а отец, герцог Карл-Фридрих, скончался в 1739 году, оставив престол 11-летнему сыну. В январе 1742 года голштинский герцог был привезен в Россию.

Приехав в Россию, мальчик недолго оставался в немцах. Его перекрестили в православную веру, нарекли Петром Федоровичем, и 7 ноября 1742 года он был объявлен наследником русского престола, «яко по крови нам ближнего, которого отныне великим князем с титулом «Его императорское высочество» именовать повелеваем». В церквях Петра отныне поминали сразу после императрицы, при встрече не только он прикладывался к руке Елизаветы, но и она целовала его руку. Впрочем, формальный почет, который оказывали Петру Федоровичу, мало что значил в реальной политической жизни. Он оставался бесправен, несвободен, его совершенно не допускали к государственным делам.

Но не одной политикой руководствовалась императрица в отношениях с ним. Карл Петер Ульрих был не просто голштинский герцог, волею судьбы наследник русского престола, но и сын так рано умершей и такой любимой Елизаветиной сестрицы Аннушки. В его жилах текла кровь Петра Великого, этот мальчик был для Елизаветы единственным родным человеком. Поэтому императрица встретила его с распростертыми объятьями и поначалу даже полюбила его.

Как вспоминал учитель Петра Федоровича академик Штелин, во время крещения мальчика в православную веру больше всех волновалась сама государыня, она «была очень озабочена, показывала принцу, как и когда должно креститься, и управляла всем торжеством с величайшей набожностью. Она несколько раз целовала принца, проливала слезы». После торжества императрица подарила племяннику новую прекрасную мебель, которая была сразу же расставлена в его апартаментах. На великолепном туалете «между прочими вещами стоял золотой

бокал и в нем лежала собственноручная записка Ее величества к… тайному советнику Волкову о выдаче великому князю суммы в 300 тысяч рублей наличными деньгами. Оттуда эта нежная мать возвратилась опять в церковь, повела великого князя в сопровождении всего двора в его новое украшенное жилище» *(Штелин, 1886, с.77-78)*.

Действительно, Елизавета вела себя, как нежная мать. Зимой 1744/45 года Петр Федорович внезапно слег с оспой в Хотилове на пути из Москвы в Петербург. Его невесту - будущую великую княгиню, а потом императрицу Екатерину II, которая ехала вместе с женихом, - немедленно отправили в Петербург, подальше от заразы. Как вспоминает Екатерина, недалеко от Новгорода ей встретилась взволнованная Елизавета, которая, узнав о болезни племянника, немедленно поспешила в Хотилово.

Мы знаем, что государыня всегда была легка на подъем. Но удивительно другое: наследник престола болел тяжко, долго, и все два месяца его болезни императрица не отходила от его постели, а когда больной поправился, вернулась вместе с ним в Петербург. Для этой отчаянной и непоседливой прожигательницы жизни, занятой только развлечениями, да к тому же особы весьма брезгливой и мнительной, такое поведение совершенно необычно. Известно, что она приказывала увозить захворавших придворных немедленно, несмотря на их состояние, прочь из дворца, в их городские дома, чтобы, не дай Бог, не натрясли заразы! Прожить два месяца зимой в забытом Богом Хотиловском яме государыня могла только по одной причине - из страха за жизнь дорогого ей существа.

Очевидно, государыня испытывала любовь и жалость к этому несчастному 13-летнему мальчику. Когда его привезли из Киля и представили тетушке, то все были поражены, до чего же он худосочен, забит, не развит. В 1745 году Елизавета даже распорядилась, чтобы русский посланник в соседней с Голштинией Дании Н. А. Корф собрал сведения о детстве наследника русского престола. Сведения эти оказались неутешительными. Мальчик с ранних лет попал в руки своего воспитателя, упомянутого выше графа Брюммера. Худшего наставника для юного герцога трудно было и придумать: как пишет Штелин, он относился к мальчику «большею частию презрительно и деспотически», издевался над ним, бил его, привязывал за ногу к столу, заставлял стоять коленями на горохе, лишал ужина. Ненависть к Брюммеру Петр сохранил и в России - придворные видели, как великий князь в гневе чуть не заколол шпагой своего обер-гофмаршала, с которым у него постоянно происходили стычки и скандалы.

Отец мальчика, Карл-Фридрих - личность вполне ничтожная, - повлиял на сына только в одном смысле: приучил его с ранних лет к шагистике, муштре, которые буквально впитались в душу ребенка и - ирония судьбы! - стали отличительной чертой всех последующих Романовых, буквально терявших голову при виде плаца, вытянутых носков и ружейных приемов. Впрочем, в ту пору было принято поручать воспитание принцев простым офицерам, а то и солдатам, всю жизнь тянувшим армейскую лямку и, как казалось, знавшим секрет изготовления из хилых и изнеженных няньками принцев великих полководцев. Так что голштинские офицеры, по указанию герцога взявшие семилетнего Карла Петера Ульриха в оборот, учили его тому, что знали сами: уставу, ружейным приемам, маршировке, дисциплине, порядку. Вспомним, что точно так же, но только с пяти лет, определил в рекруты своего сына Фрица прусский король Фридрих-Вильгельм I.

Конечно, от наставников-офицеров нельзя было ожидать знания системы Аристотеля или Коперника, а их вкусы, шутки и запросы отличались незатейливостью. Впрочем, любовь к военному делу, основанному на линейной тактике, требующей муштры, была присуща и Фридриху Великому. Но это не мешало ему быть образованным, остроумным человеком, выдающимся политиком. В истории будущего русского императора Петра III плац, лагерь, идеально ровный строй приобрели совершенно иное, гипертрофированное значение. В страсти к внешней стороне военного дела проявлялась не сила, а слабость этого человека; погружаясь в эту страсть, он спасался тем самым от внешнего - такого неприятного, сложного, враждебного мира обычной жизни. Но это наступило потом, уже в России, основы же такого мировосприятия были заложены в детстве, когда грохот барабанов на улице или развод на дворе замка прерывали любые занятия принца, и мальчик бросался к окну, чтобы насладиться видом марширующих солдат.

Екатерина II вспоминала, что когда она в детстве встретилась во дворце дяди с 11-летним герцогом, то заметила, что троюродный братец «завидовал свободе, которой я пользовалась, тогда как он был окружен педагогами и все шаги его были распределены и сосчитаны». Эта несвобода, чрезмерно суровое воспитание, отсутствие тепла и любви плохо сказались на характере наследника русского престола.

Императрица Елизавета, при всей ее любви к убогому племяннику, заниматься его воспитанием не могла, да и не умела - это дело требовало огромного труда и терпения. Она оставила при Петре Брюммера (неудачный выбор!), а также назначила

учителей, которые начали заниматься с наследником. Главным учителем Петра стал академик Якоб Штелин. В своих записках о Петре III он подробно рассказывает о том, как много он работал с юношей и каких успехов тот достиг. И хотя Штелина можно заподозрить в преувеличениях - ведь не мог же он публично признаться, что зря получал за многолетнее учительство деньги! - тем не менее видно, что Петр не был ни бездарным, ни слабоумным. Все, в том числе Екатерина II, посвятившая немало страниц «разоблачению» своего незадачливого супруга, признавали, что у него была редкостная память. Он много знал, с увлечением занимался точными науками, хорошо выучил русскую историю и мог без запинки «пересчитать по пальцам всех государей от Рюрика до Петра I». По многу часов он проводил в своей библиотеке, привезенной из Голштинии.

Как и каждый мальчик, на одних уроках он был внимателен и достигал успехов в учебе, на других пропускал материал мимо ушей, шалил, зевал. Поэтому в табели занятий за октябрь-ноябрь 1743 года мы читаем такие, проставленные учителем, отметки: «Хорошо» (фортификация о профилях), «Хорошо, но недолго» (русская история), «Очень хорошо» («Составляли профиль по данной линии на плане»), «Совершенно легкомысленно» (история), «Нагло, дерзко» (опять история), «Прекрасно» (профиль с плана). Возможно, преподаватель перегружал ученика историей. Уже говорилось о том, что больше всего мальчик любил военное дело, и, как писал Якоб Штелин, «видеть развод солдат во время парада доставляло ему гораздо больше удовольствия, чем все балеты, как сам он говорил мне в подобных случаях». Он же сообщает, что Петр имел успехи в учебе и в том, что ему нравилось, бывал особенно прилежен: «Однажды великий князь с плана крепости должен был мелом нарисовать ее на полу своей комнаты, обшитой зеленым сукном, по данному масштабу, но в гораздо большем размере… На это посвятили несколько вечеров. Когда крепость была почти готова, в комнату неожиданно вошла императрица и увидела великого князя с его наставником с планом и циркулем в руках, распоряжающегося двумя лакеями, которые, по его указанию, проводили по полу линии. Ее величество простояла несколько времени за дверью комнаты и смотрела на это, не будучи замеченной великим князем. Вдруг она вошла, поцеловала Его высочество, похвалила его благородное занятие и сказала почти со слезами радости: «Не могу выразить словами, какое чувствую удовольствие, видя, что Ваше высочество так хорошо употребляете свое время, и часто вспоминаю слова моего покойного родителя, который однажды сказал со вздохом вашей матери (то есть Анне Петровне. - *Е.А.*) и

мне, застав нас за ученьем: «Ах, если бы меня в юности учили так, как следует, я охотно отдал бы теперь палец с руки моей!» *(Штелин, 1886, с.80)*.

Самым важным этапом в жизни наследника Елизавета считала его женитьбу. Тут требовался тонкий династический расчет, потому что речь шла о продолжении рода Романовых. В подобных случаях при всех дворах обычно составлялся «реестр невест», основанный на донесениях посланников в иностранных государствах, - длинный аннотированный список девиц из королевских, герцогских и княжеских семейств, пригодных к браку с наследником. В этом реестре давались характеристики каждой девице, оценивалась чистота происхождения и состояние родителей, их политическое значение в обществе, а также приводились сведения о недостатках и порочащих кандидатку обстоятельствах.

Такой список, в частности, составили перед женитьбой французского короля Людовика XV в середине 1720-х годов. Русская цесаревна Елизавета Петровна стояла в списке на втором месте, но ее кандидатуру отвергли из-за того, что девица родилась до брака родителей и ее мать была из «подлых», простолюдинов. Не всегда могущество семьи кандидатки делало ее желанной невестой. Ведь это означало, что она привезет с собой «партию» родственников, с помощью родительских денег навербует себе сторонников. Подобное было крайне нежелательно при дворе жениха. Этим, кстати, и объясняется выбор невесты для Людовика. Ею стала дочь бывшего польского короля в изгнании Станислава I Лещинского, Мария. Станислав жил на французский пенсион, не имел никакой «партии» во Франции и был безобиден для французского двора, как и его дочь - совершенная бесприданница *(Гуч, с.54)*. Поэтому выбор, предложенный фавориткой правителя Франции принца Конде мадам де При, оказался безошибочен с политической точки зрения. По этой причине отвергли принцессу Уэльсскую, русскую цесаревну и многих других кандидаток. Выбор де При оказался удачен и с другой стороны - за десять лет Мария родила десять детей.

Женить наследника спешили во всех странах. Во-первых, нужно было «продублировать» правящего государя возможно большим числом внуков, во-вторых, созревшему к сексуальной жизни юнцу нельзя было позволить завести опасный адюльтер на стороне или увлечься мужчинами. Внешность кандидатки при выборе ее в невесты особой роли не играла, тем более что знакомство (и даже помолвка) было заочным, по присланному портрету юной особы. Вряд ли нанятый для этого художник мог

реалистично изобразить на своем холсте дурнушку - ведь все принцессы на портретах прелестны! Конечно, принцессу с каким-нибудь дефектом на лице пристроить бывало трудно, но и это случалось, особенно когда выбор невест был ограничен, а девица как будто годилась для деторождения. Хотя и здесь всегда имелся известный риск - проверить эту способность заранее было невозможно, и в этом смысле каждая невеста представляла собой «кота в мешке». Известно, что родители первой жены великого князя Павла Петровича скрыли от русского двора физический дефект своей дочери Августы-Вильгельмины, принцессы Гессен-Дармштадтской, ставшей в 1773 году великой княгиней Натальей Алексеевной и женой наследника престола. Так она и скончалась в 1776 году из-за своего физического недостатка, не позволившего ей разрешиться от бремени - несчастная женщина умерла вместе с ребенком.

О личной привязанности, любви при выборе невест для наследников думали в последнюю очередь. Прежде всего нужно было заботиться об интересах династии! Впрочем, жизнь есть жизнь, и некоторые коронованные супруги свыкались друг с другом и жили неплохо, а у иных молодых людей вспыхивала настоящая любовь, и казалось, что их брак заключен на небесах. Так, юный Людовик XV очень привязался к кроткой Марии Лещинской и лет десять среди своего развратного двора хранил ей верность, а брак Марии-Терезии и Франца I был просто образцовым.

С большим вниманием императрица Елизавета отнеслась к выбору невесты для племянника. Многие кандидатки были, по разным причинам, отвергнуты, в том числе дочь польского короля Августа III Мария-Анна. Долго в кандидатках ходила датская принцесса Луиза - девица воспитания и поведения отменного. Вице-канцлер Бестужев-Рюмин полагал, что нужно брать ее - всяко лучше, чем прусская принцесса, которая также была учтена в реестре. Однако императрица Елизавета, со свойственной ей привычкой не спешить в главном, высказала свои сомнения: «А мое мнение такое: понеже дело деликатное, то надлежит подумать… нет ли тут интрихи пруской и француской… чтоб и Данию от нас от союса отвлещи» *(Письмо принца, с.366-367)*. Как известно, сомнения особы коронованной рассматриваются как отрицательный ответ, и о Луизе в Петербурге тотчас забыли. И вот возник новый вариант.

София Августа Фредерика - таким было от крещения по лютеранскому обряду имя новой кандидатки. Она происходила из древнего, хотя и бедного, княжеского рода Ангальт-Цербстских властителей. Это - по линии отца, князя Христиана Августа. По

линии же матери, княгини Иоганны Елизаветы, ее происхождение было еще выше, ибо Голштейн-Готторпский герцогский дом принадлежал к знатнейшим в Германии. Брат же матери, Адольф-Фридрих (или по-шведски Адольф-Фредрик), занимал шведский престол в 1751 - 1771 годах.

София Августа Фредерика (по-домашнему Фике) состояла в родстве со своим будущим мужем. Карл Петер Ульрих приходился Фике троюродным братом. Схема их родства была такова: в конце XVII века Голштейн-Готторпский герцогский дом имел две линии - от старшего и младшего братьев. Старший брат герцог Фридрих II Голштинский погиб на войне в 1702 году. После него на голштинский престол вступил его сын, Карл Фридрих - муж цесаревны Анны Петровны и отец Карла Петера Ульриха.

Родоначальником младшей ветви голштинского дома был младший брат Фридриха II Голштинского, Христиан Август. Он-то и приходился дедом Фике, ибо его дочь Иоганна Елизавета (1712 года рождения) являлась ее матерью. У Иоганны Елизаветы был брат Адольф-Фридрих, епископ Любекский. После смерти Карла Фридриха он, дядя Фике, был назначен регентом при малолетнем голштинском герцоге Карле Петере Ульрихе.

К моменту рождения принцессы Софии отец ее командовал расквартированным в Штеттине (ныне Щецин, Польша) прусским полком, был генералом, а позже - в немалой степени благодаря брачным успехам своей дочери - стал, согласно указу Фридриха II, фельдмаршалом и губернатором. То, что он не сидел на троне в своем крошечном Цербсте, а состоял на службе у прусского короля, было делом обычным в Германии. Титулованные германские властители были много беднее какого-нибудь российского Шереметева или Салтыкова, и потому им приходилось идти на службу к могущественным государям - французскому, прусскому, русскому. По этому же пути с ранних лет пошел и отец будущей Екатерины, ведь доходами с крошечного домена семью не прокормишь. Фике родилась на свет 21 апреля 1729 года в сохранившемся до сих пор Штеттинском замке, и об этом появилась заметка в «Санкт-Петербургских ведомостях» от 13 мая: «Супруга князя Ангальт-Цербского, которой в королевской пруской воинской службе обретается, рожденная принцесса Голштейнготторпская родила в Штетине 2 дня сего месяца принцессу, которой при крещении имя София Августа Фредерика дано».

Детство Фике было обычным для ребенка XVIII века, пусть даже и из княжеского рода. Между родителями и детьми с ранних лет не было близости. Отец - человек пожилой, занятый делами,

существовал где-то вдали, и дети видели его редко. Мать же, Иоганна Елизавета, выданная замуж за 42-летнего Христиана Августа в 14 лет, была особой легкомысленной, увлеченной интригами и «рассеянной жизнью». Основное внимание она уделяла не детям (как вспоминала Екатерина, мать «совсем не любила нежностей»), а светским развлечениям. Забавно, что впоследствии, приехав с 14-летней дочерью - невестой великого князя - в Россию, 32-летняя Иоганна Елизавета вела себя так, как будто вся поездка была устроена ради нее одной, и завидовала дочери, оказавшейся, естественно, в центре внимания русского двора.

Княгиня, в отличие от своего мужа - служаки и домоседа, постоянно путешествовала по многочисленным родственникам, жившим в разных городах Германии. Фике и ее младшего брата Фридриха Августа часто возили вместе с матерью, и девочка с раннего возраста привыкла к новым местам, легко осваивалась в незнакомой обстановке, быстро сходилась с людьми. Впоследствии ей это очень пригодилось в жизни.

Конечно, домашнее образование, которое получила Фике, было отрывочным и несистематичным. Да из нее и не хотели делать ученую даму. Как только стало ясно, что Фике относительно здорова, ей определили иной удел - в 14-15 лет принцессе Софии предстояло стать женой какого-нибудь принца или короля.

Так было заведено в ее мире, и девочку издавна готовили к будущему браку, обучая этикету, языкам, рукоделию, танцам и пению. К последнему предмету Фике оказалась абсолютно непригодной из-за полного отсутствия музыкального слуха. Впрочем, уже того, чем она владела, было вполне достаточно, чтобы стать хорошей женой короля или наследника престола. И Фике с нетерпением ждала своего будущего мужа. «Я умела только повиноваться, - напишет она впоследствии. - Дело матери было выдать меня замуж». С детских лет она была готова отдать себя не тому, кто ей понравится, а багрянородному избраннику, которого судьба и родители, рано или поздно, дадут ей в мужья, и которого она, как честная и добропорядочная девушка, конечно, будет, по возможности, любить, подарит ему наследников, и все будет хорошо.

И вот наступил долгожданный день, решивший судьбу принцессы. Екатерина так вспоминала о нем: «1 января 1744 года мы были за столом, когда принесли отцу большой пакет писем; разорвав первый конверт, он передал матери несколько писем, ей адресованных. Я была рядом с ней и узнала руку обер-гофмаршала голштинского герцога, тогда русского великого

князя… Мать распечатала письмо и я увидела его слова: «с принцессой, вашей старшей дочерью». Я это запомнила, отгадала верно…» *(Екатерина, 1907, с.28)*.

В этом письме «от имени императрицы Елизаветы он приглашал мать приехать в Россию под предлогом изъявления благодарности Ее величеству за все милости, которые она расточала семье матери… Как только встали из-за стола, отец и мать заперлись, и поднялась большая суета в доме: звали то тех, то других, но мне не сказали ни слова. Так прошло три дня…» Екатерина пишет в мемуарах, что она заставила мать рассказать о письме подробно и сама уговорила родителей дать согласие на поездку в Россию.

В этом можно сомневаться. Известно, что Иоганна Елизавета уже давно занималась устройством своей дочери: посылала императрице Елизавете льстивые поздравления, портрет ее старшей сестры, голштинской герцогини Анны Петровны, а в марте 1743 года - вряд ли случайно - брат Иоганны Елизаветы голштинский принц Август лично привез в Петербург портрет принцессы Софии кисти художника Пэна. Он сохранился до наших дней: мы видим свежее, продолговатое лицо, маленький рот и тяжеловатый подбородок. Художник не очень приукрашивает натуру, но в повороте головы, смелом и внимательном без улыбки взгляде он показал нам личность и характер.

Фике устраивала Елизавету и заочно. Во-первых, девица была протестанткой, а это, как считала Елизавета, облегчало переход в православие, и, во-вторых, происходила «из знатного, но столь маленького дома, чтобы ни иноземные связи его, ни свита, которую она привезет или привлечет за собою, не произвели в русском народе ни шума, ни зависти. Эти условия не соединяет в себе ни одна принцесса в такой степени, как Цербстская, тем более что она и без того уже в родстве с Голштинским домом». Так императрица объясняла свой выбор вице-канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину *(Грот, с.10)*.

Бестужеву кандидатура не понравилась. Он опасался, что Фридрих II попытается использовать этот брак для усиления своих позиций в России. По поводу брака сестры Фридриха II с наследником шведского престола он, не без намека на ситуацию с Фике, писал Елизавете: «Супружества между великими принцами весьма редко или паче никогда по истинной дружбе и склонности не делаются, но обыкновенно по корыстным видам такие союзы учреждаются, и весьма надежно есть, что король Прусский в сем обширные виды имел и что он недаром оным так поспешал» *(АВ, 2, с.21-22)*. Однако открыто возражать императрице Бестужев не

посмел.

Уже 9 февраля 1745 года невеста с матерью оказались в Москве, в Анненгофе - дворце на Яузе, где их сердечно приняла императрица Елизавета. Еще раньше состоялось знакомство с великим князем - не дав гостьям раздеться, тот прибежал и сразу же стал болтать с Фике, как со старой знакомой. Да так это и было - они уже виделись в 1739 году в Германии. А потом начались смотрины. «Невообразимо было любопытство всех, как осматривали немок с ног до головы и с головы до ног». Так писала мать, хотя, надо полагать, смотрели, в первую очередь, на дочь. И она очень всем понравилась. «Восторг императрицы» - так описал первое впечатление Елизаветы от встречи с принцессой Софией учитель великого князя Петра Федоровича Якоб Штелин. «Наша дочь стяжала полное одобрение, - сообщала мужу Иоганна Елизавета, - императрица ласкает, великий князь любит ее» *(Бильбасов, с.75)*. И когда в начале марта Фике внезапно и тяжело заболела, императрица прервала богомолье в Троице-Сергиевом монастыре и поспешно вернулась в Москву. Екатерина вспоминала, что, очнувшись, она увидела себя на руках императрицы. Был огорчен болезнью Фике и великий князь, уже сдружившийся с нею. После этого эпизода сомнений не оставалось: все поняли, что кандидатура Фике утверждена высочайшей волей.

А до этого времени шла упорная борьба группировок при дворе. Как уже сказано выше, А. П. Бестужев-Рюмин опасался усиления влияния Пруссии на русскую политику в результате брака великого князя и цербстской принцессы. И опасения эти не были безосновательны. Иоганна Елизавета, выполняя наставления Фридриха II, не успев осмотреться в Москве, сразу же принялась интриговать в его пользу вместе с Шетарди, Лестоком, Брюммером и прусским посланником бароном Акселем Мардефельдом. В письме последнему Фридрих писал: «Я много рассчитываю на помощь княгини Цербстской» *(Бильбасов, с.72)*. Интриги княгини Иоганны Елизаветы против Бестужева, в сочетании с неумным, ревнивым в отношении дочери поведением, были замечены императрицей Елизаветой, вызвали сначала недовольство, а потом и гнев. После свадьбы (21 августа 1745 года) Петра и Фике, которая накануне перешла в православие и стала Екатериной Алексеевной, императрица выставила Иоганну Елизавету за границу и больше никогда не позволяла ей ни приезжать в Россию, ни переписываться с дочерью.

Фике в интригах не участвовала или, точнее сказать, ее участие в них было незначительно. Линия ее жизни все дальше и

дальше расходилась с линией матери, хотя Иоганна Елизавета так не считала и по привычке еще пыталась управлять дочерью. Примечательно, что при этом княгиня встречала все большее сопротивление со стороны императрицы, которая уже приняла Фике в свою маленькую семью и защищала ее интересы. Принцесса же, оказавшись в сказочной обстановке двора Елизаветы, с головой погрузилась в тот вечный праздник, который устроила себе и окружающим императрица.

«Я так любила танцевать, - писала в мемуарах Екатерина, - что утром с семи часов до девяти я танцевала под предлогом, что беру уроки балетных танцев у Ландэ, который был всеобщим учителем танцев и при дворе, и в городе; потом в четыре часа после обеда Ландэ опять возвращался, и я танцевала под предлогом репетиций до шести, затем я одевалась к маскараду, где снова танцевала часть ночи». Впрочем, вся радость вскоре улетучилась - брак ее оказался неудачным. Мечты о предназначенном ей принце, которого она должна была любить, довольно быстро рассеялись. Принц-то имелся, но любить его было невозможно, ему нельзя было отдать свое сердце - он в этом не нуждался, он этого даже не понял бы, потому что, несмотря на свои 17 лет, оставался ребенком, к тому же капризным и грубым…

Чрезмерную инфантильность Петра замечали давно, как и крайнюю невоспитанность. Его неумение вести себя прилично в обществе беспокоило Елизавету. В мае 1746 года А. П. Бестужев-Рюмин составил инструкцию обер-гофмаршалу двора великого князя. В ней предписывалось всемерно препятствовать играм и шуткам Петра с лакеями, служителями, «притаскиванию всяких бездельных вещей». Кроме того, нужно было смотреть, чтобы наследник достойно вел себя в церкви, не проявлял «всякого небрежения, холодности и индифферентности (чем в церкви находящиеся явно озлоблены бывают)». Наследнику запрещались игры с егерями, солдатами и «всякие шутки с пажами, лакеями или иными негодными и к наставлению неспособными людьми». Он, согласно предписанию Бестужева, должен был «остерегаться от всего же неприличного в деле и слове, от шалостей над служащими при столе, а именно от залитая платей и лиц и подобных тому неистовых издеваний» *(АВ, 2, с.104-111)*. Нельзя забывать, что речь идет не о дерзком сорванце-подростке, швырявшем тарелки в лакеев за столом, а о 19-летнем взрослом, женатом человеке.

Вот такой принц стал мужем Екатерины. В первые месяцы жизни Фике в России Петр сдружился с ней, но это не была та дружба юноши с девушкой, которая перерастает в любовь. «Ему

было тогда шестнадцать лет, он был довольно красив до оспы, но очень мал и совсем ребенок; он говорил со мною об игрушках и солдатах, которыми был занят с утра до вечера. Я слушала его из вежливости и в угоду ему; я часто зевала, не отдавая себе в этом отчета, но я не покидала его, и он тоже думал, что надо говорить со мною; так как он говорил только о том, что любит, то он очень забавлялся, говоря со мною подолгу. Многие приняли это за настоящую привязанность, особенно те, кто желал нашего брака, но никогда мы не говорили между собою на языке любви: не мне было начинать этот разговор, скромность мне воспретила бы это, если б я даже почувствовала нежность, и в моей душе было достаточно врожденной гордости, чтобы помешать мне сделать первый шаг; что же его касается, то он и не помышлял об этом, и это, правду сказать, не очень-то располагало меня в его пользу: девушки, что ни говори, как бы хорошо воспитаны ни были, любят нежности и сладкие речи, особенно от тех, от кого они могут их выслушать, не краснея».

Петру же нужна была не жена, а, как писала в тех же воспоминаниях Екатерина, «поверенная в его ребячествах». Она такою для Петра и стала, но не более того. В первую брачную ночь Екатерина, лежа в постели, долго прождала своего суженого, а когда «Его императорское высочество, хорошо поужинав, пришел спать, и когда он лег, он завел со мной разговор о том, какое удовольствие испытал бы один из его камердинеров, если бы увидал нас вдвоем в постели, после этого он заснул и проспал очень спокойно до следующего дня… Я очень плохо спала, тем более что, когда рассвело, дневной свет мне показался очень неприятным в постели без занавесок, поставленной против окон… Крузе (новая камер-фрау. - *Е.А.*) захотела на следующий день расспросить новобрачных, но ее надежды оказались тщетными, и в этом положении дело оставалось в течение девяти лет без малейшего изменения» *(Екатерина, 1907, с.71-72)*. По данным Казимира Валишевского, извлеченным им из депеш иностранных посланников в России, молодой человек долгие годы скрывал один редкий физический недостаток, который не позволял ему вступать в половую связь с женщиной и который легко устранили, как только об этом узнал придворный хирург. Но до этого момента прошло девять лет!

В остальном же в поведении Петра Федоровича не было ничего удивительного, за исключением отмеченного выше ребячества, которое тоже со временем прошло. В своем отношении к жене он, учитывая вышесказанное, был объят привычным для него страхом, но храбро воспроизводил общепринятую схему поведения «настоящего мужчины», который

должен презирать женщин и не испытывать к ним никаких теплых чувств. Так, вероятно, жили все его воспитатели из офицеров, так было принято в обществе. Кроме того, Екатерина заметила массу других несимпатичных черт мужа, которые стали также следствием неудачного воспитания и раздражали выросшую в иной обстановке Фике.

Читая мемуары Екатерины, мы видим Петра ее глазами, с его половины дворца до нас доносится визг истязаемых им собак, пиликанье на скрипке, какой-то шум и грохот. Иногда Петр вваливался на половину жены, пропахший табаком, псиной и винными парами, будил ее, чтобы рассказать ей какую-нибудь скабрезную историю, поболтать о прелестях и приятности беседы принцессы Курляндской или какой-либо другой дамы, за которой он в данный момент чисто платонически волочился. Часто он бывал груб, несдержан, капризен, болтлив. Екатерине надоедали его скучные разговоры о мелочах придворной жизни, обижали ухаживания за фрейлинами. Она уличала его в безмерном хвастовстве о подвигах, которых он никогда не совершал. Докучал ей и постоянный шум из комнат мужа, где тот дрессировал собак или играл с лакеями. Даже его игру на скрипке она воспринимала как «пиление», что и не мудрено. Известно, что врожденный недостаток устройства слуховых органов не позволял ей слушать музыку, которую она воспринимала как шум. В своих воспоминаниях Екатерина особенно много и с презрением пишет о постоянных играх наследника русского престола с куклами и игрушечными солдатиками.

Но не будем забывать, что молодой человек оказался под бдительным и назойливым контролем приставленных к нему императрицей людей; его совершеннолетие и женитьба ничего не изменили - даже выйти из дворца без личного распоряжения государыни он не мог, как и прежде. Весьма достойное для будущего полководца занятие солдатиками было одним из возможных способов подавить скуку. Императрица утратила всякую любовь к племяннику и старалась держать его подальше от государственных дел. Лишь с началом Семилетней войны в 1756 году ему разрешили посещать Конференцию при высочайшем дворе.

Избавление от надзора приходило летом, когда двор выезжал за город, и у великого князя появлялась большая свобода. В 1743 году императрица подарила Петру Ораниенбаум - бывшую усадьбу А. Д. Меншикова, где Антонио Ринальди построил дворец и крепость Петерштадт. И там Петр целиком отдавался постоянной военно-полевой игре, которая заменяла ему жизнь, он

создал соединение голштинских войск и летом в окрестностях Ораниенбаума проводил с ними маневры, походы, парады, разводы, научился (с большим трудом) курить трубку, лихо пил водку, но быстро пьянел и терял контроль над собой. Он превратился по виду в настоящего вояку, всегда дышавшего воздухом казармы. «Вид у него вполне военного человека, - писал Фавье. - Он постоянно затянут в мундир такого узкого и короткого покроя, который следует прусской моде еще в преувеличенном виде. Кроме того, он гордится тем, что легко переносит холод, жар и усталость». Последняя фраза выразительней всех других - вряд ли великие полководцы Фридрих II, Суворов или Наполеон гордились тем, что они легко переносят усталость, жару и холод. Этим гордятся только дети. В определенном смысле Петр так и остался ребенком. В военном строю, в казарме, среди утвержденного уставом неизменного порядка, он, как каждый слабый человек, искал защиты от противоречий жизни. Свой маленький комфортный военный мирок он противопоставлял большому миру Елизаветы, с присущими ему роскошью и беспорядком, куда он всякий раз ехал со страхом.

Личность Петра III Федоровича вызывала немало споров в науке. Как писал А. Б. Каменский, «встречавшиеся в литературе противоречивые оценки личности и деятельности Петра зачастую связаны с тем, что этот человек, с его сиротским детством, искалеченной юностью и трагическим концом, несомненно, вызывал сочувствие. Его любовь к музыке, детская вера в собственные таланты, простодушное хвастовство умиляют, а добрые и даже благородные побуждения, которыми он нередко руководствовался в делах, заслуживают уважения. Но ни по характеру, ни по психологическому складу, ни по умственным способностям он не годился на труднейшую роль российского императора» *(Каменский, с.535)*.

Понятие «годился» весьма условно. Вряд ли характер и умственные способности императриц Екатерины I, Анны Ивановны, да и Елизаветы Петровны были выше, чем у Петра III. Кажется, что среди этих объяснений несостоятельности Петра III недостает одного - того, что А. С. Мыльников назвал «комплексом двойного национального самосознания» *(Мыльников, с.113)*. В самом деле, юного герцога - владетеля пусть маленького, но самостоятельного государства, однажды вдруг забрали и увезли из дома. Он оказался заброшен чужой волей в далекую страну, с ее ужасным климатом, унылой столицей, грязными городишками, странной, почти языческой церковью, пугающей парной баней, в которую он отказывался идти под страхом смерти, высокомерной,

холопствующей знатью.

Как пишет Екатерина, слушая рассказы Петра, можно было подумать, что нет на свете прекраснее страны, чем его Голштиния. Ей, которую с ранних лет мать почти непрерывно возила по многочисленным родственникам, было чуждо понятие родины. Для Екатерины, женщины легко адаптировавшейся в любой обстановке, родина была там, где ей было хорошо. Не так обстояло с Петром III - его родиной навсегда осталась Голштиния. Он помнил о ней, тосковал, с радостью принимал земляков и всегда мечтал туда вернуться. Когда при дворе было решено обменять Голштинию на графство Ольденбург и тем самым привязать наследника русского престола к России, а заодно покончить давний территориальный спор Голштинии с соседней Данией, то канцлер Бестужев поначалу сумел уговорить Петра Федоровича, еще остававшегося голштинским герцогом, подписать необходимые документы об обмене. Но потом Петр заупрямился и, несмотря на давление со всех сторон, так и не подписал бумаги. В последние дни своей жизни, когда Екатерина свергла его с престола в результате переворота 28 июня 1762 года, он, в одной из своих записок, просил, чтобы его выслали за границу, в Голштинию.

Трагедия Петра III в том и состояла, что он был не только голштинский герцог, но и наследник российского престола. Его ждала корона одного из могущественных государств мира. Ему просто не повезло с судьбой, со страной. Останься он в Голштинии - и прожил бы, наверное, долгую жизнь, потом умер бы, оплаканный своими добрыми подданными как примерный герцог, ведь по характеру он совсем не был жестоким человеком. Возможно, что его жизнь сложилась бы несравненно лучше и в том случае, если бы он стал наследником шведского престола и после смерти короля Фредрика I в 1751 году сел на шведский трон. Но он попал в Россию, где за ним упрочилась обидная кличка немца, ненавистника России, любителя муштры, самодура, глупца и «шпиона» - так оценивали его в народе, о чем сохранилось немало дел в Тайной канцелярии елизаветинской поры.

Для подобного отношения имелись основания - Петр открыто высмеивал православие, не терпел гвардии, но зато любил привезенных из Голштинии солдат и офицеров, одевался в прусский мундир. Петр демонстративно вел себя не так, как было принято и как от него, внука Петра Великого, ждали. Он не считался с общественным мнением, которое, несмотря на подавленность русского общества, существовало в России и всегда оказывало сильное воздействие на поведение людей и

власти. Неосторожность, легкомыслие - это самое мягкое, что можно сказать о поведении такого человека. Даже когда наследника стали допускать к обсуждению государственных дел, он не сумел достойно проявить себя. Как писал Фавье в 1761 году, «если подозрительный нрав императрицы Елизаветы, а также интриги министров и фаворитов отчасти и держат его вдали от государственных дел, то этому, утверждают многие, еще более содействуют его собственная беспечность и даже неспособность. Вследствие этого он не пользуется почти никаким значением ни в Сенате, ни в других правительственных учреждениях» *(Фавье, с.195)*.

В отличие от своей жены, проявлявшей чудеса мимикрии, он так и не стал русским по поведению, мировоззрению, привычкам. Еще в 1747 году прусский посланник Финкельштейн провидчески писал Фридриху II: «Русский народ так ненавидит великого князя, что он рискует лишиться короны даже и в том случае, если б она естественно перешла к нему по смерти императрицы» *(Бильбасов, с.309)*. Когда же в 1761 году великому князю исполнилось 33 года, француз Лефермиер писал о нем то же самое: «Великий князь представляет поразительный пример силы природы или, вернее, первых впечатлений детства. Привезенный из Германии тринадцати лет, немедленно отданный в руки русских, воспитанный ими в религии и в нравах империи, он и теперь еще остается истым немцем и никогда не будет ничем другим… Никогда нареченный наследник не пользовался менее народной любовью. Иностранец по рождению, он своим слишком явным предпочтением к немцам то и дело оскорбляет самолюбие народа и без того в высшей степени исключительного и ревнивого к своей национальности. Мало набожный в своих приемах, он не сумел приобрести доверия духовенства» *(Лефермиер, с.194)*. И это видели буквально все.

Постепенно наследник превратился в почти открытого противника России. С началом Семилетней войны он не скрывал своих симпатий к Фридриху II, радовался успехам прусского оружия. Ненависть и сопротивление всему, что исходило от Елизаветы, России, русских, делало его глухим к тому, что сообщали о войне в России. Как писал Штелин, «обо всем, что происходило на войне, получал его высочество, не знаю откуда, очень подробные известия с прусской стороны и если по временам в петербургских газетах появлялись реляции в честь и пользу русскому и австрийскому оружию, то он обыкновенно смеялся и говорил: «Все это ложь: мои известия говорят совсем другое» *(Штелин, 1886, с.93)*. В письме Фридриху II уже после своего вступления на престол он писал, благодаря короля за

похвальные отзывы о нем: «Я в восторге от такого хорошего мнения обо мне Вашего величества! Вы хорошо знаете, что в течение стольких лет я вам был бескорыстно предан, рискуя всем, за ревностное служение вам в своей стране с невозможно большим усердием и любовью». Есть основания думать, что Петр имеет в виду ту информацию о заседаниях Конференции при высочайшем дворе, которую он передавал пруссакам *(Письма императора, с.9; Письма Фридриха Второго, с.9)*.

Вероятно, немалая вина за неудачную натурализацию Карла Петера Ульриха лежит на Елизавете. Выше уже говорилось о том, как тепло императрица отнеслась поначалу к своему племяннику. Но после свадьбы наследника императрица фактически удалила его от себя, а потом стала обращаться с ним все хуже и хуже. Для этого было немало причин. Повзрослев, Петр Федорович не стал таким, каким его хотела видеть императрица. А каким он должен был стать, она и сама толком не знала. Ее раздражало его поведение, окружение, занятия. Императрица деспотично пыталась «поправить» положение - удаляла от Петра близких ему людей, требовала беспрекословного подчинения, устраивала племяннику головомойки. Он же, в отличие от своей жены, не умел ловко обмануть, слукавить. Поэтому всегда страшно боялся гнева государыни, ее ругани, угроз отправить его в Тайную канцелярию. С детских лет он был запуган жестоким обращением Брюммера и всегда отличался трусостью. Об этом сказано в записках Екатерины, об этом свидетельствуют и другие материалы. В 1752 году в Тайной канцелярии рассматривалось дело поручика Астафия Зимнинского, который с товарищами говорил: «Нынешний наш наследник - трус, вот как намедни ехал он мимо солдатских гвардии слобод верхом на лошади и во время обучения солдат была из ружья стрельба… тогда он той стрельбы испужался и для того он запретил, чтобы в то время, когда он проедет, стреляли» *(РГАДА, 7, 5, ч.2, л.62)*. Переезд в Россию не изменил этой атмосферы запугивания, а, как известно, страх - плохой воспитатель молодых людей. В итоге, императрица так и не стала ему родным, близким человеком. Все, что исходило от нее, он с трудом терпел, тихо ненавидел и всего отчаянно боялся.

В постепенном изменении отношения государыни к племяннику отрицательную роль сыграло окружение, придворная камарилья, которая, стремясь угодить настроениям и пристрастиям Елизаветы, доносила о каждом шаге великого князя, передавала каждое его слово. А он, как известно, был несдержан на язык, и это ему очень вредило в глазах Елизаветы. От добрых, мирных отношений не осталось и следа. Как писала Екатерина II, бывшая свидетельницей бесконечных семейных

раздоров, «умом и характером они были до такой степени несходны, что стоило им поговорить между собою пять минут, чтобы неминуемо повздорить. Это не подлежит никакому сомнению».

Нельзя сбрасывать со счета и подозрительность императрицы, всегда боявшейся за свою власть. С одной стороны, ей был нужен наследник, но, с другой, она ему не доверяла, видела в великом князе соперника и опасалась, что кто-то сможет использовать его неустойчивый характер для заговора. Он жил, окруженный шпионами царицы. Особо встревожило ее дело Иоасафа Батурина. Это был человек деятельный, фанатичный и психически неуравновешенный, он отличался также склонностью к авантюризму и умением увлекать за собой людей. Подпоручик Бутырского пехотного полка, расквартированного в Москве, где в этот момент (летом 1749 года) находился двор, Батурин составил план переворота, который предусматривал вполне достижимые цели: изоляцию придворных, арест императрицы. Планировали и убийство ее фаворита А. Г. Разумовского - командира лейб-компании: «Того-де ради хотя малую партию он, Батурин, сберет и, нарядя в маски, поехав верхами, и, улуча его, Алексея Григорьевича, на охоте изрубить или другим манером смерти его искать он будет», в частности с помощью мышьяка *(Об Батурине, с.340-345)*. Планы Батурина не кажутся невыполнимыми. Он намеревался захватить инициативу и после ареста императрицы Елизаветы и убийства Разумовского вынудить высших иерархов церкви срочно провести церемонию провозглашения великого князя Петра Федоровича императором Петром III.

Батурин имел сообщников в армии, следствие показало также, что он договаривался и с работными людьми московских суконных фабрик, которые как раз в это время бунтовали против хозяев и начальства и могли бы, за деньги и посулы, примкнуть к заговорщикам. Батурин был убежден, что сможет «подговорить к бунту фабришных и находящейся в Москве Преображенский батальон и лейб-компанцов, а они-де к тому склонны и давно желают» *(РГАДА, 7, 1, 2041, л.144)*.

Батурин и его сообщники предполагали получить от Петра Федоровича деньги, раздать их солдатам и работным людям, обещая последним, именем великого князя, выдать тотчас после переворота недоплаченное им жалованье. Заговорщики думали с силами солдат и работных «вдруг ночью нагрянуть на дворец и арестовать государыню со всем двором», тем более что двор и императрица часто находились за городом, в плохо охраняемых временных помещениях и шатрах. Солдат он «обнадеживал… что которые-де будут к тому склонны, то его высочество пожалует

теми капитанскими рангами и будут на капитанском жалованье так, как ныне есть лейб-компания» *(Об Батурине, с.343)*. Здесь, как и в истории заговора Турченинова, мы видим стремление заговорщика сыграть на зависти солдат к успеху лейб-компанцев.

Наконец, Батурин сумел даже подстеречь на охоте великого князя и во время этой встречи, которая привела наследника престола в ужас, пытался убедить Петра Федоровича принять его предложение. Как писала в своих мемуарах Екатерина II, «замыслы его дела весьма нешуточны» *(Екатерина, 1907, с.89)*.

Но заговор Батурина не удался, в начале зимы 1754 года его арестовали, посадили в Шлиссельбургскую крепость, где в 1767 году он ухитрился склонить к побегу конвойных солдат, но его опять постигла неудача: разоблачение и ссылка на Камчатку. Там в 1771 году, вместе с Беньовским, он устроил-таки бунт, захватил судно и бежал из пределов России, пересек два океана и умер у берегов Мадагаскара. Вся его история говорит в пользу того, что такой авантюрист, как Батурин, мог, при благоприятном стечении обстоятельств, добиться поставленной цели - совершить, с помощью «скопа и заговора», «бунт» - государственный переворот. Дело было раскрыто, но Елизавета испугалась и с этого времени стала еще меньше доверять племяннику, хотя вины его не было никакой. Однако, по-видимому, Елизавета так не считала - ведь Петр не сообщил ей о разговоре с Батуриным на охоте.

Не надеялся Петр и на поддержку в семье. Жена его не любила, всячески скрывала от него свои мысли, а потом и похождения. Нельзя сказать, что великий князь совсем не нуждался в семейном тепле и любви. Через его браваду и показную грубость иногда просвечивала искренняя тоска по любви. Этого, несмотря на нелюбовь к покойному супругу, не может скрыть в своих записках и сама Екатерина. Когда ее заподозрили в симпатиях к красивому камер-лакею Андрею Чернышеву и об этом стало известно Петру Федоровичу, то между супругами произошла трогательная сцена: после обеда Екатерина лежала на канапе и читала книгу, вошел муж, «он прошел прямо к окну, я встала и подошла к нему; я спросила, что с ним и не сердится ли он на меня? Он смутился и, помолчав несколько минут, сказал: «Мне хотелось бы, чтобы вы любили меня так, как любите Чернышева».

И позже он тянулся к ней - как и Екатерина, он был совсем одинок при дворе и за каждым шагом его следили. Когда от него убрали любимых камердинеров голштинцев Крамера и Румберга - самых доверенных и близких ему с детства людей, - то Петр, пишет Екатерина, «не имея возможности быть с кем-нибудь откровенным, в своем горе обращался ко мне. Он часто приходил

ко мне в комнату, он знал, скорее чувствовал, что я была единственной личностью, с которой он мог говорить без того, чтоб из малейшего его слова делалось преступление, я видела его положение, и он был мне жалок…» Но доверительной близости между супругами так и не сложилось. Слишком разными они были людьми, слишком разные они ставили цели в жизни.

Известно, что с годами семейной жизни супруги сближаются, противоречия сглаживаются, и они становятся даже в чем-то неуловимо похожи. В этой паре все было как раз наоборот: на семейном портрете супругов, относящемся к началу их общей жизни, они стоят неловко взявшись за руки: два так похожих друг на друга длинноносых подростка, сведенных вместе судьбой. Позднейшие портреты показывают, как они изменились, как сделались разительно несхожи - чужие люди, каждый из которых уже давно шел своей дорогой. С каждым годом их дороги расходились все дальше и дальше, и наступил момент, когда они уже не слышали друг друга - так далеки они стали.

Петр отчаянно защищался разными способами: ложью в юности, грубостью в зрелые годы, самоизоляцией в кругу лакеев и своих кавалеров-голштинцев, многолетней игрой в солдатики, идеализацией своей милой, зеленой Голштинии, безмерной любовью к Фридриху Великому. Но все это было как-то трогательно и одновременно карикатурно преувеличенно: и ложь, и грубость, и военные игры. Карикатурен и преувеличен был и его голштинский патриотизм, и любовь к потсдамскому кумиру. Карикатурен был и весь облик великого князя - узкоплечего, худого, в чрезмерно тесном мундире прусского образца с гигантской шпагой на боку и в чудовищной величины ботфортах.

Иной путь выбрала Екатерина. Она была рассудочна, эгоистична и с ранних лет честолюбива. Как она писала впоследствии, уже в молодости она поставила перед собой задачу сделать политическую карьеру и прилагала к этому много труда. Не получив правильного образования, она пополняла свои знания и развивала ум непрерывным чтением научной литературы. Не будучи русской, она усвоила ценности русского народа и искренне полюбила страну, которая так много ей дала и властвовать над которой (при муже или без него) она так хотела. Она писала в мемуарах: «Я, ставившая себе за правило нравиться людям, с какими мне приходилось жить, усваивала их образ действий, их манеру; я хотела быть русской, чтобы русские меня любили». В итоге, как пишет биограф Екатерины В. А. Бильбасов, «мало-помалу, под давлением весьма разнообразных фактов, обстоятельств, влияний, цербстская Фике стала заметно перерождаться в русскую Екатерину Алексеевну. Насколько

Екатерина успела уже обрусеть, показывает ее поступок со Шкуриным (камердинером. - *Е.А.*): вопреки запрещению Екатерины, Шкурин передал Чоглоковой довольно невинные слова великой княгини; узнав об этом, Екатерина вышла в гардеробную, где обыкновенно находился Шкурин, и «сколько было силы» дала ему пощечину, прибавив, что велит еще отодрать его. Похоже ли это на Фике из Цербста?» *(Бильбасов, с.231)*. Оказавшись среди чужих людей, веселая и внимательная, она постепенно приобрела немало друзей, и вокруг нее сложился кружок близких ей по духу приятелей и приятельниц, с которыми она, тайно убегая из дворца, проводила время. Некоторая свобода у великой княгини появилась, когда она исполнила свое предназначение - родила сына.

Мальчик родился 20 сентября 1754 года и рос при дворе Елизаветы, которая фактически отобрала ребенка у родителей. Вокруг происхождения Павла существует немало слухов. Наиболее распространено мнение, согласно которому истинным отцом будущего императора Павла I был не великий князь Петр Федорович, а Сергей Васильевич Салтыков, камергер двора великого князя. Несомненно, отсутствие в семье великого князя детей на протяжении столь длительного 9-летнего срока не могло не беспокоить Елизавету, желавшую продолжения рода Петра Великого: ведь она всегда помнила, что в Холмогорах, в заточении, сидят свергнутый ею император Иван Антонович и два его брата - Петр и Алексей, а также две его сестры - Екатерина и Елизавета, дети бывшей правительницы Анны Леопольдовны и принца Антона-Ульриха. Все это были потенциальные кандидаты на престол.

Примерно через девять месяцев после свадьбы Елизавета, видя, что брак не дал необходимого империи результата, приставила к великой княгине новую обер-гофмейстерину - свою двоюродную сестру Марию Чоглокову - и предписала ей тщательно наблюдать за Екатериной.

Согласно данной Чоглоковой в мае 1746 году инструкции, она была обязана «великой княгине, при всяком случае, ревностно представлять и неотступно побуждать, чтоб ее императорское высочество с своим супругом всегда, со всеудобьвымышленным добрым и приветливым поступком, его нраву угождением, уступлением, любовию, приятностию обходилась и генерально все то употребляла, чем бы сердце его императорского высочества совершенно к себе привлещи» с тем, чтобы «нам желаемое исполнение наших полезных материх видов исходатайствовать и всех наших верных подданных усердное желание исполнить. И для того вы крайнейшее старание

ваше приложите, дражайшее доброе согласие и искреннейшую любовь и брачную поверенность между обоими императорскими высочествами возможнейше и неотменно соблюдать, наималейшей холодности или недоразумению приятным советом и приветствованием обоим предупреждать и препятствовать, в неудачливом же случае нам вернейше о том доносить».

Несмотря на витиеватость стиля, задание, данное императрицей Чоглоковой, предельно ясно - от этого брака нужен ребенок, и главный смысл ее, обер-гофмейстерины, забот состоит в том, чтобы Екатерина вела себя так, как необходимо для зачатия и рождения ребенка. С точки зрения государственного, династического интереса, здесь нет ни цинизма, ни грубого вмешательства в интимную сферу человеческих отношений, а есть только государственная целесообразность и необходимость. В Китае, например, велся журнал соитий императора с его женами и наложницами. В Европе нередко бывало, что королевские роды проходили публично, в присутствии дам двора, чтобы не возникало подозрений в подмене родившегося ребенка. Естественно, что не менее важно было, чтобы отцом ребенка стал не кто иной, как муж королевы или принцессы. Этим, кстати, и объясняется столь строгий режим, постоянное наблюдение за Екатериной, отсутствие к ней всякого доверия со стороны Елизаветы. Сразу же после рождения Павла Петровича режим этот был резко ослаблен, и Екатерина получила невиданную ранее свободу.

Инструкция была написана, принята к исполнению, великий князь ни единой ночи не проводил за пределами спальни жены - за ним тоже велось постоянное наблюдение, но шли месяцы, годы, а детей так и не было. Елизавета даже запрещала Екатерине ездить на мужском седле, считая, что это может помешать беременности. Но все напрасно. Из предшествующего повествования мы поняли, что у Екатерины были свои, довольно жесткие взгляды на то, кто должен быть инициатором нормальной семейной жизни. Петр же хранил равнодушие к своей супруге. При этих обстоятельствах дети появиться не могли… Впрочем, предоставим слово самой Екатерине, которая, вероятно в 1774 году, написала «Чистосердечную исповедь» для своего фаворита Григория Потемкина.

Это была своеобразная амурная летопись, рассказ о мужчинах, бывших у Екатерины до Потемкина. «Марья Чоглокова, - начинает Екатерина, - видя, что через девять месяцев обстоятельства остались те же, каковы были до свадьбы, и быв от покойной государыни часто бранена, что не старается их переменить, не нашла инаго к тому способа, как обеим сторонам

сделать предложение, чтоб выбрали по своей воле из тех, кого она на мысли имела. С одной стороны выбрали вдову Грот, которая ныне за артиллерии генерал-поручиком Миллером, а с другой - Сергея Салтыкова и сего по видимой его склонности и по уговору мамы (то есть Елизаветы. - *Е.А.*), которую в том наставляла великая нужда и потребность. По прошествии двух лет Сергея Салтыкова послали посланником (в Швецию с объявлением о рождении цесаревича Павла Петровича. - *Е.А.*), ибо он себя нескромно вел, а Марья Чоглокова у большого двора уже не была в силе его удержать. По прошествии года и великой скорби приехал нынешний король Польский», то ест! Станислав Август Понятовский - второй фаворит Екатерины…

Близок к этому рассказу и отрывок из первого варианта мемуаров Екатерины, где она описывает под 1752 годом беседу с Чоглоковой, которая, после многословных отступлений, заявила, что «бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правила» и что «Вы увидите как я люблю свое отечество и насколько я искренна; я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтения представляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то избранник ваш последний». «На это я воскликнула: «Нет, нет, отнюдь нет». Тогда она сказала: «Ну, если это не он, то другой наверно». На что я не возразила ни слова, и она продолжала: «Вы увидите, что помехой вам буду не я». Я притворилась наивной…»

В принципе, мораль и высшие государственные цели позволяли Чоглоковой прибегнуть к подобному способу сексуального обучения своих подопечных. Нравы XVIII века, особенно при дворах государей, этому благоприятствовали - они были весьма вольные, если не сказать резче, и сама Екатерина в мемуарах часто рассказывает о постоянных интрижках, происходивших вокруг нее. Плоха была та дама, у которой не было своего «амуру». Измены считались нормой, а любовь в супружеской паре встречалась крайне редко: как с возмущением восклицала героиня одной из комедий А. П. Сумарокова, она «не какая-то посадская баба», чтобы мужа своего любить.

Несомненно, 26-летний Сергей Васильевич Салтыков - сам, кстати, человек женатый, нравился Екатерине и был ее первым увлечением, расставание с которым стало потом причиной «великой скорби». Он, «прекрасный, как день», появился в поле зрения великой княгини не сразу после первых девяти месяцев ее супружества, как может показаться нам из «Чистосердечной исповеди», а несколько лет спустя после назначения Чоглоковой в гофмейстерины великой княгини, в 1752 году, что согласуется с

последующей хронологией любовников по «Исповеди».

Рассказ о Салтыкове в мемуарах Екатерины овеян романтическим флером, так часто свойственным воспоминаниям о первой, самой чистой и возвышенной любви. А объяснение на охоте, беллетризированное впоследствии мемуаристкой, выглядит как сцена из романа: «Сергей Салтыков улучил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему: я слушала его терпеливее обыкновенного. Он нарисовал мне картину придуманного им плана, как покрыть глубокой тайной, говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно любит, и просил меня позволить ему надеяться, что я, по крайней мере, к нему не равнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения. Наконец, он стал делать сравнения между другими придворными и собою и заставил меня согласиться, что заслуживает предпочтения, откуда он заключил, что и был уже предпочтен. Я смеялась тому, что он мне говорил, но в душе согласилась, что он мне довольно нравится. Часа через полтора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему не равнодушна, я ответила: «Да, да, но только убирайтесь», а он: «Я это запомню» и пришпорил лошадь, я крикнула ему вслед: «Нет, нет!», а он повторил: «Да, да!» Так мы расстались». (Заметим при этом, что свидание происходило в имении Чоглоковых, с которыми Салтыков был тесно связан.)

Из всего вышесказанного еще не следует вывод о том, что отцом Павла был именно Сергей Салтыков, как полагают иные любители истории. Но слухам об этом не было конца, тем более что даже из приведенных отрывков видно, что Екатерине Салтыков нравился. И все же это не обязательно означает, что Павел - не сын Петра Федоровича, тем более что, по сведениям некоторых иностранных дипломатов, после уже упомянутой небольшой хирургической операции великий князь приобрел способность вступать в интимную связь с женщинами, в том числе и с собственной женой *(Наумов, с.295)*. Слухи о «зазорном» происхождении Павла ходили и при Екатерине-императрице, достигая ушей цесаревича Павла Петровича и, конечно, мало способствуя его психической уравновешенности.

С рождением сына отношения с мужем у Екатерины прекратились. Зато ей удалось наладить тесные связи с верхушкой русского общества. Для этого она использовала все

свое обаяние, хитрость, умение нравиться, быть простой и доброжелательной. Постепенно к ее умным речам стали прислушиваться и высокопоставленные сановники. Многие из них, видя характер наследника Петра Федоровича, его прусские симпатии, понимали, что будущее царствование может плохо для них кончиться.

Особенно глубоко призадумался канцлер Бестужев-Рюмин. Приход к власти Петра III означал бы для него катастрофу. И опытный интриган искал выход из положения, который бы спас его. Постепенно оформились несколько идей, которые предполагали некий план действий. Он сводился к тому, что в случае смерти императрицы Елизаветы Петровны на престол должен вступить не Петр III, а Павел I - сын Петра и Екатерины. Последняя же должна была стать регентшей при мальчике-императоре. Канцлер считал, что Екатерина Алексеевна имеет «характер в высшей степени твердый и решительный». Он вел тайные беседы с великой княгиней, составлял проекты будущего нового порядка, в котором с неизменностью отводил себе главное место при неопытной регентше.

Но он не знал масштабов честолюбия Екатерины. Она уже созрела для власти и готова была пуститься в плаванье самостоятельно. Между тем ее шансы занять престол Бестужев и многие другие наблюдатели оценивали крайне невысоко. Фавье в 1761 году писал о ней: «Нельзя отрицать, что великая княгиня - женщина большого ума, весьма образованная и способная к делу» *(Фавье, с.387-388)*. И это было общее мнение всех, кто в концу 1750-х годов знакомился с Екатериной. Наблюдатели подмечали, что великая княгиня весьма честолюбива и умна, превосходит в этом своего мужа и хочет властвовать. Но тут же следовало неутешительное для этой незаурядной женщины заключение - ее возможности никогда не будут реализованы. Этого ей не позволит, вступив на престол, Петр Федорович, не получит она власти и при любом другом варианте. Ее немецкое происхождение, отрыв от русского общества помешают ей прийти к власти. Только сама Екатерина думала иначе.

Она предполагала, что ей предстоит серьезная борьба, что ходят слухи о замысле Шуваловых провозгласить императором Павла, а его негодных родителей немедленно выслать в Голштинию. Этого Екатерина опасалась более всего - Россия для нее давно стала родиной, полем ожидаемой и бессмертной славы. Поэтому она все время готовила себя к борьбе, особенно когда примерно с 1756 года Елизавета стала болеть, и многие боялись, что она умрет. Екатерина установила связи с английским послом Чарльзом Уильямсом. В письме от 12 августа 1756 года великая

княгиня подробно рассказывала послу, как она будет действовать в день и час смерти императрицы Елизаветы, когда Шуваловы попытаются возвести на престол Павла и устранить от власти ее с мужем. Вспоминая ограниченного в своих правах ригсдагом шведского короля Адольфа-Фредрика, она пишет: «Вина будет на моей стороне, если возьмут верх над нами. Но будьте убеждены, что я не сыграю спокойной и слабой роли шведского короля и что я буду царствовать или погибну!» *(Переписка, с.25-27)*.

Это было кредо 25-летней женщины, уже давно мечтавшей о короне. Уильяме был самым близким ее политическим приятелем, он постоянно снабжал великую княгиню деньгами. Екатерина получила от английского правительства большие деньги - не менее тысячи золотых дукатов и 44 тысячи рублей *(Щепкин, 1901, с.7)*. Между посланником и Екатериной шла интенсивная переписка, особенно летом и осенью 1757 года, когда Елизавета заболела.

В письмах к посланнику великая княгиня откровенно раскрывала все свои планы будущего захвата власти. Детали их теперь уже не так важны и интересны, ценнее другое - письма к Уильямсу показывают нам ту Екатерину, которой нет в ее мемуарах. Здесь она предстает в новом обличий: цинична, расчетлива, смела, готова на многое ради власти и безмерно честолюбива. В письме от 9 августа 1756 года она сообщала о том, как быстро сумеет все устроить: «Пусть даже захотят нас удалить или связать нам руки - это должно совершиться в 2-3 часа, одни они (имеются в виду Шуваловы. - *Е.А.*) этого сделать не смогут, а нет почти ни одного офицера, который не был бы подготовлен, и если только я не упущу необходимых предосторожностей, чтобы быть предупрежденной своевременно, это будет уже моя вина, если над нами восторжествуют». Еще через два дня: «Я занята теперь тем, что набираю, устраиваю и подготовляю все, что необходимо для события, которого вы желаете, в голове у меня хаос интриг и переговоров».

Посланник, как и его отважный адресат в фижмах, с нетерпением ждали одного - скорой смерти Елизаветы, которой великая княгиня публично говорила комплименты и стремилась всячески угодить: «Чье-то здоровье никогда не было столь расшатанным… Достоверно то, что вода поднялась в нижнюю часть живота»; английский посол на это почти радостно писал: «У кого вода поднялась в нижней части живота, тот уже обреченный человек» *(Архангельский, с.341)*. 30 августа 1756 года Екатерина снова пишет: «Что-то здесь все хромает», а 4 октября подробно сообщает о водянке и опухоли ног, чьих - оба адресата знали. «Вчера среди дня случилось три головокружения или обморока.

Она боится и сама очень пугается, плачет, огорчается и когда спрашивают у нее отчего, она отвечает, что боится потерять зрение. Бывают моменты, когда она забывается и не узнает тех, которые окружают ее». «Она, однако, волочится к столу, чтобы могли сказать, что видели ее, но в действительности ей очень плохо» *(Переписка, с.186)*. 10 декабря - новое сообщение: «Императрица все в том же состоянии: вся вздутая, кашляющая и без дыхания, с болями в нижней части тела…»

Из этих писем видно: Екатерина убеждена, что ее час близится и Бог на ее стороне. «Невидимая рука, которая меня вела тринадцать лет по очень кочковатому пути, не допустит, чтобы я погибла, в этом я очень сильно и, может быть, очень глупо убеждена». Все затруднения и препятствия - от Елизаветы, Екатерина повторяет слова своего любовника, Станислава Августа Понятовского, появившегося в России в 1755 году: «Ох, эта колода! Она просто выводит нас из терпения. Умерла бы она скорее!» *(Чечулин, с.100-101)*.

Но вскоре пришлось дать отбой. «Колода» (в другом переводе - «бревно») поправилась. Суета, поднявшаяся в кругах «молодого двора» и в окружении Бестужева-Рюмина, насторожила императрицу, и до ее ушей дошли некоторые сведения об интригах против ее власти. Императрица приказала начать расследование. Дебют Екатерины - заговорщицы оказался крайне неудачным: Елизавета выздоровела, сговор Бестужева и Екатерины был раскрыт, и хотя следователям ничего не удалось раскопать о проектах старого канцлера и молодой предприимчивой дамы, дела обоих пошли как никогда плохо. На следствии Бестужев-Рюмин защищался хорошо и отверг все обвинения (тем более что улик против него не нашли). Когда его спросили о «планах на нынешнее, так и на будущее время, о которых бывший канцлер совещался… с друзьями великой княгини», то он отвечал хладнокровно вопросом на вопрос: «Возможно ли о том думать, ибо наследство уже присягами всего государства утверждено» *(Щепкин, 1902, с.458)*. Весной 1759 года Бестужева сослали в подмосковную деревню, откуда его вызволила только ставшая императрицей Екатерина II. Пострадали и другие люди, причастные к этому делу, которое явно квалифицировалось как заговор с целью захвата власти. Связанный с заговорщиками фельдмаршал Степан Апраксин умер на допросе в августе 1758 года, Понятовский и Уильяме были высланы за границу, а близкий Понятовскому Иван Елагин - в Казанскую губернию. Петр Федорович, страшно испуганный происшедшим, окончательно отвернулся от жены, избегая ее, как чумную.

«Бедная великая княгиня в отчаянии», «дела великой княгини плохи» - вот рефрен донесений иностранных дипломатов о Екатерине после падения Бестужева. Несколько месяцев она находилась в совершенной изоляции, фактически под домашним арестом, на грани истерики, писала императрице, прося доставить ей «неизреченное благополучие увидеть очи Вашего императорского величества». Но императрица Елизавета молчала.

Наконец, аудиенция в виде беспротокольного допроса все-таки состоялась, и Екатерина сумела, мобилизовав весь свой ум и волю, оправдаться перед высоким следователем, растопив сердце императрицы просьбой отправить ее в Германию к матери, если здесь, в России, ей совершенно не доверяют и держат за преступницу. Это был сильный ход Екатерины - кто же добровольно захочет покинуть земной рай, который был создан в России? Елизавета смилостивилась - в мае 1758 года Екатерине позволили бывать в обществе. Опаснейшая угроза всему существованию Екатерины миновала.

Для нее наступило очень тяжелое время: она переживала тяжелую драму расставания со Станиславом Августом. Но шли месяцы, потом год, другой - Станислав Август не возвращался, да как будто и не делал к этому никаких попыток. А между тем жить в одиночестве, среди врагов и равнодушных, так трудно… Тоска Екатерины постепенно стихает, скука незаметно улетучивается, и в 1760 году у нее появляется новый любовник - красавец, воин, сорвиголова отчаянной смелости: Григорий Григорьевич Орлов, артиллерийский капитан 25 лет, только что вернувшийся с войны в Пруссии, один из пяти братьев Орловых, известных своими подвигами на поле брани и успехами среди петербургских дам.

Орлов оказался подлинной находкой для Екатерины: за его широкой спиной можно было надежно спрятаться от невзгод жизни. Она обрела счастье в любви к нему - Орлов, настоящий рыцарь, мог за свою возлюбленную пойти в огонь и воду. Важно, что он был не придворный ловелас и повеса, как Салтыков, не иностранец - чужак для русских, как Понятовский, а природный русак, офицер, с которым водил компанию весь Петербург; он имел множество друзей, собутыльников, сослуживцев, его любили как доброго малого, веселого, щедрого - ведь в его распоряжении находились большие деньги артиллерийского ведомства, которые он, разумеется, тратил не только на изготовление новых артиллерийских фур… Имея уже опыт заговора и интриги, великая княгиня была спокойна. Свой лозунг «Я буду царствовать или погибну!» она не забыла, но терпеливо ждала своего часа…

И наконец, в 2 часа пополудни 25 декабря 1761 года, умерла императрица Елизавета Петровна…

ГЛАВА 14
НЕСЧАСТНОЕ РОЖДЕСТВО

Этой смерти ожидали уже давно - в конце 1750-х годов Елизавета Петровна болела все чаще и чаще. К своему 50-летнему юбилею в декабре 1759 года Елизавета сильно сдала. Все кремы, мази, пудры, ухищрения парикмахеров, портных, ювелиров были бессильны, приближалась безобразная старость. Австрийский посланник Мерси д'Аржанто осенью И ноября 1761 года писал, что государыня не занимается государственными делами, «умственные и душевные силы императрицы исключительно поглощены известными близкими ей интересами и совершенно отвлекают ее от правительственных забот. Прежде всего, ее всегдашнею и преобладающею страстью было желание прославиться своей красотой, теперь же, когда изменение черт лица все заметнее заставляет ее ощущать невыгодное приближение старости, она так близко и чувствительно принимает это к сердцу, что почти вовсе не показывается в публике». С 30 августа посланник только дважды видел ее в театре - вещь немыслимая прежде!

Годы ночной, неумеренной жизни, отсутствие всяческих ограничений в еде, питье, развлечениях - все это, рано или поздно, должно было сказаться на организме царицы. Весь двор был напуган неожиданными ударами, которые стали настигать Елизавету в самых неподходящих местах - в церкви, на приеме. Это были какие-то глубокие и довольно продолжительные обмороки. После них Елизавета подолгу не могла оправиться и оставалась в крайне слабом состоянии. Как вспоминает Екатерина II, «в то время нельзя ни говорить с ней, ни о чем бы то ни было беседовать».

И тем не менее она не соблюдала режим и старалась жить, как прежде. В декабре 1757 года французский посланник маркиз Лопиталь писал в Париж: «Императрица совершенно не придерживается режима, она ужинает в полночь и ложится в четыре утра, она много ест и часто устраивает очень длинные и строгие посты». Конечно, врачи постоянно занимались здоровьем императрицы. Они полагали, что главной причиной обмороков является тяжелый процесс климакса, неуравновешенность и истеричность больной, а также нежелание ограничивать себя в чем-нибудь. Как и надлежало врачам XVIII века, они выражались туманно и загадочно: «Несомненно, что по мере удаления от молодости жидкости в организме становятся более густыми и

медленными в своей циркуляции, особенно потому, что они имеют цинготный характер». Рекомендации докторов - покой, клизмы, кровопускание, лекарства - все это было так отвратительно Елизавете, знавшей всю жизнь только приятное, вкусное и веселое. Чаще всего государыня соглашалась на кровопускание. «Отворение крови», или венесекция, было в те времена самым популярным методом лечения. В этом повинно учение прусского врача Эрнста Шталя - анимизм, согласно которому душа является причиной всех функций тела. Душа в здоровом теле находится в нормальном тонусе, то есть во взвешенном состоянии, которое при болезни нарушается. Вернуть душу в нормальный тонус можно было, по мнению врачей, с помощью кровопусканий, которые заменяли естественное кровотечение, ставшее из-за болезни затрудненным *(Мирский, с.61)*. Но кровопускание приносило облегчение лишь людям тучным, а также тем, кто имел на теле очаги воспаления.

Но бывшей красавице угрожали не только старость и болезни - сама смерть бродила вокруг ее дворца. Очень много шума наделал припадок, который случился с императрицей в Царском Селе летом в 1757 году при выходе ее из церкви. Государыня на глазах толпы народа и придворных упала без памяти на землю и пролежала довольно долго. Столпившийся народ видел, как вокруг поверженной государыни хлопотали доктора, которых затем закрыли принесенные из дворца экраны. Стоит ли много говорить, какое впечатление на людей это произвело и какие волны слухов пошли из Царского Села. Такие глубокие обмороки неизвестного происхождения повторялись впоследствии. Они участились в 1761 году, потери сознания сделались довольно глубоки. Французский представитель России Врете иль писал 23 июля 1761 года: «Уже несколько дней назад императрица причинила всему двору особое беспокойство: у нее был истерический приступ и конвульсии, которые привели к потере сознания на несколько часов. Она пришла в себя, но лежит. Расстройство здоровья этой государыни очевидно» *(Бильбасов, с.453)*.

Все понимали, что наступают последние дни жизни - праздника, который, казалось, никогда не кончится для веселой дочери Петра Великого. Да уж и веселой царицу назвать было трудно - все чаще уединялась она в Царском Селе, никого не принимала, была сверх меры капризна, мрачна и плаксива. «Любовь к удовольствиям и шумным празднествам, - писал французский дипломат Лефермиер, - уступила в ней место расположению к тишине и даже к уединению, но не к труду. К этому последнему императрица Елизавета Петровна чувствует

большее, нежели когда-либо, отвращение. Для нее ненавистно всякое напоминание о делах, и приближенным нередко случается выжидать по полугоду удобной минуты, чтобы склонить ее подписать указ или письмо».

Не все обстояло благополучно и в императорской семье. Как мы знаем, семья эта была невелика: императрица, ее племянник великий князь Петр Федорович с женой великой княгиней Екатериной Алексеевной и сыном, цесаревичем Павлом Петровичем. Но мира в семействе не было. Д'Аржанто писал, что, кроме недомогания и страха смерти, Елизавета испытывает «еще сильное и постоянное неудовольствие, какое причиняет ей поведение великого князя и его нерасположение к великой княгине, так что императрица уже три месяца не говорит с ним и не хочет иметь никаких сношений… она попеременно предается страху, унынию и крайней подозрительности и нет никакой возможности побудить ее обратить сколько-нибудь серьезное внимание на управление и связанный с ним ход дел».

Не случайно поползли слухи о намерении императрицы воспользоваться правом самодержицы по собственному усмотрению распорядиться престолом и передать трон «мимо родителей» цесаревичу Павлу Петровичу. Планы эти созрели в кругу Шуваловых, боявшихся, и не без основания, потерять власть при вступлении на престол Петра III. Екатерина II писала, что еще при жизни Елизаветы Иван Шувалов поделился своими сомнениями с воспитателем Павла Никитой Паниным: «Фаворит… Иван Иванович Шувалов, быв окружен великим числом молодых людей… и быв убежден воплем множества людей, которые не любили и опасалися Петра III, за несколько времени до кончины Ее императорского величества мыслил и клал намерение переменить наследство, в чем адресовал к Никите Ивановичу Панину, спрося, что он думает и как бы то делать». Шувалов якобы говорил Панину, что некоторые думают выслать Петра и Екатерину из России и «сделать правление именем цесаревича». Другие же хотят «лишь выслать отца и оставить мать с сыном и что все в том единодушно думают, что великий князь Петр Федорович не способен и что кроме бедства… Россия не имеет ожидать». Осторожный Панин отвечал, что попытка помешать законному наследнику занять престол неизбежно приведет «к междоусобной погибели, что в одном критическом случае того переменить без мятежа и бедственных следствий не можно».

Неизвестно, правда ли это, но то, что Шуваловы нервничали, очевидно. Они еще раньше пытались «приучить» к себе наследника и его жену. Фаворит оказывал подчеркнутые знаки

внимания Петру и Екатерине, а Александр Шувалов был назначен обер-гофмаршалом «молодого двора». Это назначение искомому сближению не способствовало, а судороги лица начальника страшной Тайной канцелярии только пугали наследника и его супругу.

Что думала об этом Елизавета, мы не знаем. Известно лишь, что она взяла к себе новорожденного младенца Павла и посвящала ему много времени. Сохранившиеся письма императрицы за последние годы ее жизни говорят, что она просто пылала любовью к этому мальчику, глубоко и искренне интересовалась его здоровьем и воспитанием, думала о его будущем. Иностранные наблюдатели отмечали «поразительную нежность», которую выказывала Елизавета к Павлу публично, и ее заботу о его воспитании. Однако никаких планов заменить наследника императрица не высказывала - все оставалось по-прежнему. В глубокой любви к Павлу выражалось нерастраченное чувство материнства Елизаветы. Как видно из переписки Екатерины с английским посланником, великая княгиня не очень беспокоилась по поводу смены наследника, полагая, что у Елизаветы слишком робкий характер, чтобы решиться на такой шаг *(Архангельский, с.345)*. В этом она не ошибалась - очень осторожная в государственных делах Елизавета никогда не рубила сплеча.

Но и времени ни на что у императрицы не оставалось. Всю осень 1761 года она безвыездно провела в Царском Селе, спасаясь от посторонних глаз. С ней неразлучно находился только Иван Иванович Шувалов. Мы почти ничего не знаем о последних днях жизни Елизаветы - Шувалов никому не рассказывал об этом. Думаю, что Елизавета была в отчаянии. Она всегда боялась смерти и никогда не могла представить, что «дама в белом» придет и за ней. К концу жизни она много молилась и впала в мистику. Австрийский дипломат Мерси д'Аржанто писал, что особое беспокойство Елизаветы связано с ее угрызениями совести и боязнью смерти. От нее старались скрывать все, напоминающее о смерти, запрещено было проходить в траурном одеянии мимо ее покоев, о смерти важных лиц ее уведомляли только через несколько месяцев *(Шефер, с.769)*. Все это позволяло современникам предположить, что Елизавета «никогда не помирится с мыслью о смерти и не в состоянии будет подумать о каких-либо дальновидных, соответствующих этому распоряжениях». В мае 1761 года француз Лефермиер отмечал: «Ее с каждым днем все более и более расстраивающееся здоровье не позволяет надеяться, чтобы она еще долго прожила. Но это тщательно от нее скрывается и ею самой - больше всех. Никто

никогда не страшился смерти более, чем она. Это слово никогда не произносится в ее присутствии. Ей невыносима сама мысль о смерти. От нее усердно удаляют все, что может служить напоминанием о конце».

К концу жизни у Елизаветы стали проявляться некоторые весьма странные привычки. Екатерина II вспоминала, что императрица Елизавета под конец жизни «елико возможно, копила деньги, держала их при себе, ничего не отпускала на государство» *(Еще рассказ, с.884)* и «скопила столько денег, сколько было возможно, и держала их у себя на глазах, не употребляя ни на какие государственные нужды» *(Собственноручная записка, с.413)*. Эти сведения подтверждают и сторонние наблюдатели. Датский посланник сообщал, что после смерти Елизаветы в ее кабинете оказались большие богатства - до 600 пудов серебра, 67 пудов золота, 1,5 миллиона империалов и на 2 миллиона неотчеканенной монеты, всего денег от 3 до 4 миллионов рублей *(Гастгаузен, с.273, 275)*. Иначе говоря, в кабинете императрицы воюющей уже пять лет державы лежали деньги годового бюджета страны. Кроме того, Иван Шувалов передал Петру III 106 тысяч рублей, которые Елизавета доверила ему хранить. «Говорят, - добавляет датский посланник, - что в потайном кабинете императрицы, ключи от которого имела только она одна, найдены были чрезвычайно странные предметы, например, всякого рода снедь, морковь, огурцы, восковая свеча, которую она держала во время обручения нынешнего императора, старинные записи ее отца и много других подобных вещей и все это среди бриллиантов огромной ценности» *(Гастгаузен, с.277)*.

Как сообщал француз Лопиталь, «императрица погружена в необычайное суеверие, она проводит целые часы перед одним образом, к которому она очень привязана. Она с ним разговаривает, советуется» *(Бильбасов, с.440)*. Государыня и раньше была суеверна, но теперь это проявилось с особой силой и говорило о мучившем ее страхе смерти, прихода которой она панически боялась. Елизавету должна была страшно напугать неожиданная сильная гроза над Царским Селом, которая гремела над дворцом в необычайно позднее осеннее время, на пороге зимы. Такого не помнили старики. Возможно, в раскатах грома и мертвящих голые деревья парка вспышках молний Елизавета увидела зловещее предзнаменование. Потом она переехала в Зимний дворец, который стоял на берегу Мойки, и там уже слегла окончательно.

Конец неумолимо приближался. Датский посланник Гастгаузен, получавший достоверную информацию из дворца, писал об этой некогда неутомимой царице маскарадов: «Ноги ее

покрыты чириями, так сильно распространившимися, что она совершенно не в состоянии стоять на ногах»; у нее повторяются припадки, «завершающиеся обмороками». Как всегда бывало в России, приближение смерти правителя вызывало общее беспокойство. Гастгаузен пишет: «Последние дни здесь царят печаль и уныние, написанное на каждом лице, все сидят по домам, терпеливо ожидая грядущего переворота». Были отменены все увеселения. День рождения Елизаветы 18 декабря 1761 года (53 года) - обычно веселый и красочный праздник - прошел почти незаметно, ограничились иллюминацией и небольшим салютом с бастионов Петропавловской крепости. Подобно многим правителям России, Елизавета пыталась скрыть свою болезнь от народа, но о приближающемся конце говорили все.

11 декабря 1761 года датский посланник сообщил в Копенгаген, что здоровье Елизаветы продолжает ухудшаться, она слабеет, кровопускания - традиционный способ лечения - уже не помогают. Наконец, 18 декабря Елизавета, «отказывавшаяся до сих пор от всех лекарств, уступила горячим просьбам окружающих ее лиц и согласилась принять лекарство английского врача Монсея. Благодаря этому лекарству она спокойно спит, лихорадка и кровохарканье прекратились, появилась сильная испарина и ее рана на ноге открылась»; врачи сочли, «что кризис миновал и императрица на пути к выздоровлению». Страх мнительной императрицы перед лекарствами был так велик, что сначала Монсей был призван к императрице и рассказал о действии лекарства и даже «принужден был в ее присутствии выпить более трети всего снадобья, после чего она решилась, наконец, его выпить. С тех пор императрица относится к нему не только как к человеку, спасшему ей жизнь, но как к подданному, готовому ради нее пожертвовать своей жизнью».

Но все оказалось напрасно - улучшение было временным. Несмотря на сильные боли, Елизавета оставалась верна себе: «Хотя она сильно страдает, но не сознает опасности и поэтому плохо следует советам докторов, полагаясь больше на свою сильную натуру, которая много раз ее выручала, чем на лекарства» *(Гастгаузен, с.76, 79)*.

В предрождественскую неделю слабость увеличилась, она уже не вставала и даже говорила тихим, «как бы угасающим голосом». И 24 декабря 1761 года, когда все церкви страны начали торжественную литургию, Елизавета стала умирать. Ей сказали об этом и, к удивлению окружающих, ранее столь нетерпимая к самому слову «смерть», она встретила новость спокойно, смиренно. Императрицу причастили и соборовали, а потом она

начала прощаться с окружающими. И это было так мирно и трогательно, что все плакали. Сначала она простилась с племянником и его женой. Потом к ее постели с последним «прости» пришли ее придворные. Нельзя не заметить, что их толпа поредела - многие сановники уже не покидали наследника престола. Как сообщает австрийский посланник, перед смертью Елизавета хотела поговорить с канцлером Воронцовым наедине, но отложила это намерение. И когда с нею случился сильный приступ болезни, Воронцов «настолько поддался своей слабости и непомерной трусости, что сказался больным и слег в постель, хотя его незначительная болезнь ни в каком случае не могла помешать ему выходить из дому, но он все-таки намеренно уклонился от необходимости присутствовать при кончине государыни и расстался с ней, не повидавши ее еще раз».

24 декабря Гастгаузен пишет: «Сейчас в 4 часа пополудни я узнал из верных источников, что императрица при смерти и что она призвала к себе великого князя и великую княгиню, которые находятся сейчас у ее постели, проливая, вероятно, слезы. Это заставляет думать, что она не сделала завещания и что восшествие великого князя на престол совершится довольно спокойно. Пока все здесь в большом горе и полном отчаянии» *(Гастгаузен, с.265)*. Когда к ее постели подошли Петр и Екатерина, государыня что-то хотела им сказать, но язык ее уже не слушался. Можно предположить, что, зная отношения супругов и беспокоясь за Павла и Россию, она пыталась сказать: «Живите дружно!» Этот совет был так кстати для будущего России… Судьбе было угодно, чтобы и смерть пришла за императрицей в праздничных одеждах 25 декабря 1761 года - в день, когда православный мир отмечал свой великий праздник, Рождество.

Согласно преданию, смерть императрицы предсказала петербургская юродивая Ксения Блаженная, говорившая накануне смерти государыни: «Пеките блины, вся Россия будет печь блины!» Все знали, что вместе с рисом-кутьей блины являются поминальным блюдом *(Пыляев, 1990-1, с.167-168)*.

Никаких сюрпризов под конец своей жизни Елизавета родственникам не приготовила, так что великий князь стал императором Петром III, а великая княгиня - императрицей Екатериной Алексеевной. Но тревога за будущее не исчезла. Как писал французский дипломат Бретейль, «большинство горевали в душе, питая к будущему императору не любовь, но страх и робость, все трепетали и спешили заявить свою покорность ему прежде, нежели императрица закрыла глаза» *(Из дипломатической переписки, с.114)*.

Елизавету хоронили уже в новом 1762 году. Все было как

всегда на царских похоронах - многолюдно, утомительно и красиво. Все смотрели, как экстравагантно вел себя во время церемонии новый император Петр III, ломавший всю процессию то излишне медленным шагом, то бегом вприпрыжку. Покойной до всего этого уже не было никакого дела - она лежала в гробу, но и там она осталась той, кем была всю свою жизнь - кокеткой. Как писала Екатерина II, «в гробу государыня лежала, одетая в серебряной робе с кружевными рукавами, имея на голове императорскую золотую корону, на нижнем обруче с надписью: «Благочестивейшая, самодержавнейшая, великая государыня императрица Елизавета Петровна, родилась 18 декабря 1709 года, воцарилась 25 ноября 1741 года, скончалась 25 декабря 1761 года». Другой очевидец - Гастгаузен - сообщал, что корона стоила 10 тысяч рублей и что «корона эта останется на государыне и в могиле». Он же писал, что «черты лица императрицы еще нисколько не изменились, и они больше походят на человека спящего, чем на мертвого» *(Гастгаузен, с.37)*.

И последняя цитата. Шведский граф Гордт, бывший в Петербурге в день похорон Елизаветы, сделал такую запись: «В тот день все обедали у себя дома и вечер проводили в уединении, как будто общественная скорбь была вполне искренна и действительна; но на другой же день не было и речи об императрице Елизавете Петровне, точно она никогда и не существовала. Таково обычное течение всех дел мира: все проходит, все забывается!» *(Гордт, с.322)*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К концу своей жизни как-то неожиданно для себя Елизавета поняла, что в ее империи не все так благополучно, что до ее трона не долетают жалобы множества обиженных и гонимых чиновниками людей. Горечью проникнуты слова одного из последних манифестов Елизаветы: «С каким Мы прискорбием по нашей к подданным любви должны видеть, что установленные многие законы для блаженства и благосостояния государства своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою беззаконную прибыль присяге, долгу и чести предпочитают… Ненасытная алчба корысти до того дошла, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие предводительством судей, а потворство и упущение - ободрением беззаконников».

Елизавета срочно потребовала навести порядок в правосудии и всячески пресекать злоупотребления, о которых она, как оказалось, даже не подозревала. Впрочем, это и не удивительно - «беспечность или умственная леность», о которых писали современники, характеризуя императрицу, властвовали над ее умом до конца, и сам этот манифест придумал Иван Шувалов, что видно из его набросков; императрица же только подписала документ.

Впрочем, императрица напрасно так уж убивалась. Теперь, взвешивая многие факты из истории XVIII века, скажем, что борьба со злоупотреблениями судей и чиновников - явление в русской истории вечное и бесполезное. Эти злоупотребления были порождены той системой, которая с ними боролась. Отсутствие гражданского общества, выборного начала, суда присяжных, парламентаризма, принципов правового государства при наличии бесконтрольной самодержавной власти, ужасающего крепостного права, порождавшего Салтычих, - все делало злоупотребления чиновников, этих подлинных хозяев страны, неискоренимыми.

И тем не менее двадцатилетнее царствование Елизаветы Петровны оказалось одним из самых спокойных, мирных и нежестоких в истории России. Уже то, что за свое правление она не подписала ни одного смертного приговора, позволяет снять перед ней шляпу. Несомненно, проблемы в экономике были. Но политическая стабильность, наступившая с приходом дочери Петра Великого на престол, благотворно влияла на экономическое развитие. Россия, в течение нескольких десятилетий «переболев» петровскими реформами,

адаптировалась к нововведениям.

Ресурсы экстенсивной крепостнической экономики еще не были исчерпаны, до промышленной революции в Европе было далеко, и дешевые и хорошие русские товары завалили Европу. В Швеции не могли прожить без русского хлеба. Пенька, лен, парусина, лес, поташ, сало, мед и множество других товаров непрерывным потоком преимущественно через порты Прибалтики шли в Европу. Превосходное уральское железо на мировом рынке ценилось весьма высоко, и в 1750 году спрос на него достиг 100% от его выпуска, что привело к подлинному промышленному буму. Строительством металлургических предприятий занялись массы дворянства, высших сановников и чиновников - для них это было настоящее золотое дно. Заметно возрастало население, не выпадало особенно голодных лет, подушная подать несколько раз сокращалась, а многолетние недоимки в ее сборах были отменены, как и сдерживавшие торговлю внутренние таможни. В итоге, несмотря на порчу монеты, повышение цен на соль, пятилетнюю войну, экономика к началу 1762 года не была ни истощена, ни разрушена.

Важными оказались и перемены в настроениях общества. Как уже сказано, Елизавета не отличалась жестокостью. Под ее скипетром выросло поколение новых людей, уже не битых петровской дубиною. Страшный перелом в самом строе русской жизни, сознании, произошедший в конце XVII - начале XVIII века, казался им седой, скучной стариной. Идеи Просвещения, не ограниченные никакими препятствиями, стали быстро проникать в Россию. Это сказывалось на сознании дворянства, на общем распространении начал гуманизма и терпимости. Конечно, люди той поры побаивались Тайной канцелярии и особенно не распускали язык, но все-таки железная хватка этого ведомства, при фактической ликвидации смертной казни, ослабла. Перестали пытать женщин, вместо кнута все чаще применяли плеть. Когда стал разрабатываться проект Уложения, то Тайная канцелярия подала свою записку о мерах по смягчению пыток и сокращению списка тяжких государственных преступлений.

Из числа этих преступлений выкинули такие, за которые люди при Петре Великом или Анне Ивановне приговаривались к смерти. Это были: сквернословие при чтении царского указа, изодрание его или сказывание при этом фразы: «На него плюю!», а также обзывание императорского указа «воровским», необнажение головы при чтении его, громкое выражение сочувствия наказываемому преступнику. Не особенно жестоко карались ошибки при написании титула государыни в челобитной. Отпускалась вина за «непразднование

высокоторжественных [календарных] дней без уважительной причины», а также «непитье за здравие государя и отговорки при неявке на службу, по той причине, что за здравие государя принуждали пить». Можно было не доносить на тех, кто кого-либо называл «бунтовщиком», «изменником» или «стрельцом» *(Веретенников, с.61-68)*.

Важные сдвиги произошли в литературе, искусстве, науке. Основание Академии Художеств, Московского университета, публичного театра, увлечение оперой, музыкой - все это стало порождать таланты, воспитывать вкусы. Покровительство наукам и искусствам стало делом престижа, а успехи таких людей, как Ломоносов, способствовали повышению уровня самосознания и самоценности русских людей. В елизаветинский век русское дворянство еще на один шаг продвинулось по пути своей эмансипации, к утверждению сословных привилегий и развитого сословного сознания, обладателя которого уже нельзя было безнаказанно пороть и унижать, как холопа.

Елизаветинское царствование подготовило новую, екатерининскую эпоху. Так век Елизаветы не пропал для потомков, он стал звеном в длинной цепи истории России, которой, будем надеяться, нет конца.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Адинцов - Адинцов. Продажа людей в 1760 г. // РС.1875. Т.12.

Алефиренко - Алефиренко П. К. Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30-50-х годах XVIII в. М, 1958.

Амвросий - Амвросий. Слово в высокоторжественный день рождения великой государыни Елизавет Первыя. СПб, 1742.

Анна-Елизавета - Княгина Ангальт-Цербская Анна-Елизавета, мать Екатерины Второй. Ее письма о России // РА.1904. Т.2.

Анисимов, 1985 - Анисимов Е.В. И. И. Шувалов - деятель русского Просвещения // ВИ. 1985. №5.

Анисимов, 1986 - Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. М., 1986.

Анисимов, 1994 - Анисимов Е.В. Россия без Петра. 1725-1740. СПб., 1994.

Анненков - Анненков И.П. Дневник курского помещика И. П. Анненкова как исторический источник // Материалы по истории СССР. Т.5. М., 1957.

Архангельский - Архангельский Д. Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английского посла сэра Ч. Генбюри Уилльямса как исторический источник // РС.1910. Т.144.

Бантыш-Каменский - Бантыш-Каменский Д.М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. Ч.1-2. М., 1991.

Бартенев - Бартенев П.И. Биография И.И. Шувалова. М., 1857.

Бартенев Ю. - Бартенев Ю. Всеподданнейшее прошение философа Канта императрице Елизавете Петровне (1758 г.) // РА.1896. Кн.2.

Безвременье - Безвременье и временщики. Воспоминания об «Эпохе дворцовых переворотов» (1720-1760-е годы). Л., 1991 (то же в пиратском переиздании издательства «Терра» в 1996 г. в серии «Тайны истории»).

Бегунова - Бегунова А.И. Сабли остры, кони быстры… (Из истории русской кавалерии). М., 1992.

Белов - Белов Е. Отношения Фридриха II до вступления его на престол к русскому двору с 1737 по 1740 год // ДНР.1875. Т.2.

Бенуа - Бенуа А.Н. Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны. СПб., 1910.

Бескровный - Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII веке. Очерки. М., 1958.

Бильбасов - Бильбасов В.А. История Екатерины Второй. Т.1.

Берлин, 1900.

Билярский - Билярский П. С. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865.

Бирон - Бирон Э.И. Записка // Время, 1861.

Богословский - Богословский М.И. Императрица Елизавета Петровна // Три века, М., 1913. Т.4.

Брольи - Broglie, le due. Frederic II et Marie-Therese. 1740-1742. Paris, 1883.

Болотов - Болотов А.Т. Записки. Т.1. Тула, 1988.

Бреннан - Brennan James F. Enlightened Despotism in Russia. The Reign of Elisabeth, 1741 - 1762. N-Y - Berne - Frankfurt am Main - Paris, 1987.

Валишевский - Валишевский К. Дочь Петра Великого. М., 1990.

Валлоттон - Vallotton Henry. Marie-Therese, imperatrice. Fayard, 1963.

Вандаль - Вандаль Альбер. Императрица Елизавета и Людовик XV. М., 1911.

Васильев - Васильев В.Н. Старинные фейерверки в России. Л., 1960.

Васильчиков - Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Т.1. СПб., 1880.

Вейдемейер, 1834 - Вейдемейер А. Царствование Елизаветы Петровны. СПб., 1834.

Вейдемейер, 1845 - Вейдемейер А. Обзор главнейших происшествий в России с кончины Петра Великого до вступления на престол Елизаветы Петровны. СПб., 1845.

Веретенников - Веретенников В.И. Из истории Тайной канцелярии. 1732-1762гг. Очерки. Харьков, 1915.

Вилл - Veale F. J. P. Frederick the Great. His life and Place in History. Hamish-Hamilton, 1954.

Внутренний быт - Внутренний быт Русского государства с 17 октября 1740 года. М, 1880.

Всеволожский-Гернгросс - Всеволожский-Гернгросс В.В. Русский театр. От истоков до середины XVIII века. М., 1957.

Волков - Ф.Г. Волков и русский театр его времени. М., 1953.

Волков М. - Волков М.Я. Отмена внутренних таможен в России // ИСССР. 1957. №2.

Гастгаузен - Гастгаузен, граф. Донесения датского посланника о царствовании Петра III и перевороте 1762 года // РС, 1915. Т.153, 161, 162.

Гозенпуд - Гозенпуд А. Музыкальный театр в России. Л., 1959.

Голицын Н. - Голицын Н. Иван Иванович Шувалов и его

иностранные корреспонденты. М., 1937.

Голицын Ф. - Голицын Ф. Н. Жизнь обер-камергера Ивана Ивановича Шувалова. М., 1855.

Гордт - Плен графа Гордта в России (1759-1762 гг.) // РА. 1877. Кн.2.

Граф Чернышов - Граф З. Г. Чернышов в его письмах к И. И. Шувалову (1757-1762) // РА. 1907. Кн.1.

Грот - Грот Я. Воспитание Екатерины II. Древняя и новая Россия. 1875. Т.1.

Грузинская трагедия - Грузинская трагедия 1825 года (Убийство Шумской) // РС. 1900. Т.102.

Гуковский - Гуковский Г.А. Очерки по истории русской литературы XVIII века. М.-Л., 1936.

Гуч - Gooch G.P. Frederick the Great. The Ruler, the Writer, the Man. London, 1954.

Гуч, 2 - Gooch G.P. Louis XV. The Monarchy in Decline. London - New-York - Toronto, 1956.

Дамские костюмы - Дамские костюмы в Лондоне в половине XVIII столетия // РС. 1904. Т.118.

Данилевский - Данилевский Г. По какой причине император Иоанн Антонович перемещен из Холмогор в Шлиссельбург // РА. 1873. Кн.2.

Дашкова - Дашкова Е.Р. Записки. Письма сестрам М. и К. Вильмот из России. М., 1987.

Дельбрюк - Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Т.4. М., 1938.

Дипломатические депеши - Дипломатические депеши посланника при русском дворе Вестфалена о воцарении императрицы Анны Иоанновны // РС. 1909. Т.137.

Доклад - Доклад Святейшего синода императрице Елизавете Петровне о книгах, противных вере и нравственности // Чт. ОИДР. 1867. Кн.1.

Документы - Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. Т.1. М., 1960.

Екатерина, 1907 - Екатерина II. Записки. СПб., 1907.

Екатерина, 1912 - Екатерина Великая. Труды ее в первые два года царствования // РА. 1912. Кн.7.

Есипов, 1869 - Есипов Г.В. Ванька Каин // Осмнадцатый век. Кн.3. М., 1869.

Ешевский - Ешевский СВ. Очерк царствования Елизаветы Петровны// Ешевский СВ. Соч. Т.2. СПб., 1870.

Еще письмо Миниха - Еще письмо Миниха из Сибири // РА. 1866.

Еще рассказ - Еще рассказ Екатерины II о своем

царствовании // РА. 1865.

Жмаков - Жмаков В.И. Коронация русских императоров и императриц. 1724-1856 // РС. 1883. Т.37.

Журнал - Журнал дежурных генерал-адъютантов // РС. 1897. Т.89,90.

Забелин - Забелин И. Из хроники общественной жизни Москвы в XVIII столетии // Сборник общества любителей русской словесности на 1891 год. М., 1891.

Заборов - Заборов П.Р. Вольтер в русских переводах XVIII века. Эпоха просвещения. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1967.

Заборов, 1978 - Заборов П.Р. Русская литература и Вольтер (XVIII - первая половина XIX века). Л., 1978.

Знаменитые россияне - Знаменитые россияне XVIII - XIX веков. Л., 1990.

Из дипломатической переписки - Из дипломатической переписки о России XVIII // РС. 1894. Т.83; 1896. Т.85.

Из бумаг - Из бумаг Ивана Ивановича Шувалова // РИО. Т.9. СПб., 1872.

Из подлинных бумаг - Из подлинных бумаг елизаветинского царствования // Осмнадцатый век. М., 1869. Кн.4.

Из произведений - Из произведений русских мыслителей второй половины XVIII в. М., 1952.

Именные списки - Именные списки Е. и. в. лейб-компании чинам 1741-1759 гг. // РА. 1880. Кн.2.

Именные указы - 1 - Именные указы императрицы Елизаветы Петровны // ИВ. 1880, февраль.

Именные указы - 2 - Именные указы императрицы Елизаветы Петровны // ИВ. 1880, июль.

Императрица Елизавета - Императрица Елизавета Петровна и ее записочки к Василию Ивановичу Демидову // РА. 1878. Кн.16.

Императрица Елизавета Петровна - Императрица Елизавета Петровна. 1741-1752 // РС. 1873, июль.

Индова - Индова Е.И. Инструкция князя М.М. Щербатова приказчикам его ярославских вотчин // Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. Сб.6. М., 1965.

Исторические бумаги - Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. СПб., 1872.

История театра - История русского драматического театра. Т.1. От истоков до конца XVIII века. М., 1977.

Итигина - Итигина Л.А. К вопросу о репертуаре оппозиционного театра Елизаветы Петровны в 1730-е годы - В кн.: XVIII век. Сб.9. Л., 1974.

Казанова - Казанова Дж. Записки венецианца. 1765-1766 гг. // РС. 1874. Т.9.

Каменский - Каменский А.Б. Петр III (1728-1762). Российский император с 1761 г. -В кн.: Исторический лексикон. XVIII век. М., 1996.

Канторович - Канторович И. Салон И.И. Шувалова // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1990. №4.

Карпович - Карнович Е.П. Очерки русского придворного быта в XVIII столетии // ИВ. 1881. Т.5.

Кафенгауз - Кафенгауз Б. Б. Очерки внутреннего рынка России первой половины XVIII века. М., 1958.

Ключевский - Ключевский В.О. Курс лекций по русской истории // Ключевский В.О. Сочинения. Т.4. М., 1989.

Кони - Кони Ф. История Фридриха Великого. М… 1997.

Кониский - Кониский Г. История русов или Малой России. М., 1840.

Коноплева - Коноплева М. С. Театральный живописец Джузеппе Валериани. Л., 1948.

Корф - Корф М.А. Брауншвейгское семейство. М., 1993.

Лазарева - Лазарева О. П. Русский скульптор Федот Шубин. М., 1965.

Ланга - Ланга Ф. Рассуждения о сценической игре // Старинный спектакль в России. Л., 1928.

Левинсон-Лессинг - Левинсон-Лессинг В.Ф. История Картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). Л., 1986.

Ле Донн - Le Donne John P. The Evolution of the Governor's Office. 1727-64 // Canadian-American Slavic Studies. Vol. 12, №1 (1978).

Леонов и Ульянов - Леонов О., Ульянов И. Регулярная пехота. 1698-1801. Боевая летопись, организация, обмундирование, вооружение, снаряжение. М., 1995.

Лириа - Лириа де. Письма о России // Осмнадцатый век. Кн.2. М., 1869.

Лонгинов - Лонгинов М. Заметки о петербургских дворцах / / РА. 1873.

Мавродин - Мавродин В.В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России XVIII века. Л., 1964.

Манштейн - Манштейн Х.Г. Записки. СПб.

Масловский - Масловский Д.М. Русская армия в Семилетнюю войну. Вып.1. М., 1890.

Маркович - Маркович А.Я. Дневные записки генерального подскарбия Якова Марковича. М., 1859.

Материалы - Материалы о жизни и творчестве Франческо Бартоломео Растрелли // Сообщения Кабинета теории и истории

архитектуры. Сб. ст. Вып.2. М., 1940.

Мессельер - Мессельер Г. дела. Записки о пребывании его в России с мая 1757 по март 1759 года // РА. 1874. Т.1.

Милосердие Титове - Милосердие Титово. Опера с Прологом. СПб., 1742.

Мирский - Мирский М.Б. Медицина в России XIV-XIX веков. М., 1996.

Мыльников - Мыльников А.С. Легенда о русском принце. Л., 1987.

Мякотин - Мякотин В.А. Лекции по русской истории. СПб., 1892.

Наумов - Наумов В. П. Петр III. Удивительный самодержец: загадка его жизни и царствования //На российском престоле. XVIII век. М., 1991.

Новые тексты - Новые тексты переписки Вольтера. Письма Вольтера. Л., 1970.

О выдрании - О выдрании из указных книг манифеста императрицы Екатерины II о вступлении ее на престол // РС. 1897. Т.90.

О выходе Манштейна - О выходе Манштейна из русской службы // РА. 1872.

Об Батурине - Об Иоасафе Батурине и других лицах, сужденных за покушение к возмущению народа (1753 год) // Исторические бумаги, собранные К. А. Арсеньевым. СПб., 1870.

Овсянников - Овсянников Ю.М. Франческо-Бартоломео Растрелли. Л., 1982.

Очерки истории - Очерки истории СССР. Россия во второй четверти XVIII века. М., 1957.

Павленко - Павленко Н.И. Страсти у трона. М., 1996.

Панчулидзев - Панчулидзев С. История кавалергардов. 1724-1799 гг. СПб., 1899.

Пекарский, 1858 - Пекарский П. Письмо Шувалова о позволении печатать перевод Поповского книги Попа «Опыт о человеке» // Библиографические записки. 1858. Т.1. №16.

Пекарский, 1862 - Пекарский П. Маркиз де-ла-Шетарди в России. 1740-1742. СПб., 1862.

Переписка - Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английского посла Ч. Г. Уилльямса // РА. 1909. Т.228.

Петров - Петров П.Н. Императрица Елизавета Петровна. 1741 -1752 гг. // РС. 1873. Т.8.

Письма графа - Письма графа М.П. Бестужева-Рюмина к И. И. Шувалову (1745-1759 гг.) // РА. 1863.

Письма императора - Письма императора Петра Федоровича

к прусскому королю Фридриху Второму // РА. 1898. Т.1.

Письма императрицы - Письма императрицы Елизаветы Петровны к генерал-майору Вишневскому // РА. 1870.

Письма Лестока - Письма Лестока к князю А. Д. Кантемиру // РС. 1877. Т. 18.

Письма о докторе - Бартенев П. И. Письма о докторе Санхесе // РА. 1865.

Письма Панина - Письма графа П. И. Панина к брату его графу Никите Ивановичу // РА. 1882. Т.1.

Письма Фридриха Второго - Письма Фридриха Второго к императору Петру Третьему (1743-1762 гг.) // РА. 1905. Кн.1.

Письма к Шувалову - Письма к И. И. Шувалову // РА. 1869.

Письма Шувалова - Письма И.И. Шувалова к графу М. Л. Воронцову // РА. 1870.

Письма Шувалова к сестре - Письма И.И. Шувалова к сестре его родной П. И. Голицыной // Москвитянин. 1845. Т.5.

Письмо принца - Письма принца Августа Голштинского с замечаниями императрицы Елизаветы и канцлера гр. Бестужева-Рюмина // РА. 1863.

Письмо Разумовского - Письмо графа А. Г. Разумовского к матери его Наталье Демьяновне // РА. 1876. Т.1.

Поездка - Поездка императрицы Елизаветы Петровны в Эстляндскую губернию. 1746 год // РА. 1895. Т.9.

Позье - Позье И. Записки придворного брилиантщика // РС. 1870. Т.1.

Полевой - Полевой Н.А. Столетие России с 1745 по 1845 г. СПб., 1845.

Попова - Попова М.Н. Теодор Генрих Чуди и основанный им в 1755 году журнал «Le Came le on litteraire». // Известия АН СССР. Серия 7. Отдел гуманитарных наук. 1929. №1.

Порошин - Порошин С.А. Записки. СПб., 1881.

Прач - Прач И. Собрание народных песен с их голосами. М., 1790.

Превратности судьбы - Превратности судьбы с подробным повествованием о весьма необыкновенных обстоятельствах, приключившихся с одним польским дворянином, находившимся в продолжении 45 лет на русской службе и описанных им самим в 82-летнем возрасте // РА. 1898. Т.4.

Присоединение Пруссии - Присоединение Пруссии к России. Проект // РС. 1873, май.

Проект Уложения - Проект нового Уложения, составленный Законодательной комиссией 1754-1766 гг. СПб., б.г.

Путешествие - Путешествие Уильяма Кокса // РС. 1877. Т.19.

Пыляев, 1990- Пыляев М.И. Старый Петербург. М., 1990.

Пыляев, 1990 - 1 - Пыляев М.И. Старое житье. М., 1990.

Пыляев, 1990 - 2 - Пыляев М.И. Старая Москва. М., 1990.

Пыляев, 1996 - Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1996.

Раев - Raeff M. Plans for Political Reform in Imperial Russia, 1730- 1905. N-Y., 1966.

Распоряжение - Распоряжение относительно театральной дисциплины 1800 года // РА. 1873. №9.

Ровинский - Ровинский Д.А. Обзор иконописи в России до конца XVIII века. Описание фейерверков и иллюминаций. М., 1903.

Россия - В. В. Россия и Франция в первой половине XVIII века. // РС. 1897. Т.91.

Русские солдаты - Русские солдаты в Пруссии // РА. 1866.

Сведения - Сведения об Иоанне или Иване Антоновиче, правнуке царя Иоанна Алексеевича // РС. 1894. Т.82.

Семевский, 1859 - /- Семевский М. И. Елизавета Петровна до восшествия своего на престол. 1709-1742 // Русское слово. 1859. Кн.2.

Семевский, 1859 - 2 - Семевский М.И. Первый год царствования Елизаветы Петровны. 1741-1742 гг. // Русское слово. 1859. Кн.6.

Семевский, 1860 - Семевский М.И. Царствование Елизаветы Петровны. 1743 год // Русское слово. 1860. Кн.1.

Сеченов - Сеченов Д. Слово в день Благовещения. СПб., 1742.

Снегирев - Снегирев И.М. Воспоминания // РА. 1866.

Собственноручная записка - Собственноручная записка Екатерины II об одном из первых заседаний ее в Сенате после восшествия на престол // ИВ. 1881. Т.5.

Совет Фридриха - Совет Фридриха Великого императрице Елизавете Петровне // РА. 1866.

Современный рассказ - Современный рассказ о восшествии на престол Елизаветы Петровны русского резидента при английском дворе князя И. А. Щербатова // РА. 1872.

Современное письмо - Современное письмо о Салтычихе // Осмнадцатый век. Кн. . М., 1869.

Соловьев, 21, 22, 23, 24 - Соловьев СМ. История России с древнейших времен. Кн. 11. Т. 21-22. М., 1993; Кн.12. Т.23-24. М., 1993.

Стасов - Стасов В. В. Холмогорская секретная комиссия. Архангельск, 1993.

Струмилин - Струмилин С.Г. История черной металлургии в СССР. Т.1. М., 1954.

Студенкин, 1874 - Студенкин Г.И. Салтычиха. 1730-1801 гг.

// РС. 1874, август.

Студенкин, 1892 - Студенкин Г. И. Донесение генерал-полицмейстера А. Татищева о дамах, не явившихся на придворный бал в Петербурге, 1748 г. // РС. 1892. Т.76.

Сумароков - Сумароков А.П. Полное собрание всех сочинений. Ч.2. М., 1771.

Сыромятникова - Сыромятникова И.С. История прически. М., 1983.

Тайные известия - Тайные известия о русском дворе 1727 и 1728 гг. // РА 1898. Кн.1.

Теге - Теге. К истории Семилетней войны. Записки пастора // РА. 1864.

Тимковский - Тимковский И.Ф. Мое определение в службу // РА. 1884. Т.1.

Указ Главному магистрату - Указ Главному магистрату 1753 г. // РС. 1887. Т.56.

Черкасов - Черкасов П.П. Двуглавый орел и королевские лилии. М., 1995.

Черты из жизни - Черты из жизни Елизаветы Петровны // РА. 1865. Кн.1.

Черты нравов - Черты нравов сто лет назад // РА. 1867.

Чечулин - Чечулин Н.Д. Екатерина II в борьбе за престол. Л., 1924.

Чумыкин - Чумыкин А.А. Елизавета Петровна в Ревеле в 1746 году // РС. 1885. Т.46.

Фавье - Фавье Ж.Л. Записки секретаря французского посольства в С.-Петербурге // ИВ. 1887. Т.29.

Финдейзен - Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. Вып.4. М.-Л., 1928.

Фирсов - Фирсов Н.Н. Вступление на престол императрицы Елизаветы Петровны. Казань, 1888.

Фонвизин - Фонвизин Д.И. Избранные сочинения и письма. М„ 1946.

Фридрих - Фридрих II. Наставление о военном искусстве к своим генералам. СПб., 1762.

Фурсенко - Фурсенко В.В. Дело о Лестоке 1748 года. СПб., 1912.

Царевич - Царевич Алексей Петрович в Германии // РА. 1903. Т.1.

Шаховской - Шаховской Я.И. Записки. СПб., 1872.

Шекспир - Шекспир и русская культура. М.-Л., 1965.

Шереметевский - Шереметевский В. Темное царство. Черты из жизни Московского Китай-города XVII века // РС. 1909. Т.140.

Шефер - Шефер А. Императрица Елизавета Петровна в 1760-1761 гг. // РС. 1880. Т.23.

Шишкин - Шишкин И. События в Петербурге в 1740 и 1741 гг. СПб., 1858.

Шпилевская - Шпилевская Н. Описание войны России и Швеции в Финляндии в 1741, 1742 и 1743 годах. СПб., 1859.

Штелин, 1886 - Штелин Я. Записки о Петре Третьем, императоре всероссийском // Чт. ОИДР. 1886. Кн.10-12.

Штелин, 1935 - Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII века. М., 1935.

Шугуров - Шугуров М.Ф. История евреев в России // РА. 1904. Кн.1.

Шумигорский - Шумигорский Е.С. Основание Смольного монастыря // РС. 1914. Т.159.

Щебальский - Щебальский П. Чтения по русской истории. М., 1874.

Щепкин, 1901 - Щепкин Е. Падение канцлера графа А. П. Бестужева-Рюмина. Одесса, 1901.

Щепкин, 1902 - Щепкин Е. Русско-австрийский союз во время Семилетней войны. 1746-1758 гг. СПб., 1902.

Щербатов - Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. Факсимильное издание. М., 1984.

Энзе - Энзе Ф. Жизнеописание генерала Зейдлица. Киев, 1839.

Яремич - Яремич С. Основание Академии художеств. Президентство И. И. Шувалова // Русская академическая художественная школа в XVIII веке. М.-Л., 1934.

Принятые сокращения

АВ - Архив князя Воронцова. Кн. 1-40. СПб., 1870-1895

ВИ - журнал «Вопросы истории»

ДНР - журнал «Древняя и Новая Россия»

ИВ - журнал «Исторический вестник»

ИСССР - журнал «История СССР»

КФЖ - Камер-фурьерские журналы

ПСЗ - Полное собрание законов Российской империи

РА - журнал «Русский архив»

РГАДА - Российский государственный архив древних актов РС - журнал «Русская старина»

РИО - сборник Императорского Русского исторического общества Чт.ОИДР - Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете

РС - Politishe Correspondenz Fridrihs des Grossen, b. 1 - 13, Berlin, 1879-1915

Основные даты жизни и деятельности Елизаветы Петровны

1709

18 декабря - рождение Елизаветы Петровны в Москве.

1712

19 февраля - свадьба Петра I и Екатерины Алексеевны.

1722

Февраль - признание Елизаветы совершеннолетней; переговоры Петра I о ее замужестве.

1728

Январь - переезд из Петербурга в Москву, дружба с Петром II.

1730

Январь - пребывание в Александровской слободе.

1732

Январь - возвращение в Петербург вместе с двором. Ссылка А. Шубина в Сибирь.

1741

25 ноября - участие в ночном перевороте. Вступление на престол.

1742

Приезд Карла Петера Ульриха (Петра Федоровича) в Россию, провозглашение его наследником престола.

28 июня - победа русской армии в сражении при Фридрихсгаме.

Август - капитуляция шведской армии в Гельсингфорсе, мирный договор России и Швеции в Або.

24 ноября - тайное венчание с А. Г. Разумовским.

11 декабря - Московский союзный договор с Англией.

1743

16 марта - русско-прусский союзный договор.

1744

3 февраля - прибытие в Россию Софии Августы Фредерики (Екатерины Алексеевны).

Июнь - высылка маркиза Шетарди из России.

1745

21 августа - брак Петра Федоровича с Екатериной Алексеевной.

1747

«Субсидные конвенции» с Англией. Принятие устава Петербургской Академии наук.

1748

Январь - движение русского корпуса к Рейну. Выход в свет «Риторики» М. В. Ломоносова.

1749

Осень - начало фавора И. И. Шувалова. Первая постановка «Хорева» А. П. Сумарокова в Кадетском корпусе.

1750

Разрыв дипломатических отношений с Пруссией.

1754

Июль - начало работы Комиссии для составления нового Уложения, ликвидация внутренних таможен.

13 мая - открытие Государственного заемного банка.

20 сентября - рождение цесаревича Павла Петровича.

1755

«Грамматика» М. В. Ломоносова. Основание Московского университета.

1756

31 января - присоединение России к Версальскому австро-французскому союзу. Учреждение Конференции при Высочайшем дворе.

30 августа - открытие русского публичного театра.

1757

6 августа - сражение при Гросс-Егерсдорфе. Основание Академии Художеств в Петербурге.

1758

11 января - занятие Кенигсберга, присоединение Восточной Пруссии к России.

14 августа - сражение при Цорндорфе.

1759

12 июля - сражение при Пальциге.

1 августа - сражение при Кунерсдорфе.

1760

28 сентября - занятие русско-австрийским отрядом Берлина.

1761

5 декабря - капитуляция Кольберга.

25 декабря - смерть Елизаветы Петровны в Петербурге.

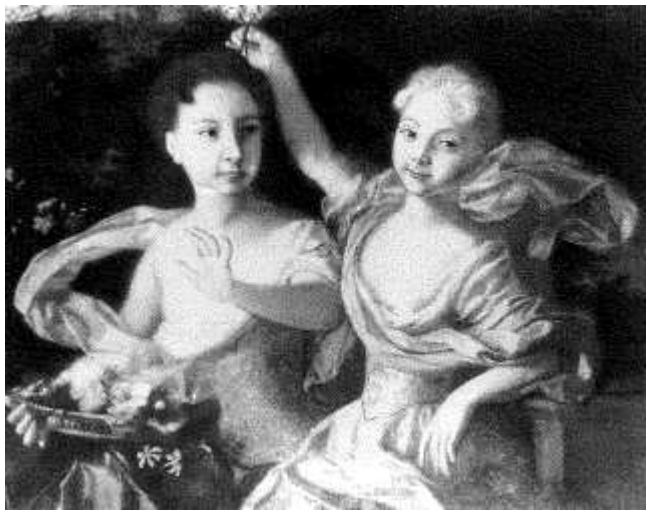
Портрет цесаревны Елизаветы Петровны.
И.Н. Никитин. 1720-е гг. Портрет не окончен.

Император Петр I.

Императрица Екатерина I.

Портрет великой княгини Елизаветы Петровны ребенком. Л. Каравакк. 2-я половина 1710-х гг.

Портрет Петра I с семьей.
Миниатюра на финифти Г. С. Мусикийского, 1717 г.
Слева: Петр и Екатерина, сидящие в креслах; справа стоят: Алексей Петрович, Анна и Елизавета Петровны и маленький Петр Петрович.



Портрет цесаревен Анны Петровны и Елизаветы Петровны.
Л. Каравакк. 1717 г.

Портрет цесаревны Анны Петровны.
Л. Каравакк. 1725 г.

Император Петр II.

Измайлово.
Гравюра И.Ф. Зубова. Около 1727г.

Императрица Анна Иоанновна.

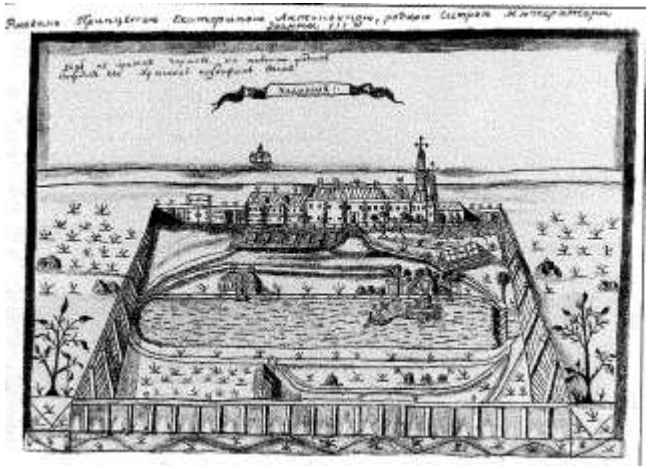
Эрнст Иоганн Бирон.

Император Иоанн Антонович.
По старинной немецкой гравюре.

Принцесса Анна Леопольдовна.

Принц Антон-Ульрих Брауншвейгский.

Силуэты детей Анны Леопольдовны: принц Петр, принц Алексей, принцесса Елизавета, принцесса Екатерина.



Холмогоры.
Рисунок принцессы Екатерины Антоновны.

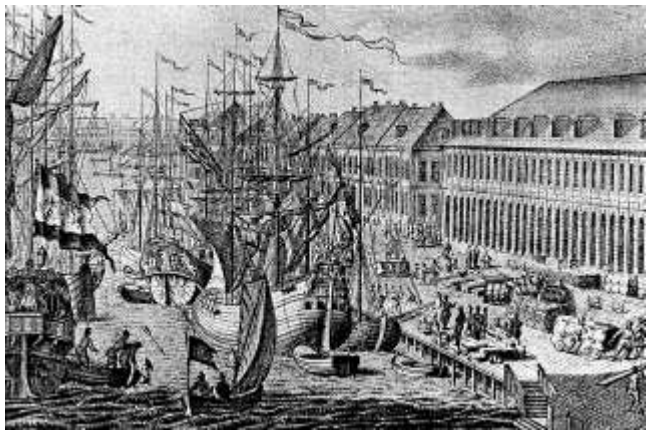
Граф Бурхард Христофор фон Миних.

Граф Андрей Иванович Остерман.

Граф А.И. Остерман на эшафоте.

Французский посол в России маркиз де ла Шетарди.

Лейб-медик императрицы Иоганн-Герман Лесток.



Вид Биржи и Гостиного двора на Малой Неве.

Гравюра И.П. Елякова. 1753 г. Фрагмент. С рисунка М.И. Махаева, выполненного под наблюдением Д. Валериани в 1749 г.

Государственный переворот 25 ноября 1741 г.
По старинной немецкой гравюре.

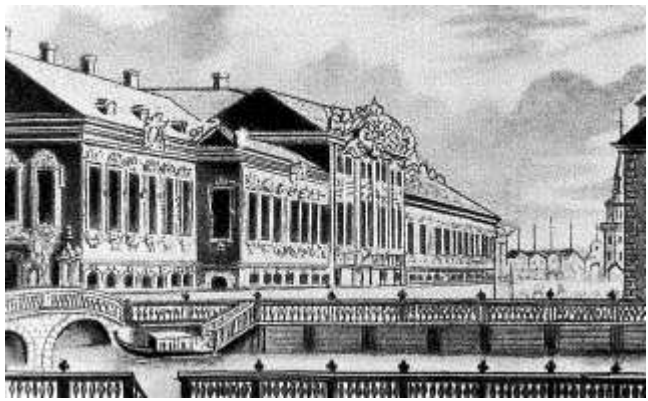
Герб лейб-компанцев, утвержденный императрицей Елизаветой Петровной:

«Гербу быть по третьему нумеру, а подпись употребить за верность и ревность, а в прочем опробуется. Елисавет».

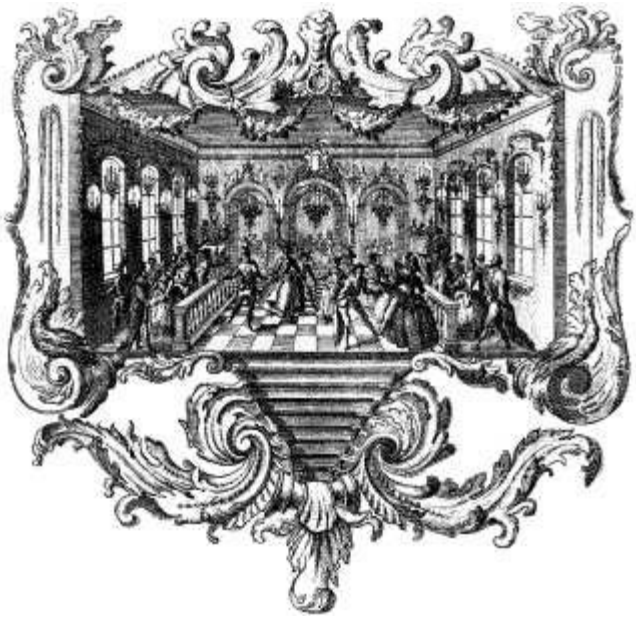
Офицер и сержант лейб-компанцев.

Граф Алексей Григорьевич Разумовский.

Граф Кирилл Григорьевич Разумовский.



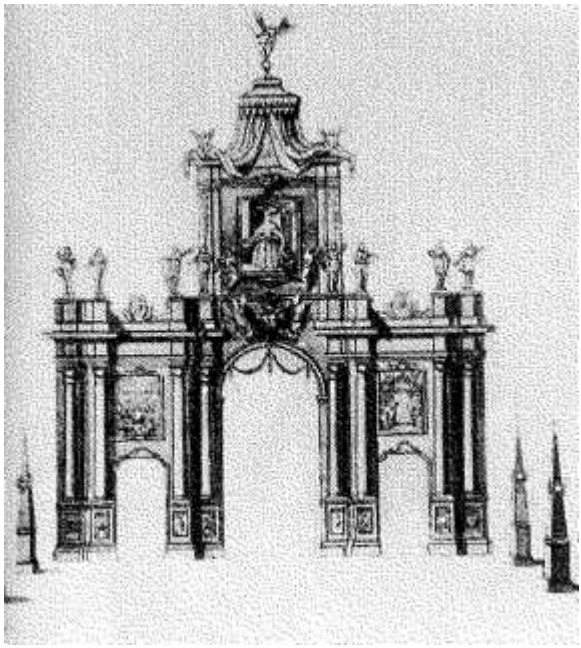
Старый Зимний дворец в начале XVIII в.



Маскарад. Из книги «Описание коронации императрицы Елизаветы Петровны». 1744 г.

Гравюра А.М. Соколова с рисунка Э. Гриммеля.

Коронационное кресло императрицы Елизаветы Петровны.



Деревянные Красные ворота в Москве.

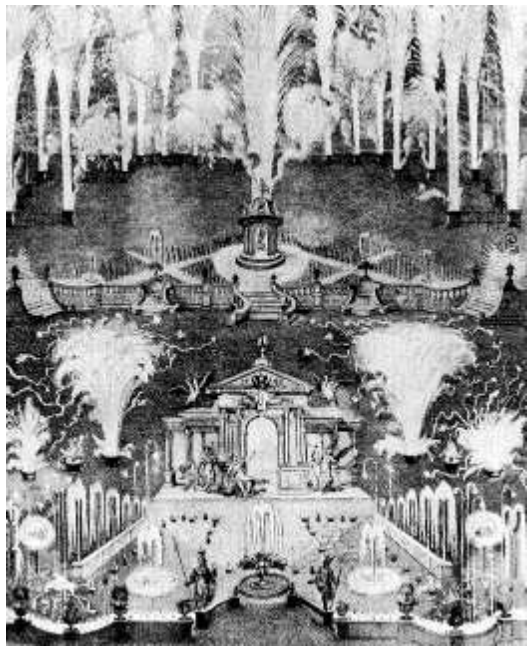
М, Земцов. 1742 г. Гравюра Г.Л. Качалова из коронационного альбома. 1744 г.

Портрет императрицы Елизаветы Петровны в мужском костюме.

Л. Каравакк (?). Середина XVIIIв.

Вид вверх по Неве-реке от Адмиралтейства и Академии наук. 1753 г. Фрагмент.

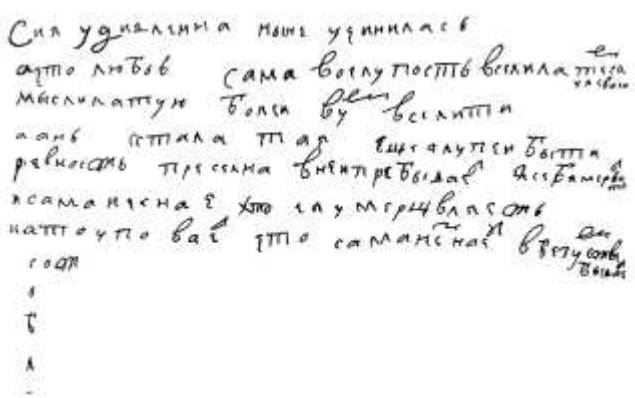
Гравюра Е.Г. Виноградова. С рисунка М.И. Махаева, выполненного под наблюдением Д. Валериани. 1749 г.



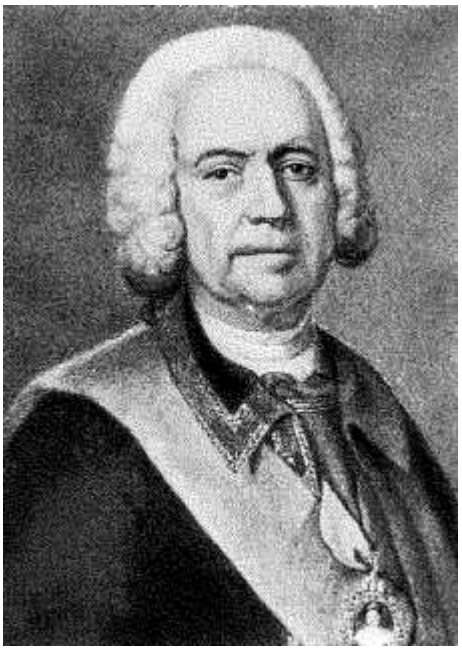
Фейерверк и иллюминация 1 января 1749 г. в Москве.

Гравюра И.А. Соколова с рисунка Э. Гриммеля по проекту Я.Я. Штелина.

Граф Алексей Петрович Бестужев - Рюмин.



Акростих. Автограф императрицы Елизаветы Петровны.



Граф Андрей Иванович Ушаков.

Граф Михаил Илларионович Воронцов.

Фридрих II, король Пруссии.

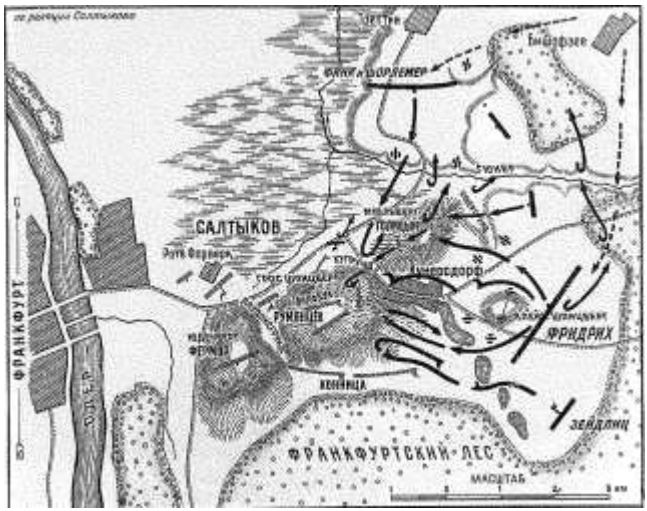
Людовик XV.

Мария Лещинская.

Кавалер д'Эон.

Маркиза Помпадур (Жанна-Антуанетта Пуассон).

Мария-Терезия.



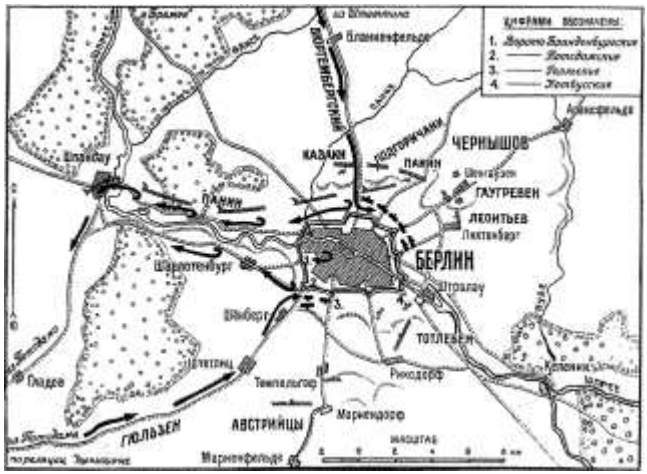
Сражение при Кунерсдорфе. 12 августа 1759 г.

Драгун. 1756-1761 гг.

Офицер и рядовой кирасирских полков.

Степан Федорович Апраксин.
Неизвестный художник 2-й половины XVIII в.

Генерал-фельдмаршал граф Петр Семенович Салтыков.
Гравюра Д. Ф. Герасимова. 1761 г. С живописного оригинала П. Ротари. 1760 г.



Взятие Берлина в 1760 г.

Иван Иванович Шувалов.

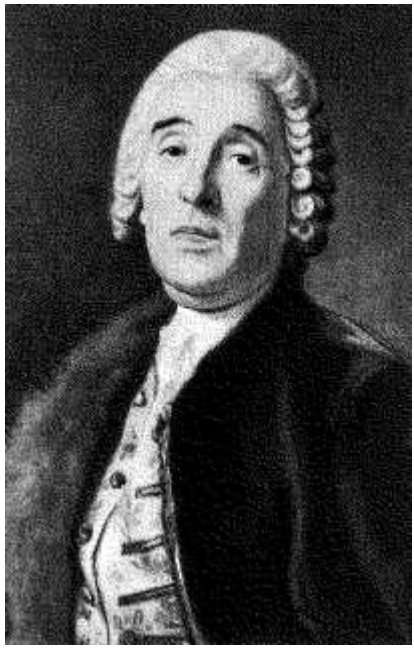
Гравюра Е.П. Чемесова. 1760 г. С живописного оригинала П. Ротари конца 1750-х гг.

Граф Петр Иванович Шувалов.

Александр Иванович Шувалов.

Александр Петрович Сумароков.
Гравюра И. Розанова с оригинала А.П. Лосенко.

Михаил Васильевич Ломоносов.
Неизвестный художник. 1780-е гг.



Варфоломей Варфоломеевич Растрелли.
П. Ротари. 1750-е гг.

Федор Григорьевич Волков. Гравюра Е.П. Чемесова с оригинала А.П. Лосенко.

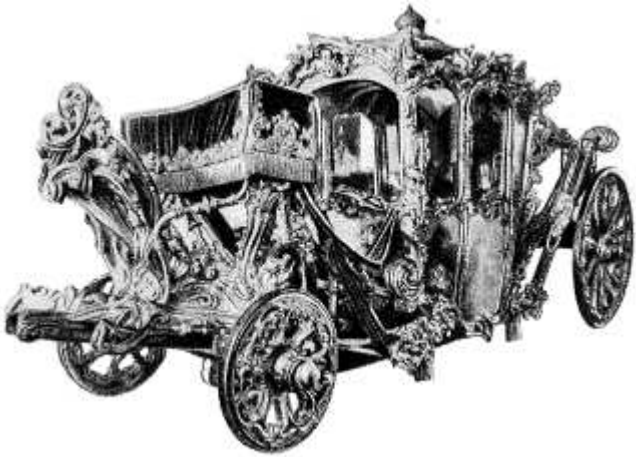
Наказание женщины кнутом.

Наталья Федоровна Лопухина.

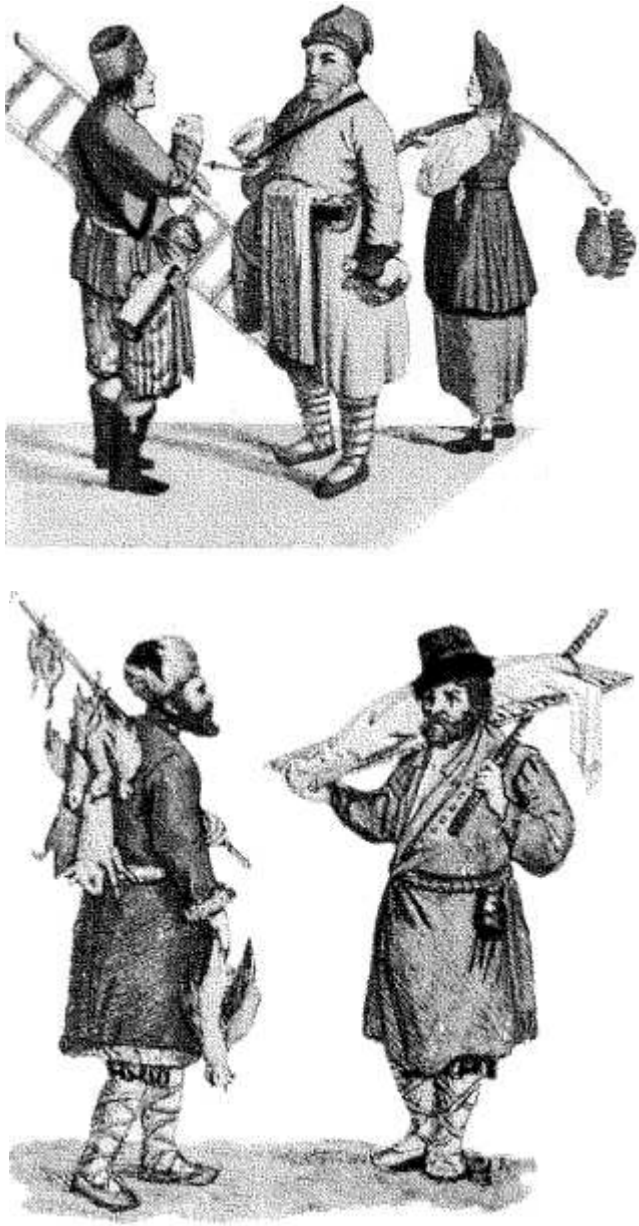
Лубочный портрет императрицы Елизаветы Петровны, уничтоженный по ее приказанию.

Публичная казнь - клеймение и вырывание ноздрей. Акварель XVIII в.

Русская деревня на почтовом тракте в XVIII в.



Карета императрицы Елизаветы Петровны.

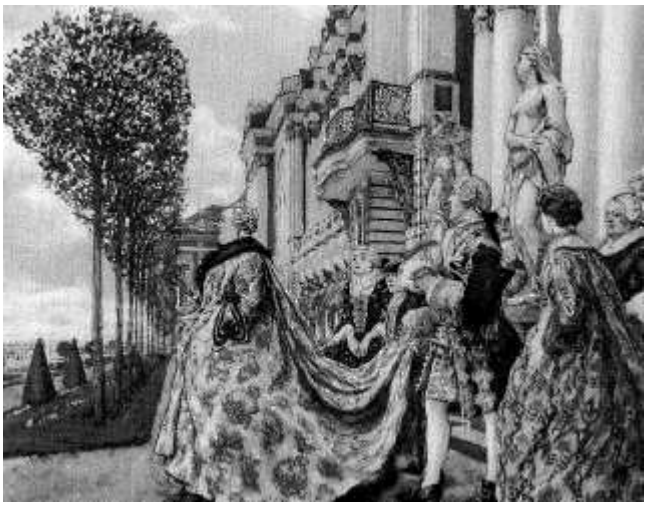


Крестьянские типы XVIII в.

Наказание батогами.

Великий князь Петр Федорович.

Великая княгиня Екатерина Алексеевна.



Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе.
Е.Е. Лансере.

notes

Примечания

1

Орфография подлинника сохранена.

2

Фижмы - каркас из китового уса вставлявшийся под юбку.